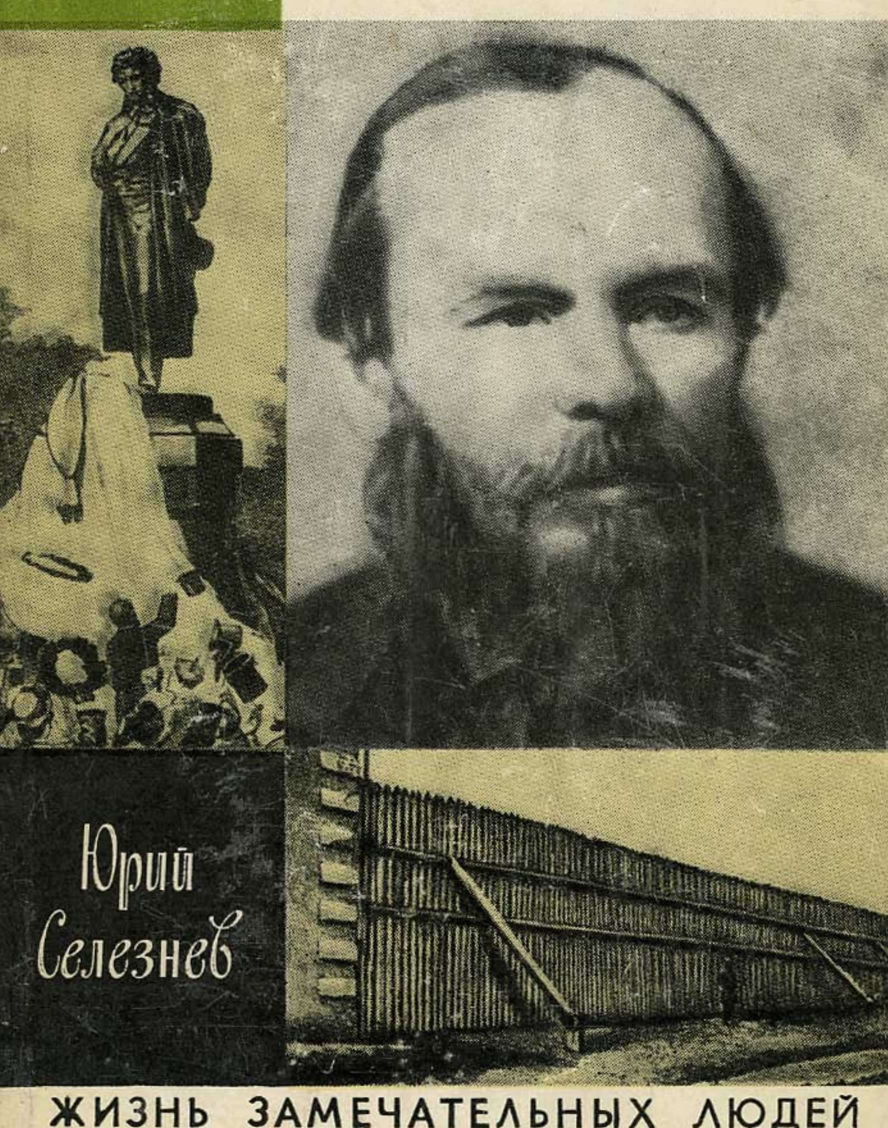
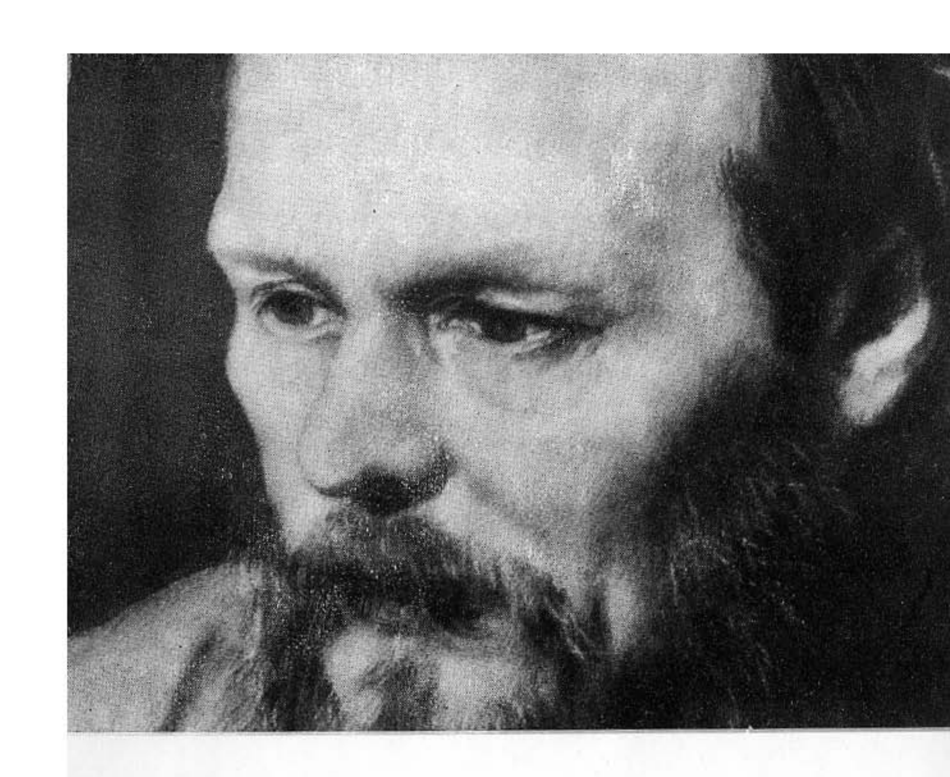
ДОСТОЕВСКИЙ



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Федоръ Достоевскій

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

ВЫПУСК 16

621

Юрий Селезнев

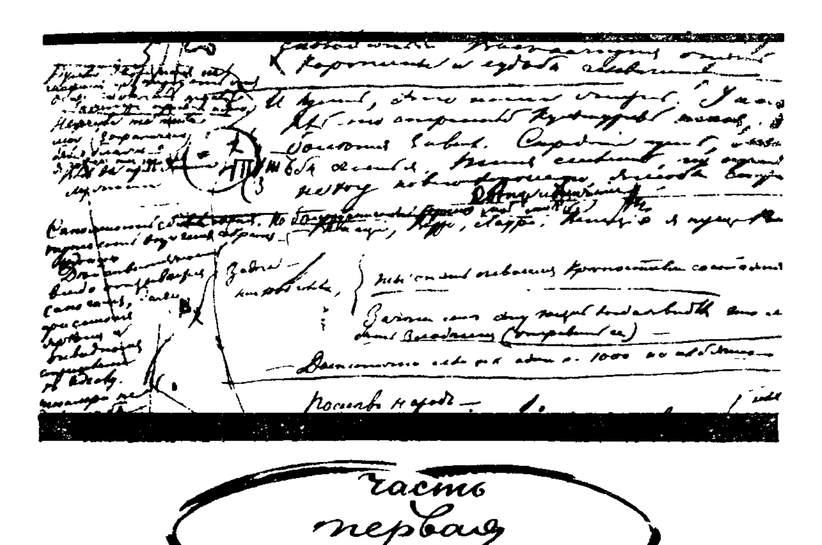
ДОСТОЕВСКИЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1981

83.3Р1
С 29

С $\frac{70302-158}{078(02)-81}$ Без объявл. 4702010200

© Издательство «Молодая гвардия», 1981 г.



СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

История души человеческой, хотя бы самой
мелкой души, едва ли не любопытнее
и не полезнее истории целого народа,
особенно... когда она писана без тщеславного
желания возбудить участие или удивление.

Лермонтов

Человек есть тайна. Ее надо разгадать,
и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть человеком.

Достоевский

Глава 1

ГОЛГОФА

Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

Евангелие от Иоанна XII.24.
Эпиграф к «Братьям Карамазовым»;
слова, высеченные на могиле Достоевского

Каждое мгновение — плод сорока тысячелетий.

Томас Вулф. *Взгляни на дом свой, ангел*

1. Истоки

В детстве, когда порой случалось взбежать на пригорок и взгляду открывались вдруг дальние дали, необъятные пространства земной, залитой полуденным солнцем шири, бездны небесной голубой глубины, на него вдруг накатывало удивительное чувство; казалось, кто-то невидимый зовет, и манит его, и нашептывает: стоит только пойти прямо, далеко-далеко, и если зайти вон за ту, едва различимую черту, ту самую, где небо с землей встречается, то там-то и вся разгадка всего, и тотчас увидишь и поймешь иную жизнь.

Вот и грянул последний день его недолгой вечности, и он на пороге перед вратами неведомого... И тогда вдруг открылся ему таинственный смысл древнего изречения о том, что наступит миг, когда времени больше не будет.

До смерти оставалось несколько минут. Троих уже привязывали к серым столбам, прозвучала какая-то команда — он ее не расслышал, но увидел, как серые солдаты подняли ружья на изготовку. Теперь уж *наверное*... И этот саван, в который их облачили, и священник подносит уже крест для целования, и всем существом еще глухо осознается неотвратимое: «...отставного инженер-поручика Достоевского... подвергнуть смертной казни расстрелянием...»

Он стоял на эшафоте, ослепленный после томительных месяцев угрюмой одиночки серостью долго зачинающегося и как будто не желающего рождаться петербургского утра 22 декабря 1849 года. Самого обычного для всех, последнего для него.

Сквозь морозные клубы дыма над серыми домами вдруг выбился луч солнца, сверкнул тепло на золоченом куполе дальнего собора, высек холодные искры из занесенного свежевыпавшим снегом Семеновского плаца, ударил в глаза неизъяснимым светом. Восемь месяцев не видел он солнца, а жить оставалось минут пять — не больше. Но «эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще... рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть...

Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный...» Обнял стоявших рядом Плещеева и Дурова. «Потом, когда он простился с товарищами... он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же?..

...Вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними...» И беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил...» — так расскажет потом об этом своем дне страстотерпства сам Достоевский в романе «Идиот» устами князя Мышкина. «Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?.. Подумайте, если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает... А ведь главная, самая сильная боль может быть не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*... тут всю эту по-

следнюю надежду... отнимают наверно: тут приговор... и сильнее этой муки нет на свете...

Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия...»

Жить оставалось считанные минуты, а «кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз, — все это надо перенести...». По «воспоминаниям» же III отделения, «народа было на Семеновском плацу до 3000 человек; все было тихо, и все были проникнуты особенным вниманием». Но и эту тишину нужно было перенести... И он стоял. Молча, безропотно, смиренно. Он — недавний политический бунтарь, свято веривший в свое необыкновенное будущее, мечтавший о спасении отечества...

Вспоминая через много-много лет то далекое, но вечно памятное ему время, Достоевский писал: тогда я «твердо был уверен, что будущее все-таки мое и что я один ему господин».

Господин, безропотно ждущий своей очереди к позорному столбу?

Раб, тысячу раз раб... Еще несколько минут — и... Скорее бы... И это все? Вся жизнь, все 27 лет — ради этих минут безысходного унижения, всенародного поругания, беспомощной безответности?

Затем ли тогда даны были тебе сердце, и талант, и слово, к которому уже прислушивались и по нему узнавали среди сотен других? И муки душевные, и радости, и встречи — зачем все это и что все это значит — перед лицом последнего, предсмертного страдания? И не сойти с ума? И не умереть духовно? И не презирать себя потом за эти минуты смиренного ожидания приговора, вынесенного чужими ему людьми, не могущими понять ни его самого, ни его страданий, ни его надежд... «Господи, зачем ты оставил меня в эти минуты?»

Величайшее смирение, но и величайшая гордыня. Может быть, уже и тогда, в те роковые минуты, не мыслью даже, но ощущением, подсознанием сравнил он свой эшафот с Голгофой, прозрел в великом своем позоре унижения путь к духовному воскресению?

Один из осужденных вместе с ним, Ф. Н. Львов, рассказывал позднее, что, пока еще шли приготовления к казни, они могли переговариваться вполголоса, у большей части была на лице неизъяснимо спокойная улыбка. Достоевский вспоминал «Последний день осужденного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: «Мы будем вместе с Христом». — «Горстью пепла», — отвечал тот с усмешкой...

Достоевский переживал не казнь. Не только ее. Он ощущал Голгофу. Не в те ли мгновения и зачалось в чутком к тайнам человеческого бытия сознании Достоевского осмысление древней притчи как его, лично его переживания, состояния, судьбы: «Истинно, истинно глаголю вам, аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»? И разве пушкинский Пророк, прежде чем получить право глаголом жечь сердца людей, не лежал «как труп в пустыне», с рассеченной мечом грудью и разве не было вынуто из нее его трепетное сердце человека?..

Предчувствие своего нового, не сказанного еще слова о мире и миру — пришедшее перед лицом смерти — требовало жизни, бунтовало: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность!.. Эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили...» Но кто скажет *ему:* «Восстань... и виждь, и внемли»?

Раздалась команда снять шапки. Осужденные и без того стояли на 20-градусном морозе в легких весенних одеждах, в тех, в которых арестовали их жандармы в апреле, восемь месяцев назад. Но мороз почти не ощущался. Как будто и не было тела, как будто все: и тело, и нервы, сознание, сердце — слилось в один напряженный донельзя сгусток духа.

Что увиделось, что вспомнилось ему тогда, в эти несколько мгновений?

Была ли то неутоленная печаль материнских глаз? Они светили ему всю жизнь из дальних далей детства. И звуки родного голоса под тихий перебор гитары в желто-канареечной гостиной роняли в детскую душу первые семена еще неведомой грусти и неясного счастья.

«Это была женщина в высшей степени добрая, религиозная...» — такой запечатлелась она в семейном предании. Он всегда благоговейно отзывался о матери. К отцу относился с сыновней почтительностью, пожалуй, и любил его особой страдательной любовью, но память о нем хранила немало и тягостных отроческих впечатлений.

Старинные документы свидетельствовали ему, что род Достоевских пошел от Данилы Ивановича Ртищева *, ко-

* Служилые люди Ртищевы нередко поминались в документах юго-западной Руси XVI века как ее защитники от наступления католического Запада.

торому пинский князь Федор Иванович из рода Ярославичей пожаловал грамоту на имение Полкотичи и часть села Достоева в Пинском повете, к северо-востоку от Пинска, в междуречье Пины и Яцольды.

Владельцы Достоева и стали именоваться Достоевскими, они не раз упоминаются в книгах стародавних судных дел; некая Мария Достоевская в конце XVI века обвинялась в убийстве своего мужа... при помощи наемника Яна Тура. Под 1572 годом поминается тезоименит писателя Федор Достоевский, земянин, то есть землевладелец Пинского повета, переселившийся на Волынь, как человек, близкий князю Андрею Курбскому, который называет его своим «приятелем и уполномоченным». Вероятнее всего, от этих осевших на Волыни Достоевских и отделилась еще одна ветвь — подольская, от которой и пошли ближайшие предки писателя. Были среди них и люди известные — воины и священники, крутые и своенравные, некоторые переходили в католичество, становились шляхтичами, служили польским королям и даже принимали участие в их избрании: Яна Казимира в 1648 году, Михаила Вишневецкого в 1669-м, Августа II в 1697-м...

Но в большинстве его предки упоминались все-таки как защитники православия и русской национальности.

Федор Михайлович Достоевский чтил многих из них, а Петра Достоевского — маршалка Пинского повета и члена главного трибунала великого княжества Литовского, выбранного в сейм в 1598 году, — считал родоначальником своего рода: один из его предков, Акиндий Достоевский, получил известность как иеромонах Киево-Печерского монастыря (XVII век), другой в XVIII веке достиг и епископского сана; третий прославился тем, что, вернувшись в 1624 году из турецкого плена, повесил в честь избавления серебряные цепи перед иконой Богородицы во Львове, четвертый тем, что судился в 1646 году с неким Абрамовичем в Пинске, а в 1669 он же обвинил некоего Боруховича в том, что тот не возвращает ему из залога золотую цепь...

Но к XVIII веку этот своенравный род, не принявший католичества, обеднел и захудал. И дед писателя, Андрей Михайлович, — уже скромный протоиерей в захолустном Брацлаве Подольской губернии.

Младший его сын, своенравный Михаил Андреевич, не пожелал пойти по стопам отца; оставил Каменец-Подольскую семинарию и навсегда покинул отчий кров. Он отправляется в Москву, чтобы поступить в Медико-хирургическую академию, куда и зачисляется 14 октября 1809 года.

В Отечественную войну «студент 4-го класса» Михаил Андреевич Достоевский командируется в «московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых», затем в Касимовскую военно-временную госпиталь, потом переводится в Верейский уезд «для прекращения свирепствующей повальной болезни». В 1813 году его производят в штаб-лекари, и он получает назначение в Бородинский пехотный полк, в котором и служит до 1818 года, когда его вновь переводят, на этот раз ординатором, а затем старшим лекарем в Московскую военную госпиталь.

Через одного из сослуживцев он знакомится с семейством купцов Нечаевых и в 1819 году женится на дочери Федора Тимофеевича Нечаева, Марии Федоровне. В 1820 году уходит в отставку с военной службы, а в следующем он уже «определен Императорского Московского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря при отделении приходящих больных женского пола», более известную как Мариинская (основана по велению вдовы Павла I, Марии Федоровны) больница для бедных, звавших ее просто Божедомкой.

Здесь-то, в правом флигеле, который занимала семья лекаря Достоевского, 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1821 года Мария Федоровна и родила своему Михаилу Андреевичу второго сына (первенцу Михаилу полмесяца назад исполнился уже годик). В честь одного из предков, но без какого-либо намека на тот *дар божий* *, что был дарован не им одним, но всему миру, окрестили его Федором.

Все было скромно и обыденно; как положено, письменно засвидетельствовали в книге Московского духовной консистории:

«Сретенского сорока ** церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных, тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30-го дня, родился младенец... у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского, сын Федор. Молитствовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов. Крещен месяца ноября 4-го дня; восприемниками были: штаб-лекарь надворный советник Григорий Павлов Масловпч и княгиня Прасковья Тимо-

* Федор — от Theos — бог и dor — дар.

** Сорок — старинная русская мера. Москва делилась на сороки, в числе которых был и Сретенский.

феевна Козловская; московский купец Федор Тимофеев Нечаев и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. — Оное крещение совершал священник Ильин с причтом».

Впоследствии младший брат Федора Михайловича, Андрей Михайлович, пояснит: «Григорий Павлович Маслович был муж двоюродной сестры нашей матушки; Федор Тимофеевич Нечаев — отец матушки, а Александра Федоровна Куманина — родная ее сестра — следовательно, все лица нам родственные. В каких же отношениях к ним была княгиня Козловская — не знаю. Вероятно, она была одна из многочисленных пациенток моего отца».

Андрей родился в двадцать пятом и был уже четвертым ребенком; через год после Федора появилась еще и сестра — Варенька. Семья росла. К этому времени перебрались уже из правого флигеля в левый*. Квартира была небольшая: полутемную детскую занимали старшие братья — Михаил и Федор, младших поместили прямо в спальне родителей, отделенной дощатой перегородкой от зала — единственной вместительной и светлой, в пять окон, комнаты; кухня с громадной русской печью и полатями и маленькая комната для кормилицы и няни — вот, по существу, и вся квартира, а для маленького Феди — чуть ли и не весь мир. Правда, больница окружена большим садом с липовыми аллеями — в нем мир малыша раздвигался вдруг до беспредельности, которую он еще не способен был вместить в себя, охватить целиком, даже и вознесенный добрыми руками на высоту, от которой замирало сердце, но тут же и успокаивалось уютом необъятной теплой груди нянюшки.

Мальчику едва пошел третий годок, когда мать повела его в деревенскую церквушку; вдруг через ее покойное, совсем темное — после улицы — нутро пролетел из окна в окно белый голубок, — случай вполне заурядный, но именно он запомнился на всю жизнь как первое потрясение младенческой души: будто чудо явилось, словно свет пронзил тьму. Однажды — Феде было тогда уже около трех лет — няня привела его «при гостях» в гостиную, заставила опуститься на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву: «Все упование, Господи, на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом своим». Гостям это очень

* Здесь расположен сейчас Музей Достоевского.

понравилось, и они говорили, лаская его: «Ах, какой умный мальчик!» Он не мог еще уловить снисходительной умиленности взрослых, но удивление и восторг окружающих, вызванные словом, *его* словом, отложились в душе ребенка. И, может быть, именно от этого, пока еще сокровенного, конечно, и от него самого, соприкосновения и соития этих самых первых впечатлений, оставленных светом и словом, пробудивших в ребенке нового, уже сознающего себя и мир человека, зачался в нем исток и будущего писателя? Как знать?

Отец любил порядок и приучал к нему детей с самого нежного возраста. «В девятом часу вечера, не раньше, не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени, — вспоминал младший брат писателя, Андрей Михайлович Достоевский, — повторялось ежедневно. Посторонние, или так называемые гости, у нас появлялись очень редко... Когда же изредка случалось, что и родители выедут из дому вечером в гости... начиналось пение песен, затем... хороводы, игры в жмурки, в горелки и тому подобные увеселения... каковых при родителях не бывало... Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою, конечно, были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия, и я помню, что маменька всегда, бывало, говаривала, уезжая: «Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились!»

Няня, Алена Фроловна, судя по всему, человек замечательный. «Всех она нас, детей, взрастила и выходила», — вспоминал о ней с благодарностью и сам Федор Михайлович Достоевский.

«И каких только сказок мы не слыхивали от нее и Арины Архиповны, прислуги из крепостных, — вторит ему Андрей Михайлович, — и названий теперь всех не припомню: тут были и про «жар-птицу», и про «Алешу Поповича», и про «Синюю бороду», и про многое другое».

И еще вспомнилось:

«Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанью...» — слышится издалека мягкий говорок. «Наша няня Алена Фроловна, — скажет он, — была характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала такие славные сказки!..»

И Алена Фроловна, и Арина Архиповна, «скромные русские женщины», нянюшки будущего великого писа-

теля, с благодарностью осознаются им его, Достоевского, «Ариной Родионовной».

За сказками «нянюшек» в мир мальчика Достоевского войдут Жуковский и Пушкин — их так любила мать и так душевно делилась этой любовью с детьми. Потом придут Державин и Карамзин, Лажечников, Нарежный, Вельтман, казак Луганский (Владимир Даль), Вальтер Скотт, Шиллер... Пушкина знал чуть не всего наизусть...

«Надо припомнить, — поясняет А. М. Достоевский, — что Пушкин тогда был еще современник... Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского, даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев», то есть Федора и старшего — Михаила.

Выучили наизусть и «Конька-Горбунка» Ершова. Еще через время придут Гомер, Шекспир, Сервантес, Гёте, Гюго, Гоголь...

И если изначальную любовь к творчеству, способность «для звуков жизни не щадить» разбудила в нем мать, то поистине титаническую волю к систематическому образованию, нужно определенно признать, привил ему отец.

Правда, сам маленький Федя никаких признаков гениальности явно не обнаруживал, хотя отчасти и выделялся среди других детей. Так, Андрей Михайлович вспоминает: «Старший брат Михаил был и в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федор, который был во всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители», — но мало ли резвых и энергичных вырастало в добропорядочных и вполне заурядных чиновников?

Как бы то ни было, родители ничем особо не выделяли Федора среди других детей, воспитывали его наравне со всеми.

Жизнь текла размеренно, строгий порядок, заведенный в доме отцом, нарушался редко. Лишенный какой бы то ни было материальной и моральной поддержки извне, Михаил Андреевич привык полагаться только на собственные силы, на упорный, ежедневный труд человека, служащего из-за «куска хлеба». А семья все росла: появились две девочки — Вера и Люба; вторая, правда, умерла, прожив только несколько дней. Потом появился сын Николай и, наконец, самая младшая — Александра. Федору к этому времени было уже 14 лет.

Михаил Андреевич Достоевский продолжал служить; в 1827 году он «за отлично усердную службу пожалован орденом Святой Анны 3-й степени», а через год «награжден чином коллежского асессора», дающего право на потомственное дворянство. Однако вновь испеченный потомственный дворянин никогда не забывал о том, что семья будет иметь средства для жизни, пока он жив и способен к труду, а потому и при всяком подходящем случае повторял детям, что он человек бедный и дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими. Сам Федор Михайлович Достоевский вспоминал, что держали их строго и рано начали учить. Его уже четырехлетним сажали за книжку и твердили: «Учись!»

Французский детям преподавал приходивший на дом Николай Иванович Сушар; закон божий — дьякон, который «имел отличительный дар слова и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа полтора-два, проводил в рассказах... так, что, бывало, и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, — прибавляет Андрей Михайлович Достоевский, — что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца».

Латинский преподавал сам отец. «Каждый вечер... братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже и облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди... или спрягая... Братья очень боялись этих уроков, — вспоминает А. М. Достоевский. — Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас и разразится крик». Латынь Достоевский невзлюбил на всю жизнь. «Замечу тут кстати, — продолжает младший брат писателя, — что, несмотря на вспыльчивость отца... нас не только не наказывали телесно... но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит...»

По вечерам же устраивались и чтения в общем семейном кругу, читались по преимуществу произведения исторические: «История государства Российского» Карамзина была настольной книгой Федора, и он читал ее всегда в долгие зимние вечера при свете тусклой сальной свечи, окруженный полумраком, наполненным видениями прочитанного и услышанного. Карамзин вошел в сознание мальчика не только «Историей», но и «Бедной Лизой» и «Марфой Посадницей»; Державин потряс одой

«Бог». Увлекли его и книги о путешествиях в далекие страны; страстно мечталось увидеть Венецию и Константинополь, таинственный Восток...

Весенние дни несли весть об ином раздолье: «...ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев», — признавался Достоевский, «самый городской писатель», уже в зрелом возрасте.

Первый предвестник весны — масленая. «Блины на масленице елись ежедневно, не так, как теперь...» — вспоминает Андрей Михайлович. Но не одними блинами красна масленая. С наступлением тепла прекращалось комнатное затворничество и сад становился для детей их постоянным «жилищем». Правда, и здесь папенька строго-настрого запрещал им игры «опасные и неприличные» — в мяч, лапту; а уж о каких бы то ни было разговорах с больными и речи не могло быть. Но Федя и тут проявлял характер: не то чтобы ему доставляло удовольствие нарушать папенькины запреты, просто природная любознательность и жажда общения оказывались порою сильнее долга сыновнего послушания. Не разрешалось играть и с детьми прислуги; Федя же ухитрялся не только играть, но и дружить с ровесниками, и опять же скрытно от родителей. Словом, рос «маленьким грешником». Но может быть, самый великий его «грех» детства — дружба с дочкой то ли повара, то ли кучера. Впрочем, только ли дружба? Скорее уже первая детская влюбленность. Хрупкая, словно светящаяся изнутри, она дарила ему счастье открывания красоты в ее скромных, неброских проявлениях: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» — и они склонялись к маленькому чуду, пробившемуся между камней. «Попробуй, какие клейкие листочки!» Эти трогательные порывы детской восторженной души Достоевский пронес через всю жизнь.

Однажды он услышал крики в саду, побежал и... оцепенел от неизъяснимого холода, объявшего все его существо: над *ней* склонились какие-то женщины, мужчины говорили о каком-то пьяном бродяге, которого не раз замечали в саду, а она, неестественно бледная, лежала на земле, а ее белое платьице изорвано и выпачкано грязью и кровью. Федю послали за отцом, тот тут же прибежал, бросив больных, нарушив все распорядки, служебные и личные, но помощь его уже не потребовалась. Через несколько дней ей было бы девять лет.

Мир, его детский мир, казалось, враз раскололся, сдвинулся с устойчивой, привычной оси — и нет больше в нем законов правды и справедливости. И как ни старался Федор, не мог вернуться в прежнее состояние. Взрослые пытались ему что-то объяснить, но он чувствовал — они недоговаривают, скрывают что-то самое главное, что тут какая-то тайна, стыдная и ужасная. И от этого становилось еще более одиноко и дико маленькой оскорбленной душе.

А солнце светило, как и прежде. Люди чему-то радовались и смеялись. И он постепенно привык жить без нее, но навсегда осталось в нем нечто язвящее, сосущее его изнутри — он даже не мог бы сказать, где именно, — словно маленький красный паучок, какого видел он однажды в темном чуланчике.

Лето обещало прогулки в Марьиной роще, окутанной для детей дымкой старинного предания, которое вдохновило Жуковского на романтическую легенду о русской девушке Марье, погибшей на высоком берегу Яузы, где прозрачная река одним изгибом своим прикасается к роще...

В семье вообще почитались предания, обычаи; часто поминалось об Отечественной войне, Бородине и московском пожаре, унесшем чуть не все состояние дедушки — Федора Тимофеевича Нечаева. Дети рано учились ценить красоту и величие живой старины. «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным», — вспоминал Достоевский.

Летом же всей семьей выезжали и в Сергиев Посад, в знаменитую Лавру. «Византийские» залы, «одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости — не вышел бы оттуда». Здесь впервые поразит Достоевского «Троица» Рублева и вспомнятся неясные слова учителя, вычитываемые из «Начатков» митрополита Филарета: «Един Бог, во святой Троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет...» «Это скорее философское сочинение, нежели руководство для детей, — заметит Андрей Михайлович Достоевский в своих воспоминаниях. — Но так как руководство это обязательно было принято во всех учебных заведениях, то понятно, что и сам отец дьякон придерживался ему».

Отвлеченные философствования не давали еще пищи воображению десятилетнего мальчика, но рассказы о стра-

дальце, пошедшем на крест во имя искупления зла, потрясали и умиляли детское сердце, уже успевшее познать и цену страдания, и муки неискупленного зла.

Луч погас так же внезапно, как и появился; небо затянулось тучами, и теперь, казалось, уже навсегда. Еще резче очертилась в белизне снега грань между их жизнью, сузившейся до аршина пространства, обтянутого в черный траур эшафота, и жизнью всего остального мира, казалось, глядящего на них с безучастным любопытством тысячеглазой толпы.

— Что, если бы жить...

Только сейчас он заметил, как страшно изменились его товарищи по несчастью: даже крепкий, коренастый Петрашевский исхудал, согнулся; куда подевался горделивый взгляд красавца Спешнева?..

«Покайтесь!» — услышал он голос священника, обходящего обреченных. От покаяния отказались, но к кресту приложились все. Над замершей в ожидании площадью, грая, кружились вороньи стаи, метнувшиеся вдруг беспорядочно от прорезавшего морозную тишину: «На кра-ул!» Тысячерукое каре лязгнуло триедино тысячествольным ружьем, исполнив отработанный, не им заведенный порядок.

Глухо раздалось: «На прицел», и черные ружья напряженно вытянуты к приговоренным, как на какой-то, которую не вспомнить, картине. Только пар из прикушенных губ рвется и мерзло стынет в мертвой тишине. «Момент этот был поистине ужасен, — вспоминал потом один из осужденных. — Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты...»

Но барабанная дробь будто разрезала вдруг холодное молчание декабрьского утра, и шестнадцать ружей мгновенно уставились в небо... И словно из невозможного сна сознание начинает увязывать в смысл чужие, отрывистые, как дробь барабана, слова:

— Его величество по прочтении всеподданнейшего доклада... повелел вместо смертной казни... Отставного инженер-поручика Федора Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым...

Жизнь...

Она вся «пронеслась вдруг в... уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния и картинка» — так рассказывал потом об этих мгновениях сам Достоевский. Все его

недолгие 27 лет, сжатые в несколько секунд, озаренных предвестием невозможной жизни. И это тоже нужно было «перетащить на себе». И не сойти с ума, и не сломиться...

— Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?.. Нет, с человеком так нельзя поступать...

— Недостойный балаган, — прошептал кто-то рядом.

«Эй, Федя, уймись, — слышится ему давний голос отца, — несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» — «Сбылось», — усмехнулся про себя.

Балаганы он любил с детства. Под Новинским, у Смоленского рынка, прямо напротив окон дедушкиного дома, каждую пасху устраивались праздничные представления. Клоуны, паяцы, Петрушки, силачи, комики и шарманщики, крик зазывал, бой барабанов — все это кривлялось, ругалось, кричало и, наконец, совсем утомляло братьев, и дедушка вел их домой; там их уже ждала коляска родителей, с кучером Семеном Широким на облучке. Впечатлений хватало надолго. Впрочем, и сам дедушка — родной дядя маменьки, Василий Михайлович Котельницкий, — был презабавный старик, и хотя в семье Достоевских гордились им — все-таки профессор Московского университета по курсу «врачебного веществословия», то есть фармакологии, Федору не раз приходилось слышать о нем многочисленные анекдоты. Начнут хвалить при нем молодое дарование, только что пополнившее ряды преподавателей, — дедушка пренаивнейшим образом заметит: «Ну не хвалите прежде времени, поживет с нами, так поглупеет». Ходил он всегда в мундире и треугольной шляпе с плюмажем, что вызывало веселые насмешки студентов. «Петух идет!» — кричат они, завидя дедушку, а тот с полным достоинством отвечает: «А петух-то — статский советник!» — и преважно прошествует за кафедру. Он страсть как гордился своим чином: даже садясь на извозчика, предупреждал: «Смотри, поезжай осторожнее: статского советника везешь!» Словом, с ним не соскучишься. Одному из его студентов, будущему великому ученому Н. И. Пирогову, на всю жизнь запомнились лекции Василия Михайловича; вот он, показывая различные медикаменты, приговаривает: «...лекарство — то, что изгоняет болезнь из тела; а яд — то, что разрушает жизнь», а потом, подняв глаза на слушающих его и не изменяя интонации, прибавляет: «...а бывает и

наоборот, и от лекарства человек умереть может; так что нужно прописывать рецепты поосторожнее...»

Лекции начинались рано утром; Василий Михайлович ставит перед собой свечку, вынимает из карманов очки и табакерку, звучно нюхает табак и начинает читать по книге: «Клещевинное масло, китайцы придают ему горький вкус», — затем кладет книгу на стол, снова с всхрапыванием нюхает табак и, сам тому удивляясь, объясняет студентам: «...вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному-то маслу горький вкус...» Студенты, следя за «лекцией» по той же самой книге, между тем читают: «Кожицы придают ему горький вкус...»

Впрочем, в роду Нечаевых — Котельницких, с которыми породнился одинокий и «безродный» Михаил Андреевич Достоевский, женясь на Марии Федоровне, немало и других по-своему славных представителей: прадед Федора Михайловича по матери, Михаил Федорович Котельницкий, был, например, корректором московской духовной семинарии в чине коллежского регистратора; в семейной традиции он почитался как очень умный человек. Считалось, что именно из семьи Котельницких, то есть родных по материнской линии, вынесла и сама Мария Федоровна, а через нее и сын ее Федор, любовь к книгам, музыке, способность выражать на бумаге свои чувства, мысли, настроения... Правда, и отцу своему сын обязан не одним только, привитым ему с детства, уважением к повседневному упорному труду, но и отроческими восторгами, рыхлившими почву сердца и ума, засевавшими их семенами будущих всходов: это папенька повел десятилетнего Федю на шиллеровских «Братьев-разбойников» с Мочаловым — Карлом Моором. Мог ли помыслить папенька, как откликнется юная душа его сына на страстный порыв Карла Моора против несправедливости и зла, царящих в мире, какими отзвуками отзовется еще в ней Шиллер?

По отцовской линии Мария Федоровна вела свою родословную от Нечаевых, посадских людей города Боровска Калужской губернии. Отец ее, Федор Тимофеевич Нечаев, перебрался в 1790 году в Москву и числился купцом третьей гильдии. Через старшую сестру, Александру Федоровну, Нечаевы — Котельницкие, а стало быть, затем и Достоевские, породнились с богатым родом московских купцов, «аристократов коммерции», Куманиных. У Михаила Андреевича с родственниками жены отношения были сложные; в общем, он их уважал, но недолюбливал; да и то: каково было гордому лекарю Божедомки видеть, как к его скромному жилищу лихо подкатывает карета Александры Федоровны Куманиной — цугом в упряжке из четырех лошадей, с выездным лакеем на запятках и форейтором на козлах... Правда, Василию Михайловичу Котельницкому он явно симпатизировал: профессор фармакологии никогда не решался сам выписать себе или своей жене нужный рецепт и в таких случаях всегда обращался за содействием к Михаилу Андреевичу.

Как только Михаил Андреевич заслужил честь «навечно» быть занесенным вместе с сыновьями в книгу московского потомственного дворянства, в квартиру штаблекаря зачастили какие-то странные, суетливые субъекты — сводчики, или факторы, по купле-продаже имений, как узнал Федор из разговоров старших. А вскоре родители стали владельцами сельца Дарового и соседней с ним деревушки Черемошны в Тульской губернии. Приобретение родовой вотчины обошлось им в 12 тысяч рублей серебром, но свежеиспеченные землевладельцы надеялись окупить эти затраты с лихвой. И пошли новые заботы: нужен тес для ворот к скотному двору, доски на закрома, потолок к амбару, да и сарай не крыт — придется ждать до новой соломы; кадочек на ярмарке необходимо поглядеть и меду для варенья.

Отец продолжал служить и только по временам ненадолго мог наведываться в свои владения; все заботы по хозяйству взяла на себя маменька, в обязанности которой входили и постоянные отчеты перед мужем о состоянии хозяйства: «Мне Бог дал крестьянина и крестьянку: у Никиты родился сын Егор, а у Федота — дочь Лукерья. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек, утка выводится понемножку, а гусям вовсе воды нет, в эту переменную погоду беспрестанно гусенят убывает, так жаль, что мочи нет, наседочка одна только и сидит, и то отняли у Дарьи», — жалуется она мужу, а тот в ответ дает разные полезные советы и распоряжения, в числе коих и предписание — ежели что, то и посечь людишек по-отечески, для порядку...

Конечно, воспарения мысли на предмет поправления материального благополучия семьи за счет дармового труда крепостных были особенно поначалу, да только слишком уж бедны оказались вотчины нового землевладельца, а пригляделись — поняли: на грани полного разо-

рения. Впрочем, надежды на обогащение вряд ли и изначально главенствовали в сознании Михаила Андреевича; тут скорее другое подзуживало: амбиция уязвленного самолюбия — вот-де, все смотрите! — вы, богатые и знатные, получившие наследственные земли и звания, а я — без наследства и связей, без протекций — тоже землевладелец и какой-никакой, а «аристократ» — и сам, сам, вот этими руками, этой головой всего достиг и никому ничем не обязан... Весной 1832-го уехали всей семьей в Москву. На третий день светлой недели, 4 апреля, сидели за столом в гостиной, как вдруг докладывают: Григорий Васильев, дворовый человек из Дарового, прибыл. Родители хорошо знали его и уважали — он был единственный письменный, то есть грамотный, в деревне. Велели звать. Григорий небритый, в разорванной свитке, словно нарочно нарядился для какого-то невеселого спектакля: дворовые у Достоевских всегда гляделись прилично — за этим родители следили ревниво.

— Что случилось, Григорий?

— Несчастье... вотчина сгорела...

Известие было столь ошеломительно, что родители тут же пали на колени... Дети заголосили.

— Коли надо будет вам денег, — услышали вдруг спокойный голос Фроловны, — так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Предложение нянюшки вывело всех из состояния невменяемости. От денег, конечно, отказались (Алена Фроловна жалованья не брала — копила деньги на старость), но порыв ее души потряс и родителей и детей. Отец быстро взял себя в руки, усадил Григория, потребовал подробностей. Оказалось, один из крестьян палил кабана у себя на дворе, а ветер был страшный — дом и загорелся. Погорела и вся усадьба. Сгорел и сам Архип вместе с домом, пытаясь хоть что-нибудь спасти из нехитрых своих пожитков.

— Ладно, — сказал отец решительно, как умел говорить только он, — поезжай, Григорий, да передай мужикам: последнюю рубашку свою поделю с ними — несчастье общее, вместе и расхлебывать будем.

Через несколько дней Мария Федоровна со старшими детьми отправилась в деревню. Грустная картина открылась взору десятилетнего Федора: обугленные столбы на месте изб кое-где торчат из серой, в пепле, земли; погорелые старые липы, сиротливо повизгивает верная Жучка... Понурые мужики виновато поглядывают из-под

хмурых бровей; устало всхлипывают младенцы, безнадежно уставясь в почерневшие от горя лица матерей.

— Отчего матери черные, отчего детки плачут? — робко спрашивает Федя, прижавшись к маменькиной руке.

— Голодны, — слышит он маменькин голос.

— Зачем детки страдают?

— Погорели, — не понимает его маменька...

Уже через неделю далеко слышен был стук топоров. Строились заново. Каждому погорельцу маменька выдала по пятидесяти рублей — немалые деньги; мужики качали головами, не брали — без денег не построиться, а и отдавать потом не легче. Мария Федоровна уговаривала: будут — отдадите, а нет — так и нет... О долге, конечно, больше никогда не поминали. Аришу, дочку сгоревшего Архипа, маменька взяла к себе.

Маленький, о трех комнатах, мазанковый, похожий на украинскую хатку домик, в котором поселились Достоевские, «стоял среди тенистой рощи. Роща эта, — вспоминал Андрей Михайлович, — через небольшое поле примыкала к березовому лесу, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами... Местность эта очень полюбилась брату Федору, так что лесок этот в семействе начали называть Фединою рощею. Впрочем, матушка неохотно нам дозволяла там гулять, так как ходили слухи, что в оврагах попадаются змеи и забегают даже волки».

Август стоял сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, скучать всю зиму за французскими уроками, и ему так жалко покидать деревню... — расскажет потом Достоевский. «И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик... И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и, вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика...

— Ить ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный... — Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. — Ну полно же, ну Христос с тобой, окстись... — Я понял наконец, что волка нет и что мне крик... померещился...

— Ну я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же *матерински* мне улыбаясь...

...Об Марее я тогда очень скоро забыл...»

Да и о чем помнить-то? Мальчик любил бродить по полям, часами смотрел, как справляют крестьяне свой нелегкий труд, а в минуты передышки подходил к ним поговорить, посмотреть на малышей, которых крестьянки брали с собой. Однажды, заметив, что одна крестьянка пролила нечаянно воду и ей нечем напоить младенчика, Федя схватил кувшин и побежал домой — за две версты от поля. Запыхался, едва отдышался — зато какими глазами глядела на него молодая мать, и младенчик, напившись, перестал орать, уснул, так трогательно раскинув ручонки.

Здесь же нередко встречал он безумную и бездомную Аграфену, которая бродила по полям, разыскивая умершего сыночка. Нашелся кто-то: не побоялся Бога — надругался над дурочкой.

К 37-му году домашнее образование Федора уже закончилось. Сначала отец определил старших сыновей в полупансион Николая Ивановича Драшусова, не просто обрусевшего, но ревностно желавшего быть русским француза Сушара. А затем, через год, перевел их в «пансион для благородных детей мужского пола» чеха Леонтия Ивановича Чермака, возле Басманной полицейской части, прямо напротив Московского сиротского дома. Занимались по полной гимназической программе. Пансион славился, здесь преподавали лучшие педагоги Москвы: известный математик, впоследствии академик, ректор Московского университета Д. М. Перевощиков; доктор словесности И. И. Давыдов; автор «Теории русского стихосложения» и магистр латинской словесности А. М. Кубарев; изучались здесь и древние языки, и античная литература...

К тринадцати годам Федор вырос в серьезного, задумчивого отрока; белокурый, сероглазый, он казался бледным и некрепким, может быть, потому, что природная страстность, «огонь» его натуры целиком переключались на книги. Давыдов знакомил учеников с Шеллингом — на его учении взросло немало русских умов и талантов, среди них и Белинский, о котором он здесь впервые услышал; уже в те годы Достоевский вовлекается преподавателями пансиона Чермака в сферу отечественно-литературных проблем и интересов: закрыты «Московский

телеграф» и «Телескоп»; Чаадаев объявлен сумасшедшим; явились «Капитанская дочка» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя (он недавно уехал за границу), «Литературные мечтания» Белинского — все это входит в круг духовных его интересов, бередит первые «литературные мечтания» самого Достоевского-подростка.

Родителей радовала ранняя серьезность сына, но сына родители не радовали. Уже «с осени 1836 года в семействе нашем было очень печально, — рассказывал младший брат Федора Михайловича — Андрей Михайлович. — Маменька с начала осени начали сильно хворать...»

Подрастая, Федя стал замечать странности в отношениях папеньки и маменьки. Конечно, от него много старательно скрывали, во многом он не в силах был еще разобраться сам, но и многое чувствовал и, чувствуя, все больше проникался нежной жалостью к маменьке, которая словно светилась и таяла на его глазах, как свечка на его столе в долгие вечера осеннего ненастья.

Отец, всегда будто застегнутый на все пуговицы, все чаще стал раздражаться и иногда даже кричал на маменьку. Добрый по природе, но вынужденный годами держать себя словно зажатым в кулак, высушенный гордостью уязвленного самолюбия, пылкий и склонный к болезненной подозрительности, Михаил Андреевич не мог придумать ничего более оригинального, как заподозрить однажды жену, мать уже восьмерых своих детей, в неверности. Когда Мария Федоровна как-то вечером сообщила мужу о том, «что ее постигла вновь беременность», Михаил Андреевич помрачнел и высказал вдруг свое «неудовольствие» таким тоном, что бедная маменька «разразилась сильным истерическим плачем», — вспоминает Андрей Михайлович. Сцены между родителями Феде приходилось видеть и раньше: как-то его дядя, Михаил Федорович Нечаев, младший брат маменьки, пришел, как обычно, в гости посидеть, поиграть на гитаре, попеть с Марией Федоровной песни и романсы, до которых брат и сестра были большие охотники. Федя любил такие вечера. Но вдруг явился папенька, и между ним и дядей произошел скандал. Папенька ругал дядю и называл его обидными словами за то, что тот без ведома папеньки, как оказалось, ухаживал за горничной Достоевских — Верой, молодой, очень красивой девушкой. Маменька плакала, а совсем еще юный Федя никак не мог понять: дядя Михаил Федорович и Вера — такие хорошие и та-

кие молодые, за что так осердился на них папенька, да еще и ударил дядю по лицу, так что дядя в их доме больше никогда не появлялся.

Феде было жаль дядю и Веру — она тоже ушла от них, и отца жалко — зачем он так раздражается, становится злым и некрасивым и — главное — несправедливым. Но всех жальче маменьку, она совсем худенькая, маленькая и такая несчастная. И как сделать, чтобы всем этим родным людям было бы хорошо и покойно вместе, чтобы маменька смеялась, как прежде, играла на гитаре, а папенька бы пусть и строг, но улыбался довольный? Маленькое, рано раненное сердце подростка, совсем еще ребенка, сжималось от боли за близких, за горько плачущих деток погорельцев, за свою маленькую подружку — как может он жить и забыть о ней, уже и лица ее не вспомнить, только белое в темных пятнах грязи и крови платьице неотступно преследует его. Слезы невольно капают, и стыдно — не девчонка ведь, и растет в груди теплый комок, и расширяется, и вот уже почти готов объять всех страдающих, и весь мир упрятать от бед, успокоить, убаюкать... И он засыпает, вздрагивая и просыпаясь во сне.

«С начала нового, 1837 года состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель... Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено! Мы готовились ежеминутно потерять мать... Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки... Маменька, вероятно перед смертной агонией, пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали...» Утром 27 февраля, в субботу, маменьки не стало. Ей было 36 лет... Через день, в понедельник, 1 марта 1837 года, в первый день Великого поста, Мария Федоровна уже покоилась на ближайшем Лазаревском кладбище.

А еще через несколько дней не оправившихся от первого удара братьев Достоевских настигла новая роковая весть: «Солнце нашей поэзии закатилось: Пушкин скончался...»

Братья чуть с ума не сошли, услышав об этой смерти и всех подробностях ее. «Брат Федор, — свидетельствует младший, — в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного

траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине».

Через многие потери проведет еще Достоевского его судьба, но эти первые — такие безнадежно горькие, оттого что первые, — прикосновения к великому таинству жизни и смерти взрыхлят его отроческую душу, посеют в ее почву семена, чтобы взойти в свой час ростками бессмертных образов, претворенных в слово горечи и любви.

Кроткие женщины его романов... В их тихих взглядах засветят еще миру незабвенные глаза Марии Федоровны, его матери. Маменьки... И Пушкина пронесет он через всю жизнь — станет он его Вечным Спутником, быть может, куда более живым, нежели многие из реальных современников его зрелости.

Было Достоевскому уже 16 лет, и пришла пора подумать о будущем. Отец решил определить старших сыновей, Михаила и Федора, в Петербург, в Инженерное училище. «По-моему, это была ошибка», — писал позднее Достоевский. Ехали вместе с отцом и Михаилом на долгих почти целую неделю. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком»... Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и поэтах. Брат писал стихи... и даже доро́гой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни...»

Удивительно устроен человек: его маменька, единственная его, — в земле; Пушкин — убит, и разве можно жить после этого? А он вот живет, и смеется, и радуется... Как же так? Какая тайна дает человеку силы жить, когда жить нельзя; смеяться и радоваться, когда надо бы вечно грустить и плакать? Как разгадать загадку? А иначе как и зачем тогда жить и называться человеком?

2. Петербургские сновидения

...Жить было нужно.

По окончании чтения «всемилостивейшего» приговора с осужденных сняли колпаки и са́ваны. Переломили шпаги над их головами. Потом всем выдали арестантские шапки и овчинные тулупы. Шерсть их, свалявшаяся, грязная, напоминала несчастным о тех, кому уже успели послужить прежде их одеяния. Тулупы были тут же

спешно надеты: двадцатиградусный мороз все же давал о себе знать, теперь особенно, когда впереди была еще целая жизнь... Он должен был собрать кружащиеся, разбегающиеся мысли воедино, ведь перед ним теперь вновь открывалась целая жизнь, и необходимо было понять, осмыслить — *какая?* Кто мог поведать? Знал одно — *иная.* Та, что была, оставалась там, за эшафотом. Там, позади, в, казалось, навсегда отрезанном, отделенном, как ножом гильотины, от неведомого будущего прошлом, оставались надежды и замыслы, родные могилы, друзья, живые близкие, с которыми суждено ли еще свидеться. И когда?..

К эшафоту уже подкатывали фельдъегерские тройки...

На всю жизнь врезалась в его память та давняя, отвратительная, от которой и сейчас позорно на душе, картина. На одной из многочисленных почтовых станций по дороге из Москвы в Петербург — не вспоминался ли ему тогда пушкинский «Станционный смотритель»? — Достоевский увидел, как «молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же сбежал со ступенек фельдъегерь и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые». Под впечатлением этой картины, «эмблемы и указания», как скажет потом он сам, и покатил Достоевский дальше, в Петербург, навстречу неведомому будущему.

По приезде остановились в дешевой гостинице у Обуховского моста, прямо на Московском тракте. Тут же начались первые огорчения: оказалось, что экзамены

в Инженерное училище только в сентябре, а значит, еще почти четыре месяца впереди. Слава богу, нашлись сведущие люди, подсказали: нужно определить мальчиков в пансион капитана Костомарова, он успешно готовит ребят к поступлению в Инженерное училище. Накладно, конечно, но делать нечего — не везти же обратно детей в Москву, да и будущность их для отца — дело теперь наиглавнейшее. Определив Михаила и Федора к Костомарову, Михаил Андреевич отбыл на службу.

К экзаменам по математике и языкам братья подготовлены неплохо, а вот фрунт, маршировка, ружейные приемы... И уже вскоре после отъезда Михаила Андреевича сыновья пишут ему о том, что в Инженерном училище, оказывается, «на фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знай все превосходно, то за фронтом можно попасть в нижние классы. Из этого вы теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в Училище». Так что нет худа без добра — все-таки какое-никакое, а утешение и отцу и братьям.

Субботы и воскресенья отдавались в пансионе Костомарова в полное распоряжение воспитанников, и погода к тому же способствовала прогулкам по граду Петра. «Погода теперь прекрасная. Завтра, надеемся, она также не изменится, и, ежели будет хорошая, то к нам придет Шидловский, и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу», — делятся братья с отцом. Как вспоминал впоследствии Федор Михайлович Достоевский, они еще по дороге «сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина». В квартиру пробраться, конечно, не удалось, но Иван Николаевич Шидловский показал им и дом Пушкина на Мойке, и другие места, связанные со священным для них именем. Увидели и Михайловский замок императора Павла, в котором теперь располагалось Инженерное училище.

Шидловский и сам недавно только приехал в Петербург, но рассказать о столице, не говоря уже о писателях, о литературе, мог много такого, о чем братья Достоевские слышали впервые. Он-то и прочитал им у дома Пушкина лермонтовские стихи «На смерть поэта», которые уже ходили в списках по Петербургу.

С Шидловским Достоевские познакомились в гостинице случайно, но не случайно подружились с ним; хотя он и был на четыре года старше Михаила и на пять — Федора, успел уже закончить Харьковский университет и

теперь служил в министерстве финансов, его поразили и широкая начитанность подростков, и круг их интересов, и самостоятельность суждений, особенно у младшего из братьев — Федора. Но более всего сблизила их любовь к Пушкину и всепоглощающая преданность литературе. Романтик и поэт по природе своей, Шидловский писал неплохие стихи, мечтал найти свой путь в этом великом деле — в деле высокого, потрясающего, переворачивающего души людей поэтического слова. Слово — великое дело, словом созидаются поколения, проповедовал он. Юноши впитывали в себя каждое его изречение — он не навязывал им своих убеждений, он умел говорить так, словно они сами уже знали, чувствовали, но только не успели выразить в слове эти свои чувства и знания. И теперь его мысли становились их собственными. Вот почему с таким нетерпением и ждали братья новых встреч с этим человеком.

Однажды в пансионе Костомарова появился еще один незнакомец, молодой, стройный, в военном мундире. Как оказалось, это был недавний воспитанник Костомарова, а ныне кондуктор Инженерного училища, Дмитрий Григóрович. Хотелось порасспросить его о житье-бытье в училище, но разговор не получился.

В начале сентября братьев Достоевских вызвали в училище для представления генералу Шаренгорсту, начальнику училища, и Ломковскому — его инспектору. После представления необходимо было пройти врачебный осмотр. И вот тут-то начались неприятности и впрямь нешуточные. Главный врач училища, осмотрев Михаила, признал у него чахотку и не допустил его к экзаменам. Федор был признан вполне здоровым.

Беспокойство о здоровье и судьбе брата, тяжелые мысли о предстоящей разлуке и одиночестве в чужом огромном городе затерзали Федора, а тут еще новость — по неизвестным ему соображениям начальство категорически отказалось принять его в училище на казенный счет, а потому необходимо внести за учебу огромную сумму — девятьсот пятьдесят рублей ассигнациями. Положение казалось безвыходным. Однако вскоре все пусть и не так, как предполагалось заранее, но все-таки устроилось: по рекомендации знакомых отца Михаил отправился в Ревель, где преспокойно поступил в инженерные юнкера, с деньгами помогла богатая тетенька — Александра Федоровна Куманина; необходимую сумму внес ее муж; сам же Федор успешно сдал экзамены и вскоре, перебравшись

от Костомарова в Михайловский замок, облачился в черный мундир с красными погонами, получил кивер с красным помпоном, наименование «кондуктора» — и началась новая жизнь. Всех поставили по ранжиру, пришел человек заспанного, сумрачного вида, который обвел всех мутными глазами и вдруг скомандовал: «Направо, марш!» — и пошли занятия: в классах и в поле, маршировка тихим и скорым шагом, уставы и лагеря, смотры и парады...

Инженерное училище — одно из лучших учебных заведений того времени — давало не только прекрасную военно-инженерную подготовку, но и основательную подготовку по широкому, в том числе и гуманитарному, кругу познаний. Так, за время учебы Достоевский должен был пройти, помимо курсов топографии, аналитической и начертательной геометрии, физики, артиллерии, фортификации, дифференциального и интегрального исчислений, статики, тактики, строительного искусства, теоретической и прикладной механики, химии, военно-строительного искусства, еще и курсы российской словесности, французского языка, рисования, гражданской архитектуры, закона божьего и государственного, отечественной и мировой истории... «Вообразите, — пишет он отцу, — что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минуты, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пения, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит все время».

Да, нелегко давалась служба мечтательному, углубленному в себя, в мировые (а как же иначе?) проблемы «рябцу», как насмешливо именовали в училище новичков. «Огромному пышному блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская», предшествовала внушительная подготовка: «Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардией, и перед всяким смотром нас мучили в роте на учениях, на которых мы приготовлялись заранее... В будущем месяце мы выступаем в лагери», — жалуется он брату в письме. Нелегко, конечно, было всем, но, как свидетельствует его товарищ по училищу, в будущем известный художник Трутовский, «во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил

к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем норовистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили.

Нравственно он также отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него».

Вокруг был один мир: «...что я видел перед собою, какие примеры! — писал позднее об этом времени сам Достоевский. — Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать... и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами, и не одного, не двух!» Конечно, Достоевский не был вовсе одинок в училище: рядом с ним было немало по-своему интересных и даже замечательных в будущем людей: известный писатель Дмитрий Григорович, художник Константин Трутовский, физиолог Илья Сеченов, организатор Севастопольской обороны Тотлебен, покоритель Хивы и Самарканда Константин Кауфман, герой Шипки Федор Радецкий... С большинством из них в годы учения у Достоевского сложились товарищеские отношения. И все-таки даже для них он был человек уединенный, замкнутый — *«особняк»,* как назовет его в своих воспоминаниях будущий автор многих теоретических работ по военно-инженерному искусству, а в те времена служивший в училище дежурным офицером, — Александр Савельев.

Новая жизнь давалась ему с великим напряжением сил, нервов, мучениями затаенного самолюбия и честолюбивых надежд. Но была и иная жизнь — внутренняя, сокровенная, непонятная окружавшим его. «Федор Михайлович, — вспоминает Григорович, — уже тогда выказывал черты необщительности... сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти и всегда с книгой.

Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением».

Этой внутренней жизнью своей Достоевский мог поделиться разве что со старшим братом, кажется, единственно по-настоящему близким ему в то время человеком.

Но раннему духовному возмужанию он обязан был не только собственной природе, но и тому, кто в те годы благодатно возделывал ее, — старшему другу Ивану Шидловскому.

С благоговейным восторгом вспоминал Достоевский те редкие, свободные от занятий и караульной службы часы, когда он сквозь петербургское ненастье пробирался в скромную квартиру Шидловского, бормоча стихи о грустной зиме Онегина, и они просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! Гомер, Шекспир, Гёте, Гофман, Шиллер...

«Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии, — пишет он брату 1 января 1840 года. — Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил сам, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда...»

Шиллер переживается не внешне, хотя и вполне литературно: Достоевский и сам как бы становится на время «немного Шиллером». И Гофманом: в его голове возникает даже «прожект: сделаться сумасшедшим. — Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным». И судьба Гамлета переживается им личностно: «Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные дикие речи, в которых звучит стенание оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают души моей. Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя...»

Знакомство с Бальзаком и вовсе потрясает его: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека...» Бальзак велик, конечно, но и Достоевский вполне уже созрел для того, чтобы воспринимать его; но дело и не в самом по себе восторге перед Бальзаком: он — опора для взлета его собственных мыслей о жизни, человеке, мире. И о слове.

Слово для юного романтика Достоевского — строитель мира и человека, а следственно, великие поэты — миросозидатели. «Гомер, — делится он с братом все новыми посещающими его откровениями, — (баснословный человек, может быть, как и Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу... Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в той же силе, как Христос новому...» Его письма к брату напоминают порой отрывки из философских трактатов, развивающих идею высочайшей значимости Слова. «Поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следственно, исполняет назначение философии...»

Возвышенно-романтические «порывы вдохновения» самого Достоевского противопоставляют его товарищам по училищу, но не освобождают от обыденной правды «дрянной, ничтожной кондукторской службы», от правды реально окружающей его действительности. Случайно узнает он причины, по которым его не приняли в училище на казенный кошт. «Недавно я узнал, — пишет он отцу, — что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступивших на казенный счет... Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно...»

Офицер А. Савельев пишет в своих воспоминаниях о том, с каким негодованием говорил Достоевский о тех начальниках училища, которые за известные услуги получали взятки, подарки от родителей богатых «кондукторов» и даже добивались наград благодаря установившимся связям с сильными мира сего...

Нет, Достоевский отнюдь не был брюзгой, высокомерно презиравшим всех преподавателей как людей бездарных и бесчестных. Он с нескрываемой симпатией относится к профессору Плаксину, учителю русской словесности. Пусть тот даже не признает Гоголя — чудак! старинный человек! — но с каким восторгом он говорит о Пушкине, Лермонтове, Кольцове, о поэзии народной... А занятия по истории архитектуры! А курс Жозефа Курнана — Расин! Корнель! Малерб! Ронсар! Бальзак! Гюго!.. Однако вскоре он уже вынужден был извещать отца о том, что его оставили на год в том же классе: «Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции)... Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих... С двумя из них я имел личные неприятности — одно слово их, и я был оставлен...»

С братом он еще более откровенен: «О ужас! Еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня... До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз...»

Та жизнь, которой он жил, пыталась превратить юного «Шиллера» в байронического «Сатану»... Но здесь была отнюдь не аристократическая месть отверженного «любимца небес». Тут более глубокая и, по существу, никем еще не выявленная трагедия «маленького человека», маленького социально, сознающего свою ничтожность перед «сильными мира», оскорбленного своей социальной малостью. Это было оскорбленное самолюбие Шиллера и Гомера, Шекспира и Гёте, вынуждаемых обстоятельствами вымаливать у бога не вдохновение, но деньги. На пару сапог, на чай...

Будь он богач, аристократ, о, он бы просто обошелся и без чаю и даже, пожалуй, без новых сапог; но ему, сыну лекаря, наделенному душою Шиллера... Ему без чаю невозможно: потому что не для себя ведь чай пьешь-то, а для других, чтобы те, выпрыски знатных родов, с фамильными бриллиантами в перстнях, и помыслить не могли, будто он, Достоевский, не имеет средств даже на чай...

Тяжело в этом мире уязвленной бедностью шиллеровской душе юного мечтателя. Приходят минуты уныния, безысходности. «Брат, — жалуется он, — грустно жить без надежды... Смотрю вперед, и будущее меня ужасает... Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, ныне лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело, или... Дальше говорить ужасаюсь... Мне страшно сказать, ежели все прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы...»

А тут еще вдобавок прослыл «чудаком», «дурачком» и даже «идиотиком» — не то чтобы вслух и не то чтобы кто сомневался в его умственных достоинствах, но будто не от мира сего. «Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый... никогда нельзя было видеть его праздным и веселым. Любимым местом его занятий

была амбразура окна в угловой (так называемой круглой каморы) спальне роты, выходящей на Фонтанку... — вспоминает А. Савельев. — Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящего за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло... Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Федор Михайлович любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать; но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика сидящим за его работою».

Подобные странности Достоевского обращали на себя внимание, вызывали любопытство к нему: то он после лекций по закону божию пристает к священнику Полуэктову с вопросами, от которых у бедного батюшки брови то резко вздымаются, то наползают на глаза, — ну и прозвали Федора «монахом Фотием», видимо, в честь только что усопшего архимандрита, о котором в высших кругах говорили как о «смиреннике», «не от мира сего» человеке. А то и вовсе: назначили ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, брату императора Николая Павловича, а Достоевский, представляясь, умудрился назвать его императорское высочество «вашим превосходительством», словно какого-нибудь обыкновенного генерала...

— Присылают же таких дураков! — искренне возмутился великий князь и распек, как положено, и неудавшегося ординарца, и его начальство.

Однако «чудака» полюбили и товарищи, и даже начальство: в его серьезности, самостоятельности мнений и решительности поведения было нечто не просто привлекательное, но и такое, с чем невозможно было не считаться. К его мнению стали прислушиваться, а потом и обращаться к нему за советами. Вскоре Достоевский стал уже серьезным авторитетом для наиболее думающей части своих сотоварищей. «Я, — признавался в своих воспоминаниях Д. Григорович, — не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высокой степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня...» Воспитанник старшего класса Иван Бережецкий «слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю»; Алексей Бекетов, брат будущих ученых-естественников, художник Константин Трутовский, написавший первый портрет Достоевского, — вот небольшой, но тесный круг друзей, сплотившихся вокруг Федора Михайловича.

Телесные наказания в Инженерном училище были запрещены (чем особенно гордились его питомцы перед воспитанниками других военно-учебных заведений), тем оскорбительнее воспринималось возведенное в обычай обращение старших кондукторов с младшими — «рябцами». Достоевский, не отличавшийся особой силой или решительностью и уменьем кулачного бойца, как, например, будущий герой Шипки Федор Радецкий, тем не менее приобрел среди сотоварищей такой авторитет, что нередко одного его появления бывало достаточно для того, чтобы прекратить насилия и издевательства сильных над слабыми.

По воспоминаниям Григоровича, треть всего состава учащихся были немцы (немцы составляли и бо́льшую часть преподавателей училища, что в целом соответствовало и числу иностранцев, в то время прежде всего немцев, в составе высшей чиновничьей бюрократии империи: Николай I не очень-то доверял русским, особенно после декабрьских событий двадцать пятого); треть — поляки и еще треть — русские. Между первыми двумя землячествами порой возникали раздоры — и тут звали Достоевского в третейские судьи, и он, как правило, умел примирять ссоры, не давать им перерасти во взаимную вражду.

Трудно сейчас точно сказать, что тогда произошло в училище, но 23 марта 1839 года Достоевский писал отцу: «Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до Вас. У нас в Училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге; ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних. 5 человек кондукторов сослано в солдаты за эту историю. Я ни в чем не вмешан...»

Что могло побудить начальство к столь суровым мерам? В училище существовало множество различных объединений его питомцев по интересам, не предусмотренных уставом. Одни находили удовлетворение в измывательствах над младшими сотоварищами и некоторыми из неродовитых преподавателей; другие объединялись в наивно-тайные «общества» — «род масонства, имевшего в себе силу клятвы и присяги», — по воспоминаниям А. Савельева; третьи пытались продолжить традиции секты

«людей божьих» *, хлыстовцев, в 30-х годах свившей одно из своих гнезд в Михайловском замке: об их радениях — плясках, кружении с пением — много говорили в училище.

Да, по-разному выражалась жажда юношей к живой, вне предписанного распорядка, вне однообразной, как солдатская похлебка, жизни. В училище уже были свои, «местные» легенды и предания, свои идеалы и образы, воплощающие их. Так, еще в двадцатые годы один из лучших воспитанников училища, ученик офицерских классов Брянчанинов, и его ближайший друг — поручик Чихачев вдруг неожиданно для всех подали в отставку и ушли послушниками в монастырь. В среде, воспитывавшей чинопреклонение и чинопродвижение как идеал образцовой жизни будущих офицеров, хранились тревожащие дух воспоминания о двух праведниках, осознанно и добровольно отрекшихся от предписанного им блистательного будущего, что воспринималось некоторыми из учеников как «символ и указание», как бунт свободной совести против уставной предначертанности судьбы. Уже вскоре после столь загадочного для большинства питомцев и администраторов поступка в училище как бы сам собой образуется кружок «почитателей святости и чести» **. Традиции этого кружка дожили и до времени Достоевского. Юному романтику, жаждавшему шиллеровских страстей и гофмановских тайн, эти традиции, вне сомнения, были близки.

Впрочем, страсти и тайны буквально окружали Достоевского, шесть лет проведшего в стенах Михайловского замка. Вот бредет по коридору девяностолетний «кастелян» замка, «чудодей» Иван Семенович Брызгалов — на нем старинный мундир, высокие ботфорты, шляпа павловских времен, в руке длинная трость. Он мог бы многое порассказать о загадках истории последнего павловского убежища. Замок был возведен в 1801 году по велению Павла архитектором Баженовым. Собственно, это был не столько замок-дворец, сколько крепость, окруженная рвами с водой и с перекидными через них подъемными мостами, вокруг замка установили пушки. Говорили, будто Павел боялся мести каких-то масонов.

— Он и сам был сначала масон, а потом порвал с ними, — переходя на шепот, сообщал один из старших воспитанников.

— За то и мстили императору, — добавлял другой, передавая новеньким легенды и были замка.

— Масоны там или кто, — размышлял третий, — но прожил здесь император только сорок дней — ночью 11 марта 1801 года его задушили в опочивальне, это там, где теперь наша домовая церковь.

— Господа, господа, как же так, — волновались вновь посвященные, — церковь ставят на месте убиения токмо в том случае, ежели убиенного святым почитают! Тут что-то не так! Тайна какая-то, господа!..

— Тут тайна на тайне, — перебивал его кто-нибудь из старших, — злоубийство-то на сороковую, заметьте, ночь после вселения императора в замок учинено — число, господа, мистическое!

— Масоны ведают секрет чисел, господа, а вообще-то они революционеры и республиканцы, — уже едва слышалось.

— Иезуиты они и убийцы, — возражали ему молодым, неустоявшимся басом. — Враги отечества и православия.

— Господа, это как же так, господа, выходит, будто и сам государь император был поначалу врагом православия и отечества своего? — удивляясь собственной логике, опасливо спрашивал кто-то.

— Или революционером, — продолжал другой, и все прыскали, озираясь.

— Ну вот, договорились, за такое блудомыслие знаете что! — испуганно угрожал скрипучий голосок.

Объяснить толком все эти и другие странные и страшные вещи было некому, и новые владельцы тайн разбредались по замку, озадаченные тем более, что многие из них вспоминали при этом, что император Александр I, с чьего согласия будто бы удавили его отца, и сам, как утверждали дворцовые легенды, был в то время масоном...

Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок... —

вспоминаются Достоевскому потрясающие своей откровенностью и дерзостью строки пушкинской «Вольности» — она ходила в списках по Петербургу, и Иван Николаевич Шидловский читал ее своему юному другу. Пушкину было тогда ровно столько же, сколько и ему, Достоевскому,

* «Секта людей божьих» или «христовщина» — «хлыстовщина» — одна из мистических сект, распространившихся в России со второй половины XVII века.

** История Брянчанинова и Чихачева описана в повести Н. С. Лескова «Инженеры-бессребреники». Душевная драма одного из последователей, Николая Фермора, послужила основой «Записок доктора Крупова» Герцену.

сейчас, — восемнадцать лет... И Пушкин уже писал такие стихи! — и ведь писал где-то неподалеку отсюда, глядя, как рассказывали, из окна друзей своих, братьев Тургеневых, на Михайловский замок, ставший теперь для него, Достоевского, темницей и погребальницей его собственных литературных и иных мечтаний. Эх, кабы на свободу — какая жизнь! Пушкин в его годы успел уже прогневить царя, потом был сослан на юг... Конечно, необязательно же гневить царя и быть сосланным, чтобы стать великим, — ему совсем не хочется ссылаться никуда, хотя это так жалостливо и так возвышенно... Господи, прости за греховные мысли, да минует меня чаша сия; не дай никого прогневить, даже училищное начальство, а то угодишь как раз еще на год в тот же класс, — нет, уж лучше помереть сразу...

Красив пустынный в эти предотбойные часы дворец, когда кондукторы и «рябцы» уже поразошлись по своим комнатам, а начальство разъехалось по домам. В полусвете дрожащих свечей еще резче тени его лепного орнамента; еще загадочнее светлеют из темных углов античные слепки; матово поблескивают фрески, палата арабесок, ротонда атлантов, галерея Рафаэля... Теперь это конференц-зал, библиотека, приемные покои...

Сколько же еще томиться ему среди этой красоты? Скорее бы на волю...

...И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари —
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Пробил отбой. Глаза его слипаются, в полудреме всплывают, перемежаясь, недавние и давние видения.

Вот их рота располагается на ночь после утомительного похода в летние лагеря — в деревушке Старая Кикенка, что неподалеку от имения графа Орлова. Казалось, сама бедность в своем, ничем не прикрытом облике предстала перед его взором: низкие избы, потемневшие лики молодых, должно быть, крестьянок с плачущими голыми младенчиками на руках...

— Отчего детки плачут? Почему матери их черны? Почему не накормят дитё?.. — вспоминается ему давнее.

— Голодны, и нечем накормить, высохли груди матерей...

Неохотно, по слову рассказали мужики о бедах: глиниста земля, промыслов нет, последнее отбирают для их сиятельства, а может, и для его управляющего — кто ж их проверит, да и у кого просить милости, кому жаловаться?

Достоевский первый выложил в помощь несчастным — пусть хоть деток, младенчиков накормят — полученные от отца «на чай» и еще не до конца потраченные деньги. Его поддержал богатый, но чуткий к чужим бедам Бережецкий; вложили кто сколько смог в общую складчину и другие будущие офицеры. Но один... И ведь не из аристократов, им-то что до этих мужиков и баб, до этой черной крепостной кости — они для них словно чужая нация, нация их подневольных рабов; да и то: тот — барон, кичится своими остзейскими предками, тот — граф — курляндскими, а этот... Есть среди титулованных — знает Достоевский и таких, — кто обязан своими недавно купленными титулами откупам и винокурням, если уж и они — бароны, так он, Достоевский, тогда точно испанский король... А русский граф Орлов? Да он, видимо, только понаслышке знает о существовании такой «нации» — крестьяне, а в лицо ее никогда не видывал. А ведь среди и его мужиков — и этих, старокикенских, — не исключено, есть и те, кто четверть века назад спас отечество от Бонапартова нашествия, прославил на весь мир имя русского солдата...

Но этот-то, этот — хоть и тщательно скрывает, — но он, Достоевский, знает: он-то из мелких чиновников, принят в училище из милости, неужто ему незнакомо, что значит бедность? Неужто его сердце навсегда закрыто состраданию несчастным? Отказал... И как! С каким-то злорадным юродством, он — без пяти минут русский офицер, гордость и оплот отечества.

— Не имею возможности-с, самому, знаете ли, на чай, с позволения сказать, необходимы-с...

Да, удивительное существо — человек... Тишина. Слышно, как бьют зорю на Петропавловке.

— ...Народов волю и покой... — шепчет он, засыпая.

Что-то этот, 39-й год какой-то уж очень грустный, — да и каким ему быть? — Шидловский уехал и сказал: навсегда. В последнее время он очень хворал и телом и

душой. Придется ли еще когда свидеться с этим удивительным человеком, которым одарила его судьба, — сколько в нем поэзии, сколько гениальных идей! — что с ним теперь? Где он? Жив ли?..

Последний год он перебивался в Петербурге без дела, без службы, тяжко переживая измену любимой. Впрочем, измену ли? Нет, нет, тут не привычная история бедности, заставляющая отречься от любимого, но бессребреного человека, броситься в омут обеспеченного замужества с богатым стариком. Тут история иная — мрачная, фантастическая: что-то произошло с душой ее, словно ее околдовал старый чародей, заманил, заворожил ее, неопытную, и томится она, не ведая освобождения.

И он не умеет спасти ее, и нет ему покоя на земле, пока властвует страшный чародей над любимой оцепенелой душою...

Посмотреть на него — чистый мученик: накануне Рождества даже всерьез собирался броситься в прорубь, но без этой обреченной любви разве был бы он столь возвышенным поэтом? Достоевский обожал своего старшего друга, восторженно романтические порывы его стихов:

Ах, когда б на крыльях воли
Мне из жизненной юдоли
В небеса откочевать,
В туче место отобрать,
Там вселиться и порою
Прихотливою рукою
Громы чуткие будить
Или с Богом говорить...

Да, на меньшее он был не согласен. А говорить умел. Как он умел говорить! Николай Решетов в своей книге «Люди и дела минувших дней» рассказал о последней встрече с Шидловским ранним утром, при восходе солнца в степи: на Муравском шляхе, у самой границы Харьковской губернии, стоял шинок. «Подъезжая к нему, — пишет Решетов, — я увидел толпу крестьян, мужчин и женщин, а посреди них человека высокого роста, в страннической одежде, в котором я немедленно узнал Ивана Николаевича Шидловского. Он проповедовал Евангелие, и толпа благоговейно его слушала: мужчины стояли с обнаженными головами, многие женщины плакали». Это был первый религиозный мыслитель-романтик на жизненном пути Достоевского и первый встреченный им живой проповедник; под его влиянием Достоевский развивает в письме к брату Михаилу идею двуединой природы человека: «Одно только состояние и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище... принял значенье отрицательное, и из высокой... духовности вышла сатира... Но видеть одну жестокую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее... знать и быть как последнее из созданий... ужасно! Как малодушен человек...» Может быть, как никто другой, Шидловский сумел внушить юному Достоевскому идею необходимости духовного перерождения мира проповедническим словом. Сказано ведь: «Глаголом жги сердца людей!»

Лично знакомый с Николаем Полевым и страстный поклонник его журнала, Иван Шидловский любил повторять сказанные ему Полевым слова: «На человека надобно смотреть как на средство к проявлению великого в человечестве, а тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется, и прошлые добродетели, случайные пороки сгинут». Утверждая в сознании Достоевского идею высокой духовной миссии человека на земле, Шидловский вместе с тем внушал юному другу и ценность земных проявлений, «вздохов» жизни:

Дождусь я радостного дня;
И вечность, время заменя,
Отворит мне свою обитель.
И там в сияющих дверях
Меня приемлющего рая,
Я оглянусь с тоской в глазах,
С улыбкой скорбной на устах,
Проплытый путь благословляя.
И перед новостью отрад
Смущаясь робкою душою,
Проситься вздумаю назад,
Прошедшим бурям буду рад,
Вздохну о жизни со слезою...

В нем удивительно сочетались жажда светлого и трудного подвига, готовности к отречению от себя, от всего земного во имя утверждения святости на земле и столь же страстная жажда повседневных общественных бурь.

— Вот так-то, друг мой, стремление к подвигу души свято, но боязно: утвердишь ли рай здесь, на земле, или же в душе своей, войдешь в него — и затомится в нем душа, заплачет, завздыхает по бурям живой жизни...

Периоды искренней веры сменялись в нем внезапно

состоянием неверия и отрицания: он мог с равной личной заинтересованностью вовлекать Достоевского в общественно-литературные споры и борения, внушать ему презрение к «похабнику» Сенковскому, внимание к «Отечественным записками» Краевского, в которых трудился Белинский, сожалеть о том, что пушкинский «Современник» попал в ненадежные руки Плетнева, и одновременно полностью отдавать все силы своей страстной натуры, время и знания главному труду своей жизни — «Истории русской церкви». Но и этот труд не смог подчинить себе всю широкость его возможностей и устремлений. Мечтая вместе с тем о поприще поэта и не находя успокоения своей глубокой, но мятущейся душе, неспособной примириться с подлостями жизни, с миром, принявшим значение сатиры, с малодушной неспособностью человечества к взрыву воли, чтобы разбить оковы томящейся вселенной, не удовлетворенный и собой самим романтик, в конце концов уходит в Валуйский монастырь. Но и этот «подвиг смирения» не дает исхода его душе. И вот он уже паломник, бредущий в Киев, к какому-то «святому старцу», чтобы просить у него совета, и каков бы ни был совет — поступить по его воле. Выслушав удивительного человека, старец посоветовал ему оставить монастырь и жить в миру — «там твой подвиг»; Шидловский уезжает домой, в деревню — небогатое имение родителей — и живет там, в миру крестьян, помогая и проповедуя им. Но живет, до конца дней своих не снимая одежды инока-послушника...

Такова история первого в жизни Достоевского замечательного человека, который оказал глубокое влияние на его духовный, нравственный мир, на его сознание, творчество... Собственно, один из заветных уголков истории души самого Достоевского. И уже в конце жизни умолял он своих биографов непременно рассказать и о Шидловском: «Это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы имя его не пропало».

Последнее время Достоевский пребывал в крайне стесненных обстоятельствах; он вконец потратился, а отец обещанных денег все не слал. Пришлось — стыд-то какой! — напоминать, входить в унизительные объяснения. Наконец в начале июня письмо пришло. Отец просил повременить с деньгами: хозяйство приходит в последнее расстройство. «Представь себе зиму, — жалуется он сыну, — продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что

по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали *не только сено, но и солому, то кольми паче* теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 рублей. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы! Жара, ветры ужасно все погубили... Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом...

Неустройство состояния нашего, долги, нужда, недостатки, *лишения... истощают по каплям мое здоровье...»* Сын не имел права жаловаться на скупость отца — только его учение обходилось Михаилу Андреевичу по две тысячи в год, при его окладе в тысячу годовых, следственно, на нем лежала постоянная необходимость подрабатывать частной практикой. Да и в училище слал сколько мог, так что мог бы сын и без чаю с сахаром обойтись пока...

Мог бы, конечно, ежели не был вынуждаем сообразовывать свои привычки и потребности с обычаями окружения. А быть исключением — значит подвергать себя унизительным неприятностям. «Будь я на воле, — писал он отцу тогда, в последнем письме, — на свободе... я обжился бы с железною нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи... но это будущее недалеко, и Вы меня со временем увидите. Теперь же... иметь чай, сахар... необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке или в такую погоду придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю... Прощайте, мой любезный папенька».

— Миру ли провалиться или вот мне чаю не пить?.. — так стыдно и за вынужденность просить отца о помощи, и за отца, вынужденного отказывать, и за себя самого, за малодушие перед вечно висящим над тобой: «Что люди скажут?» Для них ведь и чай пьешь... Не шел из головы злорадный ответ сотоварища по училищу, но и он, он — «юный Шиллер», жаждущий духовного подвига, гордо презирающий человечье рабство перед законами обстоятельств, и он, хотел того или нет, употребил в дело ту же философию: знал ведь, каково будет отцу отказать сыну в деньгах на чай. Неужто такова подлая природа человека, что и презираемое им имеет над ним какую-то

тайную власть, проявляя даже и в «Шиллере» подполье уязвленного обывателя? Широк человек, слишком широк...

А через несколько дней, будто страшная расплата, известие о скоропостижной смерти отца, последовавшей 8 июня 1839 года в поле от апоплексического удара. И нет уже возможности облегчить душу, объясниться — потрясение было столь сильным, что, по некоторым свидетельствам, с Федором случился припадок — ранний предвестник будущего жестокого недуга. Отец давно уже жаловался на недомогания, а с тех пор как супруга покинула его для лучшего мира, сорокасемилетний вдовец места себе не находил и вовсе затосковал, занемог.

Определив Михаила и Федора и вернувшись в Москву, Михаил Андреевич твердо решил оставить службу и поселиться в деревне. Отказавшись от предложенного ему повышения, подал прошение об отставке «с пансионом за 24-летнюю беспорочную, ревностную службу с мундиром» и, взяв с собой дочь Вареньку, отправился в свое разорившееся имение с тем, чтобы младшие с Аленой Фроловной приехали чуть позднее. Андрея же определил на полный пансион к тому же Чермаку, у которого обучались и старшие.

Но и в деревенском уединении было не легче, дошел до того, что говорил вслух с покойной женой, а потом и вовсе запил. Тогда-то он и приблизил к себе Катерину. Еще при незабвенной — царство ей небесное — Марии Федоровне взяли из деревни в дом трех сироток. Акулина, старшенькая из них, помогала Михаилу Андреевичу в его врачебной практике, младшую, скромницу Арину, особенно полюбила Мария Федоровна; средняя, Катерина, ровесница Феди, «огонь-девчонка», по воспоминаниям Андрея Михайловича, кажется, впервые пробудила в подростке мечтания о подвиге «во имя женщины», полуявные видения побега с ней — далеко, не все ли равно куда? — а чуть позднее и ночные, уже не детские, но еще не взрослые, пугающие и радующие мальчика, первые укусы страстей начинающего сознавать себя, мужающего тела.

Федя уже чувствовал, что за подчеркнутой строгостью отца к Катерине скрывается обидное мальчику неравнодушие к ней взрослого мужчины, а маменька однажды даже попыталась выйти из себя — на что отец только и повел непонимающе бровью.

Теперь, оставшись один и как-то обмякнув и полуопустившись, Михаил Андреевич приглядел себе семнадцатилетнюю, крепкую девушку, которая и родила ему

еще одного, последнего и вскоре умершего ребенка. А через несколько месяцев не стало и самого Михаила Андреевича. Труп освидетельствовал приехавший из ближайшего Зарайска врач — установил естественные причины смерти; потом приехал другой, уездный, подтвердил свидетельство первого, но... Поползли слухи, будто владельца Черемошны и Дарового убили его крестьяне, давно не любившие мрачного, раздражительного барина; другие добавляли, что кончили его «за девок»; третьи возражали: иные-де помещики позлее и до девок поохочее и ничего, живут; просто, мол, обезумели мужики от беспросветности, вот и порешили барина. Слухи эти доходили до властей, проверялись: время-то было неспокойное, в разных местах крестьяне действительно расправлялись с помещиками; суд бывал короток — в Сибирь, в кандалы. Началось следствие, слухи не подтвердились, и дело отправили в архив. Поговаривали, правда, будто это богатые Куманины подкупили следствие, рассуждая: человека, мол, все равно не вернешь, а людишек в Сибирь загонят, кто работать будет? Подозревали в распространении слухов Хотяинцевых, богатых соседей по имению, земли которых охватывали со всех сторон нищие даровские и черемошнинские угодья. А распространяли якобы для того, чтобы оттягать эти земельки: покойный Михаил Андреевич вел с соседом давнюю тяжбу о законном разделе владений.

Так оно или нет и как было на самом деле, где грань между приоткрытой истиной и корыстной сплетней — кто теперь разберет? Но Федору стали известны и эти усугубляющие и без того мрачное известие слухи. Он тяжело переживал их — верил в них и не верил, но в том их и сила и назначение — забыть о них уже не мог.

Мучили мысли о судьбе младших. «...есть ли в мире несчастнее наших бедных сестер и братьев? — пишет он Михаилу. — Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны... Что мне сказать тебе о себе... Не знаю, но теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем пожертвую. Но часто, часто думаю я, что доставит мне свобода?.. Что буду я один в толпе незнакомой?.. Надо сильную веру в будущее, крепкое сознанье в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами; но что же? все равно, сбудутся ли они или не сбудутся; я свое сделаю. Благословляю минуты, в которые я мирюсь

с настоящим (а эти минуты чаще стали посещать меня теперь). В эти минуты яснее сознаю свое положение, и я уверен, что эти святые надежды сбудутся.

...взор яснеет, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный. Душа моя больше недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь» — в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно...

Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком...»

Теперь он был другим: со смертью отца юность осталась в прошлом; несчастье рано заставило его ощутить себя взрослым человеком, которому приходится рассчитывать только на самого себя.

А жизнь текла своим чередом, и нравилась она ему или нет, он был не в состоянии что-либо изменить в ней: фортификации, парады, экзамены... Опеку над младшими братьями и сестрами Достоевских взяли на себя Куманины. Федор был бесконечно благодарен им за это, но... Тут что-то не то, казалось ему, слишком уж поспешно решили они обручить Вареньку — любимую его сестру — с богатым вдовцом, вдвое старше ее, — Петром Андреевичем Карепиным, а через два месяца, 25 февраля 40-го года, произошло и венчание их, после чего Петр Андреевич был оформлен опекуном над имением и имуществом Достоевских.

Сама Варвара Михайловна ни в коей мере не видела в своем замужестве ни вынужденности, ни сердечной драмы; мужа любила, ценила и потому не могла понять, за что так не любит его Федор. «Бог с ним, не хочет никогда написать ни строчки. Ежели бы он видел и знал Петра Андреевича, то не утерпел бы и полюбил бы его всей душой, потому что этого человека не любить нельзя, ты знаешь, любимый брат, его душу и доброту и сам можешь оценить его», — писала она брату Андрею. Но тем не менее Федор настолько искренне воспринял этот брак как вынужденный, увидел в нем смирение бедности и сиротства перед пошлостью преуспевающего дельца, что даже имя ее мужа — Петр — сделалось для него синонимом делячества. Только амбиция гордого сердца Вареньки, думалось ему, не позволяет ей открыться, признать свою уязвленность. Но что сам он мог предложить ей взамен, кроме беспомощного сострадания?

Время шло. По возвращении из Петербургских лагерей Достоевского производят в унтер-офицеры, а 27 декабря 40-го года — в портупей-юнкера. Но живет он другим: долгая разлука с Михаилом не охладила прежнюю пылкость дружбы, искренность сердечных отношений: «...приезжай скорее, милый друг мой, ради Бога, приезжай!.. Целые годы протекли со времени нашей разлуки... в тяжелом грустном одиночестве...» Федор в это время живет под впечатлением только появившегося, но уже прочитанного им «Героя нашего времени». «В самом деле, как грустна бывает жизнь твоя и как тягостны остальные ее мгновенья, когда человек, чувствуя свои заблуждения, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной, в неестественности, в деятельности, недостойной для природы твоей: когда чувствуешь, что пламень душевный задавлен, потушен бог знает чем, когда сердце разорвано по клочкам, а отчего? От жизни, достойной пигмея, а не великана, ребенка, а не человека».

В каждом письме к брату Федор подробно, страстно разбирает его драматические и поэтические опыты, советует, поддерживает, предостерегает, но нигде ни словом не поминает о собственных творческих мучениях.

В самом конце 40-го года Михаил приехал в Петербург для сдачи экзаменов на чин прапорщика полевых инженеров. Еще в сентябре он познакомил Федора со своим ревельским другом Александром Егоровичем Ризенкампфом, приехавшим в столицу поступать в Медико-хирургическую академию. Теперь каждую свободную минуту братья проводят вместе, нередко и с другом старшего. Много говорят о видах на будущее, о литературе, судьбе родных... Михаилу нужны деньги — решил жениться на ревельской немке Эмилии Дитмар, но ее родители, естественно, против брака с неимущим, бесперспективным инженером. Одна надежда на богатых родственников. И вскоре Михаил уезжает в Москву. Но родственники денег не дали, да еще и высмеяли его: «Поездка в Москву, — пишет он Федору, — сделала мне много вреда... Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь; но когда я смотрю на Эмилию, когда вижу в глазах этого ангела детскую радость, мне становится весело. Трудно мне

будет, брат, особенно первый год, но что делать, как-нибудь перебьемся».

В Петербург он вернулся вместе с братом Андреем — пора и тому думать о дальнейшем образовании. Успешно сдав экзамены, Михаил наконец стал офицером, самостоятельным человеком. Пришло время для новой разлуки братьев. Накануне отъезда в Ревель Михаил устроил прощальный вечер, на который, кроме братьев, пригласил и Ризенкампфа. Михаил читал свои стихи, а Федор, радуясь новому сближению, впервые открылся ему в сокровенном — прочитал свои еще не законченные драмы: «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель» *. Рано утром 17 февраля 41-го года Михаил отбыл в Ревель, оставив на попечение Федора Андрея. А 5 августа Достоевский переводится приказом по училищу из кондукторов в полевые инженер-прапорщики с оставлением в Инженерном училище для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе.

Получив офицерский чин и обретя наконец право поселиться на свободе, вне стен училища, Достоевский вместе с товарищем по классу — Адольфом Тотлебеном — подыскали себе небольшую квартиру на Караванной улице, близ Манежа. Каждому досталось по комнате — маленькой, длинной, похожей на гроб, мрачной и всегда в табачном дыму, но зато по средствам. Частная квартира давала относительную свободу, но жизнь, казалось, продолжала течь по старому заведенному руслу. То болел Андрей и старший превращался в няньку и ночную сиделку; иногда к соседу заходил его брат — ничем не примечательный лет тридцати штабс-капитан Эдуард Иванович Тотлебен **, большой любитель игры на гитаре и поклонник Глинки; бывало, забегали то Григорович, то Трутовский. Григорович оставил училище, решив полностью посвятить себя живописи и литературе. Ну что ж, Григорович имел средства для устройства своей жизни по собственному выбору. Рано лишившегося отца, его пестовали мать-француженка и бабка-вольтерьянка, достаточно состоятельные.

Трутовский тоже мечтал оставить училище и поступить в Академию художеств; даже забегая ненадолго к Достоевскому, он успевал за разговорами набрасывать

* Рукописи не сохранились и не были опубликованы.

** Позднее один из замечательных героев Севастополя, впоследствии герой Шипки.

портреты присутствующих. Григорович же, хотя и учился уже в то время в Академии художеств, заходил к Достоевскому поделиться литературными новостями: познакомился с молодым, только что приехавшим из провинции Некрасовым, кажется, неплохим поэтом; и тут же читал запомнившиеся ему стихи нового друга. Достоевский встречал их холодно — стихи оставили его равнодушным. Делился он с Достоевским и собственными литературными опытами; однажды прочитал ему свой очерк «Петербургские шарманщики». «Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, — вспоминал уже в конце жизни Григорович, — хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманщик перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...» Замечание это — помню очень хорошо — было для меня целым откровением. Да, действительно: «звеня и подпрыгивая» выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение... Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом». Григорович воспользовался советом Достоевского, ввел в текст живые детали, в том числе и связанные с пятаком. Очерк имел шумный успех.

Вскоре Достоевский переехал на другую квартиру, в угловой дом на углу Владимирского проспекта и Графского переулка, где и поселился вместе с Ризенкампфом. И эта квартира невелика, но куда светлее прежней, о трех комнатах; сам Достоевский, правда, жил всегда в одной угловой, другие, снятые им, не были даже меблированы. Платить пришлось побольше, но очень уж понравилось ему здесь: окно на церковь, и хозяин — деликатнейший человек, любитель искусства. Ризенкамф сидел дни и ночи за учеными книгами, Достоевский, если бывал при деньгах, в свободные минуты отправлялся в кондитерскую, чтобы почитать последние книжки «Отечественных записок» или «Библиотеки для чтения», а то, случалось, и в библиотеку заходил, брал русских писателей и французов. Домашним же собранием немецкой литературы, бывшей у Ризенкампфа, к огорчению Александра Егоровича, пренебрегал. Великих немцев он давно прочитал и пере-

жил, а от душещипательной посредственности — увольте! Зато, в утешение ученому соседу, часами декламировал ему из Гоголя, особенно из только что появившихся «Мертвых душ». Новых знакомств избегал, со старыми приятелями встречался нечасто, семейные дома и вовсе обходил — чувствовал в них себя не в своей тарелке. Правда, Ризенкампфу как-то удалось чуть не силой затащить его в семейство немцев, своих петербургских друзей, где в этот вечер собрались художники и писатели, — так Федор Михайлович, скромно и незаметно просидевший в дальнем углу весь вечер, внимательно вслушиваясь в разговоры знаменитостей, вдруг неожиданно для всех разгорячился, плюнул и разразился — по воспоминаниям Ризенкампфа — такой филиппикой против иностранцев, что изумленные гости, приняв его за сумасшедшего, поспешили удалиться, — вот и приучай таких к порядочным домам... Бедный Ризенкампф решил было, что тихий Достоевский питает какую-то неприязнь ко всем иностранцам, и был чрезвычайно удивлен и даже обижен, узнав, что его русский приятель, оказывается, близко сошелся с его товарищами по Медицинской академии из поляков, особенно с добродушным красавцем, человеком большого ума — Станиславом Сталевским.

Еще более безуспешными оказались старания доброго и аккуратного Александра Егоровича приучить Достоевского к порядку и расчетливости, о чем его, кстати, просил и Михаил Михайлович. Ризенкампф приступил к делу с методическим рвением, но и сколько же разочарований ему пришлось пережить. Ну ладно, когда у Михаила в 42-м году родился сын, Федор Михайлович на радостях послал ему 155 рублей, — эту щедрость добрый Александр Егорович еще мог понять, хотя и при этом стоило бы оставить и себе хоть что-нибудь. Но вот его друг и сосед снова оказался в кратковременном и редком состоянии — «при деньгах»: видимо, расщедрился опекун, дабы побудить опекаемого закончить училище. Достоевский позволил себе вместе с Ризенкампфом посетить концерты Листа, только что прибывшего в Петербург, певца Рубини, кларнетиста Бгаза, а после пасхи были они вдвоем и на «Руслане и Людмиле». Балет, Александринский театр — все это Ризенкампф тоже еще понимал. Однако, когда Федор Михайлович однажды ни с того ни с сего буквально стащил его с постели, посадил в пролетку и повез в ресторан Лерха на Невском проспекте, потребовал отдельный номер с роялем и закатил роскошный обед

с изысканными винами — Александр Егорович решительно запротестовал. Во-первых, он очень болен — и врачи запретили ему есть что бы то ни было, кроме предписанного (о вине и речи быть не может!), а во-вторых, как можно тратить такие деньги черт знает на что, когда чуть не каждый день приходится наведываться к ненавистным кредиторам и ростовщикам, заглядывать в ломбард? Но разве можно сопротивляться заразительности Федора Михайловича? Через полчаса добрый Ризенкампф был уже сыт и пьян, уселся за рояль — и тут же выздоровел...

На следующее утро, 1 июля 42-го года, Достоевский уехал в Ревель к брату — по этому случаю и гулял. Но разве это оправдание нерасчетливой траты денег? Сколько раз заставал его Александр Егорович сидящим на одном молоке и хлебе, да и то в долг из лавки. К доктору Ризенкампфу приходили посетители, главным образом бедняки, так как имени у него еще не было и частная практика была небогата. Когда доктора не было дома, Достоевский принимал каждого как дорогого гостя, кормил, если было чем, давал денег, расспрашивал, угощал чаем. И чего только не наслушался он от них...

— У нас, знаете ли, квартира такая, что не заболеть никак невозможно; у нас чижики так и мрут...

— Из меня бранное слово сделали — нешто так можно с человеком?..

— Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив...

— А я, знаете ли, втихомолочку живу...

— Оно, знаете, чаю не пить как-то стыдно, ради тона и пьешь... — Достоевский вздрогнул, вспыхнул — кровь прилила к лицу. — Бедные люди... Горемыки сердечные, Самсоны Вырины — сколько их в Петербурге, по всей Руси...

Добротой его пользовались. Денщик Семен не только сам существовал безбедно за счет недотепы-прапорщика, но ухитрился за тот же счет содержать и любовницу-прачку. С большим трудом удалось Александру Егоровичу разочаровать Федора Михайловича в «преданном» ему человеке. И не только в нем, но и в портном, сапожнике, цирюльнике. Впрочем, обкрадывали его кому только не лень. Бывало, периоды крайнего безденежья затягивались. «Как вдруг, в ноябре, — вспоминает А. Е. Ризенкампф,— он стал расхаживать по зале как-то не по-обыкновенному — громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы тысячу рублей. Но на другой же день утром... он опять своею обыкновенною тихою,

робкою походкою вошел в мою спальню с просьбою одолжить ему пять рублей. Оказалось, что большая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнером, которого Федор Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние пятьдесят рублей».

Характер «тихого» Достоевского нередко проявлял себя в страстных порывах, азарте, стремлении к риску... В последнее время он увлекся не только бильярдом, но и картами. Если играть было не с кем, играл со слугою Егором. Азарт и доверчивость чаще всего приводили его к горьким разочарованиям: веселые партнеры оказывались профессиональными шулерами, о слуге, которого уже совсем было готов почитать за приятеля, вскорости пришлось с горькой улыбкой сообщать брату: «Егор — вор и пьяница...»

Хорошо еще, встречались и благожелатели, порядочные люди с опытом — предупреждали, бывало: не садитесь играть, это шулера, знаю, вся прислуга ими подкуплена; вот, не изволите ли, домино — невинная и честная игра. Увлекающийся Достоевский не удерживался — хотелось научиться, узнать, попробовать, и последняя сторублевка спокойно перекочевывала в карман учителя.

Ругая себя последними словами, на следующее утро Федор Михайлович отправлялся к ближайшему ростовщику делать новые займы под самые злодейские проценты, напевая сквозь зубы: «Прости, прости, небесное созданье». В минуты же хорошего настроения предпочитал Варламова — «На заре ты ее не буди...».

— Игрок, прожигатель, азарт — да разве же тут азарт! Тут нечто иное, тут мысль, надежда на случай: а вдруг?! Вдруг одним разом, одним махом покончить с проклятой денежной зависимостью от родственников! На свободу — и писать, писать...

После того как в 43-м в Петербурге побывал сам Бальзак, читающая публика чуть не помешалась на его романах. Почему бы не попробовать перевести прекрасную «Евгению Гранде»? Да и оплачиваются переводы неплохо. И брату пишет, советует переводить немцев — имени это не даст, но освободит от снисходительно-презрительных взглядов родственников Эмилии.

Но «Евгения Гранде» дала не только деньги (небольшие, кстати) — Достоевский слово за словом, фраза за

фразой следовал художественной мысли своего кумира, постигал законы воплощения этой мысли, учился находить на родном языке единственно возможные слова, интонации, обороты. Работа над переводом оказалась для него неплохой школой, а главное — взбудоражила его до какой-то творческой лихорадки, до состояния — когда-либо писать, либо головой в прорубь...

Еще три года назад изливал он брату наболевшее: «...Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье — дело великое. Мне снится и грезится оно опять... Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни». Теперь же душа расширилась, кажется, до того предела, когда понятие найти исход призванию стало равноценно понятию жить! И притом в самом даже прозаическом смысле: служба в чертежной инженерного департамента с 9 до 14; занятия в старших офицерских классах училища до вечера; потом, едва ли не все ночи подряд, наедине с бумагой... А ведь еще откуда-то нужно выкроить время, чтобы не забыть поесть, когда случаются деньги, а когда не случаются, придумать, где их достать, если достать уже нигде нельзя; и родным написать, и в библиотеку забежать, и почитать новинки... Напряженность, почти не знающая передышек, выводила из равновесия и без того не отличающееся особой крепостью здоровье Достоевского.

«Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, — вспоминает Григорович, — мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним случился припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три». Доведенная до предела впечатлительность в соединении со все более накапливающейся усталостью вели свою темную, разрушительную работу.

«Служба надоела, как картофель», — жалуется он Михаилу: видно, немало дней пришлось ему держаться на одном картофеле... Рядом с ним служило человек сорок мелких и покрупнее, старых и молодых, пьяниц и мечтателей, бедных и вовсе нищих чиновников — ветошек общества. «Зачем вы меня обижаете? Не надо меня обижать — *я тоже — человек*», — не раз вспоминался ему гоголевский Акакий Акакиевич. Мы вот научились

его жалеть, сострадать ему, а если влезть самому в его нутро, неужто там одни мечты о новой шинели? А вдруг целый мир страстей, возвышенных, тонких, как и у тебя самого? Но у тебя есть еще и надежды на будущее призвание, а у него их уже нет. Уже. Значит, были все-таки когда-то и у него, но он пережил их, понял, что ничего не ждет его впереди, кроме однообразной, как картофель, службы... Страшно, больно и страшно.

В феврале 44-го Достоевский пишет прошение об отказе от своих наследственных прав за небольшую, единовременно выплаченную ему сумму. Очень уж нужны были деньги? Да. Очень. Но обходился же как-то в подобных случаях и раньше: мысль измучила, источила мозг и сердце — как быть человеком, христианином, сострадать униженным и оскорбленным жизнью и судьбой бедным людям и жить за их счет, за счет их скормленных скоту соломенных крыш, плачущих у бескровных грудей матерей младенцев? А 19 октября того же года он окончательно решает разом изменить свою жизнь — добивается отставки.

3. Призвание

Серое однообразие чиновничьей службы не убило его мечтательности, но еще острее будоражило душу, рождало в ней иную действительность. «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона... И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всею душою моей в золотых воспаленных грезах... Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище... и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... служил примерно, но только кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел», — расскажет потом об этой поре своей жизни сам Достоевский. Конечно, этот рассказ нельзя принимать полностью как документальное изложение фактов его внешней, событийной жизни, но это и подлинно достоверный факт истории его души, его внутренней биографии. «Звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она

так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай... Она мне за то... штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице... она вдруг стала как-то странно краснеть — да вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но... мне приятно было читать «Коварство и любовь» или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти... предложившего Амалии руку и... непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротничком из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу».

Теперь Достоевский все чаще бродил один по Петербургу, вглядываясь в лица прохожих. В сознании возникали планы повестей и романов. Шла подспудная, упорная работа сознания. Фантазия и действительность ищут точек соприкосновения. Петербург, «самый фантастический город на свете», становится полем этой удивительной встречи сна и реальности, мечты и угрюмых «углов» с их обитателями, которых он видел всегда, но будто и не замечал их раньше, да вдруг и задумался.

Чуть не с детства оставленный один в огромном, чужом городе, почти «затерянный» в нем, «я как-то все боялся его, — признавался Достоевский. — Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною». И вот однажды, в январе 45-го, он «спешил с Выборгской стороны к себе домой... Подойдя к Неве, — рассказывает Достоевский об одном из самых важных *событий* его духовной жизни, его внутренней биографии, которое сам он назвал «видением на Неве», — я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мороз-

ный пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука... Казалось... что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне... Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый... Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование...»

С видения на Неве в нем будто родился новый человек — писатель Достоевский, ибо он вдруг пережил в мгновение никому еще доселе не видимый свой мир.

«И вдруг, оставшись один, я об этом задумался, — продолжает он. — И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а *он* хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое... а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Кто же смеется так над человеком? Его величество Случай, играющий в свои кости ли, карты ли, или шахматы? Где каждая пешка — тысячи, а может, и миллионы людей, а ставка — их будущее, их жизнь? Слепой ли Рок, или предначертанность Судьбы? Темные ли силы Природы, или социальная Среда?

Или, может быть, это сквозь сотни придуманных человеком названий причин и следствий ухмыляется над ним сам Дьявол?

Или? Страшно подумать...

Титулярное сердце... — нет, нам маркиза Позу и Клару Мовбрай пожалуйте. Чиновничья душа... — да из нее бранное слово сделали, вспомнилось ему, в пословицу

превратили, а кто из нас в эту душу заглянул, кто может сказать, что постиг ее? Гоголь? Великий Гоголь! После его «Шинели» в каждом мелком чиновнике мы видим Акакия Акакиевича, он научил нас сострадать ему. «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — от этой столетьями копившейся, затаенной и вдруг излившейся жалобы сердце захолонывает, и уже ничто не может согреть его, пока... Что пока? Ходим же рядом, живем, пьем хорошее вино, и тепло нам, и что до того, что рядом какой-то Акакий Акакиевич не может купить себе шинели... Жалко? Еще бы не жалко! Что ж делать?.. Он — тоже человек! — кричит нам Гоголь. — Человек, соглашаемся мы, но *маленький человек,* не Шиллер же без шинели остался. Ну, купит он шинель — о чем тогда ему мечтать? Поди, карету захочет, а там... Нет, на всех не то жалости — денег, хе-хе, не хватит. Да разве же шинель ему нужна? Без шинели он бы еще прожил — не для себя и чай пьешь, не то что шинель покупаешь, а чтоб крикнуть всем, всему свету: смотрите, я тоже чай пью и шинель ношу — я такой же человек, как и вы, я брат ваш, нищий брат ваш, люди! Не Шиллер, не Магомет, но — сердцем, мыслями, чувствами — *я человек!*

Потрясшее на закатной морозной Неве фантастическое видение словно переменило Достоевского, сместило какой-то центр внутри его сознания, он вдруг увидел мир Петербурга как бы уже и не своими глазами, но глазами обитателей его нищих углов, чердаков и подвалов. И понял: он должен открыть всем этот мир. И пусть судят, нищи ли сердцем, душой его обитатели? Беднее ли Шиллеров, не говоря уж о нас, грешных?

Сама эта неведомая душа бедного чиновника должна обрести слово, поведать себя миру. Только как же она скажет о себе, кому? Она робка и стыдлива, как девушка... Искреннее слово не каждую минуту является, ему родная душа нужна, перед которой не стыдно, нет — невозможно не сбросить с себя все это тряпье, которым прикрываем мы и красоту, и язвы, и грязь, и чистоту наших тел и душ... Пред всяким не обнажишься, а в слове так и прежде всего... Тут нужны две души, летящие навстречу друг другу. Один — еще не человек, не весь человек, не таков, какой он есть на самом деле; с чужими — и подавно. Кому же открыться душе и что скажет она?

— Любезный друг, маменька!.. Любезнейший папень-

ка!.. — вспомнились ему свои, совсем ведь недавние письма... Прочти их посторонний — что подумает? Юный Акакий Акакиевич у папеньки денег на чай да сапоги вымаливает — вот и все мечты его, все помыслы и идеалы.

Не оставь он свою чертежную — сколько еще быть ему титулярной, чиновничьей душой? Что — дослужился б до генерала? Да никогда — так и помер бы титулярным советником, мечтая о шинели, как у всех... Дожил бы лет до сорока, в углу, где чижики так и мрут, не заметив, как и жизнь на закат пошла, попивал бы по вечерам, потому как на него — все шишки, как на бедного *Макара,* и одна только радость — окошечко напротив, а за занавесочкой мелькнет порою нежное девичье лицо — так и промечтал бы о ней всю жизнь, пока не увез бы ее какой-нибудь... как сестрицу Вареньку. А он бы уже успел полюбить ее гордое бедное сердечко, он бы без нее и жить-то уже не смог бы — не для кого жить бы ему было-то. А она и о существовании его не знала и не догадывалась бы, что живет рядом душа титулярная, но любящая ее бескорыстной чистой любовью, без всякого расчета — только б ей хорошо было: хмурится — и у него на душе тучи, улыбается — надо всем миром солнышко... А заговорить не посмеет: никак нельзя бедному, но благородному человеку с бедной скромной девушкой заговорить — толки пойдут, сплетни пойдут, такое разнесут, что не то говорить, вспоминать друг о друге стыдиться будут.

А что, ежели не вытерпит и напишет ей? «Милый друг, *Варенька!»* Почему Варенька? Ну да, конечно же, Варенька, кто же еще, только не напишет он ей. А если все-таки напишет? Не «Варенька», конечно, и не «милый друг», а по заведенному этикету: «Милостивая государыня Варвара Алексеевна!» Нет, так он тоже не напишет, измучается, пожалуй, кучу бумаги переведет, пока первые слова найдет.

«Бесценная моя Варвара Алексеевна!» А она заробеет, ответит: «Милостивый государь Макар Алексеевич...» Но ответит ли? Не испугается ли совсем? Ответит, не захочет обидеть, из одного сострадания ответит, да ей, юной душе, оскорбленной, затаившейся, нужно же хоть к кому-то потянуться, открыться, а тут — человек пожилой, считай, отец ей, не оскорбит, не насмеется... может быть. А он протрезвеет тотчас от ее «милостивого государя» и сам в ответ по этикету — «милостивая государыня», и пойдет у них жизнь через эту тонкую тайную нить переписки, но и почувствуют наконец, что нужны кому-то, что не сами они по себе, а весь мир — сам по себе, что есть им о чем говорить и чем жить, что люди они и не беднее сердцем никого другого, потому что их теперь двое, и каждый из них *вдвойне* живет, а без этого любой богач — нищ, хуже последнего бедняка. А она и книжки читала, пожалуй, и «Шинель» могла прочитать — почему бы ей и «Шинель» не прочитать, да и «Станционного смотрителя», и Макару Алексеевичу могла бы посоветовать... А ведь это замечательно — они прочтут о себе же, о таких же горемыках сердечных — узнают ли себя?

Умилятся или закраснеют, словно увидят себя вдруг нагими в зеркале, оскорбятся ли: зачем в душу залезли да перед чужими людьми?

И не смогут они уже друг без друга — что с того, что он пожил на свете: разве ж он жил до сих пор и разве она жила прежде?..

Нет, Достоевский знал, слишком хорошо знал: у бедных людей чем счастливее начало, тем грустнее, трагичней конец... Покинет его Варенька. Ради него и покинет, а то ведь доброе, бескорыстное сердце разорвется при виде гордой и нищей любви своей, которую нечем ему будет защитить от насмешек, язвительного сострадания людей. Найдется благодетель с деньгами — и облагодетельствует ее, купит и красоту, и молодость, и чистоту, и мечты ее на всю жизнь, и будет она благодарить судьбу, что снизошла к ней, и благодетеля во всю жизнь почитать станет... как сестрица Варенька своего Петра Андреевича.

Да, не Шиллеры они, не Клары Мовбрай, не Магометы и не Карлы Мооры, но они люди, такие же люди, как и все, и их обыденные, привычные, настолько, что мы и не замечаем их, будто их нет вовсе, трагедии, «маленькие трагедии» «маленьких людей» для каждого из них столь же исключительны и столь же глубоки, как и трагедии великих людей. Но трагедии великих становятся известными всему миру, трагедии «маленьких» остаются безвестными, молчаливо, терпеливо наполняя собою бездонную чашу мирскую болями и страданиями. Сколько их еще нужно, чтобы наполнить чашу, чтобы пролилась чаша, чтобы увидели все наконец — есть они, и их слишком много. А то ведь не Шиллерам и в трагедиях-то вовсе отказано — нет, мол, у них никаких трагедий, поскольку пра-

ва такого не имеют страдать и чувствовать, как Шиллеры...

Самсоны Вырины и Акакии Акакиевичи, встреченные им на жизненном пути, и судьба сестры Вареньки, Карепин и собственные юношеские мечтания, воспоминания о Даровом, встречи, услышанное и пережитое — почти помимо его воли увязывалось, переплеталось, обретало устойчивые очертания, которые начинали уже жить своею, фантастической, но все-таки и особой реальной жизнью, как бы помимо его власти над ними; они говорили, чувствовали, страдали и радовались уже сами по себе, а не потому, что он заставлял их печалиться и светлеть. Они жили. Они жили — значит, роман получался, нужно было только чутко прислушаться к ним, не вспугнуть, не навязать им себя.

В ноябре 44-го роман был готов. А в декабре он переписывает его чуть не весь заново. Теперь, кажется, он доволен. Все строго и стройно. Но... «есть, впрочем, ужасные недостатки». И в мае 45-го он снова переделывает роман, отчего он «чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он окончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться», — делится он с Михаилом.

Простая история. История души человеческой с ее трагедиями — сокровенными, задавленными, осмеянными и, наконец, отобранными у нее, ибо не по праву ей иметь трагедии, но все-таки существующими, кричащими о себе...

— *Я-то, я-то как же один останусь?..* Нельзя человеку одному.

Ходят люди, сердца у них каменные — услышат ли? Бедные люди... Нет, тут нужен не крик о сочувствии. Этот крик уже раздавался. Гении, пророки русской литературы — Пушкин и Гоголь явили такое сочувствие бедному человеку, что мир, казалось, должен был вздрогнуть и перевернуться на своей оси. Но не перевернулся, и ничего не изменилось в нем. Или все-таки изменилось? Перевернулось же что-то главное в его собственной душе, а может, и не только в его... Труден, страшно труден путь слова.

Бедные люди... Тут — идея, тут — вопрос миру: кто виноват? Среда ли заела? Обеднела ли сама природа человеческая? Почему одни люди уже от рождения титулярные советники, другие же рождаются с генеральскими лампасами? Кто же так смеется над человеком, и что делать человеку не вообще, а тебе, лично тебе?.. Или так было, так есть, так и пребудет во веки веков?

Деньги давно кончились, и ждать их было неоткуда: со службой покончено, с имением тоже, зато 800 рублей долгов. Опекун деньги не шлет. «У меня нет ни копейки на платье... если свиньи москвичи промедлят, — пишет он брату, — я пропал. И меня пресерьезно стащут в тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство... Главное — я буду без платья. Хлестаков соглашался идти в тюрьму, только *благородным образом.* Ну а если у меня *штанов* не будет, будет ли это благородным образом?..»

Роман закончен, но его еще нужно каким-то образом и куда-то пристроить. Каким? Куда?

«А не пристрою... так, может быть, и в Неву. Что же делать?» — полушутливо излагает он брату свои ближайшие намерения. А ночи — первые июньские, сколько уж лет в Петербурге, казалось бы, давно надо привыкнуть к их белому сумраку, но разве ж можно привыкнуть к этому чуду... Григорович (они жили в это время на одной квартире) вернулся уже из очередного похода, то ли в театр, то ли к новому своему другу — Некрасову. Скоро утро. Не спится. Позвал Григоровича — тот откликнулся. Тоже не спит. Пришел: Достоевский сидит на диване, который служил ему и постелью, перед ним на небольшом столе пачка мелко, но аккуратно исписанной бумаги.

— Садись-ка, Григорович, садись и не перебивай, — сказал как-то излишне оживленно и начал читать.

«С первых страниц «Бедных людей», — рассказал потом Григорович, — я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям».

На следующий день Григорович снес «Бедных людей» Некрасову, уговорил прочитать. «Читал я, — продолжает он. — На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал го-

рячо убеждать его... сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе... Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился... Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его...

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидев подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал... его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа».

Утром того же дня Некрасов отправился к Белинскому.

— Новый Гоголь явился! — заявил он с порога.

— У вас Гоголи-то как грибы растут, — строго заметил ему Белинский. Но рукопись взял.

Вечером того же дня, когда Некрасов зашел к нему по какому-то неотложному делу, Белинский возбужденно схватил его фалды:

— Что ж это вы пропали, — досадливо заговорил он. — Где же этот ваш Достоевский? Что он, молод? Сколько ему? Разыщите его быстрее, нельзя же так!..

«И вот... меня привели к нему, — рассказывает уже сам Достоевский. — Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и — осмеет он моих «Бедных людей»! — думалось мне. Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно... но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось... Он заговорил пламенно, с горящими глазами. «Да вы понимаете ли сами-то, — повторял он мне несколько раз и, вскрикивая по своему обыкновению, — что вы такое написали!.. Осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уже это понимали... Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» — так запечатлелась в памяти Достоевского эта, одна из самых решающих встреч в его жизни.

Глава II

ПОПРИЩЕ

Я пойду по трудной дороге...

Достоевский

1. Самая восхитительная минута

«Я вышел от него в упоении... и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже и в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик?» — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести.

Я это все думал, я припоминал ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни...» Белинский почуял в молодом писателе живое воплощение своей литературной программы. Понял это вскоре и Достоевский. «Я бываю весьма часто у Белинского, — пишет он брату Михаилу, — он ко мне допельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих».

Весть о явлении «нового Гоголя» скоро стала достоянием чуть ли не всего читающего Петербурга, сам же «Гоголь» настолько устал, что лучшим для себя посчитал уехать на время к брату, успокоить кервы, передохнуть, оглядеться. А уже через несколько дней немецкие родственники Михаила Михайловича посматривали на его петербургского братца с настороженностью и даже опаской. Да и сам Михаил забеспокоился — не настолько ли перенапрягся бедный Федор, что... порою так и кажется — не брат перед ним, а кто-то другой: внешне тот же — русый, сероглазый, только очень уж бледный и отощал — нелегка столичная жизнь без службы, без доходов, но, с другой стороны, и как будто подменили его: ведет себя странно, то ли ущемлен чем, то ли ерничает: «Ты, братец, ты, верно, ошибаешься, братец... Не изволь

беспокоиться, братец... Никак невозможно-с... Не велено-с, братец...» Не обидели чем его? А то еще напыжится и ни с того ни с сего: «А не послать ли нам за шампанским, братец, устрицами и плодами к Елисееву?» Какое там шампанское — концы с концами свести бы, да и откуда в Ревеле Елисееву взяться?.. Смеется он, что ли, над нами? А Федор только хохочет да поглядывает хитро. «Знаешь, брат, — объяснился наконец, — это не я, это подлец Голядкин моим голосом говорит; живет во мне, словно я ему и квартира, и диван, и карета, а между тем сам по себе живет и со мною считаться не желает — вот так брякнет что-нибудь, а ты за него отвечай, и никакой управы на него нет...»

Он собирается роман новый писать; уже и название придумал — «Приключения господина Голядкина». Но, может быть, назовет «Двойник». *Двойник* — это идея, идея страшная, фантастическая и — реальная, современная... Гофман? Да, тут и Гофман, конечно, и «Двойник» Погорельского *, и «Сердце и думка» Александра Вельтмана, и несчастный Евгений из «Медного всадника», и, конечно же, Николай Васильевич! «Нос» — разве это не рассказ о двойнике человека, вытесняющем и почти полностью замещающем его в жизни? А его Поприщин? Сумасшедший? А почему сумасшедший, из-за чего сумасшедший? Мелкий чиновник, а в душе своей он — испанский король! А мы, мы разве не были и Шиллерами, и Александрами Македонскими, а вместе с тем донашивали третьегодичные штаны, и попробуй Шиллер заявить, что он Шиллер, явись он в приличное общество — вытолкнули бы его пинком в зад — каково Шиллеру-то?

«Бедные люди», восхитившие Белинского и круг его друзей, все-таки огорчили Достоевского: они воспринимались прежде всего как социальный роман, как глубокая картина подлой действительности, как драма «маленьких» бедных людей. Философская же суть романа отчего-то не воспринималась.

Ну, а ежели его герой был бы побогаче, имел бы про запас какую-никакую сумму, рублей в 700—800 — а ведь это приятная сумма, — желал бы я видеть теперь человека, для которого такая сумма была бы неприятна, с такой суммой можно не то что о шинели не беспокоиться, далеко пойти можно. Даже и карета была бы у него своя и слуга свой — как у родителя нашего, у папеньки, — он что же счастливым бы стал? Успокоился бы? Вспомнить, как отец всю жизнь бился, чтоб быть вровень со всеми, не уронить себя ни перед кем, чтобы быть «как все»? Что значит как все? Как кто? За дворянство бился, поместье купил, — а все же с уязвленным сознанием так и помер. Отчего? Каждый в этом мире за себя борется, как может, доказывая всем и себе: вот я живу, я имею значение сам по себе и ни от кого не зависим. Нет, тут не гофманская фантастика, тут самая что ни на есть повседневность, быт, среда, общество... А быт нашей души, нашего сознания, это что — не реальность, не повседневная действительность? Да мы этим бытом каждую секунду живем, ни на миг от него освободиться не можем. И все что-то нас угнетает, все кто-то над нами усмехается, дергает нас за ниточки. Отец, положим, хороший врач был, но особых талантов не имел, как и тысячи и миллионы других вокруг, но вот Яков Петрович Бутков — и талант, и публикуется, чего еще, казалось бы? Ходи себе генералом — ан нет: через порог к Краевскому переступит — стушуется сразу, сробеет, словно голядка какая, спросишь о чем, — съежится, оглянется по сторонам, будто в каждом углу по шпиону... «Что это вы так, Яков Петрович?» А он: «Нельзя-с... начальство». — «Какое начальство?» — «Литературные генералы... Маленьким людям нельзя забывать-с, помнить надо, кто они есть...» — «Помилуйте, какие генералы? Да вы такой же литератор, да еще и даровитее многих!» — «Что тут даровитость? Я ведь кабальный...»

Краевский выкупил его, освободил от рекрутского набора и закабалил, присосался к его таланту.

Каждый от кого-нибудь зависит. А если и не знает, от кого точно, то уж знает от чего, но все равно зависит. И каждый ущемлен в своей гордости, каждому думается, что вот обошла его судьба, обидела, не дала того, к чему поманила однажды в затаенных мечтах его. Много ли человеку нужно? Шинели? Статского советника? На чем он остановиться захочет в стремлениях своих, где та черта, дойдя до которой скажет: «Ну вот, теперь я совсем доволен, и ничего мне больше не надо». Да и кто так скажет? Свинья какая-нибудь, а не человек! Человеку много надо... Бесконечно много. Шинель, чин статского советника

---

* А. Погорельский (А. А. Перовский) — известный в первой половине XIX века автор сборника новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», впоследствии получил более широкую известность как автор сказки «Черная курица, или Жители подземного города», которую он написал для племянника своего Алеши, будущего знаменитого поэта А. К. Толстого.

и даже поприщенская фантазия об испанской мантии — все это только названия, образы, символы одного и того же — неупокоенности, ущемленности, гордой в своей униженности человеческой души.

А то и напротив бывает: взять хоть Белинского. Вот уж талантище, первый критик, ума палата — дай бог десятку генералам, и что? При генералах сам робеет. А как живет — нужно видеть. «Право, — говорит, — околеешь ночью, и никто не узнает...» Одна радость — полно цветов в квартире — сам ухаживает. Любит гречневую кашу, а бывает, ночи напролет — трудно поверить— дуется в преферанс с Некрасовым. Нет, Яков Петрович Голядкин — не Бутков, хоть все-таки и Яков Петрович, и не Белинский, не Некрасов, но он и не герой Гофмана — он просто сам по себе... *как все*. И кто что ни говори, а в каждом из нас сидит свой Голядкин и выглядывает из нас, так что и не разберешь иной раз, кто настоящий, а кто его двойник... Вот так-то-с, братец, не извольте-с, братец, утруждать себя беспокойством-с насчет наших умственных, так сказать, сдвигов, братец!

С ума сойдет? Как не сойти, если раздвоишься до того, что знать не сможешь, где на самом деле ты, а где — он? Я в медицине не силен, но, думаю, брат, что нередко признаваемое помешательством есть только иной взгляд на вещи. Чаадаева вон сумасшедшим признали как Чацкого; Лермонтова, говорят, после стихов на смерть Пушкина тоже на сей предмет освидетельствовали...

И что, как не помешательство было — на Неве, зимой прошлого года; с того и начались «Бедные люди». Я, брат, не о всех горемыках домов умалишенных говорю, но и как при своем уме остаться, ежели он, этот ум, всю великость души человеческой схватить и осмыслить не может.

Да, много душе человеческой нужно, и ни на чем она не остановится, брат, ни на чем не успокоится — ни на шинели, ни на статском советнике, ни на королевстве испанском, потому что и сам король испанский покойным быть не может, коли английская королева владычицей морей себя объявила, а какое, казалось бы, дело испанскому королю до бредней английской королевы? Нет, брат, пока человек не захочет объявить себя самим господом богом и заместить его — никогда он прежде не остановится, а поскольку богом стать он не может — мучается и завидует; и в этом смысле, брат, и титулярный советник, и испанский король несчастны, хоть и слишком по-разному, конечно...

А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом — потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи. Знаешь, брат, переезжай в Петербург — одиноко одному без тебя. Одичал совсем. Право дело, переезжай. Вот Макар Алексеевич отыскал себе Вареньку и счастлив был, человеком впервые себя почувствовал. Ну а как не отыщется родной души? Скажу тебе, брат, — тут и испанский король хуже последнего титулярного советника изведется — все себя ущемленным почитать будет.

Зачем Голядкину Клара Олсуфьевна? Она ему — то же, что шинель Акакию Акакиевичу. На шинель у Якова Петровича средств хватает, ну и радуйся; нет — подавай ему Клару Олсуфьевну. А все почему? Да потому, что не встретил он в нужную минуту Вареньку. Нет у него Вареньки, один он, всегда сам с собой. Понятно это? Он один, но его и — двое: он и еще он же — сам себя спрашивает, сам себе отвечает, сам с собой советуется, сам на себя негодует. И так изо дня в день, из года в год — ни одной родной души рядом. И вот однажды, когда возмечталось ему, что он как все и может сам по себе пойти к Кларе Олсуфьевне на бал, да и пригласить ее на танец, а то, пожалуй, и объясниться, — так вот вышибли его, как голядку подлую, с лестницы, и был он в состоянии глубокой задумчивости. А ночь была темная, город промозглый от холодного дождя со снегом, полуночные улицы пусты, одиноки, как и он. И остался он один, наедине с этим одиноким промерзшим Петербургом. И побежал *он* поскорее домой к *себе*, чтоб уж совсем самому себе обо всем пожаловаться, с собой посоветоваться. Бежал он к себе, но если бы какой-нибудь посторонний наблюдатель увидел его вдруг — решил бы непременно, что Яков Петрович, напротив, не к себе, а от самого себя сбежать хочет. Да так оно и было, да и как быть иначе, когда тебя вместо того, чтобы допустить до заветной Клары Олсуфьевны, с лестницы в горизонтальном положении лицом на грязную мостовую отправляют? Самое время от себя самого сбежать, затаиться, чтобы этот сам не узнал ни о чем; не пронюхал, не застыдил, не замучил вопросами и попреками. И вдруг в это самое время он вздрогнул, даже отскочил в сторону, заозирался испуганно. Но никого вокруг. А между тем... между тем он точно чувствовал, что кто-то только что стоял рядом с ним и даже что-то сказал ему, и сказал о чем-то ему очень близком. И стало ему ужасно тоскливо, и ветер завыл еще жалостнее, а

он снова отправился к *себе*. Ничего, казалось бы, особенного, но увидел впереди себя прохожего. Дело, конечно, пустое, — просто такой же, как он, запоздавший, но Яков Петрович отчего-то смутился и даже струсил, но тут же принял вид, что он — ничего, сам по себе, а дорога — для всех широкая... И вдруг он, будто молнией пораженный, быстро оглянулся вслед прохожему, будто что его дернуло сзади... «Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — что ж это я, с ума, что ли, в самом деле сошел?» И чуть не побежал к себе. Видит — впереди опять прохожий навстречу ему идет. Голядкин взглянул на него и вскрикнул от ужаса — это был тот самый, что несколько минут назад уже прошел мимо него... Но еще более ужаснуло Якова Петровича другое — в незнакомце он явственно узнал самого себя... Так вот и встретился с самим собой, убегая от самого себя... Фантастика? Ну что ж, что фантастика? А нос у Гоголя разгуливает по Петербургу, да еще в мундире статского советника — что это, реальность? Вот в том-то и дело: реальность и фантастика слишком близко соприкасаются...

Впрочем, все это нужно было пережить самому. Нет, конечно, он, Федор Михайлович Достоевский, сам себе в таком реальном виде не встретился — иначе вряд ли бы он об этом уже смог написать, но... И *к себе самому* и от *самого себя* бежать по промерзлым петербургским мостовым приходилось. И сколько раз... Но разве же от самого себя убежишь?

— Нет, брат, приезжай. Совсем приезжай, с Эмилией Федоровной, с детишками. Как ни трудно, а вдвоем все легче будет. Да и талант литератора в Ревеле загубить недолго. А у меня теперь такие друзья!

Проведя все лето у брата, в начале сентября 45-го года Достоевский вернулся в Петербург. Не удержался, рассказал о работе над новым романом Белинскому, тот пообещал переговорить с Краевским. Достоевский стал чуть не знаменитостью, хотя «Бедные люди» еще не появились в некрасовском альманахе «Петербургский сборник». Белинский уже успел расхвалить их в своем журнале, да и устная молва о «новом гении» побежала впереди романа. Краевский мог позволить себе и не поскупиться, чтобы заманить в «Отечественные записки» наделавшего шуму автора. «Белинский прочитал мне полное наставление, каким образом можно ужиться в на-

шем литературном мире, — сообщает брату Достоевский и продолжает: — И в заключение объявил мне, что я непременно должен, ради спасения души своей, требовать за мой печатный лист не менее 200 рублей ассигнациями... Терзаемый угрызениями совести, Некрасов... обещал мне 100 рублей серебром за купленный им у меня роман «Бедные люди». Ибо сам чистосердечно признался, что 150 рублей серебром плата не христианская и посему 100... набавляет мне сверх из раскаяния...» Тут, конечно, видна работа Белинского: претерпев немало, работая порою чуть не круглые сутки, он все еще не мог позволить себе даже переехать на более сносную квартиру. Хорошо зная издательские нравы, он и Достоевского учил, как поставить себя таким образом, чтоб его уважали, а то, пожалуй, еще начинающему литератору и самому приплачивать придется, лишь бы напечатали. И друзей своих постыдил Виссарион Григорьевич, чтобы не экономили на юном таланте полунищего Достоевского.

Господин Голядкин тоже подвигается не быстро. «Подлец страшный, — пишет автор брату о своем герое, — никак не хочет вперед идти... Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! Раньше половины ноября никак не соглашается кончить карьеру...»

А тут — новые планы, замыслы; Некрасов придумал издать альманах «Зубоскал», нужно и для него написать.

Настроение быстро меняется: «Что-то скажет будущность? Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпит принуждения... Что-то будет, что-то будет впереди?» «Я теперь настоящий Голядкин...» — пишет он брату сразу по приезде, а через месяц, 16 ноября, уже не может сдержать восторгов от своего нового положения, будто переступил какую-то невидимую черту, и перед ним открылась дверь в невозможное: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев... и с первого раза привязался ко мне такою привя-

занностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек. Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в «Отечественных записках». Андрей Колосов — это он сам...»

Голова идет кругом. Безвестный еще вчера мечтатель вдруг в одночасье становится знаменитостью. Белинский — подумать только! — сам Белинский называет его талантом необыкновенным. Да, это тоже нужно перетащить на себе и не свихнуться от такой резко, враз переменившейся жизни. У него вновь после долгого перерыва появляются деньги. «На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 рублей взаймы...»

Он теперь — сам по себе, не хуже других, а то еще и позначительнее, а чтоб ни у кого не оставалось в этом сомнений, он так, как бы между делом, не преминет прихвастнуть: «Миннушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают, как любить меня. Влюблены в меня все до одного...» Подлец Голядкин!.. Кстати, он «выходит превосходно; это будет мой шедевр».

В середине ноября один из близких друзей Белинского, известный беллетрист Иван Иванович Панаев, человек широкий, с обширными связями и знакомствами — со многими литераторами близко дружил, а уж знаком был наверняка со всеми, с ближайшим же другом — Некрасовым — даже поселился в одной квартире на Фонтанке, где и любил собирать по субботам литераторов, поговорить, поспорить, поиграть в преферанс, — в одну из таких суббот заполучил к себе и Достоевского. Человек по натуре мягкий, добрый, давно дал вольную крепостной прислуге, на что Белинский, как передавали Достоевскому, сказал ему: «За это, Панаев, вам отпустится много грехов», — но вместе с тем не лишенный фатовства, большой любитель выпить и посплетничать, небесталанный, но неглубокий, нередко грешивший скороспелыми суждениями, он не произвел на только что явившегося юного гения особого впечатления. Как всегда, блистал остротами и стеклышком в глазу душа общества — Тургенев, который тонким голоском, заметно входящим в противоречие с его высоким породистым телом, объяснял Некрасову, что тому непременно необходимо завязать связи со светскими женщинами, поскольку они одни могут вдохновлять поэта:

— Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас, писателей... Когда я бывал у Полины... — Тут кто-то с добродушнейшей иронией заметил, что Тургенев бывал не столько у Полины, сколько у ее мужа Виардо, с которым принужден был часами беседовать об охоте и изящной русской словесности.

В Полину Виардо, знаменитую певицу, приехавшую из далекой Франции в Петербург, где она блеснула в «Севильском цирюльнике» и быстро стала любимицей публики, Тургенев влюбился еще в 43-м году, но, избалованная европейским поклонением, не отличающаяся красотой знаменитость поначалу холодно встретила восторженные излияния русского красавца. В кругу Белинского ценили ее голос, ее мастерство, но к увлечению Тургенева относились несколько иронично — приближала она к себе лишь людей родовитых и состоятельных, хотя сама, по слухам, родовитостью не отличалась. Тургенев, правда, клялся, что она чистокровная испанка, а испанцы, как известно, сплошь все самых благородных кровей, но ему не верили, слишком уж широкую известность получила в Петербурге ее скупость и расчетливость. Но более всего поразил ее отказ внести хоть что-нибудь в долю, которую собрали итальянские певцы (даже хористки внесли из своего скудного жалованья) в помощь бедной старушке, матери неожиданно умершей хористки.

Тургенев только пожимал плечами, другой же анекдот выводил его из себя, но обижаться было не принято, он и сам любил пощекотать нервы приятелей. Рассказывали, что князь Воронцов-Дашков однажды пригласил к себе всю труппу итальянской оперы, с которой гастролировала и Полина Виардо. Князь считался одним из первых русских аристократов, попасть к нему почитали за редкую честь, и никому не пришло в голову заранее оговорить условия, кроме Виардо, написавшей князю письмо, в котором извещала, что согласна участвовать в вечере, но не будет петь менее чем за 500 руб-

лей. Получив ответ с сообщением о согласии князя на эти условия, Виардо спела. После спектакля к ней подошел лакей и преподнес на подносе пакет с оговоренной суммой, а все остальные актеры получили приглашение остаться на вечер, в завершение которого князь подарил каждому подарок стоимостью не менее чем в две тысячи рублей. Происшествие сразу же стало достоянием Петербурга, а бедный Тургенев божился и клялся, что во всем виноват муж, забывая при этом, что только что восхищался независимостью Полины от мужа, который ее побаивался и не вмешивался ни в какие ее дела.

В ответ на предложение Тургенева заняться светскими дамами Некрасов даже заоглядывался, словно затравленный, по сторонам, но на него, кажется, никто не обратил внимания: говорил Белинский. Достоевский, слушая Белинского, был все же как-то рассеян. Странное сочетание, думалось ему; вот Тургенев — аристократ, барин, запросто разговаривает с недавним нищим Некрасовым. Впрочем, теперь уж и не нищим — вон каким щеголем нарядился (нужно бы и себе заказать платье у Рено-Куртеса) и обе свои комнаты в панаевской квартире обставил даже с изяществом. А Белинский, белокурый, голубоглазый Белинский, и вовсе сухонький, бледненький, вечно кашляющий, без роду и племени, а попробуй тот же Тургенев ослушайся его, когда «неистовый Виссарион» — как прозвали его друзья за неукротимый характер — выговаривает ему своим мягким, с хрипотцой голосом, словно нашкодившему школяру! Литература — великая держава со своими законами, своими табелями о рангах... А ведь это о нем этот самый Белинский говорит всем, что никто еще в русской литературе не начинал так, как он, Достоевский... Как тут не пойти голове кругом?

В это время кто-то советовал Белинскому занять денег (и у него, у Белинского, не бывает денег!) у своего друга Анненкова, человека с приличным капиталом.

— Какая наивность, право! — грустно улыбался Белинский. — Да он же русский кулак.

— Ну тогда у Боткина Василия Петровича...

— Нет уж, увольте, благодарю покорнейше: да он же душу потом всю вымотает жалобами о собственной нужде. Нет, лучше уж я к ростовщику пойду: ростовщику дал проценты — и конец, а тут еще считай себя обязанным... Да и повздорил я с Боткиным...

Присутствующие хорошо знали эту историю: среди людей, близких кругу Белинского, было немало и таких литераторов, которые вполне ухитрялись совмещать гуманизм литературных теорий с практикой крепостного права. Конечно, в большинстве своем это были гуманные помещики, любившие похвастать своей отеческой близостью мужику.

— А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем, — не выдержал однажды Белинский, оборвав гуманные излияния одного из приятелей. — Рабство — бесчеловечная и безобразная вещь и имеет такое развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв поглощает все лучшие силы России. И поверьте мне, как ни невежествен народ, но он отлично понимает, что прекратить страдания можно, только вскрыв этот нарыв. Конечно, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет нарыв, или сам народ грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. И когда это свершится, мои кости в земле от радости зашевелятся!

Гуманный помещик-литератор, конечно, тут же поспешил удалиться, а на Белинского набросились с упреками и обвинениями едва ли не все присутствующие. Боткин же взял на себя труд даже прочитать ему нотацию о приличии и уверял Белинского в том, что он судит о народе, не зная его так хорошо, как гуманный помещик. Белинский, остывая после вспышки, по обыкновению расхаживал из угла в угол, как вдруг резко повернулся к оскорбившимся за гуманного помещика приятелям и разразился стихами Дениса Давыдова:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок
Корчит либерала...
А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей!

...Боткин предложил совершенно шокированным приятелям завтра же нанести извинительный визит гуманному помещику...

Достоевскому припомнился недавний, лета прошлого года, случай: на одну известную подмосковную дачу, где давался «колоссальный обед», съехалось множество блистательных гостей — имена все преизвестнейшие — гуманные профессора, европейски образованные мыслители, знатоки и ценители изящнейших искусств, либеральные деятели, славные демократы, критики и писатели, словом, чуть не весь цвет интеллигентного общества да еще в окружении прелестнейших по лицу и развитию дам. И вот после роскошного обеда с шампанским, кулебяками и птичьим молоком — иначе чего же называть обед «колоссальным»? — вся эта компания, решив отправиться на лоно природы, в поле, набрела во ржи на молодую жницу. Летняя страда, рассказывал Достоевский, известное дело: встают в четыре утра и в поле до ночи. Ну-ка двенадцать часов, согнувшись, под палящим солнцем — легко ли женщине? А кругом рожь — вокруг ни души, и жницу-то согбенную не видно ниоткуда, ну и сбросит она, бывает, поневу, останется в рубашке — все облегчение, вот на такую-то и набрела честная компания. Мировое гуманное чувство, конечно, было оскорблено до глубины души — пошли судить: «Одна только русская женщина из всех женщин и бесстыдна, и ни перед кем не стыдится», ну, а стало быть, и перед русской женщиной никто и ни за что не должен стыдиться. Завязался спор. Явились и защитники русской женщины, но какие гуманные доводы посыпались на их головы!

Неужто же никогда не придет в либеральные головы упившихся шампанским гуманных помещиков, на чьи труды упиваются они и наглатываются устриц? А как *попадают оскорбленные целомудренники в «местечко Париж-с»* — тут же бегом на канканчик и долго потом тают еще, рассказывая с подробностями о своих утонченных впечатлениях. И никого это не возмущает, напротив: помилуйте, скажут, да ведь это все так грациозно — и подергивание задком, и задирание ножек (ах, какие ножки у парижанок!) выше носа — ведь это изящно, это в своем роде искусство, а тут что? Тут баба, просто русская баба, обрубок, колода...

Достоевский чуть не задыхался от переполнявшего его чувства.

— Да, — как-то тихо согласился Белинский, — краснобайства о гуманном рабовладении не терплю, меня мутит от него, и спуску давать нельзя...

Всегда с восторженным вниманием глядевший на своего нового кумира, ловивший каждое его слово и каждое слово о нем, Достоевский и в этот раз старался слушать его и не мог, хотел глядеть на него и не умел, и не хотел отвести глаз от *нее*... Он ощущал каждой клеткой, каждым нервом своего, словно не принадлежавшего уже ему сознания, его воле тела, что это то, именно то, о чем прежде он только мечтал, но не ведал, не догадывался, что это будет так, именно так, когда весь мир зазвучит ее голосом и — больше ничего не нужно ни видеть, ни слышать. Он уже любил ее всей фантазией души и тела. Не полюбил сейчас, но — любил.

Ах, кабы полюбила такая женщина! Тогда... Он не мог сказать себе, что *тогда*, но он уже знал: для нее он будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его, не может не полюбить, она будет гордиться им, потому что как же это можно не полюбить его, потому что как же тогда он — без нее?

Она очень хороша... кабы еще и добра была, и она добра, она бесконечно добра, и она глядит на него, нежно глядит, она не может быть не добра, она много страдала, об этом говорят ее глаза, ее высокий лоб...

Авдотья Яковлевна Панаева, хозяйка дома, с восемнадцати лет жена Ивана Ивановича Панаева, действительно отличалась удивительно открытой, какой-то чистой, немного грустной красотой. Детство ее не было счастливым, родители ее, актеры императорской сцены, образования ей почти не дали и с жесткостью, присущей людям, причастным искусству, но не обладающим особым даром, воспитывали ее в суровости, надеясь видеть ее со временем примой российского балета. Она страдала от обязанности непременно соответствовать честолюбивым надеждам и требованиям родителей. Выйдя замуж за доброго, известного уже, но неглубокого Ивана Ивановича, страдала от его фатоватости, от сознания его вторичности среди окружающих его талантов, страдала от неудовлетворенной жажды собственного дела, хотя ей и нравилась роль блестящей и гостеприимной хозяйки «литературного салона» Панаевых. Казалось, не было знаменитости в Петербурге, не побывавшей в их доме, не очаровавшейся прелестной хозяйкой. Ей этого было мало. Слишком мало.

Вот и это новое дарование, Достоевский, совсем еще мальчик, робкий, нервный, тоже, конечно, влюбился в нее... Он сейчас ошеломлен своим первым успехом, первыми похвалами таких известных литераторов — как тут

не закружиться голове. И как наивно-откровенно он смотрит на нее влюбленными глазами, совсем еще не умеет владеть собой, так явно высказывает свое авторское самолюбие, гордость своим талантом перед другими, нелегко ему будет в кругу любящих посмеяться, попытать вновь принятого в свою среду колкими, а то и ядовитыми шутками; заметят его самолюбие — перемоют все косточки... Не так ли — три года уж прошло — впервые привел в их дом Белинский и Некрасова — тоже совсем еще молодого, робевшего, постоянно сутулившегося и забавно подносившего руку к едва заметным усам. А теперь вон какие усы отрастил! И любит ее безнадежной — впрочем, может, еще и нет? — любовью. Правда, он и тогда выглядел много старше своих лет, а было-то ему всего двадцать один год. А ей двадцать три... Достоевский ровесник ему, но посмотреть — совсем мальчик перед ним.

Спустя год Авдотья Яковлевна стала гражданской, как тогда говорили, женой Некрасова. Потрясение Достоевского было не столь уж долгим, но бурным. Потрясения творцов уходят в их творения, чтобы потом дать возможность людям еще и еще раз пережить пережитое ими.

2. Испытания

Как-то за одну ночь он написал рассказ «Роман в девяти письмах». В самом конце 1845-го читал на квартире Белинского главы своего «Двойника» — Белинский был в восторге, и на остальных роман произвел впечатление. Перебрался на новую квартиру, в угловой дом купца Кучина, что у Владимирской церкви.

15 января 1846 года наконец появился столь жданный им «Петербургский сборник»; открывали его «Бедные люди», хотя в сборнике участвовали известные уже литераторы: Тургенев выступил здесь с рассказом в стихах «Помещик» и повестью «Три портрета», Владимир Одоевский с повестью «Мартингал», здесь же были помещены стихи Некрасова «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть...», «Колыбельная песня», стихотворение Владимира Соллогуба и поэма Аполлона Майкова «Машенька», переводы из Шекспира, Гёте, Байрона; статья Герцена, выступавшего под псевдонимом Искандер, «Капризы и раздумья»; очерки Панаева. Заключала сборник статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе».

А через несколько дней, 28 января, Достоевский завершил и второй свой роман, работа над которым буквально измучила его, но он слишком рассчитывал на него, ему необходимо было доказать, что его «Бедные люди» не случайный метеор, одиночная вспышка таланта, но только первый шаг, за которым последует нечто еще более значительное.

Как ни был робок и необщителен молодой Достоевский с людьми «высшего круга», ему мало-помалу приходилось привыкать и к «светской жизни». Однажды, когда он сидел у себя на Владимирской, по обыкновению в своем поношенном домашнем сюртуке, к нему постучали. Гость, известный писатель, граф Соллогуб, автор знаменитого «Тарантаса», тут же начал с восторгом говорить о «Бедных людях». Достоевский совершенно смутился, подал ему старое кресло, единственное в комнате, и, стараясь скрыть смущение, отвечал на вопросы как-то уклончиво, скромно, но не теряя внутреннего достоинства. Человек слишком опытный в таких делах, граф Соллогуб сразу же понял, что перед ним «натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная», по его собственным словам. Прощаясь, граф пригласил его запросто бывать у себя.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович, мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным...

В кружке Белинского с Соллогубом считались, но он не принадлежал к числу «наших». О нем говорили как о человеке талантливом, но часто он бывал и невыносим: в светском обществе щеголял своим званием литератора, в среде писателей своим графством. Говорили, будто, знакомясь с новыми людьми, низшими по родовитости, граф имел обыкновение подавать им два пальца и уже на следующий день не узнавать их. Достоевский этой причуды не заметил, граф был с ним сама любезность, да и приглашал он в свой дом далеко не каждого. Зато дом его тестя, графа Михаила Юрьевича Виельгор-

ского, был настоящим литературно-музыкальным салоном, в котором могли встречаться лица большого света, придворные дамы и писатели, музыканты, актеры... Сам Михаил Юрьевич играл на фортепьяно, сочинял романы, но походил на Россини, как язвили завсегдатаи его салона, не столько талантами, сколько жирным двойным подбородком и вечно съезжавшим на сторону встрепанным париком.

Сюда-то и удалось однажды Соллогубу затащить с собой Достоевского. Ему и без того было не по себе здесь, а тут еще почувствовал вдруг наступление чего-то накатывающегося изнутри, тяжелого, неодолимого, как тогда, при встрече похоронной процессии с Григоровичем. В этот момент и подвели к нему юную Сенявину, великосветскую красавицу, «с пушистыми буклями и с блестящим именем», непременно пожелавшую познакомиться с автором нашумевшего романа. Достоевский едва успел представиться, как стройное белокурое видение вдруг померкло и он, качнувшись, тяжело осел на пол...

Анекдот о «сногсшибательной» Сенявиной и упавшем перед ней в обморок Достоевским весело разнесся по Петербургу.

— Ну и стоит из-за этого переживать, — расхаживая по своей комнате и качая в такт шагам головой, утешал его Белинский. Он и сам терпеть не мог бывать в светском обществе и всегда ужасно терялся, когда бывать все-таки приходилось. После вечера, проведенного «между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались», он, по воспоминаниям Герцена, обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать. После подобных вечеров ему не раз приходилось возвращаться домой в состоянии, близком к кончине... Но ничего, живет еще помаленьку. И в салонах приходится бывать, и анекдоты случаются. Эка беда! Вот от чего избави бог, так от других встреч: время от времени зовет к себе Дубельт Леонтий Васильевич — шеф третьего отделения полиции — кого-нибудь из писателей. Нет, нет, просто так вызывает — приятно побеседовать о делах литературных, о том о сем — преприятнейший и прегуманнейший человек. Улыбается ласково, пожурит, бывает, а как же? Но с пониманием, образованный человек, либерал! Некрасова вот недавно вызывал, так на того, правда, наорал: «Как он

смеет нападать на чиновников в своих стихах?» Распек Николая Алексеевича, а вообще вполне гуманен... А вот Скобелев, комендант Петропавловки, — тот, как случится встретить Белинского на Невском, прелюбезно раскланивается, будто старому приятелю, и непременно поинтересуется: «Когда же к нам, в крепость, пожалуете? У меня для вас и казематик тепленький совсем готов-с. Так для вас и берегу...» Любит Белинского начальство, заботится... Вот и его, Достоевского, дождется — полюбит. Непременно даже полюбит...

Белинский только что вернулся из поездки с труппой Щепкина по России. Поездка не слишком поправила его здоровье, но еще более укрепила старое, высказанное не однажды, глубоко живущее в нем чувство: «Чем больше живу и думаю, тем больше, *кровнее* люблю Русь, но... ее действительность настоящая начинает приводить меня в отчаяние...

Россия... страна будущего. Россия, в лице образованных людей своего общества, носит в душе своей непобедимое предчувствие великости своего назначения, великости своего будущего...»

В апреле 1846-го Виссарион Григорьевич смог наконец осуществить давнюю мечту — оставить шестилетнюю службу у Краевского, хотя и жаль было покидать «Отечественные записки» — им столько отдано крови, лучших и мучительнейших минут жизни: «Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку «Отечественных записок». Я, литератор, говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе российской — моя жизнь и моя кровь».

Здоровье его все ухудшалось, но появилась надежда, что в ближайшее время «Современник» перейдет в руки Панаева и Некрасова, там ему будет поболее простору...

— Боже мой, — не раз восклицал Белинский, рассказывая о Краевском, — если бы я мог освободиться от этого человека — я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования, — это подлое лицемерие невыносимо для меня. В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя... Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными трудовыми, в поте лица выработанными деньгами!

Достоевский все это мог вообразить, поскольку успел уже почувствовать и понять, что любезность, оказанная

ему Краевским, предложившим взять у него 500 рублей, — это система всегдашнего, постоянного долга, которой опутал его любезный Андрей Александрович, превратив ее в систему рабства и литературной зависимости.

О Белинском отзывался как о вздорном крикуне: «Славянин, братец, славянин! Чего ждать от славянина!», предпочитая пустого Межевича, и только настоятельные просьбы Панаева, породнившегося с Краевским — Андрей Александрович женился на актрисе Александринского театра, красавице Анне Яковлевне, старшей сестре Авдотьи Яковлевны Панаевой, — и смекалка литературного предпринимателя (понял наконец, что с Белинским хоть и хлопот не оберешься, но он сможет привлечь новых подписчиков журналу) заставили в конце концов пригласить его к себе. И вот московские друзья — Боткин, Кетчер (известный переводчик), Катков, Константин Аксаков — провожают Виссариона Григорьевича в холодный Петербург. Краевский положил ему три тысячи с половиной в год — сумма вполне достаточная, чтобы «не помереть с голоду», но зато и выжимал из нового сотрудника все, что можно было из него выжать. Андрей Александрович, отличавшийся чуткой заботой к собственному здоровью, о здоровье Белинского такой же заботы за делами проявлять, конечно, не мог, хотя и стоило бы: статьи критика приносили ему доход, и немалый.

Немало любопытного узнавал Достоевский от своих новых друзей о сильных мира сего, с которыми теперь сталкивала его жизнь. Краевский был одним из первых в России буржуазных дельцов, родившихся, по замечанию Панаева, для того, чтобы богатеть на винных откупах, но предпочитавших богатеть на российской литературе; он быстро сумел сделаться нужным или хотя бы казаться таковым Пушкину и Гоголю, Лермонтову и Погодину, Дубельту и Канкрину... Кто такой Канкрин? Граф Егор Францевич Канкрин, министр финансов, — человек замечательный; дед его, раввин Канкринус, перешел в протестантство и, прибыв в Россию, умер всего-навсего управляющим старорусским солеваренным заводом. Внук же достиг куда большего. Правда, на посту министра он умел, несмотря на жестокое обложение налогами крестьян, привести российскую финансовую систему в упадок, зато гордился тем, что, имея с женою вместе всего 6 тысяч годового дохода, быстро довел эту цифру до 300 тысяч. Несмотря на то, что один только питейный доход при нем давал 50 миллионов рублей, когда перед ним был поставлен вопрос о необходимости выделить какую-то сумму на строительство железных дорог, граф сумел как дважды два доказать, что, конечно, с одной стороны — медленность и затруднительность сообщения влечет за собой невозможность управлять сим колоссом, называемым Российской империей, но с другой — строительство железных дорог при таких пространствах — вещь нецелесообразная, да и нечего нам смотреть на Европу, пусть-де себе тешатся, а нам нужно развивать конпочтовую связь...

Граф был необходим Краевскому своими высокими, далеко идущими связями, благо, что он питал личную слабость и к словесности; искренне считая себя превосходным стилистом, он с гордостью утверждал, что никто лучше его не может писать по-русски. Говорить по-русски он, правда, так и не выучился, но любил российскую литературу, конечно, только в лучших ее образцах: Гоголя не терпел — когда Николай I послал его посмотреть «Ревизора», граф доложил царю о спектакле как о глупом фарсе. Но Краевского выручал не раз, обменивался поклонами и с Панаевым.

А вот знакомство с Дубельтом, Леонтием Васильевичем, не всегда радовало Краевского, о чем он не раз говаривал даже и Белинскому, а уж через него и Достоевский начинал постигать причинно-следственные связи между правительственными и промышленными хозяйствами российской словесности: зайдет издатель к Дубельту по делу — в две минуты решить можно, а тот целую проповедь прочитает. После гибели Пушкина Андрей Александрович решил испросить разрешения у Леонтия Васильевича на посмертное издание сочинений покойного — немалый доход могли принести, так нет же, государственные интересы для «хозяина русской литературы» — дело наипервейшее, так прямо и заявил: «Довольно этой дряни, сочинений-то вашего Пушкина, при жизни его напечатано, чтобы продолжать их печатать и после смерти оного!» Да еще присовокупил: «Первая обязанность честного человека есть любить выше всего свое отечество, быть самым верным подданным и слугою своего государя». Но вообще-то Дубельт человек хоть и строгий, но справедливый, даже и рискующий своим положением в случаях, когда дело касается его внутренних убеждений. Достоевский был наслышан от друзей и о таком

либерализме генерала Дубельта, которому позавидовали бы многие его недоброжелатели из записных либералов: как-то (дело было еще при покойном Александре I) император приказал ему по доносу посадить в крепость одного то ли фактора, то ли ростовщика. Переговорив с ним откровенно, Леонтий Васильевич пришел к убеждению, что виновность посаженного еще не совсем доказана, а стало быть, лишать его свободы негуманно и противозаконно. И тогда Леонтий Васильевич осмелился вступиться за несчастного перед царем: «А если он окажется невиновным, то чем вы искупите его невинное заключение, государь?» Александр I взглянул на него так, что любой другой сквозь землю бы провалился или, во всяком случае, отправился бы тотчас в места не столь, а то, пожалуй, и столь отдаленные. Но не таков Леонтий Васильевич — он не провалился и не отправился... А через четыре месяца «невиновность» заключенного действительно была наконец доказана. Александр позвал Дубельта и сказал: «Ты был прав, чем я могу вознаградить его?» — «Деньгами, — ответил генерал, — этот народ готов за сто рублей просидеть и год в крепости». Его величество приказал выдать не ожидавшему такой милости ростовщику четыре тысячи рублей... Ну кто мог ожидать такой отчаянной милосердности от жандарма?

Впрочем, разве же и Краевский не заслужил звания либерала, пытаясь нажиться даже и на смерти Пушкина? В его умелых руках литература скоро оказалась делом вполне коммерческим, принесшим ему серьезные доходы: купил журнал, дом в Петербурге, дачу в Павловске, и какую великолепную, у одного из великих князей, нуждавшегося в деньгах...

Но литература давала не одни материальные доходы, Краевский сумел выжать из нее для себя и славу, и даже ум. Да, он прослыл умным человеком, и не только в смысле деловом, но и, так сказать, в философском. Правда, мысли сами по себе были не его, а все большей частью Белинского, но он умел и их обращать в капитал. Но зато и платил ему... А теперь *мальчишка,* от которого ему пришлось терпеть даже прозвище Ванька-Каин, всем ему обязанный, от него уходит. Ничего, при случае и этот уход тоже можно будет пустить в доходный оборот. К тому же Белинский давно уже не скрывает своих убеждений, а это — Андрей Александрович знал хорошо — чревато!

Не скрывал своих убеждений Белинский и от Достоевского и едва ли не с первых дней знакомства приступил образовывать новичка, или, как писал сам Достоевский, — «с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом... Я страстно принял тогда все учение его».

«Человек экстремы» — так назвал его Герцен, — Белинский провозглашал: «К дьяволу все субстанциальные силы... Да здравствует разум и отрицание!.. Проклятие и гибель думающим иначе!.. Чувствую, что без драки не обойдется». Настороженно вслушиваясь в рассуждения Белинского о «матери святой гильотине», Достоевский не раз поражался удивительной его способности,— расхаживая по комнате и ссылаясь на Дантона и Робеспьера, понюхав вдруг табачку, без всякого перехода заговорить о грибах, о том, как должно быть хорошо сейчас в лесу, — так что Достоевскому тут же вспоминались его Даровое, маменька, «Федина роща», овраги...

— Что-то грудь болит, — жаловался Белинский, — будь отцом родным, принеси воды запить проклятую микстуру, — честное слово, помирать буду — воды никто не подаст.

В комнату входила Аграфена Васильевна, его свояченица, со стаканом воды, а вслед за ней являлась и только что научившаяся ходить маленькая белокурая Ольга, Олюшка, на которую изливалась вся любовь нерастраченной души Белинского. Жена, Мария Васильевна, вот-вот снова должна родить...

Белинский женился неожиданно для всех три года назад на воспитаннице одного из московских институтов, служившей гувернанткой в частных домах, а одно время даже и в доме знаменитого автора «Ледяного дома» Ивана Ивановича Лажечникова. Ко времени знакомства с Белинским она служила уже классной дамой в том самом институте, в котором сама воспитывалась. Виссарион Григорьевич встретил ее случайно во время поездки в Москву.

Говорили, что в молодости Мария Васильевна Орлова была недурна собою, но, «выходя замуж, она была уже зрелых лет, насквозь болезненная и с нервической дрожью во всем теле. Движения ее были угловаты и лишены всякой грации. Мария Васильевна, следившая за русскою журналистикою, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторенный ею урок он принял за проявление собствен-

ного развития; он увлекся страстно, как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии...

На маленькую квартиру в доме Лопатина переехала... вскоре и свояченица его, Аграфена Васильевна, называвшаяся, впрочем, Agrippine. Обе сестры, уже не молодые... смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму. Говорили они между собою почти всегда по-французски... Понятно, что в этой среде Белинский не мог найти того, что искал, — ...полного духовного общения, семейного союза в высоком значении этого слова. Но когда хроническая болезнь его приняла характер более угрожающий, он нашел и в пустой жене, и в придурковатой свояченице усердных, хотя и ворчливых, сиделок... Но многие ли не показались бы пустыми рядом с Белинским? А «придурковатая» свояченица оставила о нем отнюдь не придурковатые воспоминания, правда касающиеся прежде всего его домашней, частной жизни; но тем-то они и ценны: в них не хрестоматийный Белинский, но живой, «смертный», лишний раз напоминающий о том, что и великие не рождаются закованными в бронзу памятниками самим себе.

«Раз вбегаю я в комнату, — рассказывает Agrippine, то есть Аграфена Васильевна Орлова, — Белинский лежал на диване, а на полу я увидела пятна крови и в испуге ахнула. «Ну, чего вы испугались и ахаете: это у меня часто бывает». Иногда Белинский вдруг упадет с дивана на пол и начинает кататься; волосы у него были прегустые, покроют все лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеется, так что раскашляется. Чай он пил обыкновенно столь сладкий, с большим количеством сливок и вливал в него немного рому; однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался, он вздумал дать собакам, которые... выпили все и опьянели так, что и на четырех лапах не могли держаться... Белинский смеялся как ребенок. Жена говорит ему: «Ведь они могут сбеситься! Что ты наделал!» Он сейчас же побежал к колодцу, накачал воды в лейку и стал поливать собак до тех пор, пока они совсем не отрезвились и не стали валяться по песку...»

Достоевский знал из рассказов Панаева, что многие солидные люди, и в первую голову Краевский, считали Белинского, да и все его окружение, мальчишками. Достоевскому его замечательный друг тоже часто казался мальчиком, ребенком, но не в том презрительном, уничижительном смысле, который вкладывали в это понятие

такие люди, как Краевский, но в ином, может быть, до конца еще и не вполне им осознанном: *русские мальчики* — это образ, это идея. Солидный человек ради карьеры упрячет в самый потаенный карман свои убеждения и забудет вскоре об их существовании, а мальчики пренебрегут карьерой, оставят доходное место ради убеждений; там, где серьезный человек рассчитает все заранее, они не станут тратить время на расчеты — поступят как велит им совесть, часто даже будучи вполне уверенными в самых ужасных для себя последствиях. Это такие мальчики, как Шидловский, оставляют теплую службу в министерствах и идут проповедовать крестьянам, выползающим из шинков, в минуту опасности для отечества оставляют дом, невесту, мать — и идут добровольцами, ополченцами, чтобы стать героями Бородина; забывают о своей тысячелетней родословной, и благах, и привилегиях, кои она им обеспечивает, обрекая себя на виселицу или кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава отчизны, освобожденной от крепостного права и подчинения немецкой чиновничьей бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничегонеделанья; это они бредут тысячи верст пешком по матушке-России в Петербург, чтобы за несколько лет стать гордостью российской науки...

Какой-нибудь немецкий профессор Вагнер, всю жизнь просидевший над мудреными книгами, в конце ее посмеет вывести формулу, по которой можно будет предположить, что в такой-то точке небесного свода, возможно, существует неизвестное, невидимое нам небесное тело. А русский мальчик, ни слова не зная по-немецки и услыша в передаче из других уст слух о гипотезе такого профессора, уснет под утро, промучась всю ночь над тайной вселенной, а утром на смех всем европейским, да и отечественным профессорам начнет доказывать, что не в такой-то точке, а в такой-то; и не предположительно, а непременно; и не какое-то небесное тело, а именно звезда, да еще и со спутниками... И с такой страстью будет доказывать, будто от этой звезды вся его дальнейшая карьера зависит: карьера его, конечно, от этого зависит — это уж точно, только совсем в обратном смысле, — короче, загубит он свою карьеру окончательно, так и помрет осмеянный. А через два-три года после его безвестной смерти какой-нибудь другой ученый Вагнер математически докажет его правоту. Только это уже будет не его правота, а ученая, вагнеровская...

Нетерпеливы русские мальчики, им хочется сразу всего, одним разом либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Все или ничего...

Но сердцем, но страстью, но провидением душевным, но убежденной устремленностью бескорыстия им открывается многое и такое, чего не возьмешь простой ученостью и усидчивостью.

Таким вот великим, нетерпеливым мальчиком представлялся порою Достоевскому и Белинский, когда он жег собеседника глаголом своих откровений. «Я весь в идее гражданской доблести... Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фантастическая любовь к свободе и независимости человеческой личности... Я понял французскую революцию, понял и кровавую любовь Марата к свободе...»

Таким мальчиком был в ту пору, да и во всю свою жизнь в этом смысле не очень-то повзрослел и сам Достоевский.

О своей первой страсти, дающей пищу сознанию и выход в реальный мир душе мечтателя, он вспоминал уже в зрелом возрасте так: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге... казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего, «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским... в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий...»

«Учение» Белинского произвело огромное впечатление на молодую, социально еще не сформированную душу писателя. Мечта о золотом веке, о «рае» на земле, устроенном по законам человечности, разума, добра и справедливости, стала для него только инобытием его фантастических снов. Мечта жаждала обрести формы реальности, искала почву для воплощения. Взоры таких людей, как Белинский, с надеждою обращались к Западу, в недрах которого рождались социалистические теории, зрели социальные революции. Только в этом смысле Белинский и был «западником». Вместе с тем именно он же, Белинский, провозглашал публично: «Настало для

России время развиваться самобытно, из самой себя, пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское... Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении... Мы... выдержали с честию не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово...»

Это страстное учение, конечно, не только не могло оскорблять глубоко национальное, патриархально-национальное чувство Достоевского, заложенное в нем с детства, но, напротив, должно было рыхлить почву в его душе для вполне осознанного революционного патриотизма. Идея высокого предназначения России, ее призвания сказать миру свое, новое слово глубоко заляжет в сознании писателя-мыслителя. Не могла отпугнуть мечтателя Достоевского и особая, «странная» любовь Белинского к России, любовь, сочетающаяся с ненавистью к определенным сторонам ее действительности. Глубоко в сознание молодого писателя проникла мысль критика о том, что «ненависть иногда бывает только особенною формою любви» (как скажет потом Некрасов: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»), ибо и эта ненависть была лишь формой патриотизма, верой в возможность лучшего, а не скептицизмом по отношению к великому предназначению России. Такой скептицизм был ненавистен Белинскому: «...признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны, не верю я их интересам». Жадно впитывал в себя Достоевский и эту страстную ненависть критика, и его убежденность в великой социальной значимости художественного слова. «У нас общественная жизнь преимущественно выражается через литературу, — справедливо утверждал Белинский. — Свобода творчества легко согласуется с служением современности: для этого нужно только быть гражданином, сыном своего отечества, своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением...»

Чахотка его все более давала о себе знать, все чаще Белинский кашлял кровью, все более бледным станови-

лось его лицо, все острее делался взгляд его голубых пронзительных глаз.

Друзья настоятельно советовали ехать за границу, в Германию, на воды, к профессорам-специалистам. Но денег на поездку не хватало, да и друзья поговаривали — вряд ли, мол, позволят ему выехать: глядишь-де, еще застрянет где-нибудь... Он-то, Белинский? Да ему легче тотчас помереть на родине, чем еще сто лет прожить где угодно, кроме России.

Белинский не верил ни в саму поездку, ни в то, что она излечит его, но в глубине души таил надежду: а вдруг эти чертовы профессора избавят его от удушья, кровохарканья — сколько бы можно еще сделать...

Мечтал съездить в Австрию и особенно в Италию — «страну Гоголя» — и Достоевский, подлечить нервишки, да и поработать на досуге, чем же еще заниматься в Италии?

Уехали уже в Европу Огарев и Боткин. Целый сонм либеральных, состоятельных помещиков вообще осел там. Иногда только наведывались ненадолго в Россию, чтобы ускорить присылку денег нерадивым старостой, очевидно решившим, что хватит мужикам все на бар да на бар крепостничить, пусть и на него поработают.

— А нашему брату батраку, — слышал Достоевский не раз от Виссариона Григорьевича, — разве что во сне придется видеть Европу! А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц — интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадает из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора? Чуть увлечешься, распишешься, как вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо: «Строчи, голубчик, строчи, как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут поставлю красный крест и обезображу до неузнаваемости твою мысль». Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули на пристани. После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил ляжешь и целую ночь глаз сомкнуть не можешь от разных скверных мыслей. Ведь в самом деле, какую пользу можешь принести своим писаньем, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе?..

Панаев с Некрасовым утешали — ничего, мол, цензоры тоже люди и тоже жить хотят, нужно с ними дружить, понимать друг друга: ты его поймешь, он тебя поймет, а выгода кому? Ли-те-ра-ту-ре!

Сначала журнал опекал профессор Петербургского университета Александр Лукич Крылов. Когда Некрасов уговаривал его оставить вычеркнутые им места, потому как в результате получалась бессмыслица, Крылов затыкал уши и отчаянно кричал: «Господи! Подвести меня хотят — два года до пенсии осталось, а они хотят лишить меня ее... А у меня жена, дети!» Позже его сменил Бекетов, который сразу же заявил Некрасову и Панаеву, что им лучше жить в ладу, а после каждого выхода книжки «Современника» не забывал намекнуть, впрочем, совершенно шутя: «После трудов, господа, и отдохнуть не грех, так я завтра приеду к вам пообедать, но только по-семейному, поговорить, чтоб душа нараспашку!»

— Эх, господа писатели, — говорил он, отобедав, — несправедливо вы относитесь к нам, побыли бы на нашем месте, так не так бы еще кресты ставили. Уж на что я дока, сами убедились, а вот тоже, бывает, и проглядишь. Подписал недавно книжонку — ну совершенно безвинную, вдруг на меня бумага из одного серьезного ведомства: сделать цензору выговор за то, что пропустил брошюру, в которой порочится наше ведомство... Господи, да я же знаю — там и намека на это нет, а вот поди жь ты — выискали. Только опомнился — бац! — из другого, еще более серьезного ведомства — сделать строжайший выговор за эту же брошюру, и тут же совершенно обратное первому ведомству ее толкование. Вот такое наше положение: да будь ты хоть семи пядей во лбу, а никогда не догадаешься, как захочется истолковать смысл одной и той же книжки разным серьезным ведомствам, а потому и от шишек никогда не бываешь избавлен. Я ведь недолго собираюсь здесь сидеть — вот подыщу другое местечко — и прощайте, господа писатели. И ведь не раз еще пожалеете обо мне! Попомните мое слово...

Белинский наконец уехал за границу: денег собрали друзья, основную сумму дал Герцен; с разрешением на выезд также утрясли. Достоевскому выбраться не удалось: не хватало средств. Но особо не огорчился: в голове полно идей, планов, надежд, пальцы в три перста складываются, держат перо — работается! Чего еще нужно?

Не первая зима на волка... Пишет сразу две повести — «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях», но... молодой организм тоже не у всех из железа сделан. «...был болен, при смерти в полном смысле этого слова. Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, а болезнь устремилась на сердце...» — жалуется он брату и тут же просит его устроить в Ревеле жену Белинского с сестрой и ребенком на отдых. С Марией Васильевной и маленькой Оленькой у него самые приятельские отношения, да и Мария Васильевна к нему, будто к сыну, снисходительна — ни укоров, ни смешливых подергиваний плечиками, когда он бывает неловок, а неловок он бывает нередко.

Пришлось искать для себя постоянного врача. Новый его приятель, совсем молодой критик Валериан Майков, — на два года младше Достоевского, но уже приглашен Краевским руководить отделом критики «Отечественных записок» после ухода из них Белинского, — познакомил его с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским. Степан Дмитриевич обрадовался возможности видеть автора «Бедных людей», но его вконец расшатанные нервы огорчили доброго доктора.

— Галлюцинации, батенька, бывают, голову нынче ночью мутило, — жаловался новый пациент, а когда доктор успокаивал — все-де в порядке, галлюцинации же от нервов, надо бы обстановку переменить, съездить куда-нибудь, — тут же оживлялся, как бы сразу выздоравливал и просил: — Ну тогда чайку полчашечки и без сахару, я сначала вприкусочку, а вторую, с вашего позволения, батенька, с сахаром и с сухариком. — От вина пришлось совсем отказаться — под страхом *кондрашки*, разве что по какому-нибудь торжеству — четверть бокала шампанского, которое он и прихлебывал весь вечер по глоточку, произнося при этом спичи, до которых был охоч; любил пригласить друзей на недорогой ужин или, собрав их у себя, вдруг с заговорщицким видом предложить: «А не почитать ли нам Гоголя, господа?» Читал он его удивительно, нередко закрыв книгу и даже на время позабыв о ней...

Переменять так переменять — сменил еще раз квартиру и снова выбрал угловую, с видом на Казанский собор. Съездил в Ревель к Михаилу. Начал писать рассказ «Господин Прохарчин». Вернувшись в Петербург, купил брату новую шинель, отослал — пусть радуется. Познакомился с Герценом — это уж целое событие, этот человек

произвел на него впечатление, но подружиться то ли не успели, то ли помешало что другое, внутреннее, разбираться не стали, но друг о друге всегда помнили уважительно.

Достоевский тянулся теперь душой к новым друзьям, тем, перед которыми он мог быть самим собой, перед которыми не нужно было постоянно играть роль «нового Гоголя», общение с которыми ощущал как выздоровление. Предложил сотоварищу по Инженерному училищу Алексею Бекетову, двум его братьям, молодым, начинающим ученым-естественникам, поэту Плещееву, Валериану Майкову и брату его, поэту Аполлону Майкову, Григоровичу, студенту-восточнику Ханыкову и доктору Яновскому составить своеобразную коммуну, или, как он называл ее сам, ассоциацию. Достоевский был уже неплохо знаком с литературой утопического социализма. Решили снять общую квартиру для совместной жизни, для споров и отдыха — на равных паевых началах. Может быть, хотелось на практике проверить надежность утопических теорий? Но была и другая причина, заставлявшая Достоевского искать новых друзей. Белинский уехал, с Некрасовым же и Тургеневым он повздорил, а после и вовсе разругался. Разругался потому, что друзья напрасно обвиняли его в измене «Современнику»; не хуже его самого знали: безденежье, в котором он долго пребывал, и безотказная система своеобразного ростовщичества «литературного Чичикова» Краевского — как звал его Достоевский, — обратили его в поденщика, вынужденного отрабатывать долги, которые не уменьшались, но каким-то образом умудрялись даже расти. Хотя, с другой стороны, не будь «Чичикова», еще неизвестно, сумел бы он продержаться без его «системы» или давно уже был бы упрятан в долговую яму...

Было, конечно, и другое, долго не заживающее, саднящее, какая-то тупая, нескончаемая зубная боль души. Он так распахнуто рванулся навстречу новым, необыкновенным друзьям своим, так простодушно, доверчиво не мог и не хотел — друзья ведь! — лукавить, скрывать от них свою восторженность. Впрочем, так оно, видно, и должно было случиться с ним. Да, кто ты такой, голядка ты этакая? В гении себя возмечтал, да еще и не преминул поделиться воспарениями души с друзьями...

Первым начал Тургенев. Авдотья Яковлевна вспоминает: «Друзья пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами... особенно на это был мас-

тор Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену... а Тургенев... потешался». Белинский не однажды выговаривал Тургеневу: затем подзадоривает больного человека? Когда ему объясняли, что Достоевский уже считает себя гением, Белинский только разводил руками. Вступалась за нового своего знакомого и Авдотья Яковлевна, но, когда Тургенев был одержим своей иронической веселостью, ничто уже было не в силах сдержать игривый бег его язвительного конька. Тургенев с самого начала не разделял восторгов Белинского в отношении автора «Бедных людей», о чем и заявил позднее, правда: «Прославление свыше меры «Бедных людей» было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинающегося ослабления его организма». Панаев и Тургенев при всех звали теперь Достоевского не иначе как «литературный кумирчик», сочинили и пустили по Петербургу эпиграмму:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ

Далее и вовсе следовали непристойности. В стихах не только высмеивалось его авторское самолюбие, но и в издевательском тоне передавался анекдот о падении перед белокурой красавицей, а главное — выносилась на общественное обозрение его злополучная падучая, которой и сам-то он тогда еще пугался, стыдился, пытался скрыть ее от посторонних глаз. От друзей-то не скроешь...

Конечно, иронизировали тогда в таком стиле и над другими и друг над другом, но светски воспитанные Тургенев и Панаев, если уж дело доходило до того, что над ними смеялись, начинали смеяться вместе со всеми, а божедомский бука Достоевский как дурачок дулся и обижался. Над Некрасовым особо не посмеешься — отбреет; Белинского тронуть, во всяком случае в его присутствии, кто решится? Над Достоевским же не смеялись — над ним откровенно потешались. И прямо при Авдотье Яковлевне... Стать светским человеком и отвечать им тем же? Для этого он слишком дурно воспитан, да и унаследованная от отца уязвленность души не позволила бы ему взять на себя либо роль шута, либо козла отпущения. Оставалось одно — порвать с приятелями...

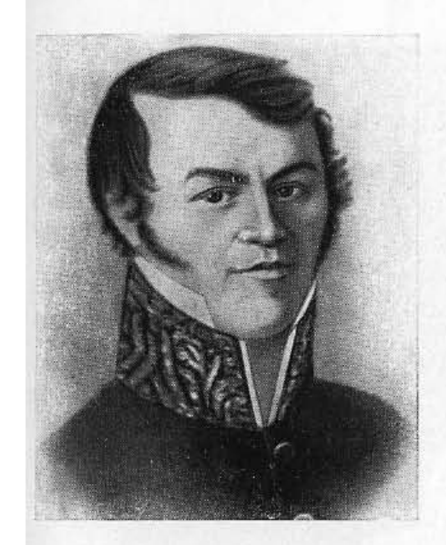
Ходят люди по каменному городу — сердца у них каменные... Но Тургенев, Некрасов — и у них тоже? «Еду ли ночью по улице темной...» — мог ли вырасти этот прекрасный, щемящий душу росток на камне? Разве это не крик раненного на всю жизнь живого, трепетного сердца Некрасова? Как уживаются вместе доброта и жестокость, сострадательная распахнутость перед чужими болями, как своими, и способность язвить другое, и без того уязвленное сердце?.. Широк, непостижим человек!..

Между тем вокруг «Бедных людей» и «Двойника» исподволь развернулись настоящие журнальные баталии. Одной из первых, как того и следовало ожидать, ужалила булгаринская пчела. «Бедные люди» толковались Фаддеем Венедиктовичем Булгариным не сами по себе, но как произведение программное, написанное под влиянием Белинского, представляющее собой образчик «натуральной школы». Ай да Фаддей Венедиктович, слово-то какое срамное придумал, да и приклеил. А ведь когда-то был сотрудником Рылеева, бессменным другом Грибоедова — значит, находил же в нем что-то автор «Горя от ума», значит, не пустой же он, не по природе своей подлый человек? Но, видно, этой славы ему показалось недостаточно — решил обессмертить себя, постоянно ругая Пушкина, Лермонтова, Белинского. И добьется своего — более чем третьестепенный беллетрист, но что-что, а уж бессмертие своему имени обеспечит. Нижайший вам поклон, Фаддей Венедиктович, за вашу ругань, ибо ее нужно воспринимать как награду: не дай бог услышать из ваших уст похвалы — вот тут пришлось бы серьезно засомневаться в себе... Ну а раз Фаддей Венедиктович обругал — стало быть, все в порядке. Кто следующий? «Иллюстрация» Нестора Кукольника решила выступить анонимно, без указания фамилии автора: «...подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек... Но, может быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком потчуют сластями кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям...»

Ясно... тут все ясно, просто решили поиздеваться. Подождем, что скажут другие. Через четыре дня он вчитывался уже в «Северную пчелу»: «...уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова. Стоустая молва мигом разнесла приятную весть... жестоко разочаровались... вздумал построить поэму, драму, и вышло ничего...» А вот снова сам Булгарин — наш пострел везде поспел, — вот уж неукро-

тимый нрав! А может быть, на свой лад — тоже уязвленное самолюбие? Бог шельму метит: в своем доме он — никто, жена и тетка — немки — распоряжаются всем, ему выдают на карманные расходы, живет на проценты, получаемые с магазинов, лавочек, винных погребов, которые рекламирует в своей газете, а деньги тщательно скрывает от жены... Однако что тут? Э, да тут, братец, экивок! «Господин Достоевский — человек не без дарования...», ага, одумался, что ли? С чего это вдруг перевернулся и погладить решил? Понятно, хочет отделить от Белинского: «Господин Достоевский — человек не без дарования...» Эк его! Но приятно... даже и от Фаддея Венедиктовича приятно после столькой ругани, — «и если попадет на истинный путь в литературе, то может написать что-нибудь порядочное. Пусть он не слушает похвал натуральной партии и верит, что его хвалят только затем, чтоб унижать других...». Он начинал догадываться, что, к сожалению, его роман сам по себе, как бы даже и ни при чем; все дело в борьбе литературных партий: его расхвалил Белинский. А уж коли Белинский расхвалил, то Булгарин непременно должен обругать. Замечательно. А если бы обругал Белинский, стало быть, тогда поддержал бы Булгарин? Арифметика!

«Ну, брат, — пишет он Михаилу, как после первой порции холодного душа. — Какою ожесточенною бранью встретили... Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина... Зато, какие похвалы слышал я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я... далеко ушел от Гоголя». И ссылается на обещанные ему статьи Соллогуба, Одоевского и Белинского. Из обещанного появилась только статья Белинского. Кажется, он знал или предчувствовал в ней каждое слово и все-таки, едва дождавшись третьего номера «Отечественных записок», закрылся в своей комнате, залез с ногами на диван и лихорадочно побежал глазами по долгожданным строчкам: «Бедные люди», роман г. Достоевского, в этом альманахе — первая статья и по месту и по достоинству...» Вот, все, все читайте! «Появление... необыкновенного таланта... Так было с Пушкиным... с Гоголем... Явился Лермонтов...» — вот в какой ряд поставил его Белинский! Сердце, казалось, вот-вот выскочит либо остановится, хоть на мгновение передохнуть, а он жадно бежал и бежал по строчкам: «...его, как писателя с сильным и самостоятельным талантом, нельзя назвать подражателем Гоголя...» Да, да — все точно! Но,



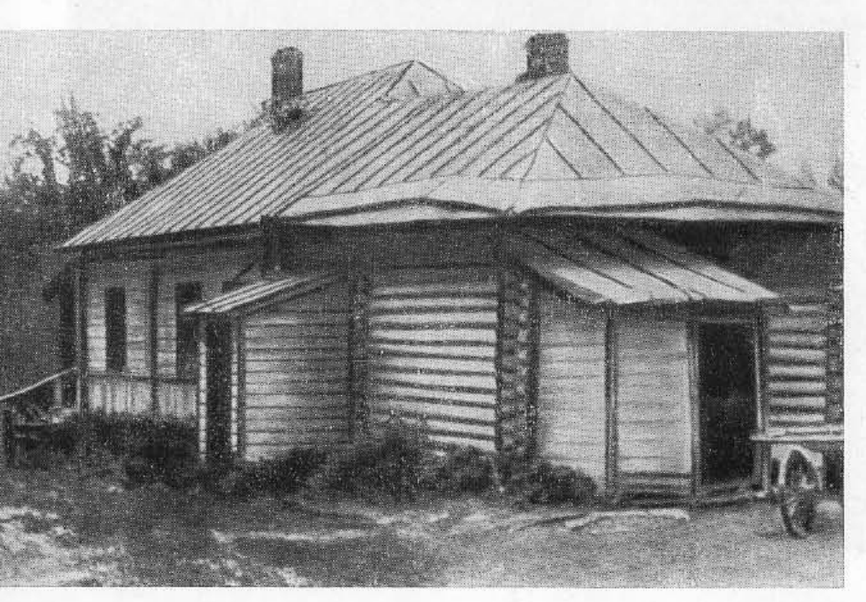
М. А. Достоевский — отец писателя.

М. Ф. Достоевская — мать писателя.

Дом, в котором родился Федор Достоевский.

Арина Архипова — одна из нянюшек Ф. Достоевского.

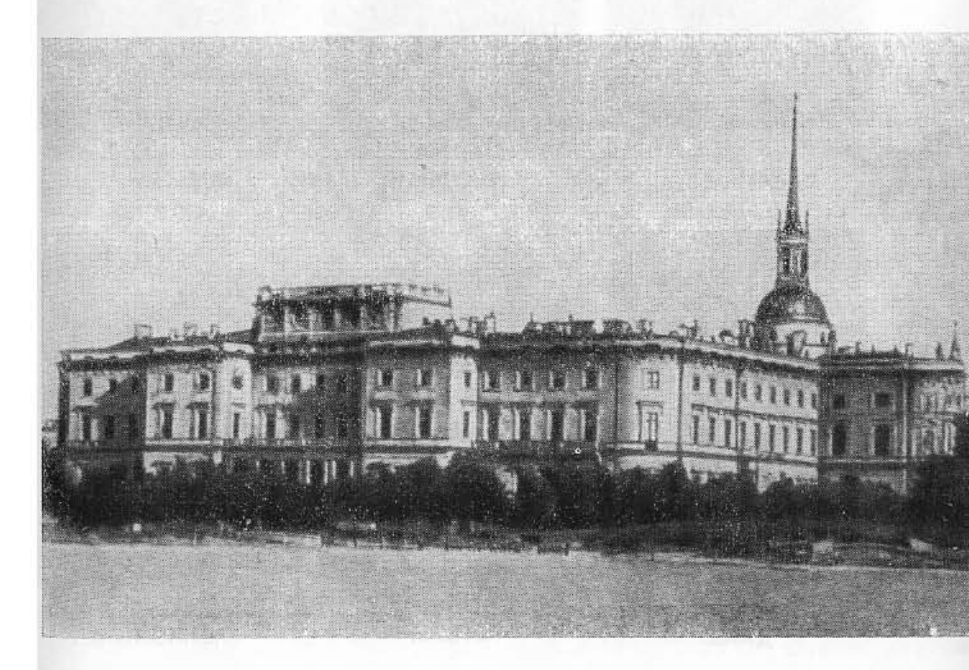
Даровое.
Дом Достоевских.



Фельдъегерь. Акварель А. Орловского.

Кондукторы Инженерного училища.

Михайловский замок. Главное Инженерное училище.



ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ ДОСТОЕВСКОГО:

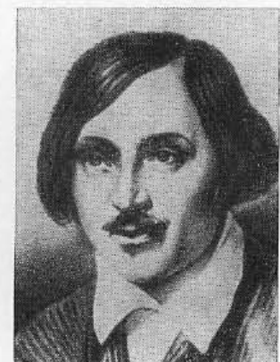
ПУШКИН.

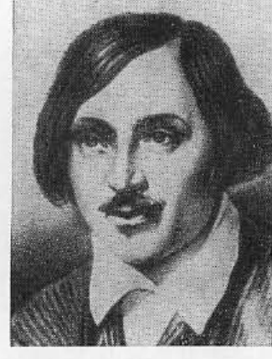
КАРАМЗИН.

ЖУКОВСКИЙ.

ВЕЛЬТМАН.

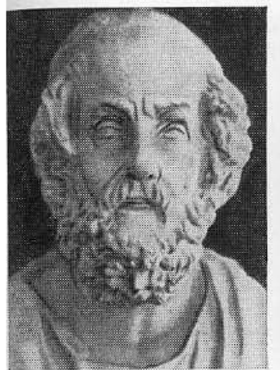
ДАЛЬ.



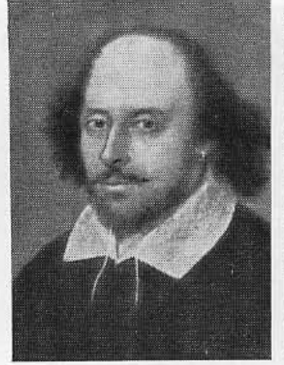


ГОГОЛЬ.

ЛЕРМОНТОВ.



ГОМЕР.



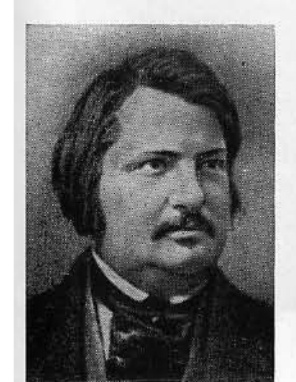
ШЕКСПИР.

СЕРВАНТЕС.

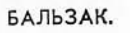
ШИЛЛЕР.

ГЁТЕ.

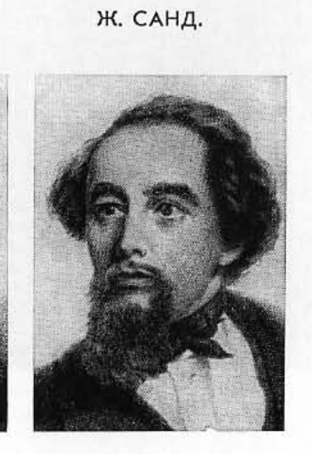
Ж. САНД.



БАЛЬЗАК.

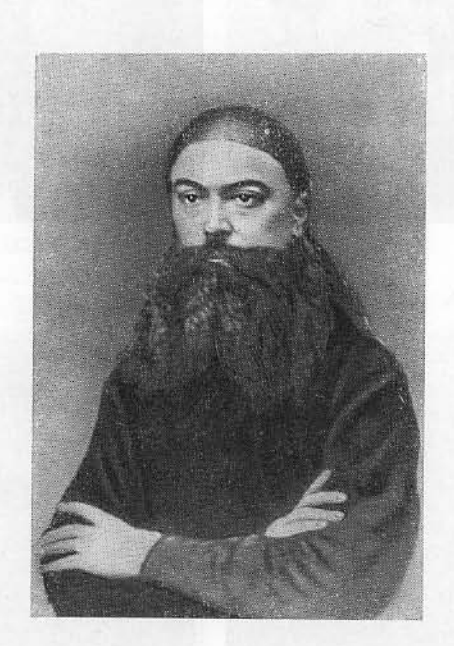


ГЮГО.



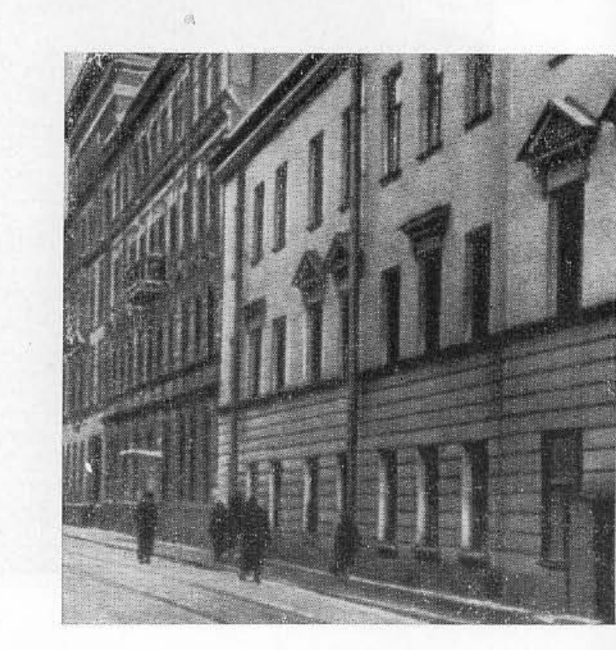
ДИККЕНС.

Ф. М. Достоевский.
Худ. К. Трутовский. 1847.

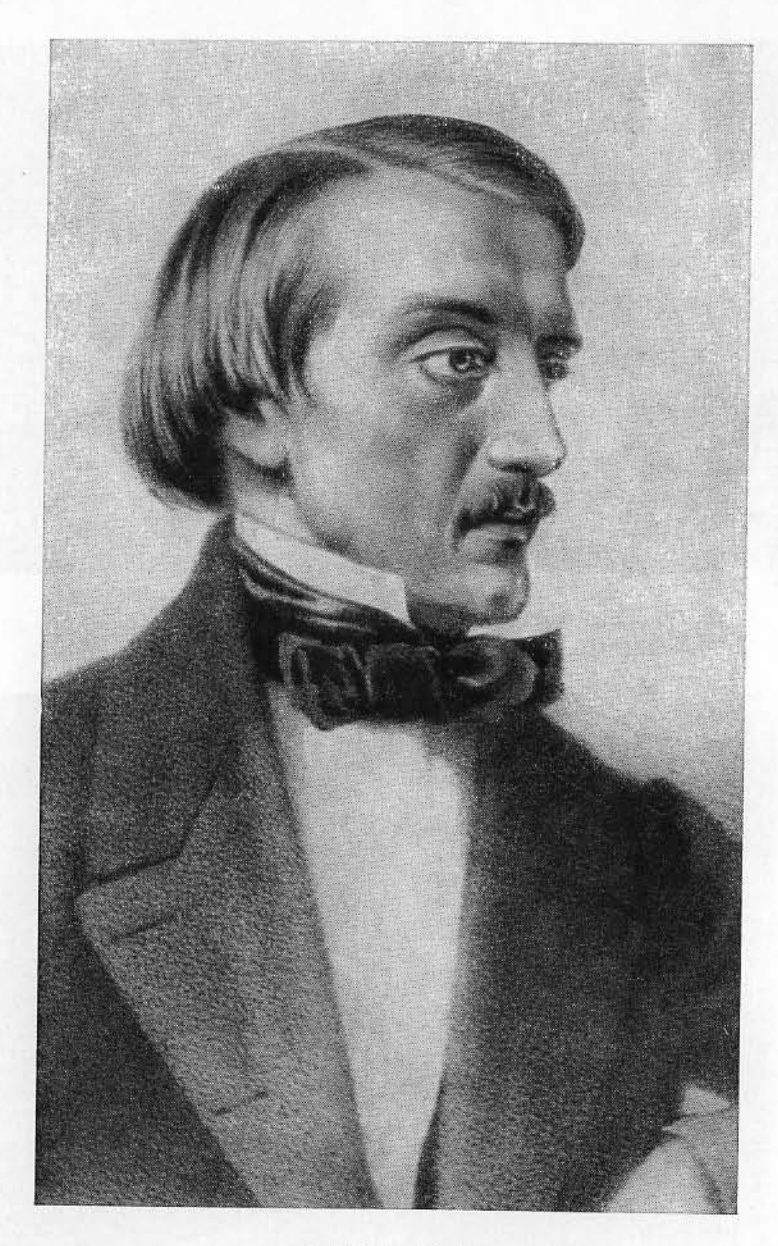


И. Н. Шидловский.

Вид Петербурга.



Дом, в котором написаны «Бедные люди».



В. Г. Белинский.

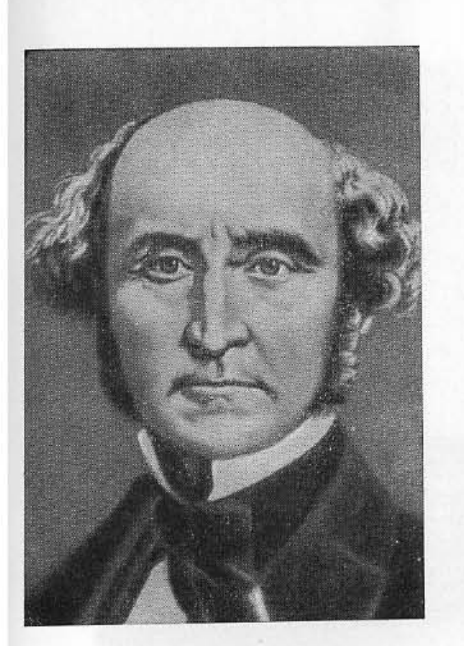
И. И. Панаев.

Н. А. Некрасов.

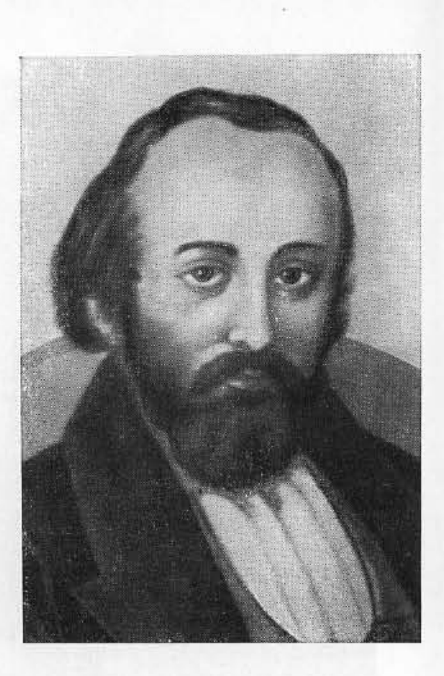
Валериан Майков.

Д. В. Григорович.
Автопортрет.

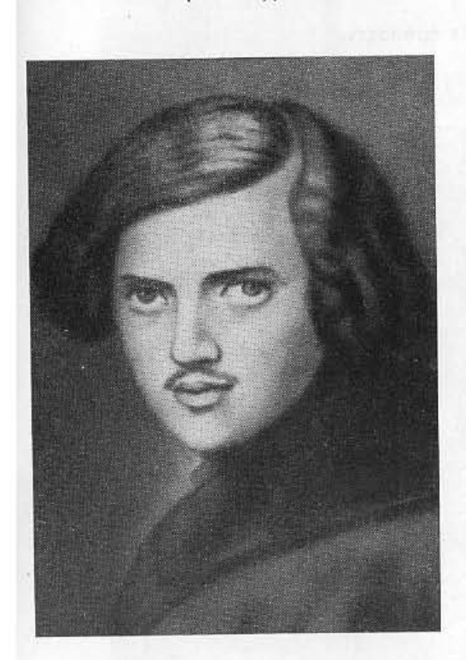
А. Я. Панаева.



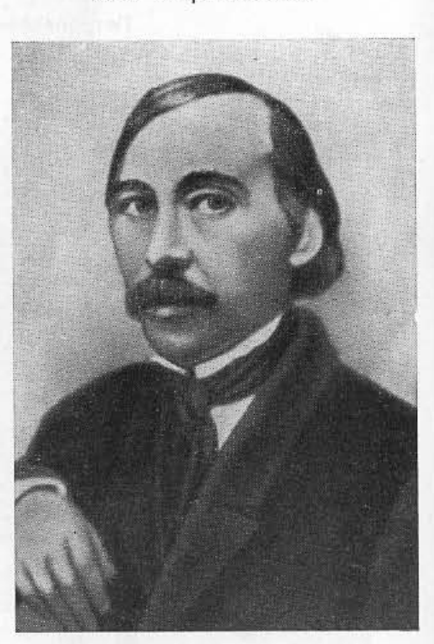
Шарль Фурье.



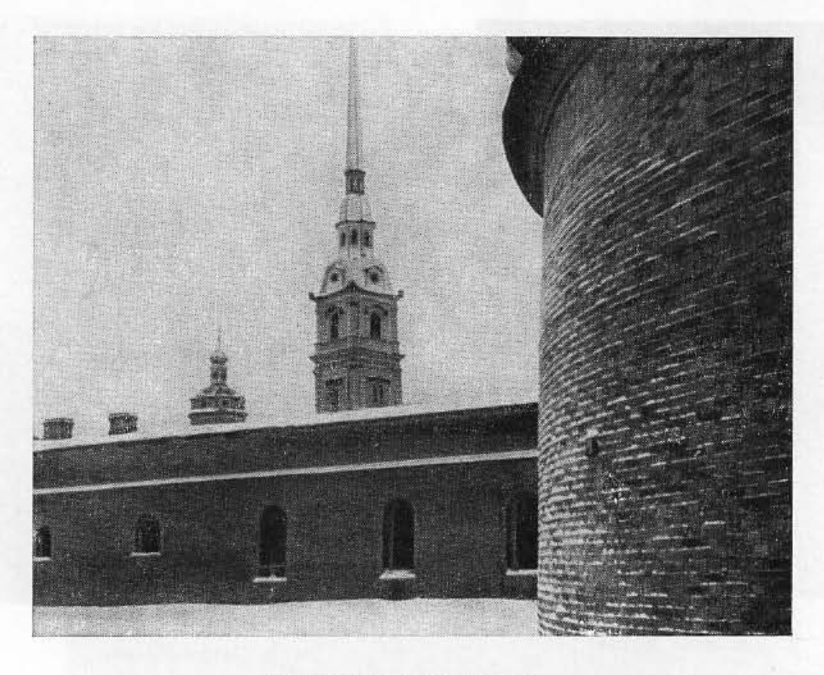
М. В. Петрашевский.



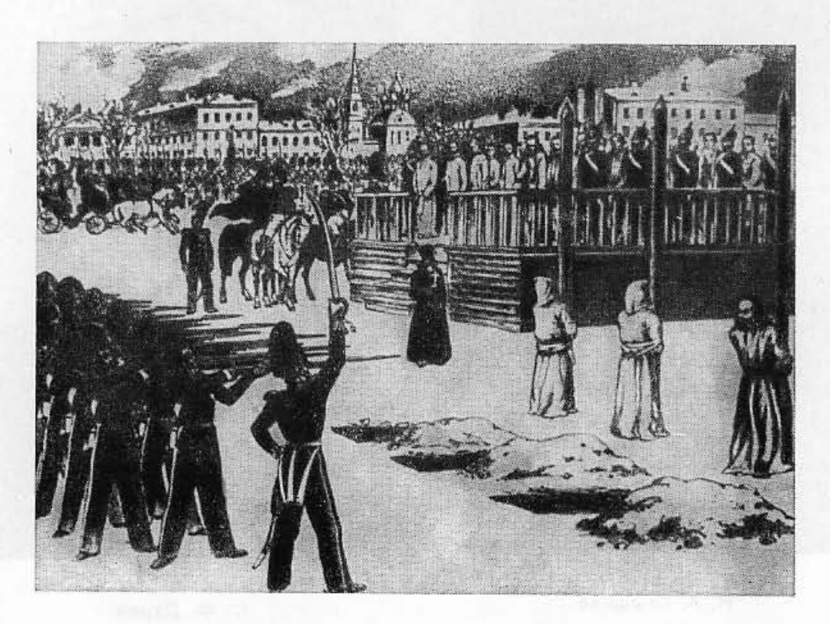
Н. А. Спешнев.



С. Ф. Дуров.



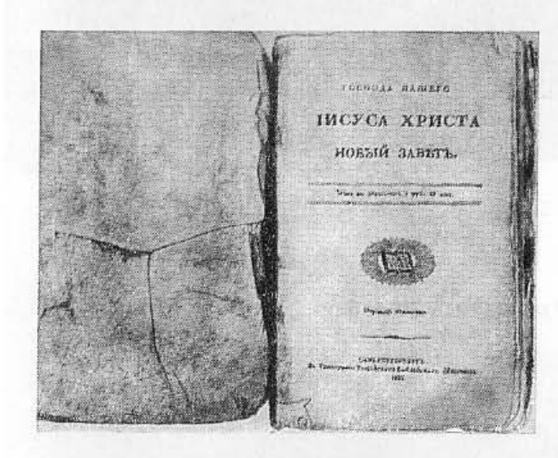
Петропавловская крепость.



Обряд казни на Семеновском плацу.

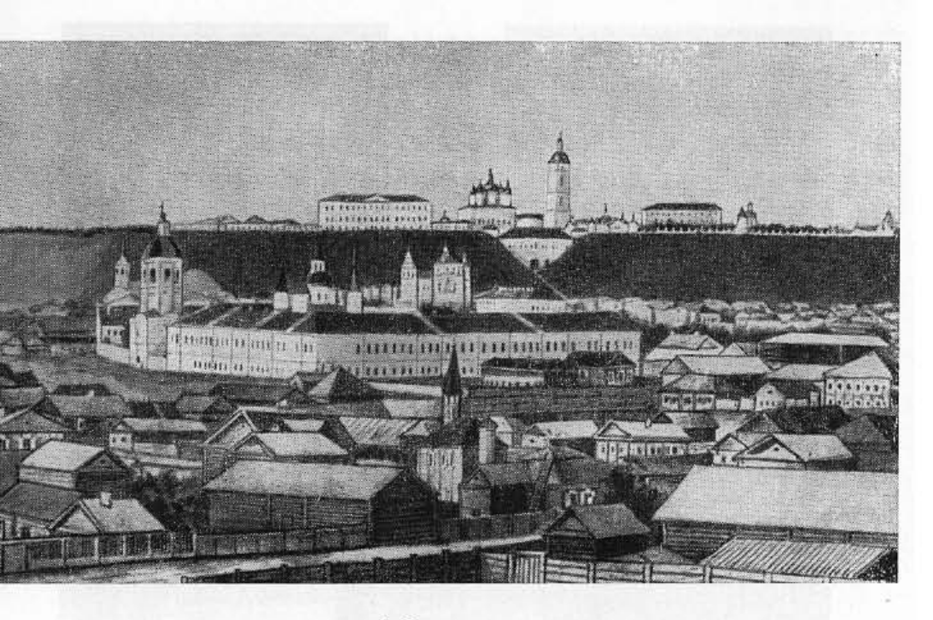
П. Е. Анненкова.

Н. Д. Фонвизина.



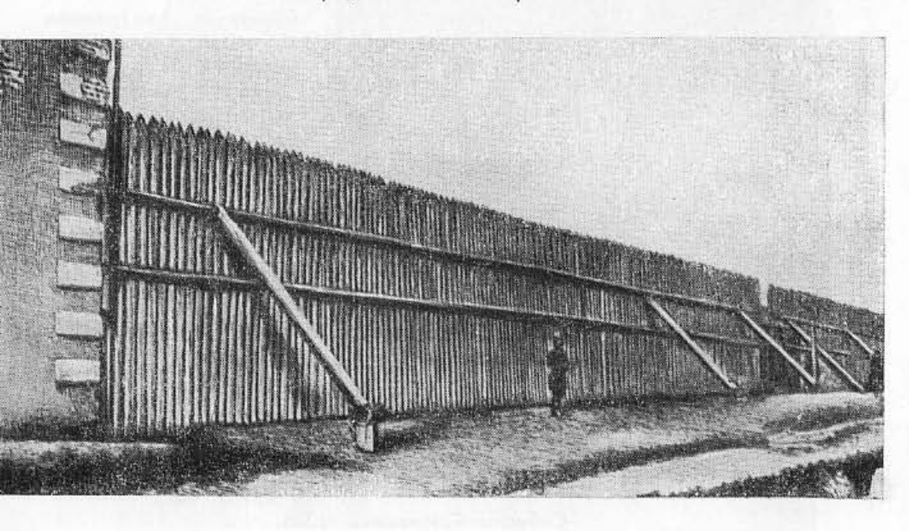
Евангелие, подаренное Достоевскому женами декабристов, единственная книга, дозволенная в остроге.

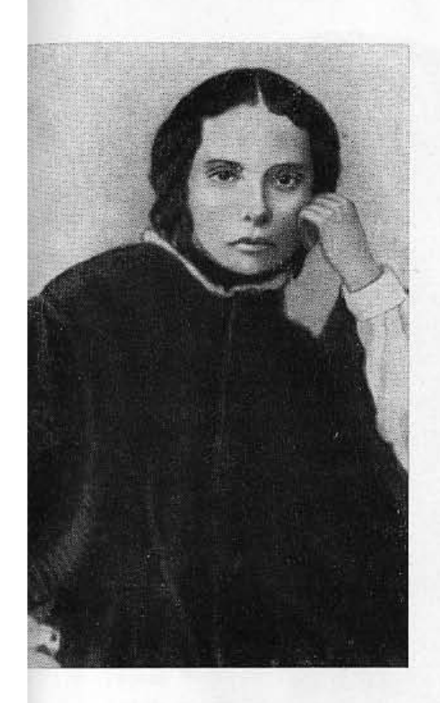
Сибирский почтовый тракт.



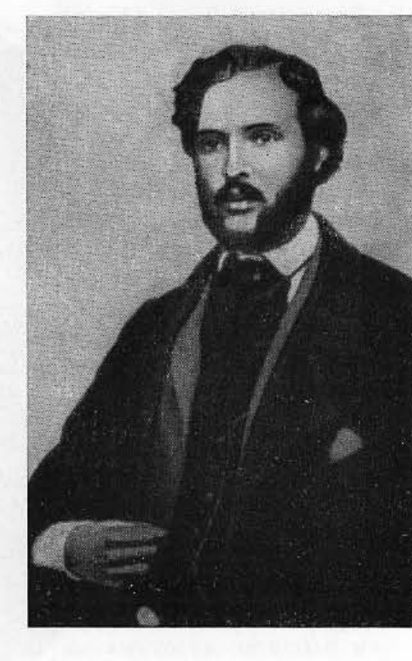
Тобольск.

Ограда Омского острога.

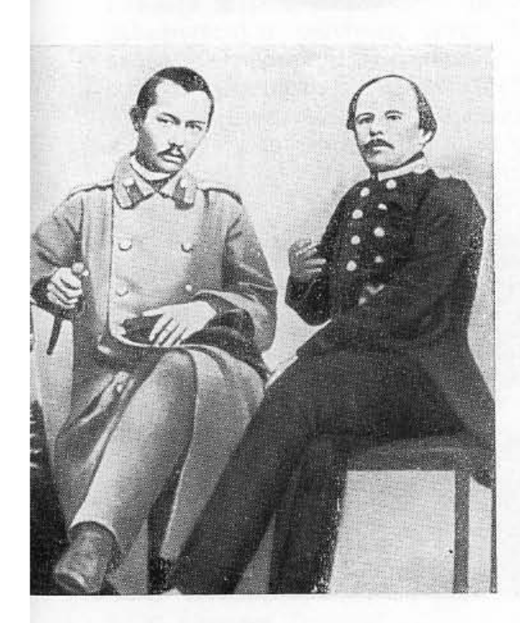




М. Д. Исаева.



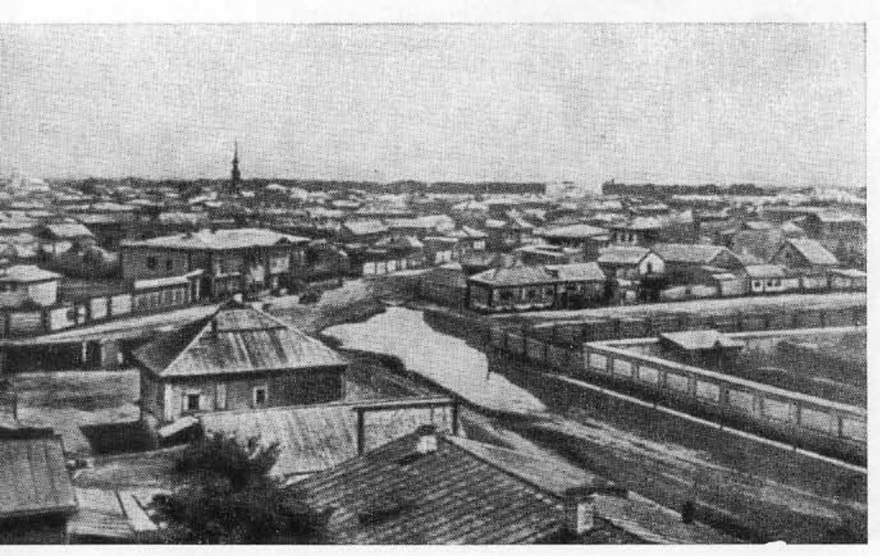
А. Е. Врангель.



Ч. Ч. Валиханов
и Ф. М. Достоевский.

Ф. М. Достоевский — унтер-офицер. 1858.

Семипалатинск.



что это? «Как бы великолепно и ни роскошно развился впоследствии талант г. Достоевского, Гоголь навсегда останется Коломбом той неизмеримой и неистощимой области, в которой должен подвизаться г. Достоевский...» Как же так — навсегда?

«...в «Двойнике», — продолжал он читать уже без прежней восторженности, — еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в «Бедных людях». А между тем почти общий голос решил... что этот роман растянут и оттого ужасно скучен...» Вот и о «Бедных людях» тоже пишут — растянуты, много лишнего... Да что ж они все, сговорились, что ли? «...Вообще «Двойник» носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного...» Да, «Двойник» не понравился Белинскому: при чтении первых глав расхвалил, а все прочитал — разочаровался.

В «Москвитянине», журнале славянофилов, отозвался профессор Шевырев. Признавая несомненный талант автора, он видел и издержки в его «филантропической» идее. «Библиотека для чтения» выдала статью Никитенко, который как раз хвалил Достоевского за то, за что ругал Шевырев, то есть за социальный анализ жизни и характеров героев, но указывал на растянутость, пошлые мелочи, излишества, повторы, создающие скуку... В той же книжке журнала дал свою реплику и Сенковский — издевательскую реплику, хотя ни одного отрицательного слова не употребил: «премиленький талантик», «рассчитанные восторги»... Отозвался в «Финском вестнике» Аполлон Григорьев, находивший в «Бедных людях» «целую внутреннюю драму», но в итоге оценил их как «апотеозу мещанских добродетелей».

Более всего обрадовала Достоевского статья «Нечто о русской литературе в 1846 году» Валериана Майкова. Критик прямо сопоставлял его с Гоголем, но подчеркивал и принципиальную разность их творческих манер: «Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический...»

Но во втором номере «Современника» за 1847 год появилась еще одна статья Белинского: «Взгляд на русскую литературу 1846-го года», в которой критик хотя и продолжал отстаивать общую значимость романов Достоевского, но усилил критические замечания, признавал, что романы растянуты и утомительны. Что до растянутости, то Достоевский еще до появления «Бедных людей» в печати, но уже зная мнения о романе, объяснял брату:

«...Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и не в догад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет...»

Был он в общем-то подготовлен и к критическому отношению к «Двойнику»: «...руготня и напропалую... Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский, и все мною недовольны за Голядкина... У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел...»

Но что уж по-настоящему насторожило и разочаровало самого Достоевского — так это полное неприятие Белинским фантастики «Двойника»: «Фантастическое в наше время, — утверждал он, — может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов...»

Вот тут не то, тут нужно спорить и доказывать...

3. Сомнения

«Я не пишу... «Сбритых бакенбард». Я все бросил», — сообщает он Михаилу. Нет, уныние не овладело им, хотя он и был достаточно измучен сомнениями уязвленного самолюбия, угрызениями совести за «загубленные» великие идеи. Но он не сложил рук. Его вновь начинала одолевать творческая лихорадка: «...все это повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу... Я пишу другую повесть, и работа идет, как некогда в «Бедных людях», свежо, легко и успешно...»

Через месяц настроение не меняется: «...работа святая, чистая, в простоте сердца, которое еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей. Брат, я возрождаюсь не только нравственно, но и физически».

А еще через два месяца снова срыв. «Мои нервы не повинуются мне», — проскальзывает в его письме. Но работа ума и сердца продолжается: «...Пожелай мне успеха. Я пишу мою «Хозяйку»... Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души...» Но тяжелая, вязкая усталость все более наполняла его, и тогда он не выдерживал, жаловался Михаилу: «...Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться. Хочется установиться... и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, — кабы покой!!»

Тяжелые кандалы лязгнули о доски эшафота. Петрашевского вывели на середину, надели ему на ноги железные кольца и начали заклепывать молотком. Еле передвигая ноги, он все-таки подошел к каждому, поцеловал на прощание и уже у схода с эшафота еще раз обернулся и низко поклонился друзьям. Он был прекрасен в эти последние минуты, и, кажется, впервые многие из сотоварищей по несчастью ощутили не уважение к нему, но любовь...

— Что прикажете передать вашей матушке? — спросил жандармский офицер.

— Скажите, что я поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет...

Его усадили в кибитку, запряженную курьерской тройкой; вслед за ним полез фельдъегерь, жандарм уселся рядом с ямщиком; взвился кнут, и тройка, обогнув толпу и экипажи, свернула на Московскую дорогу. Мертвая тишина сопровождала ее, пока она не скрылась далеко за поворотом.

Одному из только что переживших трагический фарс, разыгранный на Семеновскому плацу, Александру Пальму, было объявлено, что он свободен и вообще может... идти домой. Он не выдержал, слезы побежали по щекам. «Да хранит вас бог, друзья...» — только и смог прошептать.

Остальных велено было на время вернуть в крепость.

Достоевский хорошо помнил тот весенний день 46-го, когда он с новым своим приятелем, молодым поэтом Плещеевым, зашел в кондитерскую Вольфа и Беранже у Полицейского моста — посмотреть свежие газеты. Здесь к Плещееву подошел некто — чернобородый, в плаще, мягкой шляпе с большими полями и с тяжелой палкой в руке, знакомый Плещеева, — они тут же о чем-то возбужденно заговорили. Незнакомец говорил скороговоркой,

постоянно щурясь, видимо, от близорукости. Бросились в глаза его длинные волосы, курчавящиеся из-под шляпы, смоляные, буравящие собеседника глаза, обрамленные снизу полукружьями мешочков. Мрачный господин. Достоевский отдал газеты и вышел на Невский. Он подходил уже к Большой Морской, как вдруг...

— Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить? — будто из-под невской мостовой неожиданно появился рядом тот самый мрачного вида господин. — Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, — представился он, приподнимая шляпу и открывая неожиданно огромный лоб. Знакомство состоялось. Достоевскому уже кое-что случалось слышать об этом эксцентричном титулярном советнике, служившем переводчиком в департаменте внутренних сношений министерства иностранных дел. О его любви пооригинальничать рассказывали анекдоты — то оденется в плащ старого испанского покроя и в четырехугольный цилиндр, а то и вовсе переоденется в женское платье. Однажды он во время такого переодевания не позаботился даже как следует прикрыть свою черную бородищу. Прохожие в ужасе шарахались от странной «дамы» с разбойничьей физиономией, а тут и квартальный откуда ни возьмись пристал: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина...» — «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», — отпарировала басом «дама». Квартальный на мгновение растерялся, но и этого хватило, чтобы «бородатая женщина» успела улизнуть. Около своего слишком небогатого жилища устраивал пышные фейерверки, раздавал бесплатно книжки, любил произносить речи, собирая вокруг толпу зевак, — словом, любыми средствами привлекал внимание к своей особе. Но вместе с тем слыл человеком чрезвычайно начитанным, оригинальным и умным. Вместе с Валерианом Майковым подготовил, по существу, настоящую энциклопедию социалистических знаний под видом Карманного словаря иностранных слов, в котором толковались такие слова, как «революция», «республика», «утопия»...

Поговорив немного о «Бедных людях», Петрашевский пригласил Достоевского бывать у него в Коломне, на Покровке, где по пятницам обычно собираются молодые люди поговорить о литературе, послушать музыку, потолковать о болезнях — общественных, разумеется, — об их причинах и методах лечения... На том и распрощались.

Достоевский глубоко переживал одну из мыслей Валериана Майкова, высказанную в его статье «Нечто о русской литературе в 1846 году», посвященной главным образом «Бедным людям»: «...художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением ее форм, а возведением их в мир человеческих интересов (в поэзию); с Достоевским, — писал молодой критик, — современное поколение читателей обрело возможность увидеть анатомию человеческой души, а изображение внутреннего мира человека — одна из важнейших потребностей эпохи». С одним не мог согласиться Достоевский: не изображать, а преображать внутренний мир человека и человечества — вот цель, призвание, назначение искусства, его высочайшая миссия. Миссия? Именно миссия... Гомер изобразил своих героев так, что они на тысячелетия овладели душами людей, — он дал идеал и уже тем одним послужил преобразованию древнего человека, человечества; Христос дал идеал новому времени, и человечество стало иным... Слово, слово — великое дело, — еще и еще раз убеждал он себя.

Теперь все надежды свои Достоевский связывал с «Хозяйкой».

Вряд ли он и сам мог бы точно сказать, что было на самом деле, а что додумалось и досмотрелось уже потом, когда он, вернувшись к себе, будто в лихорадке зажег свечу и залез с ногами на диван.

А было так: он вошел в церковь без всякой мысли, просто по дороге домой. Час был уже поздний, старик привратник тушил свечи, и только лучи заходящего солнца золотили старинные оклады. Церковь была совершенно пуста, и он, постояв минуту, повернул было к выходу, как вдруг будто услышал рядом тихий вздох, невольно оглянулся и увидел, как в темнеющем нутре церкви словно метнулся белый голубь. Это была женщина, совсем молодая, в белом атласном платке; она опускалась на колени, а рядом стоял мрачного вида высокий старик с черной окладистой бородой — Достоевский даже не заметил, когда они вошли сюда, словно возникли вдруг ниоткуда. Он смотрел в лицо этой женщины, почти детское лицо, и она посмотрела на него ясными голубыми глазами. Как он сумел разглядеть все это в одно мгновение в полумраке — он не знал, и это было неважно, но его поразило то, что лицо незнакомки вместе с тем было как будто хоро-

шо знакомо ему. Чьим взглядом глянули на него ее глаза? Той девочки в белом платье, даже имя которой он забыл? Маменьки его, поющей ему песню на сон грядущий? Катеньки ли, Катерины, которую он в мальчишеских грезах спасал от врагов? Гоголевской ли Катерины из «Страшной мести», запавшей в его сознание? Или сестры Вареньки? Или, может быть, Авдотьи Яковлевны? Он ведь уже совсем почти освободился от ее власти, но вот взглянула на него эта незнакомка, а сердце заколотилось, будто это она. Кто эта женщина? Почти ребенок. И что ему до нее? Зачем так глянули ее глаза глазами всех родных и близких, и была в них тревога и словно мольба о чем-то. И кто этот черный старик рядом с тобою? Отец? Муж? Опекун? Или сам гоголевский колдун навис над душой твоей, томящейся в его вражьей власти? И еще мгновение, и выбежит у него клык из рта, и нос вытянется и загнется к губе? И ясно вдруг вспомнилась история любви, история души Ивана Шидловского — где он теперь? Написал ли свою историю русской церкви (и эту деталь введет писатель в образ своего мечтателя в «Хозяйке»), или забили его где-нибудь одурманенные шинком мужики, не выдержав тяжести его бичующих проповедей?

Странно посмотрел на него старик, словно беззвучным, бесстыдным смехом усмехалась каждая его черточка. Ужасом обдало фантастического мечтателя — старик уже помогал ей подняться, и не было в них ничего фантастического, просто молодая женщина и обычный старик — что ж это с ним? Лихорадка, что ли? Нервы устали?..

Знал одно — это была одна из тех редких, подаренных ему встреч, от которых яснеет прошедшее, снится наяву неведомое будущее. Он словно увидел саму душу — нет, не душу незнакомки, но душу, которая открылась ему в этой женщине. Он словно прочитал в мгновение историю этой души человеческой и узнал в ней другую, давно томящую его сознание историю. Историю души его народа, его России. И эта история прочиталась ему вдруг как фантастическая повесть о чистой, как лист белой бумаги, лежащей сейчас перед ним на столе, душе народной, еще не сознавшей дремлющие в ней силы необъятные. И кто-то чужой, мудрый, аки змий, ученостью черных книг набрел на этот чистый лист бумаги и начертал на нем тайные свои письмена. И томится теперь душа, причастная чужому греху черных письмен, и молит своими голубыми глазами: приди, и сотри, и напиши свои, достойные меня.

Кто сможет? Кто в силах, в чьей власти переписать письмена, освободить родную душу? Шидловский, мечтатель Шидловский не сумел отстоять свою возлюбленную. А ведь это образ! Образ и символ: тысячу раз прав Лермонтов, сказавший: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа», — прав, но еще более был бы прав, если бы сказал, что даже в истории отдельной души одного человека отражается порой история души всего народа. А ведь тут не мелкие души маленьких бедных чиновников... Тут Шидловский, который мечтал говорить на равных с самим богом. Тут Белинский, да, и Белинский, который тоже мечтатель, видящий наяву величие будущности России. А сам он, Достоевский? Мечтатель — это тип. Это идея. Он отыщет Катерину (она быстро обрела под пером Достоевского это имя), он еще встретится взглядом — глаза в глаза — с ее страшным погубителем.

Эх, русские мальчики — великие мечтатели! Они, конечно, не испугаются встречи, они мечтают как о счастье встретиться в смертном поединке с врагом. Но им ли будет дано освободить душу матери-России, дать ей осознать свою силу, подняться во всю свою поднебесную высоту, развернуться во всю широту вселенскую? Или дохнет на них ядовитым смрадом чудный старик, и захлебнется еще не один боец-мечтатель собственной непрокашлянной кровью, сгинет от чахотки под беззвучный смех усмехающегося старца? Старик словно знает и владеет тайной смирившейся ему души. Властно то слово над ней. А знают ли эту тайну мечтатели, русские мальчики, думающие о судьбах народных? Какое слово скажут они России? Воля? Манящее, властное слово. Откликнется на него Россия или, зачарованная властью ветхозаветного старца, сама свяжет свою волюшку да и ему же принесет в подарок, чтоб не подумал чего, не изъязвил бы буравящим глазом; не заставлял бы еще и еще слушать полувнятные, тесные, будто оковы, слова из той черной книги, по которой водит он своим длинным мозольным перстом?

Белинский зовет этого врага социальным неравенством. Но, похоже, оно — следствие чего-то, а не первопричина. Рок, неравенство, крепостничество, деспотизм, черт, дьявол — только разные названия, разные проявления чего-то одного, давящего, растлевающего, невыносимого, увидевшегося ему вдруг в образе страшного старика.

Как-то лет пять назад Достоевскому попалась только что вышедшая «Книга житий святых». Жизнеописание губителя душ Моисея Мурина, на старости раскаявшегося и даже признанного святым, поразило его сознание. Губительство было столь явно, а раскаяние столь риторично, что не верилось в него, и от этого становилось еще печальнее: режь, бей, растлевай, гуляй вовсю — потом покайся, и прощен? Что-то здесь не так, что-то не верится в искренность покаяния убийцы и растлителя. Не еще ли большая тут лукавость? Во всяком случае, старик у Достоевского стал зваться Мурином, а имя Моисей он изменил на Илью. Может, чтоб не слишком выдавать источник?

Повесть-сказка. Современная сказка. Петербургская сказка под пером Достоевского разворачивалась на одной из окраин фантастического города.

Явь и мечта, пережитое и домысленное, правда сказки и правда реальности, история души героев и души народной причудливо перемешались, сплелись, искали и пытались находить себя в соответствующем слове. Поэтика гоголевских «Вечеров», русского былинного сказа, песни, заговора, мещанская речь петербургских окраин, язык возвышенных мечтаний и социальных утопий — все это должно было переплавиться в новую реальность повести «Хозяйка», над которой работалось легко и радостно, как давно уже не работалось, со времен «Бедных людей».

Сказка просила исхода, молила об идеале — победит ли мечтатель старца в борьбе за дремлющую душу Катерины? Жизнь требовала иной, суровой правды — мечтательством старца не осилить, не пробудить народную душу. Полюбить мечтателя — полюбит, но пойти за ним — не пойдет, потому что нет у него воли взять ее и увести с собой, и останется опять одна с проклятым чародеем. Нет, тут не мечтательство спасет. Тут дело необходимо. Но что делать? Кто скажет?

Не терпелось показать повесть Белинскому. Казалось, теперь-то не только он — мир содрогнется и не успокоится, пока не ответит делом на заданный им вопрос. И конечно, прятал даже и от себя, от себя-то, может быть, и прежде всего, надежду: прочтут и увидят, не могут же не увидеть, поймут и пересмешники его, над кем потешались, и раскаются. И *она* пусть увидит. Нет, он уже и не думает о ней, он не хочет даже, чтобы она полюбила его, все прошло, все минуло, до любви ли ему, но пусть все-таки видит и знает...

Глава III

ИСКУШЕНИЕ

Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерождусь к лучшему.

Достоевский

1. Уроки

Последнее время отношения его с Белинским становились все более напряженными. Однако, даже совершенно рассорившись с его друзьями (однажды, встретив на Невском Панаева, который хотел подойти к нему, Достоевский резко повернул и перешел на другую сторону улицы), к Белинскому продолжал тянуться и при всяком удобном случае бывал у него. «...Это такой слабый человек, — писал он в ноябре 46-го Михаилу, — что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный». Да и сам Белинский не выдерживал долгих размолвок, посылал записку неуживчивому, болезненно ранимому «гению»: «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть вас...» И Достоевский, улыбаясь шутливой иронии критика (это он, Достоевский, до хрипоты убеждал Белинского, будто даже и у него, убежденного атеиста, знает он это или нет, верит или отрицает, но и у него душа все-таки бессмертна), мчался к нему на Фонтанку, на второй этаж, в бывшую квартиру Краевского, теперь занимаемую семьей Белинского. Как бы то ни было, он продолжал любить Виссариона и беспредельно ценил его за бесконечную преданность идее. Панаев, кажется, рассказывал, что Белинского не раз упрекали в измене делу, идее, в том, что его сначала подкупил Краевский, потом еще кто-то...

— Меня нельзя подкупить ничем! — говорил Белинский. — Мне легче умереть с голода, чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Достоевский знал — это было сказано искренне и точно. Да, он любил Белинского, но тот нередко и кощунствовал, как полагал Достоевский, доводя его до дрожи возмущения.

Достоевский легко и жадно впитывал в себя социалистические идеи учителя. Сложнее было с традиционной, доставшейся ему как бы по наследству религиозной верой. «Учение Христово он (Белинский), как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами», — писал позднее Федор Михайлович. Тут-то и начинались споры. Один горячо отстаивал веру. Другой наступал, переубеждал. Авторитет первого критика, неистовая убежденность его в своей правоте заставляли молодого совсем писателя переступать, казалось, через то, что является главной частью самой его личности, самой его природы...

На всю жизнь заронит Белинский в его сознание семена сомнения, хотя ему так и не удастся искоренить в Достоевском самую потребность веры. Никогда больше не сможет он вернуться к простодушной религиозности детства и отрочества, никому не удастся сделать из него и ортодоксального верующего.

«Главный вопрос... — так определит его сам Федор Михайлович, — которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование божие».

Принимая убеждения Белинского, Достоевский переступал через многое из того, что почитал недавно незыблемо святым, даже и через своего наивно-детского бога. Но через Христа переступить он так и не смог: «...оставалась, — по его словам, — однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться...» Образ страдальца, пошедшего на крест за истину, во имя человека, вошел в его кровь и плоть с тех пор, как он помнил себя, с первыми потрясениями детской души, вошел однажды и на всю жизнь.

— Да послушайте же вы, наивный вы человек, — начинал свою проповедь Белинский, — послушайте и уразумейте: в наше время и в нашем обществе нет и быть не должно никакого иного идеала, кроме социалистического. Да приходилось ли вам читать социалистов? Прочтите хоть Ламенне: «Имеющие уши да слышат, имеющие глаза, пусть откроют их и видят, — это к вам, к вам, к таким вот, как вы, незрячим, обращается наш пророк, — жег его голубым огнем своих глаз неистовый Виссарион, — пусть откроют их, — повторил он, — и видят, ибо близится время. Отец породил сына, свое слово, и слово стало плотью, и сын жил между нами; он пришел в мир, и мир не признал его, — он особо нажал на это слово,— не признал его; он придет снова... — Нет, нет. Вы не перебивайте, вы дослушайте до конца — он придет снова и обновит землю... Прислушайся и скажи мне, откуда исходит этот неясный, неопределенный и странный шум, который доносится со всех сторон? Положи руку на землю и скажи мне, почему она содрогнулась. Что-то, чего мы не знаем, совершается на земле. Это дело божие...» Понятен ли вам смысл сих пророчеств? Это к таким, как вы, верующим, обращается он на языке вам понятном, но уразумели ли вы, что означает это второе пришествие? Так уразумейте же — социализм, вот что грядет, вот что совершается на земле, вот истинно дело божие. Социализм ныне — идея идей, альфа и омега и веры и знания. Попомните — настанет день, придет время, когда никого не будут жечь, когда преступник как милости и спасения будет молить себе казни, и не будет ему казни, но сама жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть... И не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но все люди на земле будут братья, и Отец — Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над обновленною землею.

— Да какой же вы атеист, вы-то, может быть, и есть самый что ни на есть истинный христианин, только вот...

— Я — социалист, — обрывал его Белинский, — и верую в единственное — в социализм, а не во Христа, как вы...

Да поверьте же вы, на вас даже смотреть умилительно, наивный человек, — успокоившись на мгновение, вновь набрасывался на него Белинский, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

Кто-то из присутствующих при этом споре возразил:

— Ну не-е-ет!.. Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

К такому компромиссу начинал склоняться, кажется, и сам Достоевский: открывалась возможность, не переступая через самого себя, соединить в своем сознании, казалось бы, несоединимое — христианство и социализм — пусть в еще не оформленное вполне, но все-таки приемлемое для него тогда целое.

Дело освобождения народа, как ни называй его — хоть социализмом, хоть атеизмом, — дело Христово, божье дело — вот что мирило его с верой Белинского. Христос как идеал человека, переродившего мир словом, по убеждению Достоевского, вполне соединялся в его сознании с социалистической идеей освобождения народа, установления всеобщего равенства и братства. Слово и дело объединялись в единство идеи-страсти, которая овладевала им теперь вполне и надолго. Может быть, навсегда? Как знать...

Спорили и о Пушкине. Горячо спорили. Гоголь — гений, Гоголь — велик, Достоевский его чуть не всего наизусть выучил — столько читал и перечитывал, да и сам слишком многим обязан ему, — все это так, никто с этим не спорит, но зачем же унижать Пушкина, зачем одного только Гоголя ставить знаменосцем «натуральной школы», за которую ратоборствует Белинский? Разве сам Гоголь не всем или не главным в себе обязан Пушкину? Белинский, столько сделавший для того, чтобы имя и значение Пушкина дошли до каждого, кто способен видеть и слышать, утвердивший его в русском общественном сознании как поэта национального, как народного поэта, в то же время видел в Гоголе начало более важное, нежели в Пушкине, — начало социальное. Потому-то Гоголь и поэт более в духе времени, нежели Пушкин. Достоевский не соглашался. И как же он обрадовался тогда, прочитав в десятой книжке «Отечественных записок» за 1846 год последнюю, одиннадцатую статью Белинского о Пушкине, в которой критик впервые поставил Пушкина рядом с Гоголем в качестве родоначальника «натуральной школы», и притом — перед Гоголем! Может быть, и не без влияния его «Бедных людей»? Ведь сам Макар Девушкин узнал себя в Самсоне Вырине, а за Акакия Акакиевича оскорбился. Да, Макар Алексеевич, конечно, человек не передовой, но не сам ли Белинский сказал о нем: «Он тоже человек и брат наш...»

И еще предмет для спора: почему Белинский решил, что фантастическому в наше время место только в домах умалишенных, а не в серьезной литературе? Разве мечты, самые фантастические сны наяву не такая же реальная действительность, порожденная условиями нового времени, как и сама идея социальности? Разве внутренний мир человека, пусть и больной мир — ведь и болезни эти тоже социальны, — не фантастичен?

— Да, да, — соглашался с ним критик, — мир внутренний обаятелен, но без осуществления вовне, в реальной действительности он только мечта, мираж...

Да, и ему, Белинскому, приходилось сколько раз прятаться в фантазии от реальной жизни, но сон всегда заканчивается все-таки пробуждением, пока человек жив. И какова бы ни была эта жизнь, даже самая ограниченная, самая пошлая действительность все-таки лучше вечного пребывания в мечтах...

Пора проснуться, пора наконец посмотреть на мир не с высот своих фантастических снов, а трезво и здраво; посмотреть и увидеть, что мир не мечта, не представление, а суровая обыденность; не мечтать нужно — действовать! Наш век — враг мечтательности, — тем он и велик! Действительность — вот лозунг XIX века; действительность во всем — в верованиях, в искусстве, в самой жизни.

Достоевский согласился. Принял и это учение критика и уже вскоре в одном из воскресных фельетонов («Петербургская летопись» в газете «С.-Петербургские ведомости») в июле 47-го чуть не буквально повторял мысли учителя: «...жажда действительности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадет случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей... Говорят, что мы, русские, как-то от природы ленивы... Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше?.. Но... многие ли нашли свою деятельность?.. А бездеятельность и рождает мечтательность, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем...»

Все это так, теперь он уже докажет всем своей «Хозяйкой», сколь общественно пагубно мечтательство, неспособное постоять в действительной борьбе за душу народную... Правда, повесть фантастична, но тем-то он наглядно докажет и всем, и Белинскому прежде всего, что фантастика его петербургской сказки — только форма реальности, позволяющая за обыденностью видеть общее. Сказка... Что ж, что сказка? Сказка — ложь, да в ней намек! Нет-нет, тут Белинский не прав: Пушкин, Гоголь, Гёте, Сервантес — разве их образы сплошь лишены фантастичности, но разве же не они величайшие реалисты?

«Пиковая дама», «Египетские ночи», «Медный всадник»... «Нос», «Вий», «Шинель» чужды фантастике? Нет-нет, тут что-то не то, не то...

Необыкновенный талант, зорко угаданный у самых истоков его пробуждения Белинским, бунтовал, не хотел и не мог вместиться ни в какие рамки, даже и в те, которые приготовили ему гений учителя. В нем рождалось еще не осознанное им самим вполне нечто новое, могучее, подлинно небывалое, мучительно ищущее и пока не находящее еще для себя достойных его форм проявления. Теперь вся надежда на «Хозяйку»: она должна доказать реальность и действенность небывалого. Скорее бы только возвращался Белинский.

Он уехал в Европу вконец измученный. Смерть сына Владимира, чуть совсем не свела его в могилу. Мария Васильевна родила в ноябре. Белинский ждал этого часа в нетерпении и растерянности: расставил зачем-то по всей квартире свечи и зажег их, нервно ходил от одной печи к другой и не мог унять дрожи. Тургенев считал новорожденного своим крестником. Обычно, как вспоминала Аграфена Васильевна, приходя в гости, он имел обыкновение звонить вовсю, шумно входить в дом и тут же всем грузом большого тела бросаться на диван, так что на нем порою лопались пружины. Теперь, заходя к крестнику, звонил осторожно, входил на цыпочках, говорил вполголоса, что растрогало всех и удивило...

Через четыре месяца его крестник внезапно умер. Отец страдал невыносимо, а ночью, если даже удавалось уснуть, хрипел и стонал. Исхудал и стал совсем плох.

Что он теперь? Подлечат ли его хоть немного немецкие профессора и прославленные воды?

Лето 47-го сразу же началось с непривычной для Петербурга жары. Город опустел. Кто мог, перебирался в зеленые пригороды. Достоевский снял дачу в Парголове, где продолжал работу над начатым почти одновременно с «Хозяйкой» романом «Неточка Незванова». Трагическая судьба непризнанного гения-музыканта; по-детски влюбленная в него падчерица Неточка, аристократический дом, куда она попадает по воле судьбы, ее новая подружка, властная дочка князя; сокровенный мир детских душ со своими трагедиями: вызревание в Неточке таланта замечательной певицы... Поэтическая история давалась легко; Достоевский начинал чувствовать уверенность в себе, его

талант обретал мастерство. Появившиеся в журналах «Деревня» Григоровича, «Бурмистр» Тургенева, «Кто виноват?» Герцена прочитал, высоко оценил, но еще больше укрепился в сознании, что первенство в современной литературе все-таки остается за ним.

Продолжает уговаривать брата Михаила перебираться с семьей в Петербург. Много гуляет и даже принимает участие в местных забавах: собирает деньги в пользу одного парголовского пропойцы, предлагающего посечься за деньги... Да и здоровье как будто начинает устанавливаться. Словом, жизнь обещает впереди не одни шишки на бедного Макара, но намекает и на кое-что понадежнее.

Как вдруг ему пришлось ненадолго уехать в Петербург — к этому времени он уже снял новую квартиру, в доме Шиля, на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской и, конечно, как всегда, с видом на церковь. Он шел по Исаакиевской площади и внезапно почувствовал приближение того тяжелого, неотвратимо надвигающегося изнутри. На счастье, рядом оказался доктор Яновский, который и отвез его к себе домой в тяжелейшем состоянии. Самое страшное, кажется, уже прошло, но пульс все еще был бешеным, все тело содрогалось в конвульсиях. Пришлось «отворять кровь». Аполлон Майков, случайно зашедший по дороге домой к Яновскому, застал Достоевского сидящим с поднятою рукою, из которой лила черная кровь.

— Спасен, батенька, спасен! — возбужденно вскрикивал несчастный.

Такой силы припадков с ним еще не случалось. Невесело было сознавать, что нравится ему или нет, но придется привыкать к этому новому постояльцу, поселившемуся в его теле без спросу и даже как-то незаметно для самого хозяина, но теперь вот все более определенно заявляющему свои права.

Достоевский с первых же дней знакомства с Яновским стал увлеченно читать медицинские книги из его библиотеки. Особенно заинтересовался литературой о болезнях мозга, нервной системы, душевных заболеваниях. Увлекла его и входившая в моду теория Галля, по которой характер и наклонности человека зависят от устройства его черепа, от наличия шишек и впадин на нем, а также их местоположения. Яновский находил сходство его черепа с Сократовым, что доставляло удовольствие Достоевскому.

Ощупывал свою голову, тут же выясняя у Яновского в случаях, если сам не мог определить по Галлю значение той или иной его части.

— А что шишек на затылке нет — это хорошо, — приговаривал он, совершая исследование, — значит, не юпошник; это верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна...

В Евгении Петровне, супруге известного художника Николая Майкова, матери Аполлона и Валериана Майковых, Достоевскому, похоже, виделся идеал женщины и в первую очередь, конечно, матери. Казалось, пока в доме царствует такая женщина, ничто не угрожает ему, ни грусть, ни беда, ни другие невзгоды. И вдруг — словно невидимые опоры рухнули — 15 июля Валериан внезапно умер от апоплексического удара, купаясь в пруду. Скорее всего перегрелся перед тем, как броситься в холодную воду. Нелепо. Он не дожил месяца до двадцати четырех лет. Талант его обещал многое. Сменив Белинского в «Отечественных записках», он, даже и по мнению друзей Виссариона — Тургенева и Некрасова, сумел и заменить его как ведущий критик журнала. Авторитет Белинского, вне всякого сомнения, продолжал оставаться для Достоевского выше авторитета Майкова, но и молодой Валериан, позволяющий себе категорически оспаривать некоторые важнейшие суждения первого критика и к тому же столь высоко оценивший произведения Достоевского, все более и более влек его к себе.

И сам Белинский высоко ценил талант Валериана, но не однажды высказывал он и серьезные опасения относительно некоторых суждений Майкова.

— «Свобода не имеет отечества!» — Вот ведь к чему эти абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве хотят приучить наше сознание, — воспламенялся Белинский. — Ежели ты патриот, стало быть, ты не гуманен, не цивилизован, не просвещен — не дорос. Одним словом, варвар! Вот и ваш, — он почему-то ударил на это слово, — ваш Майков, начитался таких же европейских человечков, и показались они ему гигантами мысли, испугался прослыть варваром, патриотом — туда же, во всечеловечность, полез. Да вы почитайте, почитайте, что он пишет, ваш Майков: художник, видите ли, погибнет, если вместо выражения общечеловеческих идеалов окажется окованным цепями национальной односторонности; договорился до того, что объявил национальность тормозом на пути к общечеловеческому идеалу... Абстракции, трескучие фразы, а в результате — теория о неспособности «инертной массы» к прогрессу и творчеству. А знаете ли вы, наивный вы человек, что скрывается за всем этим? Не знаете, а я вам скажу: неверие в свой народ... «Инертная масса» — да посмотрите же вы, абстрактные гуманисты, повнимательнее, подумайте, поразмыслите, — почему она инертная, всегда ли она инертная и что можно и нужно сделать, чтобы она не была инертной! Но какое нам дело до массы? А вы поглядите, господа гуманисты, на нее другими глазами, глазами русского человека, патриота, может быть, и заметите тогда, что это не просто масса, а народ, русский народ, не такой уж инертный, как вам представляется. Только где ж вам это увидеть, ежели для вас и понятие-то само — русский народ — не существует, а есть только масса, некая абстракция, с которой, конечно же, можно не считаться вовсе. Крепостное право, батенька, — не абстракция, а привилегия одного только русского народа. Ну а коли масса, так и не все ли равно — пусть себе хоть какую-никакую привилегию, а все-таки имеет. Вот ваш и гуманизм без патриотизма. Майков человек безусловно талантливый, но талант его может погибнуть на почве гуманистического космополитизма, который он исповедует и проповедует. Впрочем, надеюсь, это по молодости, хочется, знаете ли, сразу всечеловеком стать, а быть просто российским патриотом, жизнь положить за освобождение своего народа от гнусного рабства — фу, как это недостойно столь образованного, столь всеевропейски мыслящего интеллигента...

А знаете ли вы, что сегодня отрицать национальность — это и значит быть ретроградом и повторять европейские зады? Да, мы долго восхищались всем европейским без разбору только потому, что оно европейское, а не наше, русское, доморощенное. Настало время для России развиваться самобытно, из самой себя. В нас сильна национальная жизнь, и мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. Народ без национальности — что человек без личности, запомните это, батенька, и хорошенько запомните, если хотите стать всемирным писателем, потому что все великие люди — это прежде всего дети своей страны. Великий человек — всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой

народ. А народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. И вопреки абстрактным человечкам, космополитическим гуманистам, для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим...

Перечитывая свежую статью Белинского — «Русская литература в 1846 году» — не лихорадочно, как в тот, первый раз, не выискивая в ней лишь строки, посвященные ему, Достоевский все более проникался учением страстного проповедника, бойца, великого патриота своего угнетенного народа — Виссариона Белинского. В этой статье Достоевский узнавал многое из того, в чем не раз убеждал его учитель во время личных бесед. Увидел он и страстную отповедь «космополитическому гуманисту» Майкову, как называл его Виссарион Григорьевич. И как бы ни язвили его самолюбие некоторые из суждений Белинского о его романах, общее направление мысли Белинского представлялось ему справедливым.

Теперь Достоевский был убежден, что его «Двойник» и не мог вызвать восторга критика как раз потому, что в нем преобладает именно чувство, которое Белинский называет абстрактным гуманизмом, тут мало национальности, мало народности; как писатель Достоевский раньше как-то совсем и не задумывался об этом. Так мечталось поспорить теперь с честным, талантливым Валерианом — он смог бы наконец признать правоту Белинского — и вот... Поговорили... Поспорили...

Валериан, Валериан... Где-то теперь? Неужто только там, в сыром чреве земли, и нет бессмертия твоей душе и ничьей нет? Неужто и в этом прав Белинский? Но тогда зачем все это — муки, и страдания, и борьба, и споры, и бессонные ночи — не с любимой женщиной, а с толстой пачкой белой бумаги, заметно худеющей к утру? Зачем все это — и слава посмертная, и памятники, и высокие слова на могилах, если тебя уже не будет? Совсем не будет. Только там, в земле. Да и то, разве ты там, а не разбитый глиняный кувшин, оставшийся от тебя? А ты, именно ты сам, неужто только в словах, в книгах, написанных тобой, да в памяти людской о тебе? И все? И больше ничего...

Скорее бы приезжал Белинский, скорее бы прочитал «Хозяйку» — уж это-то не абстрактный гуманизм, уж тут-то народности через край — вот и ответ на его проповедь. А «Двойника» он еще перепишет, он еще докажет. Все еще впереди!

В Парголове Достоевский однажды вновь встретился с Петрашевским и на этот раз решил посетить одну из его «пятниц». Оказалось, из знакомых его у Петрашевского бывал не только Плещеев, но и Аполлон Майков заходил. Собирались здесь в основном люди молодые, симпатичные, но разношерстные. Были и начинающие литераторы. Поэт и автор рассказов Александр Пальм — из обрусевших немцев; мать его — бывшая крепостная отца, захудалого провинциального дворянина, а Саша — уже офицер лейб-гвардии егерского полка, большой поклонник Лермонтова... Поэт Сергей Дуров, недавно бросил службу в министерской канцелярии; надеясь прожить литературным трудом, скоро оказался без гроша. Молодой совсем титулярный советник, служащий канцелярии военного министерства Михаил Салтыков, недавний выпускник Царскосельского лицея, стихотворец, мрачный не по годам молодой человек. Достоевскому уже приходилось слышать это имя и от Валериана Майкова и от Белинского. Авдотье Яковлевне Панаевой он запомнился еще лицеистом: «Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал... Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей и оттуда внимательно слушал разговоры».

Белинский расхаживал по комнате и распекал Комарова, известного всему кружку хвастуна... «Господи, зачем я вру!» — патетично восклицал Комаров. «Мамка вас в детстве зашибла!» — заметил ему Белинский. При этих словах на лице лицеиста изобразилась улыбка. Это был единственный случай, когда в кружке Белинского увидели улыбающегося Салтыкова. Он умел удивлять неожиданностями. В другой раз он поразил ту же Авдотью Яковлевну своими высокими знакомствами: «Однажды я шла с Панаевым по Невскому, и мы встретили графа Канкрина, который был хорошо знаком с Панаевым. С Канкриным шел какой-то статский. Оба раскланялись с Панаевым. «Кажется, это тот сумрачный лицеист?..» — спросила я... «Да, это Салтыков», — ответил мне Панаев...» Титулярный советник на Невском под руку с графом, с министром! — такое действительно не каждый день можно увидеть...

Бывали на «пятницах» и просто офицеры, не пишущие ни в стихах, ни в прозе: Федор Львов, друг и сослуживец Пальма; бывший флотский офицер, ныне архивариус министерства иностранных дел Александр Баласогло; офицер черноморского флота Константин Тимковский и гвардейские офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли; молодые ученые Николай Мордвинов и Владимир Милютин и совсем молодой, двадцатилетний правовед Василий Головинский... Впрочем, все вместе собирались, видимо, редко: каждую пятницу приходили новые, а некоторые из уже бывших не появлялись. Собирались не только у Петрашевского, но иногда и в домах других посетителей.

Толковали о Фурье, о музыке, коммунизме, литературе — словом, о многом, что волновало молодых людей широких взглядов, горячих, честных, скучающих в кругу служебных, практических интересов, жаждущих интеллектуального общения. Более всего привлекала в дом Петрашевского его библиотека. Как переводчик департамента внутренних сношений, Петрашевский нередко участвовал в процессах по делам иностранцев, в составлении описи имущества, особенно библиотек. Он изымал интересовавшие его книги и подменял их при описи другими. Таким образом у него собралась целая коллекция достаточно редких книг: Сен-Симон, Кабе, Фурье, Ламенне, Оуэн, Леру, Фейербах, Вольтер, Руссо, Прудон, Штирнер, Дидро, Консидеран...

«Пятницы», впрочем, не привлекли Достоевского: ничего нового для себя он здесь не услышал, круг обсуждаемых вопросов был давно знаком ему по кружку Белинского. Кажется, ничем серьезным эти разговоры не грозят, решил он, так что делать здесь особо нечего. К тому же в начале осени Михаил наконец вышел в отставку и переехал с семьей в Петербург — нужно было попервоначалу помочь ему обжиться в чужом, нелегком городе.

2. Белые ночи

Белинский уже с месяц как вернулся в Петербург, но приглашения побывать у него Достоевский так и не дождался, а пойти самому что-то мешало. Здоровья — по доходящим до него слухам — Белинский в Европе не поправил, но привез длинное темно-серое пальто, в котором выглядел чудаковато.

Слышно, что свидание с Европой еще более убедило его в том, что Запад может быть идеалом лишь либеральных западников: Европа не смогла решить вопросов ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве. Смотреть на нее как на социальный идеал для русского общества — значит признавать своим идеалом капитализм, мир буржуа.

— Нет уж, увольте, — говорил теперь Белинский, — горе государству, попавшему в руки капиталистов — это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Война или мир для них не более чем вопрос о повышении или упадке их фондов — далее этого они смотреть и мыслить не способны... Нет, нет, Россия никогда не возьмет себе в идеал мир буржуа, она лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа... И это будет, будет... Знаете, я никогда никому не завидовал, но теперь я знаю, что такое зависть: завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено будет видеть Россию лет эдак через сто... Россию, стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке, и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества...

Недавние его друзья — истинные западники — Боткин, Анненков, узнавая о таких «завихрениях» Белинского, понимающе покачивали головами: вот-де до чего ослабление организма доводит, и даже начали поговаривать о его тайном «славянофильстве». До Белинского кое-что доходило из таких слухов, он раздражался и не раз заявлял теперь о своем разочаровании в утопическом социализме русских либеральных западников, много разглагольствующих о свободах, равенстве и братстве, но продолжающих годами восхищаться Венами и Парижами за счет своих крепостных в нищей, презираемой ими России, и соглашался «скорее перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов», о чем и писал в своем письме к Боткину осенью 47-го.

Достоевский старался знать о Белинском все. И повидаться с ним хотелось по-прежнему, но пойти самому к невзлюбившему его — все говорят об этом — да еще и больному человеку он не решался, а приглашение так и не приходило.

Как вдруг однажды, часа в три пополудни, поздней осенью, торопясь по обыкновению, у самой Знаменской церкви нос к носу чуть не столкнулся с Виссарионом Григорьевичем. Оба растерялись на мгновение.

— Вот, вышел погулять, теперь домой возвращаюсь, — объяснил Белинский. — Я сюда часто захожу, — кивнул он в сторону строящегося Николаевского вокзала. — Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу; наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Он сказал это просто и горячо — Достоевский знал: он никогда не рисовался — и сразу стало легко. Они пошли вместе.

— Вот зароют в могилу, — сказал вдруг Белинский грустно, — тогда спохватятся, тогда поймут, кого потеряли... Нам всем жить недолго, а России — века, может быть, тысячелетия. Нам хочется всего поскорее, а ей торопиться нечего. Но как бы мы ни были нетерпеливы и как бы ни казалось нам все медленно идущим, а ведь оно идет страшно быстро...

Видимо, какая-то мысль, еще полуобрывочная, мучила его, и он проговаривал ее скорее даже для себя самого; о литературе он так и не заговорил... У дома его попрощались и разошлись.

Вот уж и новый, 48-й встретили... Приглашения Достоевский уже не ждал. А вскоре до него стали доходить слухи о нелестных о нем отзывах критика: «...Достоевский написал повесть «Хозяйка» — ерунда страшная... каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их... Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!.. А уж обо мне, старом черте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!» — писал он Анненкову. А в письме к Боткину «Хозяйка» была названа «мерзостью», и это еще далеко не все отзывы подобного рода. Достоевскому не хотелось верить в слухи — это было бы слишком несправедливо.

Но вот вышел третий номер «Современника», и в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Федор Михайлович мог уже прочитать о своей «Хозяйке»: «...Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остался и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет

себе какой-то необыкновенной дороги? Не знаем... Странная вещь! Непонятная вещь!..»

И мир не перевернулся. Это был конец...

Близилась пора белых ночей, и он все чаще и чаще не мог оставаться в своей одинокой комнате наедине с сомнениями, шел в полусумрак петербургских улиц, забредал в какие-то странные, незнакомые углы, из которых потом долго не мог выбраться. Но выбирался...

Двадцать шесть лет... Он казался себе уже глубоким стариком, все увидевшим и все пережившим: и смерть родных, и безответную, невысказанную даже любовь, и игру неизъяснимой судьбы, и бремя пусть кратковременной, но — какой! — славы гения, уязвленности насмешками друзей, и, наконец, отчаяние одиночества, ощущение страшной пустоты от непонимания. «Двойник» осмеян, «Хозяйка» поругана, а впереди — ничего!.. Ни одного могучего замысла, ни одной идеи, способной удовлетворить даже его самого. И зачем писать, и жить для чего? Только и осталось разве что одни «Бедные люди».

Хорошо еще, в это время рядом с тобой такой же, как ты, — мечтатель, друг, поэт... Первый поэт нашего времени — так считал Валериан Майков, — тихий, застенчивый, совсем еще мальчик — Алексей Плещеев. Они тесно сдружились в этот год и часто бродили вместе по Петербургу. Он был близок с Дуровым и Пальмом, посещал «пятницы» Петрашевского, горячо верил в будущее торжество добра, в золотой век, готов был пострадать, лишь бы приблизить его хоть на мгновение:

Страдать за всех, страдать безмерно,
Лишь в муках счастье находить... —

читал он своему новому другу, и оба соглашались, что мечты о литературной славе и тем более о личном счастье недостойны их, потому что перед ними «лежит далекий, скорбный путь...».

Но и сам этот путь вырисовывался еще совсем призрачно, словно и он был одним из видений белых ночей, а сердце уже грустило и томилось его неопределенной далью.

А ночи стояли чудные, и какими бы стариками ни мыслили себя тогда юные мечтатели, чувство говорило им, что даже ночи, такие чудные, могут быть только оттого, что они еще так молоды, так чисты... Они шли по набе-

режной Екатерининского канала и вдруг увидели невдалеке молодую женщину, она стояла, опершись на решетку, и, показалось, плакала. Они хотели подойти к ней, успокоить, помочь, но, видимо, испугавшись их, она выпрямилась, и через несколько мгновений ее белое платье растворилось в белесом сумраке.

Почему она не поверила им? Зачем рядом не оказалось какого-нибудь искателя ночных приключений, который не упустил бы случая, догнал бы ее — и уж тогда-то они могли, не имели бы даже права не подойти, не защитить ее... О, как бы она была благодарна им... ему, потому что он мог быть и один в эту ночь и один мог бы защитить ее, и она молча подала бы ему руку, еще дрожащую от волнения и испуга...

Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?.. —

вспомнились вдруг чудные стихи пересмешника его — Тургенева, — и сам, поди, такой же мечтатель.

Достоевский усмехнулся: будь он помоложе, лет пять назад — ночь, неделю, а может, и год промечтал бы, целый роман пережил бы в воспаленном своем воображении, но теперь он не тот. Теперь он стар и давно уже не мечтатель. И все-таки кто б ни была ты, незнакомка, ночное видение — да будет ясно небо твое, да высохнут твои слезы, да будет безмятежна улыбка твоя, и будешь ты благословенна за эту светлую минуту, которую подарила ты другому одинокому сердцу...

— Касатик! А касатик! — разбудила его старуха, приходившая убирать квартиру. — Ну и сон молодой — всю ночь, видать, прогулял, я уж и паутину-то всю с потолка сняла, теперь хоть женись, так в самую пору...

День был отвратительный, над городом нависла низкая, непроглядная хмарь, лил дождь, резко похолодало. В этот день и пришла та страшная весть... Он тут же отправился к Яновскому, вошел к нему бледный — в гроб краше кладут — и, повалившись в кресло, почти шепотом только и сказал: «Батенька, великое горе свершилось — Белинский умер». Весь день он был до крайности возбужден, вспоминал о своей первой встрече с Виссарионом Григорьевичем, о спорах с ним. Не пришлось понять друг друга до конца? Что из того?

В ту же ночь, 28 мая 1848 года, с Достоевским случился сильнейший припадок падучей, не оставивший у его врача уже никаких сомнений в том, что страшная болезнь эта, почитающаяся «святой», присущая будто бы чуть не всем великим людям прошлого — и Магомету, и Наполеону, дающая якобы больному дар ясновидения прошедшего и грядущего, — что эта болезнь поселилась в теле его пациента и друга надежно, может быть, навсегда.

Похоронили Белинского в складчину, на деньги, собранные друзьями. Рассказывали, будто сам «хозяин русской литературы» Леонтий Васильевич Дубельт выразил искреннее сожаление по случаю преждевременной кончины критика, в том смысле, что так и не успел ознакомить его с достопримечательностями петропавловских казематов. Библиотеку Белинского решили разыграть в лотерею в пользу семьи покойного. Тургенев же будто бы до того расчувствовался, что обещал подарить любимой дочке умершего друга для ее обеспечения одну из своих деревень с двумястами пятьюдесятью крепостными, как только получит наследство от матушки. Великодушный порыв заставил многих прослезиться, и только несносная Авдотья Яковлевна заявила якобы, что дарить человеческие души даже и по столь гуманным соображениям — гуманность весьма сомнительная, в ответ на что многие из присутствующих посмотрели на нее с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев только сконфуженно пожали плечами; неизвестно, правда, что больше смутило их — заявление ли Тургенева, или столь не ко времени проявившаяся несветскость неглупой ведь вообще-то Авдотьи Яковлевны...

Любовь к ней прошла, слава богу, окончательно, но глаза ее, таящие пережитое, умный чудесный лоб, добрая, почти материнская улыбка согревали память Достоевского в эти дни, когда все, казалось, против тебя — один бог за всех...

Свеча чадила, догорая, а маленький красный паучок все сосал и сосал внутри и все не мог насытиться. Чего ждать? Зачем ждать?..

3. Перед большой дорогой

Будущее представлялось неопределенным, и он, наверное, надолго бы впал в уныние, но... События разворачивались бурно и невероятно: уже с конца февраля 48-го года по Петербургу ходили вести о баррикадах в Париже,

о бегстве короля Луи-Филиппа, о сожжении королевского трона. Франция провозглашена республикой. Осталось только воплотить в жизнь лозунг «Свобода, равенство, братство». Революция перекинулась в германские земли, охватила Австрийскую империю. Установившая республиканскую власть Венеция и Неаполитанское королевство, Пьемонт и Флоренция подняли восстание против австрийских завоевателей.

В небольшом коломенском доме Петрашевского, с коньком на крыше и резными наличниками на окнах, по пятницам делалось все многочисленнее и шумнее. Ступеньки покосившейся от времени лестницы, в два марша ведущей на второй этаж в комнату для собраний, скрипели и вздрагивали, как бы пугаясь за собственную участь — удастся ли выдержать все шедших и шедших по ней в темноте людей? Лестница освещалась только по особым случаям вонючим ночником, с кипящим и нещадно чадившим в нем маслом. Комнату, в которой набивалось до двадцати человек разом, большой тоже никак нельзя было признать; старый диван, покрытый дешевым ситцем, да несколько грошовых рыночных стульев составляли всю ее меблировку, а единственная сальная свечка — все ее освещение. У многих из собиравшихся на «пятницы» такая обстановка приемов вызывала ощущение чего-то нарочитого, умышленного, поскольку хозяин, судя по всему, был человеком достаточным, возможно, и здесь давала знать о себе неудержимая его страсть к оригинальности.

Петрашевский был убежденным фурьеристом, то есть последователем учения французского философа, социального утописта Шарля Фурье. Его система гармонического общества предусматривала устроение человеческого общежития — фаланстера на разумных началах, на принципах общественной собственности и общего труда, свободы чувств, освобождения от паразитизма государственного чиновничества, семейных обязанностей, религиозных предрассудков, ростовщичества и власти денег.

В своем имении, насчитывавшем 250 крепостных душ, Деморовке Новоладожского уезда Петербургской губернии, Петрашевский уже пытался устроить фаланстер в духе идей Фурье. Однако прошлой зимой накануне его заселения крестьяне, к великому огорчению устроителя, сожгли фаланстер. Петрашевский пришел к выводу, что нужна еще долгая предварительная работа, прежде чем и его крестьяне станут сознательными последователями Фурье.

Достоевский не верил в гуманность каких бы то ни было опытов с крестьянами, остающимися в крепостном состоянии. Сам он еще в 44-м, не имея возможности дать своим крестьянам волю, по крайней мере, полностью отказался от всех своих прав помещика, и в ответ на упреки родственников, пытавшихся устыдить его намеком на то, что его решение оскорбляет память родителей, которым их владения стоили стольких лишений, а может быть, и самих жизней, Достоевский говорил: «Будьте уверены, что я чту память своих родителей не хуже, чем вы ваших... При том же разоряя родительских мужиков, не значит поминать их...» Опыт кружка Белинского, разочарование Виссариона в действенности социальных утопий заставляли его иронически относиться к утопическим упованиям новых друзей. Душа его жаждала дела, но что делать — этого он не знал еще. Но и сидеть сложа руки не мог.

— На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть. Такое зрелище — урок! Я считаю, что этот кризис исторически необходим в жизни народа как состояние переходное, но которое, может быть, приведет наконец за собой лучшее время, — говорил теперь Достоевский.

Европейские события обострили до крайности чувствительность молодых горячих людей к мерзостям российской повседневности. Снисходительность к ним и собственная бездеятельность воспринимались теперь слишком болезненно.

— Знаменитые дела ныне весьма редки не потому, что люди, способные к ним, стали редки, а потому, что неспособные не пускают способных к тем местам, на которых делать такие дела можно, — рассуждал Александр Пальм. Он в последнее время начал до того задумываться, что на учениях однажды по команде «правого плеча вперед» выполнил что-то вроде «налево кругом», так что изумленный генерал, не жалея собственных барабанных перепонок, заорал: «Эт-то что такое? Вольнодумство! Книжки небось читаете? Стыдитесь, господин офицер!» Генерал был мастером виртуозной брани высочайшего класса, но какими бы эпитетами и пожеланиями ни одарял он всю роту огульно, порою милостиво добавлял: «Исключая господ офицеров...» Вот и задумаешься, неужто прошли времена генералов Бородина и Сенатской площади?

— И в литературе, и в науке то же самое, — подхватывали другие.

— Царь наш вовсе не любит родных сынов отечества, — возмущался поручик Григорьев.

— Немцы ни за что не допустят русских ни к какому делу, — подхватывал Баласогло, — а по понятию петербургских немцев даже и русская словесность — дело совершенно не русское *.

Достоевскому были близки настроения участников коломенских «пятниц»; сам он буквально потрясал сердца слушателей страстными рассказами о том, как на его глазах прогнали сквозь строй фельдфебеля Финляндского полка, отомстившего ротному командиру за варварское обращение с его товарищами; о фельдъегере, опускающем свой полицейский кулак на шею ямщика, о плачущих детях и черных лицах их матерей... А когда он начинал читать из Пушкина:

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя **,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?.. —

взоры слушателей загорались, сердца стучали учащенней. Но что делать? Смотреть на все, «добру и злу внимая равнодушно»? Довольствоваться мыслью, будто все прекрасно в возлюбленном отечестве? Спокойно ждать, пока все устроится к лучшему само собой? Или же отдаться во власть всепримиряющей и всеотрицающей отечественной сивухи, потому что стыдно же ничего не делать.

Провозглашение во Франции республики будоражило воображение Достоевского, но отнюдь не давало лично ему ответа на вопрос о целях борьбы, во имя которой он был готов на любое самопожертвование.

* Это мнение в свое время послужило одним из главнейших аргументов декабристов в пользу необходимости свержения монархии «немца» Александра I (вспомним хотя бы такую агитационную песню: «Царь наш — немец прусский, носит мундир узкий...»); эти же настроения вполне разделял и революционный демократ Герцен: «В немецких офицерах и чиновниках правительство русское находит именно то, что ему нужно: правильность и бесстрастность машины, прибавьте полное равнодушие к участи управляемых, глубочайшее презрение к народу, полное незнание национального характера — и вы поймете, почему народ ненавидит немцев и почему наше правительство так любит их» («О развитии революционных идей в России»).

** В это время большинству, в том числе и Достоевскому, был известен лишь этот вариант.

— Политические вопросы меня слишком мало занимают, — горячо и искренне объяснял он друзьям свое состояние. — Мне поистине все равно, кто у них будет — Луи-Филипп, или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и республика. Кому от этого будет легче? Народ выиграет несколько громких фраз и пойдет на ту же работу, прибыльную только для одного буржуа, а стало быть, и жизнь ни на волос не будет лучше. Я не верю в полезность игры в старые политические формы.

Нужна какая-то иная, совершенно новая идея. Какая? Этого он не ведал. Не мог ответить на этот вопрос. Если бы не провалы «Двойника» и «Хозяйки», поколебавшие его веру в действенность Слова, могущего переродить мир, может быть, он и знал бы ответ. Теперь же? Нет, не знал.

Одни во время участившихся теперь встреч и обострившихся споров предлагали начать немедленную борьбу за гласное судопроизводство, другие полагали начало всех начал — в свободе печатного слова.

— Освобождение крестьян, несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности, — однажды тихо сказал Достоевский. Кто-то посомневался: стоит ли надеяться на то, что царь освободит крестьян? — Нужно не надеяться, а что-то делать, чтобы царь понял наконец, что народ — его дети, но взрослые уже дети, достойные свободы. В иной путь я не верю, — резко возразил Достоевский.

— Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание? — спросил вдруг кто-то.

— Так хотя бы и через восстание! — неожиданно почти закричал Достоевский.

Многие из участников «пятниц», особенно из офицеров, видели в себе прямых последователей дела декабристов, патриотизм которых был прямо связан с идеей необходимости освобождения крестьян, совсем недавно прославивших Россию, отстоявших ее честь и свободу и получивших в награду исключительную привилегию — быть рабами в родном отечестве *.

* «Крепостное право — это иго, едва ли менее жестокое, нежели татаро-монгольское, было уделом только русского человека: каждый дворянин, кто бы он ни был по своей национальности — англичанин, француз, немец, итальянец, так же как татарин, армянин, индеец, может иметь крепостных при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-нибудь аме-

Петрашевский ставил на первое место вопрос о судоустройстве, поскольку крепостное состояние касается только части населения, а надобно прежде всего удовлетворить общую потребность в справедливости, в которой нуждаются все в государстве. Его поддержал и пылкий Иван Ястржембский, заявивший, что он тоже патриот и готов выпустить себе кровь по капле за свободу Польши, но если бы он был уверен, что самостоятельность Польши повредит общечеловеческой идее, то первым бы одним взмахом топора отрубил бы ей голову...

Но всемирночеловеческие принципы приходили в противоречие с живым непосредственным чувством перевиденного и пережитого, и Ястржембский тут же рассказывал, как недавно извозчик жаловался на тяжесть оброка: «И заступиться-то за нас некому — бог высоко, царь далеко...»

— Да, — закончил Ястржембский, — французы, немцы и прочие нехристи свободны, а русский православный народ в рабстве...

Не выдержал и поручик лейб-гвардии Николай Момбелли:

— У меня до сих пор пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии: мука вовсе не вошла в его состав; он выпечен из соломы, мякины и еще какой-то травы, а видом похож на высушенный конский навоз... Хотя я и противник всякого физического наказания, но желал бы нашего чадолюбивого императора в продолжение нескольких дней посадить на пищу витебского крестьянина...

Петрашевский настаивал на том, что патриотизм, национальное чувство вредны для людей, думающих о преобразованиях всемирного масштаба: «Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля»; национальность же только вредит этой цели, ибо, говорил он, «чем на низшей степени своего нравственного политического или религиозного развития находится какой-либо народ... тем резче будет высказываться его национальность... Только развиваясь, то есть утрачивая свои

риканец прибыл в Россию негром-рабом, то, ступив на русскую почву, невольник станет свободным. Таким образом, рабство является привилегией лишь русских людей». Эти строки из письма декабриста Николая Тургенева, заочно приговоренного к смертной казни, в значительной мере отражают общую революционно-патриотическую настроенность декабристов в целом.

индивидуальные признаки, нация может достичь высоты космополитического развития»; думаю, добавил он, что «Россию и русских в этом смысле ждет высокая, великая будущность».

Достоевский страстно оспаривал утверждения Петрашевского; в вопросе о великом назначении России он твердо стоял на позициях Белинского, перед авторитетом которого склонялся, впрочем, и Петрашевский.

Спорили все; единства мнений ни по одному из главных вопросов не было.

А вскоре в кружке появился новый человек, который многое изменил в жизни его участников.

Вернувшийся из Европы богач и красавец Николай Спешнев представлял, по словам Достоевского, тип «аристократа, идущего в демократию». Высок, темно-рус, волосы падают на плечи, большие серые глаза; всегда холоден и таинствен, спокоен и ироничен... Он производил неотразимое впечатление на женщин. Имея в Курской губернии имение в 500 душ мужского пола, жил безбедно и мог позволить себе не одну романтическую историю. Гостя у друга своего, влюбился в его жену, «прекрасную польку», которая бежала с ним за границу, родила ему сына и отравилась в припадке ревности. Впрочем, дело не в женщинах. В Европе он занимался исследованием тайных обществ, готовил себя к руководству революцией в России.

«Этот барин не чета Петрашевскому», — при первой же встрече отметил про себя Достоевский. Спешнев умел производить впечатление не только на женщин. Он сразу же принялся проповедовать необходимость распространения «социализма, атеизма, терроризма» путем подпольной печати как в России, так и за границей. Спешнев, познакомившийся в Европе не только с теориями утопического социализма и отвергший их, но и с «Коммунистическим манифестом», однако, предлагал программу подготовки вооруженного переворота путем создания боевых террористических «пятерок».

Петрашевский был крайним противником таких мер: выйдем на площадь, всех перебьют, как мальчишек, убеждал он. Спешнев настаивал на ином — нужно будоражить народ.

Ахшарумов во время поездки на юг присматривался к людям — кого можно бы привлечь к общему делу. Вы-

воды его были неутешительны. Достоевский предлагал связаться с раскольниками.

В декабре 1848 года среди «заговорщиков» появился странный приезжий: это был Рафаил Александрович Черносвитов, уральский золотопромышленник, в прошлом офицер. Выйдя в отставку, служил исправником и в этой должности участвовал в подавлении бунта пермских крестьян. Черносвитов интересовался, существует ли какое-нибудь тайное общество в Петербурге, так как желал выделить на его деятельность свои миллионы. Спешнев и Петрашевский старались поддержать его начинание и, в свою очередь, любопытствовали, какого мнения сам Черносвитов о возможности поднять народ на Урале по типу пугачевского восстания. Особенно друг другу не доверяли (Достоевский же сразу заявил о своем подозрении: Черносвитов — шпион!), а после ссоры между Спешневым и Петрашевским, который стоял на необходимости легальных форм переустройства общества, Черносвитов уехал на Урал, так и не раскрыв тайны, кто же он — шпион? Миллионщик, решивший спасать душу, бросив миллионы не на храм, а на революцию? Или какие-то другие, ведомые ему одному, мотивы двигали им?

Появлялись и тут же исчезали и другие лица. Однажды Федор Михайлович привел на одну из «пятниц» брата Михаила. Однако, посетив кружок два-три раза, Михаил Михайлович заскучал и больше там не появлялся. Как-то и Петрашевский ввел в кружок своего сослуживца, молодого чиновника Антонелли. Приземистый блондин с какими-то странными, то ли косящими, то ли избегающими смотреть прямо глазами, он не вызвал ни у кого симпатии, Александру Пальму на лице Антонелли виделась «низменная застенчивость канцеляриста, таскающего исподтишка пока только одну казенную бумагу». Но перечить Петрашевскому не стали, и молодой человек прижился, стал постоянным участником «пятниц».

Время было слишком неспокойное, ненадежное, и в Петербурге вообще, кажется, забыли о шумных приемах, собраниях, спорах. Но петрашевцы продолжали жить по-старому: собирались и в Коломне, и у Дурова, и у других участников, бывало, засиживались подолгу. Даже арест в апреле 48-го одного из участников кружка — мрачного Салтыкова — не насторожил их; в кружке он бывал нечасто, большей частью помалкивал, да и арестован был совсем по другому делу: молодой автор опубликовал повесть «Запутанное дело», художественно слабую, но, учитывая европейские события, цензура сочла ее крамольной. Правда, автора ни в кандалы не заковали, ни в Сибирь, ни на Кавказ не сослали, а отправили служить чиновником в Вятку. Так что особой тревоги за собственную будущность заговорщики не испытывали.

Казалось, Достоевский полностью был погружен в новое, охватившее все его существо дело. Но молодость — великая сила: хватало времени и нервов писать по ночам, бегать по редакциям, ходить в театр, мечтать... Год был нелегкий, холерный. Летом эпидемия добралась и до Петербурга, жившего теперь в ежеминутном страхе. Холера уносила до пятисот человек в день. Однажды прямо на улице Достоевский увидел, как упал человек. Не думая о последствиях, будто сам был не из той же плоти и крови, бросился к несчастному, помог добраться до дому. Только после этого наконец испугался, понял, что натворил. Но пронесло. Бывает...

Не шло из памяти видение на Екатерининском канале. Поэтическая история о встрече фантастического мечтателя и юной девушки мало-помалу становилась повестью «Белые ночи». Продолжал работать и над «Неточкой Незвановой», вышли уже рассказы «Господин Прохарчин», «Слабое сердце», «Чужая жена», «Елка и свадьба», «Ревнивый муж»... Особенно его уже не ругали — притерпелись, что ли? Но и похвал слышно не было. Мечталось написать нечто новое, могучее; чтобы мир... Но потрясать мир откровениями он, должно быть, после опыта «Двойника» и «Хозяйки» уже то ли не решался, то ли не чувствовал себя вправе.

Вот и 48-й прошел. Начался бурными обещаниями всеевропейских событий, а закончился тихо, почти незаметно, будто и не было ничего чрезвычайного в мире, и не будет, и быть не может.

Достоевский все более сближался со Спешневым. «Мой Мефистофель» — называет он его теперь.

В марте удалось наконец заполучить копию письма Белинского к Гоголю — его сумел переписать в Москве Плещеев и переправить в Петербург. Достоевский много слышал об этом письме, написанном во время пребывания критика за границей, но до сих пор еще не читал его, теперь же, читая, будто вновь видел перед собой живого Белинского, не пишущего, но говорящего, проповедующего, бичующего. И кого? Самого Гоголя, которого он же провозгласил родоначальником «натуральной» школы, в борьбе за которую и жизнь свою положил. Письмо произ-

вело на него сильное впечатление своей неистовой прямотой. Он соглашался в нем с тем, с чем соглашался, разговаривая и с живым Белинским, не мог принять то же, что не в силах был принять и раньше. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, вызвавшие резкую отповедь критика, были знакомы Достоевскому лишь в отрывках да по слухам, для того же, чтобы судить о правоте того или иного из двух великих современников, нужно было знать вполне предмет, вызвавший столь бурную реакцию критика. Но письмо с нетерпением ждали в кружке, и Достоевский пообещал прочитать его в одну из ближайших пятниц; 15 апреля выполнил обещание. Письмо произвело общий восторг. А в предшествующую пятницу, 7 апреля, у Петрашевского он не появился (там состоялся обед в честь Фурье): Петрашевский давно раздражал его своим глумлением над верой, когда же в одном из докладов назвал Христа демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру, Достоевский решил про себя: все, довольно! Такого он не прощал и самому Белинскому. Достоевский давно уже убеждал Спешнева отделиться от кружка Петрашевского и образовать свое тайное общество.

И вот он идет вербовать новых участников. Не забыл и старого друга своего Аполлона Майкова, пришел к нему на квартиру, долго проговорили о том о сем, остался ночевать. Майков почувствовал: недаром, не по пустякам зашел к нему Достоевский — слишком уж внимательно вглядывается в него, будто выспрашивает что-то молча. Только когда улеглись — Майков в своей кровати, Достоевский на диване напротив, — началось главное.

— Вы, конечно, понимаете, — начал Достоевский, — что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решили выделиться и образовать особое, тайное общество, с тайной типографией для печатания разных книг и даже журнала. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я, — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вступить в общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России...

«И помню я, — рассказал об этой ночи уже через много-много лет Аполлон Майков, — Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти Отечество...»

— Итак, нет? — заключил он.

— Нет, нет и нет.

Утром после чая, уходя:

— Не нужно говорить, что об этом — ни слова?

— Само собою.

Иногда любители словесности и музыки собирались и у Сергея Дурова. А в один из апрельских вечеров их охотно посетил сам Михаил Глинка. Он вернулся в Россию из Испании еще осенью 48-го, задержавшись по дороге на несколько месяцев в Польше, где и сдружился с братом Александра Пальма — Иваном. Он давно уже обещал посетить молодых людей, но расхворался и стал выходить на люди только нынешней весной. И вот он здесь, среди них, и уже подогреты две бутылки лафиту, и он уже сидит за роялем, и глаза его полуприкрыты, и пальцы его уже слышат мелодию...

Он играл Шопена, Глюка... Потом его уговорили исполнить собственные сочинения: романс «К ней», вторую песнь Баяна, арию Гориславы... Разошелся совсем и сыграл «Камаринскую».

Да, это был вечер... Достоевский сидел зачарованный, и вдруг так ясно вспомнился другой день, тоже весенний, — когда ж это было? два? да, точно, два года назад, — он тогда рассказал об этом в одном из фельетонов 47-го: на него накатило внезапно странное состояние, похожее на то, писал он, как если бы вы «шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг услышите музыку. Бал, точно бал! В ярко освещенных окнах мелькают тени, слышится шелест и шарканье, как будто слышен соблазнительный бальный шепот, гудит солидный контрабас, визжит скрипка, толпа, освещение... вы проходите мимо, развлеченный, взволнованный; в вас пробудилось желание чего-то, стремленье. Вы все будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный, бесцветный мотив ее, идею, тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то; слышится что-то другое, слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный... Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни, и звучит родным, призывающим звуком...».

И он так ясно, так определенно почувствовал себя вдруг не проходящим мимо, но участником прекрасного бала жизни — и что бы теперь ни случилось с ним, как бы ни была жестока к нему судьба, он не имеет права назвать ее несправедливой даже за один только этот ее подарок. И он не стоял среди толпы, жаждущей пробиться на праздник жизни, не бил себя в грудь и не шаркал ножкой, не расталкивал других локтями и не совал смятую в кулаке красненькую в потную ладонь швейцара — пусть даже и опознают проскользнувшего и выбросят с лестницы, как Голядкина, на грязную мостовую, лишь бы знать, лишь бы иметь право сказать снисходительно при случае: «А, как же-с! бывал; случалось, очень-с даже случалось...»

Много и без них званых, да мало избранных, но он — среди них. И пусть этот праздник жизни — только мгновение, и пусть уже сейчас знаешь, что через час, минуту вновь ждет тебя за этими стенами долгий бесцветный мотив обыденной повседневности, все-таки он есть же, этот праздник, он был, и ты был избран судьбой видеть и слышать жизнь в ее лучшие, избранные мгновения...

Глинка играл всю ночь. Совсем уже рассвело, когда он спел на прощание свою «Прощальную песню», и все подпевали ему:

Прощайте, добрые друзья!
Нас жизнь раскинет врассыпную...

Через несколько дней, воротясь к себе под утро 23 апреля от Николая Григорьева, где обсуждалась предполагаемая деятельность новой, отделившейся от кружка Петрашевского, группы, Достоевский тут же лег спать — слишком устал, да и весь день накануне лил проливной дождь, и он промок до нитки; и хотя по дороге к Григорьеву успел забежать обсушиться у Яновского, все-таки продрог и теперь чувствовал — заболевает. Уснул тотчас. И вдруг — не бредит ли? — видит сквозь сон, будто по его комнате ходят странные люди, и будто даже слышит — брякнула сабля, словно ею нечаянно задели за что-то... Попытался открыть глаза, как вдруг совершенно явственно услышал: «Вставайте!» Еще смутно соображая — не сон ли? — увидел: стоят двое; один с красивыми бакенбардами — то ли пристав, то ли квартальный, второй — в голубом, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — выговорил наконец.

— По повелению... творю волю пославшего мя...

Увидел в дверях солдат, тоже в голубом. «Вон оно что...» — сразу же понял он.

— Одевайтесь. Мы подождем-с, — предложил подполковник приятным баритоном, и вошедшие господа принялись рыться в книгах и бумагах. Пристав полез в печку, пошарил хозяйским чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, став на стул, пытался залезть на печь, но оборвался и свалился с грохотом на пол. Увидя на столе старый пятиалтынный, пристав начал внимательно его изучать.

— Не фальшивый? — поинтересовался уже одетый Достоевский.

— Гм... Это, однако же, надо исследовать, — пробормотал пристав и приобщил к делу и пятиалтынный.

Их провожали хозяйка — испуганным взглядом — и служивший у нее человек, Иван, тоже испуганный, но глядевший, как показалось Достоевскому, с какою-то тупою торжественностью, приличною событию.

Его привезли на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада, в здание III отделения, где было уже немало из его сотоварищей по «пятницам». Подвозили все новых.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал кто-то. Достоевский вспомнил: действительно, нынче уже 23 апреля — день весеннего Егория. И вдруг увидел среди арестованных брата своего Андрея: сразу понял — взяли по ошибке: перепутали с Михаилом. Андрея жаль, но его — разберутся — выпустят, а вот, если арестуют Михаила (он и побывал-то у Петрашевского два-три раза всего) — совсем худо: семья, детишки, да и сам часто болеет...

Мало-помалу освоились, окружили господина, отмечавшего по списку прибывающих, против имени Антонелли увидели надписанное карандашом: «агент по найденному делу».

— Так вот ты каков, маленький, скромный человечек! Хоть знать — кому обязаны... *

* Поучительна дальнейшая его судьба. Один из случайно арестованных и потом выпущенных из крепости, учитель истории Белецкий, рассказывал, что однажды «встретил Антонелли на Адмиралтейском бульваре и, будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру... ударил его и указал на него прохожим как на доносчика, за что и был вновь арестован и сослан на житье в Вологду».

С. Тхоржевский в книге «Жизнь и раздумья Александра Пальма» писал: «В сентябре военный министр князь Чернышев направил графу Перовскому послание с пометой «весьма секретно»: «Государь император по представлению вашего сиятельства... всемилостивейше соизволил повелеть:

Всего в эту ночь арестовали «по делу» тридцать семь человек. Обращались с арестованными чрезвычайно вежливо, сносно накормили. Наконец вышел к ним и сам управляющий III отделением генерал Дубельт, вытянутое лицо которого с седыми усами, по мнению многих, слишком напоминало помесь волка с лисой. Сразу припомнилось все, что рассказывали ему об этом господине Белинский, Панаев, Некрасов, Герцен...

От Николая Ивановича Греча (в двадцатые годы близкого к декабристам, но после их разгрома быстро отрезвившегося, по его собственным словам, от либеральных идей), человека, в свое время коротко знавшего Леонтия Васильевича, многие слышали о нем кое-что и такое, о чем сам Леонтий Васильевич особенно не распространялся. В двадцатые годы он слыл чуть не за первого либерального крикуна во всей Южной армии; в те времена он — наместник мастера в киевской масонской ложе, член ложи «Палестины» в Петербурге и «Золотого кольца» в Белостоке... *

— Вот и у нас заговор! — чуть не заговорщицки подмигнул Дубельт арестованным. — Не могу надивиться, господа, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся беспорядки! Первая обязанность честного человека — любить выше всего свое отечество, то есть быть самым верным слугою своего государя. Есть люди, которые видят и чувствуют землю, по которой ходят, но не замечают неба, которое над ними, не ведают смысла знамений, ниспосылаемых нам, грешным.

Если бы можно сначала образовать народ, — продолжал он наставительно, — привить ему чувство чести, не скажу из зверя, но из получеловека сделать человека — тогда можно и подумать, дать ли ему свободу. Да и тогда явятся у него тотчас разные идеи: бросит свой родной кров и пойдет шататься, правду искать. Вот теплое его гнездышко и разорилось. И сына еще станет учить грамоте, а тот выучится и станет развращать свои понятия чтением мерзкой нынешней литературы; начнет судить-рядить, когда же ему землю пахать? Сочтет себя просвещенным, потому что лапти сбросил да умеет читать газеты... Просвещение мужика — разорение отечеству. Эх, господа, господа... Ну да ладно, разберемся. А пока придется отправить вас в Петропавловку. Ничего не поделаешь, господа, — понимаю, понимаю, но служба-с. Да, господа: служба государю и отечеству, коей добродетелью вы пренебрегли, господа. Нехорошо-с...

Одиночка Алексеевского равелина сразу же придавила его серым камнем, сырым сумраком, могильной тишиной, изредка нарушаемой боем часов Петропавловского собора да мерными шагами за кованой дверью. Что-то вроде серого мешка вместо белья, толстый арестантский халат из шинельного сукна с заскорузлыми пятнами. Табурет, железная койка, стол, умывальник, мутный суп с ломтем черного хлеба на обед, тот же суп, от которого скоро объявились острые боли в желудке, на ужин. Днем неясный свет маленького окошка наверху с клочком серого неба в нем; тусклое чадение плошки с маслом по ночам. В этих стенах томился царевич Алексей, эти камни помнят шаги Радищева, это небо в окне видели Рылеев, Пестель, Каховский... И днем и ночью по каземату по-хозяйски гуляли крысы и тараканы, нещадно жалили мерзкие паразиты.

Наконец 6 мая его вывели из каземата, повели в белый двухэтажный дом во дворе крепости — там заседала следственная комиссия. И потянулись выяснения, объяснения, показания, допросы. Ему не в чем упрекнуть себя — он держался мужественно, не пытался переложить вину на других в надежде облегчить собственную участь. Скорее наоборот. Некоторые — доходили слухи — не выдерживали, унижались, клеветали на себя и на друзей, пытаясь оправдаться за их счет. Нервы ли сдали? Сломились ли от неожиданно придавившего их серого камня темницы?

Комиссия, назначенная из князя Долгорукого, Дубель-

...Чиновника Антонелли произвести в следующий чин и выдать ему при этом в единовременное пособие негласным образом тысячу пятьсот рублей серебром, но с тем, чтобы сии награды даны были этому чиновнику под другим благовидным предлогом, отнюдь не упоминая о секретном деле, которое было поводом настоящего представления вашего сиятельства». Липранди попросил директора департамента, где служил Антонелли, представить этому молодому человеку место помощника столоначальника. Но в департаменте ни один из столоначальников не изъявил согласия принять Антонелли в свой «стол». Граф Орлов доносил в докладе царю, что Антонелли «сделался жертвою своего усердия... лишился прежних своих доходов...», обретя славу шпиона. В конце концов Антонелли вынужден был уехать в Ковно, где, вероятно, еще не знали о его способностях.

* «Дубельт умнее всех трех отделений... Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил», — писал о нем Герцен в «Былом и думах».

та, князя Гагарина, генерала Ростовцева, заседала под председательством коменданта крепости генерала Набокова. Однако Иван Александрович Набоков, совсем недавно принявший на себя обязанности коменданта, а до того — бессменный командир гренадерского корпуса, человек по природе простой, но твердых убеждений, простодушно полагал, что коли посажен в тюрьму, то уже тем самым и виноват и казнь заслужил, и зачем это следствие и комиссии — пустая трата времени, и только. Поэтому дело вели другие.

Ростовцев — любимец царя, начальник штаба управления военно-учебных заведений — человек по-своему замечательный: в молодости — активный член Северного декабристского общества, за два дня до 14 декабря донесший Николаю I о готовящемся восстании, сразу же предложил Достоевскому выложить все начистоту. Достоевский отвечал уклончиво. Яков Иванович морщился, вытирал платком потную лысину, пытался подсказывать ответы, наконец не выдержал: «Не могу поверить, чтобы человек, написавший «Бедных людей», был заодно с этими порочными людьми. Нет, нет, это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени самого Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело». Достоевский молчал. Тогда Леонтий Васильевич, наклонясь к Ростовцеву, с улыбкой процедил: «Я ведь вам говорил...» На что тот обиженно закричал: «Не могу больше видеть Достоевского», — и ушел в другую комнату, бормоча под нос: «Умный, независимый, хитрый, упрямый...»

Его обвинили в преступном вольнодумстве, приведшем к противозаконным поползновениям, предосудительным в отношении государя и отечества...

— Я не боюсь улики, — заявил Достоевский, — ибо никакой донос в свете не отнимет у меня и не прибавит мне ничего; никакой донос не заставит меня быть другим, чем я есть на самом деле. В том ли проявилось мое вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать? Но меня всегда оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная быть обидой правительству, чем ему приятною...

Если желать лучшего Отечеству — вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец, в этом же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином... Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать рукопись уже с очевидным предубеждением...

Конечно, о многом он должен был умолчать, многое недосказать. Но то, что он говорил, говорил прямо, искренне, убежденно. А главное — не раскаивался в содеянном. Все это, естественно, раздражало членов следственной комиссии.

— Меня обвиняют в том, что я прочел статью «Переписка Белинского с Гоголем». Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли он сказать, к которому из переписывающихся лиц я был пристрастнее? Меня всегда руководила самая искренняя любовь к Отечеству. Я желал многих улучшений и перемен, я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Все, чего хотел я, это чтоб не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была, по возможности, всякая нужда...

Как ни изматывали нервы допросы и объяснения — все-таки это была жизнь. Жизнь и борьба. За себя, за товарищей, за право оставаться человеком и гражданином даже и в грязном арестантском халате.

Андрея давно освободили; забрали Михаила. Федор Михайлович боролся и за него. По окончании следствия брата выпустили из крепости: будто камень с души свалился — сам-то он, ладно, ведал, что творил, и готов отвечать, нет, не перед ними, не перед набоковыми, дубельтами, ростовцевыми — перед собственной совестью. Отечеством. Богом.

Заключенным разрешили читать книги, писать. «...Я не унываю, — сообщает он Михаилу, — конечно, скучно и темно, да что же делать?.. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно. У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял: выдумал три повести и два романа: один из них пишу...

Всего тяжелее время, когда смеркается...»

Читает Шекспира, Библию, последний номер «Отечественных записок», сочинения митрополита Димитрия Ростовского. Вот уже три месяца не видел он солнца, зеленых листьев над головой. Что-то будет? Ссылка? Надолго ли, далеко ли?

В августе позволили прогулки в саду — целое счастье: семнадцать деревьев, небо... Разрешили и свечу по вечерам, а это значит — можно писать, а это уже жизнь! Настоящая жизнь.

Он писал новый роман — «Детская сказка» *— об удивленной первым чистым чувством любви душе ребенка, мальчика; о любви-преданности, самоотверженной любви. И счастлив тот, кому послала судьба эту радость хоть на мгновение. Не обделен он судьбой на всю жизнь. Горечь неразделенной любви, счастье высокого бескорыстного взлета души, что даруется только ребенку, — это первое озарение не забудется и в самые трудные мгновения согреет душу надеждой и, может быть, спасет от отчаяния.

«Прежняя жизнь так и ломится в душу, и прошлое переживается снова, — пишет он 14 сентября брату. — Вот уже пять месяцев как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать душу, — тяжело!.. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль... работа только, кажется, выжимает последние соки. Впрочем, я ею рад...»

16 ноября был вынесен приговор:

«Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил сего отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение... лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Генерал-аудиториат предложил исправить решение суда: «...лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на восемь лет...»

На заключении генерал-аудиториата наложил окончательную резолюцию Николай I:

«На четыре года, а потом рядовым». Правда, с существенным дополнением: «...объявить помилование лишь в ту минуту, когда все уже будет готово к исполнению казни».

* В результате вышел рассказ, опубликованный через восемь лет под названием «Маленький герой».

Осужденные продолжали жить в неведении о своей будущей судьбе, все еще тайно надеясь на лучшее: более полугода одиночки — разве одно это уже не достаточное наказание?

Томительны дни ежеминутного ожидания; во сто крат томительней бесконечные осенние сумерки. Не раз вспоминалось: «Долго ночь меркнет...»

22 декабря в 7 часов утра их вывели наконец во двор крепости, посадили в полицейские кареты и повезли на Семеновский плац, где все уже было готово к началу трагического фарса.

По возвращении осужденных в Петропавловку всех обошел доктор — удостовериться, не оказался ли еще кто из участников церемонии, кроме Николая Григорьева, «излишне впечатлительным»?

«Брат! Я не уныл и не пал духом, — писал Федор Михайлович вечером, после только что пережитого перед лицом смерти; в ожидании — теперь уже совсем недолгом — сибирской каторги. — Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть, — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да! Правда! Та голова, которая создавала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Остались память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь...

Скажи Майковым мой прощальный и последний привет... Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне. Я ей желаю много счастья и с благородным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову, а затем и всем. Отыщи Яновского. Пожми ему руку... Наконец всем, кто обо мне не забыл... Поцелуй брата Колю. Напиши письмо брату Андрею, дяде и тетке, сестрам: им желаю счастья!..

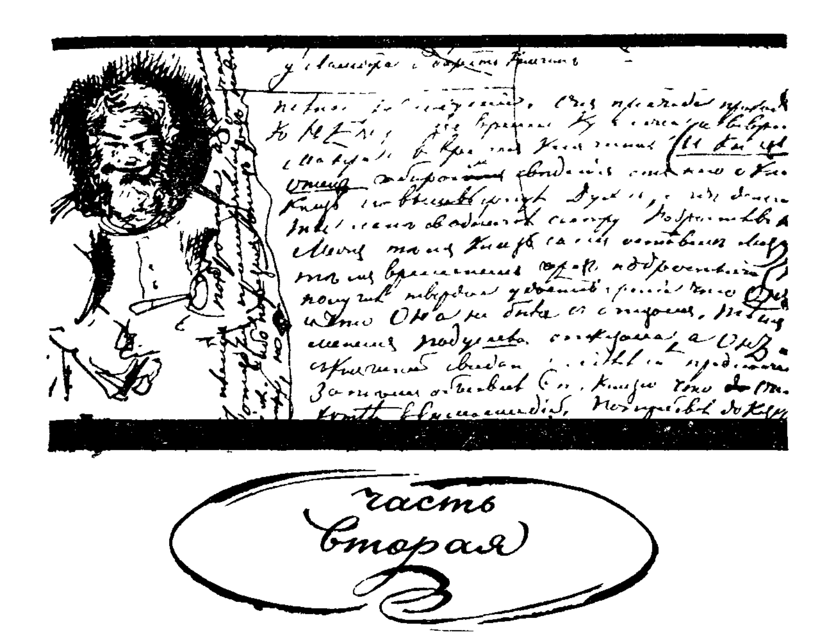
Как оглянусь на прошлое да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях,

в ошибках, в праздности, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему...»

Через два дня их одели в дорожное арестантское платье, в полушубки и валенки. Достоевскому разрешили повидаться с Михаилом. Старший брат плакал, губы его дрожали; Федор Михайлович был спокоен. Свидание продолжалось несколько минут.

Ровно в 12 часов, в рождественскую ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря 1849 года на Достоевского впервые надели кандалы. Вместе с Дуровым и Ястржембским вывели на улицу, усадили каждого в открытые сани и тронули в дальний путь. Сердце, может быть, впервые за эти месяцы так заныло, захолонуло в тоске. Знакомые улицы, освещенные окна домов. А вот и дом Краевского — в окнах видна елка, доносятся звуки музыки, видны кружащиеся силуэты танцующих. Бал. Праздник жизни.

Мимо, мимо — на большую дорогу, в темную даль, в иное...



ЖИТИЕ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА

...А я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас... Ибо если вы будете
любить любящих вас, какая вам награда?
Не то же ли делают и мытари?

От Матфея (5, 44, 46).

Не потеряйте жизни, берегите душу,
верьте в правду. Но ищите ее пристально
всю жизнь, не то ужасно легко сбиться.

Достоевский

Глава 1

В ДОРОГЕ

На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил...

Пушкин

В несчастии яснеет истина.

Достоевский

1. «Воскресение из мертвых»

И понеслись, понеслись кони вдоль по всей, словно приодевшейся в саван, бесконечной, немеренной, неохватной взору России. Дорога, дорога, дорога... То раскинувшаяся «ровнем-гладнем» на тысячи верст, то занесенная сугробами так, что «хоть убей, следа не видно», открытая всем ветрам и хладам, по косогорам и буеракам, «средь неведомых равнин», пустых, сколько ни смотри — ничего не увидишь вокруг, без конца, без краю, в сорокаградусные морозы — и кажется уже, что так всегда и было, и родился, и рос, и вся жизнь — дорога, и не было ничего другого: то ли приснилось-примечталось, нашепталось кем-то про иную жизнь, про сельцо Даровое, про стольный Питерград и про все другое — ничего не было, а всегда только эта белая ледяная пустыня с морозным солнцем над ней, с луной, бегущей сквозь сумрачную мглу, с тихими огоньками дальних деревенек.

В Шлиссельбурге попили чаю и снова: дорога, дорога, дорога — правда, теперь, слава богу, пересадили их в крытые сани, а то, пожалуй, плакала бы каторга по ним горькими слезами, дорога, дорога — по Петербургской, Новгородской, Ярославской губерниям, по Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской, Пермской... Редкие небольшие городишки, небогатые деревеньки, чуть не всем народом выбегали поглазеть на конный поезд. Морозы все ожесточались, казалось, вся Россия закоченела под снегом; одна радость — редкие придорожные трактиры с горячим чаем, за который, не смущаясь их кандалами, драли с них втридорога.

Урал встретил метельными заносами. Достоевский, по собственным словам, «промерзал до сердца»; жгли открывшиеся еще в Петропавловке на лице и во рту золотушные язвы. Да и другим, видать, не легче: Дуров отморозил пальцы рук и ног, Ястржембский — кончик носа. Все чаще останавливались, выходили вытаскивать кибитки из очередного заноса. Ночь, темень, буран...

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Однажды в страшную метель увидели столб, обозначающий границу Европы и Азии... И такая грусть нахлынула вдруг — слезы прошибли: прошедшее — все в прошлом, впереди — Сибирь, неведомая судьба...

На шестнадцатый день завиделись впереди далекие крепостные башни, купола соборов — Тобольск. В темной грязной канцелярии острога их обыскали, отобрали деньги, а у Достоевского и бутылку рома, которую он ухитрился купить еще в Казани, и заперли в узкой холодной и совершенно темной камере. За тонкой стеной слышались крики, судя по которым там вовсю шла игра в карты, раздавалось звяканье шкаликов и неслась такая ругань, такие проклятия, от которых враз захолонуло в душе, и теперь уж, казалось, навсегда, ибо вот они — одиноки и наги, забыты всеми, погребены заживо, и нет им спасения от разлившегося по всей вселенной холода. Гордый, впечатлительный Ястржембский завозился в своем углу. Завозился как-то подозрительно — не ошибся Достоевский: его товарищ по несчастью решил покончить с собой. Ястржембский не мог вспомнить, что именно говорил ему тогда Достоевский, но на всю жизнь осталось другое. «Напоминаю об этом тяжком прошедшем единственно потому, — писал он потом в своих воспоминаниях, — что оно дало мне возможность ближе узнать личность Достоевского. Его симпатичная и милая беседа излечила меня от отчаяния и пробудила во мне надежду».

Загремели дверные тяжелые засовы — принесли сальную свечу, спички и чай. Тюремный кипяток показался им слаще нектара. К тому же Достоевский сумел все-таки припрятать несколько сигар, так что ободренные неожиданной милостью путники провели ночь в своем временном пристанище за дружеской беседой. «Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения», — свидетельствует тот же Ястржембский.

Но о таком подарке судьбы они не могли и мечтать: к ним пришли Наталья Дмитриевна — жена декабриста Фонвизина и Прасковья Егоровна — супруга декабриста Анненкова. Перед каждой из многих этих русских женщин, оставивших петербургский свет, отказавшихся от всех дворянских привилегий, пошедших на долгую, может быть вечную, разлуку с родными и даже с детьми, чтобы разделить каторжную судьбу своих мужей, — перед каждой из них невозможно было не стать на колени, не преклониться на веки вечные, пока жива Россия, пока мир стоит, потому что жива Россия верою и верностью таких женщин и мир стоит на их любовном подвижничестве. Но эти будто богом ниспосланы им перед крестной дорогой жизни, чтобы не заблудилась на ее перепутьях душа, добились свидания, пришли ободрить, утешить несчастных. На прощание каждому подарили по Евангелию.

И в их внезапном явлении, и в спрятанной на груди, как будто хранившей еще тепло милых рук, согревавшей теперь его душу книге увиделся ему какой-то знак, намек на благую весть в грядущем, которое еще нужно выстрадать, но которое теперь все-таки уже забрезжило, и его нужно хранить в себе, не дать ему погаснуть, как огоньку свечи в ладони на свирепом ноябрьском ветру...

Шесть дней они пробыли в Тобольском остроге. И кого и чего только не навидались здесь: и клейменные навечно лица, и прикованных пожизненно к стене цепями, и любовные утехи кандальников. «Были б денежки, будут и девушки», — скалили редкие желтые зубы. Господи! И это тоже женщины! Русские женщины, с синими, испитыми лицами, хриплым, бесстыдным смехом... Словом, начиналась новая жизнь. Пока они были только в преддверии ее.

Случилось повидаться на минуту и со Спешневым — его тоже везли по тому же этапу.

Через несколько дней Достоевского и Дурова усадили в розвальни, зазвенели колокольчики — и снова: дорога, дорога, дорога... Теперь уже и не такая дальняя, всего в шестьсот верст, до последнего пристанища — Омского острога. Ястржембского ждал другой путь — в Тарский округ, на Екатерининский винокуренный завод.

В семи верстах от Тобольска, за Иртышом, па тридцатиградусном морозе их ждали Фонвизина и Анненкова затем только, чтоб еще раз пожелать им не терять бодрости духа...

Через три дня Достоевский пересек черту, отделившую прежнее: волю, жизнь от «мертвого дома» каторги. «И никогда еще человек, более преисполненный надежд, жажды жизни и веры, не входил в тюрьму» — так записал он однажды, через тридцать лет после этого, вечно памятного ему мгновения.

И тут же возникло перед ним угреватое злое существо, «точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшую в его паутину», — почувствовалось ему. Это был знаменитый плац-майор Кривцов, его новое начальство, о котором Достоевский наслышался еще в Тобольске: «Каналья, каких мало».

Обругав для начала Достоевского и Дурова дураками и пьяницами, Кривцов тут же пообещал выпороть их при случае, а чтоб у них не оставалось никаких иллюзий относительно их нового будущего, добавил: «Теперь я ваш царь и я ваш бог», — и дохнул на них перегаром. Затем узников повели в кордегардную, обрили им по полголовы. Узнали: этот обряд будет совершаться над ними еженедельно; сменили им дорожные кандалы на постоянные; и вот они уже как все, «не хуже других»: в общем арестантском отделении — в черных пополам с серым куртках с желтым тузом на спине; выдали им полушубки и шапки — Достоевский сразу же нахлобучил свою по самые брови, будто надеялся весь спрятаться в ней. И отправили в казарму.

Ветхое, со сквозными щелями помещение встретило их нестерпимым угаром небольшой чадящей печки, перемешанным с еще более нестерпимым зловонием общего ночного ушата, морозными парами, вырывающимися из сотен ртов, изрыгающих виртуозную ругань, заиндевевшими окнами, капелью с потолка, погромыхиванием кандалов, тараканами, которые бродили «четвериками по стенам»: «Это был ад, тьма кромешная». Они едва удержались на ногах, заскользив по жидкой грязи пола; а воздух... Казалось, воткни в него лопату в любом месте, и она так и увязнет в нем, разве что слегка накренится под собственной тяжестью.

Господи, кого здесь только не было... Казалось, кто-то позаботился собрать сюда представителей от всех областей и губерний, народов и народцев России-матушки. И что за люди — грабители, насильники, убийцы детей и отцеубийцы, фальшивомонетчики и воры, с жуткими,

во все лицо шрамами и язвами, измочаленными, будто жеваными ушами и совсем без ушей. «Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу», — ухмылялись их новые сотоварищи... Впрочем, какие же сотоварищи? «Вам на срок, а нам вдоль по каторге; мы погибший народ», — заявили с угрюмым презрением, а узнав, что вновь прибывшие из дворян, и вовсе запоглядывали на них угрожающе.

Выделили им нары в три голых доски, покрытых тюфяком, набитым соломой, но — так показалось — скорее легионами блох, вшей, клопов, — вот ваше место.

«Вот и пристань моя. На долгие годы...» — подумалось.

Пища была достаточно сносна; хлеб, выпекавшийся здесь же, в остроге, славился даже и в городе; щи хоть и не отличались наваристостью, зато изобиловали тараканами.

Занесли его в «статейный список»:

«Наружные приметы и недостатки: лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, волоса светло-русые, на лбу, над левой бровью, небольшой рубец (осталась память: рассек во время одного из припадков); телосложения крепкого; вероисповедания православного; ранжирная метка: 2 аршина 6 вершков; холост.

Какое знает мастерство: чернорабочий, грамоте знает...»

На третий день пребывания в остроге чернорабочий Достоевский приступил к работам, которым обрадовался как единственному спасению от помешательства. Обжигал и толок алебастр — работа не показалась ему слишком трудной, хотя, конечно, он и не поспевал за привычными к физическому труду старожилами каторги. Тяжелей переживались их насмешки: «...куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был не у места, везде мешал, везде меня чуть не бранью отгоняли прочь», но он работал, молча терпя насмешки. Вертел точильное колесо в мастерской — это уже потяжелее; ходил за несколько верст от острога на кирпичный завод; около двух месяцев — это уже было летом — таскал кирпич с самого берега Иртыша через крепостной вал к строящейся казарме; работа не из легких, но она даже понравилась ему: он чувствовал, как в нем понемногу копятся силы, что давало надежду по крайней мере с помощью каторги поправить здоровье. Но уже осенью, разбирая в реке старую барку, стоя по колени

в холодной воде, Достоевский простудился, заболел, а Дуров и вовсе навсегда подорвал свое здоровье.

Однажды, когда Федор Михайлович возвращался с работ один с конвойным, навстречу попалась женщина с ребенком, девочкой лет десяти. Мать что-то сказала девочке, и она подошла к Достоевскому, протягивая ручку: «На, несчастный, возьми копеечку, Христа ради». Он взял и долго берег ее как священную реликвию. Он любил ходить на дальние работы: можно было смотреть с высокого берега на реку, за которой открывались бескрайние, необозримые пространства. Накатывала тоска, но вместе с тем как будто что-то звало его, куда — он не знал, но зов этот тревожил, манил, не давал омертветь душе: там была свобода. С первого дня, с той самой минуты, как он переступил черту острога, его мир явственно раскололся на две половины: неволю каторги, над которой и небо даже было другим — каторжным, и волю — с иными, казалось теперь, вечно лучезарными небесами. И с этой самой минуты он тайно начал мечтать о свободе. С этим чувством он прожил в тот первый день очень долго, несколько часов, во время которых не раз отчаивался, но снова находил в себе силы возвращать себе это ощущение надежды. И снова терял его, но когда наконец заперли дверь казармы и пробили отбой, сердце его вновь сжалось от невыносимой боли: ему вдруг пришла мысль, что вот прошел уже день каторги, целый день! Невыносимо тяжелый, настолько бесконечный, что ему не раз казалось — время остановилось, растеклось и он уже не в состоянии собрать его силой своей воли в какую-нибудь форму, способную хотя бы к какому-нибудь движению. Целый день! А впереди, собственно, сколько было, столько и еще оставалось — почти полторы тысячи таких же бесконечно тягучих, невыносимо неподвижных, застывших в своем однообразии дней, часов, минут, топчущихся на одном месте мгновений. Он физически ощущал это странное пребывание в мертвом времени мертвого дома.

Соседи давно уже спали, вскидываясь, вскрикивая и доругиваясь во сне. Позвякивали кандалами. «У нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам», — объясняли утром. Мутило до рвоты от спертой атмосферы человечьего хлева.

Наезжал всегда пьяный майор Кривцов.

— Да ты, подлец, никак пьян как стелька? Выпороть мерзавца, и немедленно! — указывал он все равно на ка-

кого из заключенных, если дело было днем; ночью же приказывал пороть всякого, ежели тот спал не на правом боку, на коем он приказал всем спать, — и уезжал с сознанием, что день прошел не без пользы, да и жизнь его чего-нибудь да стоит. Каждый раз ждал унижения и Достоевский. Бог миловал пока. Но не легче жилось и среди товарищей по несчастью.

«Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем... велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет, и когда даже некогда жаловаться за бесчисленностью всевозможных оскорблений. «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был — народ мучил, а теперь хуже последнего наш брат стал» — вот тема, которая разыгрывалась 4 года», — писал позднее Достоевский.

Одиноко душе: он видел теперь этот народ, об освобождении которого так мечтал, не со стороны (я — это все-таки я, а они — это все-таки они), но разделяя с ними собственную судьбу. И думая об этих несчастнейших из народа, реального — не идеального, того, что рисовался им, петербургским комнатным мечтателям, он все более убеждался, сколь прискорбно нелепыми, далекими от живой действительности были их прежние утопические иллюзии о переустройстве одним махом всей жизни на разумных началах, об осчастливливании незнаемого ими народа путем навязывания неведомых ему теорий общественного благоустройства. И бездна открылась ему. Бездна между ним и народом. Казалось, *они* принадлежат двум разным, испокон веков враждующим нациям. Свобода, равенство, братство... Вот оно, братство по несчастью: «Брат... Рубля вместе не пропили, а уже туда же — брат!» — почти издевались над ним. И вот оно, истинное равенство: все рабы и в рабстве своем равны... Свобода? А как они пользовались своей свободой? Вот — Феидулла Газин, не человек — паук в человеческий рост: про него рассказывают, что он любил резать маленьких детей, и не ради какой-нибудь наживы, а так — единственно из удовольствия. А этот молоденький, с тонким, почти мальчишеским невинным личиком, — на его совести уже восемь загубленных душ... И сколько таких, и все это — тоже народ... Ну а вот Ильинский, бывший офицер, разгуливает по острогу даже

как-то весело, будто подвиг какой совершил, — отцеубийца. Неужто и это люди, люди-тигры, жаждущие одного — лизнуть крови, так и родились без совести? Бог души не дал? А если дал, то как же они ею распорядились! — пропили, промотали, заложили, да так и не захотели выкупить из заклада... Да, не все люди — человеки, есть и нелюди. Неужто и к этим приходил Христос и обещал царствие не от мира сего? Нет, тут какая-то загадка, тут нужно либо слишком уж презирать человека, чтобы считать равными перед собой подвижника и убийцу, либо... Либо слишком уж высоко верить в возможности природы человеческой.

Кто же тогда так глумливо смеется над ней?

Что ж их, среда заела? Неграмотность отупила сердца? Но отчего та же среда из одного и того же человечьего теста лепит и разбойников и подвижников; рыцарей чести, героев Бородина и рыцарей больших дорог, героев наживы? А процент грамотных — он давно уже это заметил и поразился этому — среди погибшего народа куда больше, нежели на воле: выходит, «знающие грамоте» легче идут на преступления, легче поддаются соблазнам и искушениям подлой действительности? Мысль даже и жуткая, но вот ведь приходит же...

Неуютно душе в этом ничем не прикрытом сраме жизни. Не тяжесть каторжных работ — каторга нравственных мучений невыносима: вся прошлая жизнь его открылась ему вдруг в ином свете, и была она вся — ложь и обман, благодушный сон воспаленного мечтательством сознания. Тем безысходней пробуждение. Или новый сон — о суде собственной совести, в котором ты сам себе и вечный судия, и вечный же подсудимый. Как жить? Да и зачем жить?

Никогда, ни минуты, ни мгновения не побыть одному, постоянное пребывание в этом вечном, насильственном общежитии измучило вконец, может, еще и потому, что, людно-то людно, а человека-то нет. Без книг, без возможности писать даже письма... Недавно у него украли Библию. Осталось одно Евангелие — подарок тех удивительных женщин. И кто же украл? Один из тех немногих, кому он открылся, рассказал, какое сокровище лежит у него под тюфяком, — потому что нужно же человеку хоть с кем-то поделиться радостью, потому что нет радости у одного. С Дуровым на каторге отношения не заладились. Словно чужие.

Потом смылась и копеечка. Та самая, «христова».

А уж как хоронил, как берег для вечной памяти: «обидели юродивого: отняли копеечку...» Но сегодняшний день не без завтрашнего...

Шел второй день пасхи. По случаю праздника каторга гуляла: чуть не все были пьяны, хотя начальство следило за этим в три глаза, «ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей, и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи — все это в два дня праздника до болезни истерзало меня, — вспоминал через много лет Достоевский. — Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно... Наконец в сердце моем загорелась злоба... когда шесть человек здоровых мужиков бросились все разом на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били его без опаски...» Достоевский выбежал из казармы в состоянии, когда — останься, нужно что-то делать, а что делать? Что он может изменить? Разве хоть какое и чье бы то ни было слово способно пробудить в этих диких животных даже малый проблеск человечности? Да и прибьют походя, даже нехотя, как нашкодившего котенка... Выскочил с ясным ощущением — сейчас, вот сейчас это свершится: он ясно сознавал, что сходит с ума.

На него пахнуло запахом весеннего дня, ослепило синевой пронизанного солнцем неба, а его душила злоба от собственного бессилия.

Навстречу попался Александр Мирецкий, отбывавший в каторге уже четвертый год из десяти назначенных ему «за участие в заговоре, за произведение в Царстве Польском бунта». Перед отсылкой в Сибирь ему пришлось пройти через 500 шпицрутенов, потому что он не был дворянином, и в остроге ему доставалось от плац-майора поболее других. «Ты мужик — тебя бить можно», — говаривал острожный «царь и бог», назначая его чуть не в постоянные парашники. Среди около двухсот пятидесяти заключенных в Омской крепости уголовников в это время пребывало шесть политических: кроме Достоевского и Дурова, еще четверо поляков, которые всегда держались вместе, в холодном отчуждении от всего остального сброда; только с осужденными «петрашевцами» вступали в споры, считали как политических за равных себе. Наиболее близко Достоевский сошелся с Александром Мирецким, «никогда с ним не ссорился, уважал его... Это была натура сильная и в высшей степени благородная».

Мирецкий, встретившийся вдруг Достоевскому, судя по всему, был в таком же крайнем состоянии возбуждения. Но возбуждения холодного: он мрачно взглянул на Достоевского и, тоже поняв его состояние, проскрежетал вполголоса по-французски: «Ненавижу этих бандитов». Глаза его холодно сверкнули, губы тряслись. Он прошел мимо.

И вдруг будто что-то ударило, прожгло Достоевского. Прожгло и оскорбило что-то самое дорогое, сокровенное, спрятанное даже от себя. Что? Он еще не мог понять, но чувство это не проходило, требовало ответа, а ответа не было у него, и он сам не заметил, как снова оказался в угарной казарме. Газин уже лежал без всяких признаков жизни на нарах, прикрытый чьим-то тулупом. Достоевский молча пробрался в свой угол, против окна за железной решеткой, лег на спину и притворился спящим — к спящему не принято приставать, но можно лежать и думать. В ушах неотвязно звучала, повторяясь, как удары плети, холодная французская фраза. Понемногу он забылся, нахлынуло давнее: Даровое, рощицы, овраги, поле и мужик одиноко пашет, и лошадь идет трудно, а воздух полон запахами пашни и березняка. И вдруг: «Волк бежит!» — по его спине даже сейчас побежали мурашки, так явственно, так физически ощутимо и зримо ворвалось вдруг то, забытое, — сколько ж ему тогда? — лет девять было, — давно прошедшее и вдруг внезапно ожившее в нем ощущение: он бросился не помня себя к мужику — он знал его и сейчас вспомнил даже имя его — Марей. Мужик протянул руку и вдруг погладил маленького Федю по щеке:

— Ишь ведь испужался... Полно, родный... Христос с тобой, окстись. — У него и сейчас дрожали, как тогда, губы, и он будто даже ощутил на них то давнее тихое прикосновение его толстого с черным, в земле, пальца.

Достоевский даже вскочил на нарах, очнулся и вдруг ощутил, что еще улыбается той своей детской улыбкой покоя после панического испуга, а в нем еще не рассея-

лась нежная, как бы материнская, улыбка крепостного мужика Марея... И тогда он, еще не понимая зачем, слез с нар — с ним что-то случилось, будто белый голубь пролетел сквозь темень его душевной храмины, и он вдруг пошел по казарме между нар, вглядываясь в лица кандальников, и никто не оскорбил, никто не обругал его почему-то, и он почувствовал, что может смотреть в них совсем иначе, чем прежде, другим взглядом, без ненависти и отвращения. Он шел, подходил к ним, вглядывался в их клейменые лица, а видел иное, давно исчезнувшее из памяти, а теперь вспомнившееся, обретшее черты его товарищей по несчастью, озаренное улыбкой лицо Марея: «Этот обритый и ошельмованный мужик с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый Марей...»

И он понял, что́ оскорбило его во фразе Мирецкого: тот сказал то же, что много раз говорил себе и сам Достоевский, будто повторил ему его же мысль, и все же это была и не его мысль, и даже враждебная ему — холодная, бесчувственная, почти мертвая личина его собственной мысли. Этот народ был чужим для Мирецкого, преступным уже потому, что это русский народ — палач, по его убеждению, его родной, единственно священной ему Польши. И не только — они были людьми разных наций, не оттого, что одни из них — русские, а другие — поляки, а потому что в жизни Мирецкого никогда не было своего, ни русского, ни польского Марея, и он видел в мужике только бандита. У него не могло быть иного взгляда на мужика, потому что он всегда мыслил о народе и о самой Польше и ее свободе, ее будущем с точки зрения своих утопических теорий о том, как все должно быть.

Значит, нужна была тогда, двадцать лет назад, эта встреча с Мареем, забывшаяся, исчезнувшая, казалось, навсегда, но вдруг воскресшая теперь, когда было нужно, когда он мог и хотел погибнуть; воскресшая и воскресившая его. Что-то явно изменилось — его по-прежнему могли обругать и даже пристать, что называется, с ножом к горлу, но его больше не чуждались, и это было самое странное, потому что они ведь ни о чем не говорили, но будто поняли друг друга, будто его состояние невольно передалось и им.

«Не навсегда же я здесь, а только на срок», — думал он, засыпая.

Раньше он не замечал этого: в остроге было немало людей, старавшихся сколько возможно облегчить участь узников, прежде всего политических. Караульную службу в эти годы несли семь «морячков» — разжалованные гардемарины, исключенные из Морского кадетского корпуса.

Правда, и теперь всякое проявление сочувствия к себе Достоевский воспринимал настороженно, замыкался, не доверяя до конца, боялся разоткровенничаться, чтобы не было вдруг снова горького похмелья, но сердце тайком радовалось: люди — везде люди, даже здесь, где, казалось, невозможно оставаться человеком, тем более что любое, даже самое невинное, проявление расположения служилых людей к политическим преступникам постоянно находится под угрозой доноса и жестокого наказания. Взять хоть отца Александра Сулоцкого... Казалось бы, что до них захолустному протопопу, но, пользуясь тем, что майор Кривцов неравнодушен к его дочери, а потому заходит к нему часто «чаю попить» и выпивает чуть не ведро сивухи за вечер, Сулоцкий старается повлиять на отношение этого «фатального существа» к несчастным. Сулоцкий сумел установить связь между узниками Омского острога и декабристами — это был уже серьезный риск. «Есть в Сибири и почти всегда не переводится несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе — братский уход за «несчастными», сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое», — писал Достоевский. «Спешите делать добро» — этот закон жизни, выдвинутый доктором Гаазом, Достоевский не раз вспоминал здесь, на каторге. И хотя скорее всего отец протопоп никогда и не слышал ни о Гаазе, ни о его призыве, он просто жил по этому закону совести.

Сочувствовал ссыльным и штаб-доктор Троицкий, работавший в омском госпитале и при любой возможности старавшийся определить к себе на лечение кого-либо из несчастных и подержать у себя подольше. Троицкий на свой страх и риск разрешил Достоевскому писать во время болезни и хранил у себя его записи. И что еще удивило, даже поразило его — делалось это с молчаливого согласия де Граве — коменданта крепости. Федор Михайлович понимал, конечно, что взяться сейчас за что-то большое, даже за рассказ, немыслимо: удавалось писать лишь украдкой, от случая к случаю, тем более после такого перерыва... Но записывать коротко главные свои

наблюдения, наброски мыслей, характеров, выражения, словечки — одно это уже целая жизнь. Настоящая жизнь. Главное — и здесь люди.

Как-то незаметно для самого себя сблизился с сероглазым, темно-русым с проседью осетином — Нуррой Оглы. Нурра — лев, не человек. Достоевскому всегда представлялось, что он предводительствовал какой-нибудь шайкой горцев, совершал набеги. Выяснилось, однако, что сидит он просто за воровство. Это несколько разочаровало Достоевского, и он тайно все-таки предпочитал по-прежнему видеть в Нурре отчаянного, свободолюбивого горца. А вот двадцатишестилетний Али из Шемахинской губернии, дагестанский татарин, казался ему совсем ребенком, хотя и был младше Достоевского всего на несколько лет. Он так по-сыновьи привязался к русскому, что трое его старших братьев, сидевших вместе с ним, поначалу поглядывали на Достоевского с ревнивой угрозой, но потом, узнав, что русский потихоньку обучает брата грамоте, прониклись к нему уважением, и, если б теперь кому-нибудь из каторжных вздумалось обидеть учителя, трудно даже сказать, что сделали бы с ним братья.

Он обучил грамоте и других сотоварищей по острогу, они же учили его хитростям каторжной жизни. Он знал теперь, как носить кандалы, чтобы не стереть ноги до костей, как сохранить необходимейшее от воров.

Любил побеседовать с ним и Исай Фомич Бумштейн, с которым тоже сложились чуть ли не приятельские отношения. Впрочем, кому не был здесь приятелем Исай Фомич? Незлобивый, тщедушный, словно цыпленок (а получил 12 лет за убийство жены), он в то же время удивлял какой-то непоколебимой самоуверенностью, за что над ним нередко пошучивали незлобиво. Его даже как будто любили, во всяком случае, никто не обижал его, хотя и редко кто не был ему должен. Ювелир по ремеслу, Исай Фомич неплохо подрабатывал на заказах городских любителей изящного; давал под проценты и брал вещи в заклад; копил деньги — надеялся еще раз жениться по выходе из каторги; жить собирался долго. Был крещен по православному обряду, но по просьбе сотоварищей, больших охотников до всяких представлений, не отказывался иной раз справлять по субботам и свой «шабаш», как называли его моления каторжные.

Достоевский полюбопытствовал однажды, что за жалобную песню без слов, вечное — ля-ля-ля! — напевает он, чем бы ни занимался, тонким своим дискантом. Когда уже познакомились поближе, Исай Фомич доверительно рассказал ему, будто это та самая песня, которую пели его предки чуть не три тысячи лет назад, переходя Чермное море, с тех пор будто бы и было заповедано всем потомкам петь ее в минуты торжества над врагами. Немало любопытного порассказал ему Исай Фомич. Впрочем, теперь многие из каторжных охотно делились с Достоевским своими историями. И чего он только здесь не наслушался! На две жизни хватило бы.

Однажды один молоденький острожник, тот самый, что успел уже в свои двадцать три года загубить восемь душ, расчувствовался, открылся Достоевскому: «Все кругом такие жестокосердные, всплакнуть негде. Бывало, пойдешь в угол, да там и поплачешь... Бывши в солдатах, сколько раз хотел порешить себя, да все — осечка... Как-то и ружье осмотрел, и пороху сухого подсыпал, и кремешок пообил, спустил курок — порох вспыхнул, а выстрела все-таки нет... А тут командир, да как заорет: «Разве так стоят в карауле?» — Не знаю, как произошло, но всадил я в него штык по самое дуло...»

О многом пришлось задуматься Достоевскому: преступления часто внешне очень похожи — и тот убил, и этот; и наказания равные, а между тем... Вон самая ходячая легенда в остроге: «Один человек зарезал проезжего на дороге просто так, на всякий случай, а у того-то всего одна луковица в кармане». — «Что ж, батька, ты меня посылал на добычу, не зная, что у человека в кармане? Я вон мужика зарезал, а у него ничего, кроме луковицы...» — «Дурак! Луковица — ан копейка! Сто душ — сто луковиц, вот те и рубль!..»

Один режет из удовольствия резать, другой убивает почти нечаянно, защищая честь сестры, невесты... хватается за топор, надеясь топором установить справедливость. И оба — преступники, оба в одной каторге, оба равно отверженные...

Нет, даже здесь, в остроге, немало людей ничем не хуже тех, что остались там, в обществе. Страшно подумать, сколько в этих стенах похоронено молодости напрасно, безвозвратно. А кто виноват?

Кто виноват в том, что поручик Жеребятников — садист каких мало? Общество? Но разве не одно общество собрало здесь, в остроге, Кривцова и Жеребятникова, но

и Троицкого и Сулоцкого? Природа ли виновата человеческая? Была же мать даже и у Жеребятникова. Не плакала ли она над ним, кричащим от болей в маленьком младенческом животике, не прижимался ли он всем тельцем к ее теплой, благодательной груди, не слышал ли никогда нежных слов из материнских уст? И сам ведь что-то лепетал доброе, тянулся ручонками к ней, дорогому существу... Как, почему, зачем из маленького, невинного, как все младенчики, ангела вырос вдруг Жеребятников? По каким законам?

Есть, есть такой закон, который может исказить, разрушить всю природу человеческую до такой степени, что трудно даже представить. Когда власть над другими, данная *или добытая, превышает возможности нравственного* развития человеческого, даже и недурной по природе своей человек превращается в тирана. Власть пьянит тогда, губит в человеке гражданина и все человеческое в нем. И тогда уже путь к покаянию, путь к возрождению почти невозможен.

Общество, бесстрастно взирающее на любое тиранство, — общество больное, разлагающееся. И нужно какое-то слишком уж могучее потрясение всего общественного организма, страшное страдание, чтобы встряхнуть его до такой степени, когда вновь откроется для него путь к возрождению. Нет, человек, если он человек, не имеет права допустить себя до такого падения, а коли уж пал — найди силы на смертное страдание и перестрадай, искупи, возродись и не кивай — среда, дескать, заела, а я ни при чем. Как только принял это оправдание, так и погиб нравственно, и нет больше личности, но одна только прижизненно мертвая ее оболочка...

Достоевского до основания потряс один случай. Бывший офицер, отцеубийца Ильинский как-то сказал ему, что не убивал отца, но не желает оправдываться, так как чувствует свою вину: не убивал, но, как знать, мог бы и убить под пьяную руку, случайно... А это все равно: убил или мог бы убить. Для правосудия не все равно, а для совести, для души нет разницы никакой, а потому и должен он искупить свой страшный грех.

А тут и действительно пришла из Петербурга бумага, удостоверяющая невиновность мнимого отцеубийцы. Ильинского освободили. И что ж, правда восторжествовала наконец? Поздно, но все-таки восторжествовала? Жутко стало Достоевскому. Не только от судебной ошибки, которая стоила несчастному нескольких лет каторги.

Нет. Жутко от еще одной, разверзшейся вдруг перед его сознанием пропасти — между правдой человечьего суда и правдой суда собственной совести: когда человек был убежден в своей невиновности, суд не поверил ему и жестоко покарал его; теперь, когда человек осознал свою внутреннюю виновность, тот же суд покарал его вторично, снова не захотел считаться с его совестью, дать ему время и возможность обновиться, окончательно воскреснуть духовно.

Нет, не прост человек — в нем такие бездны, такие тайны, о которых не ведают наши мудрецы. Да и многому ли могут научить народ наши кабинетные печальники народные? Напротив, сами должны еще поучиться многому у народа, узнать его лучше, понять изнутри, пожить его жизнью, пострадать его страданиями. Ну а уж тогда...

В страдании очищается душа от гордыни самообожествления, в страдании яснеет истина...

Жизнь его скрашивалась порой: то собаки появятся в остроге, то коня купят — воду возить, а то даже раненого орла подобрали как-то в степи — долго гулял по острогу, потом окреп — улетел: известное дело, птица гордая, вольная.

Весной острожники будто пьянели от заносимых ветром манящих запахов далекой степной воли. О воле мечтали все, даже и приговоренные на бессрочную каторгу: одни надеялись на чудо, другие на побег — тяжкая доля, да все своя воля, пусть ненадолго, а там хоть на цепь; третьи рассчитывали на царскую милость, но все жили одним — мечтой о воле. Не будь надежды на нее — никто бы не выдержал в каторге и нескольких лет, может быть, и года, месяца... Свобода — священное достояние ума и сердца. А пока, пока он научался терпению. Великая спасительная сила — терпение. У кого не хватает его — погибший человек. Не так ли и весь народ русский терпел иноверное ордынское иго, терпел не оттого, что смирился с рабством, но для того, чтобы накопить силы для освобождения, для нового долгого пути. Тело приковано к мертвому дому, ограничено аршином пространства, и нет ему пока пути, но душа давно в дороге, и сколько еще сил нужно сберечь, накопить, не растерять, чтобы внутренняя жизнь сознания и сердца вновь обрела плоть и путь — реальный, деятельный.

Но и в каторге выпадали дни нечаянного отдохновения. В праздники иногда силами самих заключенных устраивались театрализованные представления. И сколько юмора, сколько смекалки выплескивалось вдруг, какие таланты и характеры являлись при этом, словно воскресало вдруг в узниках все ошельмованное, забытое, все лучшее, что было же в них когда-то.

Как на праздник готовились в баню. Когда он впервые вошел в комнату шагов в двенадцать длиною и столько же в ширину, в которую разом набилось человек до ста, ему представилось, что он вдруг, по какой-то неизъяснимой игре случая, попал в самый натуральный ад. Копоть ела глаза, ноги по щиколотку ступали в грязи, месиве, жидком, стекавшем с сотен давно не мытых тел. Народу набилось столько, что невозможно было не прикасаться постоянно сразу к нескольким чужим телам. Густые, пропахшие потом клубы пара не скрывали, но только еще более усугубляли всю фантастичность картины, ничем не прикрытого срама голой человеческой плоти, изъязвленной болезнями, иссеченной плетьми, сплошь покрытой синяками и страшными рубцами от побоев, ножевых ран... Ощущение ужаса не покидало его: голые — в кандалах, откровенные слова и жесты живой копошащейся — не разберешь даже, где кто? — массы, будто ставшей одним фантастическим существом, — это какое-то апокалипсическое видение, забыть которое не в силах никакая память. Ему вдруг представилось, что перед ним — весь человек в его последней, не прикрытой никакими лохмотьями истине. Голая правда жизни. И эта правда ужасна и отвратительна в своей столь осязаемой убедительности. В нее трудно поверить, ее невозможно вообразить, но вот она перед ним, эта голая правда, последняя истина, в которой нет уже места ни духу, ни мысли, ни совести, — только эта копошащаяся, изрыгающая ругань, густо пахнущая, распаренная плоть человечьей массы. Но тогда, если это и есть та самая истина, то цель совсем не в том, чтобы найти эту истину, а в том, чтобы утаить ее, потому что страшно душе, заглянувшей в лицо этой реальной правде. Не потому ли столь сокровенно прячет природа свои тайны? Не для того ли и потребность в художнике, что он не дает человечеству узнать эти тайны, ибо, узнав их, никто не захочет жить, и вот художник одевает эту голую плоть природы в клейкие листочки, волнистые туманы, чудные мгновенья?

А в самом углу предбанника, почти на уровне его глаз, зыбко покачивался в своей едва различимой в сумраке паров паутинке маленький паучок. Как ухитрялся выдерживать он этот ад? Что ему здесь, этому жалкому в своей беззащитности существу? И сколько же нужно терпения, чтоб не отчаяться, дождаться своего мгновения, присосаться к запутавшейся в невидимых липких его путах жертве? Так во всей природе? У всех свой палач, поджидающий свой вожделенный миг: убийца ли Газин, уменьшившийся до размеров банного паучка, паучок ли, принявший облик человеческий, не все ли равно?

Вот сидит он смирнехонько в самом темном уголке, сидит и смотрит на мир своими жаждущими крови глазками, может, читая, а то и внушая даже человеку эти отчаянные мысли, и ухмыляется про себя своею паучьей ухмылкой? Я вот-де маленький, беззащитный перед вами, а вы не посмеете раздавить меня, потому что разбойники и грешны и побоитесь принять лишний грех на душу: человека, пожалуй, убьете, а меня пожалеете — спастись мною, может быть, даже понадеетесь...

Каторжане то ли не замечали его, то ли старались не замечать, а он все покачивался, даже с какою-то самоуверенностью, словно вовсе не паучок, а какой-то всемирный паук, принявший невинные размеры.

Когда Достоевский вышел на улицу, голова еще кружилась, и долго не проходило состояние подкатывающей к горлу тошноты. Да, видно, и к каторжным «праздникам» нелегко было привыкать. Во всяком случае, к банному чистилищу привык он далеко не сразу.

Ну и, конечно же, каждый поход в церковь становился для несчастных уже настоящим событием. И то: во-первых, можно было пройти по городу, поглазеть по сторонам, точно знаешь — никто в это время тебя не оскорбит, никто не накажет. Но, главное, там был иной, неподвластный каторжным законам мир. Конвойные в церковь не входили, а потому, оставшись одни и даже гремя кандалами, осужденные ощущали себя на время почти свободными. Каждый нес свою нищенскую припрятанную копеечку — на свечку: «Тоже ведь и я человек», — может быть, думал он (как представлялось, глядя на них, Достоевскому) или чувствовал, подавая копейку вместе с вольными на общий церковный сбор: перед богом-то все равны... А когда священник читал: «...Но яко разбойника мя прийми», — почти все валились наземь, звуча

кандалами, кажется, принимая эти слова буквально на свой счет.

Запала в сознание Достоевского эта, видимо, привычная для омских обывателей сцена: на его глазах произошло чудо. Обыденное, неприметное, но все-таки чудо: способные выстоять на ногах даже и не под одной сотней палочных ударов, тела его сотоварищей по каторге вдруг были брошены наземь невидимой, но имеющей над ними власть силою слова.

Ведь стояли же они, не проявляя никаких особых чувствований почти всю службу, но только прозвучали эти, словно назначенные именно им слова, и откликнулись подпольные души и обнаружили себя, может быть, даже и к удивлению самих отверженных, что вот есть они у них, души, есть и способны к бескорыстному порыву, к которому многие ли способны еще...

Да... не выросла та яблонька, чтоб ее черви не точили. Но и нет такого червя, чтобы источить яблоньку до такого бесплодия, когда бы даже в самых потаенных снах ее не снилось ей ее наливное яблочко. Все дело в слове, в том единственном, способном на чудо преображения слове...

Давно уже душа его не рвалась так навстречу будущему и давно не печалилась так, видя, как медленно проворачиваются в колдобинах острожной дороги невидимые колеса невидимой телеги жизни. И все-таки телега двигалась. Шел уже 1853 год, четвертый год его каторжного времени. С почти несдерживаемой радостью вслушивался он в нелюбимые прежде песни последних осенних ветров, поющих теперь о близкой зиме, которая откроет наконец перед ним его «забытые вороты».

Новый, 54-й — уже подлинно *новый*, — год его освобождения... Январь... февраль... Что же с душой делается в такие мгновения?

И вот сами же товарищи по несчастью повели его в кузницу, поставили у наковальни и повернули спиной к себе, подняли, как коню на перековке, одну ногу на наковальню. Радостно запели молотки... Что ж, что как коню... он и есть конь, каторжный ломовой конь. Поднял упавшие кандалы и долго смотрел на них, будто все еще не верил: только что были, и ноги еще томятся их жесткой тяжестью, и вот их нет уже, и как же это так без кандалов теперь? Непривычно...

Вот уж и ворота открыты. И новая дорога впереди — рядовым в Семипалатинск назначение. А солдатская

служба не шутка, но живой о живом думает, а жизнь — везде жизнь, и какая ни есть у солдата — все же не каторга. А каторга научила многому: спасительному терпению и смирению — лучше уж гнуться, чем переломиться: согнешься да выпрямишься, прямее будешь. Но и на всякую беду страху не напасешься.

Русский народ уж какую сотню лет живет по мудрости: «Бог терпел и нам велел». Что ж, для рабства разве велел, не для подвига? Чтобы силы впустую по пути не растратить... И Пушкин, гений наш, о том же помышлял:

Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Была бы теперь только возможность писать да читать. Одному побыть хотя бы иногда. И больше ничего не нужно. В остальном жизнь уже, кажется, прожита, и было ль в ней что, не было ли — кто о том пожалеет, кто осудит и кто вспомнит? Ни жены, ни любимой, ни друга. Брат родной, возлюбленный друг Михаил — ни одного от него письма за все четыре года...

Но можно ли жалиться и печаловаться в такое радостное, такое святое мгновение?

2. Страсти

И снова в дороге — по безлесью пустых нескончаемых пространств вдоль Иртыша, в далекое, затерявшееся среди киргизских * степей захолустье Семипалатинска, где квартировал Сибирский 7-й линейный батальон, в который был определен Достоевский для дальнейшего прохождения службы рядовым.

И пусть он ехал не к жене, не к отцу-матери, да и не сам ехал, а снова его везли по этапу, все-таки он не помнил даже, когда бы еще было ему так бодро и так весело. Черная, в проталинах, мартовская земля то вздымалась, словно грудь, окружьями холмов, то опускалась

* Киргизами в то время неправильно называли народы нынешнего Казахстана.

лощинами; дышала покойно и мерно, набиралась сил, готовилась к весеннему обновлению. Воздух звенел и трепетал, степь отогревалась, исходила прозрачным маревом испарений, томилась предчувствием дальних гроз, буйного цветения вольного разнотравья.

Выйдя из ворот острога, Достоевский и Дуров (что сделали с его товарищем эти проклятые годы! — словно не четыре, а сорок прошло: был молодым, веселым, бодрым, теперь седой, почти старик, одышка, едва передвигает больные ноги) оба направились в дом офицера Константина Ивановича Иванова, женатого на дочери Полины Егоровны Анненковой — Ольге Ивановне. Они-то и пригласили вчерашних каторжников пожить у них до следующего пути.

Удивительные ощущения: шли с желтыми тузами на спинах, без кандалов и впервые одни — без конвоя. А когда Достоевского уложили спать — не на голые нары — в кровать, когда он вдруг ощутил забытую белоснежную свежесть постели, такая щемящая радость переполнила его, что он не рассудком, всем существом своим поверил наконец: свободен. И какое счастье — побыть наконец одному! И как не поделиться радостью, переполняющей его, с печальницей его и другом — Натальей Дмитриевной Фонвизиной: «...как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпения, что благ земных не желаю и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. О последнем я очень беспокоюсь. Вот уж скоро пять лет, как я под конвоем * в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, а вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье — это когда сделаешься сам несправедлив, зол, гадок; сознаешь все это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. Я это

* Достоевский имеет в виду и восемь месяцев заключения в Петропавловке.

испытал... Я думаю, в вас, как в женщине, гораздо более было силы переносить и прощать...»

Уже одно то, что он мог теперь *писать* письма, разделять с близкими свои чувства и мысли, делало его счастливым.

Но первому он, конечно, написал Михаилу: «...Скажи ты мне ради господа бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положении моем я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу быть им полезным...

Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты, по неподвижности своей, не ходил просить полицию, или если и ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа, может быть, от такого человека, который и дела-то не знал хорошенько. Ты мне доставил этим много и эгоистического горя...»

Он рассказывал Михаилу о своей жизни в мертвом доме, о людях, его окружавших: «Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем... долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд, об которых я и не думал...

Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно...

Мне надо жить, брат. Не бесплодно пройдут эти годы... Услышишь обо мне».

И тут же просит брата прислать ему немного денег и книги: Канта, Гегеля, Коран...

Хорошо думается в дороге. Что-то еще непонятное ему самому, но важное не только для него одного, совершается в душе. Он пребывал в постоянном ожидании чего-то, будто кто-то невидимый все смотрит на него с надеждой всевидящими глазами и зовет и требует его, и он слышит этот призыв и не знает, куда идти, и некуда ему спрятаться от этого взгляда, потому что устремлен он не извне, а как будто изнутри его же самого и все тайные помыслы и движения души открыты и ведомы тому взгляду. «...Я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, — написал он сразу же после выхода из острога Фонвизиной, — что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное,

что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но, во всяком случае, неизбежное».

Чудно и тревожно вслушиваться в обновляющуюся природу своего существа; телега бойко трясется по колдобинам подсыхающей дороги, ямщик тянет свою долгую песню. Вспомнилось:

«...Я до сих пор не могу выносить тех заунывных звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам... Кому, при взгляде на эти... бесприютные пространства, не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему самому, тот или уже исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе...» Вот и Гоголя два года уже как нет...

«Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»

Не этот ли взгляд почувствовал и он теперь на себе, не тем ли вопросом томится теперь и его душа?

Что-то сулит ему новая пристань на долгом пути его скитаний? Да пристань ли? Скорей уж очередной постоялый двор на большой дороге. «Точно, как будто мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашею крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге...»

Может быть, только затем и дано ему было пережить это погребение заживо в мертвом доме Омского острога, чтобы прочувствовать всем существом своим ту непостижимую кровную связь, тайна которой измучила и Гоголя? Будто и впрямь возможно вместить в мгновение вечность, в его тридцать три года — тысячелетнюю судьбу России, — чтобы постигнуть непостижимое.

«Нам жить недолго, а России века и тысячелетия. Ей торопиться некуда...» Но как угадать в короткое мгновение своего земного бытия смысл и цель этого бесконечного пути, на котором даже и стремительный полет птицы-тройки — только неторопливая поступь? И угадать пророчески, чтобы не сбиться самому и не сбить других на бездорожье. Не потому ли и Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ», отрекся от всего созданного им, а главное — от миссии писателя?

«Так было нужно, — объяснил он. — *Не оживет, аще не умрет*... Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести

эпоху в области литературной... *Дело мое* — душа, *и прочное дело жизни*... Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие!»

Что это — величайшее смирение гения перед какой-то, открывшейся ему, более высокой правдой или же гордыня сознания, возжелавшего, как пушкинская старуха, сделаться «владычицей морскою»? Но не ему бы судить Гоголя — и самому слишком знакомы трагические борения разума и веры. Всего несколько дней назад признавался он в письме к Наталье Дмитриевне Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Да, доводы каторжной бани-ада, доводы вечной его бесприютности, состояние постоялого двора не устраивали его, но рождали в нем потребность веры в нечто большее и высшее — в реальную жизнь духа, в *слово*, возрождающее даже и мертвые души.

В такие-то мгновения мучительных борений страдающей души с мятущимся сознанием и сложился у Достоевского его символ веры: «Этот символ очень прост, — объяснил он, — верить, что нет ничего *прекраснее*, глубже, симпатичнее, *разумнее*, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной...» Почему ОН? Сознание не раз до нервных болезней искушало его веру мучительными вопросами и сомнениями, и вера часто не находила себе прочных оснований, словно проваливалась куда-то в неведомые тартарары душевного подполья под тяжестью безответных вопросов рассудка. Но и жить без своей веры он не мог.

Потому что, если не ОН, то кто же тогда? — спрашивал он себя. — *Кто?* Человек? Какой человек? Нет человека вообще. Так кто же тогда — царь или мужик, Фурье или, может быть, майор Кривцов, никогда, конечно, и не слыхавший даже о Максе Штирнере, но утверждавший вполне в духе немецкого философа: «Я ваш царь, и я ваш бог»? О Штирнере, провозгласившем новым богом, мерой всех вещей собственное *«я»* каждого человека, много спорили и у Белинского, и у Петрашев-

ского. Идея самообожествления, открывшаяся ему на каторге вполне как идея тираническая, стала теперь более всего ненавистна ему: острожный ли «бог» Кривцов, европейский ли кумир Наполеон — не все ли одно? Бог же не в силе, а в правде — вот убеждение народа: он, пожалуй, и поклонится силе, коль сила одолеет его, поклонится, но преклонится не перед ней, а лишь перед правдой. И коли уж быть нужным народу своему, преклонись и ты перед правдой его — так думал он теперь.

Если символ веры Гоголя потребовал от него: отрекись от писательства во имя дела души, то ему, Достоевскому, тот же, по существу, символ веры, напротив, являл как раз именно единство дела души и дела писателя.

Но, может, и это лишь соблазн, искушение гордыней? «Все мы очень плохо знаем Россию, — упрекнул всех и себя самого Гоголь, — каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту...» Правда, плохо знаем, и еще больше правда — нужны силы богатырские... И не просто понять, чего более в отречении Гоголя — надлома его богатырских сил или духовного подвига перед новым возрождением, да только жизни недостало. Дух ли сломился, тело ли не выдержало испытания, но судьба Гоголя — урок; урок и указание: ежели отречение требует такого невыносимого напряжения сил, каким же духовным богатырством нужно еще запастись, чтобы пройти через те же искушения и преодолеть их без отречения и выдержать — не сломиться.

Не оживет, аще не умрет... «Я был похоронен живой и закрыт в гробу» — так ощущал он свое недавнее, еще не изжитое, еще переживаемое состояние. Четыре года «как в землю закопанный».

Но даже и это мертвое время не должно быть потеряно, пройти бесследно; даже «и в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей, — писал он Михаилу. — Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото... Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй... черного, горемычного быта. На целые томы достанет... Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его...»

Телега подгромыхивала к очередному на его пути постоялому двору, называвшемуся на этот раз «Семипроклятинском». Бревенчатый барак острога сменился деревянной казармой, голые нары — нарами, покрытыми кошмой, серая с черным арестантская куртка — серой солдатской шинелью, майор Кривцов — ротным командиром Веденеевым, прозванным за нрав свой Бураном. А в остальном — та же полутемень, вонь, грязь, тараканы и ругань. А «иные командиры, — вспоминал он впоследствии, — на учениях, например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств...» То же постоянное, насильное общежитие, в котором ни часу не побыть одному. И началась новая жизнь — строевые и военные ученья, смотры, караульная служба.

Но теперь, кажется, он уже научился сжимать волю в кулак, так что поглядеть еще, кто кого: ржавому ли колесу фортуны кружить и волочь его за собой по замкнутому кругу, или он еще отдышится, наберется духу и подчинит обстоятельства своей воле. Он даже научил себя принимать молодцеватый вид — начальство пока им довольно, и главное — не сорваться. Старался ничем не выделяться среди новых сотоварищей по солдатской казарме, быть равным среди равных, но и близости душевной ни с кем пока не складывалось, да и не сразу душа откроется — пуд соли прежде еще съесть нужно. Но насилия не терпел. Не над собой — каторжный опыт сказывался, он чувствовал теперь уверенность в себе, и его слово было всегда весомо — не давал в обиду и других, тех, кто не мог постоять за себя сам по неопытности. Удивительное дело — казалось бы, общая судьба должна научить жалеть друг друга, но часто осмеянное сердце ищет в унижении своем, над кем бы и ей самой посмеяться, будто ей от того легче станет, будто переложит на кого свое посмеяние. Вот и солдатики в казарме нашли себе забаву — молодого, нескладного, почти совсем мальчика, барабанщика Каца; им — смех, а мальчишка плачет по ночам. Достоевский взял его под свою защиту. Отслужив свое, Кац остался впоследствии в Семипалатинске, сделался известным в городе портным, от него и узналось: «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский — бесконечно добрый, удивительно сердечный человек, которого нельзя было не полюбить». Полюбили его и другие солдаты, особенно за то, что он умел читать вслух «с эффектом» раз-

ные занимательные книжки: «Меня останавливали, просили у меня объяснений разных исторических имен, королей, земель, полководцев...»

Не забывали о нем и омские друзья, списались с семипалатинским начальством, просили пособить чем можно рядовому Достоевскому, и вскоре ему позволили снять частную квартиру неподалеку от казармы под личную ответственность одного из офицеров. А потом понемногу начали его приглашать и к себе на чай: полковник Белехов, выслужившийся от рядового, затем и другие, так что даже Буран вынужден был подобреть к странному рядовому: многое повидал ротный, чего не случалось, но чтобы солдат с полковником чаи по вечерам распивали,— нет, такого еще не приходилось... Лучше уж поостеречься. Приглашали и в дома местных чиновников, и немногочисленной интеллигенции — нелегко им здесь: развлечений никаких, одно на весь город фортепьяно, и ни одного, даже редким наездом, музыканта; сплетни да слухи (все о всех всё знают, а если не знают — догадываются) — вот и вся пища уму и сердцу; книг почти уже и не читают, все больше пьют, и все больше водку, да в картишки балуются, а тут — хоть и солдат, недавний каторжник, но писатель, в Петербурге живал, а Исаев, Александр Иванович, и «Бедных людей» припомнил, растрогался, напился до чертиков от избытка чувств, так что супруга его Мария Дмитриевна, красивая гордая женщина, не знала, куда деть себя от стыда и обиды за мужа.

Тяжело было возвращаться запоздно по пустынным, без единого фонаря улочкам, в свое бревенчатое жилище — комнатку в два окна с видом на колодец с журавлем, огородик и несколько кустов дикой малины и смородины. Злющая собака, которую спускали на ночь с цепи, уже узнавала его, не набрасывалась, но на всякий случай встречала таким хриплым лаем, что от него, должно быть, просыпались многие из шести тысяч обывателей сонного Семипалатинска, и в казачьей слободке, и в татарской, и далеко окрест, по открытой киргизской степи нес этот лай ветер, а то, пожалуй, и до темного бора, что в нескольких верстах от городка раскинулся на десятки, а может, и сотни — кто знает — верст. Вздрагивали и всхлопывали крыльями переполошенные тем лаем птицы.

Входил в свою низкую комнату, зажигал сальную свечу, в тусклом коптящем свете которой начинали вырисовываться по смазанным глиной стенам картинки, засиженные мухами, большая русская печь налево от двери, столик, дощатый ящик, служивший комодом, постель за ситцевой перегородкой; тускло отсвечивало маленькое, в круглой раме, зеркало. Садился за стол с белой бумагой на нем и долго вглядывался в темную — за бывшими, вероятно, красными когда-то занавесками, сквозь цветы герани в горшках на подоконнике — непроглядность окна. Ложился под утро, засыпал недолгим сном под шуршание бегающих стаями по полу, стенам, постели его тараканов. К утренней поверке нужно быть уже в казарме.

И маленьким людям большие сны снятся...

В ноябре исполнилось ему 33. Господи, ведь это подумать только — тридцать три, и доля есть — он все еще верил в нее, — да воли нет и пока не предвидится. Когда становилось совсем невыносимо, всплывало вдруг в памяти сказанное кем-то из каторжан, сказанное не ему, да, может, и вовсе никому, а так — потому что само сказалось, а ему вот запомнилось и запало: «Подумаешь — горе, раздумаешься — воля Господня». Нешто воля Его — твоя неволя? Ждал вестей из России.

Михаил пишет редко — у него теперь табачная фабрика: купил за деньги, полученные при разделе наследства; что ж, совсем изжил в себе Шиллера, перешел на сигары с сюрпризами? Другие, правда, и вовсе не пишут. Но зато можно читать. «Записки охотника» — вот как пошел в гору Тургенев, книга его — событие; Сергей Аксаков, Гончаров, Писемский, Островский. Стихи Тютчева — новое для него имя, как и загадочный «Л. Т.» *— судя по всему, тоже новый и большой писатель. Господи, сколько еще нужно перечитать и современников, и старых: «Пришли мне, брат... европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д.)... Немецкий лексикон... физику Писарева и какую-нибудь физиологию (хоть на французском...).

...Пойми, как нужна мне эта духовная пища!.. Пиши почаще, ради бога не забывай...» — молит он Михаила.

Однажды в конце ноября ему сообщили, что его зовет господин стряпчий уголовных дел. Вызов к прокурору немало озаботил Достоевского, но, увидев перед собой молодого совсем еще, красивого, с добрым, приветливым

* Так подписывал свои первые произведения Л. Н. Толстой.

лицом человека, несколько успокоился, а когда тот извинился, что не смог сам зайти, передал ему письма от Михаила и Аполлона Майкова, посылки и поклоны, Достоевский и вовсе повеселел, доверился Александру Егоровичу Врангелю — так представился ему его новый знакомый. Разговорились. Оказалось, что Врангель недавно окончил Царскосельский лицей и пожелал поехать в эти края по давней страсти к далеким путешествиям — он увлекался Гумбольдтом, мечтал об открытиях археологических, увлекался естественными науками и охотой. С Михаилом познакомился через общую для них среду петербургских немцев — Врангель из остзейских баронов — и был счастлив возможностью услужить Федору Михайловичу: еще лет в 16 он прочитал его «Бедных людей» и «Неточку Незванову», а в то злопамятное утро пришел на Семеновский плац, где из толпы и увидел любимого писателя в одну из трагических минут его жизни.

Достоевского чуть не до слез растрогал рассказ Александра Егоровича, и вскоре они вполне подружились. Правда, дружба эта, о которой пошли немалые пересуды по Семипалатинску, действительно представлялась чем-то из ряда вон выходящим, и немного времени спустя молодого прокурора пригласил к себе для отеческих увещеваний сам губернатор Спиридонов. Но молодой человек оказался несговорчивым, хотя обстоятельным и вполне благонадежным. Дело закончилось тем, что Спиридонов и сам согласился пригласить к себе рядового Достоевского, недавнего политического каторжника. Часто принимать у себя Достоевского губернатор, конечно, не решался — система доносов срабатывала в совершенстве, но адъютанту своему, офицеру Демчинскому — грозе семипалатинских мужей, намекнул, что-де не против, если тот возьмет Достоевского под свою опеку.

Подобные знакомства и слухи о них, конечно же, много облегчили и солдатскую жизнь Достоевского. Начальство старалось теперь поменьше досаждать ему — не ровен час, самим же хуже будет. Многие из таких знакомств Достоевский поддерживал из необходимости, но с Александром Егоровичем сблизился душевно, а тот просто влюбился в своего старшего друга. «Мы все ближе и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он стал все чаще и чаще заходить ко мне, — вспоминал Врангель, — во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обедал

у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай — бесконечные стаканы — и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из длинного чубука. Сам же он обыкновенно, как и большинство в России, курил «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова...

Часто, возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения, или из полковой канцелярии. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось что-то новое. Но, увидав внесенную моим Адамом янтарную стерляжью уху, стал тормошить Адама, чтобы он скорее давал есть...

Федор Михайлович очень любил читать Гоголя и Виктора Гюго. Когда был в хорошем расположении духа, он любил декламировать, особенно Пушкина «Пир Клеопатры». Лицо его при этом сияло, глаза горели.

Чертог сиял. Гремели хоры...

Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Ему я многим обязан, — писал Александр Егорович родным в Петербург, — и его слова, и советы, и идеи на всю жизнь укрепят меня. Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной...»

Зачастил Достоевский и к Исаевым. Бедный Александр Иванович все более спивался, потерял место таможенного чиновника; не имея наследства, влез в долги, довел семью до настоящей нищеты и теперь хлопотал хоть о какой-нибудь должности с переводом из Семипалатинска. Исаевы, и сами полуотверженные местного общества, с радостью принимали Достоевского, пусть и недавнего каторжника, простого солдата, но известного в прошлом писателя, человека, принятого в местном свете...

Мария Дмитриевна Исаева, довольно красивая худощавая блондинка лет двадцати восьми, женщина умная, образованная, страдавшая от обывательских сплетен и пересудов, нищеты, бесперспективности будущего с больным, добрым, смирным, но и безвольным, все более опу-

скающимся мужем, конечно же, не могла сразу не почувствовать, что Достоевский предпочитает их дом отнюдь не ради Александра Ивановича, с которым и поговорить-то уже почти невозможно. Достоевскому было искренне жаль несчастного, безалаберного человека: беспечен, как цыган, горд, самолюбив, владеть собой не умеет, воли никакой, но все еще пытается сохранить хотя бы видимость благородности. Но еще более жаль было страдающую женщину. Дочь директора астраханской гимназии, француженка по отцу (злые языки утверждали, правда, что то ли отец, то ли дед ее — мамелюк, попавший в плен во время Наполеонова нашествия, — взгляните, мол, на Пашу, сына ее, — ну вылитый арапчонок!), женщина страстная, натура гордая, мятущаяся, порывистая, она скоро поняла, что Федор Михайлович не только сострадает ее горю, не только увлекся красивой, а на обывательском фоне Семипалатинска так и просто редкостной женщиной, но влюблен в нее бурно, с почти нескрываемой страстью. Достоевский волновал и одновременно пугал ее: она чувствовала, сознавала, что это не та мгновенная страсть, которую можно успокоить недолгой, будто случайной лаской, что натура влюбленного в нее человека не помирится на этом, потребует большего. Большего же она как раз и боялась: связать свою жизнь навсегда с человеком, конечно, редким — это она понимала, — но с недавним каторжником, простым солдатиком? Человеком вне общества, без видов на будущее и без средств в настоящем? Он симпатичен ей, она благодарна ему за его чувство, но отнюдь не влюблена в него.

Десять лет, с той, будто в иной жизни случившейся с ним, любви к Авдотье Яковлевне, ни одна женщина словно и вовсе не существовала для него, и вот уже одно то, что *женщина* протянула ему руку, стало для него событием.

Казалось, теперь ничто иное не могло интересовать его, даже литература, но до Семипалатинска доходили вести о трагических событиях в далекой России, Севастопольской обороне, звучали имена Нахимова, Корнилова, Тотлебена, того самого — вспомнилось ему — скромного любителя поиграть на гитаре, ничем, казалось, не приметного в те давние дни капитана...

В первых числах марта 55-го года пришло известие о смерти Николая I, шушукались даже, будто он отравился. На престол взошел сын его — Александр II, о котором поговаривали как о человеке мягком, либеральном; ждали перемен. Забеспокоился и Достоевский: кто знает, а вдруг и действительно появится хоть какая-то надежда на перемену участи — впереди-то бессрочная солдатчина...

С апреля (жара здесь летом до 32 градусов, пыль, зной, дышать нечем) Александр Егорович, чувствуя, что друг его страдает от постоянного крайнего возбуждения, уговорил и его самого, и его начальство, чтобы Достоевский перебрался к нему на загородную дачу — «Казаков сад», на берегу Иртыша. В мае уже купались. Более всего полюбилась Федору Михайловичу работа в цветниках и в саду — полоть, поливать молодую рассаду. Работал он в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием и, видимо, находил в этом времяпрепровождении большое удовольствие, как заметил Александр Егорович.

И вдруг — как не отчаяться, как не сойти с ума — Александр Иванович Исаев получил наконец долгожданное назначение... в Кузнецк, а это верст за пятьсот от Семипалатинска, и она уезжает.

«Сцену разлуки я никогда не забуду, — писал Врангель. — Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок... Мы поехали провожать Исаевых, выехали поздно вечером, чудною майскою ночью». Исаев, как всегда изрядно пьяный, тут же захрапел. На прощание обнялись, оба утирали глаза, и вот уже еле слышен звон удаляющихся колокольцев, а Достоевский «все стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, — рассказывал Врангель, — взял его руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на ученье. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой».

Время, конечно, — лекарь, состояние нестерпимого отчаяния проходило как будто, но был он уж слишком

мрачен, хотя и до того особой веселостью не отличался, хоть и умел и любил когда-то смеяться заразительно; даже забросил работу над «Записками из мертвого дома», над которыми трудился в последнее время почти постоянно. Началась переписка с Марией Дмитриевной. Она жаловалась на болезнь мужа, на свои хвори, на беспросветную судьбу — все это еще более угнетало Достоевского, и он снова, казалось, вот-вот помешается от бессилия что-либо изменить, хоть чем-нибудь облегчить жизнь любимой женщины. Иногда в «Казаков сад» заходили помочь его уединенным обитателям сестры, дочки хозяйки той квартиры, которую снимал Достоевский в Семипалатинске. Старшая — лет двадцати — убирала комнату, стирала, шила ему; младшая, очень красивая шестнадцатилетняя девушка, помогала ей. «Старшая, — пишет Врангель, — ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее...» Простые заботы веселых, хохотливых девушек скрашивали одиночество, но и они не умели отвлечь его от тягостного состояния.

И все-таки даже в те дни бывали и иные мгновения: случалось, Достоевский и Врангель «в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия творца, всеведущей, всемогущей божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух». Возможно, что Врангель не совсем точно запомнил или сумел передать состояние Достоевского. Во всяком случае, сам писатель через двадцать лет, размышляя о гётевском Вертере, быть может, вспоминал именно эти, запавшие на всю жизнь собственные впечатления и вспоминал существенно иначе: «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью... жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним... Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божьих вовсе не

выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастие чувствовать эту великую мысль, открывшуюся ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому.*

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне». Вот какова должна была быть молитва великого Гёте во всю жизнь его».

О религии они с Врангелем говорили мало. Достоевский «был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он воодушевлялся, тем голос его поднимался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи. Чудные минуты пережил я с ним», — свидетельствует Александр Егорович Врангель. Говорили о политике, о видах на будущее. Достоевский не скрывал своих взглядов от нового друга. «...политический переворот в России *пока* немыслим», — убеждал он, и даже преждевремен, ибо массы не готовы к нему; о конституции же при невежестве народа — не только политическом, но и в смысле грамотности — и думать смешно: не конституция, нужная лишь кучке либералов, но освобождение народа от крепостного ярма и его духовное просвещение — вот что должно быть первой и главной заботой России и каждого патриотически мыслящего ее гражданина.

Нужно было наконец думать и о себе, беспомощность угнетала его. И он решается на отчаянный ход: пишет стихи «На смерть Николая I» и «На день рождения императрицы Александры Федоровны», пытается передать их по инстанции на имя военного губернатора областей степных киргизов Густава Христиановича Гасфорта, с которым уже переговорил Врангель, прося его отослать стихи вдовствующей императрице, матери Александра II. Гасфорт в просьбе отказал, но Александр Егорович советовал Достоевскому не унывать: авось удастся еще договориться двум остзейским баронам.

Стихи, конечно, сочинились слабые, поэт Федор Михайлович никудышный, но не в этом дело: зато они официально-верноподданнические — и в том все их назначение. Достоевский даже поежился, представив, как

ухмыльнется старый лис Дубельт, — ведь ежели стихам дадут ход, никак его не минуют, — что, мол, не сладко в Сибири? Вон каким слогом заговорил наш вольнодумец. То-то! Но пусть себе ухмыляется, пусть все посчитают его отступником, человеком сломившимся, дошедшим до попрошайничества у власть имущих, пусть. И Ломоносов, и Державин, даже и Пушкин не считали зазорным обращаться к царям со стихотворными посланиями, а для него сейчас это единственная возможность хоть как-то напомнить о себе и пусть таким опасным путем, но попытаться вернуть себе возможность быть писателем. Нужно бороться за себя, за свою судьбу, за свое будущее слово. Бог простит, умные поймут...

На Гасфорта надежд все-таки немного. Человек он, конечно, отменный, однажды, распекая церковнослужителей за то, что не встретили его конный поезд колокольным звоном и оправдывали себя тем, что сие положено лишь в отношении царя, Густав Христианович возмущенно заметил: «Здесь я царь». И это соответствовало действительности: ну чем не майор Кривцов губернского уже ранга? Впрочем, он полагал себя здесь не только царем. Густав Христианович еще при Николае I задумал целую систему преобразований степного края, в том числе и преобразования религии попавших под его, баронское, управление народов. Магометанство губернатор посчитал варварством, а христианство не устраивало верхушку местной знати уже и тем одним, что не дозволяло иметь столько жен, сколько способен обеспечить муж. Тогда Густав Христианович сел за стол и сочинил для них «новую религию», приспособив к местным обычаям иудаизм. Однако Николай I наложил на проекте нового Моисея резолюцию о том, что религии-де не сочиняются за письменным столом... Густав Христианович обиделся.

Но, как ни противно было его убеждениям способствовать бывшему политическому преступнику, стихи Достоевского все-таки пошли в Петербург: очевидно, интересы баронской солидарности взяли в конце концов верх над прочими соображениями.

Летом в Семипалатинск приехал Чокан Чингизович Валиханов. Достоевский познакомился с ним полтора года назад у Ивановых по выходе из острога и тогда уже многое узнал об этом удивительном молодом казахе. Он только что закончил Сибирский кадетский корпус и теперь назначен был адъютантом при западносибирском генерал-губернаторстве. Человек образованнейший, знающий семь восточных языков, свободно говорит по-русски, с широким кругом разносторонних научных интересов, собирает устное творчество азиатских народов, в том числе и киргизский эпос. Валиханов был сыном султана Чингиза Валиева, внуком знаменитого султана Валихана, правнуком хана средней Кайсацкой орды Аблая.

В своих заметках «В юрте последнего киргизского царевича» Георгий Потанин, сын известного ученого-путешественника, писал о Валиханове: «Это был небывалый феномен — киргизский юноша, офицер... пользовавшийся в местном русском обществе репутацией человека с блестящими умственными способностями и с благородным направлением мыслей... Чокан был киргизский патриот, но в то же время это был и патриот русский...»

Валиханов и Достоевский за немногие дни, проведенные вместе, успели по-настоящему сдружиться, понять и полюбить друг друга. Валиханова угнетало настоящее состояние некогда создавших уникальную культуру народов Средней Азии: «Средняя Азия в настоящем своем общественном устройстве представляет явление крайне печальное, какой-то патологический кризис развития, — писал он в «Очерках о Джунгарии». — ...На развалинах многовратных городов стоят жалкие мазанки, и в них живет дикое, невежественное племя, развращенное исламом и забитое до идиотизма религиозным и монархическим деспотизмом туземных властей — с одной стороны, и полицейской властью китайцев — с другой.

В Маврель-Нагре (нынешняя Бухара, Хива и Коканд), в самой просвещенной и богатой стране древнего Востока (в XIV и XV веках), теперь господствует невежество более, чем где-нибудь. Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы (в Кокандском ханстве), Хивы, Бухары... обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли под беспощадною рукою татарского вандализма и бухарской инквизиции...»

В России, в ее широкой, открытой душам других народов культуре, видел Валиханов единственную защиту от полного политического, национального и культурного упадка, порабощения великоханьским Китаем, надежду на возрождение народов Средней Азии.

Два великих патриота сразу же нашли единый язык.

«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, — писал Валиханов Достоевскому из Омска 5 декабря 1856 года, — что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не ма-

стер писать о чувствах... но думаю... Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю...» Общение с Достоевским помогло Валиханову окончательно решить для себя вопрос о выборе жизненного пути — пути просветителя своего народа. «Мы связаны с русскими, — писал он, — исторически и даже кровным родством. Судьба миллионов людей, подающих несомненные надежды на гражданственное развитие людей, которые считают себя братьями русских по Отечеству и поступили в русское подданство *добровольно, кажется, заслуживает* большего внимания и большей попечительности в таких решительных вопросах, которые формируются в шекспировское «быть или не быть».

«...Вы пишете мне, что меня любите, — отвечал Достоевский. — А я Вам объявляю без церемоний, что я в Вас влюбился. Я нигде и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам.

...Вы спрашиваете совета: как поступить Вам... Напишите статью о Степи... помните, мы говорили об этом... Тогда бы Вы могли заинтересовать даже родных Ваших *возможностью новой дороги для Вас.*

...не великая ли цель, не святое ли дело — быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время, служить своей родине, *просвещенным* ходатайством за нее у русских. Вспомните, что Вы первый Киргиз — образованный по-европейски вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и сердце... Настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно...» *

Не вспомнилась ли ему при этом собственная хитрость со стихами? Чем-то она обернется еще?..

А тут известие: умер Александр Иванович Исаев. Мария Дмитриевна в крайнем положении, сама больна, есть нечего и вообще нет ничего, кроме долгов. Достоевский заметался, собрался сбежать в Кузнецк — а там хоть под суд! — еле отговорили. И Александр Егорович, как назло, уехал в Барнаул по служебным делам. Достоевский пишет ему письмо, умоляет найти возможность помочь несчастной женщине: «...Александр Иванович скончался. Вы не поверите, как мне жаль его... Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас, в желчную минуту, передавал Вам и, может быть, с излишним увлечением одни только дурные его стороны. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно, как дай бог умереть и нам с вами. И смерть красна на человека. Он умер твердо, благословляя жену и детей и только томясь об их участи. Несчастная Марья Дмитриевна... Она в отчаянии... Кто-то прислал ей три рубля серебром: «Нужда руку толкала принять, — пишет она, — и приняла подаяние!»

Александр Егорович тоже помог вдове деньгами. Достоевского буквально доводила до бешенства невозможность хоть чем-то посодействовать несчастной любимой женщине.

«Я одинок, как камень отброшенный», — жалуется он Михаилу. И все-таки он счастлив тем, что даже в эти дни вера в жизнь не покинула его. «Мне кажется, — писал он Прасковье Егоровне Анненковой, — что такие прекрасные души, как ее (Ольги Ивановны, дочери ее, жены Иванова, приютившей у себя Достоевского после острога), должны быть счастливы; несчастны только злые. Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли?..»

В ноябре пришло известие о производстве Достоевского в унтер-офицеры. Это уже кое-что... пусть и незаметное почти, но все-таки движение заржавевшего колеса его судьбы. Неужто все-таки стихи сработали?

Он снова вернулся к своим «Запискам из мертвого дома». Но конец 55-го и начало 56-го принесли новые огорчения: Врангель получил назначение в другой город, Достоевский терял теперь единственно близкого ему здесь человека, с которым мог он поделиться чувствами, да и некоторыми мыслями, к которому не стеснялся обратиться за помощью и который принимал участие не

* Мухтар Ауэзов писал: «Достоевский советует Чокану выступить с «просвещенным ходатайством» за свой народ... В этих заботливых думах Достоевского о Степи, о долге первого просвещенного сына этой Степи, сказалась светлая, благородная роль передовой русской интеллигенции в судьбе народов России... Нам бесконечно дорого сознавать, что великий русский писатель Ф. М. Достоевский говорил о своих думах и чаяниях с лучшими представителями казахского народа, что он мыслил будущее этого народа связанным с русским народом».

только в настоящей, но и в будущей судьбе своего друга: писал в Петербург родным, знакомым, прося их похлопотать о Достоевском.

А однажды, открыв свежий, 12-й за 55-й год, номер некрасовского «Современника», он прочитал нечто поразившее его: «Всякое новое явление в литературе, всякий новый талант производили на меня невыразимо отрадное впечатление... за неимением настоящих героев, я поклонялся кумирчикам, которые созидались людьми, мне близкими... Одного, произведенного таким образом в кумиры, курениями и поклонениями... мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику посчастливилось более, нежели другому: его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь». Одна барышня с пушистыми буклями и блестящим именем... пожелала его видеть... и наш кумирчик был поднесен к ней... «Вот он! смотрите!..»

Только что барышня с пушистыми локонами хотела поднести нашему маленькому гению благовонную светскую безделушку, как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном... С тех пор наш маленький гений сделался невыносим. Кумирчик наш потребовал, чтобы его статья была, не в пример другим, обведена золотым бордюром или каймою. Издатель на все согласился. С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут с пьедестала...» Фельетон назывался «Литературные кумиры...» (Из моих воспоминаний), под фельетоном значилось имя: Иван Панаев...

Ему вдруг стало стыдно, будто он на военном плацу услышал такую утонченно-витиеватую брань одного из умельцев командиров, от которой краснели солдаты. Старые друзья хоронили его вторично, хоронили с беспечным смехом, выбрав для шутовского обряда очень уж удачное время...

А тут еще новость: донеслись слухи, будто Мария Дмитриевна собирается замуж... В отчаянии пишет он Александру Егоровичу: «...Если б вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю вашего письма как спасенья... Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому... Она спрашивает моего совета. Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно...

Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О не дай, господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить... Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно-мнительной и наконец потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей...»

Он сравнивает свое и ее положение с героями «Бедных людей» — «напророчил же я себе!»; просит передать вложенное в этот же конверт письмо Эдуарду Ивановичу Тотлебену; в письме он умоляет севастопольского героя походатайствовать за него: «Ваше слово может много значить теперь у милосердного монарха нашего, Вам благодарного и Вас любящего. Вспомните о бедном изгнаннике и помогите ему. Я желаю быть полезным. Трудно, имея в душе силы, а на плечах голову, не страдать от бездействия. Но военное звание не мое поприще... Вся мечта моя быть уволенным... Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...»

Он готов был пойти под суд, лишь бы увидеться с Марией Дмитриевной, объясниться, утешить, похоже по всему, обезумевшую, отчаявшуюся женщину. В июне ему удается получить командировку для лечения падучей в Барнаул. Тоже не ближний свет до Кузнецка, но, рискуя многим, заехал все-таки на два дня к любимой. Здесь-то Достоевский и узнал имя человека, за которого решила выйти замуж Мария Дмитриевна: он оказался молодым, двадцатичетырехлетним сослуживцем ее мужа (Достоевский же и помог ему получить место учителя в Кузнецке) Николаем Борисовичем Вергуновым. Достоевский был поражен, отказался поверить в такую нелепость: если Мария Дмитриевна отказывает ему, как она его убеждала, только потому, что он человек без средств, а ей необходимо устроить не только собственную, но и судьбу сына и старого отца, то при чем тут Вергунов, который и сам едва сводит концы с концами? Тогда Мария Дмитриевна призналась, что любит этого молодого человека, но уже перед отъездом Федора Михайловича подала и ему надежду: «Не плачь, не грусти, не все еще решено...» Мария Дмитриевна просила его встретиться со своим женихом и

объясниться. Вергунов расплакался, начал умолять Достоевского не мешать их счастью. Федор Михайлович чувствовал свое ложное положение: попробуй начни разубеждать, нарисуй им их будущее, которое он слишком хорошо представлял себе, — оба решат, что он ради себя старается. И Вергунов понял его состояние — а еще говорят, будто любовь даже умного превращает в дурака, — решил и вовсе не объясняться с Достоевским.

Однако Мария Дмитриевна настаивала, уже в письмах, чтобы Достоевский изложил Вергунову свои соображения насчет ее замужества с молодым человеком. «Ты и я и *более никто»,* — *написала она* Федору Михайловичу и тем снова как будто подарила надежду, но слово *брат,* любимое его слово, с которым обращалась к нему любимая им женщина, приводило его в отчаяние. А еще через несколько дней она рисовала ему уже, сколь безутешен бедный Николай Борисович, обещающий наложить на себя руки, ежели она не выйдет за него замуж, и еще раз убеждала Федора Михайловича написать ему письмо, утешить, ободрить, объяснить...

И Достоевский написал — ему стало искренне жаль бедного молодого человека, и вскоре получил от него ответ: «...Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю? Но те самые двадцать четыре года, которые вы используете как главный довод против меня, можно обратить и в мою пользу — ведь если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди! И неужели же ей лучше будет с вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого все уже позади, уже отличившимся, не в хорошем, а в плохом смысле, и тем самым закрывшим себе все пути? Наконец — не сердитесь, что она и об этом мне рассказала, — человеком больным, всегда мрачным и с дурным настроением! Да и не по той ли причине убеждаете вы меня «отказаться» и «не портить» ей жизнь, что хотите получше устроить свою собственную жизнь? Она любит меня, а не вас, и странно было бы, если бы это было иначе!» Тут же поспело письмо и от Марии Дмитриевны, в котором она успокаивала Федора Михайловича — ничего еще не решено окончательно, но... кажется, она больше любит все-таки Вергунова...

«Дурное сердце у него, я так думаю», — написал он о Вергунове Врангелю, о ней же (великий сердцевед!): «...у ней сердце рыцарское: сгубит она себя. Не знает она себя, а я ее знаю!..» Тут же просит Александра Егоровича похлопотать о Паше и — «Еще одна крайняя просьба до вас. Ради бога, ради света небесного, не откажите. *Она* не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того *ему* надо место, перетащить его куда-нибудь... Это все для *нее,* для *нее* одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!..» И снова умоляет: «...У него ничего нет, у нее тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся... За что же она, бедная, будет страдать?.. И потому, ради бога, исполните... те просьбы, которые я вам настрочил в прошлом письме. Вы не знаете, до какой степени вы меня осчастливите...

Если б хоть опять увидеть ее, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но, по крайней мере, я бы видел ее...» К сожалению, он слишком ясно сознавал: «Если б удались дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому!» Будь он теперь офицером — пожалуй, не пришлось бы столько перестрадать, сколько пришлось ему. И от этого сознания становилось совсем уж горько: «...ей-богу, хоть в воду, хоть вино начать пить...»

Александр Егорович Врангель был не из тех людей, для которых на чужой спине беремя легко. Будучи это время в Петербурге, страдал за своего явно попавшего в серьезную душевную беду друга и делал все, чтобы ему было хоть немного покойнее: хлопотал за Пашу, писал добросердечные письма Марии Дмитриевне, посылал деньги так, чтобы она даже не знала, от кого. Но, главное, боролся за самого Федора Михайловича; ему удалось передать письмо Эдуарду Тотлебену, убедить его в необходимости любыми средствами добиться у государя императора облегчения судьбы удивительной души человека, большого русского писателя, бессрочного солдата Достоевского.

Кажется, уж так узнал он душу Федора Михайловича, но теперь просто сотрясался, представляя, до какой крайности она доведена: «Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, — писал он, — но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель... личность, как говорили, совершенно бесцветная. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклониться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой...

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике... В одном письме ко мне... Достоевский пишет: «на коленях готов за него... просить. Теперь он мне дороже брата родного... Ради бога, сделайте хоть что-нибудь — подумайте и будьте мне братом родным». Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого».

Суровый воин, генерал-адъютант его императорского величества, Эдуард Иванович Тотлебен был убежден своим другом Врангелем и лично обратился к царю с просьбой о помиловании политического преступника Достоевского. Александр II продиктовал ему резолюцию о производстве Достоевского в прапорщики с предоставлением в случае необходимости права на увольнение в статскую службу, а также об установлении за ним секретного наблюдения впредь до полного удостоверения в его благонадежности, после чего ему будет дозволено печатать свои литературные труды.

Весть о производстве его в офицеры, а затем, спустя некоторое время, и о возвращении ему дворянского звания обрадовала Достоевского прежде всего тем, что он мог теперь с большими основаниями побороться за Марию Дмитриевну.

«...Бог вас послал мне. Благодарю вас и обнимаю крепко, крепко. Вы знаете, что я вас люблю», — писал он Александру Егоровичу. И затем, конечно же, о ней. «Она довела меня до безумия, — жалуется он. — Не качайте головой, не осуждайте меня; я знаю, что я действую не благоразумно во многом в моих отношениях к ней... Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую... Но она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы...»

Ему удалось снова отпроситься в Барнаул, и вот он вновь едет к Марии Дмитриевне. И на этот раз она дает наконец согласие выйти за него замуж. Федор Михайлович начинает готовиться к свадьбе: пишет родственникам, просит денег, так как сидит без копейки, — отдаст ведь, пусть не сомневаются — будет адски работать и все отдаст. Врангель деликатно отговаривает его от неверного шага, он слишком знает своего друга: измучает, изведет его своими капризами неуравновешенная женщина; и не поймет она никогда, что такое Достоевский, всегда будет он ей только средством для обеспечения жизни — и насколько сумеет сам соответствовать ее представлениям о муже, настолько и будет хорош; да и не любит она его вовсе... Впрочем, впрочем, он и сам *сознавал* все это; только разве же разум способен сдержать порыв обезумевшего сердца?

Наконец он все-таки занимает нужную сумму, получает от начальства разрешение на вступление в брак и 27 января 1857 года отъезжает в Кузнецк. 6 февраля оформляется «Обыск брачный Одигитриевской церкви о вступлении в брак... Возраст к супружеству имеют совершенный — и именно: жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет и оба находятся в здравом уме...»

15 февраля здесь же совершилось и венчание. Свадьба была непышная, людей собралось немного, но не это угнетало Достоевского: одним из четырех поручителей невесты стал, по ее желанию, Николай Вергунов. Что творилось с женихом — «что в эту минуту с душой человеческой делается?» — кто скажет. Возражать он не стал — не хотел огорчать невесту, но он знал, что и собравшиеся знают об отношениях Марии Дмитриевны и ее поручителя и, более того, знают, что и он знает об этих отношениях... Достоевский переживал не за себя даже — за Марию Дмитриевну: его беспокоил малодушный, но не в меру бойкий Вергунов: не сотворит ли беды, не выкинет ли с отчаяния что-нибудь эффектное, драматическое — «не позовет ли он ее к смерти?» — как определил суть своих мучений сам Достоевский в письме к Врангелю.

Ему все представлялось, что вот сейчас, через минуту, мгновение Вергунов схватит ее вдруг за руку и потащит от венца или она сама крикнет ему — «увези меня!» — и увезет, из одной только мести ему увезет, а он как идиот останется один на один с ухмыляющимися лицами: увезет и зарежет, пожалуй, чтоб не вернулась вдруг снова сюда, по малодушному себялюбию зарежет... Но все обошлось без эффектов, и ему стало стыдно за примерещившийся вдруг и пережитый в несколько мгновений мрачный роман. Но — кто знает? — может, только какой-нибудь невольный жест или взгляд один мог бы обратить пережитое воображением в переживаемое наяву...

Состояние Марии Дмитриевны и во время венчания, и по возвращении домой, на свадьбе и после, в первые «медовые дни», еще более обострило в нем сомнение: вышла ли она замуж за него или все-таки за «офицера Достоев-

ского», поверив теперь в его будущее? Любит же она Вергунова...

Когда впервые при ней с ним случился припадок — слишком велико было нервное перевозбуждение, — ему показалось: испугалась она не за него, за себя. По дороге в Семипалатинск заехали на несколько дней в Барнаул к Петру Петровичу Семенову, ученому, путешественнику (в августе прошлого года он заезжал к Достоевскому в Семипалатинск по дороге из Барнаула в киргизские степи), теперь он собирался в экспедицию на Тянь-Шань.

В Барнауле случился и новый, второй за несколько последних дней, сильнейший припадок, напугавший Марию Дмитриевну чуть не до смерти. Врач определил неизлечимую падучую — эпилепсию, предсказал, что умрет Достоевский во время одного из таких припадков, задохнувшись от горловой спазмы. Федор Михайлович приуныл. Приуныла и его супруга. Невесело доехали до Семипалатинска.

И началась новая, семейная жизнь. Служба была много легче — теперь сам он командует взводом, да и времени свободного поболее, можно работать над давно уже начатыми повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», не только по ночам. Начинает переписку с журналами. В августе 57-го в «Отечественных записках» вышла повесть его «Маленький герой» (так Краевский переименовал его «Детскую сказку», написанную еще в 49-м, в Алексеевском равелине). Но появление наконец в печати его произведения не обрадовало Достоевского: во-первых, повесть вышла под псевдонимом «М-ий», и никто не поймет, кто ее подлинный автор, ему же нужно было, чтобы в печати появилось его имя; во-вторых, не так ему мечталось вернуться в литературу; нужно нечто большое, могучее, что сразу же вернуло бы ему имя и уверенность в себе...

Работал много; много и хворал. Хворала и Мария Дмитриевна. Счастья семейная жизнь явно не сулила. Впрочем, «На свете счастья нет, а есть покой и воля...». Воля дразнила и теперь своей возможностью. Покоя же не предвиделось. Мария Дмитриевна хандрила, капризничала, нередко поминала Николая Борисовича, прекрасного молодого человека, которого оставила ради неблагодарного, вечно хмурого и более занятого своими бумажками, нежели ею, мужа. А вместе с тем бешено ревновала его, хотя ревновать было и не к кому, разве что только к разбитной красивой Марине — дочери ссыльного поляка...

Достоевский по просьбе самой Марии Дмитриевны два года назад начал заниматься с семнадцатилетней девушкой, которая и стала приходить в «Казаков сад» учиться грамоте. Прехорошенькая, она «усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем», — вспоминал Врангель. И вдруг ее словно подменили: «мрачная, похудевшая, какая-то опустившаяся... Принялись мы допрашивать ее оба, и вот что поведала она нам.

Сын городского головы, носивший в городе кличку «Ваньки Саврасого», 18-летний юноша, давно заглядывался на красивую Марину; при помощи ключницы, прельщавшей ее богатством, Марина сдалась; негодяй, позабавившись, скоро ее бросил. Свидетелем этих похождений был кучер юного савраса, старый и грязный старик киргиз. И вот этот гнусный человек пригрозил ей, что он об ее похождениях донесет отцу и мачехе. Запуганная и бесхарактерная Марина поддалась. Этот негодяй всячески эксплуатировал ее. Она ненавидела его, боялась...

Дело было вопиющее. Пришлось мне воспользоваться моею властью — я выселил киргиза из города. Через год отец Марины выдал ее насильно замуж за старого, необразованного хорунжего. Марина его ненавидела и кокетничала со всеми по-прежнему...

Впоследствии, когда Достоевский был женат, Марина не раз служила причиной ревности и раздора между Марией Дмитриевной и Федором Михайловичем, преследуя его своим кокетством, что страшно волновало уже больную тогда его жену».

Достоевскому была неприятна эта ревность, он попрежнему любил одну только жену свою, хотя пыл его она сразу же сумела поубавить постоянными упреками, мелким придирками, а главное — почти полным равнодушием к его литературным трудам и надеждам — вот это-то и есть истинная причина ее ревности, — все более убеждался он. Когда же однажды во время очередной перепалки она хлестнула его словно плетью: «каторжник!» — губы у него задрожали, руки опустились, и он почувствовал вдруг внутри себя страшную пустоту, которую теперь ничем уже нельзя было заполнить.

Если бы он знал тогда, что перед ним психически больной человек, что болезнь эта все прогрессирует, он не отчаялся бы, не охладел к ней, напротив, стерпел бы любые обиды, оскорбления, полюбил бы несчастную еще и жалостью сострадания; но он не знал об этом и сам ужасался, чувствуя, как с каждым ее новым мучитель-

ством, с очередным припадком язвительности, могучее, казалось ему, всепобеждающее чувство уходит, истачивается сквозь невидимые миру, но вполне осязаемые им щели и трещины словно прохудившейся от бесхозяйственного отношения к ней души.

«Мы были с ней положительно несчастны вместе», — напишет он об этом времени Врангелю через восемь лет. К сожалению, он и сам был слишком раним, слишком мнителен, склонен к преувеличениям. Каждый задевающий сердце жест, каждое ранящее слово воспринимались не просто человеком Достоевским, но и Достоевским-писателем, разделить которых было невозможно. Слова и жесты переходили из сферы человеческих отношений в область творческого воображения, не всегда подвластную воле и тем более рассудку человека, наполнялись иным, порою трагическим смыслом и не сразу и не все откладывались в тайники дожидаться своего часа, когда призовут их воплотиться на бумаге в слова, в предложения, главы, романы, чтобы зажить уже новой духовной жизнью. Достоевский порою и сам уже, возможно, не знал до конца, что принадлежит голой реальности, а что его собственному творческому воображению.

Во всяком случае, сама Мария Дмитриевна не воспринимала бывшее и происходящее столь трагически, как ее нервный супруг. «...Муж мой посылает Вам всем поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне доброго Александра Ивановича, — пишет она своей сестре Варе. — Скажу тебе, Варя, откровенно — если б я не была так счастлива и за себя и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, но в счастье мы все прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, — даже и уважаема и его родными. Паша кланяется тебе, он очень любим и балуем Федором Михайловичем». Вряд ли можно усомниться в искренности признаний Марии Дмитриевны, но... Но в письмах ее нет и ни слова о том, что она *влюблена в мужа,* что он любим и балуем ею. Думается, и это умолчание столь же искренно, потому хотя бы, что, судя по всему, непредумышленно.

Федор Михайлович тоже писал Варваре Дмитриевне: «В Москву я крепко надеюсь воротиться в наступающем году... Но в Астрахань уже, конечно, я поеду вместе с женой. Но Бог располагает, и только он один. Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я

скоро должен умереть... и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться...»

И Михаилу: «Жизнь моя тяжела и горька. Не пишу тебе о ней ни слова...»

Может быть, они слишком разное вкладывали в понятия «любовь», «счастье», «жизнь»?

В январе 58-го Достоевский подал в отставку с просьбой о дозволении ему жить в Петербурге или, в случае невозможности такого дозволения, в Москве.

В служебных занятиях, редких встречах с семипалатинскими знакомыми, семейных заботах, в литературных трудах, переписке с редакциями, друзьями, знакомыми, родственниками, в перебранках и примирениях с женой, в хлопотах об устройстве пасынка — удалось наконец определить его в Сибирскую кадетскую школу — тягуче и как-то неприметно минул 58-й.

В марте 59-го года пришел наконец высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни Сибирского линейного батальона № 7 прапорщика Достоевского, с награждением следующим чином, с разрешением ему жить в Твери и воспрещением выезда в Петербургскую и Московскую губернии...

3. Возвращение

Ну, трогай! С богом... в Россию...

И пошли копыта кромсать дорогу, полетели версты под колеса, заслоняя пылью солнце, будто пустившееся вдогонку за беглецами из Сибири в далекую, неизбывную, ничем не заменимую Россию. Как-то еще встретит она своего сына, отправленного на четверть прожитой жизни в пустыню омских снегов, семипалатинского зноя — испытать свою любовь к ней и веру?

Удивительно устроено русское сердце; столь велика в нем жажда встречи с родной душой, столь неистребима вера в возможность такой встречи, что готова она распахнуться бескорыстно перед каждым, довериться любому, веруя свято, что каждый и всякий сам способен на столь же беззаветную открытость. Готовое вместить в себя все души мира как родные, понять их, братски состра-

дать ближнему и дальнему — до всего-то есть ему дело, всему-то и каждому найдется в нем место. И как бы ни велики или безбрежны казались обида его или оскорбление, всегда останется в нем место и для прощения, словно есть в нем такой тайный, не доступный никакому оскорблению уголок и теплится в нем свет неугасимый.

Родина свята для русского сердца, потому что родина для него — высшая и последняя правда. И потому все можно отнять у него, все осмеять — стерпит. Но родину отнять у русского сердца, унизить, оскорбить ее так, чтобы оно застыдилось, отреклось от нее, — невозможно: нет такой силы ни на земле, ни под землей, нигде во всем белом свете. И пытаться не стоит — взбунтуется, и в этом, может быть, единственном потрясении своем не простит. Долго не простит.

И нередко не хочет даже понять оно, как же это можно еще что любить, кроме России, тосковать по чему-нибудь такой смертельной неизбывной тоской, как по родной земле. И если немец, швейцарец или тот же француз, то ли англичанин будет уверять, что он так же любит свою страну и она дорога ему, как и русскому его Россия, что по его земле можно так же страстно тосковать, как по русской, — обидится даже трогательно-простодушной обидой: нельзя-де любить родину больше, чем любит ее русское сердце. Но если тот же англичанин или швейцарец скажет, что можно жить, вовсе не любя родину, — тут же заслужит навечное презрение к себе от русского человека. Но ежели *русский* скажет вам, что *он* не любит свою Родину, — не верьте ему: он не русский.

Удивительная страна — немец или датчанин, прожив в ней лет десять-двадцать, становится нередко таким русским, что, уехав, случись, в свою Германию или Данию, всю жизнь будет тосковать по оставленной стране. Необъяснимая страна: в России не затоскуешь по Англии — разве что англоман какой, да и то пока в Лондоне не бывал, — а вот по России можно затосковать, затомиться даже и в самой России... Словно вдруг почудится сердцу, что та Россия, которая есть вокруг него, — еще не вся здесь, и не во всем, и не в лучшем, а та, настоящая, во всей правде, еще впереди и всегда впереди... Ибо и тот не русский, кто не желает родимой лучшей доли. Потому-то и нет того предела, где успокоилось, остановилось бы русское сердце; потому-то и всегда оно в пути, на большой дороге к правде...

И повеяло вдруг вновь старым, полузабытым, воскресавшим вновь в душе, как тогда, три года назад, от письма Аполлона Майкова... Письмо долго не шло из головы. Майков писал, что многое изменилось, пережилось сердцем, что он уже не тот, что прежде, и Россия не та, что общество как бы проснулось от спячки, что теперь растет энтузиазм, развивается общественное патриотическое сознание... Все это прекрасно, но что же в этом нового и небывалого? Разве же и прежде не было в обществе энергии, пусть скрытой, не всегда проявляемой, но разве и тогда спало оно только? Или Аполлон Николаевич недоговорил чего-то, или сам только открыл для себя то, что всегда, давно было убеждением и верой Достоевского. Нет, письма ненадежный посредник. Тут нужен сам человек, нужно говорить, чтоб душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках речи. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью, без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки писем...

Многое изменилось... И в нем самом многое изменилось, да и как не измениться в десять-то каторжных лет: не измениться — значит и вовсе умереть, но ведь как люди-то сердцем, душой не изменились мы. «Я за себя отвечаю, — *писал он Майкову.* — Вы говорите, что много пережили, много передумали и много выжили нового. Это и не могло быть иначе... Я тоже думал и переживал, и были такие обстоятельства, такие влияния, что приходилось переживать, передумывать и пережевывать слишком много, даже не под силу. Зная меня очень хорошо, вы, верно, отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось лучше и прямее, и не кривил сердцем и то, чему я предавался, предавался горячо. Не думайте, что я этими словами делаю какие-нибудь намеки на то, что я попал сюда. Я говорю теперь о последовавшем за тем, о прежнем же говорить не у места, да и было-то оно не более, как случай. Идеи меняются, сердце остается одно. Читал письмо Ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? — да! Я всегда был истинно русский — говорю Вам откровенно. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг Вас, о котором Вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь Вам, я Вас не понял...

Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно.

...В чем же Вы видите новость? Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его...

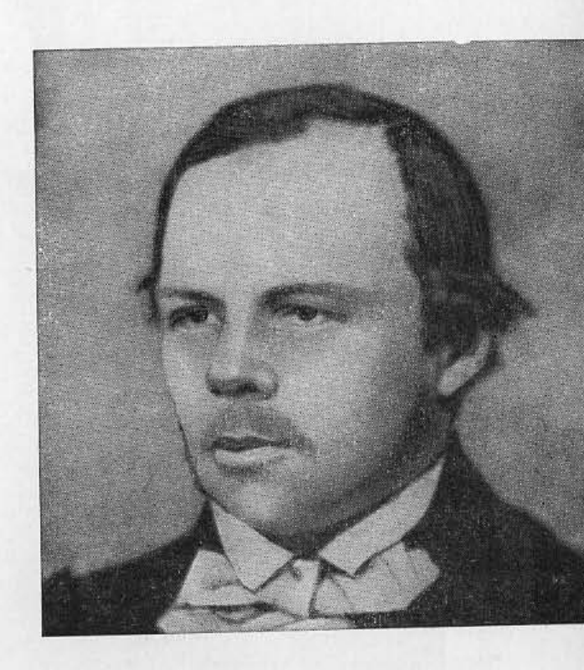
Несчастие мое мне дало многое узнать практически, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть против своего убеждения...»

Да, ему многое было непонятно в восторгах Майкова. Десять лет вне жизни русского общества все-таки давали о себе знать. Крымская война, жажда общественного обновления воспринимались пока еще Достоевским не как нечто новое, но как выражение его прежних убеждений, правота которых подтверждалась теперь общественным сознанием. Да, он всегда был патриотом России и потому всегда желал ей лучшего. Он всегда действовал по убеждению сердца и тогда, когда верил, что спасение России в идее фаланстера Фурье, и когда, во многом благодаря Белинскому, отказался от таких утопических иллюзий, но готов был пойти на площадь с революционным знаменем в руках, если нет другой возможности освободить народ из-под крепостного ярма.

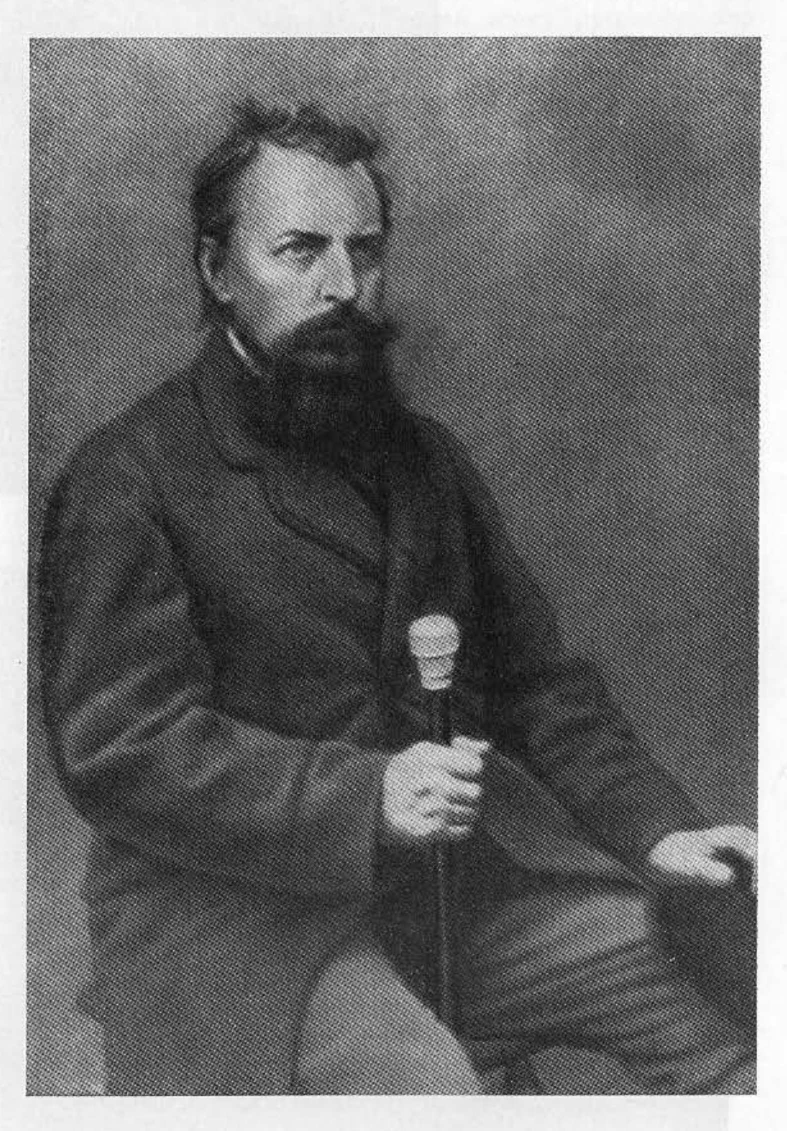
Да, теперь бы он не пошел на площадь, и не потому, что струсил бы еще раз отправиться в Сибирь или даже на плаху, не оттого, что сломился его дух или переродился он в обывателя. Нет. Но десятилетний опыт показал ему — одним махом людей и мир не переделать. Россия ждет от лучших сынов своих не спешного подвига самопожертвования, но более трудного — терпеливой работы духа и мысли. Подвижничества — от каждого патриота на том поприще, которое он избрал себе. Бог дал ему — он свято поверил в это — дар писателя, дар слова: вот его поприще, вот его дело, вот его истинный путь подвижничества. И если это так, если и это не утопия, если сердце его не ошиблось в выборе пути — он найдет это слово, и это будет уже не только его, но слово народа, слово всей России...

Солнце давно нагнало путников и повисло неподвижно над мчащимся уже по Омскому тракту тарантасом, будто

Ф. М. Достоевский.
Начало 1861 г.



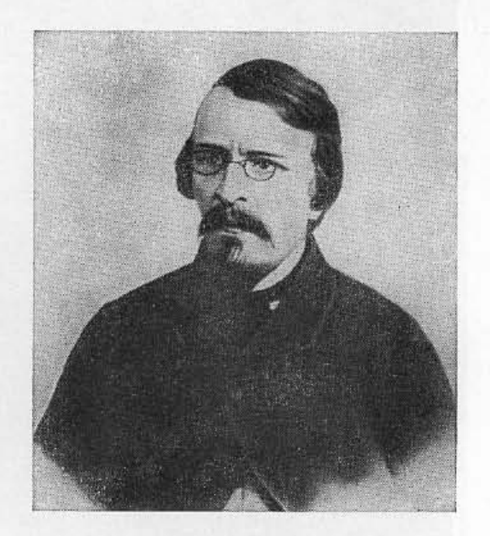
Тверь.
Заволжская сторона.



Аполлон Григорьев.

Ф. М. Достоевский. 1861.

М. М. Достоевский. 1864.



Н. Н. Страхов.

ВРЕМЯ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ТОМЪ I

Титульный лист первого номера журнала «Время».

ЭПОХА

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

издаваемый подъ редакцiею М. ДОСТОЕВСКАГО

1864

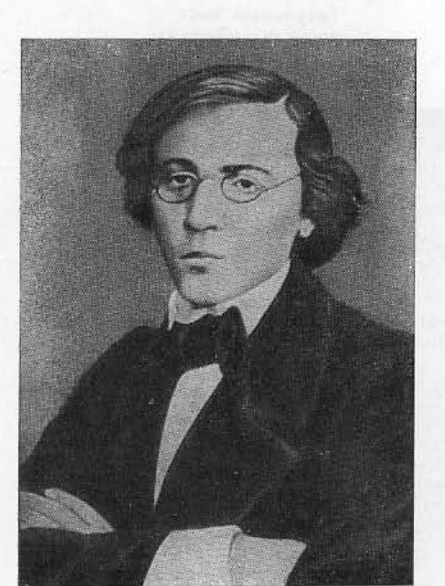
МАЙ

СОДЕРЖАНІЕ

Титульный лист журнала «Эпоха».

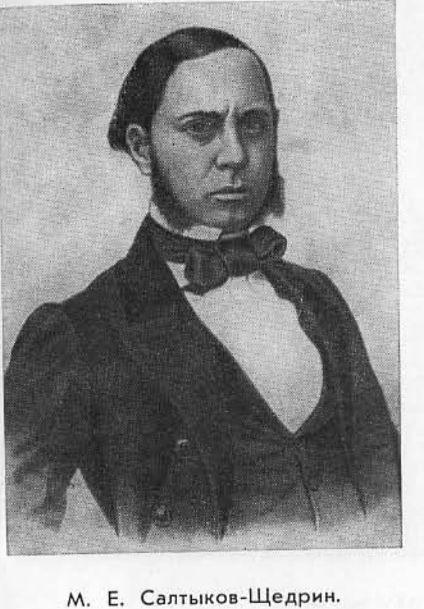
Дом, где жил Ф. М. Достоевский в 1861—1863 гг.

А. И. Герцен
и Н. П. Огарев.



Н. Г. Чернышевский.

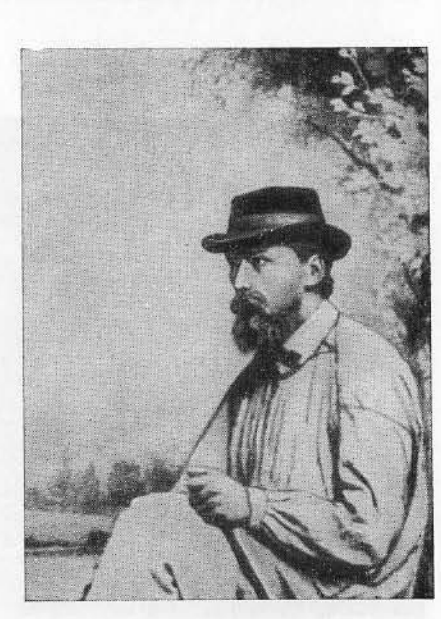
Н. А. Добролюбов.



М. Е. Салтыков-Щедрин.

М. А. Антонович.

Д. И. Писарев.

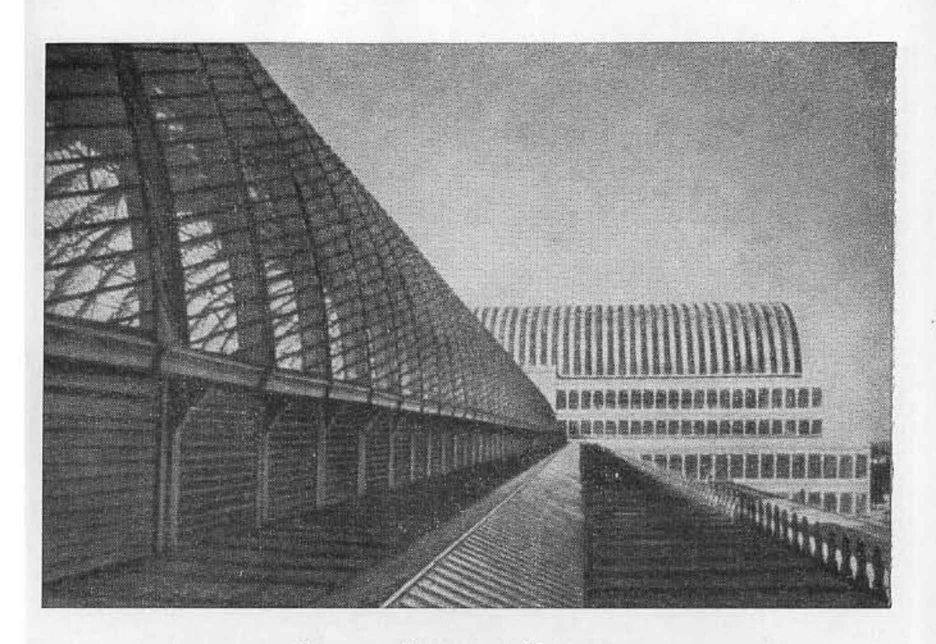


В. А. Зайцев.

А. Л. Суслова.

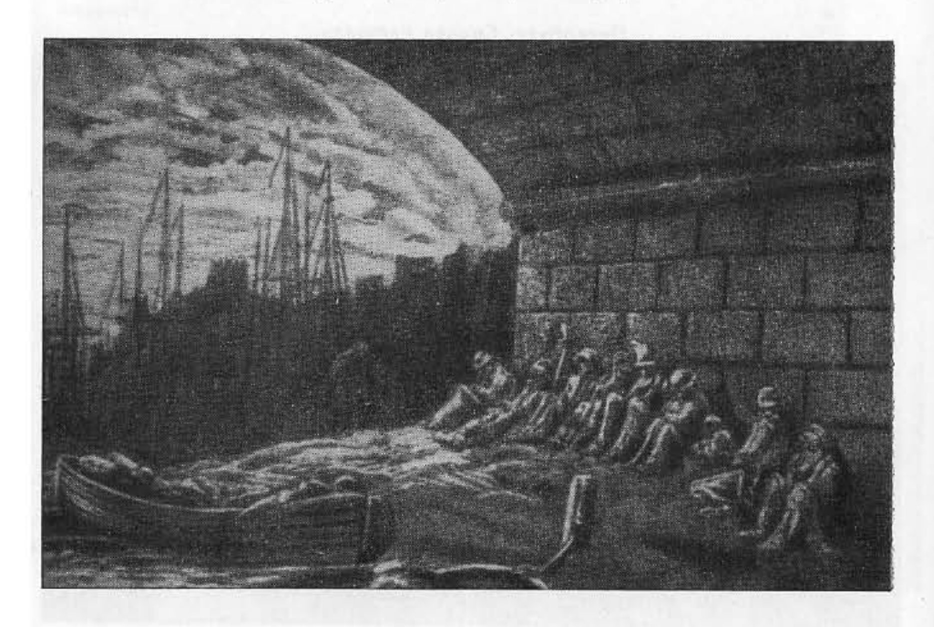
А. В. Корвин-Круковская.

С. В. Корвин-Круковская.



Лондон. «Хрустальный дворец».

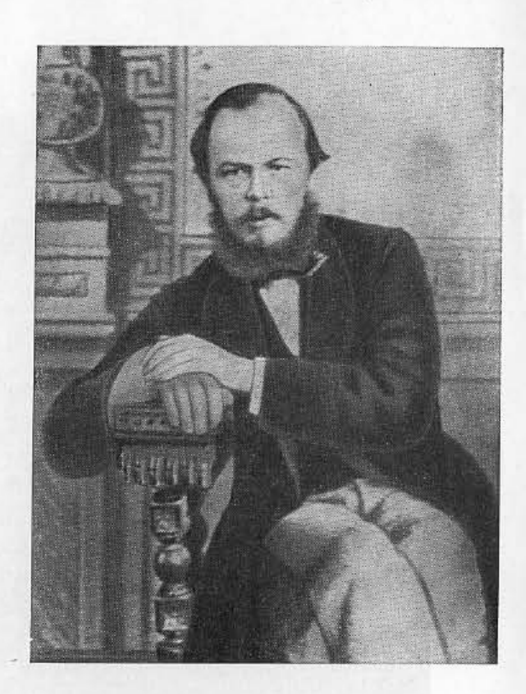
Лондон. Гравюра по рис. Г. Доре.



Петербург. Екатерининский канал.

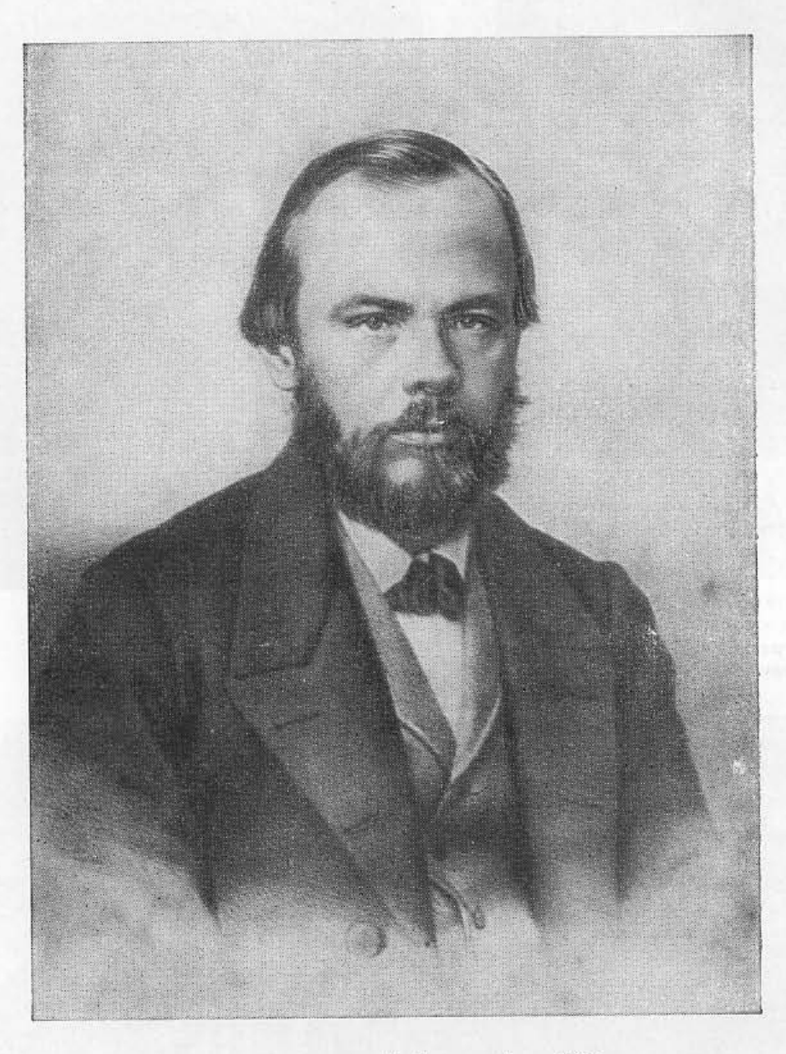
Петербург. Сенная площадь.

С. А. Иванова — племянница Достоевского.



Ф. М. Достоевский. 60-е гг.

Петербург. Дом, в котором Достоевским написаны романы «Игрок», «Преступление и наказание».

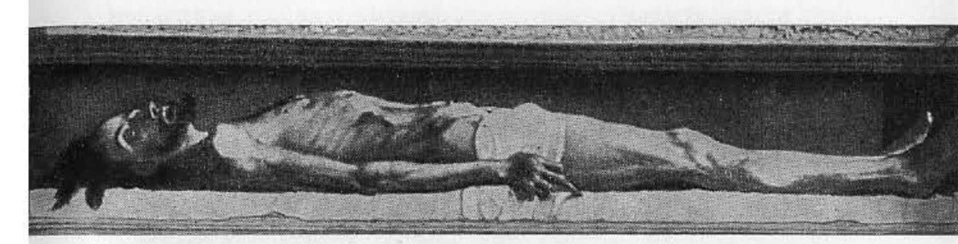


Ф. М. Достоевский. Литография. 1862.

А. Г. Достоевская. 1863.

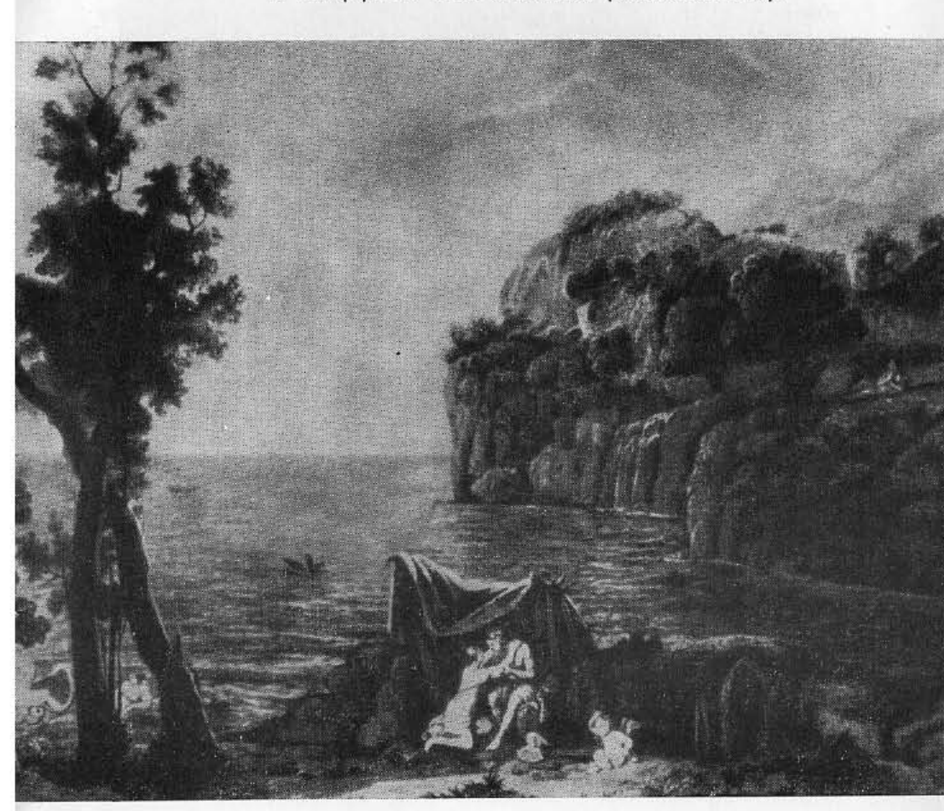
Дрезденская картинная галерея.

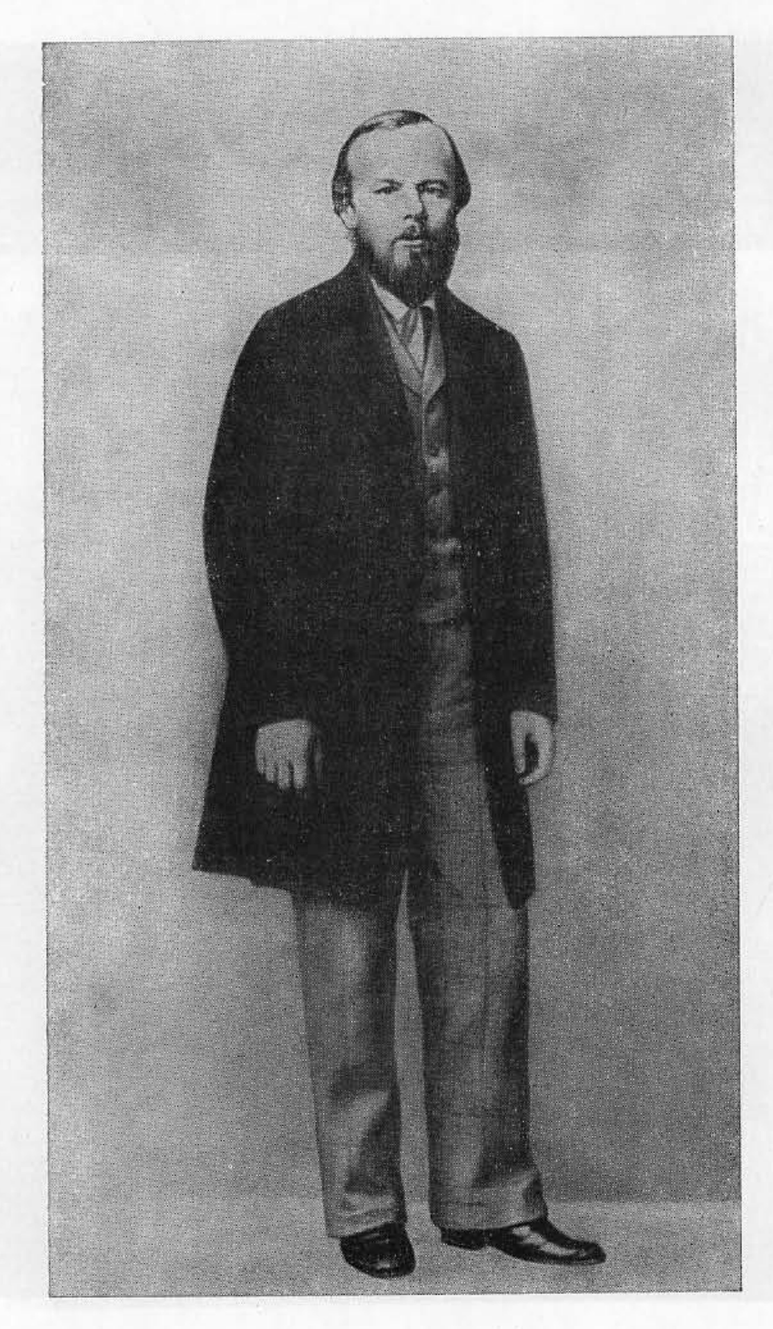
Рафаэль. Сикстинская мадонна. Фрагмент.



Г. Гольбейн Младший. Мертвый Христос.

К. Лоррен. Асис и Галатея («Золотой век»).





Ф. М. Достоевский. 1861.

пословица, воочию явившаяся в дороге: велика земля русская, а везде солнышко...

В Омске пробыли трое суток. Повидались с Ивановыми, Валихановым. Навестили де Граве — бывшего острожного начальника Достоевского — благородного и в неблагородной службе своей человека. Бывший узник был благодарен ему во всю жизнь уже и за то одно, что только заступничество коменданта спасло однажды Достоевского от приказания «фатального существа» — как звал его сам Федор Михайлович, — майора Кривцова — выпороть его розгами, теперь уж и не припомнить за что

Забрали Пашу из кадетского корпуса, в который недавно определили, не оставлять же его в Сибири. И снова в путь. Омск навеял тяжкие воспоминания о пережитом, а тут еще и дорога пошла прескверная, и погода испортилась, и он чуть не до Тюмени молчал, хмурился, так что Мария Дмитриевна решила даже, будто муж ее недоволен тем, что взяли с собой Пашу, хотя именно он-то и настоял на этом. А Федор Михайлович думал о будущем. Большинство товарищей по несчастью уже вернулись в Россию: Дуров и Ястржембский — в прошлом году. Первый уехал в Одессу к Пальму, второй — к родным в Минскую губернию; Момбелли еще в 56-м перевели на Кавказ прапорщиком, а вот другой бывший офицер, Львов, — в Иркутске, сотрудничает в «Иркутских губернских ведомостях», которые с 56-го года редактирует Спешнев. В Иркутске и Петрашевский — служит адвокатом. Бедняга Григорьев так и не оправился от потрясения на Семеновском плацу, его, как психически нездорового, отправили на попечение родных в Нижний Новгород. Плещеев уже в России; с ним, как только Достоевский вышел из острога, возобновилась переписка. Женился на шестнадцатилетней девушке: поэт!..

Так что не один только Достоевский обязан новому государю освобождением от бессрочной солдатчины — все политические освобождены манифестом от 6 августа 56-го года в честь вступления его на престол; иные и от пожизненной каторги, как Петрашевский. И дворянство всем вернул. Государь, говорят, — добрая душа. Может, и недаром был при нем воспитателем с детских его лет Василий Андреевич Жуковский? Глядишь, и крепостное право отменит, — размечтался дорогой Достоевский, то ли настраивая себя на обожание своего «освободителя», как он называл Александра II в письмах, то ли действительно

томила его жажда веры в возможность доброй, человечкой власти в России.

Теперь все надежды его — на литературу. Трудно начинать новую жизнь и писателю и семьянину почти в сорок-то лет. Платят теперь за литературный труд неплохо: Писемский, например, писал Михаил, за свои «Тысячу душ» получил по 200 или 250 рублей с листа. Гончаров за «Обломова» взял будто бы семь тысяч, а Тургенев — четыре тысячи за «Дворянское гнездо», значит, по 400 рублей за лист! Правда, роман чрезвычайно хорош, но разве же сам он пишет хуже Тургенева? Но ведь не слишком уж хуже, да и надеется еще написать совсем не хуже... Отчего же Катков платит Тургеневу, которому и без того две тысячи крепостных приносят немалые доходы, по 400 с листа, а ему, нищему пролетарию Достоевскому, предложил только 100 рублей за «Село Степанчиково»? Плещеев писал, будто Некрасов одобрительно отозвался об этом романе. Но все-таки другое его семипалатинское создание — «Дядюшкин сон» — уже появился у Кушелева в третьей книжке «Русского слова» за нынешний год. Достоевский еще не успел увидеть свое детище напечатанным. Тургенев, слышно, просил прочитать «Село Степанчиково», но Плещеев пишет, что не решился без дозволения Достоевского отдать.

Что, интересно, говорят о «Дядюшке»? Но, главное, как-то встретят Фому Фомича? «Село Степанчиково» лучшее — он был убежден в этом, — что он написал до сих пор и на что всерьез рассчитывал как на входной билет в первые ряды писателей. Если уж и «Степанчиково» не примет публика, то в пору прийти в отчаяние: на него все лучшие надежды. Но что-то неведомый ему Катков, которому передали повесть, пока не отвечает — будет ли печатать?

За раздумьями не заметил, как добрались до Тюмени. Город понравился — многолюдный, удобный; передохнули в нем от дороги два дня и — ну, пошел! — от станции к станции, хорошо еще, лошадей меняют без задержки, тарантас не разваливается, погода всюду благоприятная, но цены! Услышишь и глядишь потом на торговца даже со страхом — дерет сколько душа пожелает: не хочешь — не бери, просить не будет. Зато природа восторгала и успокаивала душу.

Сутки простояли в Екатеринбурге, накупили мелочи,

разной всячины и — дальше. И вот однажды, к вечеру, набрели на столб — *на тот самый,* границу Европы и Азии, а при нем инвалид в избе. И не в снежном саване, не в мятущейся, кружащей по сторонам («хоть убей, следа не видно») замети — в благодати лета, цветении, жужжании, запахах, пьянящих сильнее, чем горькая померанцевая из плетеной фляжки — подарок в дорогу семипалатинских знакомых, будто не знали, что не пьет он, совсем не пьет, при его-то нервах, при его-то падучей. Но не вытерпела душа, вытащил, выпили с инвалидом — и ничего, даже в лес пошли, побрали земляники довольно. А ведь казалось тогда — нет им дороги назад: такая вот штука жизнь-то... Ямщик тоже выпил немало и уж как же вез потом! Эй, залетные! Тело довезу, за душу не ручаюсь...

Исподволь свыкался с мыслью: Россия явно обновилась, а он, чувствуя многое, все-таки слишком мало знает о ней, нынешней. Читал и в дороге журналы запоем — хотелось понять новую, родившуюся без него действительность хотя бы через литературные проблемы. И ужасался порою: «Сколько еще нужно прочесть, и как я отстал...» То, что появилось, восхищает его: действительно немало первоклассных произведений, но не подавляет: «Все это уже было и явилось у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это все старые темы на новый лад». Вопросы, вопросы, вопросы: «Есть ли хоть один новый характер, созданный, никогда не являвшийся?» А у него самого? Главная надежда — на «Мертвый дом», но с ним он торопиться не будет, нужно еще пожить в России, подышать ее воздухом, тогда уж можно и закончить. Но и в «Селе Степанчикове» по меньшей мере два совершенно новых типа, они должны всерьез напомнить общественности о его имени. На «Дядюшкин сон» надежд, конечно, меньше — начинал писать эту комическую повесть весело, но потом не заладилось, измучился до отвращения к ней. Писалось урывками, разве же эдак напишешь что порядочное? Осмеют, поди, поспешат похоронить его. Да, есть о чем подумать — не начинать же все заново, когда тебе уже под сорок и о тебе давно забыли, а если и вспомнит кто, еще и удивится, пожалуй, — эк его! — жив, оказывается, и поглядит с любопытством как на антикварную редкость, случайно сохранившуюся из бабушкиных времен. Не поставит ли себя в комическое положение, не напомнит ли собой своего же героя — молодящегося старичка, князя К. из «Дядюшкина сна», сва-

тающегося к «молодой девице» — новой литературной поросли?

Да и что такое эта повесть — старые петербургские воспоминания вперемежку со свежими впечатлениями от провинциального быта, семипалатинских и кузнецких интересов, вращающихся при помощи интриг и сплетен; политики и стратеги обывательского масштаба... Он навидался кой-чего еще и в Петербурге; взять хотя бы того же графа Чернышова, военного министра, дошедшего чуть не до полного маразма в своей страсти к постоянному «омоложению»? Часов по восемь ежедневно тратил граф на реставрацию своего лица, которое от обильных мазей, пудр, красок давно уже превратилось в мертвую маску. И еще верит, что никто вокруг не замечает его ухищрений, благо кто же посмеет смеяться над ним в глаза? В глаза позволительно только петь хвалы его неувядающей молодости. А ведь давно пора было гнать в шею, коли сам не в состоянии уйти. Куда там — все незаменимые, такие значительные, что где уж признаться самому себе. Хотя бы на ушко кто шепнул: брось, мол, дружище, просто со сцены уходить не хочется, да привык балаганный герой к овациям, да и страшновато — чего доброго, при жизни еще «подлеца» или «шута» дождешься, потому как заслужил все-таки...

Нет, дядюшка — князь К., конечно, не граф Чернышов, *помельче*, но разве важно его место? Важен *тип* человеческий и общественный, важно, что вокруг таких дядюшек вертятся людишки, расточающие им фимиамы, убеждающие их в том, что они действительно еще могут... жениться на молоденьких девушках... Вот и его герой в значительности своего маразма не способен даже понять, насколько жалок, насколько вся его значимость зависит от далеко не бескорыстных интересов «политиков». Взять хотя бы Марью Александровну Москалеву, первую даму Мордасова — так он назвал городишко, в котором развернулась балаганная история повести. Марья Александровна — первый мордасовский политик, и незаурядный: «Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики...» Эта мадам только пугнет, только намекнет — что *знает*... и не говорит что, но держит всех в беспрерывном страхе, а это ум, это тактика!.. Связи у ней огромные. Многие из посещавших

Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи... Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном.

Пытались как-то ограничить влияние этой мадам на обывательский свет мордасовского общества, но «когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде». «Похоронив» заживо в глухой деревне своего мужа, чтоб не мешал делать политику, и тут же сделавшись «первой дамой Мордасова», Марья Александровна и решила заполучить князя, при взгляде на которого возникала мысль, что он сию минуту развалится, «до того он обветшал, или, лучше сказать, износился». Зато князь любил каламбурить и «никогда не отличался блестящими умственными способностями... проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков... ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах... зубы тоже были из композиции... Казалось, что карьера его оканчивалась!» Но на то Марья Александровна и политик, на то и наполеон, чтобы сообразить: «Князь вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет», — а имение его кому достанется? А? То-то, имение должно достаться Марье Александровне. То есть, конечно, не она сама замуж за него собралась, но у нее дочь Зиночка. Вот тут-то и развернулась история. Сначала Марье Александровне удалось уговорить князя сделать Зиночке предложение, но потом господину Мозглякову, племяннику его и бывшему Зиночкиному жениху, посчастливилось перенаполеонить первую даму и убедить полукомпозицию-получеловека — князя-жениха в том, что никакого сватовства не было, а был один только сон... Скандал получился на весь мир, мордасовский, конечно. И что ж бы вы думали — Марья Александровна померла от позора? Не тут-то было: помер князь. Не от позора — это ему по причине умственных способностей не грозило, просто, видимо, винтик какой-нибудь случайно отскочил, он и рассыпался. Марья же Александровна с дочкой гордо покинули Мордасов и скрылись в неизвестном направлении. Занавес падает, балаганчик закрывается, публика уходит довольная? Нет уж, дудки-с... Бывшему жениху по каким-то причинам случилось побывать в Москве и даже удостоиться быть приглашенным на бал в приличное общество. И вдруг — вот это пассаж! — Зиночка уже тут и на него никакого

внимания: она теперь жена генерала. Единственно, что удалось ему разузнать — «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею и... приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с...».

Ну не стратег ли, не наполеон ли после этого наша «первая дама Мордасова»? А впрочем, может и впрямь вещица безвинная? — мучился сомнениями Достоевский. Как-то примут ее, что скажут критики на этот раз.

Никак Казань уже?..

Остановились в приличном номере. Здесь придется пообождать: сюда — сговорились еще в письмах — Михаил должен прислать до востребования рублей двести. Пока не дошли еще. Достоевский успел даже в библиотеку записаться — истосковался по новинкам за дорогу. Ждать пришлось дней десять. Мария Дмитриевна удивлялась дороговизне: ожидание обошлось в 50 рублей. Но вот обещанные деньги получены; впереди — Нижний Новгород.

Знаменитая Нижегородская ярмарка, которую застали в полном разгаре, оправдала свою всесветную славу: часа три потратили на нее и то ухватили разве что самый краешек. В тот же день отправились на Владимир, а как замерцали подмосковные березки, сердце защемило, слезы вдруг сами потекли, и он не постыдился их, он чувствовал, что счастлив наконец... Но и счастье горчило: в Москву въезд запрещен, и потому — мимо, мимо... Но в Сергиев монастырь не мог не заехать — и так пахнуло тем давним, почти забытым ощущением отроческих лет, когда все еще было впереди, манящее, неведомое, таинственное, будто он все еще тот же и не было больше ничего, а только привиделось, пережилось в какое-то фантастическое мгновение, в которое прожил он чуть не треть своей жизни.

Тверь показалась мучительней Семипалатинска: Москва рядом, но близок локоток, да не укусишь. С трудом — за 11 рублей серебром в месяц — сняли наконец квартиру в три небольшие комнаты с какой-никакой мебелью, но зато как неожиданно оказалось — в том самом доме Гальянова, в котором останавливался, будучи в Твери, Пушкин:

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери

С пармазаном макарони
Да яичницу свари...

А это уж, как хотите, если и не перст судьбы, то все равно добрый знак.

Ходили всем семейством на станцию железной дороги — поглядеть на невидаль. «До чего народ доходит — самовар в упряжке ходит», — шутили мужички. Станция понравилась. Вспомнилась последняя встреча с Белинским — не пришлось ему повидать воочию этот железный образ новой России, с пыхтением и свистом пустившейся догонять Европу. Тяжелый стук колес доносился день и ночь за три версты, от станции до города, наполняя сердца спящих обывателей гордостью: и они теперь не провинция, а рядом с прогрессом.

Правда, тарантас, на коем пересекли пол-России и на который пришлось изрядно поиздержаться, продать в Твери теперь очень сложно: XIX век — научно-технический прогресс! Станция рядом, кто ж теперь в Москву на тарантасе ездит! Предлагали, правда, 30 рублей, да хотелось взять хотя бы уж рублей 40, а то ведь осталось на все житье-бытье 20 рублей, не отдали, так теперь и тех не предлагают. Михаил советует ничего не покупать, даже чашек. Ладно, без чашек, положим, обойдутся, но самовар-то непременно нужен. К тому же и башмаки у всех поизносились, а Марье Дмитриевне и вовсе выйти не в чем, вот и приходится, как ни совестно, молить брата: «Теперь еще просьба, и великая: у жены нет никакой шляпки. Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей сидеть взаперти? В здешних магазинах нет ничего. Зайди к мадам Вихман и, если есть готовая, купи, а нет — закажи. Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, расхожая в полном смысле слова. Другую хорошенькую зимнюю шляпку мы сделаем позже... Ради бога, брат, не откажи. Продам тарантас — деньги отдам тотчас. Есть у Вихман ленты (мы здесь видели образцы от Вихман же) с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими. Вот таких бы лент к шляпке... Голубчик мой! Не досадуй на меня за мои просьбы!»

Из Семипалатинска получил письмо, посланное туда из редакции «Русского вестника»: Катков-де за границей, поэтому не могут сказать, будут ли печатать «Село Степанчиково». Приуныл: ответ — явно обходительная форма отказа, а на «Степанчиково» все надежды, и денежные и литературные — что бы там они ни говорили, но

он-то знает, чувствует — это лучшее, что он написал до сих пор. Или боятся связать себя с недавним политическим? Так ведь он всемилостивейше прощен, совсем прощен, и «Дядюшкин сон» уже вышел, значит, не они первые...

Утром 25 августа приехал на *машине* Михаил — ходил встречать его на станцию. Вот и свиделись наконец. Брат огорчил: привез рукопись «Степанчикова», отвергнутую редакцией «Русского вестника». Но и обрадовал: предложив рукопись Некрасову в «Современнике», он успел получить добрый ответ: «Милостивый государь Михаил Михайлович. Письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Я всегда уважал и никогда не переставал любить вашего брата — печатать его произведения в моем журнале мне будет особенно приятно. Уверен, что в условиях мы сойдемся легко...»

Достоевский даже физически почувствовал себя веселее: только бы захотели перечитать, а там уж все пойдет — не могут же не понять, что такое Фома Фомич!

Конечно, провинциальная история о том, как недавний приживальщик вдруг превратился в местного тирана, довел общество до какого-то мистического поклонения своей персоне, так что даже владелец имения, богатырской наружности полковник Егор Ильич Ростанев, в доме которого и прижился Фома Фомич, вынужден величать приживальщика «вашим превосходительством», — история, может быть, и забавная, но не слишком ли далекая от серьезнейших вопросов действительности?

Но именно исходя из этих вопросов, как он их сумел понять оттуда, издали, из Семипалатинска, Достоевский и писал свою повесть. Мечталось указать обществу на нечто ему еще не вполне ведомое, вызревающее подспудно, но грозящее в будущем, как ему казалось, обратиться в капитальную злобу дня. Россия явно обновляется, новые веяния, новые задачи рождают и новых пророков и мессий, но и новых же лжепророков и лжемессий, и будут их слова наполнены раденьем о народе, о его просвещении, и будут они либеральнее либералов и патриотичнее патриотов, и будут учить они добродетели и правде, да так искренне и убежденно, так бескорыстно и самозабвенно, что стыдно будет не поверить в них, не обожествить их, не преклониться перед ними. И попадут и народ и общество из-под одного ига — крепостнического — в другое — еще более страшное, потому что добровольное, в духовное, моральное крепостничество к пророкам либеральной фразы. Они будут проповедовать народное просвещение, презирая народ, учить патриотизму, ненавидя Россию, исповедовать гуманизм, будучи человеконенавистниками. И не просто будет отличить истинных пророков от приживальщиков при великих идеях, ибо слова их будут похожи во всем, до мелочей, как похожа восковая фигура на живого человека. Народ, общество, либеральные ли, патриотические ли идеи — для них только средство собственного самоутверждения, цель же и единственная цель — одна: власть собственного ущемленного самолюбия над людскими душами. И притом тираническая власть. Беспрекословная и безусловная. А иначе... в Сибирь! В кандалы каналью! — заорет вдруг доморощенный Мирабо, гуманист и патриот, великий либерал, бескорыстная душа — духовный тиран уездного масштаба (но ведь и он о столице помышляет!) Фома Фомич Опискин — «представителю» того самого просвещенного им народа, — Гавриле, восставшему против благодетеля своего, замордовавшего бедного человека французскими вокабулами. Но на то он и «темный народ», а люди интеллигентные, вроде того же полковника, скорее уж сами себя застыдят, тысячу собственных пороков откроют в себе самих при одной только мысли посомневаться в благородстве учителя, благодетеля своего, Фомы Фомича...

Нет, он только кажется смешным, а он страшен, Фома Фомич.

Но не «Современнику» же пугаться? Разве что за Гоголя могут обидеться? Достоевский действительно дал своему Фоме Фомичу немало слов и жестов любимого писателя, сказанных в ту грустную для Гоголя пору, когда возомнилось ему, будто ему дано не только учить, но и поучать и народ, и общество, и правительство, — и тогда среди мудрых слов его, откровений и пророчеств появились и недостойные гения поучения и рекомендации. Но и разве только какой-нибудь другой Фома Фомич от литературы примет Опискина за Гоголя. В том-то и урок, в том и указание всем нам, проявившееся в духовной драме Гоголя, что даже гений подвластен соблазну, пусть и бескорыстному, — соблазну провозгласить самого себя новым пророком и вероучителем. Но Гоголь никогда не был приживальщиком ни при обществе, ни при литературе, ни при идее, ни даже при самой живой жизни; он сам был и целой литературой, и идеей, и жизнью. Да, в нем и через него сказывалась духовная жизнь общества и

народа. Нелегкий крест; изнемогла, видно, душа под тяжкой ношей.

Нет, Достоевский воссоздавал иной, принципиально иной, общественный тип человека: *приживальщика-тирана,* самоутверждающего свое ничтожество тиранией слова, идеи, поучения, но — *чужого* и даже чуждого ему слова, чуждой ему идеи. Тут не трагедия великой личности, тут трагедия общества, подпавшего под обаяние демагога-ничтожества.

Да, его Фома Фомич — фигура комическая, но в том-то и трагедия, что при всей его комичности и ничтожности осмеять его под силу лишь одному автору, а не героям повести, добровольным рабам, запутавшимся в хитростях иезуитской демагогии Фомы. Любая борьба против его поучений представляется им борьбою как бы против самой истины, ибо ведь у него нет своих слов, своих идей, ему нечему учить — он пользуется вашими же понятиями о совести, добре, справедливости, о просвещении народа и просветлении души...

И действительно: ну как не обрить даже собственные бакенбарды полковнику Ростаневу, если Фома упрекает его в том, что он похож на француза и что потому в нем мало любви к отечеству? Что не сделаешь ради отечества — сбрил и бакенбарды. На кого, как не на собственное невежество, жаловаться бедному старику Гавриле, которого Фома просвещает тем, что заставляет учить... французские вокабулы? Кто же станет спорить против просвещения народа? И пусть, не умея отличить овса от пшеницы, учит Фома крестьян, как вести хозяйство, — кто же посмеет укорить его? — неужели же найдется столь черствое сердце, чтобы осудить Фому за его бескорыстную заботу о мужичке?..

Вот и полагал Достоевский, что история, случившаяся в селе Степанчикове, не совсем безразлична и для истории всей России, и не покажется столь уж отвлеченной даже и в смысле злобы дня.

«Мы еще плохо знаем Россию», — утверждал Гоголь. «Я знаю Русь, и Русь меня знает», — утверждает Фома. Что ж, если еще и не знает, то теперь должна узнать и подготовиться к явлению уже не провинциального, но всероссийского Фомы в роли пророка и учителя. Время грядет серьезное и ответственное, и многое, если не все, подготовится и решится через слово и словом — Достоевский был уверен в этом, оттого и предупреждал общество о грядущем Фоме, лжепророке-тиране, *приживале при* будущем слове, рождающемся сегодня...

Михаил пробыл у них в Твери пять дней и уехал. Наведался и добрая душа Яновский. И снова потянулись тягостные дни ожидания. Познакомился с тверским губернатором Барановым — тот обещал посодействовать в хлопотах о разрешении Достоевскому жить в Петербурге. Сам Федор Михайлович написал Тотлебену, хоть и совестно было еще раз беспокоить его, — не сидеть же здесь, в Твери, а под лежачий камень и вода не потечет.

Мария Дмитриевна хандрила, да и туберкулез, судя по всему, развивался, и трудно было ожидать серьезной помощи от местных врачей. Судьба мужа мало интересовала ее, убивалась за будущее сына — нужно же его определить к делу, а Федор Михайлович занят только своими «бумажками». Знакомиться ни с кем не желала, так что ему пришлось делать визиты одному, у себя тоже не принимали — негде, да и Мария Дмитриевна стыдилась их бедности. Он же взвалил на себя и домашние заботы, и о пасынке не забывал. Но страдал и нравственно и физически, нервы шалили и у него, и у Марии Дмитриевны, жизнь порою казалась конченой. Представлялось порой, словно он живет на станции, а мимо несутся поезда и нет ему места в них, нет ему дороги.

«Положение мое здесь тяжелое, скверное и грустное, — жалуется он Михаилу. — Сердце высохнет. Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия и даст ли мне Бог наконец возможность обнять Вас всех и обновиться в новой и лучшей жизни?..»

В октябре пришло наконец письмо из «Современника» — печатать «Степанчиково» не отказывались, но предлагали нищенскую плату в тысячу рублей за всю повесть, да и то лишь в будущем году. Собственно, и это была лишь форма отказа, принять такое предложение — то же, что принять подаяние.

Фома явно не произвел впечатления на Некрасова. «Достоевский вышел весь. Ему не написать больше ничего значительного», — заявил редактор «Современника».

Было от чего прийти в отчаяние: то ли он действительно не понимает новых общественных потребностей, то ли подлинно нет пророка в своем отечестве? То ли проклят он кем-то — за что? То ли... Бог на каждого по его силам крест возлагает, и нужно все вынести, перетащить — и непонимание, и забвение, и одиночество, и не поддаться унынию, и не мечтать о счастье, а просто

идти своим путем и верить, ибо «счастье не в счастии, а лишь в его достижении», — пишет он теперь. «Но я верю, что не кончилась еще моя жизнь...»

Он возвращается к «Запискам из мертвого дома», вновь пишет Тотлебену и наконец решается обратиться прямо к царю: «Вы, Государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных, — может быть, вспомнив стиль молений древнего Даниила, пишет теперь тверской заточник XIX века. — Состояния я не имею никакого и снискиваю средства к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в моем болезненном положении. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить только в Петербурге. В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите дозволить мне переехать в С.-Петербург».

Тут же просит и за Павла, пасынка, — определить его на казенный счет либо в гимназию, либо в Петербургский кадетский корпус.

Обращение было слишком рискованно: в случае высочайшего отказа никто уже не сможет помочь ему. Послав письмо, Достоевский и сам расстроился, ругал себя: зачем не дождался ответа Тотлебена, зачем это лихорадочное нетерпение, толкающее его на отчаянные шаги? Но дело сделано, остается уповать на судьбу да на царскую милость.

В начале ноября Достоевский получил корректуру «Села Степанчикова» — повесть взял для ближайших номеров своих «Отечественных записок» Краевский, согласившийся платить по 120 рублей за лист.

А в середине декабря Достоевскому вручено наконец официальное сообщение о разрешении ему жить в Петербурге. Казалось бы, радость его должна быть беспредельной, но так много душевных сил отдал он на борьбу за это позволение, что счастливым себя не почувствовал. Впрочем, счастье-то ведь не в счастье — не сам ли недавно признал...

Глава II

РОССИЯ И ЕВРОПА

России определено было высокое предназначение...

Пушкин

1. «Время»

После десяти лет разлуки, в конце декабря 1859 года, Петербург встретил Достоевского снежной метелью, разноцветными огнями рождественских елок, объятьями брата Михаила и Аполлона Майкова, либеральными веяниями и шампанским. Правда, в моду входил новый напиток, который изобрел купец из старообрядцев Василий Александрович Кокорев, впервые обративший на себя внимание общественности устройством торжественной встречи уцелевших героев Севастополя: по его почину московские купцы, поклонившись в ноги черноморцам, позволили им пить за свой счет три дня и три ночи безданно и беспошлинно — гуляй, Русь-матушка! Пусть знают наших...

Кокорев выдвинул даже проект в смысле того, как придать торговле вином увлекательное направление «в рассуждении цивилизации». Слово «цивилизация» вообще стало чуть не паролем, своеобразным пропуском в порядочное общество. Тот же Кокорев крестился двумя перстами, свято верил в то, что Россия — страна мужицкая, таковой и всегда должна пребывать, а потому водрузил на своем столе символическую пепельницу в виде золотого лаптя; но испытывал при этом неизъяснимый восторг перед утонченной европейской цивилизацией. В знак же своего патриотизма он изобрел патриотический напиток, рецепт которого был до гениальности прост: на три четверти шампанского добавлялась одна четвертая квасу, в случае надобности по утрам рекомендовалось добавлять в него еще и рассолу. Кокоревский патриотизм быстро обрел славу «квасного». Достоевскому напиток пришелся не по вкусу, так что рождество отпраздновали за привычным бокалом шампанского.

«В рассуждении цивилизации» претерпело нововведения, конечно, не одно только питейное дело. Либеральные

веяния ощущались повсюду и во всем: десятками открывались новые журналы, наблюдались серьезные цензурные послабления, значительно расширился доступ в университеты разночинной молодежи. Вышли собрания сочинений Пушкина и Гоголя, Кольцова — даже со вступительной статьей Белинского, о котором почти не поминали со дня его смерти.

Обретало силу новое явление — общественное мнение.

Но, главное, с 58-го года печать обсуждает вопрос о подготовке важнейшей реформы. Сам государь публично заявил о необходимости скорейшей отмены крепостного состояния, но, слышно, подготовка встретила глухой отпор во влиятельных сферах: назывались даже имена графов Шуваловых, отца и сына, князей Долгорукого и Меншикова, слывших некогда за вольнодумцев и даже франкмасонов. Было о чем поразмышлять на досуге...

Да... всего десять лет, а как будто из одной эпохи переселился в другую. Не встретишь больше на Невском Белинского. Умер Гоголь, за ним старик Аксаков. Герцен — за границей, в России читают его «Колокол», «Былое и думы». Тургенев ездит по Европе за Виардо, редко наведывается в Россию, но сделался чуть не первым отечественным романистом. А обличительные сатиры Салтыкова, говорят, произвели впечатление на самого императора. Рассказывали, когда министр внутренних дел представлял государю на утверждение доклад о назначении Салтыкова рязанским вице-губернатором, Александр II будто даже сказал: «Вот и прекрасно, пусть едет служить, да пусть сам поступает в том же духе, в каком пишет». Много говорят и об «Обломове» Гончарова, и об Островском. Но с кем хотелось бы поскорее познакомиться и сойтись, так это с Аполлоном Григорьевым: в их взглядах, судя по рассказам брата, немало общего. В недрах русской литературы рождалось нечто могучее, свое собственное, растущее из родной почвы, способное выдерживать сравнение с гигантами прошлого. А главное — обретает новое, небывалое доселе значение — то направление, начало которому положил Пушкин. Вот об этом бы и хотелось поговорить всерьез, поспорить и с Аполлоном Григорьевым и с новыми — Чернышевским и Добролюбовым, их имена у всех на устах нынче, они властители дум теперешней молодежи, а Добролюбов чуть не за второго Белинского почитается. Правда, и Михаил и Аполлон Майков относятся к ним скептически, да и Некрасов «Село Степанчиково» все-таки отверг, а ведь, слышно, без «семинаристов», как прозвали новых сотрудников Николая Алексеевича, он и шагу ступить теперь не решается. И все-таки есть в них какая-то сила убежденности, решимости, близкая Достоевскому, хотя и вызывающая к спору, но к спору среди своих. Майков, слушая подобные заявления, иронически улыбается, глаза его поблескивают сквозь очки: вам бы, Федор Михайлович, поприсмотреться, поприслушаться сначала к новой-то жизни. А ему некогда, ему бы прямо в бой, прямо бы сейчас свой журнал — ведь есть же для того основания, чтоб побороться за свой журнал: время-то какое — с 56-го, за четыре каких-нибудь года, сто пятьдесят новых журналов и газет позволено издавать, почему бы и нам не взяться за дело? Как недавнему государственному преступнику, ему, конечно, вряд ли позволят, но Михаилу Михайловичу (какой-никакой, а все-таки владелец предприятия, фабрикант, человек материально состоятельный!) отчего бы стали отказывать? А силы литературные найдутся. Неужто не найдутся?

Мысли о своем журнале Достоевский вынашивал давно, поделился ими с братом Михаилом еще в письме из Семипалатинска, теперь же настаивал на немедленных практических шагах. Михаил колебался: все-таки придется попервоначалу пожертвовать значительные суммы, а дело рисковое, а ну как прогорят с подписчиками, тут и предприятие табачное обанкротится, пожалуй, еще и в долговую яму угодишь, а у него семья, дети — тоже нужно считаться. Но и не посчитаться с Федором Михайловичем невозможно. Решили рискнуть, составить прошение, подготовить программу журнала.

Достоевский снова в лихорадке нетерпения.

В марте его семья переехала из меблированных комнат, снятых родственниками, в угловой двухэтажный каменный дом купца Полибина. Сначала заняли квартиру в первом этаже, затем переселились на второй. Квартирка маленькая, тесная, а в тесной квартире и мысли приходят какие-то темные, унылые, серые — Достоевский почти физически ощущал эту каменную сдавленность; душа просила простору, и он готов был отказать себе в чем угодно, только бы переселиться в квартиру попросторнее, но средств для этого пока не было, по-прежнему приходилось сообразовывать свои потребности с обстоятельствами жизни, все чаще напоминающей ему о близящемся сорокалетии.

Мария Дмитриевна, бледная, совсем исхудавшая, в

Петербурге окончательно захандрила. Родственники и друзья мужа, тем более его общественные и писательские интересы, казалось, вовсе были чужды ей. Все учащающиеся вспышки раздражения, неоправданные попреки доводили его порой до отчаяния. И от злых языков никуда не скроешься, хоть и живут замкнуто и почти никто, кроме близких, не заходит; кто-то распускает слухи, якобы Мария Дмитриевна оттого и злится, оттого и бесится, что бросил ее любовник, тот самый учитель Вергунов, который будто бы приезжал к ней в Семипалатинск и даже в Тверь, да, увидев, что наделала чахотка с недавно еще красивой, а теперь кашляющей кровью женщиной, почувствовал к ней отвращение и уехал однажды, даже не оставив адреса. Достоевский не верил слухам, но ему было больно сознавать себя героем сплетен, а постоянно наэлектризованная атмосфера в доме издергивала и без того некрепкие нервы, и он с нескрываемым нетерпением дожидался всякий вечер, пока улягутся спать жена и пасынок. Оставшись один, он уже не чувствовал себя столь одиноко, выкуривал папироску, дожидался, пока закипит самовар, ставил его на стол, выпивал два-три стакана крепкого, очень сладкого чаю и, успокоившись, принимался наконец за работу. К утру самовар обычно бывал пуст.

Его не то что огорчало, но по-настоящему беспокоило отношение читателей и критики к «Селу Степанчикову», на которое он возлагал столько надежд. Принято оно совершенно холодно, хотя самого Достоевского публика встречала почти как героя, и он охотно соглашался участвовать в общественных литературных вечерах, устраиваемых обычно либо в Пассаже на Невском, либо в большом зале домовладелицы Руадзе на Мойке, где вмещалось более тысячи человек. Здесь 14 апреля Достоевский блестяще сыграл почтмейстера Шпекина в гоголевском «Ревизоре», Хлестакова исполнял поэт и переводчик Петр Исаевич Вейнберг, но публика ждала появления «купцов», и когда на сцену вышли Тургенев, в пенсне и с головою сахара в руках, Некрасов, Гончаров, Григорович, Майков, Дружинин, Курочкин, Панаев, Краевский — восторгам зрителей не было предела.

Выступал Достоевский и с чтением любимых стихов Пушкина:

Как весенней теплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу дремучего
Выходила бурая медведица
Со милыми детушками медвежатами...

Но особенно потрясало публику, когда он своим глуховатым, как будто идущим из таинственных глубин души голосом читал:

Еще дуют холодные ветры
И наносят утренни морозы,
Только что на проталинках весенних
Показались ранние цветочки,
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетала первая пчелка,
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне поразведать,
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ли у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

Теплый прием такого, казалось бы, далекого от общественных интересов времени, но воистину народного Пушкина радовал Достоевского (сам он воспринимал эти стихи еще и как-то по-особому личностно: *клейкие*, пушкинские, *листочки* будили в нем что-то забытое, давнее, дорогое). Но многое и беспокоило, огорчало: он явно чувствовал — *его* принимают как страдальца, недавнего политического заключенного. Достоевский же — писатель либо вовсе забылся, либо ощущался как писатель прежней, ушедшей эпохи.

...Чай в стакане давно простыл, но он и не любил слишком горячий; чадила дешевая свеча; внутри тела отчетливо творилась темная разрушительная работа — не хватает сейчас только припадка, который отнял бы у него несколько дней жизни, оторвал бы от подвигающегося к окончанию труда: он завершал свои «Записки из мертвого дома».

Общий план созрел еще в Твери, а это было главное, потому что работа оказалась не из обычных и не из легких: ведь он писал не воспоминания о пребывании в Омском остроге, не физиологический очерк о неведомой миру стране — каторге. Нет, и пережитое, и лица сотоварищей по несчастью, и их рассказы о себе, и быт, и нравы каторги — все это должно было стать правдивой, документальной основой иной, художественно претворенной правды о Мертвом доме и его обитателе — погибшем народе.

Конечно, кое-что придется изменить и по цензурным соображениям — неизвестно еще, разрешат ли вообще опубликовать «Записки», пусть времена и переменились,

а о себе здесь откровенно не расскажешь. Да и не в себе ведь дело: он уже вместо себя и рассказчика придумал Александра Петровича Горянчикова, попавшего в острог за убийство своей жены. Фигура совершенно условная, никого ею, пожалуй, не обманешь, даже цензуру, — сразу видно, кто все это видит, кто размышляет и судит, но такт придется все-таки соблюсти. Изменил имена некоторых заключенных, причины их осуждения — все это не измена достоверности и не в одной только цензуре тут дело. Он писал вещь документальную, но не этнографически, а идеологически. Но и это не все — задача его была еще сложнее: если Гоголь в знаменитой поэме явил России и миру, как, оторвавшись от живой жизни, люди окоченевают, дубеют, теряют облик человеческий, перерождаются в «мертвые души», то его цель другая, даже противоположная гоголевской поэме: ни в чем не отступая от правды, показать, как даже и в Мертвом доме мучается и погибает, но все равно надеется, сохраняет веру в иную жизнь бессмертная душа человеческая.

Десятки, если не сотни, сцен, характеров, типов, судеб, рассказов, притч, примет и деталей необходимо было собрать в единственно возможное целое. Он менее всего думал о том, выйдет ли из всего этого повесть или роман особого типа — документальный, как «Былое и думы» Герцена, или и вовсе нечто небывалое, — не о том его заботы. Важно найти такую форму, чтобы естественно соединить исповедь очевидца, рассказ о хождении собственной души по мукам земного ада, размышления о природе преступления и наказания, о свободе, о погибшем народе, о России вообще — так, чтобы все это не превратилось ни в очерк, ни в трактат, но, оставаясь живой, наглядной картиной, зазвучало бы страстной проповедью.

Да, то, что он делает сейчас, должно стать проповедью свободы. Он сам видел воочию, как возрождала даже и осужденных бессрочно порою самая призрачная надежда на перемену участи. Не будь и такой надежды — и тогда действительно это был бы окончательно погибший, духовно мертвый народ. Но он видел же, сам видел и пережил — за немногими исключениями — их души живы...

Это должна быть и проповедь о необходимости для образованного общества отыскать пути к народу и народа к интеллигенции; призыв к их родственному соединению. Но для этого нужна почва, на которой стало бы возможным такое соединение. А почвой может быть только подлинно великое, всеохватывающее, общее дело. Пробудить нацию к общенародному делу — вот долг современного писателя, иначе пропадут силы народные впустую, истратятся за оградою Мертвого дома.

И «сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват...» — писал он, забыв о холодном чае, о больной раздражительности жены, о готовности вечно сжатого в пружину, не знающего передышки тела к очередному эпилептическому припадку. Старый приятель Степан Дмитриевич Яновский и светила познаменитее его утверждают в один голос: нужно бросать эти писания, а ночные — немедленно, потому что немного еще и не выдержит организм. Не выдержит... А душа, а мозг, а природа его выдержат без писания?

За окном давно уже брезжит предрассветная белесая муть. Близится пора белых ночей.

Дома теперь и вовсе не сиделось: там ждал его только рабочий стол с пачкой бумаги, но встречу с ним он уже почти привык откладывать на ночь, днем же всегда приходилось отыскивать время для деловых встреч — навестить старых товарищей, тех, что не забыли о нем в эти десять лет. К тому же появилось много и новых знакомств. Сначала собирались по вторникам у Милюкова. Достоевский помнит, как Александр Петрович провожал его в Сибирь, теперь он главный редактор журнала «Светоч», здесь обычно бывали Аполлон Майков, Степан Дмитриевич Яновский, поэты Яков Полонский, Лев Мей, молодой Дмитрий Минаев и совсем молодой, двадцатилетний Всеволод Крестовский, начинающий беллетрист Григорий Петрович Данилевский, уроженец Харьковской губернии, однофамилец славянофила Николая Яковлевича Данилевского — философа, в прошлом фурьериста-петрашевца.

Познакомился он и с романистом Алексеем Феофилактовичем Писемским, автором «Тысячи душ», и с критиком и философом-естественником Николаем Николаевичем Страховым. Узнав, что Николай Николаевич видит в

немцах вождей просвещения, Достоевский подарил ему «Историю философии» Гегеля, которую сам просил брата выслать ему в Семипалатинск. Гегель не произвел на него впечатления своей мирообъемлющей системой, Достоевскому она показалась слишком рационалистической и далекой от жизни, его влекут не общие философствования, не сухие теории, как бы ни были хороши и правильны они сами по себе. Дело писателя выявлять и в наглядных, убедительных образах возводить подспудно нарождающиеся процессы в сферу общественного самосознания. Тогда-то писатель и станет истинным руководителем общества, его пророком и его духовным двигателем. Пока у нас только один-единственный писатель, которого мы с полным основанием можем назвать нашим пророчеством и указанием, и этот единственный — Пушкин...

Достоевского слушали с особым вниманием: с первых же дней своего участия в кружке Милюкова он «первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал», — по свидетельству Н. Н. Страхова. «Когда я вспоминаю его, — продолжает он, — то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души».

Горячо обсуждали и цели и направление нового журнала «Время», если таковой будет дозволено издавать. Вскорости эти обсуждения перенесли на квартиру Михаила Михайловича Достоевского, на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала. Здесь и складывалось ядро «Времени».

Зачастил Достоевский и в Москву: там в издании Н. А. Основского готовилось к выходу его двухтомное собрание сочинений. Но не одно только это предприятие, с которым он связывал главным образом надежды хоть на время выскочить из крайней нужды, влекло его в древнюю столицу: там жила теперь Александра Ивановна...

Кто скажет, то ли сама Мария Дмитриевна сумела оскорбить его чувства настолько, что измучилась душа в желании хоть кого-нибудь одарить затаившейся нежностью; то ли действительно искренне считал себя обязанным помочь талантливой женщине определить свою судьбу; или уж подлинно черт в чужую жену ложку меда кладет, и ослепила его вдруг вспышка безотчетной, неподвластной ему любовной лихорадки, но увлекся он, видимо, не на шутку.

Александра Ивановна Шуберт, урожденная Куликова (отец ее — крепостной декабриста Анненкова, мать — князя Вяземского), «маленькая, худенькая брюнетка с густыми чудными волосами и небольшими чрезвычайно живыми глазами» (по воспоминаниям актрисы М. Г. Савиной), была любимой ученицей Щепкина, играла с блеском уже на многих сценах: в Одессе (где встречалась с самим Гоголем), Вильно, Орле, Твери, играла и на сцене Александринского театра, получив широкую известность главным образом исполнением ролей молоденьких девушек. Выйдя замуж за актера Шуберта, вскоре овдовела, а через год, в 1855 году, стала женой Степана Дмитриевича Яновского, оставив на время сцену. Но когда она вновь решила вернуться в театр, муж воспротивился, и в семье начался серьезный разлад. Почуяв, что их общие друзья — Майков, Дружинин, Писемский — сочувствуют отнюдь не ему, Степан Дмитриевич попытался оградить жену от их дурного, как он был уверен, влияния, и тогда молодая женщина решилась переехать в Москву, где ее давно ждал Малый театр. Видя, как заскучала и потускнела без сцены известная артистка, муж в конце концов согласился на ее переезд. Однако у него были и серьезные сомнения в том, что решение жены связано только с театром: Александринка тоже охотно приняла бы ее, но она настаивала на Москве. Степан Дмитриевич страдал, ревновал — подозревал, что жена влюблена в Писемского; умолял, угрожал, сам собирался переехать с нею в Москву. А Плещеев (дошло до Степана Дмитриевича) и вовсе выразился в том смысле, что жить с Яновским скука — все равно как если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего, кроме клубничного варенья... Каково?

Яновский даже обрадовался сначала, заметив, какое впечатление произвел на Александру Ивановну только что прибывший из Твери Достоевский: может быть, хоть он образумит упрямицу, да и влияние Писемского на жену, глядишь, поубавится. Однако слишком скоро несчастный муж стал замечать, что влияние Алексея Феофилактовича хотя и действительно уже ничем ему не угрожало, зато теперь Александра Ивановна, кажется, влюбилась в Федора Михайловича, да и он как будто несколько увлекся этой увлекающейся женщиной.

В марте она все-таки переехала в Москву. Без театра жить не могла («Она зорко следила за всею русской жизнью, к искусству относилась серьезно и театр любила глубоко, — свидетельствует ее коллега, актер В. Н. Давы-

дов. — Умная от природы, она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любвеобильна...»), к тому же теперь Москва привлекала ее еще и надеждой на встречи с любимым человеком вдали от ревнивого ока Степана Дмитриевича.

Достоевский и действительно привязался к Александре Ивановне, однако, приехав из Москвы в мае, он пишет ей вполне дружеское, доверительное письмо:

«Многоуважаемая и добрейшая Александра Ивановна, вот уже три дня, как я в Петербурге и воротился к своим занятиям. Опять приехал на сырость, на слякоть, на Ладожский лед, на скуку и прочее... Ходил к Степану Дмитриевичу. Он... принял меня очень радостно и много расспрашивал о вас. Я сказал ему все, что знал... Рассказал ему и про ваши успехи на сцене... Степан Дмитриевич... был в очень приятном расположении духа...

Воротился я сюда и нахожусь в лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу! Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своем. Может быть, в награду себе поеду за границу месяца на два, но перед этим непременно заеду в Москву...

Дай вам бог всего хорошего. Мои желания самые искренние. Очень бы желал тоже заслужить вашу дружбу...

Жму вашу руку, целую ее и с полным, искреннейшим уважением остаюсь вам преданнейший Ф. Достоевский».

Однако уже в следующем письме, написанном через месяц, по форме своей скорее любовном, нежели дружеском, он деликатно, но по существу дает знать, что их отношения не могут и не должны иметь продолжения. Может быть, именно поэтому, чтобы не оскорбить ее самолюбие, не обидеть чувств женщины, он и облек объяснение разрыва в форму любовного признания?

«...Как я счастлив, что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы: вот так друг! Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю: я вас люблю очень и горячо до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил вашим правильным мнением и, боже мой, как горевал, когда мне показалось, что Вы лишили меня Вашей доверенности... Дай Вам бог всякого счастья! Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает воз-

можность быть еще преданнее Вам... Я буду знать, что я предан бескорыстно.

Прощайте, голубчик мой...»

Недолгая вспышка чувств погасла навсегда внезапно, но не беспричинно. Достоевский не оправдывается, не входит в объяснения, но о причинах разрыва все-таки говорит прямо, в том же письме:

«...Не знаю, что он говорил Вам про меня во время Вашего последнего с ним свидания; но вижу, что его самолюбие страдает: ему досадно, что я верю больше Вам, чем ему: ему как будто кажется, что я изменил ему в дружбе, что еще более подкрепили в нем Вы, сказав ему в Москве: «Ты не знаешь еще Достоевского, он вовсе не друг тебе...»

...он знает, что Вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая мое сердце достойным Вашей доверенности... знает, что я и сам горжусь этой доверенностью... и, кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории Вам, чем ему, что я и не скрыл от него, не соглашаясь с ним во многом, а тем самым отстаивал Ваши права... Мне кажется, он тоже и ревнует немного, он, может быть, думает, что я в Вас влюблен. Увидя Ваш портрет у него на столе, я посмотрел на него. Потом, когда я другой раз подошел к столу и искал спичку, он, говоря со мной, вдруг перевернул Ваш портрет так, чтоб я его не видел. Мне показалось это ужасно смешно, жест был сделан с досадой...

Приготовьтесь его видеть, отстаивайте свои права, но не раздражайте его напрасно; главное — щадите его самолюбие. Вспомните ту истину, что мелочи самолюбия почти так же мучительны, как и крупное страдание...»

Он не мог и не хотел стать причиной страданий товарища своей далекой молодости — пусть сейчас нет между ними прежней близости, пусть Степан Дмитриевич не столь талантлив, как его жена, и даже просто зауряден, пусть даже Александра Ивановна сочтет своего возлюбленного трусом и перед ним самим захлопнется, может быть, единственное окошко, обещавшее свет и уют его душе, столь одинокой сейчас в этом сером, слякотном Петербурге, но пусть никто и никогда не посмеет сказать, будто он, Достоевский, предал друга...

Он давно уже замечал, вернее — даже ощущал, — как он любил говорить сам, что при всем неисчислимом и неповторимом многообразии человеческих характеров, типов, своеобразии их жизненных проявлений всех их в конечном счете можно отнести к двум основным раз-

новидностям, существенно отличающимся одна от другой. И дело тут вовсе не в темпераментах и не в происхождении. Одни полагают, будто весь мир и все в мире существует исключительно для них и во имя их; вторые убеждены, что сама их жизнь только тогда и имеет какой-то смысл, когда она служит жизни всего мира и всего в этом мире. Первые в крайности своей способны пожертвовать целым миром во имя собственной личности, вторые — собой, ради не то, что целого мира, но другого человека. Первый тип уже отразился в литературе, получив немало обликов и имен, как символических — байроновский Каин, лермонтовский Демон, так и реальных — многие из героев Бальзака; Алеко, Онегин у Пушкина, Печорин у Лермонтова... А где же второй тип? Его, по существу, и нет в литературе, кроме бессмертного Дон-Кихота, конечно. Правда, в Татьяне Лариной Пушкин многое наметил и воплотил, но и ее сумели не понять. И до сих пор... Да и не только в этом дело: все они — и Каины и Дон-Кихоты, особенно реальные, выхваченные из жизни нашими писателями, — являются таковыми как бы стихийно, по природе своей, а между тем — Достоевский все более убеждался в этом — первая разновидность подмеченных им типов начинает обретать своих теоретиков и даже идеологов. На Западе философия эгоцентризма сформирована и обоснована давно, особенно нашумела книга Макса Штирнера — «Единственный и его достояние» (о ней немало переговорено еще у Белинского, да и среди петрашевцев вокруг нее достаточно поспорили). «Не ищите свободы, — провозгласил Штирнер, — ищите себя самих, станьте эгоистами; пусть каждый из вас станет всемогущим «я»...

Я сам решаю, имею ли я на что-нибудь право; вне меня нет никакого права... Я... сам создаю себе цену и сам назначаю ее...

Эгоисту принадлежит весь мир, ибо эгоист не принадлежит и не подчиняется никакой власти в мире... Наслаждение жизнью — вот цель жизни... Каков человек, таково и его отношение ко всему. «Как ты глядишь на мир, так и он глядит на тебя...»

Вывод, который я делаю, следующий: не человек мера всему, а «я» — эта мера...»

Прочитав в апрельской и майской книжках «Современника» большую статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии», Достоевский был немало удивлен и даже не на шутку раздражился: в основании теории человека и будущего социального мироустройства Чернышевского он усмотрел нечто родственное штирнеровскому учению.

Главной движущей силой общественного развития, утверждал вслед за французскими просветителями XVIII века Чернышевский, является естественное стремление человека к удовольствию.

«Человек любит самого себя», а потому в основе любых его поступков и устремлений всегда «лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом».

«Человек любит приятное и не любит неприятного, следовательно, — подытоживает Чернышевский, — при внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятно ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия».

Правда, суть дела, по Чернышевскому, состояла в том, что истинным двигателем человечества является не просто эгоизм, но разумный эгоизм, а разумно поступать благородно и, напротив, поступать неблагородно — значит вместе с тем и неразумно. Более того, личный эгоизм должен быть подчинен общей выгоде, так как «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного» и т. д.

Достоевский прекрасно понимал, что один из вождей «Современника» попытался здесь обосновать, по существу, ту же истину, которая лежит и в основе его собственного понимания социального мироустройства: интересы народа — выше интересов привилегированного класса. Не укрылось от Достоевского и желание Чернышевского доказать, что любой благородный поступок, даже и безрассудный, и разумен и полезен.

Все это Достоевский если и не принимал вполне, то понимал. Но... ни принять теорию «разумного эгоизма», ни понять, почему «расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр», он все-таки не мог и не хотел. Он слишком хорошо представлял, какой соблазн коренится в самом этом принципе «разумного эгоиз-

ма», какое оружие самооправдания могут получить в свои руки циники, негодяи и самых разных мастей человеконенавистники, эгоисты, с какой радостью схватятся они за формулу: «Нет никакой разницы между пользой и добром».

Один из двух центральных типов его нового, еще не завершенного романа «Униженные и оскорбленные», о котором он писал Александре Ивановне, получал теперь общественно важное, животрепещущее значение и обоснование.

Сначала роман задумывался как прямое напоминание читателям о себе: герой, от имени которого ведется повествование об униженных и оскорбленных, — Иван Петрович, молодой писатель, автор повести о бедных людях, друг и единомышленник критика Б., под которым легко угадывается Белинский, — конечно же, не сам Достоевский, но *тип* человека, писателя, родственный автору. И действие «Униженных и оскорбленных» перенесено в современную эпоху: петербургские трущобы, неведомые углы, притоны; судьбы беспризорных детей, обманутых женщин, покинутых стариков, бесприютных душ... Добрая, тихая Наташа ушла от стариков родителей, стала — подумать только! — любовницей... и кого? — жалкого человека, вечного недоросля, Алексея Валковского, сына того самого князя Валковского, которому чуть не всю жизнь служил верой и правдой старик Ихменев, отец Наташи, и который разорил, оскорбил, унизил, поругал всю семью Ихменевых, и вот — поругание продолжается, и какое...

Иван Петрович пытается всех понять, простить, помочь всем. Он и сам любит Наташу, но думает уже не о себе, не о собственном счастье — о счастье любимого человека, о счастье и любимого ею: Алексей теперь для него не соперник, не враг — скорее уж брат. Вряд ли кто из близких ему людей способен понять его, не говоря уже — оценить. Иван Петрович смешон, нелеп, жалок в их глазах. Но ему это неважно; главное, чтобы его цель была достигнута — чтобы соединились любящие люди, чтобы успокоились души стариков, чтобы даже униженные и оскорбленные смогли наконец почувствовать себя счастливыми.

Деятельная любовь — самоотвержение... Может быть, никогда еще с тех пор, как пытался сам он устроить счастье Марии Дмитриевны с учителем Вергуновым, не переживал Достоевский таких сердечных мучений, какие приходилось выдерживать ему сейчас, создавая из опыта собственной судьбы судьбу Ивана Петровича. Доставляет

ли ему удовольствие отречение от любимой женщины во имя ее счастья? Поступает ли он «разумно», а стало быть, и «выгодно», «с пользой» для самого себя? Да он и не думает об этом. И неизвестно еще, что бы он подумал и как бы он поступил, если бы ему «научно» доказали, будто его страдания не что иное, как удовольствие, а его самоотречение — «разумный эгоизм»...

Вот тут-то и появляется старый князь Валковский, Петр Александрович.

Вникнув в суть ситуации (князь собирается женить сына на богатой невесте), выслушав рассуждения Ивана Петровича о добре, нравственном чувстве столь же спокойно и с тою же презрительною ухмылкой, как и обвинения его в цинизме, эгоизме, злонамерениях, Валковский с убежденной хладнокровностью заявляет: «Ведь это все вздор». — «Что же не вздор?» — спрашивает огорошенный Иван Петрович.

— Не вздор, — ответствует теоретик и практик штирнерианского эгоизма, — это личность, это я сам. Все для меня, и весь мир для меня создан... Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. О молодой человек, толкующий о добродетелях, Вас ужасает эгоизм моих принципов? Вы, кажется, даже брезгливо отстраняетесь от меня? Напрасно, не торопитесь — ваша добродетель, вернее, то, что вы почитаете за добродетель, — как раз и есть величайший эгоизм, а вот то, что вы полагаете эгоизмом, не что иное, как добродетель. И на чем, кроме вашего чувства, что вы поступаете добродетельно, строится ваша жизненная правота? А вот моя философия жизни имеет прочный теоретический, вполне разумный фундамент:

«Я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм», — и затем, не называя источник, цитирует: «...чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка...»

Нет, Валковский не пародирует Чернышевского, Достоевский относился к вождю «Современника» с глубоким уважением, он прекрасно понимал: циник, эгоист, буржуазный делец (Валковский — из разорившихся дворян, приобретший состояние наживой, не брезгающий никакими средствами) — как раз тот тип, против которого и направлялось острие социальной теории Чернышевского. Но в том-то и парадокс, в том-то и неприемле-

мость этой теории для Достоевского, что валковские разных мастей (а имя им действительно легион), исповедуя философию жизни, резко враждебную, прямо противопоставленную упованиям лагеря Чернышевского, вполне могут для теоретического обоснования своей философии найти основания в той же самой теории «разумного эгоизма».

Нет, тут было не пародирование и даже еще не полемика: это было пока предупреждение, предостережение если и не единомышленника, то, во всяком случае, человека, во многом сочувствующего общему направлению мысли Чернышевского.

Роман обретал неожиданные повороты, завязывались непредвиденные ранее интриги; появлялись новые герои; окончить его в три месяца, как недавно мечталось, теперь уже нечего было и думать. Тем более что отвлекали, как становилось теперь очевидно, и не менее важные дела.

В середине июня 1859-го решили наконец послать прошение в Санкт-Петербургский цензурный комитет о разрешении Михаилу Достоевскому издавать ежемесячный журнал «Время». А в начале июля прошение было удовлетворено, и, нужно сказать, им сразу же повезло: в цензоры «Времени» определили Ивана Александровича Гончарова. Федор Михайлович принялся за составление объявления о подписке на журнал. Он решил отказаться как от практики завлечения подписчиков громкими именами литераторов, которых предполагал пригласить, так и от любых рекламных трюков. Главное и, по существу, единственное, чем он надеялся привлечь читателей, — программа, уясняющая дух и направление нового журнала.

Основная идея, которую должно проповедовать, по замыслу Достоевского, «Время», — идея необходимости выработки в сознании общества новых начал государственного развития. Главный вопрос времени, писал Достоевский в программном объявлении о подписке на журнал, — это великий крестьянский вопрос, решение которого должно стать началом огромного мирного переворота, равносильного по своему значению всем важнейшим событиям нашей истории, в том числе и реформам Петра:

«Этот переворот есть слияние образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни». Осуществление этой насущнейшей задачи,

считает Достоевский, должно начаться с решения практического вопроса о коренном улучшении крестьянского быта.

«Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни, — проповедует вслед за славянофилами и Герценом Достоевский. — Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных».

Раньше, до Сибири, он, по существу, и не читал славянофилов, зная и судя о них больше понаслышке, по пересказам, как правило, полемическим, относился к их учениям скептически. Теперь, взявшись для начала за статьи Алексея Степановича Хомякова, Ивана Васильевича Киреевского, он с удивлением и радостью обнаружил, что по многим, а для него центральным вопросам в учениях западников и славянофилов немало общего, и если отбросить у обоих направлений русской общественной мысли крайние, вызванные, как правило, условиями полемики суждения, то в новых условиях они могут быть не враждебными друг другу, но вполне готовыми к примиряющему плодотворному для будущего синтезу.

Так, например, немало общего нашел Достоевский у славянофилов с Белинским и Герценом в их спорах о значении реформ Петра. В памятной ему статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, например, утверждал: «Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала межеумками? (Кстати, подобное утверждал и Герцен: «...целью переворота Петра I была *денационализация московской Руси»*). Нет, это означает совсем другое, а именно, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя».

Достоевский посчитал, что и в этом случае обе точки зрения необходимо объединить:

«Реформа Петра Великого нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом... Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность... Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм...

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны... Но в них было

общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается, петровская реформа... дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена... Мы знаем теперь... что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих начал... Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал...»

Развивая идею нового этапа общественного развития как развития самобытного, национального, основанного на общенародных духовных началах, Достоевский вместе с тем специально оговаривал, что он отнюдь не понимает ее как идею обособления, отрицания европейских форм жизни только потому, что они нерусские. Напротив, русская идея, которую он разрабатывает, по своей значимости была для него не узконациональной, но как раз мировой идеей:

«Мы предугадываем... что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности...»

Выдвигая идею примирения разных начал как идею синтеза всего наиболее плодотворного, способного к общему развитию, Достоевский подчеркнул, что при этом имеет в виду не только и даже не столько самих по себе славянофилов и западников — «к их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно», — сколько главное: «Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом...

Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, — вот наша передовая мысль, вот девиз наш».

Первый практический шаг на этом пути, считает он, — «распространение образования усиленное» и опять же «скорейшее и во что бы то ни стало...».

Перечитывая, редактируя программу «Времени», Достоевский видел: она выходит, собственно, не литературная, но общественно-политическая, идеологическая. И не случайно: литература, истинная литература, и есть для него выражение всей жизни, сила могучая, способная сотворить тот переворот, о котором он писал в «Объявлении».

Перейдя к вопросам сугубо литературным, Достоевский сказал несколько слов и о грошовом скептицизме, распространяющемся в журнально-писательских кругах, которым с успехом прикрывается всякая бездарность, о духе спекулятивности, который грозит превратить журнальное дело преимущественно в коммерческое, о том, что иные весьма посредственные литераторы обретают в наше время репутацию авторитетов, особенно если их мнения высказываются дерзко и нахально.

«Мы решились основать журнал вполне независимый от литературных авторитетов, несмотря на наше уважение к ним, — заключал Достоевский. — Мы не уклонимся и от полемики... Особенное внимание мы обратим на отдел критики.

...«Время» будет выходить каждый месяц, книгами от 25 до 30 листов большого формата...»

8 сентября «Объявление» с программой нового журнала появилось в газетах «Сын Отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Искра» и других. А уже в октябрьской книжке «Современник» дал первый отзыв за подписью одного из своих редакторов — Ивана Панаева:

«Объявление это вообще отличается большой смелостью. Что же? И прекрасно. «Смелость города берет», — говорит пословица; «смелым бог владеет», — говорит другая...»

Достоевский теперь весь в журнальных делах; шутка ли подготовить первый номер, от которого во многом зависит, быть может, судьба всего начинания. Да и программа обязывает. «Униженные и оскорбленные» надолго упрятаны в ящик стола, томятся там, неведомые миру. А между тем другие не дремлют: кипят споры вокруг недавно вышедшего романа Гончарова «Обломов», взахлеб

читаются «Накануне» Тургенева и «Гроза» Островского.
В конце 60-го года в Москве вышел наконец и двухтомник Достоевского.

Для первых номеров своего журнала он подготовил начальные главы «Униженных и оскорбленных» и ряд статей о литературе. В январской книжке вышло «Введение» к ним, где писатель подверг сомнению плодотворность исключительно отрицательного изображения русской действительности: «мефистофельство», «эпоха демонических начал и самоуличений» уступают место более объективному, всестороннему охвату жизни. В числе новых явлений такого рода называется Островский («веруем в его новое слово!»), но знаменем, под которым должна развиваться не одна только литература, но русское общественное самосознание в целом, провозглашается Пушкин.

Для февральского номера закончил большую статью: «Г.-бов (под этим псевдонимом выступал Добролюбов) и вопрос об искусстве».

Достоевский с интересом следил за статьями молодого, но уже авторитетного, ведущего критика «Современника», несмотря на скептическое, а порою и враждебное отношение к нему своих новых друзей — Николая Николаевича Страхова и Аполлона Александровича Григорьева, с которым познакомился наконец и надеялся сдружиться. И Чернышевский и Добролюбов — люди, безусловно, литературно даровитые, возражал он, и с убеждениями. А убеждения, искренние, пусть даже и неприемлемые для него, Достоевский умеет ценить. К тому же многое у Добролюбова ему по-настоящему близко, взять хоть бы и такое его рассуждение: «...много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы... а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.?» Или: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа...»

Такого рода убеждения, высказанные страстно, горячо, заставляли Достоевского думать, что со временем из

молодого критика вполне может развиться могучий талант в духе Белинского. Однако отношение критика к чисто художественным явлениям не удовлетворяло Достоевского — ему все казалось, что Добролюбов в угоду своим идеям «нагибает» действительность в желательную для него сторону, идет в толковании произведений не от жизни, а от теорий. «В его таланте, — пишет Достоевский, — есть сила, происходящая от убеждения. Г.-бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики, но идеи, которыми выражается это основное начало, часто... отличаются одним важным недостатком — кабинетностью».

«Кабинетность» Достоевский видел прежде всего в том, что Добролюбов, как ему казалось, требует от художественной литературы прямой, непосредственной пользы, — такое отношение Достоевский считал утилитарным, могущим подменить задачи и цели художественной литературы целями журналистики, публицистики...

Нет, Достоевский отнюдь не защищал идею искусства для искусства — она была неприемлема для него, как и утилитарный подход к искусству. Достоевский видел в литературе не просто средство для проведения в жизнь определенных идей, нет — он верил в художественное слово как в силу самостоятельную, духовно преобразующую природу человеческую, созидающую в сознании народа идеал красоты.

Разве такое убеждение уводит искусство от современных проблем, от задач текущей действительности? Нет, утверждает Достоевский, потому что, во-первых, истинное «искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать», а во-вторых, необходимость утверждения идеала красоты диктуется как вечными, так и текущими, в смысле самой что ни на есть реальной злобы дня задачами, ибо «если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». А поэтому, утверждает Достоевский, нужно бороться не за то, чтобы искусство проводило такие-то идеи, но прежде всего за то, чтобы оно было подлинным искусством.

Упрекнул Достоевский Добролюбова и за недооценку Пушкина, которая сказалась в его статьях прошлого года.

14 февраля в «Санкт-Петербургских ведомостях» До-

стоевский прочитал заметку о благотворительном литературно-музыкальном вечере в пользу сиротских приютов в Перми, на котором статская советница Евгения Эдуардовна Толмачева читала импровизацию о Клеопатре из «Египетских ночей» Пушкина. А через несколько дней в еженедельнике «Век» появился фельетон «Русские диковинки» за подписью Камень-Виногоров, за которою, как вскоре выяснилось, скрылся исполнявший в это время обязанности редактора «Века» Петр Исаевич Вейнберг (Петр (греч.) — камень, Вейнберг (нем.) — виноградная гора). Фельетон высмеивал российские нравы, допускающие публичное выражение разнузданных страстей, а сама Толмачева представлялась здесь в качестве этакой провинциальной Клеопатры. Назревал скандал.

В самом начале марта «Санкт-Петербургские ведомости» поместили письмо поэта-демократа Михаила Михайлова с протестом против выходки «Века»: «...зная настоящие общественные условия и положение женщины, — писал он, — вряд ли порядочно выдавать женщину на посмеяние глупцам и невеждам». Вслед за письмом Михайлова в той же газете появился и протест Николая Шелгунова. Герцен передал письмо редактору «Века» Константину Кавелину: «...что ты возишься с Виногоровым? Брось его. Редакция завралась... Тебе что за радость, что и твое имя поминают рядом с Вейнбергом?»

В скандал вмешался «Русский вестник» Каткова, поставивший вопрос, что называется, ребром: это каких еще прав требуют господа эмансипаторы для женщин? Права на что угодно? На разврат? На публичное выставление последних выражений страсти? Не случайно для чтения госпожа Толмачева выбрала эпизод из незавершенного Пушкина, творчество которого и без того недостаточно глубоко: такие вещи, как «Египетские ночи», с их выставлением напоказ извращений человеческой природы, производят соблазнительное развращающее впечатление...

В спор с Катковым вступил Чернышевский. «Стремление женщины к эмансипации, — заявил он, — «Русский вестник» смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это обскурантизм».

Не мог остаться в стороне и Достоевский. В мартовском выпуске «Времени» выходят сразу две его статьи: «Образцы чистосердечия», и «Свисток» и «Русский вестник», в которых Достоевский вступился за «Современник», и сатирическое к нему приложение «Свисток», начав тем самым долгий спор с Катковым.

«Могучий московский незнакомец», как публично рекомендовал своего редактора сам «Русский вестник», Михаил Никифорович Катков все более обретал значение публициста, с которым уже невозможно было не считаться ни одной из литературно-идеологических партий, ни правительственным кругам. Разночинец по происхождению, честолюбивый и способный юноша, Катков с детских лет узнал, что такое глубоко уязвленное самолюбие. Отец был мелким чиновником, рано умер, оставив жену с двумя детьми на грани нищеты, так что Варваре Евдокимовне, урожденной Тулаевой — дальней родственнице знатных князей Мещерских, Голохвостовых, Хованских, пришлось даже пойти на службу — и какую! — тюремной надзирательницей... Учился Катков из милости в сиротском училище, но более всех был обязан самому себе — денно и нощно добываемому трудом самообразованию.

Окончив словесное отделение Московского университета, в числе лучших его выпускников отправился в Берлин изучать немецкую философию, где и увлекся системами Гегеля и Шеллинга; лекции последнего произвели на него особое впечатление, и вскоре Михаил Никифорович стал одним из любимых его учеников. «Кто любит попа, а кто и попадью», — говорит русская пословица. Михаил Никифорович был влюблен в своего учителя, но еще более в его дочь. Однако в Россию он вернулся один, но зато обогатился учением Шеллинга и Гегеля, с которыми ознакомил прежде всего Белинского и членов его кружка. Белинский, в свою очередь, помог Каткову, в котором видел «великую надежду науки и русской литературы», поскорее войти в журналистику. Через несколько лет, однако, хотя Катков все еще и оставался идейно близок Станкевичу, Бакунину, Константину Аксакову и Белинскому, друзья начали посматривать на него более скептически, а Белинский однажды и прямо изрек: «Не нашего круга».

Между тем Михаил Никифорович испытывал свои возможности то на поприще профессора философии, то редактора газеты, пока не взял на себя руководство «Русским вестником», который перешел в его руки в 1858 году. Вот уж кто умел работать, не щадя себя, даже и ночью, до хронических бессонниц. радуясь, когда удавалось ненадолго уснуть. Обедал от случая к случаю; нередко суп, который подавали ему, чтобы не терять времени, прямо к рабочему столу, так и простаивал нетронутый, с обеда до ужина, а то и до утра.

Катков быстро приобрел репутацию виднейшего либерала: одним из первых он начал широкое общественное обсуждение проблемы крепостного права, выдвинул требование освобождения крестьян с землей, чем обозлил «партию плантаторов» — могущественных представителей высшей бюрократии; постоянно настаивал на ослаблении цензуры, на отмене полицейского режима в области общественно-журнальной деятельности; требовал отказа от практики телесных наказаний. Именно его журнал опубликовал «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, к нему, а не к кому другому, ушел Тургенев после разрыва с «Современником». Правда, Катков и прежде пропагандировал *постепенность*, под которой он разумел не столько темпы преобразований, сколько их естественность, в противовес *ломке* устоявшихся форм жизни, и, конечно же, все реформы представлял себе исключительно как преобразования «сверху». Однако после поездки в Англию Катков становится вдруг убежденным англоманом, начинает пропагандировать введение в стране общественных и государственных форм по типу английских; будущее России представляется ему теперь в зависимости от того, насколько она сумеет пойти по западному, капиталистическому пути, ибо, где она, эта русская наука, искусство, где сама русская мысль?

Такого рода «таймствования», как окрестил новые идеи Каткова Достоевский, и связанное с ними постоянное пренебрежение руководителя «Русского вестника» к русской литературе и прежде всего к Пушкину делали столкновение «Времени» с катковским журналом неизбежным.

К майскому номеру Достоевский готовил ответ «Русскому вестнику». Работать приходилось чуть не круглосуточно: «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома» (наконец-то вопрос об их публикации утрясен с цензурой, и с апреля они начали выходить во «Времени»). К каждому выпуску журнала по статье, а то и по две; но ведь еще и переговоры с авторами, редакторская работа. Подумать о себе некогда, а больше и некому. Припадки участились, но отдых пока не предвиделся.

Вступая в борьбу еще и с Катковым, Федор Михайлович прекрасно понимал — легко не будет, да и помощи, по существу, ждать неоткуда. Но и молчать не мог. Толмачеву он, конечно, не знал; как там она читала Пушкина, с каким «темпераментом» и поблескиванием «черных очей», судить мог только по публикациям. Но дело было и не в ней самой: дети и женщины — так он чувствовал — извечные униженные и оскорбленные, и кто же, как не русский писатель, обязан сказать свое слово в их защиту? Его совершенно не устраивала та эмансипация, которую все определеннее практиковала молодежь, да и не одна она: распад семей, фиктивные браки, свободное сожительство, порою целыми коммунами, — такого рода болезненные и даже уродливые формы решения вопроса о женском равноправии возмущали его; к тому же все это только давало оружие тем, кто вовсе не хотел бы слышать слов о свободе и равноправии... И вот либерал Катков в одном из ведущих русских журналов и Пушкина сумел истолковать в «клубничном смысле»...

«...«Русский вестник» называет нас эмансипаторами и всенародно стыдит этим названием... Да, послушайте, вы в самом деле нас морочите? — писал он, будто видя перед собой живого, а не «журнального» Каткова. — Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии; именно о том, чтоб чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины... «Да ведь это вовсе не эмансипация!» — скажет нам «Русский вестник». — «Да понимайте ее как хотите, — отвечаем мы, — только мы сами-то понимаем ее именно так...»

...Но позвольте же наконец спросить, что же вы называете эмансипацией? В этих спорах надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под эмансипацией вы разумеете право всякой женщины ставить своему мужу рога, то, разумеется, вы правы в вашей ненависти к эмансипации. Но мы никогда не разумели так эмансипацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но *для нас*, вся эмансипация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу — любви, которой имеет право требовать себе и женщина, требовать к себе уважения и... нравственного равенства прав с мужчиною...»

Здесь же Достоевский нашел возможность вступиться и за Белинского: «Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется...» И за честь Чернышевского вступился, правда, оговорив при этом свое несогласие со многими взглядами одного из вождей «Современника»: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал,

что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г. Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «Полемических красот». Господи! Подымается скрежет зубовный, раздается элегический вой. «Отечественные записки» поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом единственно о г. Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале? То же и в «Русском вестнике». Там тоже было вроде маленького землетрясения...» Но главная причина спора с Катковым — все-таки в Пушкине. Потому что Пушкин — это даже не Белинский. «Пушкин — наше все», — и лучше, пожалуй, не скажешь. Да, Аполлон Александрович умеет сказать точное слово.

Аполлон Григорьев — одна из самых ярких личностей, с которыми когда-либо сводила Достоевского судьба, и, может быть, единственный после Белинского человек, равный «неистовому Виссариону» по мощи ума, богатству идей и страстности натуры. Встречи с ним давали и самому Федору Михайловичу глубокое ощущение их равноправности: он брал от Григорьева не меньше того, чем делился с ним сам. Конечно, на дружбу, в ее задушевно-человеческих проявлениях, рассчитывать не приходилось: оба ершисто-неуживчивые, непреклонные в суждениях, глубоко самобытные натуры, — скорее приходилось удивляться тому, что они вообще сумели хоть как-то притереться друг к другу. Правда, и встретились они далеко не в лучшую пору жизни Аполлона Александровича, и без того никогда не баловавшей его своей благосклонностью.

Аполлон Григорьев, как и Достоевский, был, по собственным словам, уроженцем «громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою». Москву любил с нежностью, ей был обязан тем чувством человеческой вкорененности в историческую жизнь своего народа, о котором признался однажды так: «Ничего не боялся я столько... как жить в городе без истории, преданий и памятников». Дед — таким он его запомнил — походил на аксаковского старика Багрова; как и отец Достоевского, трудами и службой сделался к концу жизни «помещиком», в Москву же пришел в нагольном полушубке из северо-восточных мест. Отец так и засел в мелких служащих; поэтому Аполлону Александровичу приходилось рассчитывать всегда только на себя. Окончив юридический факультет Московского университета, некоторое время учительствовал, с середины 40-х годов приобрел известность и как критик. Человек увлекающийся, характер страстный, он искал себя и в утопическом социализме, Фурье, и в шеллингианстве, и в масонстве, и в религии, но ни на чем не остановился, не нашел пристани душе, пока не осел в 50-м году в «Москвитянине», где вскоре обрел славу ведущего критика и развернул знамя литературной борьбы за народность и национальное возрождение искусства, утверждал культ Пушкина и Островского. «Натуральную» школу не жаловал за ее, в чем он был убежден, проповедь фатальной зависимости человека от социальной среды — сам он исповедовал идею свободы воли, полагая при всех своих сомнениях и противоречиях, что эту идею можно найти только в православии, единственной, по его словам, религии братства и подлинного демократизма. Вместе с тем в своем неприятии официальной церкви доходил до прямой ненависти. Ум парадоксальный, он и славянофилом-то был скорее по названию, да еще потому, что с западниками у него было еще меньше точек соприкосновения. Обе партии — вкупе с ними и приверженцев чистого искусства и позднее революционных демократов — он относил к категории «теоретиков», так как все они, утверждал он, идут не от живой жизни, а от тех или иных, исповедуемых ими теорий. В отличие от «теоретиков» «догматики» вообще никуда не идут и другим не позволяют, предпочитая топтаться на месте. Тех, кто не проповедует, но предписывает обществу, как и зачем жить, он называл «доктринерами». Типичным «доктринером», по Аполлону Григорьеву, стал, например, в 60-годы Катков. И наконец, все они — и «теоретики», и «догматики», и «доктринеры» — были чужды ему по самой природе его творческой натуры, поскольку все они исходили в своих суждениях о жизни от определенной системы взглядов. Аполлону Александровичу же претила любая система независимо от того, хороша она сама по себе или дурна, реакционна или революционна; жизнь сложна, противоречива, постоянно в живом движении, полна подспудных течений, едва уловимых веяний, грозящих либо мертвой зыбью, либо всемирным потопом, вселенской бурей — общественно-политическими, конечно, и эту-то вечно движущуюся в противоречиях противоборствующих стихий, мучающуюся и страдающую в отмирании и нарождении жизнь хотят втиснуть в ту или другую — не все ли равно? — систему или теорию...

— Нет, жизнь дело страшное и таинственное, — говаривал он не раз. — Никакой философии жизнь в ее таинственности не по плечу. Только искусство, литература, слово способны если не объять ее, то дотронуться до ее пульса, определить состояние жизни мира и человечества, в веяниях времени уловить веление вечности. Оттого-то и нужно уметь слушать истинных поэтов, что они — только голоса народных масс, выразители еще не сказанного, еще только зреющего слова; глашатаи великих истин и великих тайн жизни...

Пожалуй, как никому другому, дано было ему чувствовать и понимать жизнь как творчество, как борьбу стихий, как вечно длящееся творение.

Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть.

Сущность наша, личность на время позабывается: действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души и, пожалуй, могла бы если бы не было другой, третьей, многих равно просящих работы. Способность сил доходить до крайних пределов порождает состояние страшной борьбы, писал он. О чем? О стихиях общественно-исторических, вселенских? Или стихиях души, вмещающих и то и это?

...И о себе самом...

Он и критику свою окрестил «органической», то есть естественной, чуждой теоретизированию, схематизации, предписыванию. Спорить с ним было нелегко, а по существу, и невозможно и бессмысленно. Страхов рассказывал, как однажды после очередного спора он сказал Аполлону Александровичу: «Ты знаешь, что я не согласен с тобой в этом случае, но ты, однако же, может быть, более прав». — «Прав я или не прав, — перебил он меня, — этого я не знаю; я — веяние».

Однако веяние, которым он был, далеко не всегда приходилось по вкусу даже и его единомышленникам. «Молодая редакция» «Москвитянина», где вместе с Григорьевым сотрудничали Островский, Писемский, Григорович, Тютчев, Фет, Полонский, Срезневский, Гильфердинг, Забелин, Буслаев, Снегирев, вскоре рассорилась с его официальным редактором Погодиным и постепенно распалась.

Аполлон Григорьев вновь оказался без дела, но с жгучей жаждой дела. Писать некуда — везде он чужой. Пытается сотрудничать то с «Русской беседой», то «Русским словом», ищет пути в «Современник», однако с категорическим условием: я или Чернышевский; нигде долго не уживается. Пришлось пойти к Каткову, но и в «Русском вестнике» статьи своего нового сотрудника печатать не собирались, а все больше заставляли делать «какие-то недоступные для меня, — писал он сам, — выписки о воскресных школах». Ушел.

Неустроенность, нужда, доходящая до нищеты, до крайности, заставляющей чуть не постоянно жить в долг, одалживать под проценты, грозящие долговой ямой, несчастная, незаживающая, саднящая душу единственная и неразделенная любовь толкали аскетического по натуре, но порывистого, как стихия, Григорьева пить по девяти дней кряду, чтобы уж совсем — в грязь, чтобы и памяти об ином не оставалось.

Трудно (а многим казалось — беспутно) жилось этому вечно бесприютному страннику с русскою душой. Аполлон Григорьев любил эти лермонтовские строки и вообще любил Лермонтова, справедливо оспаривая мнения славянофилов, будто корневому русскому народу по природе его чужд дух бунтарства. За бунтарство ценил он и Герцена, хотя в настоящий момент, трагический момент, Россия нуждается, убеждал он, не в Степанах Разиных, а в Мининых...

И сам был великим бунтарем, а уж у него ли не русская душа? Страстная, тоскующая по идеалу, широкая, вечно стремящаяся за очерченные пределы, словно там-то, за пределом, и вся разгадка душе: только нет для нее и предела, и вся вселенная представляется ей порою чем-то тесным и ограниченным, где и не развернуться ей во всю свою ширь. Но наступит вдруг такая минута — стол с кипящим самоваром в маленькой комнате, да несколько добрых друзей вокруг, да долгая песня под перебор гитары — и почувствует себя дома, словно весь вселенский круг сосредоточился и вместил свою беспредельность в дружескую встречу, и ничего больше не надо. И хорошо вдруг душе.

Достоевский знал Григорьева и как поэта. Слышал, и поет он прекрасно. Когда-то превосходно играл на рояле. Руки у него тяжелые и одновременно тонкие, почти женственные, — казалось, даже и в этом он одно сплошное противоречие. Но, увлекшись цыганами, променял рояль на гитару и, садясь за нескончаемый самовар, пел «цыганские» романсы и песни, даря своим слушателям подлинно дивные минуты.

«Певал он по целым вечерам, время от времени осве-

жаясь новым стаканом чаю... любимою его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибирящечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка! —

...сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня,
Любил барин цыганочку, —
Она замуж вышла...» —

вспоминал Афанасий Афанасьевич Фет.

Давняя любовь не забывалась, томила безысходностью.

Узнав о его бедственном состоянии, Милюков, ставший только что редактором «Светоча», тут же поехал разыскивать Григорьева, чтобы пригласить его сотрудничать:

«Он жил в небольшой квартире, недалеко от Знаменской церкви. Я застал у него несколько человек и в том числе... Фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя, с гитарой в руках пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий и красивый, и ему придавали особую красоту... задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре он играл мастерски».

На предложение он согласился, но и тут сотрудничество продолжалось недолго.

— Человек я действительно ненужный в настоящее время, мне нет места для деятельности, потому что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как я, — делился он с Николаем Николаевичем Страховым, влюбленным в него, — они только что познакомились в редакции «Светоча».

Упорное нежелание пожертвовать хотя бы «сотой долей того, что он купил жизнью мысли», отчаянные попытки «сохранить в целости те убеждения, литературные и общественные», которыми он принадлежал «гораздо более к пушкинской, чем к современной эпохе», — все это вело его от журнала к журналу, он нищенствовал, но, «храня как святыню свои убеждения», не желал оградить себя от голодной смерти хотя бы какими-то уступками чуждым ему мнениям и понятиям.

И тогда он предпринимает последнюю попытку — просит разрешить ему возобновить «Москвитянин». Десятки никому не известных людей получали подобные разрешения — на то и либеральные веяния! — Аполлону Григорьеву отказали. Написал умоляющее, отчаянное письмо Владимиру Федоровичу Одоевскому, просил помочь ему определиться хоть на какую-нибудь службу, иначе остается одно — запить мертвую. Владимир Федорович встретился с ним и 18 февраля 60-го года записал в дневник: «Я Григорьеву говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек даровитый, дошел до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости...» Каких? Их было у него всегда немало: увлечение социализмом? Но сколько прежних поклонников Фурье нынче занимают весьма солидные государственные посты; славянофильство? Понятно, космополитическая российская высшая бюрократия никогда не могла разделять славянофильских убеждений, ибо они слишком ненадежно увязывались с ее доктриной официального патриотизма, но какой же он теперь славянофил? Да и другим-то не так уж поминают их грехи — вон и Иван Аксаков возглавил газету «День». Масонство? Но им он увлекся ненадолго по молодости, да и то из чисто русского любопытства ко всему таинственному и полузапретному. Но и с «братьями-каменщиками» давно покончено, хотя он мог бы назвать немало имен тех, кто и сейчас, управляя страной, руководствуется велениями этого международного «братства строителей храма Соломона». А может, именно потому, что покончено?..

Как бы то ни было, это конец. Идти больше не к кому и некуда...

Тогда-то они и встретились.

Владимир Федорович Одоевский, узнав о предполагавшемся с нового, 61-го года журнале Достоевских, отписал Михаилу Михайловичу с просьбой помочь Григорьеву. Тот, зная отношение брата к Аполлону Александровичу, переговорил с ним, и Федор Михайлович с радостью принял известие о возможности работать вместе с таким человеком.

И вот — оба любители нескончаемого чаю — уже присматриваются, приноравливаются друг к другу. Среднего роста, плотный, тяжеловатый, Аполлон Григорьев, с неизменной палкой в руке, походил на опального боярина старых времен или уж, на худой конец, на умного, но разо-

рившегося купца. Светло-русый, с сединой — хоть и на год моложе Достоевского, — внимательно вглядывался в него своими проникающими глубоко, будто читающими книгу души, прекрасными острыми глазами. Хорош, весь хорош; нос орлиный, а борода! Пожалуй, стоит и себе бороду отпустить, а то лицо какое-то круглое, даже глупое сделалось после Сибири-то, а в усах, говорят, как был унтер-офицер, так и остался. Негоже писателю...

Да, у них много общего и в натурах, и в судьбах, и в отношении к действительности, литературе, в понимании народности и современных задач. Наконец, у них есть Пушкин: для обоих — пророчество и указание. Достоевский, правда, с сомнением относился к культу Островского — прекрасный писатель, но тянет ли в «пророки»? Да и запивает, говорят, нередко?

— Бывает, — ухмылялся Григорьев. — Но слышали бы вы, какие пророческие речи лились, бывало, даже из хмельных уст Островского.

Решили и драматурга привлечь в журнал. И Тургенева, «Дворянским гнездом» которого оба равно восторгались, как и «Губернскими очерками» Салтыкова.

Давно уже не работалось так Аполлону Григорьеву. С февраля по май 61-го года «Время» опубликовало десять его статей. Конечно, полного единодушия не было; Григорьеву не по душе пришлась явная тяга братьев Достоевских к «Современнику». Спорили, даже ругались. Мягкий, деликатный Страхов пытался занять примирительную позицию, хотя в вопросе о «Современнике» поддерживал Григорьева. В спорах прежде всего этих четырех и рождалось то не столько направление, сколько, пользуясь словом Григорьева, веяние, которое вскоре получило широкую известность под именем *почвенничества.*

Собственно, никакой особой статьи, которую можно было бы назвать программой, манифестом нового явления, они не подготовили. Но на страницах «Времени» постоянную прописку получили понятия «почва», «вернуться на родную почву», «почвенная сила», «беспочвенный» и т. д. как понятия центральные, определяющие основание новой общественно-политической идеи журнала.

Многие восприняли эту идею как лишь слегка перекрашенную в туманное понятие старую славянофильскую мысль; другие решили, что почва — это лишь новый «экзотический» синоним привычного понятия народ; третьи и вовсе предпочитали говорить о неопределенности, расплывчатости идеи, которую «почвенники» выдвинули, да еще и в качестве какого-то нового слова...

Действительно, назвать почвенничество мыслью совершенно новой нельзя, но и сами вожди «Времени» не смотрели на свое детище таким образом; скорее уж они видели в выдвинутой ими идее истинно русскую мысль именно потому, что она, как им представлялось, собирала воедино, синтезировала *все* наиболее плодотворное, что было выработано различными, даже и враждебными направлениями внутри русского национального самосознания.

И само понятие *почвы* в общественно-историческом смысле этого слова не представлялось столь уж экзотическим и неопределенным: оно давно уже употреблялось и у славянофилов («Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни», — писал, например, еще в 47-м году Константин Аксаков), и у революционных демократов — Белинского, Герцена, Добролюбова, и употреблялось действительно прежде всего как синоним народа, вернее — народных начал жизни.

Сохранив это значение, понятие «почва» обрело во «Времени» и новое качество: «почва» — это тот духовно-нравственный пласт общественно-политической жизни, на основе которого только и возможна встреча и органическое соединение интеллигенции и народа, образованности и народной нравственности; культуры и народности.

В отличие от славянофилов «почвенники» отнюдь не считали необходимым для России вернуться к нравственным и духовным основам, нарушенным петровскими реформами, не настаивали и на полном отрицании какого бы то ни было положительного восприятия общественно-исторического опыта Европы. Напротив, они предлагали исходить из реальной современной действительности, из тех форм жизни, которые сложились в результате преобразований Петра, именно с учетом европейского опыта развития. Они отрицали лишь возможность перенесения этого опыта, выработанного опять же на почве, но иной, западной культуры, на русскую почву, ибо считали, что любая идея, претендующая на жизнеспособность и плодотворность существования, должна быть не пересаживаемой, но естественно вырастающей из родной почвы. Но в России, утверждали авторы «Времени», такая почва есть, есть и высокие образцы, рожденные этой почвой: явление Пушкина — показатель ее жизнеспособности,

прямое проявление соединения начал мировой культуры и русской народности.

Отрицая жизнеспособность в смысле будущего развития в чистом виде как славянофильских, так и западнических теорий, «Время» не отрицало того, что «славянофилы и западники, по словам Достоевского, — тоже явление историческое и в высшей степени народное». А потому журнал и ратовал за собрание всего созидательного в идеях обеих враждующих партий, видя в них полюсы, но все же — единого развития русского национального самосознания. «Часть истины, — доказывает Достоевский, — есть в том и другом взгляде. И без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?»

Идеи почвы вызревали и вырабатывались в самый разгар крестьянской реформы. Манифест об освобождении крестьян из-под крепостной зависимости, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, официально опубликован наконец 5 марта в газетах и оглашен в церквах. Сам этот *факт*, что и говорить, отраден, однако сущность проведенной реформы никого, кроме официозных деятелей, готовых восхвалять любые правительственные меры, вне зависимости от их направленности, только за то одно, что они правительственные, не удовлетворила и не могла удовлетворить.

Рассказывали, что Некрасов, ждавший манифест с затаенной надеждой, настолько опечалился, прочитав его, что даже занемог. Чернышевский успокаивал его: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это».

Лидер современного славянофильства Иван Сергеевич Аксаков заявил, что «Положение» не может устроить крестьян уже и потому, что «это дурацкое положение на первой странице объявляет, что земля составляет неотъемлемую собственность помещика».

Герценовский «Колокол» опубликовал серию статей, определивших суть реформы так: «Народ царем обманут».

Даже министр внутренних дел Петр Александрович Валуев, принадлежавший по своему происхождению к старинному дворянскому роду, ведущему начало еще от боярина Вола (один из Валуевых, сподвижник Дмитрия

Донского, погиб в Куликовской битве), записал в своем дневнике:

«Новая эра. Сегодня объявлен Манифест об отмене крепостного состояния. Он не произвел сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение слышавших и читавших преимущественно останавливалось на двухгодичном сроке, определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. «Так еще два года!»... слышалось большей частью и в церквах, и на улицах. Из Москвы тамошнее начальство телеграфировало, что все обошлось спокойно «благодаря принятым мерам».

При появлении на улице императора «народ приветствовал его криком «ура!», но без особого энтузиазма. В театрах пели «Боже, царя храни!», но также без надлежащего подъема. Вечером никто не подумал об иллюминации...»

Другой отпрыск знатного рода, человек, лично близкий императору, князь Мещерский, отмечает в дневнике поразительное явление: мало того, что крестьяне освобождаются только лично, без земли, которую им еще предстоит выкупать у помещиков, правительство одновременно провело и питейную реформу, цель которой предусматривала удешевление водки и значительное расширение сети кабаков. Тем самым освобожденный от крепостной зависимости и от земли крестьянин получал сразу же и, так сказать, направление приложения своей свободы. А в море водки, как известно, и богатыри тонут...

Узнав, что земли они не получат, крестьяне заволновались: и твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет... Официальный отчет III отделения отметил за 1861 год 1176 крестьянских бунтов, наиболее крупные из которых произошли в Пензенской и Тамбовской губерниях и особенно в селах Кандеевка и Бездна Казанской губернии.

Реформа, предпринятая в целях умиротворения всех слоев общества, по существу, привела из-за своей половинчатости, не устроившей никого, к обострению противоречий, к усилению недовольства существующим положением как раз во всех слоях общества.

Но иной она и действительно не могла быть. Реформа эта готовилась давно, еще со времен императора Александ-

ра I. Издавались даже разного рода рескрипты и постановления, долженствующие хоть как-то облегчить решение важнейшей для России проблемы, однако даже и эти робкие полумеры практически оставались только на бумаге, в безднах которой захлебывались, тонули и не доплывали до намеченного берега. Так, еще в 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, по которому землевладельцы имели право отпускать за выкуп крестьян вместе с землей.

Николай I, также не оставлявший мысли о неминуемой реформе, встретился, однако, с существенными препятствиями на пути ее осуществления. И дело было не только в том, что, опасаясь как крестьянской пугачевщины, так памятуя о 25-м годе, и в не меньшей мере дворянской фронды, царь должен был бы разрешить неразрешаемую задачу таким образом, чтоб и волки были сыты, и овцы целы. Дело еще и в другом: для того чтобы провести хоть какую-нибудь реформу, необходимо сначала как-то преобразовать бюрократический аппарат государства.

В начале царствования, писал позднее современник Достоевского, известный историк В. О. Ключевский, «император пришел в ужас, узнав, что только по ведомству юстиции» накопилось 3 миллиона 300 тысяч нерешенных дел, «которые изложены... на 33 миллионах писаных листов». Чтобы как-то решить только одно из них — нашумевшее дело о некоем откупщике, изложенное на нескольких десятках тысяч листов, было величайше приказано отобрать самые существенные из этих бумаг и препроводить для окончательного решения из Москвы в Петербург. «Наняли несколько десятков подвод, погрузили дело, отправили, и оно все, до последнего листка, пропало без вести... несмотря на строжайший приказ Сената: пропали листы, подводы и извозчики».

В 42-м году Николай I издал указ, гласящий о том, что личность крестьянина не есть частная собственность помещика, а в 47-м постановление, разрешающее крестьянам имений выкупаться с землей на волю. Однако даже и имевшие на то достаточное состояние крестьяне не могли воспользоваться своим правом именно по закону: когда крестьянам отказывали дать волю и они обращались в соответствующие инстанции за разъяснением, чиновники открывали пухлые тома Свода Законов Российской империи, разыскивали известный им наизусть закон и... не находили его. «Он не был отменен, — пишет

В. О. Ключевский, — он пропал без вести, как известное дело об откупщике».

Создавалось прелюбопытное положение — даже самодержавие императора оказывалось призрачным перед истинным самодержавием российской высшей бюрократии. «Высшая власть, — продолжает Ключевский, — никогда не отменяла закона: бюрократия, устроенная для установления строгого порядка во всем, представляла собой единственное в мире правительство, которое крадет у народа законы, изданные высшей властью», но что особенно важно — «в нашей внутренней истории XIX века нет ничего любопытнее применения законов о крепостных и крестьянах... ничто так не наводит на размышление о свойстве государственного порядка...»

И проведение в жизнь реформы 61-го года встретило упорнейшее сопротивление высшей бюрократии. Положение об отмене крепостного состояния в конце концов и обрело такие формы, которые вызвали возмущение как крестьян, так и самих помещиков: очевидно, задача бюрократической реформы, в то время мало еще кем понятая, состояла в удовлетворении потребностей совершенно иной силы, властно заявившей о себе в Европе, а теперь и в России. Сила эта звалась мировым капиталом, с его подлинной властью, учреждаемой международным банком *, — единственным хозяином положения, вполне готовым к тому, чтобы воспользоваться результатами реформы, чтобы теперь наконец вполне обнаружить свою подлинную власть. Так, например, в ходе подготовки Положения оказалось, что если бы даже среди борющихся группировок победили сторонники освобождения крестьян с землей, то в таком виде реформа все равно неминуемо разорила бы крестьян и тут же превратила бы их в рабов капитала: дело в том, что, как выяснилось, большинство помещичьих земель, которые по некоторым проектам должны были отойти крестьянам, давно уже были заложены и перезаложены под огромные проценты, так что фактически принадлежали отечественной, а

* Именно эту сущность реформы особо подчеркивал В. И. Ленин: «Крестьянская реформа, — писал он, — была проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию. Содержание крепостной реформы было буржуазное... И после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века» (Соч., изд. 4-е, т. 17, с. 93—101).

по большей части и международной банковской олигархии. Издать закон о переходе земель в частную собственность крестьян — значило оформить право на эти земли международного банка и юридически. Но и выкуп крестьянами тех же земель становился лишь более завуалированной формой все той же выплаты процентов — только через посредство государства — и тем самым скрытой формой нового закрепощения теперь уже не русским помещиком, но в конечном счете мировым капиталом *.

Парадоксальная, даже фантастическая действительность нарождающейся новой эпохи в корне ломала привычные представления о сложившейся веками, плохой ли, хорошей ли, но определенной иерархии ценностей, зависимости причин и следствий, о добре и зле, нравственном и безнравственном и о самой реальности и фантастичности происходящего.

В самом деле, если бы русскому мужику каким-либо образом можно было объяснить, что деньги, которые не одному еще поколению придется добывать, потом и кровью поливая землицу, чтобы выкупить ее, наконец, что эти деньги только частью осядут в государевой казне, а большей долей, обмененные на чистое золото, отправятся в какие-то *банки*, должно быть железные, а может, и тоже золотые, но уж точно — огромные и все больше аглицкие да французские; если б можно было растолковать ему, что из тех медных копеечек, которые несет он в «царев кабак», постепенно складываются золотые миллионы, идущие в конце концов все в те же — бездонные они, что ли? — банки и что, чем водка дешевле, тем быстрее набегают эти миллионы, поскольку копеечку не жалко отдать в «государеву казну», да еще не за так, а за рюмку, да и отчитываться теперь ему не перед кем, никто теперь даже выпороть, коли пьян, не посмеет, ибо он теперь свободен и сам себе хозяин!..

* И на эту сторону результатов реформы В. И. Ленин обращал особое внимание: «Содержание крестьянской реформы было буржуазным, — продолжим только что цитированную мысль В. И. Ленина, — и это содержание выступало наружу тем сильнее, чем *меньше* урезывались крестьянские земли, чем *полнее* отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам (т. е. «выкупа»), чем *свободнее* от влияния и от давления устраивались крестьяне... *Поскольку* он (крестьянин. — *Ю. С.)* становился под власть денег, попадал в условия товарного производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала».

Рассказывали, будто при обсуждении вопроса об отмене телесных наказаний кто-то из либеральных министров выразился озабоченно: «Господа! Конечно, теперь, после Высочайшего Положения об отмене крепостного состояния пороть мужика не гуманно, но... Но, господа, с другой стороны, что мы можем предложить ему взамен?..» Ну не фантастично ли? А ведь это все действительность, самая что ни на есть реальная, даже обыденная действительность...

Да, так вот если бы порассказать да порастолковать все это мужику, он бы, пожалуй, долго чесал затылок в задумчивости, сумневался бы и... ни за что не поверил бы: как-то уже очень оно все срамно и не по-христиански получается, чтобы быть правдой. И вот в этом-то народном неверии в окончательное торжество зла и заключались для Достоевского истоки его веры в народ, в его идеал правды. Нет, нет, он не разделял дон-кихотского, как он его называл, и кабинетного убеждения славянофилов в чистой, незамутненной и неискушенной жизни народа, — он слишком хорошо и слишком близко видел реальных представителей народной среды, слишком хорошо понимал, какие соблазны ждут еще впереди народ, знал: многим и многим не уйти, не избежать искушения буржуазностью. Но народ не просто арифметическая сумма составляющих его единиц, народ для него и понятие духовное, это то живое, человеческое средоточие, в котором зреет, хранится и приумножается идеал добра, правды, красоты. Да и в этом смысле народ — это прежде всего крестьяне, ремесленники, работники. Но народ — это и люди, которым дано выразить общие идеалы. Народ — это и Пушкин... Может быть, и Гоголь, Белинский, Островский... И дело в конечном счете не в том, каков процент носителей и выразителей общенародных идеалов, а в сохранении самих этих идеалов — в том-то и основная задача, в том-то и назначение литературы, полагал Достоевский, и потому, сколь бы ни был повальным зуд грядущего капиталистического разврата, которого не избежать — он был в этом убежден — и народу, но пока будет в нем жив идеал, он останется духовно нерушимым, способным преодолеть любые соблазны, искушения, кризисы и болезни.

В подобных размышлениях продвигались к завершению «Записки из мертвого дома». Да и «Униженные и оскорбленные» мало-помалу обретали завершающие очертания.

Но ощущение фантастичности происходящего не покидало его. Мужик и впрямь не поверил бы... А вот каково человеку образованному, искушенному мыслью, не просто услышать, но увидеть воочию такую быль, какой и во сне не привидится. Ну можно ли поверить, чтоб покойный самодержец российский, от одного имени которого трепетала Европа, стал бы унизительно шаркать ножкой перед каким-то иностранным бароном? Еще дед этого барона копил первые золотые, торгуя живым товаром, а попросту говоря — занимаясь поставкой несчастных женщин в публичные дома, но уже внук его — «мосье Джеймс де Ротшильд» — однажды продиктовал свои условия императору Николаю Романову, и тот, устрашенный, «платил, по величайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению...». Эту фантастическую быль описал Герцен в «Былом и думах»; говорят, Александр II не преминул ознакомиться с сочинением крамольного автора — что ж, небесполезно, небесполезно...

Миллион — вот истинно бог всемогущий нашей эпохи. У кого миллион — тот и император, тот и самодержец, ибо все продается и все покупается... Взять хоть бы нашумевшую историю с Волгой — ну удивила, позабавила даже, и все. Мир не перевернулся, никто, кому следовало, не пошевелился, даже чтоб упредить возможность подобного. Зачем? Случай, да, фантастический, исключительный, тут и хлопотать не о чем. А Волга на всем своем протяжении, со всеми своими истоками и притоками чуть было не перешла навечно в частную собственность некоего Эпштейна. И, главное, сделка эта уже была оформлена по всем ведомствам, но вот в министерстве финансов какой-то упрямый Акакий Акакиевич заметил в одной из многочисленных бумаг не к месту выскочившую запятую, ну шум пошел, дело получило огласку.

Но если б не настоятельное ходатайство влиятельного Рейтерна Михаила Христофоровича, которого прочат в министры финансов, неизвестно еще, чем бы все закончилось... И как дело-то обнаружилось, думаете, что ж — в кандалы подлеца, в Сибирь? Ничего подобного — извинились превежливо за несостоявшуюся сделку, ибо банкир, миллионщик — почет и уважение; на его миллионах и государства, мол, держатся, хотя кто-то из французов еще в XVIII веке верно заметил, что банкиры поддерживают государство, как веревка поддерживает повешенного...

Тихо в кабинете Федора Михайловича. Только перо поскрипывает да слышно, как за дверью Мария Дмитриевна бранит «одного литератора», возомнившего себя Гоголем. Как-то не выдержал, сказал, что Гоголь, если б его так постоянно бранили, не то что «Мертвые души», вряд ли бы вообще что-нибудь написал, на что Мария Дмитриевна, хмыкнув, заметила: «Но ты-то ведь не Гоголь!» После чего он предпочитал помалкивать.

То и дело о деньгах:

— Пашу вон одеть не во что, а он уже не ребенок — ему прилично одеваться подобает...

Должно быть, опять кризис у жены обострился; чахотка вконец растравляет нервы несчастной женщины; он уже почти привык к ее вспышкам и умеет сдерживать себя. Но денег действительно нет: все уходит на журнал, а «Время», если пойдет хорошо, начнет возмещать затраты года лишь через два, пожалуй.

Порой так холодно станет вдруг на сердце, словно тот вселенский паучок только что мелькнул в темном углу кабинета, забежал по дороге в какую-нибудь острожную или деревенскую баньку — отогреться от космического холода. Тяжесть наваливалась на грудь — должно быть, к припадку.

Делился своими ночными думами и тревогами с Аполлоном Григорьевым.

— Э-эх! Друзья любезные, — горячился Аполлон, — народился антихрист в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, а вы все еще к Чернышевскому прислушиваетесь, все еще в фаланстеры Фурье веруете по старинке... Да поймите же вы все, поймите наконец вы, верующие в душу, в безграничность жизни, в красоту, — поймите, что все мы даже к церкви — о ужас! — ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество... Поймите, — горячился Григорьев, — что испокон веку были два знамени: на одном написано: «Личность, стремление, свобода, искусства, бесконечность». На другом: «Человечество — а вернее, по остроумному переводу юродствующего Аскоченского, —

человечина, материальное благосостояние, однообразие, централизация...» Личности отменяются, народности уничтожаются во имя отвлеченного, единородного, в форменном мундире человечества... Но, милые мои, разве же социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти императора Николая Павловича и фаланстер лучше его казарм? Приспосабливать свои идеалы к злобе дня не умею, жить в ожидании, пока усовершенствуется человечина, не желаю, ибо это уж, милые мои, худшая из утопий, ибо это же случится, когда черт умрет, а у него, по сказаниям, еще и голова не болела, он, повторяю вам, только народился... Нет, — громыхал он своей тяжелой палкой по полу, — я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела, я верую в свободу личности, в красоту души и надеюсь помереть, пусть и в долговой яме, но свободным, а мундир никакой не надену и в клетку, пусть самую золотую и хрустальную, как вы ее ни называйте: фаланстером ли, коммуной, — ни за каким счастьем не полезу, а коли загонят даже, все равно изловчусь, а кукиш ей покажу, однако... Ну да вам все равно не понять... Уеду-ка я, пожалуй, в Оренбург, а? Там уж и место для меня подыскали — учителя гимназии...

Достоевскому до болей сердечных жаль было мятущуюся душу Аполлона Александровича, но все более сознавал: не уживутся — ум прекрасный, но Дон-Кихот, не деятель...

Над Достоевскими даже потешались, узнавая, что они пытаются прижившть к своему журналу Григорьева.

Алмазов, давний приятель Аполлона, пустил в ход, пожалуй, самую беззлобную из всех ходивших о нем эпиграмм:

Мрачен лик, взор дико блещет,
Ум от чтенья извращен,
Речь парадоксами хлещет:
Се — Григорьев Аполлон!
Кто ж тебя в свое изданье
Без контроля допустил?
Ты, невинное созданье,
Достоевский Михаил!

Близко знавший Григорьева Яков Полонский писал о нем (правда, с долей неизжитых личных обид): «Григорьев... человек замечательный... одарен несомненно громадными способностями, и если б ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям, он не остался бы непонятым и, быть может, был бы единственным критиком нашего времени...

Призраки беспрестанно мешали ему: истины он не видал, он иногда только ее вдохновенно угадывал — он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. Рутина была ему невыносима; он искал нового пути — быть может, даже не раз находил его, но ни сам не мог хорошо разглядеть его, ни другим указать...

В одно и то же время он совмещал в себе и попа, и скомороха, и Дон-Кихота, и Гамлета...

Если б Григорьев родился в XVII столетии, он надел бы на себя вериги и босой, с посохом, ходил бы по городам и селам, вдохновенно проповедуя пост и молитву, и заходил бы в святые обители для того, чтоб бражничать и развратничать с толстобрюхими монахами — и, быть может, вместе с ними глумиться и над постом, и над молитвою...

В наше время Григорьев упивался православными проповедями, уединенным мышлением Киреевского и в то же время наизусть читал патриотические стихотворения Майкова, а в 1860 году клал на музыку и пел известное стихотворение:

Долго нас помещики душили —

и окрашивался в красный цвет на студенческих попойках...

Конечно, для человека, который не более как *веяние*, простительно. Кто спросит, где зарождается ветер и куда он будет дуть через полчаса?..»

Но, может быть, никому другому с такой откровенностью, как Достоевскому, не открывалась трагедия личности нового друга, никому другому не виделось, сколько стихий выбрали местом борений его душу, открытую всем горним высотам и земным глубинам.

А тут еще захватило Григорьева мучительное увлечение, а может, и любовь, к Марии Федоровне Дубровской, как будто в отместку той, первой, возвышенной, — любовь странная, тоже чисто григорьевская, в которой переплелись жалость, страсть, долг: Мария Федоровна, «девица легкого поведения», однажды пришла к нему, да так у него и осталась...

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

Достоевскому помнились эти любимые им некрасовские стихи:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек...

Да, подчас в поэзии куда как все просто и красиво, а тут жизнь во всей своей бытовой мороке. Эх, Аполлон Александрович, неисправимый идеалист, величайший Дон-Кихот насквозь проеденного практицизмом и эгоизмом, скептического XIX века, и правда, видать, не жилец ты во «Времени»...

Однако, как бы ни мучили его страдания близких, дорогих ему людей, а нужно было жить и самому, а жить теперь значило для него — работать и ночью и днем. «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные»... И ответ «Русскому вестнику», хоть умри, а к майскому номеру должен подготовить. Достоевский в который раз перечитывал «Египетские ночи».

Его давно уже буквально выводило из себя одно странное обстоятельство: критики до сих пор силятся не понимать Пушкина и даже в этой леденящей душу картине двухтысячелетней давности, пророчествующей о будущем, — а может быть, как знать, уже и о нашем сегодняшнем настоящем — видеть не более как поэтически пикантную вольность, нечто маркиз-де-садовское...

Да, в «Египетских ночах» изображен лишь «момент римской жизни и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах жизни так, чтоб по этому моменту, по этому уголку предугадывалась бы и становилась понятной вся картина...» Вся картина тогдашней жизни. Он всегда чувствовал — здесь, именно здесь то, что он называл пушкинскими пророчествами и указаниями.

Зачем нужна была египетская царица русскому Пушкину? «Что ему Гекуба, что он Гекубе?..» Не затем же, чтоб позабавить читателей сюжетом о вызове, брошенном женщиной: кто купит ее тело ценой жизни? Жизнь, вся жизнь за одну ночь страсти — зачем? О прошлом ли только думал поэт или виделось ему нечто предупреждающее в этой древней легенде? Ведь подобные сюжеты

могли родиться лишь в обществе, «под которым уже давно пошатнулись его основания», когда уже «утрачена всякая вера, надежда, мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо попробовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело... и чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражают свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает...»

Все так или почти так же, как и в наше больное время, а не сегодня, так уж завтра точно будет так же; тут аналогия, тут напоминание, предупреждение о наступающем крахе: как и две тысячи лет назад грядут времена великих потрясений, сомнений и отрицаний, ибо дворянская наша античность уже позади, от нее остались только красивые формы, но нет уже руководящей идеи; впереди же — варварство буржуа, рвущегося к своему золотому корыту. Старые идеалы презираемы и побиваемы, новые несут лишь идею всеобщего поедания слабых сильными, бедных богатыми; хаос и разрушение... Существует реально одно настоящее без высших духовных потребностей.

Собственно, что такое Клеопатра? Прекрасное тело без души, красота без духа; «в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука...». Это образ и символ мира на самом краю бездны, пророчество о его гибели.

От всей картины «холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель...

И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!..»

Достоевский почти физически, как бы на себе самом ощущал зародыши начинающегося «химического распада» общества. Нужно что-то делать. И у него нет иного оружия, кроме слова, и он обязан сказать его, это воскрешающее мир слово: пути ясны, да очи слепы...

2. Европа

А время теперь мчалось, и не бешеной тройкой, а казалось, все больше как бы с железным грохотом и присвистом. Вот нужно ответить на целую груду неотвеченных писем, а и то некогда. Все-таки Якову Петровичу Полонскому нельзя не написать — в Австрию укатил, еще не знает, что «Время» напечатало его роман в стихах «Свежее предание»:

«...Да, кстати, когда вы приедете и все ли время пробудете только в одной Австрии? Италия под боком, как, кажется, не соблазниться и не съездить? Счастливый вы человек! Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Еще с романов Ратклиф... Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели и теперь не удастся поездить?..»

Отписал и Александре Карловне, свояченице литератора Порецкого, с которой познакомился случайно в поезде во время одной из поездок в Москву, — и без того сколько уже обиженных на него: тому ответил не вовремя, тому показалось, будто он поздоровался как-то не слишком горячо, третий и вовсе решил — Достоевский-де зазнался, не хочет узнавать, и пошла гулять легенда: и заносчивый он, и угрюмый, и вообще не такой... А у него после каждого припадка (они все учащаются) по неделе жуткие головные боли и тоска — себя самого ненавидишь до отвращения. А тут еще и вовсе память стало отшибать на два-три дня; видишь, лицо знакомое, а кто — никак не вспомнишь. Одно время чуть не со всеми подряд на всякий случай раскланивался, так на него уж и кивать стали с подмигиванием и перешептываться ухмыляючись...

«...Вы спрашиваете: прошла ли моя тоска? Ей-богу, нет, и если б не работа, то я бы заболел от уныния. А между тем мне так мало нужно. Ведь я знаю сам, что мне нужно мало, и даже знаю, что именно нужно: хороших людей. Как вы думаете, это много или мало?

...В Петербурге самое интересное во всех отношениях время — осень, особенно если не очень ненастна. Осенью закипает новая жизнь на весь год, начинаются новые предприятия, приезжают новые люди, являются новые литературные произведения. Предчувствую, что эта осень и

зима промелькнут скоро: а там весной непременно за границу.

...Не взыщите меня за глупое письмо. Глупое потому, что все о себе писал... Охотница ли вы до ягод, до яблок и до груш? Вот это самое лучшее, что есть в лете...»

Аполлон Григорьев все-таки уехал. Живет теперь в Оренбурге вместе с Марией Федоровной. Измучает она его вконец...

«Время» идет хорошо, платит хорошо; «Время» мной дорожило и дорожит, — объяснял Григорьев старым друзьям, решившим было, будто Достоевские чем обидели его. — Но «Время» имеет наклонность очевидную к Чернышевскому с компанией, — и я не остался в Петербурге».

Вот попробуй и угоди друзьям — Николай Николаевич Страхов, так тот, напротив, убеждает всех, что Федор Михайлович бессознательный славянофил и непонятно, отчего и зачем спорит с «русской партией».

Достоевский высоко ценил талант Григорьева, и разлука с ним приносила ему новые душевные печали, но вместе с тем он понимал и не раз говорил об этом ему самому: «Вы, Аполлон Александрович, не деятель». «Я полагаю, — писал он чуть позже, — что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания».

Григорьев отвечал из Оренбурга Страхову, зная, что тот делится его письмами с Достоевским: «Да, я не деятель, Федор Михайлович! И признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу купаться в ней... я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мертвую, нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца...»

Григорьев любил своего «деятельного», как ему казалось, друга, но именно деятельность-то ему и не нравилась. И уже в письмах, предназначенных не для Федора Михайловича, Григорьев упрекает его ближайших друзей, буквально умоляя их «не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить и беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически».

Но что действительно поражало Достоевского в письмах Аполлона Григорьева, так это, по видимости, туманные видения и неясные пророчествования: «...В словах так называемого Писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе божественной иронии, есть слова: страх, его же убояхся, найде на мя, — страшный смысл которых рано или поздно откроется тебе... как давно уже раскрылся он мне...

Чего мы боимся — то именно к нам и приходит...» Но еще несколько фраз, и вся неясность улетучивалась и внутренний смысл туманных слов обрисовывался вдруг вполне рельефно и современно:

«Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности...»

...Да ведь именно этот-то вопрос более всего измучивал и Достоевского, он-то более всего и подвигал его к «фельетонной» деятельности, о нем-то и толковал он в споре о «Египетских ночах».

А вот госпожа Толмачева, урожденная Эверисман, о которой уже успели забыть, но которая вновь напомнила о себе: бросила своего мужа, ретроградного председателя пермской казенной палаты господина Толмачева и бежала с прогрессивным журналистом Таммерманом, — да-да, тем самым, который и поведал в «Санкт-Петербургских ведомостях» о черных глазах Евгении Эдуардовны, загоравшихся во время чтения ею «Египетских ночей», — в Казань, а затем и за границу. Через сотрудников «Времени», тайных корреспондентов «Колокола», Достоевский узнал, что заезжала Толмачева и к Герцену, однако принял ли ее Герцен — осталось неизвестным.

Между тем появились в прессе первые отклики на «Униженных и оскорбленных», и они радовали. В «Современнике» отозвался сам Чернышевский, отметивший и психологическую глубину романа, и новизну художественной разработки нравственных проблем. Похвалил новое детище и Аполлон Григорьев, поздравивший Достоевского с решительным отходом от сентиментального натурализма (как он именовал ветвь «натуральной школы») 40-х годов. А сентябрьский номер «Современника» вышел с большой статьей Добролюбова «Забитые люди», почти полностью посвященной Достоевскому.

Эту статью Федор Михайлович читал с особым вниманием. Добролюбов начал с напоминания давней оценки его таланта Белинским: «Достоевский принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много в продолжение его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы...» Если в течение десятилетнего молчания Достоевского иногда и вспоминали, продолжал Добролюбов, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть. Но вот Достоевский явился с новым произведением, и что ж, роман «очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою... Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строго художественной критики!..»

Это уже хоть и не прямой, но ответ на «Господина —бова...»: вот, дескать, произведение, лучшее за год (хотя что в этом году-то появилось заметное?), а и то говорить о художественной значимости его не приходится, так что, если следовать совету самого Достоевского, говорить о нем и вовсе не стоило бы, но мы, мол, говорить все-таки будем, потому что, кроме художественных достоинств, есть в нем нечто поважнее: отражение жизненных реалий — о них и речь. Вот: «...надо быть слишком наивным и несведущим, чтоб серьезно разбирать эстетическое значение романа, который обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение...» Ладно, это Достоевского не обижало — сам полемист, он прекрасно улавливал и суть полемического хода своего оппонента, а частично даже и соглашался с ним: произведение действительно вышло дикое, растянутое. Вот и Аполлон Григорьев хвалил, а теперь ругает: «Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей, что за мощь мечтательного и исключительного и что за незнание жизни...» Но Достоевский убежден — и здесь есть с полсотни страниц, которыми он может гордиться, да и Валковского они все-таки не поняли... Однако в целом статья Добролюбова

более чем благожелательна. Огорчило и раздосадовало его другое:

«У Пушкина, — пишет Добролюбов, явно отвечая на упрек Достоевского в недооценке Пушкина, — проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как человеку, но и то большей частью в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком мало серьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни...

Только Гоголь, да и то не вдруг, вносит в нашу литературу гуманистический элемент... По этому-то пути направился и г. Достоевский...»

Умные люди, передовые умы, а Пушкина никак не уразумеют! — огорчался Достоевский. Пушкинского пути не видят и видеть не хотят — вот что прискорбно и чревато для умственной и нравственной нашей-то самостоятельности... С Добролюбовым нужно спорить, и не в одних статьях, но и с глазу на глаз — благо недавно познакомились. В этом году он со многими сошелся — и с Чернышевским, и с Гончаровым, и с Островским, и с Салтыковым-Щедриным заново...

Вот и стукнуло ему сорок. Отметили скромно: пришли Страхов да Майков с женой. Достоевский старался шутить, бодрился, но видно по всему — сегодня ему особенно грустно; бледный какой-то, осунулся — или это недавно отпущенная борода худит? — Мария Дмитриевна, сколько хватило сил, изображала хозяйку дома, старалась быть приветливой, но в конце все-таки сорвалась, устроила истерику. Невеселое зрелище. Федор Михайлович как мог баловал ее то сладостями, то, глядишь, новым платьем, то сумочкой дамской модной.

Сорокалетие навалилось долгими грустными раздумьями — жизнь все быстрее катится к старости, если проклятая болезнь даст еще добрести до нее, конечно... А главное — затаенное, потому что и высказать некому — детки... Как ему хотелось детей!

Александр Петрович Милюков, по-прежнему часто бывавший у Достоевского, не раз замечал, с какой симпатией относился Федор Михайлович к детям, с каким участием следил за их играми, с какой непринужденностью входил в их интересы, вслушивался в их наивные разговоры.

Однажды Милюков рассказал показавшуюся ему забавной сценку:

— Как-то летом сижу вечером у открытого окна. Пастух гонит коров, играя на своей двухаршинной трубе. Вдруг какой-то мальчик-мастеровой, в пестрядевом халатишке и без сапог, подбегает к пастуху, протягивает ему грошик, чтоб тот позволил ему тоже немного поиграть. Пастух соглашается, объясняет мальчонке премудрость своего нехитрого инструмента. Мало-помалу из трубы слышатся резкие, отрывистые звуки. Мальчик, довольный, старается, и вот уже раздалась такая звонкая трель, что даже коровы дружно замычали. И вдруг откуда ни возьмись городовой, схватил мальчонку за ухо и орет: «Я, мол, тебе! Что балуешь?..» Мальчик, конечно, оторопел, бросил трубу и побежал, как-то уж очень печально опустив голову...

Достоевский нервно заходил по комнате:

— Неужели вот этот случай кажется только забавным? Да ведь это драма, и серьезная драма! Бедный мальчишка этот родился в какой-нибудь деревне, по целым дням был на свежем воздухе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы или за ягодами, видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют. Может быть, тятька или там дядя какой-нибудь на телегу с сенокоса посадит его или даже верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребенка была какая-нибудь свистулька... И вот привезли его в Петербург и отдали на годы в ученье, или, лучше сказать, на мученье, к какому-нибудь слесарю или меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской, в непроглядном дыму и копоти, и не слышит ничего, кроме стука молотков по меди да ругани подмастерьев. Да ведь это же настоящий маленький «мертвый дом», где ему суждено вести каторжную жизнь много лет... Все развлечение его в том только, что хозяин пошлет сбегать в кабак за водкой, да в светлый праздник он пошатается на вонючем дворе, да может постоять у ворот, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки завелся грош, и он не проел его на прянике, не пропил на грушевом квасу, а видит — гонят коровушек, и у пастуха дудка. Захотелось ему удовлетворить высшей эстетической — да-да, эстетической! — потребности, присущей всякому человеку, и отдает он последний свой грош, чтоб минуту, только минуту бы поиграть... И коровы-то замычали — откликаются ему по-деревенски. И вот — блюститель порядка... Да поймите же, сколько в этом трогательного, какая это драма!

Бог один, должно быть, только и слышал стоны его ничем не утолимой жажды отцовства.

В ноябре — будто обухом по голове — весть: в ночь с 16-го на 17-е сгорел от чахотки Добролюбов. Вот и поспорили, поговорили... Достоевский не любил расхожие среди его окружения разговоры о «зарвавшемся мальчишке», «свистуне», он верил, что из этого мальчика может вырасти могучий деятель, близкий ему по духу, он и сейчас ощущал в этой болезненной телом натуре родственные ему черты: искренность таланта, готовность идти в бой за свои убеждения, веру — пусть и иную, чем его, — в будущее русского народа. Он знал, Добролюбову, как и ему самому, врачи сулили поправить здоровье, если он откажется от нещадной его эксплуатации.

— Если бы мне предложили дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, — сказал Добролюбов однажды, — я, не колеблясь, предпочел бы лучше прожить только до тридцати лет, но не бросать журнальную деятельность.

Он не дожил двух месяцев до двадцати шести...

Декабрь принес новый удар, и он снова был связан с «Современником»: журнал опубликовал полемическую статью, скорее даже фельетон — «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)», — за подписью «Посторонний сатирик». Достоевский был немало раздосадован: «Время», не раз уже вступавшееся в открытую за «Современник», становилось вдруг объектом насмешек не «Русского вестника», как это продолжалось на протяжении всего года, но самого же «Современника». Автором статьи оказался новый сотрудник журнала, недавно окончивший духовную академию, 26-летний Антонович. Он обвинял почвенников во фразерстве, в отсутствии какой бы то ни было положительной идеи, в том, что они не потрудились даже уяснить для себя, о чем, собственно, хлопочут. В самом деле: «Многочисленные солидные умы совершенно серьезно препирались между собою о том: ...Пушкин народный ли поэт? Квас лучшее ли питье, чем вода?..»

Конечно, иронизировал Антонович, если под словом «почва» понимать — народ, то это весьма гуманно говорить о почве, но рецепты, которые предлагают почвенники, не годны, так как, во-первых, грамотность и образование народа не решают проблемы: «Как ни восхваляйте грамотность, а желудок всегда берет свое... Даже возвышенные эстетические наслаждения подчиняются желудку, или, выражаясь деликатнее, чувству голода». Вот, «если бы каждый член почвы имел порядочный капиталец, поверьте, он не поскупился бы для того, чтобы поучить детей своих уму-разуму...». Антонович защищал материализм от почвеннического идеализма, намекал на то, что «Время»-де по своим взглядам недалеко ушло от катковского «Русского вестника».

— Хорош материализм! — возмущался Достоевский. — Пушкина свели к вопросу о «квасе», проблему народа к «желудку» и «капиталу»: живи, дескать, в свое пузо, а все остальное само собой приложится *. Нет, пусть уж нас лучше ругают ретроградами и идеалистами, но мы такого никогда не скажем и народу не пожелаем. Да и разве же «Время» хоть где-нибудь высказалось против необходимости улучшения народного быта? Да оно в каждом номере твердит об этом настойчивей самого «Современника», но мы — идеалисты, да, идеалисты, потому что считаем главным все-таки не нутро, а идеал, идею, без которых и само материальное благосостояние непременно приведет к полному развращению, к гибели народа. Что в основе — дух или желудок? Вот в этом-то и весь вопрос, — горячился Достоевский, но от полемики с «Современником» пока отказался. Думалось, может быть, выпад случаен? Хотя и понимал: без ведома Чернышевского такой выпад никому не известного сотрудника появиться не должен бы...

Конец года несколько скрасило письмо Тургенева, пришедшее из Парижа: «Очень Вам благодарен за присылку двух номеров «Времени», которые я читаю с большим удовольствием. Особенно Ваши «Записки из мертвого дома». Картина бани просто дантовская».

Да, Достоевский тоже мог быть доволен «Временем». К журналу тянутся талантливые авторы: известные — Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин, Майков, Полонский, Плещеев и молодые — Крестовский, Лесков, Помяловский, Мей, Левитов... И читатели его приняли тепло: подписка на 62-й год идет сверх ожиданий.

На «Мертвый дом» надеялся, конечно, да ведь на какое из своих произведений он не надеялся? Но чтобы такой восторженный успех, такое потрясение, кажется, чуть не всей России, — об этом он мог мечтать разве что в давних своих, еще юношеских мечтах. Его теперь сравнивали с Данте, то называли новым Вергилием, ко-

* М. А. Антонович, как отмечают советские исследователи, действительно вульгаризировал материалистические воззрения Чернышевского, исповедуя «физиологический материализм» Бюхнера и Молешотта.

торый ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный *, на каждом литературном вечере просили читать отрывки из «Записок», устраивая небывалые овации; молодежь боготворила его. Он снова становился кумиром, хотя это и достойно грустной усмешки — слишком уж хорошо знал цену подобных вознесений. На днях, в ночь с 18 на 19 февраля (вот и 62-й наступил), скончался Иван Иванович Панаев, человек, которому он обязан двумя незабываемыми на всю жизнь переживаниями: встречей с Авдотьей Яковлевной и кличкой «литературный кумирчик». Обида, конечно, давно утихла, да и не в ней дело: порвалось еще одно звено невидимой цепи, связующей его с той тревожной и чудной порой, когда все еще было впереди. Грустно, особенно на пятом десятке: жаль отчего-то даже старых пересмешников своих. Может, еще и оттого, что их-то уже не вернешь, а новые все равно отыщутся, придумают что-нибудь и похлестче «кумирчика».

А он смущается читать публично свои «Записки», все больше норовит — Пушкина, объясняет друзьям: оно, знаете, как-то стыдно — все кажется, будто я жалуюсь...

И все же он не мог отказать, когда устроители литературно-музыкального вечера пригласили его на 2 марта прочитать что-нибудь из «Мертвого дома». Официально вечер проводился в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам, ученым и студентам, на самом же деле для сбора средств недавно арестованным за связь с Герценом поэту Михаилу Ларионовичу Михайлову и Владимиру Александровичу Обручеву, и Достоевский знал об этой истинной цели вечера. Льстило ему и другое: состав выступающих тщательно отбирался по строгому

* Как показало время, успех этот не был случайным или быстротечным. Так, например, Герцен в 1864 году писал: «...эта эпоха оставила нам одну страшную книгу... которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это «Мертвый дом» Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей-каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе «Буонаротти». Лев Толстой в 1880 году: «...читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы...»; В. И. Ленин говорил В. Бонч-Бруевичу: «Записки из мертвого дома» являются непревзойденным произведением русской и мировой литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и «Мертвый дом», в котором жил русский народ при царях из дома Романовых».

принципу — вечер должен был стать своеобразной демонстрацией самых передовых, самых прогрессивных сил русской литературы и культуры. К тому же вызывала любопытство и ожидавшаяся речь известного либерала, профессора истории Петербургского университета Платона Васильевича Павлова — «Тысячелетие России». Вовсю уже шла подготовка к юбилею, скульптор Микешин завершал работу над величественным памятником, который решено было поставить в Новгородском кремле... Почему именно там? Да потому, что за начало отсчета лет русской истории была взята официально принятая по «норманнской теории» дата призвания варяжских князей в Новгород Великий — 862 год.

В огромном зале Руадзе, казалось, собрался в этот вечер весь цвет общественного Петербурга. Публика была буквально наэлектризована еще до начала выступлений. Когда же Чернышевский прочитал свои воспоминания «Знакомство с Добролюбовым», окна и люстры с трудом выдержали настоящую бурю криков и рукоплесканий. Собравшимся, собственно, было даже и не столь важно, что именно исполняется со сцены, — они пришли прежде всего выразить восторг и поклонение самим представителям передовых идей, «хорошего направления», словом — прогресса. Однако подбор исполнявшихся произведений был столь же не случаен и тщателен, как и исполнителей: Антон Рубинштейн сыграл «Афинские ночи», посвященные восставшей Греции, Курочкин прочитал перевод из Беранже — «Птички», о радости вырвавшегося из клетки на свободу создания; что-то исполнял приехавший из Польши скрипач Генрик Венявский; читал стихи Некрасов. Свою долю оваций — чуть-чуть не обвалилась зала, как писал под впечатлением вечера Курочкин, — получил за «Мертвый дом» и Достоевский. Когда же Курочкин читал другой свой перевод из Беранже — «Господин Искариотов», — всякий раз, когда он произносил повторяющиеся слова: «Тише, тише, господа: господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда», — публика до того неистовствовала и топала в ритм ногами, что казалось, не то что домовладелице Руадзе, но всему Петербургу грозит участь тех, кто пережил лиссабонское землетрясение.

И вот тогда-то на сцену и вышел профессор Павлов. Собственно, ничего особенного он не говорил: речь его была уже цензуирована и опубликована, но его восторженный голос, срывающийся на крик, воздымание рук к

потолку, потрясание указующим перстом, интонации и акценты в накаленной до предела атмосфере придавали выкрикиваемым фразам какой-то скрытый, намекающий, а то и противоположный смысл. Возбуждение достигло предела. Достоевский, оглушенный и придавленный происходящим, ощутил себя вдруг больным, разбитым — он понимал энтузиазм, вызванный выступлением Чернышевского, сам увлекся настолько, что подтопывал со всеми в такт «патриоту-Искариоту» (ему и самому омерзительны иуды-искариоты, рядящиеся в личины патриотизма), но это уж не энтузиазм, а какая-то вакханалия, нечто болезненное, бесноватое *, противоположное целям собрания, — зачем же глумливость? Ведь речь-то идет все-таки о России — нашей общей матери, да, и больной, и небезгрешной, может быть, — кто не без греха? — но зачем же задирать ей подол публично, прилюдно, да еще и с энтузиазмом? Детям-то — матери своей...

Вечер закончился «Камаринской» Глинки.

Достоевский возвращался домой злой и подавленный: нет, никакими благими целями не искупить греха посрамления больной матери своей. Вспомнился ему другой вечер, и Глинка, и та же «Камаринская». Та же, да другая. И — «прощайте, добрые друзья»: праздник жизни, уже таивший в себе и Петропавловку, и Мертвый дом...

Что-то будет, что-то будет?

Ночью с ним случился жестокий припадок.

Потом находила беспричинная и потому еще более мучительная тоска, накатывало состояние какой-то непреодолимой обреченности, а главное, вины — за что? перед кем? Он искал ответа, пытал свою память, совесть и не находил ответа: нет, он не был безгрешен и, может, как никто другой, сам судил свои грехи, склонный скорее преувеличивать их, нежели преуменьшать или скрывать от себя же, но тут было нечто иное, загадочное, мучительное, словно над ним тяготеет неведомая ему самому великая вина великого преступления. Проходило два-три дня, и состояние это улетучивалось, но память сохраняла испытанное повторяющееся ощущение. Порою ему казалось, будто его преступление в том-то и заключается, что

* Н. А. Тучкова-Огарева писала о П. В. Павлове: «Это была умная, даровитая личность, но, вероятно, надломленная... в разговоре он производил тяжелое впечатление психически больного».

он никак не может вспомнить и осознать свою вину. Какую?.. Лишь в повседневности забот и трудов он вновь обретал способность и желание жить, надеяться, верить...

В мартовском номере «Современника» Антонович обрушился на роман Тургенева «Отцы и дети» (статья называлась «Асмодей нашего времени» — так назывался и недавно появившийся роман Аскоченского, что намекало на родственность Тургенева одному из самых одиозных авторов). «Отцы и дети» клеймились как «карикатура на молодое поколение», сознательная и злобная клевета на него. «Современник» воспринял Базарова как недостойную попытку Тургенева окарикатурить недавно умершего Добролюбова. Одновременно в «Русском слове» молодой резкий Писарев вступился за Тургенева и его Базарова; в спор вовлекли и Каткова, в журнале которого появились «Отцы и дети». Словом, вокруг романа закипели страсти.

Базаров, натура беспокойная и тоскующая (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм, пришелся по душе Достоевскому, и он решил отписать Тургеневу в Париж; знал, каково переживать суды-пересуды о только что родившемся детище *.

В апреле Антонович вновь выступил с разоблачениями «Времени», на этот раз в выражениях еще более язвительных, нежели в недавней статье «О почве».

Достоевский начинал понимать, что наступление «Современника» на «Время», едва ли не единственный журнал, кроме «Русского слова», поддерживавший его, не ошибка и не случайность: именно близость «Времени» к «Современнику» заставляла последний заявлять о самостоятельности, о принципиально особом пути. Призыв, обращенный к Герцену и опубликованный им в 60-м году в «Колоколе», — «К топору зовите Русь», — без сомнения, если и не принадлежал непосредственно Чернышевскому или Добролюбову, то, во всяком случае, наверняка исходил из близкого им круга людей. «Современник» все более определенно, насколько это было возможно в подцензурном журнале, призывал к революции в России.

К какой революции, досадовал Достоевский, к «французской»? Но с западными теориями народ не поймет нас и не пойдет за нами — он был совершенно убежден

* Сам Тургенев был весьма благодарен Достоевскому за отзыв. «Базарова совершенно поняли только два человека — Достоевский и Боткин», — писал он.

в этом; его только удивило, когда он заметил вдруг, что даже в мыслях своих все еще думает — «мы», «нас», «нам», по существу, объединяя себя и с лагерем Чернышевского, и с Герценом, хотя и столь же ясно понимает все разделявшие их противоречия, всю разницу в определении путей достижения социальной справедливости.

Однако в сложной ситуации смутной эпохи, считал он, необходимо наводить мосты между противоположными берегами реки, текущей в направлении единой цели. «Современник» же, судя по всему, напротив, считает необходимым окончательно сжечь даже и те, что успели весьма прохудиться и обветшать. И между «Современником» и «Русским словом» также грозит разгореться серьезная баталия. И с «Колоколом» у «Современника» едва ли не распря: еще в 59-м Герцен выступил в «Колоколе» со статьей «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), в которой обвинил «Современник» в том, что он своим «свистом», окриками, торопливостью ведет не к развитию общественного сознания, но, напротив, вполне может заглушить даже и первые ее проблески. «По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею», — заключал Герцен.

Для объяснения с Герценом в Лондон ездил Чернышевский. Встреча не дала, по существу, никаких результатов. Недавно в том же «Колоколе» Герцен дал Чернышевскому и Добролюбову определение — «желчевики».

Позиция Герцена, насколько Достоевский мог судить о ней по тем номерам «Колокола», которые разными путями, но попадали к нему, конечно, ближе ему, нежели все яснее определяющаяся для него программа «Современника», хотя и крайние выпады Герцена он тоже не разделял.

— Революция?.. Нет, и революцией его не испугаешь: когда вопрос стоял об освобождении народа — он готов был пойти хотя бы и на площадь, и пошел на каторгу; Чернышевский в то время, может быть, еще семинарию едва окончил, а Добролюбов, пожалуй, и вовсе в ребячестве пребывал, но теперь, когда главный вопрос решен мирно, без пугачевщины, звать ли народ к топору? Куда вы торопитесь? Общество не готово, народ разобщен с интеллигенцией; мы еще и язык-то не выработали, которым говорить с народом, а вы хотите в 10 минут растолковать ему ваши теории, да и спешите-то не вместе с историей, а за теорией... — Он и не заметил, как увлекся, разгорячился, разбегался по комнате, даже и руками вон как размахался, словно перед ним не воображаемый Чернышевский, а реальный. — Нет, нет, нужно объясниться: звать к топору, когда общество разобщено, когда социальный интерес самого народа не выработался, — значит звать к пугачевщине, к кровавой бессмысленной смуте; нет, эдак наши революционеры больше крови прольют, чем дела-то сделают...

А время действительно таило возможность взрыва *: крестьянские бунты, все учащающиеся волнения в Польше, студенческие беспорядки в Петербурге, Москве, Казани; правительство пребывало в явной растерянности **.

14 мая, выходя из дому, Достоевский увидел в ручке входной двери скрученный в трубочку листок. Развернул его, начал читать и... похолодел.

«Скоро, скоро наступит день, — читал он, — когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное и с громким криком: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» — двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там... Мы издадим один крик: «В топоры!», — и тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами...»

Это была знаменитая революционная прокламация «Молодая Россия», распространенная в тот день по Петербургу и призывающая «вместе с Разиным, с Пугачевым» к убийству царя и всего его рода, повсеместному уничтожению помещиков, священников, чиновников — на площадях, в домах, в тесных переулках городов, на широких улицах столиц, по деревням и селам. Прокламация требовала уничтожения деспотизма и ликвидации брака и семьи; звала к упразднению Российской импе-

* В. И. Ленин писал об этом времени: «При таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» (Полн. собр. соч., т. 5, с. 27).

** Военный министр Д. А. Милютин в письме от 1 октября 1861 года к брату Н. А. Милютину, недавнему помощнику министра внутренних дел, писал: «Ты уехал отсюда недалеко, но ты удивился бы, если б теперь возвратился, быстрым успехам, которые делает у нас в России оппозиционная или даже, можно сказать, революционная партия... Трудно сказать, к чему все это приведет нас... Правительственная основа поколеблена, все убеждены в бессилии правительства, в тупости и неспособности лиц, составляющих это правительство».

рии, если даже для этого придется «пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами», и к установлению вместо нее федерации республиканских областей. «На сколько распадется областей земля русская — этого мы не знаем», — лихорадочно, еще не веря своим глазам, сбиваясь и возвращаясь вновь к написанному, читал Достоевский. Как предварительное условие революции выдвигалась задача любыми средствами вовлечь Россию в войну: «Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода!..» Если бы ему пересказали это воззвание, он ни за что бы не поверил в его реальность, но вот оно, перед ним, и он читает его собственными глазами, если, конечно, это не бред и не галлюцинация... Бумага скорее напоминала ему провокацию, нежели плод революционной теории, для которой приспело время стать практикой. И к кому же они обращаются, на кого рассчитаны все эти Ледрю-Лоррены. Луи Бланы, Блюмеры, Орсини, якобинцы, антагонизмы, федерации, инициативы, радикализмы и прочие теоретизмы, которыми пользуются здесь авторы? На мужика? Мастерового? Что, кроме призыва «В топоры!», поймет в этом листке простой народ?

А через день Петербург был потрясен зловещим зрелищем: здесь и там вздымались к небу гигантские костры — город пылал. К несчастью, поднялся сильный ветер — настоящая буря, так что о серьезной борьбе со стихией не могло быть и речи. Сгорали целые кварталы, горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта... Белые ночи превратились в кроваво-багряные, по улицам и площадям в панике метались тысячи погорельцев. То и дело багрово-сизое марево оглашалось воплями; выли собаки. Выгорели Толкучий рынок, Щукин двор, пылали все новые городские районы. «Пожары наводили ужас, который трудно описать», — рассказывал Страхов, который вместе с Достоевским решил выехать по Неве за город, чтобы хоть отдышаться и передохнуть от нестерпимого зрелища. Высадились с пароходика в каком-то загородном саду, и здесь их ждало потрясение, едва ли не более впечатляющее: как ни в чем не бывало играл оркестр, пели цыгане, на фоне вздымающихся над городом клубов дыма празднично разодетые дамы и господа пили шампанское, смеялись... — какой-то «пир во время чумы», увиденный воочию, нечто современное из Нероновых времен, отвратительное, безобразное в своем бессочувственном ликовании. Они вернулись в Петербург.

По городу ползли слухи:

— Конец света наступил, и близок час вечного суда...

— Студенты жгут и поляки...

— Помещики это, помещики — царь-батюшка волю мужику дал, вот они и отмщают...

— Антихрист ликует...

В правительственных и близких к ним кругах подозревали революционную партию, связывая пожары с прокламацией; начались массовые аресты, но никаких фактов вины арестованным предъявить не смогли; предали суду только двоих: учителя Викторова, пытавшегося в крайнем опьянении поджечь школу, и 12-летнего солдатского сына Ненастьева, кажется, поджегшего забор у соседа, вероятно, когда-то нещадно надравшего ему уши...

В среде революционной и радикально настроенной были убеждены — провокация, жгут сами жандармы, чтобы обвинить революционеров. Однако, когда запылало министерство внутренних дел, из окон которого сквозняками выбрасывались кипы горящих документов, подхватываемых ветром и летящих над Петербургом, пришлось задуматься: вряд ли полиции выгодно было играть в подобные игры... Министерство просвещения, однако, удалось отстоять от пожара.

Несмотря на отсутствие доказательств, официозные газеты и журналы все-таки решили свалить вину на студентов. Всерьез поговаривали и о «подстрекателях», главных виновниках несчастья:

— Все это творение Герцена, его любовь к России...

— Говорят тоже, что в заговоре петрашевцы: у них была программа пожаров, теперь сбывается. А между тем они прощены, так вот они-то и благодарят за свое возвращение. Вот и будь после этого милостив...

Достоевского злили такие слухи, но злость — плохой помощник в серьезном деле, а делать что-то было нужно. Что? Он прекрасно представлял, как смогут использовать, соединив в единую цепь последовательности, подобные слухи, пожары и прокламацию. И он садится писать статью, доказательно опровергающую официальную версию о связи пожаров с прокламацией, об участии в поджогах студентов. Но дальше медлить нельзя, необходимо наконец объяснение и с Чернышевским, не может же он не понимать, к чему приведут подобные воззвания, объяснение, искреннее до конца, глядя в глаза друг другу. И он

отправился к вождю «поджигательной», как теперь уже вслух говорили, партии.

Дверь открыл сам Николай Гаврилович, в доме никого не было, даже прислуги. Чернышевский не смог скрыть удивления, увидев Достоевского на пороге своей квартиры, но встретил его радушно и пригласил в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — Он подал ему прокламацию.

Чернышевский, близорукий, щурил глаза, даже глядя сквозь очки. Взял бумагу и как бы впервые прочитал ее.

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал и даже считаю ненужным вас в этом уверить. Но, во всяком случае, их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И, однако, всем и всему вредят...

Говорили о многом. Часа через два Достоевский уехал *.

А через неделю (пожары уже стихли) столь же неожиданно в дверях квартиры Достоевского появился Николай Гаврилович. Формально он приехал получить разрешение для публикации нескольких рассказов Достоевского в народной хрестоматии, которую он готовил. Проговорили, однако, час. После чего и еще обменялись визитами. Значит, было о чем говорить и ради чего встречаться.

Неожиданно нагрянул в редакцию «Времени» приехавший из Парижа Тургенев. Господи, сколько не виделись! Такой же высокий, породистый, только погрузнел да поседел, но красавец, ничего не скажешь. Расцеловались как старые приятели. Тургенев пригласил Федора Михайловича с братом и Страхова отобедать в ресторане Клея, при гостинице, в которой остановился. Говорил о том, что пущенное им в «Отцах и детях» слово «нигилист» теперь стало чуть не бранным: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!» — первые слова, которые он услышал, выйдя на Невский; молодежь на него осерчала за Базарова — обидно; а у горевшего министерства внутренних дел — знаете, что нашел? — никогда не догадаетесь! — обгорелое дело о выдаче мне заграничного паспорта... Рассказывал о житье-бытье за границей, об отношении иностранцев к русским — и каких только хитрых и даже подлых уловок не напридумали, чтоб обобрать русского. Вечер удался на славу.

У Достоевского уже и у самого в кармане дозволение о выезде в Европу для лечения — после долгих хлопот наконец-то и он сподобился.

И вот утром 7 июня друзья прощаются с ним у поезда, который впервые доставит его в «страну святых чудес», как он полуиронично именовал Европу. А на душе нерадостно — обе его статьи о пожарах запрещены цензурой — дурной признак. Правда, перед самым отъездом он и еще кое-что предпринял. Не быть бы беде...

Провожал его и Страхов, с которым Федор Михайлович после отъезда Аполлона Григорьева особенно сблизился и чуть ли не влюбился в него. Даже из Европы пишет ему, приглашая попутешествовать вдвоем, а то одному совсем невмоготу:

«Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго, приласкаем молодую венецианку в гондоле. А? Николай Николаевич?..» Достоевский даже едва не расхохотался, представив, как мягонький, с розовыми пухлыми щечками Страхов обнимает венецианку. Потому что нужно было знать Николая Николаевича...

Родился он в Белгороде, в семье священника, учился в местном духовном училище, затем в Каменец-Подольской и Костромской семинариях, после чего закончил Пе-

* Чернышевский действительно не разделял заговорщической программы «Молодой России», составленной П. Г. Заичневским, программы, скорее близкой по духу Бакунину и Нечаеву. «Зовите Русь к топору!» Чернышевского и «К топору!» Заичневского родственны лишь по форме: у первого это образное выражение, под которым понимается именно народная, прежде всего крестьянская, революция, у второго — вполне буквальный призыв, обращенный прежде всего к образованной молодежи. Чернышевский отказался даже принять присланные ему экземпляры прокламации. По некоторым сведениям, после посещения Достоевского Чернышевский действительно просил Слепцова съездить в Москву к Заичневскому с тем, чтобы тот нашел способ смягчить впечатление, произведенное его прокламацией. Сам Чернышевский готовил прокламацию «Предостережение», которая должна была исправить крайности «Молодой России», однако этой прокламации уже не суждено было появиться.

тербургский университет и еще естественно-математическое отделение Главного педагогического института. Учительствовал в Одессе, затем в Петербурге. В 57-м защитил магистерскую диссертацию «О костях и запястьях млекопитающих». Милюков и пригласил его в «Светоч» вести отдел новостей естественных наук, откуда Страхов перешел во «Время», где выступал с научными и философскими статьями. Когда Григорьев уехал в Оренбург, он стал ведущим, конечно, после Достоевского, в критическом отделе. В юности пописывал и стихи. Аскетические наклонности в сочетании с благодушием характера вылепили из него человека, не то что деликатного, хотя, конечно, человек он в высшей степени деликатный, чем-то даже напоминающий Павла Петровича Чичикова. Смотришь на него, и так и кажется, если заговорит, то непременно уж скажет что-нибудь вроде: «Вы изволили пойти с валета, а я имею честь покрыть вашу двойку». Какой-то он неопределенный: уклончивый, мягкий и твердый одновременно, скупой до крайности на выражение своих симпатий и антипатий. О себе слова из него не вытянешь, а уж о женщинах и говорить не приходится — раскраснеется, разызвиняется... Сразу виден закоренелый и убежденный холостяк. Впрочем, в давние студенческие дни однажды с ним случилось нечто опасное... Хотя нет, чуть-чуть не случилось...

— Конечно, кто богу не грешен, — бывало, и он откровенничал, — и у меня увлечения бывали, хе-хе... Жила, я вам скажу, на Охте некая особа привлекательного вида. Гм... Гм... — При этом он непременно откашливался и оглядывался по сторонам. — Дева, можно сказать, черноокая, довольно крупных размеров и, — гм... гм... — тут он и вовсе понижал голос, — со смелым взглядом... — Словом, черноокая дева увлеклась свеженьким, чистеньким, тщательно бреющим свои пухлые щечки студентом, а еще надеждой водить его хоть всю жизнь за нос, и однажды он неожиданно для себя очутился в ее объятиях. — Испугался я очень... — рассказывал он. — Да, скажу я вам, — гм, гм, беречься следует... — И он берегся всего опасного. И как критик тоже. Вот этого Достоевский и не любил в нем, а потому и подшучивал над его страхами.

За «венецианок» Николай Николаевич на Федора Михайловича не обиделся — похоже, он вообще никогда ни на кого не обижался, — приехал. Так что вторую половину путешествия они провели вдвоем. Но до этого Достоевский успел уже кое-где побывать и кое с кем повидаться...

В самом деле, не ради же одних только европейских красот и туристических достопримечательностей — они слишком скоро надоели ему — ехал он на Запад... Даже Париж показался ему прескучнейшим. Рейн, правда, действительно чудо, а вообще-то заскучал, затосковал по родной русской канители: что ни говори, но за морем и веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое...

Поездка не разубедила Достоевского в его отношении к Западу, скорее даже подтвердила и укрепила его: правду в народе бают — чужая сторонушка нахвалом живет, а наша и хайкою стоит.

— Да, скажу вам, господа, люди русские, — делился он впечатлениями с друзьями, вернувшись в Россию, — если где и возможен социализм, то уж не в Европе: герои буржуазной революции сами превратились едва ли не в первых эксплуататоров. Идеал Запада — обособиться каждому от всех, накопить побольше денег, завести как можно больше вещей, да тем и благоденствовать. Словом, идеала никакого, убеждений не спрашивайте. У нас, конечно, плотоядных подлецов, может, и не меньше, но там вполне уверены, что только так и надо, а больше и нет ничего...

Да, ну а что же здесь, в России?

Новости, прямо сказать, невеселые, даже и вовсе грустные: «Современник» и «Русское слово» приостановлены на 8 месяцев. «Время» тоже чуть было не подверглось той же участи: уже и отношение о закрытии журнала подготовлено, но в последний момент почему-то высочайшего позволения не последовало *. Может быть, потому, что слишком увеличивать число «опасных государству» журналов сочли нежелательным? Во всяком случае, уже на следующий день после отъезда Федора Михайловича за границу Михаил Михайлович был вызван в следственную комиссию, где ему учинили допрос в связи с запрещенными статьями о пожарах. Михаил Михай-

* На отношении, составленном председателем следственной комиссии князем А. Ф. Голицыным, в котором указывалось на вредное направление запрещенных цензурой статей о пожарах, министр внутренних дел П. А. Валуев написал: «Я доводил до высочайшего сведения о содержании его отзыва и о моем по сему предмету мнении. Государь император изволил разрешить не прекращать издание журнала «Время» ныне, но с тем, чтобы за ним имелось надлежащее наблюдение».

лович взял их авторство на себя, так как подписаны они не были. Но дело не только в этом: несмотря на запреты цензуры и возможные последствия, Федор Михайлович перед отъездом хоть и тревожился: «Не быть бы беде», но настоял на том, чтобы в следующий, июльский, номер Михаил Михайлович вставил кусок о пожарах в обозрение «Наши домашние дела». И Михаил Михайлович пошел на это. «Время» все-таки решилось и сумело не только сказать читателям свое мнение о пожарах, твердо заявить о непричастности к ним студенческой молодежи (в то время, как чуть не все газеты утверждали обратное), но и рассказать о таких правительственных мерах, как учреждение следственной комиссии, ужесточение цензуры, закрытие «Современника». Это «наше обвинение, наш протест», — заявило «Время». На такую отчаянную выходку вряд ли позволил бы себе решиться в те дни какой бы то ни было другой журнал. Более того, в обозрении прямо осуждалась тактика правительственного террора. Конечно, журнал Достоевских не заявлял о своей близости к революционному, или, как говорили в то время, «пожарному», направлению, да и не мог делать такие заявления уже и потому, что действительно не разделял подобных методов борьбы. Но все-таки и в эту чрезвычайно опасную последствиями пору ясно проводил свою принципиальную линию: с идеями можно бороться только идеями. «*Для обеспечения общественного спокойствия и для ограждения общества от вторжения в него ложных и вредных учений и идей есть и другое очень действенное средство*, — говорилось в обозрении. — Зло ничего так не боится, как гласности и общеизвестности».

Да, время тревожное — не только закрыты «Современник» и «Русское слово» (дойдет очередь и до нашего журнала — теперь-то Достоевский был в этом полностью уверен), но и арестованы Чернышевский и Писарев. Поводом к аресту Николая Гавриловича послужил донос о перехваченном к нему письме Герцена...

Достоевскому, естественно, не желалось повторить свое недавнее путешествие в Сибирь, и все-таки, все-таки он ездил в Европу не только полечить нервы, передохнуть, набраться впечатлений: он ездил в Лондон, где встретился с Герценом (и неожиданно с бежавшим недавно из Сибири Бакуниным). Встреча не сделала Достоевского и Герцена единомышленниками, но они остались и после нее людьми лично, по-человечески, симпатичными друг другу *. Неприятие Герценом программы «Молодой России» еще более убедило Достоевского в необходимости решительного противостояния экстремизму и авантюризму ультрареволюционных подстрекательств, о чем он и посчитал нужным еще раз заявить в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1863 год, естественно, в формах, возможных для подцензурного слова, да еще и в новых условиях суровых репрессий. Собственно, в объявлении, по существу, были повторены основные положения его статьи «Два лагеря теоретиков», опубликованной еще в февральском номере за 62-й год. Достоевский вновь высказался против крайностей «Современника», по его убеждению, недооценивающего народ, навязывающего ему свою программу вместо того, чтобы понять интересы самого народа как силы самостоятельной, дать высказаться ему самому. Народ должен выйти на арену общественной жизни, иначе образованные «теоретики» в новых пореформенных условиях не смогут оставаться движущей силой общества. «Да, — писал он, — нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам, ибо наш народ способен к политической жизни. Если же стоять на точке зрения, что «народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа» — Достоевский цитировал Варфоломея Зайцева, одного из ведущих кри-

* «Вчера был Достоевский, — писал Герцен Огареву. — Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ». Об усилившемся после встречи интересе Достоевского к Герцену, о влиянии идей и оценок последнего на публицистику Достоевского написано много. В гораздо меньшей степени учитывается и обратная перспектива — интерес Герцена к творчеству Достоевского, его влияние на публицистику самого Герцена, что, безусловно, чрезвычайно важно. Поэтому считаю необходимым указать хотя бы на статью Н. Г. Розенблюм «Петербургские пожары 1862 г. и Достоевский» («Литературное наследство», т. 86), в которой, в частности, говорится: «Петербургские пожары не могли не быть затронуты в их беседах. Достоевский только что был свидетелем их, Герцена в них обвиняли. Не мог выпасть из их бесед и вопрос о прокламации «Молодая Россия», о которой Герцен подробно писал вскоре после отъезда из Лондона Достоевского... Характерно сходство некоторых высказываний Герцена с заявлениями редакции «Времени»... Мнение Герцена, что прокламация «вовсе не русская, это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции», не схоже ли с мнением Достоевского, что прокламацию напечатали, «не справившись даже хорошо с иностранными книжками, откудова они все выкрали и бездарно перековеркали...»? Неужели все эти совпадения дело случая, а не результат бесед Герцена с Достоевским?»

тиков «Русского слова», — то вряд ли можно рассчитывать на какой бы то ни было общественный прогресс, ибо мысль эта в высшей степени ретроградна».

Но столь же неприемлема для него и другая крайность, высказываемая теоретиками главного органа славянофилов — газеты «День» во главе с Иваном Аксаковым, которые, напротив, признают самостоятельную жизнь только в народе и отвергают как «ложь и фальшь» внутреннюю жизнь общества, просвещения, литературы. Оба лагеря, из которых, по его убеждению, один в принципе отвергает народность, а другой во имя своей теории не отдает справедливости нашему образованному обществу, «судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде, и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?»

Конечно, убеждал Достоевский, задача соединения культуры и народности не решается теоретически и в несколько дней: «время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества — еще впереди», но необходимо эту задачу осмыслить и работать на ее решение уже сейчас.

Теперь, готовя объявление о подписке и повторяя заветные мысли о необходимости утверждения в обществе ведущей положительной идеи, Достоевский высказался и о проблеме обличительства. «Боже нас сохрани, — писал он, — чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважали, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно нелегко достается... Мы рвемся к обновлению. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота...» Одни в своем обличительстве не признают за современной литературой никакой народности, даже Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский в этом смысле для них — нуль. Другие, напротив, направляют острие своих обличительств именно против народности, выставляя «в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют его надежду и самостоятельную, вековечную силу. В своем отвращении от грязи и уродства они за грязью и уродством многое проглядели и многого не заметили. Конечно, желая искренне добра, они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видели светлых и свежих сторон. Мы, разумеется, отличали их

от гадливых белоручек. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними».

Ни для кого не было секретом — речь шла о закрытом «Современнике», о его вождях, один из которых недавно умер, другой пребывал в Петропавловке, и вдруг — «искренняя и честная деятельность». Это опять-таки был не просто акт гражданского мужества «Времени» и лично Достоевского, но и отчаянный протест и вызов.

Здесь же Достоевский посчитал необходимым отделить обличительство «искренних друзей народа», пусть и неприемлемое для него, но достойное уважения, ибо честное, от обличительств многочисленных «крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих иную, чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют... выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются эти убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее...» Вот этаких-то «угрюмых тупиц дешевого либерализма», как он их называл, Достоевский ненавидел более всех.

Однако произошло нечто непредвиденное: сначала Некрасов вежливо отказался дать в журнал «Время» обещанные им ранее стихи, сославшись на то, что ему неудобно появляться в другом журнале во время опалы «Современника», тем более что распространился слух, будто он, Некрасов, «предал Чернышевского». Что ж, поступок Николая Алексеевича вполне можно понять. Но, когда истек срок закрытия «Современника» и в первом же его новом выпуске в январе 63-го года журнал резко, в фельетонной форме весь свой жар обличений обрушил на «Время», — Достоевский был ошарашен. Похоже, потеряв Добролюбова и в отсутствие Чернышевского главный их теоретик Антонович принял слова о «либеральном кнутике» на свой счет, решил Достоевский. Ну и поделом; однако зачем же на счет всего «Современника», а не на свой личный? Однако вскорости выяснилось, что анонимная статья принадлежала не Антоновичу, а пришедшему в журнал Салтыкову-Щедрину... Это известие и вовсе расстроило Достоевского: писателем Салтыковым он восхищался, хотя его общественные взгля-

ды были для Федора Михайловича слишком туманны: то он «обличитель», то «господин надворный советник», вице-губернатор; то, кажется, славянофил *, да и к «Времени» как будто благоволил — всего несколько месяцев назад сам просил опубликовать его в журнале, а теперь вот в «умеренные нигилисты» записался (в отличие от «нигилистов неумеренных» — Писарева и Зайцева).

При всех своих несогласиях с «Современником», о которых он, кстати, никогда не умалчивал и при Добролюбове и Чернышевском, Достоевский отнюдь не видел в этом журнале антагониста: основная полемическая страсть «Времени» была направлена как раз против главного противника «нигилистов» — Каткова, пытающегося, как считал Достоевский, втиснуть русскую народность в аглицкие колодки: вот уж, право, патриотизм, совершенно родственный «патриотизму» англомана Павла Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей». Катков, воюющий с нигилизмом, считал Достоевский, сам-то и есть в первую очередь главный нигилист, ибо сам первый не верит в развитие народных начал. В свою очередь, и Катков после ареста Чернышевского видел основного своего противника прежде всего в Достоевском и его журнале.

Достоевский решил ответить на выпад «Современника», но так, чтобы объясниться, а не «расплеваться» с ним. Достоевский еще раз со всей определенностью заявил: «Добролюбов... стремился неуклонно к правде, то есть к освобождению общества от темноты, от грязи, от рабства внутреннего и внешнего, страстно желал будущего счастья и освобождения людей, а следовательно, был благородный деятель в нашей литературе. Даже может быть, самые ошибки его проходили иногда от излишней страстности его душевных порывов. Добролюбов мог даже... во многом изменить свой взгляд на вещи... найти другую, настоящую дорогу к своей цели, только одной своей благородной и праведной цели он не мог изменить никогда». Цели и средства — это разница... Но с людьми, не верящими в народ и вместе с тем прикрывающимися именем и фразой Добролюбова, необходимо бороться — объяснял Достоевский. Ответ, судя по всему,

* Так, например, в письме к лицейскому товарищу И. В. Павлову Салтыков-Щедрин писал: «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития...»

не удовлетворил «Современник», продолжавший свою борьбу со «Временем» и самим Достоевским.

Между тем все большую напряженность обретали и внешние политические события: с первых дней 63-го года вспыхнуло восстание в Польше.

Польский вопрос вообще был одним из самых острых, противоречивых и трудно разрешимых в условиях той реальной политической ситуации, которая сложилась в Европе. Вопрос давний, болезненный как для польского, так и для русского сознания.

В XIV — XVI веках, когда Русское государство, едва успев освободиться от 300-летнего Ордынского ига, вело нескончаемые войны за свою национальную, политическую и культурную независимость, в то самое время Польское королевство значительно расширило свои границы на востоке за счет древних русских, украинских и белорусских земель, проводя на них политику жестокого социального, национального и религиозного угнетения народов, подпавших под власть великопольских магнатов. В XVI — XVII веках Польша, будучи в ту эпоху страной, превосходящей Россию и по численности населения, и по военному потенциалу, вела чуть не постоянные войны с Россией, все еще пыталась осуществить давнюю мечту — присоединить к себе всю Московию. И однажды, в Смутное время, эта мечта, казалось, стала вполне реальной.

Но Русь крепла в тяжелейших испытаниях. Польское же государство, раздираемое внутренними противоречиями, напротив, слабело, но все еще продолжало участвовать в общеевропейских войнах за раздел и передел владений, в результате чего (после трех разделов самой Польши между Пруссией, Австрией и Россией) оно перестало существовать как самостоятельное. К России по этим разделам большей частью отошли именно те западнорусские, белорусские и украинские земли, которые прежде были отторгнуты Польшей. Земли, отошедшие к Пруссии и Австрии, были в короткий срок методически онемечены, гордый польский дух здесь, по существу, был истреблен и, во всяком случае, никак реально себя не проявлял. Даже само имя — Польша — сохранилось только на территории, вошедшей в состав России в качестве Царства Польского.

Любая форма утраты государственной самостоятельности трагична для национального сознания. Однако само это национальное сознание, идея государственного

возрождения, патриотическая надежда и воля к ее осуществлению не случайно сумели сохранить себя, по существу, только на территории «русской» Польши. Здесь-то едва ли не постоянно и возникали вспышки, разгоравшиеся порою в серьезные восстания, сурово подавляемые царским правительством: в 1794-м, 1831-м и теперь вот — в 1863 году...

В 1815 году Царство Польское получило от Александра I конституцию, которой не имела сама Россия. Примерно с 1817 года в Польше возникает сеть тайных обществ, как патриотических, так и масонских. Начинается подготовка к восстанию под лозунгом возрождения Великой Польши — «от моря до моря». В Варшаве уже открыто обсуждали необходимость восстановления самостийной Речи Посполитой, естественными границами которой назывались: Балтийское море на севере, Черное море и Карпаты на юге, Днепр с Киевом на востоке. Именно с таким ультиматумом и прибыла к Николаю I делегация для переговоров о признании Польши самостоятельным государством и о возвращении ей Литвы, Белоруссии и Украины...

После подавления восстания польская аристократия эмигрировала в основном во Францию и частью в Англию, где попыталась склонить правительства этих государств, имевшие свои собственные притязания к России, к войне с нею, которая облегчила бы решение польского вопроса. Началось усиленное дипломатическое давление, так что, казалось, царское правительство вынуждено будет отказаться от своей части Польши. С особым интересом наблюдал за разворачивающимися событиями прусский канцлер Бисмарк, заявивший в самом начале 1863 года: как только Россия уступит требованиям восставших, «мы начнем действовать, займем Польшу, и через три года там все будет германизировано». Берендт — вице-президент прусской палаты депутатов — засомневался: стоит ли обсуждать этот вопрос всерьез или Бисмарк шутит? «Ничуть не шучу, — оборвал его канцлер, — а говорю серьезно о серьезном деле».

Откровенно-циничное давление на Россию со стороны Англии и Франции, угрожавших ей новой Крымской войной, выжидательно-хищническая позиция Пруссии, требования отдать Польше земли по Днепр — все это в конечном счете не помогало решению польского вопроса, но осложняло и ожесточало его. Естественно, что подобные притязания подняли в России волну антипольских и

прямо шовинистических настроений. Однако даже и люди, вполне принимающие патриотические стремления Польши к самостоятельности, никак не могли сочувствовать шовинизму требований эмигрантского руководства восстанием. Широко стало известно, что и в украинском и белорусском крестьянстве восстание в Польше вызвало из-за своих притязаний открытое ожесточение. И по сию пору в значительной части своей украинские и белорусские крестьяне жили на землях, так или иначе принадлежащих польским магнатам. Последние нередко жили в Париже или Лондоне, продавали или сдавали свои земли в аренду фабрикантам, как правило, католического и иудейского вероисповедания, что вызывало дополнительную неприязнь и ожесточение религиозного характера к новым, еще более жестоким эксплуататорам.

Сложной, чрезвычайно противоречивой была ситуация и внутри самого лагеря восставших: у руководства оказались сразу две партии: «белые», состоявшие главным образом из парижских и лондонских эмигрантов, преследовали исключительно великопольские интересы; «красные» считали необходимым учитывать требования и польских крестьян, но в вопросе о Великой Польше поддерживали «белых». Польскому крестьянству, которое надеялось решить путем восстания свои социальные проблемы, вопрос о Польше «от моря до моря», естественно, был чужд, и оно в большинстве своем не поддерживало шляхетское руководство. С самого начала восстание не было единым ни организационно, ни по своим задачам и целям.

В такой ситуации нелегко было выработать четкую позицию в отношении к восстанию даже и русским революционерам, не просто сочувствовавшим, но и активно помогавшим его подготовке и проведению. По замыслу польских и русских революционеров, восстание в Польше должно было стать началом общей крестьянской войны в Польше, Белоруссии, на Украине и затем по всей России.

Герцен, который принимал самое активное участие в подготовке восстания в Польше, прекрасно отдавал себе отчет в том, что Польша может рассчитывать на свободу только в случае широкой и активной поддержки со стороны русского народа. Но рассчитывать на такую поддержку при тех целях, которые провозгласило руководство, не приходилось. Герцен, да и не он один, прекрасно это понимал. В «Былом и думах» запечатлен такой,

например, случай: приехал к нему в Лондон крестьянин Мартьянов, недавний крепостной графа Гурьева, для участия в изданиях Вольной русской типографии. Заговорили о восстании. Мартьянов молча выслушал доводы Герцена и мрачно сказал:

— Вы не сердитесь на меня, Олександр Иванович. Что вам за дело мешаться в польские дела? Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше...

Польское крестьянство, судя по всему, за редкими исключениями, не собиралось поддерживать шляхту. В Белоруссии и на Украине крестьяне и вовсе роптали:

— Кто с нас вчера по семь шкур спускал? Кто быдлом, холопьями да песьей кровью величал? Кому теперь, господа панове, шинки да церкви божии на откуп оставили?

Узнав о том, что польское руководство готовит восстание, не учитывая настроений не только русского, белорусского, украинского, но даже и польского крестьянства, Герцен пытался предотвратить бессмысленное в такой ситуации кровопролитие. «На Руси, в сию минуту, вряд ли может быть восстание... У нас ничего не готово», — обращался он к Центральному польскому комитету и русским офицерам, готовившимся поддержать восстание. Нужно сделать все, убеждал он, чтобы выступление не началось прежде, чем народная патриотическая Россия будет готова поддержать его.

Однако восстание все-таки началось. Тогда Герцен посчитал необходимым не становиться в позу обиженного пророка, ясно предвидящего исход борьбы, но встать на сторону восставших, ибо рассуждать, правы они или не правы, готовы или не готовы, было уже поздно *.

Не говоря об официозной, вся либеральная русская печать обрушилась на Герцена. «Время «Колокола» кончилось» — так определил отношение большей части русской общественности к Герцену революционер-демократ Николай Васильевич Шелгунов.

Достоевский напряженно всматривался в ход событий как в самой Польше, так и в России, но более всего

* «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена, — писал В. И. Ленин, — за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 260).

волновало его их преломление в умах и настроениях общества. Конечно, многих подробностей он не знал, отношение его к восстанию было сложным: в целом он не мог не сочувствовать патриотическому движению к национальному освобождению Польши; конечно же, его раздражали великопольские претензии; его возмутил шовинистический разгул и в России и в Польше; претила ему и позиция Каткова, который, призывая к беспощадному подавлению восстания, ссылаясь на исторические факты, утверждал, что нет иного пути для разрешения «рокового вопроса».

Достоевский прекрасно понимал, что программа польского восстания сама толкает большинство русского общества к молчанию, если даже не к сочувствию правительству, подавляющему восстание. Вместе с тем и стремление Англии и Франции использовать Польшу в качестве предлога для решения собственных корыстных задач заставляет правительство принимать все меры для скорейшего усмирения восстания. Но столь же очевидным был для него и вопрос о возможной судьбе Польши в случае, если бы Россия уступила требованиям восставших: он не знал о выступлении Бисмарка, но то, что «свободная Польша», лишившись покровительства России, тут же станет легкой добычей Пруссии, кажется, ни для кого не было секретом. Разве что для самих поляков?..

В вопросе о Польше (как и в большинстве других вопросов) Достоевский вполне разделял позицию Пушкина, высказанную им в знаменитом стихотворении «Клеветникам России». Из современных же ему точек зрения в какой-то мере ближе всего было ему суждение Ивана Аксакова, которое тот изложил еще в 61-м году: Россия, писал он, «менее всех неправа в разделе и уничтожении Польши, но, как страна нравственная, тяжелее всех чувствует то, что было неправого в этом деле». Аксаков выступил против предоставления в данный момент государственной самостоятельности Польше, поскольку, считал он, «ультрамонтанский * католический фанатизм, шляхетский аристократизм и исключительная гордая национальность», обретши полную свободу действий, приведут только к новым неправедным кровопролитиям и как след-

* Ультрамонтанство — воинствующее направление в католичестве, добивавшееся права на неограниченную власть папы римского как в религиозной, так и в светской областях жизни. Победа ультрамонтанства на Ватиканском соборе 1870 года привела к признанию папы «непогрешимым».

ствие — к новой же утрате самостоятельности, на этот раз, вполне вероятно, уже не под властью «единоплеменной» России. Вместе с тем Аксаков выражал убежденность в том, что в будущем «рано или поздно последует теснейшее и полнейшее, искреннее соединение славянской Польши с славянскою же Россией, что к тому ведет непреложный ход истории, но не лучше ли ввиду такого неизбежного исторического решения предупредить все, что грозит нам бедой, враждой и раздором, добровольно, сознательно покаясь взаимно в исторических грехах своих, соединиться вместе братским, тесным союзом против общих врагов — наших и всего славянства?»

В такой сложной политической ситуации Достоевский считал сначала совершенно бессмысленным хоть как-то отзываться на польские события: «фигура умолчания» в обстановке разжигания шовинистических страстей — уже позиция неприятия официальных мер. Высказать свое отношение вполне в подцензурной печати, да еще в журнале, попавшем в опалу, невозможно, а говорить, увиливая и извиваясь, недостойно, ибо полуправда нередко хуже лжи.

Молчали и «День» («Мы надеемся, что читатели поймут, что это молчание не наша прихоть», — объяснял Иван Аксаков), и возобновленный после временного закрытия «Современник».

Однако тихонький, обходительный Страхов, никогда еще не писавший по политическим проблемам, не только умудрился изложить позицию «Времени» по столь «деликатному» вопросу, но даже и убедить братьев Достоевских опубликовать его статью, озаглавленную им, не без влияния выступления Каткова, «Роковой вопрос». Главная мысль статьи сводилась к близкой и Достоевскому идее: проблема Польши гораздо обширнее и сложнее, нежели вопрос об одном только государственно-историческом споре, — это и спор двух глубоко самобытных национальных культур и религий; словом, в конечном счете это отражение на почве славянской общности спора Востока и Запада. Спор этот невозможно решить военным или даже чисто политическим путем, он разрешим только на почве духовно-нравственного соревнования двух братских народов и в будущем должен завершиться в братском же взаимопонимании и взаимодействии обеих культур. Победит в этом споре та сторона, которая одержит духовную победу.

Статья вышла в апрельском номере «Времени» без

подписи автора, как редакционная, и журнал тут же превратился в открытую, ничем не защищенную мишень, в которую били кому только не лень, как будто обнаружили наконец главного врага, виновника всех бед. Выступление было сочтено антипатриотическим, полонофильским, якобы утверждавшим превосходство польской культуры; расценивалось как скрытая поддержка восстания и прямой выпад против правительственных мер. Даже и призыв к просвещению, к развитию самобытных национальных начал как в России, так и в Польше истолковали в плане возмутительной критики правительственной политики в области просвещения, культуры, образования.

Главный удар по журналу нанес Катков. Правда, статью написал не он сам, а один из его сотрудников, но заметить в ней направляющую руку Михаила Никифоровича не составляло сложности для Достоевского. Суммировав и подытожив ставшие уже общим местом обвинения в адрес «Времени», «Русский вестник» усмотрел крамолу даже и в том, что под «Роковым вопросом» не стояло имя автора: тем самым, утверждал он, руководители «Времени» уподобились бандитам с большой дороги, которые «наносят удары с маской на лице». Прошел слух (кстати, имевший под собой реальную почву), будто статья во «Времени» вызвала восторг поляков и ее будто бы собираются переводить на Западе. Александр II по докладу министра внутренних дел Валуева отдал распоряжение запретить издание журнала «Время» за «вредное направление» и, в частности, за публикацию статьи «Роковой вопрос» — «неприличного и даже возмутительного содержания, прямо наперекор всем действиям правительства».

Словом, под кем лед трещит, а под нами ломится. Достоевский как мог пытался защитить прежде всего патриотическую направленность журнала от оголтелых обвинений; подготовил резкий ответ Каткову, но цензура не пропустила его. Вместе с тем он ругал и Страхова — за его излишнюю «деликатность», уклончивость, витиеватую нечеткость в изложении серьезных и сложных мыслей, что и дало повод для любых, самых фантастических ее истолкований *. Сам Страхов и испугался, и

* Думается, наиболее объективная оценка принадлежит Герцену, отметившему, что журнал «Время»... редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только что возвратившимся с каторги, напечатал по поводу Польши несколько гу-

по-человечески почувствовал себя действительно виновником закрытия «Времени», да еще в самый неподходящий момент. Бросился в Москву, к Каткову, пытался объясниться с Валуевым, чтобы, по крайней мере, снять обвинения хотя бы непосредственно с редакторов журнала.

Тяжелые дни переживал Достоевский. После ежедневной журнальной лихорадки вдруг какой-то провал, пустота. На беду не роптал — затем и бьют, чтоб больно было, но остаться без дела, без денег, без видов на будущее?.. Даже и начатого нет ничего, чтобы уйти хоть на время в писательскую маету, — оно-то, может, еще век и долог, да ведь и час дорог. И домой хоть вовсе не ходи... Несчастная Мария Дмитриевна медленно таяла, в последнее время страдала и от частых галлюцинаций — вдруг ни с того ни с сего задрожит и зашепчет: «Черти, черти, вот черти!» Глаза безумные, а в них страх. Федор Михайлович или, если при нем случалось, доктор раскрывали форточку, с пресерьезнейшим видом разыгрывали сцену изгнания чертей. Форточка наглухо закрывалась. Больная успокаивалась. Все часы в доме заводила до такого предела (будто боялась — остановятся и с ними остановится жизнь ее), что полопались пружины, одни только ходики теперь и отсчитывали ее время. Доводили ее до истерики шаги мужа ночью, в часы бессонницы, по кабинету. И тогда в который раз он выслушивал, зажав ладонями до боли виски, ее болезненно-фантастические откровения: и не любила-то она его никогда. И неужели же он действительно возомнил, будто она могла полюбить его, каторжника? Да ни одна женщина, хоть немного уважающая себя, не может любить такого человека, как он... Так нет же — заманил, наобещал златые горы... Писатель! Гоголь! Ни денег, ни квартиры порядочной... Потом припадок внезапно сменялся столь же бурным отчаянием — она рыдала, клялась, что никогда никого не любила так страстно, как его, а он не любит, потому что она противна ему, и правильно — кто же станет любить чахоточную, и — о, она знает! — он, и его родственники, и друзья только и ждут, когда она умрет наконец... И затем все прокручивалось сначала, пока, обессиленная, всхлипывая и повизгивая она наконец не затихала и, кажется, засыпала...

манных слов». Нужно заметить, что это было, по существу, единственное сочувственное выступление, и притом в подцензурной печати.

Курил, уставясь долгим взглядом в светлеющее окно. Что же делать? Жить плохо, да ведь и умирать не находка. Теперь у нее не оставалось ничего, кроме болезни и наполовину придуманных самой же воспоминаний. Ему было нестерпимо больно за нее, за ее обреченность и за то, что сам он — какое страшное, и как нелепо оно звучит, это слово, — счастлив сейчас невозможным, грешным счастьем, но оно все-таки дает ему ощущение жизни, какого-то света в дальнем окне. Больно за то, что он вынужден таиться, будто воровать это счастье у нее, больной обреченной Марии Дмитриевны. Его Маши... Но теперь — он знал это наверное — он не в силах уже ничего изменить. Сначала он еще пытался перенести не растраченную на не рожденных им детей любовь на Пашу, понимал — не сладко ему без отца, при больной, психически неуравновешенной матери, но все яснее сознавал: близости не то чтобы родственной, но и дружеской нет и не предвидится. Парню уже 17 лет — никаких серьезных интересов, фатоват, пошловат даже, но самомнение как у наследного принца...

Семьи не получилось. Постоянное ощущение бессемейности — при живой-то жене и ребенке, пусть не его, но ребенке, бездомности в своем доме, душевной бесприютности в домашнем кругу — стало привычным, и он уже и не мечтал ни о какой личной жизни, тем более о страстях или счастье. Казалось, сами эти понятия настолько чужды всему укладу его сознания, самой судьбы его, наконец, а единственные движущие им силы — страдание и надежда — настолько ему сродни. что никакие повороты и неожиданности уже не способны ничего изменить в его собственной обреченности.

Оставалось одно — работа.

Друзья просили его рассказать о своих впечатлениях от Европы, а еще бы лучше и написать для «Времени». Написать, конечно, нужно и даже непременно, только вот о каких впечатлениях? О красотах архитектуры, о парижских бульварах, лондонских кварталах, о Рейне, Женевском озере? Да кому ж из нас, русских, эта Европа не известна куда лучше, чем Россия? Ну, был он и в Берлине, и в Дрездене, и в Висбадене, и в Баден-Бадене, и в Кёльне, был в Париже и в Лондоне, в Женеве и во Флоренции, да только много ли разглядишь, исколесив чуть не всю Европу в два-то с половиной месяца? Да и что ж поделаешь, если Берлин, к примеру, ему не приглянулся, слишком уж кислым показался. Даже знамени-

тые липы берлинские и те не произвели впечатления, а ведь любой берлинец за эти липы свои всем пожертвует, пожалуй, даже и конституцией, хотя что может быть для берлинца дороже его конституции? Что? И нам бы недурственно кое за что и свое так держаться? Конечно, конечно, вот о том-то и речь: коль уж писать о Европе, так затем, чтоб яснее Россию представить. А то ведь и засмеют, коли только о самой Европе, — ездил-ездил, а ничего не увидел: был в Лондоне, а собор святого Павла не повидал. Лукавство? Право, не повидал, так уж лучше о том, что успел разглядеть.

А разглядеть все-таки кое-что успел, и подумать кое о чем время нашлось в дороге. Ну вот хотя бы — только въехал в Европу, и вдруг мысль сама собой явилась. «А действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Как еще не переродились мы окончательно в европейцев?.. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, то, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина, и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели?..» — вот ведь какие мыслишки-то дорога навевает. А все от скуки: так «скучно, праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без дела своего жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска, и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут...»

Размышления о судьбах России и Европы (Достоевский решил дать им журнальное название «Зимние заметки о летних впечатлениях») писались легко и даже как-то весело. Хотя размышления выходили и не всегда

веселыми. Да и чему веселиться, чему радоваться? Неужели же нечему? «Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованны, до того европейцы, что даже народу стошнило на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, а ведь это, как хотите, прогресс... Зато как же мы теперь самоуверенны, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только простая система податей, душа — вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула, стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки...»

Но что ж это все о нас да о нас, не лучше ли все-таки о самой европейской цивилизации, о плодах ее — не теоретических, а самых что ни на есть реальных? Ну что ж, извольте: во всей Европе идет «упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, устроиться в одном муравейнике, не поедая друг друга...». Достоевский рассказывал о «белых неграх» — рабах капиталистической цивилизации, о миллионах, прогнанных с пиру людского в темные подвалы Парижа и Лондона, о роскоши и нищете, цинизме красоты и блеске бесстыдства, о прекрасном типе английской женщины и о матерях, приводящих своих малолетних дочерей на известный промысел, об англиканской религии богатых и сытых, о добродетелях буржуа: в Европе даже и такие заглавия романов, как, например, «Жена, муж и любовник», уже невозможны, потому что любовников нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского, все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и подписано, потому все блестит добродетелями. А какое у европейцев благородство! «Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством», так что при одном только его виде вы тут же «готовы признать себя даже подлецом, потому что уж до такой степени он благороден». Так должно быть и иначе быть не может, потому что Европа — мир буржуа, а буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. И в театре подавай ему героев, сияющих только одним благородством, так чтобы буржуа рыдал от умиления. А потому более всего любит он мелодраму — ему надо высокого, надо чувствительности и, главное, неизъяс-

нимого благородства, а «мелодрама все это в себе заключает... Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа...»

Ну а как же — «Свобода! Равенство! Братство!» — провозглашенные французской революцией? Неужто и здесь никаких уроков для нас? Отчего же, уроки, конечно, есть, и серьезные. Лозунги прекрасные, но революция-то буржуазная, а потому и плоды ее соответствующие: «Свобода! Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно». Равенство? У вас ни копейки, у соседа миллион, а в остальном вы... равны, конечно... Братство? Братство действительно великая движущая сила человечества, только сколько его ни провозглашай, откуда ж оно возьмется, если его нет в действительности? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не «я» должно хлопотать о праве своей равноценности со всем остальным, но «я» должно всего себя пожертвовать обществу. «Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет делиться — ну и не выходит братства... Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе». Главный признак величайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшей свободы собственной воли — способность к вполне сознательному, никем не принужденному самопожертвованию всего себя в пользу всех. «Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности... Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды». Но буржуа без выгоды жить не способен, а потому ему и недоступен такой идеал личности, да и невозможен в буржуазном обществе по самой его природе...

Размышления Достоевского о судьбах России и Европы в скрытой форме (и это естественно: Чернышевский в Петропавловке, о Герцене говорить в печати запрещено) участвовали в споре по тому же вопросу внутри революционно-демократического лагеря, в частности, между «Колоколом» и «Современником». Чернышевский утверждал, что как в России, так и на Западе народные массы еще не сказали своего окончательного слова в социальной борьбе и только готовятся войти в историю. Герцен, непосредственно наблюдавший реальную жизнь Европы, доказывал в работе «Концы и начала»: «Париж и Лондон замыкают том всемирной истории... почему же народ, самобытно развившийся при совершенно других условиях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен переживать европейские зады, и это — зная очень хорошо, к чему они ведут?»

«Концы и начала» недавно появились в «Колоколе». Достоевский вполне разделял взгляды, высказанные здесь Герценом. Поездка в Европу еще более укрепила его отношение к буржуазной цивилизации.

Ладно, идеалы идеалами, но ведь не станешь же оспаривать тот факт, что в промышленном, экономическом отношении Европа далеко ушла от России? До того далеко, что английские журналы как о само собой разумеющемся называют Россию аграрным придатком передовой Англии. О том же толкуют и влиятельные французские журналы. Да о чем говорить — были в Лондоне? — стало быть, видели же Всемирную выставку, этот «Хрустальный дворец» — показатель достижений современной Европы, идеал человечества во плоти? Неужто и «Хрустальный дворец» — одна только видимость? Да... тут ничего не скажешь: выставка поразительна. «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то... «Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы. — Не конец ли тут?.. Не придется ли принять это, в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно?..» Да, «тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора... чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить

Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...»

Нет, не заманить всех в кумирню бога-чрева — таков вывод Достоевского, — мы многое научились бранить на Руси, и честь и хвала нам за нашу способность видеть и даже преувеличивать свои недостатки, но надо же и о чем-то положительно сказать, нужно же осознать свой идеал и явить его миру, а иначе всемирный муравейник...

Понятие «муравейник» давно уже осознавалось Достоевским как формула западного идеала мироустроения, предназначенного для миллионов тружеников, которые в глазах истинных хозяев мира — буржуа — действительно не более чем муравьи. Но особенно настораживало его то обстоятельство, что формула эта искушает своей видимой простотой и естественностью русских теоретиков — социалистов и демократов, чьи интересы, безусловно, — он был убежден в этом — лежат в русле, как раз противоположном идеалам буржуазного общества. Так, Чернышевский, например, в своей работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» сочувственно цитирует рассуждения немецкого философа из его труда «Эрнст и Фальк. Разговоры для масонов» о муравейнике как общественном идеале: здесь каждый занят полезной деятельностью, тащит, пристраивает что-нибудь, не мешая, но даже и помогая друг другу.

А вот русский народ давно заметил: муравей не по себе ношу тащит, и никто ему спасиба не молвит, а пчелка по искорке носит, да богу и людям угождает.

Этот идеал, кажется, единственное, что оставалось и ему — жить, угождая «богу и людям», не помышляя уже ни о каком личном счастье. Да он и не стремился к нему, но — так уж случилось — оно взяло да и пришло к нему само, и он принял его почти с ликованием и стыдом, потому что уже и сейчас оборачивалось оно и счастьем и мукой одновременно.

А началось все почти нечаянно — просто захотелось по доброте душевной помочь человеку определиться в этой действительности, изобилующей душевными, бытовыми, нравственными, социальными — какими угодно — тупиками, закоулками, лабиринтами. А уж ей-то, молоденькой, красивой, жадной до всего нового и прогрессивного, и того проще заплутать, ища верную дорогу, и оказаться

однажды среди непролазной беспутности. Когда она с год тому назад принесла ему свой первый рассказ — «Покуда», — слабый, но полный наивной девической веры в возрождение освобожденной от «духовного крепостничества» женщины, он решил опубликовать его в своем журнале. Недавно, в 3-й книжке «Времени», появился и второй ее рассказ на ту же тему — «До свадьбы». Звали ее Аполлинария Суслова.

От него не скрылось — да Аполлинария и не скрывала того, — она влюблена в него. Впрочем, нет, не то слово — она боготворит, обожает его — не просто великого писателя, но мученика, недавнего каторжника, бойца, пострадавшего за идею. Он видел, как загорались ее глаза, когда он читал свой «Мертвый дом» на литературных вечерах, — она непременно бывала везде, где можно было встретить его, увидеть, услышать. И она женским своим чутьем сразу угадала, что «ушибла» его. Но он был всегда и недосягаем, угрюм, замкнут, одинок. Да и чем мог он ответить этой «стриженой» (как ее звали), взбалмошной, восторженной девушке, моложе его на полжизни, и какой жизни?! Он стар, у него семья, больная жена. Ему представлялось не то что странным, но как-то даже и смешным, невообразимо пошлым оказаться в роли молодящегося ухажера, этакого светского льва-соблазнителя. Правда, всегда окруженная толпой студентов, свободная в своих взглядах, она менее всего походила на женщину, которую можно соблазнить. Для него, человека, воспитанного в иных нравах, казалось — скорее уж напротив... Но, когда однажды он получил от нее письмо, полное гордых, но и восторженных признаний, он вдруг ощутил, как все внутри будто понеслось на бешеных санках, сорвавшихся с крутой горы, — и уж ничто их не остановит, пока не закончится их лёт сам собой, если, конечно, не перевернутся на полпути. Никаких сомнений у него больше не было — он любит ее. Словом, он не повторил подвига Онегина и не отчитал свою Татьяну, то есть Аполлинарию, и без дальнейшего сопротивления сдался на милость своей «соблазнительницы», как он предпочитал думать, с каким-то даже восторгом отчаяния.

К немалому его удивлению, «соблазнительница» оказалась еще совершенным ребенком, наивным и гордым, — вот и верь после этого в басни об эмансипированных нигилистках, — который, однако, очень скоро превратился в страстную, требовательную в любви женщину. Многое в ней поражало Достоевского: готовность пойти на какой

угодно подвиг и чисто женский эгоизм; нежелание мириться с теми нормами и приличиями, которые она считала пережитками и предрассудками, а вместе с тем ее глубокое уважение к русским народным обычаям и традициям; в ее натуре, даже во всем ее облике было что-то неисправимо русское, корневое, при всех ее рассуждениях об общечеловеческих — на меньшее она не соглашалась — устремлениях, которыми должен жить «всякий передовой человек». Впрочем, ничего странного в этом не было: крестьянка по рождению, до 15 лет она и росла деревенской девочкой, после чего вместе с младшей сестрой, Надеждой, получила воспитание и образование в одном из частных пансионов в Москве, куда определил их отец.

Был он родом из села Панина Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Человек незаурядный, широко начитанный, склонный к отвлеченному мышлению, но проявивший и свои практические способности, Прокофий Суслов, будучи крепостным графа Шереметева, сумел накопить достаточно денег, выкупиться на свободу еще до отмены крепостного права. У Шереметевых случай нередкий, хотя освобождение, конечно же, зависело от настроения и прихоти эксцентричного графа, владельца более 120 тысяч крепостных, среди которых было немало даже и миллионеров.

Трудно сказать, чем услужил он графу, но, получив отпускную, Прокофий Суслов остался у него на службе и в начале 60-х годов, постоянно живя в Петербурге, уже исполнял обязанности управляющего делами графа и всеми его огромными имениями.

Обе дочери явно унаследовали от него и ум, и волю, и темперамент, а общение со студенческой молодежью, посещение университетских лекций в качестве вольнослушательниц у профессоров Костомарова, Спасовича, Стасюлевича привили им передовые, в духе времени, взгляды, разбудили стремление к благородному и непременно великому делу, которому можно было бы отдаться целиком, без остатка.

И вдруг — Достоевский. Аполлинария сразу почувствовала: она ждала титана, и вот он явился — ее первая любовь, ее первая страсть. Ее бог. Она должна одарить его всем, чего он достоин и чем обделен, так, чтоб он забыл обо всем, чтоб только она... А «богу» нужно бежать по мелким, вовсе не титаническим делам — утрясать страсти вокруг журнала, расплачиваться с подписчиками и авторами, которые не желают страдать из-за того, что,

видите ли, журнал закрыт; он должен писать статьи не только затем, чтобы сокрушить врагов или сказать всему миру неведомое ему слово, но и затем, что нужны деньги, потому что у «бога» семья... А он нужен был ей весь. Она же лишь свет в окошке, на который он идет с радостью и благодарностью, но лишь как усталый путник, чтобы передохнуть для новой дороги.

— Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже отдала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил... — говорил он ей, и она чувствовала себя счастливой и самозабвенно одаривала счастьем его. Но он уходил, и сомнения возвращались к ней, обиды множились, его вины в сердце ждущей любимого женщины копились. Она чувствовала себя оскорбленной, унижаемой сомнениями: что, если она для него только сладкий омут, в который он бросается, словно пьяница в запой? Он пытался отшучиваться: вон, дескать, даже мудрец какой-то сказал, что и самому великому человеку, а раз в месяц так непременно необходим какой-нибудь загул, а то ум за разум зайдет... чувствовал, что от неловкости и шутки-то какие-то пошлые выходят, да ведь как и не растеряться от иной женской диалектики: то пристанет его мучить — зачем-де с женой не разойдешься, коли меня любишь? — Да ведь больная она — тает на глазах — как же ей объяснить, как к ней подойти со своими откровениями в такое время? — Я же тебе всю себя отдала, ни о чем не спрашивала, ни на что не рассчитывала. Полюбила и отдала... Он злился, раздражался, как ребенок, убегал... Она мучилась, доводя себя до страдания, убеждала, что он действительно приходит к ней как удобно устроившийся деловой человек, и у нее рождалось — самой неведомо откуда — желание помучить его: он же мучает ее — она уверяла себя, что мучает, — так пусть и сам помучается. Говорит же, что человеку, чтоб стать человеком, страдать нужно. Так что, когда он наконец приходил, она успевала растравить себя до того, что и сама уже не могла разобрать, любит ли она его или ненавидит. Но вот он рядом, и она уже знает: никогда не сможет она принадлежать ни душой, ни телом никому другому, кроме него одного, единственного, потому что она — вся, до конца — его, потому что нет никого на свете такого, как он, потому что он — *сияющий*, совершенство, бог...

Хотя в Бога она и не верила: Бог — это «не по науке», стало быть, ретроградство, а верила в Дарвина, ко-

торый только что потряс умы человечества новым откровением о происхождении человека.

— Ну, ладно, пусть хоть и от обезьяны, — горячился Достоевский, — а душа-то человеческая от кого — тоже от нее же, голубушки?

— Никакой души нет, — спокойно проповедовала Полина своему «богу» евангелие от науки, — а есть рефлексы и физиологические функции и процессы.

— Хороша наука, нечего сказать, — какой же из нее в таком случае нравственный-то символ вытекает, — ну хоть любви, например, как силы, единящей всех людей, близких по духу, в единство, называемое человечеством, или хоть нас даже двоих? «Все мы произошли от обезьяны, поэтому будем любить друг друга» — так, что ли? Только ведь это уже, друг мой, не человечество, а человечина, как говаривал Аполлон Григорьев, получится. А мы с тобой не влюбленные, а... — Она хохотала, бросалась ему на шею, зажимала ему рот руками: она верила в науку, и ему не удастся поколебать ее веру, но с ним ей не хотелось, чтобы рефлексы и функции, с ним верилось ей не по науке, а по любви...

Новое одиночество быстро убивало и эту веру, озлобляло, заставляло искать для него все более утонченные жестокости, видеть в нем чуть не врага. Поняв, что иначе он может потерять ее, Достоевский предложил Полине поехать в Европу — там они будут все время вместе, одни: ни тебе журналов, ни кредиторов, ни разлук-ожиданий. Она приняла предложение с благодарностью и восторгом. Выехать должны были в конце мая или в самом начале июня.

Но хлопоты с журналом, ухудшение состояния жены — врачи настоятельно рекомендуют увезти ее из Петербурга ну хотя бы во Владимир: город тихий, леса вокруг, и, конечно, необходимо, чтобы ей доставляли кумыс — верное средство против чахотки. Достоевский уговорил Полину уехать пока одной, пусть полюбуется Парижем, а он догонит ее скоро. И Суслова согласилась. Он занялся житейскими делами. Увез жену во Владимир, устроил кумыс, нашел надежного человека, чтоб присмотрел за Пашей — только оставь одного, натворит дел, потом не расхлебаешь; бился за журнал — ничто не помогало: старый запретили, а не просто прикрыли на время, новый тоже не хотят позволить. Такая тоска. И чего она злилась? И за Марью Дмитриевну — жене уже давно нет до него никакого дела, а о любви, не то что супружеской, просто человеческой, и говорить не приходится, и за его журнальные и денежные хлопоты — знает ведь: нет у него ни миллиона, ни ожидаемого наследства, а только руки, да мозг, да сердце, да какой-никакой писательский дар, и хочется еще, чтоб его услышали и поняли, а он пишет то ответы «Русскому вестнику», то приветы «Современнику», потому что... Э-э-э, да что говорить — конца этому не видно; закрутило, не вырвешься. Вот уж и август, а она с июня ждет там и мучается. Ехать!

Он и сам-то приехал в Париж, уставший от бесполезных попыток хоть что-то изменить в судьбе Марии Дмитриевны, журнала, своей собственной; потом — нудная тряска по этой европейской — нисколько не приятней российской — чугунке, с копотью, пошлинами чуть не на каждой станции, с чужими людьми — и только надежда найти в ней родное, сочувствующее существо, нуждающееся в нем, заставляла его как бы забыть на время и о больной жене, и о журнале, и о писательском деле, и о собственном своем существе, будто раздвоившемся на рвущиеся в разные стороны половины, и никак не собрать их воедино.

В пути вновь залюбовался Рейном — удивительно, что за край! На этот раз понравился даже Париж. Погода теплая, чудесная, несмотря на дождь. А главное — здесь Полина.

Она встретила его каким-то дрожащим, будто извиняющимся, безрадостным «здравствуй».

— Я думала, что ты не приедешь, — сказала она на его тревожное «что с тобой?». — Ты ведь прочитал мое письмо?

— Какое письмо? — Он получил его только на следующий день, но уже и сейчас по глазам, по голосу ее понял, прочитал все, что придется еще прочитать завтра:

«Ты едешь немножко поздно: все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться... ты меня не знал, да и я себя не знала. Прощай, милый!..»

Она увидела, как дрожат его губы, и предложила ехать к нему в отель. Когда они вошли в комнату, ноги

его словно подкосились: не камень — человек, терпя-терпя да и треснет, — и он разрыдался вдруг, как ребенок. Но он был не ребенок, в четыре года каторги он ни разу не позволил себе заплакать от тоски в каком-нибудь потаенном углу.

— Но скажи, ты-то счастлива?

— Нет...

— Как же это? Любишь и несчастлива, да возможно ли это?

— Он меня не любит.

— Не любит! — почти закричал он, схватившись за голову, словно это признание и привело его в окончательное отчаяние. — Но ты, ты скажи мне, ты не любишь его, как раба?.. О Поля, Поля, зачем же ты так несчастлива? Это должно было случиться, я это знал. Ведь ты полюбила меня по ошибке... Но кто же он наконец — красавец, демон, Лермонтов?

Она рассказала ему все, потому что он единственный человек, которому она могла рассказать все.

— Нет, он не демон, он — человек, даже и банальный, примитивный, студент-медик, зовут его Сальвадор, родом испанец. Но, может, в этом-то и вся его сила, притягательность: с ним все позволено — он просто «красивый зверь», освобожденный от всяких сомнений и предрассудков, с ним все легко и просто, обнаженно-естественно, без изломов, без отягченности посторонними страданиями, заботами. Разве же можно устоять перед этим зовом?

— Что же, молодой, здоровый, девать себя некуда, и организм требует, а тут ты и подвернулась, ну чем не удобная любовница на неделю-другую: красива, одинока, разочарована, душа горит, да и в Париже ненадолго... — Конечно, в нем заговорила ревность отвергнутого любовника.

Но она понимала — он прав, но и каково ей было сознавать эту правду... Нет, Сальвадор победил ее все-таки своим благородством: да, оно дается и европейским воспитанием — тут школа! — но не это главное в нем. Его благородство — тоже благородство «зверя», благородство породы: однажды, когда он недолго и почти нехотя, как сильный хищник, уверенный в своей победе, еще боролся за нее — «Но ты никогда не обманешь меня?» — только и спросила она. «Я стану обманывать?!» — поразился он, но и поразился-то, нужно было видеть, с каким достоинством! Одна только эта фраза потрясла все ее существо, может быть, все и решила...

А недели через две он уже увиливал от встреч, а если они случались — от объяснений. По-прежнему клялся в любви, но был теперь очень занят и утомлен занятиями, сказывался больным, почти умирающим, подсылал к ней приятеля, чтобы тот объяснил ей наконец, что он все так же страстно и благодарно любит ее, но встретиться с нею не может. Она страдала за него, поражалась его неизъяснимому благородству и гордости, не позволяющим дать увидеть себя в муках страдания: еще бы, он должен быть всегда только красив, весел и беззаботен. И она любила его за это еще сильнее. А когда она вдруг нечаянно встретила «умирающего» на улице, беспечно шагающего явно не к доктору и даже не на лекции, она поразилась, но он объяснил ей, что уже выздоровел, а прийти не мог оттого, что в Америке у него объявился богатый дядюшка, к которому он должен уехать ненадолго, но, может быть, и навсегда.

Какая-то жгучая, никогда еще не испытываемая боль стыда обожгла ее вдруг внезапно, она уже все поняла, но еще не хотела, просто не могла, не желала поверить, что он ее не любит, смеется над ней, не знает, как от нее избавиться. А главное — лжет. Все так же просто, естественно и... с неизъяснимым благородством. Но она чувствовала, что любит его еще мучительней, чем прежде, когда и он ее любил, и любит его даже и сегодня. Нет, она заставит его полюбить себя, иначе... Иначе она просто убьет его! Она преследовала его, писала то обличительные, то умоляющие письма, но он сумел больше не попадаться ей на глаза.

Достоевский слушал ее молча и только непроизвольно качал головой, словно повторял без конца: да, я знал, так все и должно было случиться...

— Нет, я не хочу его убить, но я хотела бы его очень долго мучить, — сказала она, помолчав. — А еще я хотела бы уехать в деревню. Навсегда. Жить среди крестьян и приносить им хоть какую-нибудь пользу. Потому что нельзя же так жить, не принося никому пользы? Ведь это недостойно человека — правда?

— Только прошу тебя, Поля, — сказал он, — не сделай еще какой-нибудь глупости — ну ты понимаешь, о чем я. Нужно найти силы перетерпеть, перестрадать. Страданием все очистится.

Он уже утешал ее, понимая: ей сейчас тяжелее, чем ему, — она женщина, но и что за рок, что за судьба быть вечным утешителем, другом, а не возлюбленным любимой

женщины?.. А в нее — он видел это — будто бес вселился.

Она то убегала от него, то вновь возвращалась, поднимая его в семь утра с постели, в которую он только что лег после бессонной, полной кошмаров ночи, делилась с ним новыми сомнениями и надеждами, тащила с собой по парижским улицам, все еще рассчитывая на случайную встречу с Сальвадором, чтобы либо упасть перед ним на колени и умолять вернуться к ней, либо гордо бросить в лицо ему уничтожающую фразу — она придумала их немало, — либо уж отравить его медленным ядом. Федор Михайлович уводил ее в Лувр, на чудную набережную Сены, до собора Нотр-Дам. Недавно перевод «Собора Парижской богоматери» появился во «Времени», и Достоевский сам написал к нему предисловие. Его особенно влекли места, связанные с именем провозвестника главной идеи XIX века, каким он считал Гюго, — идеи восстановления литературой погибшего человека. Но Полину занимало другое, мысли и настроения ее метались, она то собиралась ехать к Герцену в Лондон, то решалась покончить с собой, то податься в секту «бегунов» в Америке, или уехать к мужикам в деревню, или убить его.

— Кого его? — вздрагивал Достоевский.

— Да не его, а царя, — шептала она ему в ухо, касаясь губами, отчего все его тело начинало дрожать, как в лихорадке.

— Славы захотелось? Легкой и быстрой? И весь мир уже передает из уст в уста твое имя... И Сальвадор страдает в своем неизъяснимом благородстве — как же, отверг такую женщину! — вот чего тебе хочется. Страдания испугалась...

Он уговаривал ее уехать из Парижа, знал: благородный проходимец бросил ее бесповоротно, она только изведется здесь. — Мы же собирались в Рим, Неаполь... — Но как же теперь... вдвоем-то? — Успокойся, я буду тебе как брат. — Она согласилась наконец, и в начале сентября они отправились в Италию, через Женеву. По дороге он уговорил ее задержаться в Баден-Бадене. Для этого у него были серьезные причины.

К немалому ее удивлению и даже раздражению — таким она его еще не знала, — Достоевский сделался вдруг беспечен, шутил, всю дорогу изъяснялся стихами. В Бадене, сняв номер из двух сообщающихся комнат, он оставил Полину приводить себя в порядок с дороги, а сам куда-то убежал.

Еще в первый приезд в Европу его вдруг нестерпимо поманило испытать судьбу на рулетке в одном из игорных домов. Тогда, неожиданно для себя, он легко выиграл десять тысяч франков. С тех пор мысль о рулетке постоянно томила, словно проснулся тот красный паучок и вновь начал проявлять свою власть над ним. Собственно, всякая азартная игра всегда имела на него какое-то непонятное, притягательное, которому невозможно противиться, влияние. Сначала он стыдился своего увлечения, потом нашел ему оправдание: ему-де как писателю просто необходимо испытать на себе и эту страсть, владеющую натурой игрока. Затем вдруг ощутил невозможность и даже совершенное нежелание противиться этой страсти: в ней была своя поэзия риска и поэзия надежды, то всеохватывающее состояние переступания за очерченную судьбой черту, леденящее душу и вместе доводящее до восторга, о котором и Пушкин писал: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Да, игра — это бой, схватка с невидимым, но могучим и коварным противником — вечно усмехающимся над человеком, слепым роком; это дерзкий вызов случаю, отчаянная попытка своей собственной волей изменить круг предначертанности. И разве же не были в этом смысле игроками и Магомет и Наполеон? Разве не поставили они на карту и собственную жизнь, и жизни миллионов людей, круто изменив привычный ход истории? А Гомер и Шекспир? Да и сам он не переступил ли черту судьбы, предуготовившую ему путь военного чиновника, но он поставил на «Бедных людей» и выиграл. Ведь выиграл же? И ад мертвого дома прошел — теперь он чувствовал неодолимое желание пройти и ад рулетки, этой игры с жизнью. Потому что это действительно ад или, вернее, один из кругов его, образ и символ преисподней. Жизнь, совесть, честь, любовь — все святое бросается в общее, крутящееся пекло колеса рулетки, перемешивается с франками, талерами, слитками золота, тысячами, сотнями тысяч, может быть, и с миллионом — и... мгновения ожидания — адское колесо крутится, крутится, и кажется, в нем сосредоточена сейчас вся вселенная со всеми своими страстями, надеждами и возможностями, но — остановилось — и тут самый страшный, самый критический миг: кто выиграл, кто проиграл — ты или рок? Что на что обменяно? Нет, тут не

просто корысть, тут в несколько минут переживаешь ощущение вечности...

Еще в 59-м, в Семипалатинске, прочитал он надолго запавшую в сознание статью — «Из записок игрока», рассказывающую о нравах игорных домов Баден-Бадена, Гомбурга, Висбадена, Женевы, где порою в считанные минуты выигрываются и проигрываются целые состояния, где вчерашние нищие становятся миллионерами, а миллионеры — самоубийцами. «В Висбадене, — читал он, — еще очень недавно молодой человек, проигравший там все свое состояние, в порыве отчаяния застрелился в игорной зале в виду многочисленной публики, столпившейся вокруг рулетки. Замечательно, что печальное событие это не прервало даже хода игры, и выкликавший нумера продолжал вертеть цилиндр с таким же хладнокровием, с каким приказал служителю вычистить зеленое поле стола, на который брызнул мозг из размозженной головы игрока».

С тех пор Достоевский читал все, что только было доступно ему об этом фантастическом мире игры с его любимцами и неудачниками, теоретиками и философами рулетки, с прожигателями состояний и умельцами, живущими недурно только за счет небольших, но постоянных выигрышей.

В 62-м Достоевский не столько играл, сколько еще и наблюдал за играющими, следил за выпадающими номерами, пытаясь если не осмыслить, то хоть угадать в общих чертах тайну выигрыша, отыскать хоть какую-то закономерность в этой цепи случайностей — не может быть, чтобы тонкость ума и чутье человеческое не одолели грубость слепого случая, — убеждал он себя.

Конечно, не одна только дьявольская поэзия рулетки искушала его; тут усмехался и другой властный демон — миллион. О, не говорите о корысти. Корысть здесь на последнем месте, корысть — это десяток, ну, сотня, несколько сот франков на роскошный обед, на любовницу, на что угодно, а миллион! — миллион — это идея... Корысть — это Краевский, литературный ростовщик и промышленник, хотя и накопил, пожалуй, не один миллион, но — годами грабя авторов, нещадно эксплуатируя мозг и талант сотрудников и писателей. Здесь, на рулетке, здесь, только представьте себе: мгновение — и вы одним махом, одним дерзким движением вырываете у судьбы то, на что тратят свои жизни порой целые поколения. Здесь — все либо уж ничего... Нужно только решиться,

позволить себе переступить через страх риска — и... А с миллионами можно много сделать, и главное — свобода: от постоянной нужды писать из-за куска хлеба, вечной зависимости от кредиторов, ростовщиков, работодателей, потому что писать из-за денег невыносимо и физически и нравственно. Но что же делать, если над этим миром возвысился на своих тонких, невидимых лапах вселенский паук и установил свой закон: все продается, все покупается — жизнь, честь, совесть, красота, молодость, любовь — все... Продается и обменивается на деньги. Ты можешь презирать, ненавидеть этот закон, но он существует и властвует, и попробуй не подчинись ему, если у тебя нет миллиона. А вот если есть, тогда ты свободен даже и от власти денег, ибо уже не они тобой владеют, а ты ими. Ты сам берешь оружие дьявола в свои руки, и он уже не властен над тобой. Только тем и можно победить его законы, а поле схватки — вот оно, зеленое, с бесстрастно, бесчувственно крутящимся колесом. Рискни же, если имеешь на то силу, волю и дерзость, словно нашептывал ему кто-то, подслушивая и глумливо усмехаясь. Но главное — не горячиться, не торопиться, главное — хладнокровие, спокойствие и... расчет. Да, и расчет, уговаривал он себя, входя в ненавистное и тем еще более властно манящее к себе роскошное чрево игорного вертепа.

Ощущение грязи, блестящей, сверкающей позолотой, изысканной грязи, не покидало его. Английские лорды и французские великосветские кокотки, бароны и люди сомнительного положения и происхождения, жадные и бесстрастные, искривленные полуулыбкой и полубезумные лица; аристократические маменьки, подталкивающие к столу своих пятнадцатилетних дочек с зажатыми в еще невинных пальчиках золотыми монетами... Но, может быть, грязь-то и дразнила надеждой — выбраться из нее победителем: он знал, что непременно должен выиграть, и пусть из ста выигрывает лишь один — ему-то что до того, — он должен быть этим единственным.

Поставил — и выиграл. Поставил еще — ему явно везло. Вскоре в его карманах лежало уже 10 тысяч 400 франков. Нашел в себе силы остановиться и помчался в отель. Но, коли везет, зачем же бежать от судьбы? Вернулся, поставил еще и тут же спустил большую половину выигрыша. Оставшись с пятью тысячами франков, заставил себя покинуть игорный зал. Часть отправил в Петербург Варваре Дмитриевне, свояченице, для жены и Паши, часть — брату. А через несколько дней писал уже и Вар-

варе Дмитриевне и Михаилу Михайловичу просьбы выслать хоть рублей сто: проиграл 3 тысячи, остался с 260 франками. Продолжать путешествие с такой суммой невозможно. Рискнул — и у него осталось 35 франков, которые спустил на следующей же ставке.

Когда паук (нет, он видел, что это крупье, со своей длинной лопаткой, но чувствовал — крупье только кукла, видимость, марионетка, а главный здесь — иной, невидимый), когда паук сгреб своей липкой лапкой его последние франки, он не ощутил в себе ничего, кроме холодной пустоты. На этот раз он побежден, но они еще повоюют, вот только бы раздобыть денег и не горячиться: с этим господином малейшее волнение, малейшая неуверенность в себе — конец.

Встретив в Бадене Тургенева с дочерью, он одолжить у него не решился, Иван Сергеевич и без того хандрил, жаловался на недомогание и разного рода нравственные муки и сомнения.

Полина, надо отдать ей должное, спокойно воспринимала как неожиданное для нее увлечение Федора Михайловича, так и его последствия. Даже как будто подобрела к нему.

— Знаешь, — сказала она тихо, как будто задумавшись о чем-то, в один из вечеров, когда они остались вдвоем (она уже легла спать и попросила его посидеть с ней, он сел рядом на кровать, она взяла его за руку и долго держала в своей), — я сказала, что любовь твоя не принесла мне ничего, кроме страдания, — нет, нет, помолчи, — так это неправда, со зла я сказала... Я была счастлива с тобой в России... — Он побледнел, посмотрел на нее странно, вскочил с кровати, запнулся за ее туфли, рванулся вдруг, снова сел рядом.

— Что с тобой?

— Хотел закрыть окно, — сказал он неуверенно, все такой же бледный и глядя на нее тем же странным, будто внутрь себя, взглядом.

Ну так иди к себе, я буду спать.

-- Да, да, конечно, — сказал он, продолжая сидеть. Потом встал, ушел в свою комнату. Но почти тут же снова вошел, спросил о чем-то. И снова ушел, затворив дверь.

— Прости, — сказал утром, — я, кажется, был пьян, но у тебя вчера была очень коварная улыбка...

Денег доехать до Женевы все-таки раздобыли, а там дрожали каждую минуту, рискуя быть изгнанными из

отеля за неуплату со скандалом, с полицией... Пришлось заложить его часы, и они отправились дальше, в Турин.

Он стал замечать, что в последние дни его мысли все чаще возвращаются к несчастной Марии Дмитриевне, брошенной им, почти умирающей, к Паше, которого он все-таки любил, хоть и юный фат, — все мысли только о знакомствах в Юсуповых садах с хорошенькими девицами, ну до чего доведут они его-то в 17 лет... Ему стало вдруг ужасно грустно, и он понял, что тоскует по России, что ему скучны все эти великолепные красоты Европы, что даже Полина, с которой, кажется, не заскучаешь, не в силах освободить его от этой скуки, грусти, одиночества. А на нее вдруг накатывали приступы нежности к Федору Михайловичу, ей хотелось хоть как-то загладить свою вину перед ним, и он, молчаливый, угрюмый в последние дни, отзывался на каждое ее приветливое слово такой внезапной радостью, что она начинала бояться его: прошлого не вернуть — она знала это, а в новое долгое чувство она уже не верила. Снова становилась почти равнодушна.

Однажды в Турине они обедали в открытом кафе, и он вдруг заметил, что она смотрит на него с лаской.

— Какой знакомый взгляд и как давно я его не видел, — сказал он.

Она вдруг не выдержала и внезапно для себя самой разрыдалась. Девочка рядом, за оградой кафе, — прелестный ребенок — брала уроки музыки, Достоевский смотрел на нее:

— Ну вот представь себе: такая девочка и старик... И вдруг приходит какой-нибудь Наполеон и говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете...

О чем он? То ли ее нежность прервала какую-то мысль, которая свершалась в нем, и он, отвлекшись на мгновение, вдруг проговорил ее вслух? Или хотел утешить тем, что ее горе — только частица вселенского?..

Из Турина отправились в Геную, а оттуда пароходом в Ливорно. Достоевский снова пришел в веселое настроение, смеялся, шутил и показался ей даже навязчивым.

— Отчего ты такой веселый?

— Эта веселость от досады, — сказал он, вдруг погрустнев сразу, и ушел. Но скоро вернулся. Она только что легла в постель — был уже час ночи, и он видел ее шею и плечи в белых кружевах.

— Нехорошо мне... Смеялся — думал хоть тебя развлеку... Говорят же — любовь и попа плясать научит.

Она сама от себя не ожидала, бросилась ему на шею.

— Ты и сейчас думаешь о своем испанце, я знаю, — и он увидел, что ей сделалось сладко от его слов. Он встал. — Пойду... хотя и унизительно для меня оставлять такую роскошную женщину... ибо россияне никогда не отступали... — попытался он обратить все в шутку, понял, что шутка не получилась, рассердился на себя, махнул безнадежно рукой, ушел в свою комнату и больше не возвращался.

Потом они побывали в Риме и Неаполе. По дороге их часто обыскивали, требовали документы — время в Италии неспокойное, всюду разговоры о гарибальдийцах, скорой революции. И Рим и Неаполь поразили Достоевского красотой, но чем роскошнее открывала ему Европа свои чудеса, тем мучительней тянуло его в Россию. Он уже совершенно ясно понимал: мятеж страстей, в который он бросился с отчаянным восторгом, веря в него как в спасение медленно, но верно усыхающей души, постоянно ощущающей свою ненужность и оставленность, — мятеж этот оказался омутом, который высосал из него, может быть, последние душевные силы. Рулетка — тот же омут, погибельная трясина. Нет, видно, его путь иной — страдание и труд, упорный, повседневный. А страсти — страсти еще нужно преодолеть. Словом. Творчеством, и не за рулеточным, а за рабочим его столом. Впрочем, и замысел вызрел уже почти сам собой и, кажется, может увлечь и спасти его, да и состояние нашей сегодняшней внутренней жизни вполне отразится на нем.

«...Это лицо живое, — делится он идеей нового романа в письме из Рима с Николаем Николаевичем Страховым. — Главная же сила в том, что все его жизненные соки, смелость, буйство пошли на *рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец... Он поэт в своем роде, но дело в том, что сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его... Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал *наглядно* до «Мертвого дома», то этот рассказ непременно обратит на себя внимание как наглядное и подробнейшее изображение рулеточной игры... Это описание своего рода ада, своего рода каторжной «бани»...»

Просит Страхова запродать куда-нибудь этот замысел, так как он, литератор-пролетарий, крайне нуждается в деньгах. Разумеется, не в «Русский вестник» и по возможности избегая «Отечественных записок». Ради бога, избежите, умоляет он, даже лучше не надо и денег. Хорошо бы предложить в «Современник»: роман его уж наверное «Современнику» не повредит. Может быть, теперь и Некрасов захочет помочь ему? Да и кто другой, как не он, Достоевский, предлагал Некрасову печататься во «Времени», когда «Современник» попал в опалу. Несмотря ни на что, «Современник» все еще осознавался им как «свой» журнал.

Перед отъездом Страхов настойчиво уговаривал Достоевского повнимательнее и поглубже почитать славянофилов. И он читал, как только выдавалась свободная минута — и в поезде, и в Париже, и в Италии. «Славянофилы, — делится он теперь со Страховым своим новым прочтением, — разумеется, сказали *новое слово*, даже такое, которое может быть и избранным, и то не совсем его разжевали. Но какая-то удивительная *аристократическая сытость* при решении общественных вопросов...»

Да, скорее бы уж в Россию...

На обратном пути из Неаполя неожиданно повстречали на корабле Герцена с сыном. Встретились тепло, разговорились. В Ливорно Достоевский ездил к нему в гостиницу. Потом отправились с Сусловой дальше, до Берлина, где, как и условились еще в начале путешествия, они должны были расстаться. Прощание вышло грустное, оба понимали, что расставаться навсегда им, может быть, и не стоило бы, но чувствовали — вместе только измучают друг друга. Аполлинария отбыла в Париж, Достоевский перед возвращением в Петербург рискнул заехать в Гомбург, славившийся своими игорными домами. Проиграл все, до последней копейки, писал отчаянные письма с просьбами о помощи. Полина прислала из Парижа 350 франков, и в конце октября он был уже в Петербурге.

3. Крушение эпохи

Здоровье Марии Дмитриевны во Владимире нисколько не улучшилось, даже, кажется, напротив. Врачи настоятельно рекомендовали перевезти ее в Москву. Оставлять жену одну Достоевский больше не решался и не хотел, а это значило, что на него сразу же свалились хлопоты по отысканию в Москве квартиры, покупке мебели, устройству на новом месте, для чего требовалось немало денег, а их у него не было нисколько. Чтобы достать необходимые сред-

ства, нужно было работать, а работать-то как раз и некогда и негде. Заботы об устройстве нового журнала требовали от него если не жить, то уж часто бывать в Петербурге, значит, и здесь нужно еще содержать квартиру. Словом, конца хлопотам не предвиделось, надежды сесть за рабочий стол приходилось откладывать на неопределенное будущее. Не радовал и Паша — он остался в Петербурге. деньги, сколько ни высылай, тут же транжирит, ни к какому делу не тянется, пропадет, как червь, — а срам на чью голову? На его, отчима. Скажут: не занимался пасынком, известное, мол, дело — не свой... Матери даже и письма-то не напишет — и ругал, и корил, и чуть не умолял его: пиши, не будь дурным сыном, мать-то ведь умирает, а ему хоть бы что, волокитится, повесничает. «Во всяком случае, помни, — писал ему, — что ты не барин и не капиталист... Меня же ненадолго хватит... Теперь едва перо держу в руках. Жизнь, брат, очень тяжела. Не прохлаждайся, изгони эту подлую привычку...»

Чувствовал себя и впрямь так скверно, будто и самому на этом свете недолго осталось маяться. Нет, смерть его не пугала: умереть, говорят, сегодня страшно, а когда-нибудь — так и ничего, да и жизнь не сулила уже ничего отрадного. Кажется, единственная радость по возвращении в Россию пришла от Некрасова: Николай Алексеевич подарил ему свою последнюю книжку стихов: «Взгляните, Федор Михайлович, там «Крот» есть, так это я о вас в Сибири написал...»

Вот разве что надежды на новый журнал как будто воскресают: сокрушив дерзкое «Время», Катков благодаря ходатайствам Страхова сменил наконец гнев на милость. Да, да, все, или почти все, зависело теперь не от министра внутренних дел Валуева и не столько от правительства вообще, сколько от могучего слова Михаила Никифоровича. Катков упрямо и порой с поражающей дерзостью вел борьбу за идейную гегемонию, а в идеале — и диктатуру в области общественной жизни. Еще в 62-м году он добился от правительства права вести открытую полемику с Герценом, чего не было позволено ни одному другому деятелю, а во время польских событий Катков занял решительную позицию критики правительства... справа. Цензура, как могла, боролась с воинственным редактором «Русского вестника», запрещая его статьи, угрожая закрыть журнал:

«В предлагаемой Вами редакционной статье обсуждается образ действий нашего правительства в Царстве Польском, — писал ему цензор. — Вообще указывается на нерешительность действий, на неуместные поблажки и льготы, как меры, которые приведут нас к потере края, к европейской войне... Это все может быть очень справедливо, но никак не может быть пропущено цензурой». Однако и цензуре уже трудно было противостоять напору Каткова. Теми или иными путями, но он настойчиво проводил мысль о предательстве великого князя Константина Николаевича Романова, наместника императора в Польше. Казалось, еще день-два, и от Каткова останется одно воспоминание, так как подобного рода обвинения частным лицом не просто крупнейшего правительственного чина, но и лица, принадлежащего к царствующей фамилии, было делом совершенно беспрецедентным и невероятным. Однако, к изумлению общественности и высшей администрации, устранен был все-таки великий князь Константин Николаевич, а позиции Каткова еще более окрепли. Граф Муравьев Михаил Николаевич, назначенный виленским генерал-губернатором «с неограниченной властью и чрезвычайными полномочиями для скорейшего разрешения польского вопроса», счел для себя полезным обратиться к Каткову с предложением о сотрудничестве. Министры начинали трепетать, а оттого и ненавидеть зарвавшегося журналиста, однако наиболее дальновидные из них спешили заключить с ним договор «насчет обмена мыслей и мнений». Государственные мужи рассчитывали, естественно, приручить Каткова, идя на временный союз с ним; сам же Михаил Никифорович добивался для себя неограниченной миссии — руководить мнением не только министров, но и самого царя и тем самым стать, по существу, истинно верховной властью России. Как бы то ни было, но и министрам уже никак невозможно было не считаться с правым оппозиционером.

Потому-то, когда Достоевский узнал, что Катков пообещал наконец Страхову походатайствовать о новом журнале («Время» возобновить уже не представлялось возможным), он понял: журнал будет, необходимо подумать о его устройстве, программе, подписке, да и о названии тоже. Федору Михайловичу хотелось назвать его «Правда»: «Это прямо в точку. И мысль наиболее подходящую заключает... а главное — в нем есть некоторая *наивность, вера*, которая именно как раз к духу и направлению нашему, потому что наш журнал («Время») был все время до крайности наивен и, может быть, и взял наивностью и верой», — писал он Михаилу Михайловичу из Москвы.

Однако скоро выяснилось, что *такое* название стало серьезной причиной для сомнений соответствующих инстанций насчет того, стоит ли доверять Достоевским новый журнал. Тогда, перебрав немало предложений, остановились на «Эпохе», хотя это название и не особенно нравилось Федору Михайловичу, но ведь говорят же: хоть горшком назови, лишь бы... Лишь бы дали говорить и работать, а там хоть бы и «Эпоха»». А почему бы в самом деле и не «Эпоха»?

Позволение вышло лишь в середине января 64-го, что создавало чрезвычайно неблагоприятные условия для организации журнала: подписка давно уже закончилась, авторы давно уже запродали свои произведения в другие журналы, название нового органа никому ни о чем не говорило. «Эпоха» требовала значительной суммы, а Достоевские не расплатились еще с подписчиками и авторами «Времени». Обрадованный успехами первого журнала, Михаил Михайлович ликвидировал в 62-м году табачную фабрику, а попав после закрытия «Времени» в паутину долгов, в последний год и вовсе сделался каким-то вялым, а тут еще его любимая младшая дочка Варя умерла в одночасье, и он совершенно затосковал, увял. Федор Михайлович должен чуть не постоянно пребывать в Москве, при Марии Дмитриевне, так что взять на себя организацию журнала полностью тоже не может. Первая, сдвоенная за январь — февраль книжка «Эпохи» вышла в марте, Достоевский торопился написать для нее новую повесть — понимал: его личное авторское участие в журнале привлечет внимание общественности, но писалось через силу, врачи полагали, что Мария Дмитриевна вряд ли дотянет и до пасхи, а тут еще младший брат Коля запил — нужны деньги на лечение, — поэтому писал урывками, по ночам, но закончить так и не успел, пришлось печатать по частям. Спасибо, Тургенев прислал для «Эпохи» свои «Призраки», и Аполлон Григорьев откликнулся, и Майков, и Страхов, и Всеволод Крестовский дал отрывок из «Петербургских трущоб», так что первый номер все-таки собрался. Работать нужно. Несмотря ни на что. А повесть худо идет. Безрадостно. Дрянь выходит — значит, записался; значит, снова через не могу и через не хочу...

«Записки из подполья» задумал еще в 62-м, — сколько ни говори о почве, об отрыве от нее, все это теория; хотелось наглядно показать человека оторванного, рожденного атмосферой самого умышленного, самого фантастического города на свете. Петербургский мечтатель давно уже загнал мечты свои в такие закоулки, в такое подполье сознания, что все в нем перемешалось, все переворотилось. Он уже и сам не знает — зол он или добр, чего ему хочется, что любит и что ненавидит. Ему нужно хоть за что-нибудь ухватиться, за любую идею, которая окажется ему по плечу. И вдруг — разумный эгоизм: люби себя и будешь любить всех... И кто же проповедует — люди передовые, учители общества, ну как же не ухватиться за все оправдывающую идею: ведь я-то один, а их всех — много, всех не полюбишь, ко всем добрым не станешь, обязательно о ком-нибудь да и забудешь... Значит, только «я» и все для меня — эгоистично, а следовательно, и разумно. «Я» — цель и смысл мироздания, а потому и: «Миру ли провалиться, или мне чаю сейчас не пить?» И вдруг те же учители зовут его в светлое будущее, к всеобщему счастью, устроенному в «Хрустальном дворце». Идея непременно ввести «Хрустальный дворец» в исповедь его подпольного мудреца, а повесть так и задумывалась как исповедь, пусть сам выскажется, вывернется наизнанку перед всеми, особенно окрепла после появления в 3-й книжке «Современника» за прошлый год романа Чернышевского, все еще сидевшего в Петропавловке, ставившего проклятый вопрос эпохи: «Что делать?» — и отвечавшего, по впечатлению Достоевского, вполне определенно: строить Хрустальный дворец, тот самый... Это его-то, подпольного мечтателя, эгоиста-мыслителя и теоретика — в «Хрустальный дворец», в котором он станет, как муравей, приносить общую пользу, не мешая, а даже и помогая другим? Вот уж самая фантастическая утопия. Или, может быть, он сам собой переделается, попав в это образцовое будущее, — в «нового человека», в Кирсанова или Лопухова? Кирсановых — единицы, а герои «подполья» — на каждом шагу, их только не хотят замечать, не желают заглянуть в их нутро, в подполье их сознания. Достоевский гордился даже, что впервые разоблачил трагическую изуродованность человека из образованного большинства, указал причину его страдания от сознания им собственной уродливости и одновременно желания для себя лучшего, но и столь же ясное понимание неспособности переделаться.

Исповедь подпольного парадоксалиста доводила и самого писателя до крайней нервозности И то: попробуйка влезть в шкуру, в сознание такого героя каждую ночь

после нелегкого дня у постели умирающей жены. Мария Дмитриевна до того слаба, что врач не отвечает уже ни за один день. «Жена умирает буквально», — сообщает он в каждом письме родным из Москвы. Но теперь он был уже и не властен оставить повесть — половина ее вышла в первых номерах «Эпохи», читатели ждали продолжения; обмануть это ожидание — значит оттолкнуть от журнала и тех немногих, кто все-таки поверил в него... А тут еще цензура: ну просто изумляет — портит повесть, искажает ее смысл, его авторскую мысль, идею. «Свиньи цензора, — жалуется он Михаилу, — там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры в Христа — то запрещено. Да что они... в заговоре... что ли?»

А тут Паша деньги опять растранжирил, не может себе отказать ни в малейшем почесывании: брат Николай, хотя и жить-то не на что, снова запил, просит помочь. Чем? Как? Самому не в чем из дому выйти за лекарствами жене да и воздуху глотнуть: в зимнем пальто уже невыносимо жарко, да и стыдно — все-таки писатель, а весеннего нет, и не на что купить, — Паше только что приобрели. Галоши-то ладно, пока можно и в зимних походить.

Мрачно и страшно становилось порой, до боли унизительна эта беспомощность: он, взрослый человек, никогда не ленился, всегда работал как вол, чуть не вся образованная Россия читает его, а он не в состоянии помочь ни брату, ни Маше... Впрочем, Маше уже вообще не помочь — никакими миллионами, если бы даже они и были... Состояние постоянной подавленности усугублялось всевозрастающим ощущением собственной виновности и перед Машей — за Полину и перед самой Полиной — что теперь с ней? — может, и за Сальвадора не столько она, сколько он, Достоевский, в ответе? Почти наверняка, даже непременно так. Потому что все связано, все соприкасается, и нет ничего и никого самих по себе...

15 апреля у Марии Дмитриевны вдруг хлынула горлом кровь. Когда ей стало чуть легче, она словно просветлела, взгляд ее стал покоен, она попрощалась со всеми, у всех попросила прощения, со всеми примирилась, даже с Михаилом Михайловичем, в котором неизвестно почему видела едва ли не главного своего врага... К вечеру она уже отмучилась.

Что она теперь? Или то, что перед ним, — и все? И больше ничего?

«Маша лежит на столе, — записывает он в тетрадку, — увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека *как самого себя* по заповеди Христовой — невозможно. Закон личности на земле связывает. «Я» препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал... *человека во плоти*...

Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «*я*», — это как бы уничтожить это «*я*», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье...

Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы...

Говорят, человек разрушается и умирает *весь*. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, как и нравственно оставляет память свою людям (*пожелание вечной памяти* на панихидах знаменательно), то есть входит частию своей прежней, жившей на земле личности в будущее развитие человечества...

Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего «я» людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения Закона, то есть жертвой. Тут и равновесие земное. Иначе Земля была бы бессмысленна...»

Утешила ли его эта мысль о сути человеческого бытия; примирила ли со смертью жены и собственной жизнью? Огарок свечи догорал, за окном уже светало, зачиналось новое утро нового дня, но ее уже не было с ним, и быть или не быть той таинственной встрече, забрезжившей ему ночью у темного гроба жены, но здесь уже не быть никогда, и нет ничего отчаянней и безнадежней этого *никогда*...

Казалось бы, никакой близости с женой давно уже не было, а постоянные ее истерики еще больше отдаляли их друг от друга, и в пожарище страсти перегорел, откуда бы теперь неизбывное чувство пустоты, невосполнимости потери? Как знать, может, она и была бы счастлива там, в Барнауле, с этим Вергуновым или хоть здорова по

крайней мере? Но он ворвался в ее жизнь, все смешал и чего достиг? Увез в Петербург, в центр духовной жизни? А нуждалась ли она в ней? Может, она была бы счастлива ролью самой образованной и воспитанной, окруженной поклонниками дамы, а может, и страдалицы и утешительницы запойного мужа — Вергунов непременно бы запил, тут и прорицателем не нужно быть. А он ее — в Петербург, стылый, промозглый, с ее-то склонностью к чахотке... Но нет. «Она любила меня беспредельно», — писал позднее Достоевский, когда совсем уже ушли, как не бывали, и обиды, и мучения, и раздоры, и осталась только память о первой, какой бы она ни была, женщине, полюбившей его, доверившей себя ему, с которой прожили рядом семь лет, а может, и все еще убеждал себя, что так было? «Я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе, — по ее страстному, мнительному и болезненному характеру, — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу».

В конце мая он узнал о том, что Чернышевский отправлен в сибирскую каторгу, в нерчинские рудники. Он ясно представлял, каково придется там гордому, с независимым характером, некрепкому здоровьем Николаю Гавриловичу... Да, что греха таить, они не единомышленники; спорили, ругались, но и Чернышевский и Добролюбов были настоящими бойцами, преданными пусть и ложной в определении путей ее достижения, по убеждению Достоевского, но родственной по целям идее. С ними и ругаться-то значило двигать общую мысль к истине, он же не терял надежды еще и на понимание. А новые, пришедшие им на смену умеют только опошливать выдвинутые не ими идеи. Впрочем, и неудивительно: наше время все более обретает характер эпохи опошленных истин.

А 10 июля внезапно скончался Михаил. В последние месяцы он, правда, чувствовал себя неважно, но сам же уверял всех, что пустяки, не стоит обращать внимания. Собственно, и не лечился-то порядком, хотя врачи велели лежать. Произошло излияние желчи в кровь.

Достоевского трудно было теперь узнать. Две смерти подряд — беда одна ведь и не ходит — самых близких ему людей словно надломили и его жизнь. Теперь уже и его черед. Когда? Бог весть. Но и что впереди? — Холодная, одинокая старость да проклятая падучая... И все.

Но жить, хотел он или нет, как-то было нужно: Павел, хоть и взрослый уже, но ведь лоботряс, непристроенный, ни к чему не приспособленный, на его руках. А теперь и осиротевшее семейство Михаила — Эмилия Федоровна с детьми, и прежде-то недолюбливавшая деверя, из-за прожектов которого муж бросил надежное табачное дело, а теперь и вовсе не желавшая скрывать, в ком она видит причину всех своих бед и несчастий: ну кем был до нее Михаил Михайлович? — жалким чиновником, стишки да пьески пописывал — вот кем. А с нею человеком стал, самостоятельным, уважаемым в обществе и даже в немецком кругу, дело свое завел, и уж нищей его семья никогда не бывала. А теперь? Всего-то от него 300 рублей осталось (на них и похоронили Михаила Михайловича в Павловске, под Петербургом, где он и скончался), да еще 25 тысяч долгу... Позор-то какой! Что ж ей теперь, по милости родственничка в долговую тюрьму переселяться вместе с детишками?

В тюрьму ее, конечно, никто не засадил бы — по закону вдова не несла ответственности за мужа (оттого-то и стрелялись порой некоторые мужья, попав в неоплатные долги и тем освобождая семью от бремени); не должен был по закону расплачиваться и Федор Михайлович ни с авторами —он не был официальным редактором, ни с кредиторами — лично он денег у них не одалживал. Но вот имя Михаила Михайловича неоплаченные долги действительно могли запятнать — он-то задолжал многим. Да и семья его оставалась без всяких средств к существованию. Что же, прекращать теперь «Эпоху» и тем самым доставить немало радости всем ее недоброжелателям и насмешникам?

И Достоевский решает так: «Эпоха» должна продолжаться. Конечно, его самого редактором не утвердят, но вдова может претендовать сделаться по смерти мужа издательницей журнала, официального же редактора подыщут из сотрудников — неважно кого, лишь бы его утвердили. Все же расходы на продолжение издания, долги брата и содержание его семьи он берет на себя. Все эти обязательства, по его расчетам, обойдутся ему на первый случай приблизительно в 33 тысячи. Сумма, конечно, фантастическая, особенно если учитывать, что сейчас он сам гол как сокол, но, коли работать днем и ночью, не щадя себя, может быть, лет в пять-шесть и удастся расплатиться, если опять же все пойдет удачно. Ну и тот поединок еще не закончен... Вырвал же он однажды единым

махом десять тысяч? Рискнул и победил... А рисковать ему не привыкать. Но и для этого ему необходима какая-то сумма. Значит, пока остается одно — работать. «Эпоха» продолжалась. Редактором утвердили одного из ее сотрудников — Александра Устиновича Порецкого.

В конце сентября от внезапного удара умер Аполлон Александрович Григорьев... Хоронили его на Митрофаньевском кладбище Достоевский да Страхов, Полонский и Аверкиев. Пришел Боборыкин Петр Дмитриевич, редактор «Библиотеки для чтения», известный беллетрист, несколько актеров, любивших Григорьева и ценивших его талант театрального критика. Незнакомая заплаканная девушка пряталась в углу кладбищенской церкви, да несколько странных личностей угрюмо стояло поодаль. О девушке ничего узнать не удалось. Личности оказались сотоварищами Аполлона Александровича по долговой тюрьме, или, как ее звали еще, Тарасовскому дому, из которого Григорьев вышел за два дня до смерти. Да и как вышел... Выкупила его генеральша Бибикова, пожилая, пописывающая дама, рассчитывающая попользоваться помощью нищего критика... «Вся беспомощность, вся низменность общественного положения русского литератора сказывалась тут беспощадно», — писал позднее, вспоминая те тяжкие дни, Страхов.

За два года до смерти Аполлон Александрович решился наконец навсегда расстаться со своей «многогрешной Марией», как он ее называл, и летом 62-го года вернулся в Петербург. Продолжая сотрудничать во «Времени», потом и в «Эпохе», по-прежнему то пропадал, то вновь появлялся неведомо откуда, все так же играл на гитаре, пил и писал блестящие статьи о театре — «Парадоксы органической критики» и потрясающей искренности и непреходящей художественной значимости «Мои литературные и нравственные скитальчества». Но все так же нищенствовал, не мог расплатиться с долгами, за что его не раз упекали в долговую яму; выходил — и снова влезал в долги. В июле 64-го его засадили в очередной раз. Аполлон Александрович и здесь пытается работать, но «сходит с ума» от тоски и неволи. Еще в начале сентября писал он свой «Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям» — своеобразный итог двадцатилетней жизни в Русской Литературе, словно предчувствовал близкий исход:

«Писано сие, конечно, не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда... пребывала фанатически преданною самым своим самодурным убеждениям». Кажется, это были последние написанные им слова. Через несколько дней его уже не стало. Дней за десять до этого был у него Страхов. Робко спросив его, не может ли где достать денег, и поняв по испуганному его выражению — Страхов был совсем не богат, — что не может, Аполлон Григорьев тут же заговорил о самобытности русского народа, о его песнях, сказаниях, которые любил до самозабвенности. «Его бледная орлиная фигура сияла светом мысли», — записал Страхов. Встреча происходила после бессонной для Григорьева ночи, но его воодушевление... отличалось на этот раз какой-то особенной живостью и силой. Тут невольно могло прийти на мысль, что есть в жизни что-нибудь повыше личного страдания. Перед этим человеком, больным, одетым в плохие обноски и сидящим в долговом отделении и который, однако же, всей душой погружается в общий интерес и о нем одном думает всю бессонную ночь; перед этим человеком стало бы стыдно всякому, кто слишком усердно носился бы со своими личными интересами». Федор Михайлович навестил своего несчастного друга в тюрьме еще 21 августа. Григорьев умолял выкупить его, если он нужен «Эпохе». «Эпохе» он был крайне необходим, но у его друга, кроме 25-тысячного долга, не было ни копейки, ему самому почти каждый день кредиторы грозили той же «Тарасовкой». Веселенькая история из частной жизни двух российских литераторов небесталанных и небезызвестных.

Знать бы, что все так обернется, занял бы еще, обегал бы весь Петербург, в ноги бы упал кому угодно: оторви от миллионов своих немного совсем, будь отец родной, благодетель по гроб жизни — спаси русский талант от погибели... Не упал, не спас, а теперь уж хоть самому черту душу заложи, русского Дон-Кихота, рыцаря идеи не вернешь.

«Без сомнения, — писал Достоевский, — каждый критик должен быть в то же время и сам поэт. Григорьев был бесспорный и страстный поэт... Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо почвенный, кряжевой... Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю, как идеал; это разумеется)».

Три смерти... Три *такие* смерти за полгода — это уже нечто предсказующее, предупреждающее...

«И вот я остался вдруг один, и мне стало просто страшно, — пишет он старому другу, барону Врангелю, давно уже живущему в Копенгагене. — Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое и ни одного сердца, которое бы могло заменить тех... Буквально мне не для чего оставалось жить... Стало все вокруг меня холодно и пустынно...»

Мир для него теперь словно проклят и распят, и нечем ему искупить это проклятие.

Между тем все эти потрясавшие и ломавшие сознание и волю, пытавшиеся сокрушить веру и душу Достоевского события потрясали, ломали, крушили в те дни, когда он вел изнурительную полемику с «Современником», которая возобновилась сразу же после выхода первой книжки «Эпохи». На «Записки из подполья», в которых «Современник» не без основания заметил полемику Достоевского с автором романа «Что делать?», Салтыков пустил в ход фельетон о «Стрижах», под коими подразумевались и ехидно высмеивались, на что Михаил Евграфович всегда был большой мастер, сотрудники «Эпохи», а особенно злые насмешки, естественно, направлялись против «Стрижа четвертого, беллетриста унылого», то есть, конечно, самого Достоевского. Подключился и Антонович. Новая стычка журналов в значительной мере все более обретала характер уже не столько идейной, сколько личностной войны, доходящей до интимных намеков — на болезнь Достоевского, например («Да, я болен падучею, но к каким приемам вы прибегаете...» — отвечал он), до оскорбительных эпиграмм вроде «Самонадеянного Феди» и т. д. Естественно, не оставался в долгу и Достоевский, а потому нелегко приходилось и «Современнику», который к тому же вел еще одновременно серьезную полемику с «Русским словом» Писарева и Зайцева. Началась она с резко различных оценок «Отцов и детей» Тургенева, а затем уже нарастала как снежный ком. Салтыков-Щедрин выпалил «вислоухими» (намекая на фамилию Зайцева), «вислоухие» обвинили Салтыкова и в целом новых сотрудников «Современника» в отступничестве от идей Чернышевского, ссылаясь на действительно высказанные им скептические отзывы о романе «Что делать?». Писарев ударил статьей «Цветы невинного юмора», в которой сатирик характеризовался как беспринципный юморист, зубоскал, смех которого — «бесплодное проявление чистого искусства, подобное воздыханиям господина Фета». Откровения Варфоломея Зайцева по поводу «Современника» и самого Щедрина были еще хлестче, достаточно было прочитать хотя бы одно название его статьи: «Глуповцы, попавшие в «Современник». Напомнил Зайцев сатирику и его действительно произведший в обществе неприятное впечатление выпад против «Записок из мертвого дома» — в списке статей для очередных номеров «Свистка» среди других Щедрин назвал и следующую: «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева». Варфоломей Зайцев тут же отпарировал за Достоевского не менее жестоко: «...смеяться над «Мертвым домом» — значит, подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола».

Достоевский с особой болезненностью принял выпад Салтыкова против «Мертвого дома» — это было, кажется, единственное его детище после «Бедных людей», которое принесло ему не только огорчение, но и радость. Теперь и ее угрожали отнять. И конечно, прав Зайцев. Такие вещи можно написать только кровью сердца, он ее выстрадал так, как, может быть, никто еще из русских писателей не выстрадывал, разве что Аввакум... Достоевский и Салтыков оба пострадали, Салтыков чуть раньше, как говорится, быть бы ненастью, да дождь помешал, — Достоевский чуть позже. Но ведь все-таки, как бы ни было невыносимо Салтыкову в его вятской ссылке, «среди сплетен и жирных кулебяк», как бы ни погибал он «среди нелепых бумаг губернского правления и подлейшего бостона», как он сам писал, все-таки, все-таки кулебяки и бостоны — это вам, как ни крути, не острог со вшами, убийцами, неволей... Когда он «по французским источникам» увеселялся в омской каторге, Салтыков тоже не раз бывал в остроге, не в сибирском, в вятском, и не по приговору, а по службе, как надзирающий чиновник... Мнительность писателя-пролетария вообще заставляла Достоевского крайне подозрительно относиться к деятельности Салтыкова в «Современнике»: он и до сих пор не верил в искренность обличительных речей вчерашнего вице-губернатора, в демократизм барина по рождению, которого лет до 14 одевали и раздевали кре-

постные рабы, а ныне — господина статского советника... Но к писателю Салтыкову-Щедрину он чувствовал и симпатию и уважение. Дав отповедь Зайцеву за уничижительные оценки, ответив на очередной выпад «Современника» острой полемической статьей «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», Достоевский решает прекратить перебранку, ибо «с некоторого времени все труднее и труднее становится различать, что такое у вас идеи и что такое ругань». До него дошло, что в конце года Салтыков настаивал на публикации своего фельетона, направленного против него и «Эпохи», но Некрасов решительно уклонился. Сообщение порадовало Федора Михайловича. Полемика, правда, еще продолжалась, но уже на уровне Антоновича — Страхова.

Он и прежде-то редко знал передышки, теперь работал как каторжный. Хуже — «я теперь бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным... Работа из нужды, из денег задавила и съела меня», — жаловался он. Даже и люди, не слишком сочувствовавшие направлению его мысли и лично неблизкие ему, с болью наблюдали, как он становился все угрюмей, раздражительней и подозрительней. Удивляться не приходилось: больной, измученный припадками, спавший по нескольку часов в сутки, работая все остальное время, все-таки не мог выкроить его достаточно, чтобы взяться за серьезную вещь — журнал вел, по существу, один: писал умоляющие письма старым приятелям с просьбами поддержать журнал повестью ли, поэмой, статьей; вычитывал корректуры, работал с авторами, воевал с цензурой, добывал деньги, чтобы расплатиться с сотрудниками и авторами, но «Эпохе» явно грозило крушение. Не видя в журнале романов самого писателя, а на обложке даже и его имени, читатели вспоминали сообщение о смерти литератора Достоевского и считали, что умер автор «Бедных людей» и «Записок из мертвого дома», отказывались подписываться на незнакомую им «Эпоху» с мало чем интересным редактором Порецким.

Но Достоевский не жалел ни сил, ни времени, загонял здоровье, влезал в новые долги — надеялся выстоять, поднять журнал. А номера запаздывали, и без того немногочисленные подписчики роптали, грозили отказаться от дальнейшей подписки. Он после бессонной ночи ехал

в типографию, ворчал, умолял, бранился — ничего не помогало. Подозревал происки недоброжелателей даже и там, где их быть не могло и, главное, он сам это знал не хуже других, но все-таки подозревал, сердился и страдал.

«Как-то сломался в типографии какой-то вал, — рассказывал близкий к «Современнику» Павел Михайлович Ковалевский, племянник известного путешественника и писателя Егора Петровича Ковалевского, — сломался как раз к выходу очередной книжки «Эпохи». Достоевский тут же решил, что не обошлось без руки «Современника», только о том и мечтающего, как бы навредить, напакостить неугомонному журналу.

— Но ведь валы не в одной вашей типографии ломаются, — старались его успокоить.

— Ломаются, да-с, но не к выходу книжки! А тут именно к выходу! И именно сезонной, перед подпиской. Нет, тут не без руки «Современника». Для меня это совершенно ясно.

Больно и жалко было видеть в это время Достоевского, — заключает Ковалевский. — Он походил на затравленного, но все еще огрызающегося зверя».

Однажды, это было еще в конце прошлого, 64-го, когда Петр Горский, очеркист, человек небесталанный (Достоевский ценил его очерки «Бедные жильцы в больнице и на морозе», «Высокая любовь»), но склонный к бродяжничеству и алкоголизму, привел в редакцию молодую женщину — свою подругу Марфу Браун, в девичестве Панину. Удивительной судьбы женщина, из тех, о ком говорят в народе: куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. «Я всегда была того мнения, что жизнь создана из впечатлений», — заявила она Достоевскому. Жизнь вообще азартная игра, а ее жизнь — ставка в этой игре, так она сознавала, чувствовала, так и жила. Приключения и похождения ранней юности не отрезвили, но лишь разожгли, раззудили страсти: в конце 50-х годов она покидает Россию в толпе молодых эмигрантов-авантюристов, людей сомнительного происхождения и еще более сомнительных убеждений. Куда? Зачем? Это ее не волновало; главное — куда-нибудь, а ведь там что-нибудь да случится же. «Мне решительно все равно, куда бы судьба ни занесла меня; я хоть сию минуту опять готова ехать куда угодно». Нельзя сказать, чтобы она была бездумна, напротив, — ее всегда влекли люди умные, образованные,

но, видно, уж такова была природа ее: вокруг нее всегда клубились дельцы, авантюристы, соблазнявшие ее все новыми подвигами. Она мечтала жить умственным трудом, а на то были основания — бог дал ей ум, наблюдательность, способность писать остро и живо, но ей некогда было остановиться, жизнь мчала ее от приключения к приключению.

Недавно вернулась в Россию, где оказалась без родных, без средств, где никто не признает в ней русскую. Бродяжничала, перебивалась мелочью при третьесортных журнальчиках, сблизилась с редактором народных словарей Карлом Флеммингом, но тот «пил мертвую», и жили они в полной нищете. Теперь вот Петр Горский осчастливил... Добродяжничалась с ним до того, что надолго попала в больницу, но и после выздоровления ее новый опекун умолял ее не выписываться, так как существовали они на те деньги, за которые она продавала остатки своей молодости и красоты, а для него это стало невыносимо. «Он мне и жалок и страшен», — делилась она с Федором Михайловичем.

Достоевского поразила и потрясла судьба этой простой, из мещанок, незаурядной натуры. За всеми ее похождениями, бродяжничеством, болезнями, продажностью увиделось ему не бахвальство и самодовольство авантюристки и не корыстная попытка разжалобить его, но исповедь исстрадавшегося сердца, мятущейся души несчастной женщины, может быть, последняя отчаянная жалоба ее исковерканной природы. Он знал: бесстрастное спокойствие ее рассказа — спокойствие обреченной. И он, не имевший свободной минуты передохнуть от журнальных трудов, в бремени долгов, которых больше, чем вшей у вшивого бродяги, болезненно мнительный — а в больнице эпидемия тифа и сибирской язвы, — идет к ней в палату, часами разговаривает, утешает, ободряет. А когда он предложил ей свою дружбу, обещая поддержать ее и материально и морально литературной работой в его журнале, когда он сказал ей, что, если ей станет трудно, она всегда может приехать к нему домой или переехать к нему совсем, у него найдется для нее свободная комната и она будет здесь совершенно свободна и самостоятельна, сказал так просто, что заподозрить в его предложении хоть какую-то самую простительную корысть было бы величайшим грехом, она вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то необычное, словно ее озарило и вознесло вдруг чудо как бы нового ее рождения, что все,

когда-либо бывшее или могшее быть, даже и совершавшиеся в ее постоянно воспаляемом воображении самые невероятные приключения — ничто в сравнении с этим величайшим событием ее души, потому что она так почувствовала — не человек пришел к больной, падшей, бессмысленной женщине, пусть и очень добрый, невозможный (потому что она никогда не встречала таких, а уж не ей жаловаться на недостаточный опыт знания людей), редкий человек; но словно само божество сошло в его облике в эту нищенскую, провонявшую болезнями и лекарствами палату, к ней, великой грешнице, за все страдания ее души, никому до сих пор не ведомые. Но чем она может ответить ему? Теперь, воскрешенная им?

«Вы уже оказали мне столько внимательного участия и уже настолько удостоили меня своего доверия, что, поверьте мне, я всегда останусь вам благодарна за то, что вы хотя на минуту удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения. Бог свидетель — я рада, я счастлива, что встретила человека, обладающего таким спокойствием духа, терпимостью, здравым смыслом и правдивостью...

Клянусь вам, несравненно выше материальной пользы ценю то, что вы не побрезгали надшей стороной моей личности, то, что вы поставили меня выше того, чем я стою в своем собственном мнении...»

Больше он никогда ее не видел и не слышал о ней ничего.

Жутью какой-то всемирной бездомности, мечущейся по свету души человеческой повеяло на него от этой встречи, и если ему посчастливилось дать хоть какую-то опору, хоть недолгое пристанище заблудшей, измученной скиталице, пусть лишь единой «от малых сих» — ему очень хотелось верить в это, — уже и потому жизнь прошла не напрасно.

Прошла? Ему вдруг жадно снова захотелось жить и быть наконец счастливым — какое оно, в чем оно, это его счастье — он не знал и вряд ли мог бы определить его словами, но ему забрезжила где-то в неопределенном далеке неясная пристань. И вдруг все эти недуги, тупики — вздор, и, может быть, еще столько сил внутри, что много-много еще пережить, перетерпеть надо. Нет, все-таки живуч человек. Кошачьи живуч...

А пока нужно время найти хоть на письма-то ответить — Тургеневу, Островскому, а вот к Корвин-Круковским придется съездить — приглашение прислали, да и с Анной Васильевной, девушкой, безусловно, незаурядной, хочется познакомиться наконец лично.

Когда в прошлом году редакция «Эпохи» получила из Витебска две переписанные явно женской рукой повести, подписанные романтически — Юрий Орбелов, Достоевский не усомнился: за псевдонимом скрывается молодая девушка, а прочитав повести, совершенно укрепился в своем мнении: несчастная любовь, поиски истины, монастырь, разочарования. Но и возвышенная чистота, искренность и... небездарность автора заставили Достоевского написать доброжелательное письмо, хотя и с указанием недостатков. «Вы — поэт, это уже одно много стоит, а если при этом, — писал он молодому незнакомому автору, — *талант* и *взгляд,* то нельзя пренебрегать собою. Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.

Да еще надобно верить. Без этого *ничего* не будет».

Юрий Орбелов открылся — действительно им оказалась девушка, двадцатилетняя дочь витебского предводителя дворянства, генерал-лейтенанта от артиллерии — Анна Васильевна Корвин-Круковская. Переработанные сею повести Достоевский опубликовал в «Эпохе», а гонорар, как и положено, отослал в Витебск. Тут-то и началось. Родители, узнав вдруг, что их дочь получает из Петербурга от какого-то мужчины по фамилии Достоевский деньги, пришли не то что в ужас, но в состояние, вряд ли чем отличавшееся от того, как если бы их известили о светопреставлении, которое начнется с минуты на минуту. Да, нелегко это было, но ей в конце концов удалось объяснить родителям. что она написала повести, что Достоевский — известнейший писатель, что за повести платят деньги (родители при этом странно переглянулись) и что с самим Федором Михайловичем, человеком, видимо, старым, так как он еще до десятилетней каторги был известным писателем, она еще незнакома. Родители, кажется, чуть-чуть успокоились или сделали вид, будто светопреставления все-таки пока еще не произошло и, во всяком случае, откладывается.

— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступать в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, можно всего ожидать! — заявил, однако, отец, но тем не менее позволил устроить семейное

чтение «Эпохи» с повестями дочери. И надо же — чтение, а затем и письма Достоевского, которые Анна Васильевна показала ему, так растрогали старого генерала, что он официально разрешил продолжать переписку и даже... обещал в очередную поездку семьи в Петербург позволить ей лично познакомиться с писателем. Светопреставление все-таки произошло...

— Но помни, Лиза, — сказал он при этом своей жене, — вся ответственность на тебе: Достоевский — человек не нашего круга. Да и что мы знаем о нем? Что он журналист и бывший каторжник? Хороша рекомендация, нечего сказать!

И с каким же нетерпением ждали они, Анна Васильевна и Софья, четырнадцатилетняя ее сестра, встречи со знаменитым писателем! Нужно было знать, что вообще значит для них само это слово — *писатель.* Большую часть времени семья жила в деревенской глуши, всякое печатное слово воспринималось словно весть из иного, таинственного мира. До сих пор они не видели ни одного человека, который бы напечатал хотя бы одну свою строчку.

Дом в деревне, построенный в стиле средневекового замка, с готическими окнами и башней, английские романы о тайнах и рыцарях были первыми впечатлениями сестер. Софье запомнилось, как Анна день за днем сидит «за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно на большую дорогу, не едет ли рыцарь...». Затем настольной книгой стало «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, и идея самоотречения и самопожертвования потеснила мечту о рыцарской любви. Потом в доме появился только что окончивший духовную семинарию сын местного священника, который потряс до основания чувства и мысли не только юных девушек, но и отца своего, решительно заявив, что человек произошел от обезьяны, Бога нет, а есть рефлексы...

Вчерашняя «христианская подвижница» начала гладко зачесывать волосы и прятать их под берет, чтобы быть похожей на «нигилистку», отзываться с презрением о балах и подолгу беседовать с крестьянами. В ее юной голове все явно сместилось и перемешалось. Тогда она с жадностью набросилась на журналы, в которых отец ей не отказывал: «Русский вестник» Каткова, «Русское слово» с Писаревым и Зайцевым, «Современник» Некрасова с Чернышевским и Добролюбовым, запрещенный герценовский

«Колокол», «Время» и «Эпоха» Достоевского. Она поняла, что единственный ее путь — стать писательницей. Ближе всех по духу оказался Достоевский...

И вот они впервые раскланиваются: среднего роста, в не слишком ладном костюме, немолодой, но гораздо моложе, чем она ожидала, то беспокойно покусывающий ус, то щупающий редкую русую бородку, словно постоянно волнуется — на месте ли? — причем лицо его нервно подергивается — Федор Михайлович Достоевский; и она — высокая, статная русская красавица: зеленые русалочьи глаза лучатся, будто свет изнутри излучают, белокурые тяжелые косы, едва не касающиеся пола, еще более стройнят ее, будто слегка оттягивают прекрасную голову назад, что делает всю ее осанку непринужденно гордой. Величественная девушка...

Встреча прошла нервно, натянуто, скучно... Достоевский явно конфузился чопорной генеральши и двух немок, старых тетушек, задававших умные вопросы, на которые он отвечал подчеркнуто односложно и намеренно грубо. Через полчаса взял шляпу и, торопливо раскланявшись, ушел. Он показался всем ужасно неловким, очень старым, глубоко больным, а главное — скверно воспитанным человеком. Анна была уверена, что он больше никогда не придет. «Это вы все испортили», — только и повторяла, рыдая.

Но через несколько дней он неожиданно, без предупреждения, пришел. Сестры были одни, но, несмотря на строжайший запрет отца — ни при каких условиях не видеться с Достоевским без матери, — Анна так обрадовалась, что, без сомнения, нарушила бы отцовский запрет, если бы даже была способна вспомнить о нем в это мгновение. Они сразу же уселись на диван и вдруг заговорили, торопясь и перебивая друг друга, словно старые, близкие друзья, не видевшиеся несколько дней; шутили и смеялись. Он вдруг открылся им совсем другим, да он и сам не узнавал себя — так что не хотели поверить всерьез, что ему уже 43 года, он великий писатель, а такой простой, веселый, умный и... такой молодой. И с ним можно вести себя совсем-совсем просто, как с другом, и как это мило! Сестры были настолько поражены и счастливы таким неожиданным превращением, что не заметили даже, как вернулась мать. Генеральша, увидев веселящихся дочерей рядом с... хохочущим Достоевским, вероятно, решила, что она либо видит невероятный сон, либо... что-то внезапно стряслось с ее головой. Однако через полчаса уже и

сама просила Федора Михайловича отобедать у них запросто.

Теперь Достоевский бывал у них раза по три в неделю и скоро стал совершенно своим человеком в доме. И какие случались вечера, когда, собравшись вокруг, они, завороженные, слушали его повести о себе, о жизни, страшные и смешные, но всегда необыкновенно милые для них и увлекательные. Казнь на Семеновском плацу, Сибирь, каторжники — целый мир неведомого открывался им этим необыкновенным человеком.

«Помнится мне еще один рассказ, — писала Софья Васильевна в своих воспоминаниях. — Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил.

Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством. Вдруг совсем неожиданно приехал к нему один его старый товарищ. Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома. Говорили они о том, что обоим всего было дороже — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.

Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, — продолжал он, — что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет!.. Он действительно был в раю в припадке падучей, которой страдал, как я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, часы или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!..

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели, как замагнитизированные, совсем под обаянием его слов».

Конечно, Анна Васильевна понимала, что за человек перед ней и какая редкая удача выпала ей в жизни — встретиться и подружиться с Достоевским; но столь же ясно она видела всю пропасть, разделявшую их взгляды на мир, будущее и, главное, — на нигилизм. О нигилизме они спорили постоянно. Она доказывала, что быть нигилистом — значит, быть передовым человеком. Он убеждал: весь нигилизм от тупости и неразвитости: вон ведь доотрицались — смазные сапоги им дороже десяти Пушкиных! — чуть не кричал он, все более возбуждаясь.

— Пушкин действительно устарел для нашего времени, — спокойно добивала его Анна Васильевна, уже прекрасно знавшая, чем можно довести Федора Михайловича до помрачения.

Достоевский судорожно хватал шляпу, убегал, успевая только бросить на ходу, что напрасно он тратит время на нигилистку, с которой и спорить-то бессмысленно, и что ноги его больше в этом доме не будет. На следующий день он приходил как ни в чем не бывало, и все повторялось сначала.

— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился Федор Михайлович. — То ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чистая! — «Я все краснела от удовольствия, — вспоминала о тех днях Софья Васильевна, — и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю: а ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры», — думается мне, и я начинаю мысленно молиться: «Господи боже мой! Пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой — сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Но однажды она случайно увидела: они сидели рядом на маленьком диванчике... Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись, говорил:

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом... — «У меня в глазах помутилось...»

Вечером Анюта гладила свою маленькую сестренку по голове, утешала:

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая!.. Ведь вздумала же влюбиться — и в кого? В человека, который в три с половиной раза ее старше!..

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила Софья шепотом старшую.

— Вот видишь ли... Я люблю его не так, как он, ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж (у младшей сразу посветлело на душе, и она бросилась целовать Анюте руки и шею), ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать. А я этого не могу. Он постоянно как будто захватывает меня, при нем я никогда не бываю сама собой...

«Господи! — думала младшая, стараясь при этом придать своему лицу выражение, будто она совершенно сочувствует старшей. — Господи! Какое... счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться...»

Через несколько дней Корвин-Круковские отбыли обратно в Витебск. Федор Михайлович и Анна Васильевна расстались друзьями, обещали писать друг другу. «Со мной, — рассказывает младшая, — его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил».

Нет, от него не могло укрыться страдание совсем еще юного сердечка, но он и знал — это то страдание, которое разбудит в ней человека и никогда уже не даст ему быть равнодушным, потому что это созидательное, пробуждающее душу, открывающее ей самое себя страдание.

Но никто не хотел замечать, как бесприютно ему в этом огромном, бесконечном мире. Пока еще было дело — его журнал, он изнурял себя едва не круглосуточной работой. Но состояние «Эпохи» все ухудшалось. Начинать журнал в тех условиях, в которых он начинался, было, конечно, чистым донкихотством, но продолжать и далее — уже совершенным безумием: расходы на издание настолько превышали сумму, которую давала распродажа номеров, что его долги все возрастали, грозя ему единственным исходом — долговой тюрьмой. И «Эпоху» пришлось прекратить. Он воспринял это крушение как крушение самой своей надежды на возможность хоть как-то внести в хаос мыслей и чувств, в химическое — на глазах — раз-

ложение общества духовно единящее слово. Эпоха явно чуждалась духа и смысла его «Эпохи».

Он чувствовал себя словно в тяжелой неведомой болезни, поселившейся в нем, чтоб не убивать, но мучить, не оставляя надежды на исход. Говорят, будто дом мужчины если после сорока лет не наполняется детскими криками, он наполняется кошмарами. О детских криках в его пустом доме, давящем мысль и волю низкими потолками, он уже и не помышлял. Разве что в воспаленной ночными бессонницами полуяви...

Ему грезилось временами какое-то наплывающее, сначала неясное, но раз от разу все более обретающее завершенность видение, *будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас бесноватыми. Но никогда не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знал, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше...*

Он гнал наваждение, бежал из дому, бродил по Сенной, заходил в трактиры, но всюду его преследовало одно и то же ощущение: ему некуда идти и не к кому. Никому-то он не нужен на всем белом свете. Никому. Кроме кредиторов, разумеется. Прекратив издание и оставшись, по существу, без копейки, он навесил на себя огромный долг большей частью в векселях, перекупленных опытными кредиторами-ростовщиками, которые теперь чуть не каждый день тащили его на суд, и он вынужден был давать обязательства об уплате под огромные проценты. То какая-то мадам Гинтерлих, то какой-нибудь Демис... Теперь вот присяжный стряпчий Лыжин Павел Петрович потребовал немедленной уплаты 450 рублей. Уже и повестку прислали — на завтра назначена опись домашнего имуще-

ства в счет одного из нескольких десятков векселей. Ну спишут, а потом? Все равно тюрьма...

Неужели же и впрямь нелюди? «Сердце с перцем, душа с чесноком», — говорят о таких в народе. И ведь не деньги порой заставляют кое-кого тащить его в суд, толкать в яму. «Вот вы талантливый литератор, — объяснил ему один из ростовщиков-вымогателей, — а я вот хочу показать, что я всего-навсего маленький купец, а могу, если захочу, знаменитого русского литератора запрятать в долговую тюрьму. А? И как вам это нравится?»

На этот раз пронесло. Литературный фонд решил выдать Достоевскому по его исходатайствованию в долг 600 рублей.

И что делать? Бороться? Но как и чем? Словом, на которое он уповает. Но нужно же наконец и трезво взглянуть правде в глаза: слово его бессильно хоть что-нибудь изменить в этом мире, который словно охвачен страшной нравственной болезнью, будто впал в состояние всеобщего преступления, когда все дозволено и нет наказания.

И разве его собственные страдания любовные и рулеточные — и это при брошенной, умирающей жене, — разве не говорят о том, что и сам он болен тою же болезнью, а все еще хлопочет о врачевании мира. Сказано ведь: «Врачу, исцелися сам!»

В нем шла борьба: ему страшно хотелось искупить все свои реальные и мнимые, часто преувеличенные до вселенских размеров, свои вины перед миром и людьми, будто от этого его личного искупления зависело и состояние всего мира, будто найди он в себе силы начать новую, иную, достойную его собственных идеалов, жизнь — и что-то само собой изменится и в жизни всего человечества.

Но как начнешь ее, эту иную жизнь? Да и другой голос тут же говорил ему иное, другая потребность заявляла о себе столь же властно: он должен быть счастлив во что бы то ни стало, он обязан вырвать у обстоятельств право на личное счастье. Он все еще мечтает о тихой пристани для себя, о встрече с родным сердцем, об отцовстве...

Главное — нельзя сидеть сложа руки, иначе окончательно дойдешь до самооправдания, до сознания собственного бессилия перед властью обстоятельств: при чем-де я — эпоха виновата, время-то, мол, какое! — нероново!.. Но ведь и те времена рождали не одних Клеопатр и не

только Неронов, ведь та же самая эпоха породила и Христа, и первохристианских мучениц. И русская история — мы только плохо, очень плохо знаем ее — полна не только героических имен защитников и радетелей отчей земли и веры, но и героических защитниц чести семьи и рода, великих сподвижниц своих великих мужей: Ярославна, Феврония, Аввакумова протопопица Марковна. Да и в начале века еще — и декабристки, и пушкинская Татьяна — с их ничем не истребимой убежденностью в нераздельности любви и долга. Где они? Помутилось время, замутились, перемешались понятия, затосковала душа на беспутье. Ему, Достоевскому, трудно, а другим тысячам и миллионам легче? Есть же она у каждого, эта душа, даже и у заблудших, заплутавших: ту вон, глядишь, за билетик один-единственный на всю ночь ангажировать можно — растленная, падшая проститутка, отверженная... А в ней, может быть, чистоты больше, чем у иных светских девиц на выданье, потому как они в брак продают себя с душой и телом, да и то не мужу: душу черту, а тело сохранить бы до замужества, а там — любому с надушенными усами да умеющему изящно подавать комплименты, ну а если к тому же еще гусар!..

А эта несчастная, может быть, и тело-то свое отдала на поругание, чтобы за тот нищенский билетик, которым оплатит господин с надушенными усами ночь, проведенную с *этой тварью*, пока его невеста хранит до свадьбы свою неприкосновенность, — за этот билетик накормить умирающую мать или маленькую сестренку, спасти ее от поругания, на которое пошла сама. А душа ее, светлая, измученная, чистая, поруганная, не мечтает ли о той встрече с принцем, что однажды и на всю жизнь? А принц-то, рыцарь-то, Шиллер — идеалист современный, благородное сердце, он и сам, может быть, уже убил кого-то, да на каторгу, на страдание готовится... Да и как же ему-то, если сердце у него благородное, пылкое, и не сделаться убийцей-то сегодня? Сам последнюю копеечку, присланную старой его матерью, доедает где-нибудь на чердаке или в подвале, за который, поди, месяца три не платил и которого хозяйка только по крайней его жалости пока не выбрасывает. Студент какой-нибудь весь мир небось облагодетельствовать необыкновенным своим подвигом мечтает. А тут кредиторщик какой, процентщик рядом живет, мерзкий паук, не человек, да еще чью-нибудь жизнь молодую заедает, все миллионы и миллионы накапливает... Ну вот и задумается же однажды студент-

то этот, сидя в своей чердачной комнатке, больше на гроб похожей, чем на квартиру: пауку ли жизни чьи-то губить, живя на белом свете, или матери его, старушке, умирать, надрываясь над непосильной работой, сестрице молодой да красивой, такой же, как он, идеалистке, замуж за какого-нибудь Лыжина, к примеру, того, что его, Достоевского, на суд тащил, замуж пойти, запродать себя на всю свою горемычную жизнь? Ну а тут и вспомнит вдруг призыв: «К топору!» Ну, пойдет да и возьмет топор, да и тюкнет миллионщика по башке, чтоб его миллионами счастье-то устроить бедным да несчастным, от смерти и позора несчастных людей спасти... А что ж, пожалуй, что и пойдет. Не тот, так этот: всего одно преступление, да и то что ж за преступление — паука-то в человеческий рост раздавить, тут подвиг — решит, а не преступление, но потом — тысяча добрых дел, которые искупят любые преступления. Так-то вот, сидя на чердаке, и додумается, и пойдет, и, пожалуй, тюкнет... А потом? Потом — каторга. Каторга мучительнейшая — каторга собственной совести... Ну вот и встретятся они, как-нибудь уж сведет судьба где-нибудь в каморке петербургской «вечного убийцу» этого и вечную, пока мир стоит, «блудницу» у свечки догорающей... Неужто и они, исстрадавшиеся, измученные, не найдут друг друга, не поймут, не рванутся на встречу, на вечную встречу, сердца их?.. И не воскреснут в этой встрече для новой, пока и неведомой им, жизни?..

«Душа всегда затаит более, нежели сколько может выразить в словах, красках или звуках», — написал он однажды Михаилу Михайловичу, тогда еще Мише, — сколько ж ему самому было тогда? Семнадцать, не больше, пожалуй, — вот вспомнилось вдруг. «Оттого трудно исполнять идею творчества».

Что он знал тогда еще о творчестве, казалось бы, а сейчас сколько уж написано, вся грамотная Россия читает и в Европе переводят, а скажет ли теперь более того, что сказано?

И сколько же сокровеннейших видений приходилось затаивать в душе и выдумывать что-нибудь срочное, что можно было бы запродать в журналы и исполнить в срок. Решил отложить до лучших времен и замысел об убийце-«благодетеле», а пока предложить другой.

И вот ведь до чего дошло, как судьба-то распорядилась — сел (а к кому еще обратиться? В «Современник», что ли?) сочинять письмо Краевскому — вечному работо-

дателю; разумеется, дателю тому только, на ком беспроигрышный процент можно заработать. Ну, на нем-то, Достоевском, заработает, так что не откажет:

«Милостивый государь, Андрей Александрович...

...Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве, представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитания детей в этой обстановке, и прочее, и прочее... Обязуюсь доставить в редакцию «Отечественных записок» не позже первых чисел начала октября нынешнего года. (За 5-то месяцев целый роман, который и не начинал еще? А что другое можно придумать в его положении?)

Надеюсь, что в случае желания Вашего иметь мой роман в «Отечественных записках», Вы не откажете, если возможно, выдать мне 3000. Такой договор разрешил бы разом все мои затруднения в настоящем году...»

Проблема пьянства грозила стать национальной проблемой России. Винные откупа по каким-то неписаным законам, как правило, попадали в руки дельцов католического, лютеранского, иудейского вероисповеданий, для которых православный русский мужик был не более чем скот, так что спаивание его, обдирание до последней ниточки было для них не только высокоприбыльным, но еще и как бы неизъяснимо благородным делом. А русский мужик, да и чиновник, и свой брат — литератор российский, пил, словно заливал той проклятой *русской* — назвали же! — для пущего измывательства, что ли? — водкой пустоту бесприютной русской души, привыкшей к постоянному труду, и вот уже лет сто пятьдесят, с самой петровской реформы, как приучаемой *делать... ничего...*

«Пьяненькие, — набрасывает он в записной книжке:

— Оттого мы пьем, что дела нет.

— Врешь ты. Оттого, что нравственности нет.

— Да и нравственности нет оттого, что дела долго (150 лет) не было».

Как же так? Неужто же русский мужик бездельничал? Нет, конечно. Трудился, как всегда, до седьмого пота. Но *Дела* действительно не было. Чтоб по плечу, большого, *общего* дела... Только вот в Отечественную и почувствовал — пришел час, больше некому. Ну и показал, на что способен.

«Ты немногим задайся, братец, и лучше немного, да хорошо сделай», — продолжает свои наброски Достоевский. — «Нельзя русскому человеку задаваться немногим. Это немецкая работа...»

Краевский отказал Достоевскому выплатить деньги под его будущий роман, сославшись, что и без него в «Отечественных записках» беллестристики вполне достаточно...

А деньги нужны были немедленно: он уже получил разрешение на поездку в Европу, где ожидало его, дразня миллионом, — только рискни, и все само собой устроится! — искушающее колесо. Миллионщиком он не станет, ему и сейчас ненавистен этот призрачный миллион. Не в миллионе главное-то: главное — ему нужна победа над словно подстрекающим его на поединок с собой проклятым ухмыляющимся пауком. Хотя, конечно, и крупный выигрыш ох как бы не помешал сейчас...

Кто предложил связаться с известным жуликом — издателем Стелловским? Но иного выхода не было, и сделка совершилась. Достоевский продал за 3000 рублей — невероятно ничтожную сумму — не только право на издание своего Собрания сочинений в трех томах, но еще и обязался написать для него в счет тех же трех тысяч и новый роман к 1 декабря следующего, 66-го года. Это был поступок, на который мог решиться лишь совершенно отчаявшийся человек. Если б он сам не понимал, на что он пошел, но он понимал, и это было хуже всего...

В конце июля он был уже в Висбадене. А уже в первых числах августа писал настолько отчаянные письма, что даже Тургенев на просьбу прислать 100 талеров, так как он сидит без копейки, прислал 50.

Проклятый паук насмеялся над ним и в этот раз.

Неожиданно приехала к нему в Висбаден Полина. Обрадовался ей несказанно; давно понял: Анна Васильевна, Анюта — чудо, конечно, но любовь к ней только плод его воспаленного воображения, а Полину он все еще любил. О многом наговорились. Сальвадор, конечно, давно забыт, и больно вспоминать, как нелепо ломаются судьбы.

Достоевский предложил ей выйти за него замуж, и дело с концом; она только грустно покачала головой — прошлого не вернешь, а начинать все заново?.. Да и он не верит — она же видит, — что можно еще все вернуть. Нет уж, лучше остаться друзьями.

Рассказывала о новых своих знакомствах среди парижских эмигрантов или почти постоянно проживающих здесь русских. Особенно сблизилась с графиней Салиас, известной, но уже потерявшей былую популярность, писа-

тельницей — Евгенией Тур и ее кругом молодых, прогрессивно настроенных людей, среди которых и сын ее Вадим и друзья — Утин, Лугин, Николадзе. Интересные люди, со всеми Полина в дружбе, ну и, конечно же, все наперебой ухаживают за ней, рассчитывая на взаимность, все преданы идее прогресса, все бойцы и идеологи, но...

Лугин, например, преклоняется перед Европой и всем французским настолько, что жалеет, что он русский, потому что — не раз говорил ей — с русскими ничего общего не имеет: ни с мужиком, ни с купцом — не верит их верованиям, не уважает их принципов.

В салоне Салиас, как, впрочем, и в других русских салонах Парижа, вообще дурно отзываются о России и всем русском.

Вот, Федор Михайлович, это будто для вас, будто графиня знала, что покажу вам ее письмо, полюбуйтесь, что пишет мне:

«...А они там романы пишут (вот это-то и о вас, непременно и о вас, Федор Михайлович, читайте, читайте...), романы пишут: в своем краю. В своей Татарии! Только расстрелянная, угнетенная молодежь гибнет. В земле, где совершаются такие беззакония, все проклято. Пути не будет. Разве через 200 лет, когда России, этой громадной, глупой, жестокой и невежественной Федоры, уже не будет, может, тогда будет жить возможно. Теперь в этой Татарии одно божие проклятие...»

— И ты, Полина, ты, скажи, разделяешь эти взгляды?

— Нет. Я, правда, дружна с ними, но мы и много спорим. Нет, я не пойду с этими людьми, я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до пятнадцати лет и буду жить с мужиками. Мне нет места в цивилизованном обществе. Я поеду к мужикам и буду знать — они меня ничем не оскорбят...

А ведь наши, парижские, и вас, Федор Михайлович, чуть не за первого реакционера почитают. Да, да, не удивляйтесь, Утин, например, ухаживал, добивался меня, а вместе с тем настойчиво уговаривал выйти замуж... Знаете, за кого? Да за вас же, Федор Михайлович, — чтоб и вас и вашу «Эпоху» к рукам прибрать. Вот так-то...

Через несколько дней она уехала. Не к мужикам. В Париж.

Достоевский размышлял, зачем бы, кажется, хотя бы и тем же Утиным в прогрессисты да в нигилисты идти? Чернышевский, Добролюбов — там дело понятное, там идея мужицкая, демократическая; у Писарева — демократизм умственного пролетария, а у братьев Утиных какой демократизм и что за революционность? У сыновей-то известнейшего в Петербурге буржуа, откупщика-миллионщика Исаака Осиповича Утина, которого иначе как Ицкой-Крезом и не кличут? Это его помянул в своей эпиграмме на Краевского Салтыков-Щедрин:

Пред ним волнуется и свищет
Неугомонная толпа,
А он, мятежный, Ицку ищет,
Чтоб говорить про откупа...

Подобные буржуа-«революционеры», пожалуй что, и устроят такую революцию, такой наведут порядок, чтоб уж вся Россия стала для них одним большим откупом... Да, вот уж кого ненавидел он всем нутром своим и кого считал главным врагом России, да и всего мира, — так это буржуа, во всех его разновидностях, от миллионеров, наживающих свои миллионы потом, кровью, развратом, невежеством, голодом целых народов, и до мелких владельцев даже и захудалых гостиниц. Тем более в эти дни, когда он, подчинившись призыву внутреннего голоса, рискнул и поставил все-таки талеры, присланные Тургеневым, и снова остался без копейки, а в отеле, где он остановился, наглый официант с глумливой улыбкой объявил ему, что господину Достоевскому ни обеда, ни чаю, ни кофею давать не приказано, так как не заслужил, потому что нет у буржуа большего преступления, чем быть без денег и в срок не заплатить. И уехать-то никак невозможно, поскольку денег нет не то что на дорогу, но и расплатиться за постой.

И снова летят письма с мольбами — Герцену, Врангелю. Александр Егорович выручил, да еще и к себе в Копенгаген пригласил. Однако же нужно когда-то и расплачиваться. Значит, необходимо впрягаться в работу, а чтобы работать, опять-таки нужны деньги, поскольку без чая и папирос хотя бы долго не наработаешь. Главное, найти бы кого, кому запродать очередной замысел неначатого романа или повести, на худой конец, уж что примут...

И опять письма штурмуют журналы и друзей. Милюков обходит с предложением Достоевского «Современник», «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения»... В Достоевском нигде не нуждаются. Откликнулся один только Катков, как будто и не вел с ним Достоевский несколько лет, без передышки, упорную войну. Ну что ж, идти больше было некуда. И он пошел к Михаилу Ники-

форовичу. «...Это психологический отчет одного преступления, — пишет ему Достоевский, коротко раскрывая суть нового замысла. — Молодой человек, исключенный из студентов, живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился убить одну старуху... Старуха глупа, глуха, зла, больна, жадна, берет жидовские проценты и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Полезна ли она кому-нибудь?» — эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, избавить сестру от сластолюбивых притязаний и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уж, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой, которая сама не знает, для чего живет, и которая через месяц, может быть, сама собой померла бы.

Никаких подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцей, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Богиня правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что *принужден* сам на себя донести, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил... замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое...

В повести моей есть намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что *он и сам* его *нравственно требует*...»

Повесть, предложенную Каткову, Достоевский решил писать, как и «Записки из подполья», от лица самого героя. Главную работу оставлял, конечно, до возвращения в Россию, пока же делал в основном наброски, записывал отдельные черты характера героя, повороты сюжета, искал детали. Общая схема замысла понемногу обогащалась живыми сценами, диалогами. Работал даже на корабле по пути в Копенгаген.

Врангель встретил его дружески, наговорились, навспоминались; Федор Михайлович как-то даже и душой посвежел, возясь с малышами Александра Егоровича. Старый приятель заговорил о том, сколько мучений приносит любимым легкомысленное коварство женских сердец — видно, и сам немало натерпелся.

— А знаете, голубчик Александр Егорович, — сказал вдруг Достоевский, глядя своим странным взглядом как бы глубоко внутрь себя, в какие-то неведомые, таинственные глубины бытия, — что бы ни было, будем всегда благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина...

Незаметно пролетела неделя. Пора бы и честь знать, да и работа торопит. В середине октября он уже снова ходил по Сенной, заходил в трактиры, вслушиваясь, вглядываясь в мелочи повседневной петербургской кутерьмы, вне которой не мыслил себе новой своей повести.

Он должен был знать о своем городе все, знать и видеть то, что знал и видел его герой. Что ж, жить он мог бы, пожалуй, где-то рядом, даже и в одном с ним доме, — так же спускался по этим старым лестницам, бродил одиноко по Сенной, вынашивая свой план ограбления, в те же трактиры и распивочные наверняка заглядывал, встречал тех же, что и Достоевский, людей... Теперь *он* был для Достоевского как бы живым, реальным человеком, за которым писатель наблюдал, — как он выходит из дому, как идет к старухе, вон в тот дом, пожалуй. Знал уже даже, сколько ступеней на лестнице от каморки его героя до выхода и сколько шагов — наверняка ведь отмерял, и не раз, выхаживая свои замыслы, — поднимался и к «старухе», видел *его* глазами дом, и лестничные пролеты, и дверь, за которой все и должно произойти...

Порой даже и сам удивлялся, как бьется и цепенеет сердце — да неужто же на такое дело решусь? — думал уже его мыслями, приходя в ужас от состояния души своего героя. «И неужто же и после *того* так же будет светить солнце?» — думалось, когда снова выбирался на улицу. Почему-то вспоминались ему теперь как-то отчетливо давние картины, поразившие его в детстве: лошадка, засеченная пьяным извозчиком, фельдъегерь... А ведь у *него* тоже должны быть подобные свои воспоминания.

Новые впечатления расширяли первоначальный замысел; повесть явно грозила вылиться в роман; сюжет «Пьяненьких» как-то сам собой совместился в это новое рождающееся единство — *она* (Достоевский назвал ее Софьей, Сонечкой) будет дитя «пьяненького» семейства, но сюжет этот уже никак не вписывался в *его* исповедь

(Достоевский уже нашел имя и для него — Родион Раскольников). В конце ноября, поняв, что повесть «Исповедь» уже никак не может вместить в себя новый замысел, Достоевский сжигает написанное и садится писать все заново. Работа теперь, когда материал уложился в его голове в какое-то последовательное единство, пошла споро, и уже январская книжка «Русского вестника» вышла с первыми главами нового романа Достоевского «Преступление и наказание». И чуть не одновременно с выходом этой истории о студенте-убийце Петербург был потрясен другими, уже не литературными историями, как будто подтверждавшими мысли писателя о помутившемся времени, толкающем порой даже лучших, чистых душой, с благородными даже помыслами людей на фантастические поступки. Сначала газеты сообщили об ограблении и убийстве студентом Даниловым ростовщика Попова и его служанки Нордман... Убийство это потрясло и Достоевского: казалось, сама действительность немедля воспользовалась сюжетом его романа, хотя сам Данилов, похитивший 29 тысяч деньгами и драгоценностями, конечно, мало чем напоминал «благородного убийцу» Раскольникова, во всяком случае, идеи облагодетельствовать человечество совершенно не входили в сознание этого красавчика франта, с юных лет вращавшегося почти исключительно в кругу ювелиров, ростовщиков и красивых женщин.

Но то, что совершилось 4 апреля, вполне восполнило и этот идейный пробел первого сюжета...

Достоевский прибежал к Майкову в крайнем возбуждении:

— В царя стреляли! — только и смог выговорить.

— Убили?!

— Нет. Но стреляли, стреляли, стреляли... — Они пошли на улицы, заполнявшиеся возбужденными толпами.

Александр II совершал свою привычную прогулку, как всегда без охраны, по Дворцовой набережной, когда неизвестный молодой, долговязый и белобрысый человек неожиданно выстрелил в него. Толпа набросилась на покушавшегося, и только подоспевшая на выстрел полиция избавила его от немедленного самосуда.

— Дурачье! — кричал преступник. — Я за вас же стрелял...

В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Владимирович Каракозов, так его звали, из студентов-ишутинцев, подготовивших цареубийство. Сын небогатого купца Ишутин организовал конспиративную группу с целью совершить мирный революционный переворот в России.

Летом 65-го он уговорил молодого ученого-фольклориста Худякова, социалиста по убеждениям, съездить в Европу и ознакомиться с новыми революционными идеями и теориями. Вернувшись в Россию, Худяков будто бы уверил ишутинцев, что он установил связь с «Европейским революционным комитетом», который якобы рекомендует терроризм и прежде всего убийство монархов как один из способов поднять народ на революционную борьбу. Следствие, однако, установило, что никаких заявлений подобного рода Худяков не делал, а все связи с комитетом и его «рекомендации» — выдумка Ишутина, вообще склонного к мистификациям и авантюризму. Ишутин надеялся таким образом придать своей деятельности всеевропейский авторитет. На одном из заседаний решено было образовать террористический центр — «Ад», который и должен был подготовить цареубийство. Каракозов, присутствовавший на заседании, и решил немедленно взять на себя исполнение долга.

Это уже было *идеологическое* преступление, убийство по идейным, теоретическим соображениям и именно — что и предугадывал Достоевский своим Раскольниковым — во имя благородной цели — облагодетельствования человечества. Но только ли?..

Идея Раскольникова обещала раскрыть его создателю неожиданные и для него глубины.

Публикация «Преступления и наказания» в московском «Русском вестнике» заставила Достоевского перебраться в Москву, тем более что с редакцией у него назревал серьезный конфликт: Катков объявил ему, что никоим образом не может допустить в своем журнале, чтобы толковательницей Евангелия и «нравственной спасительницей» Раскольникова-убийцы, оказалась... проститутка. Достоевский спорил, доказывал, ругался, вымарывал целые главы, но главную идею — внутренне чистой «вечной Сонечки» — все-таки отстоял.

А поселился он в подмосковном Люблино, сняв комнату в небольшом домике, рядом с дачей своей сестры Веры Михайловны, в замужестве Ивановой. Дача целыми днями, а то и ночами напролет буквально звенела от молодых голосов: студенты, подруги его племянниц — за длинным столом на террасе собиралось никак не меньше двадцати

человек. С одного конца — старшие Ивановы и Достоевский, всегда изящно одетый, в накрахмаленной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, он словно помолодел среди молодежи, так что все были удивлены, узнав, что ему — шутнику и неизменному организатору всевозможных проделок — уже 45 лет. Он сразу же стал душой этого молодого общества, тут же возобожавшего его, что, впрочем, не мешало кое-кому и посмеиваться над его жиденькой русой бороденкой. С другой стороны стола грудилась молодежь.

«Он забавлялся с нами, как дитя, находя, быть может, в этом отдых и успокоение после усиленной умственной и душевной работы над своим великим произведением», — вспоминал один из молодых участников люблинских застолий.

Молодежь веселилась порой до четырех утра, Федор Михайлович не отставал. Правда, бывало, даже среди забав он внезапно серьезнел, просил простить его и убегал в свою комнату, записать вдруг явившуюся мысль — он продолжал работу над «Преступлением и наказанием». Обычно в таких случаях просил прийти за ним минут через десять, а то увлечется еще... Приходили, напоминали, он глядел удивленным, отсутствующим взглядом и, возмущенный, прогонял пришедших, чтобы не мешали работать. Естественно, никто не обижался, понимали — он уже в ином мире...

Слуга, приходивший ночевать к нему на случай, если вдруг сделается припадок, вскоре наотрез отказался обслуживать Федора Михайловича. После учиненного допроса он наконец признался, что Достоевский — странный человек и кого-то убил: целые ночи ходит по комнате и говорит вслух об этом, то отрицает, а то и признается... Топором, значит, по голове старуху-то...

Достоевский открыто обожал Сонечку Иванову, двадцатилетнюю свою племянницу, восхищался ее душевной красотой, участливостью. Над ней подшучивали: смотрите, Софья Александровна, как бы Федор Михайлович вам предложение не сделал, он, рассказывают, чуть не во всех подряд влюбляется и всем предлагает выйти за него замуж. Правда, на отказы не сердится и даже не огорчается.

Достоевский действительно, будучи недавно, в марте, в доме подруги Сонечки — двадцатилетней Марии Сергеевны Иванчиной-Писаревой, «зубоскалки и даже умницы», — проговорил с ней всю пасхальную ночь о литературе, а под утро сделал предложение, на которое изумленная девушка только и могла ответить стихами из «Полтавы»:

> Окаменелое годами
> Пылает сердце старика...

Федор Михайлович засмеялся, и они расстались друзьями.

Предложения он будто бы для того только и делал, чтоб еще раз (всегда в последний) доказать себе всю тщетность и смехотворность своей сокровенной надежды на семью, и, как знать, может быть, еще и об отцовстве мечтал. Поэтому он сам немало изумился, когда Вера Михайловна дала понять ему, что ее невестка и подруга — любимица семьи Ивановых и всей люблинской молодежи, молодая, обаятельная Елена Павловна Иванова, кажется, тайно влюблена в него. С Еленой Павловной они много говорили о многом, эта умная, с прекрасным характером женщина очень нравилась Достоевскому, но как мог он даже подумать о ней как о возможной своей жене?.. Однако не выдержал и, однажды катаясь с ней в лодке по озеру, спросил: пошла бы она за него, если бы была свободна? Елена Павловна страшно смутилась, не сказала ни слова, но какими счастливыми вдруг показались ему ее глаза. Достоевский и сам смутился не меньше, но вдруг ему стало стыдно за себя. Перед ней? Да, перед ней, но, главное, перед ним, кого он не знал, не видел, но кто все еще был ее мужем. Пусть она и никогда не любила его, и муж ее, как говорят, тоже не любил, но он тяжело болел, и все знали — дни его уже сочтены... И дело не в том, что муж не узнает, что это предложение уже никак не отзовется на его здоровье и судьбе, нисколько не повлияет на характер отношений между его «соперником» и женой... Главное, что он, Достоевский, посмел, как и тогда, с Аполлинарией, при умирающей Маше, снова переступил в сознании своем эту черту. Порядочности? Нет, не то. Совести... Ведь он хотя и в церкви-то не часто бывал, считал себя именно по совести христианином. Но что значило для него быть в этом смысле христианином? Он открывал свое заветное — то, каторжное, Евангелие и в сотый или в тысячный раз вчитывался в слова, всегда потрясавшие его душу и сознание откровения Нагорной проповеди:

«...Сказано: не убий... А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду...

...Сказано: не прелюбодействуй... А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем...

...Сказано: люби ближнего своего... А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас... ибо Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных... Будьте совершенны, как Отец ваш... Ибо зло умножает зло... а добро умножает добро...»

Он открывал записную тетрадь к «Преступлению и наказанию», вчитывался в запись одного из основательнейших вопросов, на который он должен и хотел ответить романом:

«Православное воззрение, в чем есть православие...»

Каракозов, этот «несчастный самоубийца», как он его назвал, царя не убил, но он преступник уже потому, что переступил в уме черту — допустил мысль о возможности убить, вот главное: преступление не сам поступок, он уже только следствие; преступление — это состояние сознания, допускающее переступать через черту совести. Он принцип убил, и это-то самое главное. Если бы он вообще не стрелял, заболел бы по дороге в Петербург — он все равно подлежал бы суду как убийца, ибо хотел убить. Но не этому, конечно, земному суду присяжных. Иному — высшему: суду собственной совести. Но и правительство, приговорившее его к смертной казни, тоже преступно: верша свой земной суд над преступником, само преступило тот же высший закон: зло умножает зло, а добро умножает добро. Приговаривая преступника к смертной казни, тем самым избавляет его от главного наказания — от страшного суда потрясенной страдающей совести.

И Раскольников не гадкую старушонку-процентщицу по голове топором тюкнул, не в этом главное его преступление: процентщица — следствие того, что уже совершилось в воспаленном сознании его. И он принцип убил: ибо, пожелавший в сердце своем... Нет, тут не одна только теория тысячи благодеяний путем одного преступления, тут бери глубже, тут и иные, даже и сокровенные от самого себя мыслишки. Тут книжные мечты, теоретически раздраженное сердце: тут Наполеоном попахивает... Прав Пушкин, как всегда, и здесь прав: «Мы все глядим в Наполеоны», а потому для нас «двуногих тварей миллионы», а мы-то сами — единственные! Так неужто я тоже «двуногая тварь»? Нет уж, дудки, тварь — кто угодно, а я — Наполеон. Как там, у Штирнера? — на что я способен, на то и право имею, ибо *все* позволено, что, допускает мое «я». Коли ты — тварь дрожащая, ну и следуй слепо принципам установленной не тобой границы между добром и злом; ну а коли ты — Наполеон, стало быть, власть имеешь сам устанавливать эту черту, решать — что есть добро, а что зло.

Вот и в его Раскольникове за всей идеей благодеяния выглянет Наполеон: старушонка — вздор, это только первая проба: кто я — тварь дрожащая или право имею? Наполеон остановился бы, если б ему для власти нужно было укокошить не то что гадкую процентщицу, но и ту девочку, которую видел с Полиной в Италии? Не задумываясь, вместе со всем городом, а если необходимо, то и со всей Италией... Ну так и он должен решиться, коли уже решил, что не тварь дрожащая... Но ведь до чего казуистика проклятая доведет: Наполеон — идеал, мерило, ибо, коль совесть допускает, то, может быть, и вовсе нет преступления нравственного, преступания высшего закона, а одно только нарушение уголовного кодекса, закона земного, установленного самими же людьми, каким-нибудь позволившим себе, власть имеющим Наполеоном, а другие только вынуждены были подчиняться ему, принять его, да так и привыкли считаться — это, мол, добро, а это зло? Есть ли высшая, не нами придуманная, но познаваемая сердцем и живущая в нас, как совесть, правда? Или:

«Все говорят — нет правды на Земле,
Но правды нет и выше...»

А потому Сальери и вправе во имя справедливости — как он ее понимает — отравить праздного Моцарта?

Но отчего же — если во имя справедливости — так бесприютно мучаются души преступников?

Достоевский чувствовал, что и ему самому нужно еще много пройти, много перестрадать, чтобы определиться вполне, установиться душой в хаосе и дисгармонии готовой к крушению эпохи, потрясенной в своих нравственных основаниях, словно вздыбленной над бездной и замершей вдруг на мгновение на какой-то невидимой, но последней точке опоры.

Глава III

СКИТАЛЕЦ

И путник усталый на Бога роптал...

Пушкин

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней...

Тютчев

1. Пристань

«Дураков на Руси, слава богу, лет на сто припасено», — должно быть, думал господин Стелловский, потирая потные свои ладони в размышлении о том, что срок договора истекает через месяц, а Достоевский не то что не заканчивает для него роман, но и вообще, судя по всему, не начинал еще и писать, поскольку надежно увяз в «Преступлении и наказании» для Каткова...

Достоевский и сам понимал: теперь дело его безнадежно проиграно. Майков и Милюков предлагали, чтоб он составил план романа, и они втроем-вчетвером уж хоть что-нибудь да написали бы, только бы не в петлю, а ведь контракт со Стелловским еще и похуже петли: там хоть сразу... План-то у него был: он давно уж задумал небольшой роман, в котором через вымышленный сюжет и родившихся в его фантазии героев он мог бы рассказать о вполне реальных — слишком даже реальных — страстях и страданиях, которыми одарили его сполна *бестиальная* женщина и чертова рулетка... Ее он, конечно, так и назовет Полиной, слишком много в ней будет *ее,* ну а героя... Герой почему-то виделся ему Алексеем Петровичем. В нем, конечно, тоже будет немало от него самого, но это и совсем не он, разве что малая толика — в азарте игрока да в мучительной любви к Полине — в страстях, каким-то фантастическим образом обусловливающих и подстрекающих одна другую. И название романа давно определилось: Рулеточный город — «Рулетенбург». Так что

хомут есть, осталось либо лошадь да экипаж приобрести, либо самому лезть в хомут лет эдак на десять, если протянешь еще, конечно, имея в виду, что вожжи-то прочно возьмет в свои руки господин Стелловский. И все же лучше в хомут или прямо в петлю, чем поставить свое имя под написанным не тобой...

Милюков вспомнил, что у него есть знакомый преподаватель скорописи — стенографии, Ольхин Павел Матвеевич, может, попробовать со стенографом? Что ни говори, а диктовать быстрее, чем пером водить по бумаге. Делать нечего, Достоевский решил рискнуть, хоть и очень уж противно ему показалось наговаривать кому-то сокровенное. Да и намного ли быстрее-то будет со стенографом?

С Ольхиным все-таки переговорил, и тот пообещал прислать назавтра кого-нибудь из наиболее способных своих учеников. Пока ждал, изнервничал себя до крайней раздражительности. В 25 минут двенадцатого 4 октября ему позвонили. Он, попросив Федосью, прислугу, приготовить чаю, пошел встречать стенографа и увидел молодую девушку лет 19—20, не более: ну вот — с такой, пожалуй, напишешь роман! — умолял же Павла Матвеевича, специально повторил — кого-нибудь посерьезнее. Он раздражился еще более, а когда попробовал диктовать этой стенографке и попросил перевести ее непонятные каракули на человеческий язык, — оказалось, что дело действительно плохо: точку пропустила, а здесь и вовсе не поймешь, что за знак — эдак, пожалуй, потом все равно заново придется переписывать. Но, с другой стороны, выхода-то иного нет... Попросил девицу прийти к нему попозже, часов в восемь, — нужно нервы в порядок привести, а то надиктуешь... Увидев в глазах стенографки то ли испуг, то ли тоску, подумал: она-то при чем? Решил сказать ей что-нибудь приятное — девица-то как будто славная, хоть лицом и некрасива, да что ж ему с ней — детей крестить? Ведь помочь пришла, вот только как же ее по батюшке? Анна, Анна... Нет, запамятовал, ну да Федосья, должно быть, запомнила.

— А знаете, — сказал девушке, — я даже обрадовался, что Ольхин прислал мне девицу-стенографа, и знаете почему? Да потому, что мужчина уж наверно бы запил от такой работы. А вы, я надеюсь, не запьете?

— Уж я-то наверно не запью, в этом вы можете быть

уверены, — сказала она серьезно, но с каким-то смыслом, как будто даже обидным ему.

— Господи, пошутил же, однако! — догадался, когда она уже ушла. — Еще и не придет, да и правильно сделает, пожалуй...

Когда Ольхин предложил одной из своих учениц, Анне Григорьевне Сниткиной, помочь известному писателю Достоевскому написать менее чем за месяц роман, она не смогла скрыть своей восторженной радости. Нет, дело не в 50 обещанных за работу рублях. Она, хоть и человек не бедный — недавно умерший отец завещал ей домик на окраине Петербурга тысяч в 15 стоимостью, и в будущем году, когда ей исполнится 21, вместе с совершеннолетием она получит и право на завещанное ей, но она давно уже решила сама зарабатывать на жизнь. Отец постарался дать ей неплохое образование — сначала в Мариинской женской гимназии, потом на Педагогических курсах. Училась она и в университете на физико-математическом факультете, однако оставила его — предмет пришелся ей не по сердцу, а идея — где бы ни учиться, лишь бы получить высшее образование — была ей чужда. Узнав об открытии курсов стенографии, которые могли дать ей реальную профессию, Анна Григорьевна тут же записалась на них и вскоре была признана лучшей ученицей. Предложение Ольхина открывало наконец выход ее мечте — жить собственным трудом, в чем, конечно, сказывалось впечатление, которое произвел на нее роман «Что делать?» Чернышевского. Но восторг ее все-таки принадлежал другому: любимым ее, чуть не с детства, писателем был Достоевский. Любовь эту привил ей отец, а она обожала отца и скоро возобожала и любимого им писателя. «Бедные люди», «Неточка Незванова» — она так влюбилась в свои 16 лет в героиню, что и домашние и подруги иначе как Неточкой ее и не звали: Анна — Анюта — Нюточка — Неточка... Потом «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома» — она рыдала над ними. И вот совсем недавно — первая часть «Преступления и наказания»... Раскольников произвел на нее решительное впечатление, хотя в кругу ее сверстников-друзей ругали и роман и Достоевского: зачем-де напраслину на молодое поколение возвел — сделал студента убийцей? Она и сама начинала сомневаться, но все-таки видела в Раскольникове прежде всего страдальца, человека высоких страстей, благородного, но ставшего жертвой ложной идеи, доведшей его до преступления. Так научил ее понимать Достоевского отец, а ему она верила, как и своему сердцу.

Достоевский представлялся Анне Григорьевне человеком старым — ведь с тех пор, как она его помнит, он всегда был для нее известным писателем, а это уж ого-го когда было — лет десять назад, не меньше, — почему-то толстым, с брюшком даже; он, конечно, окружен боготворящей его семьей — иначе и быть не может, если уж они с отцом так любят его, то как же должны любить и почитать его родные! — и толпой поклонников, предупреждающих каждое его желание, берегущих его от разных напастей и неприятностей. Человек он, безусловно, богатый — среди ее знакомых были и печатающиеся в журналах, и вполне безбедно существующие на гонорары, а он ведь не чета им — он гений и вон уж сколько написал.

И все-таки пусть при такой его жизни ее помощь ему будет, конечно, только малой каплей, но все же она счастлива, что он хоть в чем-то нуждается, потому что иначе ей не выпала бы такая радость — видеть его и помочь ему. И пусть, пусть это только малость, только капля, но все-таки это капля того великого, того вечного, святого дела, которое он творит и о котором сама она еще вчера, еще час, несколько минут назад смела только мечтать.

Она была крайне удивлена, подойдя к тому дому, на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, принадлежащему купцу Олонкину, который указал в адресе Ольхин: невзрачный, даже мрачноватый, трехэтажный, самый обыкновенный дом — скорее в нем мог бы жить Раскольников, но чтоб Достоевский?.. Она поднялась по шаткой лестнице, показавшейся ей знакомой, хотя она никогда не бывала здесь, на второй этаж, позвонила в 13-ю квартиру — звонок тоже как бы что-то напомнил ей; дверь открыла пожилая женщина — должно быть, служанка в где-то уже виденном ею драдедамовом платке на плечах, и тогда мелькнуло: «Господи, да это же все из «Преступления и наказания» — и дом, и лестница, и звонок. Вернее — в «Преступлении и наказании» отсюда...» Не успела снять пальто — открылась дверь в прихожую, и появился какой-то молодой — ее ровесник — брюнет, взлохмаченный, с голой грудью, в распахнутом халате и туфлях на босу ногу — увидел ее, вскрикнул и исчез.

Потом вышел пожилой, даже почти старый, среднего роста мужчина — неужели это и есть сам Достоевский? Он, правда, не толст и без брюшка, но все-таки он представлялся ей другим... более величественным или уж значительным, что ли... А он неказист, волосы напомажены и гладко приглажены, будто в парике, так неестественно, и смотрит странно, загадочно; увидела, глаза разные — один темный, то ли карий, то ли болотный, другой заметно больше и зрачок во весь глаз — даже страшно и... неприятно от такого взгляда. И лицо — бледное, болезненное, подергивается будто в судорогах или от постоянной брезгливости, кажется, ужасно злое. Неужели же писателю нечего надеть, кроме изношенного синего жакета? А воротничок и манжеты белоснежные — странно все... Он сухо пригласил ее в кабинет и тотчас вышел. Она осторожно огляделась: комната довольно большая, в два окна, но сейчас хоть солнце веселит, а в хмурые дни и вечерами здесь, должно быть, жутковато — так вдруг ощутилась всем телом подавленность от тишины и сумеречности углов. Мягкий диван, покрытый непонятного от времени цвета материей, круглый стол с лампой, зеркало в черной раме, нарочно его, что ли, так неправильно поставили? На окнах две прекрасные китайские вазы, в углу простой письменный стол с двумя свечами, портрет худой женщины на стене — наверно, жена... Неужели так можно жить Достоевскому?.. И еще писать при этом... Служанка принесла почти черного чаю, потом пришел и Достоевский. Анна Григорьевна, чтоб хоть чем-то заняться, потому что он молча начал расхаживать по комнате, закуривая папиросу, нервно гася и тут же закуривая новую, одну за другой, принялась пить чай. Он вдруг предложил ей закурить, если хочет; она, с удивлением поморщась, сказала как можно спокойно, что не курит. Он кивнул машинально и продолжал ходить по комнате. Потом ни с того ни с сего заявил, что он болен эпилепсией и на днях у него был сильный припадок — вот упал неудачно, глаз ударил, оттого теперь у него глаза сделались разные и, может быть, так и останутся. Она инстинктивно вобралась в себя, не зная, что подумать о неожиданной и неприятной ей откровенности — или, может, цинизме, — зачем он все это рассказывает, а о работе ни слова? И что ответить ему или вовсе не отвечать? Затем, набегавшись из угла в угол и накурившись так, что ей самой стало дурно, он вдруг нервно заговорил о том, что нужно еще посмотреть, получится ли что, он-то убежден, что ничего таким образом не выйдет, но, может быть, все-таки попробовать? Потом наконец предложил продиктовать на пробу немного и затараторил так быстро, что она не успевала расслышать, не то чтобы записать. Она попросила диктовать помедленней, он не то обиделся, не то разозлился, подошел, чуть не вырвал листок, посмотрел на таинственные значки, ухмыльнулся как-то нехорошо — и чего, мол, дурак, только время теряю, но предложил перевести. Придрался к какой-то несчастной точке, которую она забыла поставить, потому что ее просто распирала неприязнь к этому человеку, которого она так обожала, которому так хотела помочь, а он скверный, плохо воспитанный, раздражающийся по пустякам человек... На прощание он еще и умудрился сказать ей какую-то пошлость насчет того, что рад, что она девица, поскольку не запьет...

Когда она наконец оказалась на улице, она даже содрогнулась от того неприятного, тяжелого ощущения, которое охватило ее сразу же, как только она вошла в его квартиру и которое с каждой минутой росло и усугублялось. Она не знала, что ей теперь делать, как сказать об этом Ольхину, ведь он понадеялся на нее и предупредил, что Достоевский весьма мрачный господин, но ведь не до такой же степени! Она знала одно: к нему она больше не пойдет, это выше ее сил. Она вспомнила вдруг, что давно не была у родственников — они жили недалеко отсюда, — и решила зайти к ним. Не выдержала, да и они сразу поняли — с ней что-то стряслось неприятное; рассказала о своих впечатлениях, услышав в ответ, что Достоевский — об этом все знают — человек действительно ужасный, а ходить к нему, тем более молодой девице, — значит компрометировать себя, да и небезопасно: он ведь десять лет каторги заработал, кажется, за убийство собственной жены, — ну, конечно же, он ведь и сам не постеснялся признаться в этом публично — в «Записках из мертвого дома»-то. А? Какой цинизм все-таки...

Душа ее пребывала в неизвестном еще ей самой смятении. Ей сделалось вдруг ужасно обидно и больно за ее долгое обожание этого человека, оказавшегося недостойным высокого чувства: на ее глазах, в одночасье, рушились сложившиеся годами, казавшиеся незыблемыми идеалы. Конечно, кто заставляет ее обожать именно его? В конце концов он не виноват в том, что не соответствует тому образу, который придумался, примечтался ей в девических ее снах наяву, да, может, и не сам он такой, а

жизнь калечила, ломала его, сделала его издерганным, больным. Больным... Да и каков бы он ни был, он все-таки надеется на ее помощь. Ждет сейчас. В конце концов это ее работа. Просто теперь она уже знает, с кем имеет дело, и должна соответственно вести себя — строго, сухо, по-деловому. И ведь всего месяц, а там — прощайте, господин Достоевский...

Она и сама не заметила, как к назначенным восьми часам оказалась около его квартиры. Поднимаясь по лестнице, механически пересчитала ступеньки, их было, конечно, тринадцать, как в «Преступлении и наказании», и она уже не удивилась этому.

— Голубчик, Анна Григорьевна, как хорошо, что вы пришли, я уж думал, не придете, я ведь давеча напугал вас, уж не сердитесь, милочка, на старого человека, — встретил он ее в прихожей.

Она предложила ему сразу начать работу — время позднее, а ей возвращаться почти на окраину, в район Смольного.

И он начал диктовать. Скорее даже рассказывать ей о чем-то дорогом ему, но и вместе мучительном. Потом они отдыхали, пили чай. А он продолжал рассказывать ей уже о своей юности, о первых шагах в литературе, о петрашевцах, казни на Семеновском плацу, каторге, Сибири... Потом о своих долгах, о кабальном договоре со Стелловским. Он говорил просто, не рисуясь, без надрывов, даже как будто добродушно. И ей вдруг стало стыдно за то, что она поверила, пусть на мгновение, что этот человек мог убить жену, она подняла на него глаза и впервые, после первого взгляда, посмотрела на него (все время она нарочно старалась не смотреть на него и, главное, не встречаться с его неприятным ей взглядом) и вдруг увидела перед собой действительно очень больного, измученного человека — и почему он показался ей старым? — ему не больше 35—37 лет, — глубоко страдающего и какого-то до боли неуютного человека, одинокого, окруженного недобрыми к нему людьми. И вот он доверился ей, открыл душу, потому что ему больше некому открыться, но ей он доверился, значит, посчитал ее достойной своей исповеди, и ей вдруг стало просто с ним, хорошо и даже гордо за себя.

Она приходила к нему теперь каждый день. По вечерам, а порой и ночами переводила стенографические записи, сама переписывала все начисто и приносила ему уже готовые страницы. И все-таки работа шла напряженно, времени до 1 ноября оставалось все меньше, а герои «Рулетенбурга» все метались, страдали, противная Полина мучила несчастного Алексея Петровича, а он любил ее все сильнее и все сильнее ненавидел ее — этого Анна Григорьевна никак не могла понять: что же это за любовь такая? Она давно уже поняла, что за вымышленными героями перед ней раскрывается история сердечных мучений самого Федора Михайловича — к тому же он успел рассказать ей и о Сусловой, и о Сальвадоре, и о том, как измучила его эта женщина, и Анна Григорьевна уже ненавидела Полину, а Алексей Петрович казался ей жалким, и ей было ужасно неловко за Федора Михайловича — ведь это он открывал и себя, частицу своей измученной души на всеобщее обозрение, и она представляла, как легко и как весело будут плевать в эту распахнувшуюся, раненую душу его многие враги, недоброжелатели, пересмешники.

Порой он, как в первый день, срывался, бурчал, нервничал, грубил, даже наорал однажды на Федосью — она, конечно, сама хороша: он попросит чаю, а она забудет, уйдет к соседке да и просидит там полдня, но все равно —кричать на женщину?.. Заметив, как изменилось лицо Анны Григорьевны, услышавшей крик Достоевского, Федосья, провожая ее, вдруг зашептала ей, что она обожает Федора Михайловича: он взял ее в дом с тремя детьми, когда она осталась совсем одна, без средств, после смерти мужа, сгоревшего от белой горячки — допился. Он спас и ее, и ее сироток, и, знаете, какой он добрый, это он только так — сорвется порой, потому что трудно ему и одиноко, но сердце у него доброе, редкое — по ночам сидит работает, заслышит, кто из ее детишек закашляет во сне или заплачет, непременно придет укроет, успокоит, а если почему-то не сможет сам, только тогда ее потихоньку разбудит, — шептала она, утирая слезы подаренным ей Федором Михайловичем зеленым в клетку платком. А однажды встретил Анну Григорьевну хозяин дома Олонкин, с которым Федор Михайлович познакомил ее, чтобы, не дай бог, каких сплетен не поползло, будто какая-то молодая девушка ходит к этому, к писателю, и стал горячо благодарить любезную Анну Григорьевну за ее помощь Федору Михайловичу: «Бог вас наградит, Анна Григорьевна, за вашу доброту, потому что великому труженику помогаете, — я всегда к заутрене иду, у него огонь в кабинете светится — работает...»

Отношения у них как-то сами собой установились дру-

жеские, доверительные. Анна Григорьевна теперь о многом расспрашивала его, и он охотно, с поражающей ее искренностью, отвечал.

— Зачем вы, Федор Михайлович, вспоминаете только о грустном да о несчастьях? Расскажите лучше, как вы были счастливы.

— Счастлив? — удивился он, будто вспоминая. — Счастья у меня как будто еще и не было — того счастья, о котором я всегда мечтал. Я его все еще жду, хоть и знаю, счастье — это только мечта...

— Ну а почему бы вам не жениться? Вы бы не были так одиноки и, может быть...

— Жениться? Да никто не идет за меня, — сказал он с какой-то такой искренностью, что ей стало ужасно жалко его и немного за него стыдно: зачем он так о себе?..

И он рассказал ей все о своей первой жене, о Паше — это он встретился ей тогда, в первый приход, — об Аполлинарии, Анне Васильевне Корвин-Круковской, о своем предложении Елене Павловне...

Все-таки какой-то он странный и долго так не протянет — всегда один, без душевной заботы, на вечном нерве, питается кое-как...

Время летело. Приближался конец октября, но и роман — хоть Достоевский все более нервничал и сомневался, поспеют ли к сроку, — все-таки подвигался к окончанию. Алексей Петрович, уже почти в полубезумии, выиграл для Полины тысячи, чтобы она могла бросить их в лицо оставившему ее любовнику, но она бросила их в лицо Алексею Петровичу, и Анна Григорьевна уже всем сердцем своим ненавидела их обоих, презирала ее за коварство, его за малодушие, за любовь к ней и страсть к рулетке.

— А куда подевалась китайская ваза? — как-то полюбопытствовала она.

— Да вот, в заклад пришлось отнести: родственникам срочно потребовались 25 рублей.

А он недоумевал: и как это она показалась ему в первый раз некрасивой? Уму непостижимо — глаза-то какие — серые, добрые, лучистые, будто свет изнутри... Это же Марии Болконской глаза — он только что прочитал «Войну и мир» Льва Толстого, роман печатался в том же «Русском вестнике» Каткова, параллельно с его «Преступлением и наказанием».

Через несколько дней исчезла и вторая ваза.

Но роман был закончен в срок: 29 октября — последняя диктовка, последняя фраза, точка...

На следующий день у Федора Михайловича был день рождения, и он пригласил к себе Анну Григорьевну. Пришел Аполлон Николаевич Майков — Достоевский уже познакомил ее с ним, и вдова брата, Эмилия Федоровна, которая вела себя с нею столь надменно, что, заметив это, Федор Михайлович стал с Анной Григорьевной еще любезнее, даже радушнее, но вечер уже был испорчен. Прощаясь с Анной Григорьевной, Достоевский спросил, может ли он теперь навестить ее, познакомиться с ее матерью, чтобы поблагодарить за такую добрую, милую дочь, так помогшую ему в трудную минуту. Анна Григорьевна позволила.

Окончание работы вновь подарило ей свободное время и возможность бывать с подругами и друзьями, но ей все чего-то не хватало теперь, друзья казались скучными и неинтересными, молодые люди, добивавшиеся ее руки и в общем симпатичные ей прежде, теперь почему-то не интересовали ее вовсе.

3 ноября приехал Федор Михайлович. Анна Григорьевна накупила груш и разных сладостей, которые любил Достоевский. Пили чай, но разговор как-то не вязался. Он рассказал, как Стелловский пытался надуть его: он принес ему рукопись, а Стелловский уехал; тогда Федору Михайловичу посоветовали сдать рукопись романа под расписку квартальному. На расписке стояла оговоренная в контракте дата. Потом говорили о «Преступлении и наказании». Федор Михайлович сказал, что собирается в ближайшие дни приняться за окончание романа, спросил: не решится ли Анна Григорьевна продолжать работу с ним? Она засомневалась, он как-то слишком искренне огорчился, да и она сама чувствовала, что быть с ним рядом незаметно для нее стало потребностью, но она и боялась увлечься всерьез, потому что все равно ни к чему хорошему это не привело бы. Она видела, что и Федор Михайлович, кажется, привык к ней, и боялась — вдруг ему вздумается и ей сделать свое очередное предложение, и тогда — всему конец...

Помочь с «Преступлением и наказанием» после недолгих колебаний все же согласилась.

Восьмого ноября 66-го года день в Петербурге выдался светлый, прозрачный, мороз, правда, давал себя

знать, но Анна Григорьевна решилась пойти к Федору Михайловичу пешком — уж слишком как-то хорошо было на душе, и оттого запоздала на полчаса. Но Федор Михайлович не рассердился по обыкновению.

— Наконец-то вы пришли! — сказал он радостно и даже возбужденно. Анне Григорьевне он показался сегодня как-то совсем молодым, и в кабинете на редкость солнечно.

— Как я рад, что вижу вас, Анна Григорьевна!

— И я рада вас видеть, Федор Михайлович. Да что с вами сегодня? Случилось что?

— Да, случилось!.. Вот, новый роман придумал...

— И что же, интересный?

— Для меня так чрезвычайно, но вот с концом никак сладить не могу: тут нужно глубокое знание девичьего сердца, будь я в Москве, я бы с Сонечкой, племянницей, посоветовался, а здесь и не с кем. Может, вы что посоветуете?

Анна Григорьевна согласилась с радостью.

— Герой мой, художник, человек немолодой, моих лет, но и состарившийся-то преждевременно: тут и страдания, и измены, и предательство, словом, выстрадано немало, к тому же и тяжелая и, кажется, неизлечимая болезнь — паралич руки, — представляете, что это для художника! Жизнь сделала его злым, подозрительным — при добром сердце, при открытой его душе...

Анна Григорьевна поняла — и в новом герое будет много от самого Федора Михайловича, потому ей стало еще интереснее.

— И вот, — продолжал он, — когда мой герой совсем уж было решил, что жизнь его кончена, потому что жить незачем и не для кого, он вдруг встретил молодую девушку ваших лет... («Неужели меня?» — испуганно кольнуло в сердце.) или... года на два-три постарше вас («Наверно, снова Полина...»). Она добра, умна, жизнерадостна («Нет, не Полина — скорее Анна Васильевна».) Назовем ее условно Аней — мне нравится это имя. («Точно, Корвин-Круковская — он ведь недавно письмо от нее получил, вот под его впечатлением и выдумал роман».)

— И что же, хороша собой ваша героиня?

— Не знаю, но я очень люблю ее лицо («Точно, Анна Васильевна, он столько раз говорил о ее лице, — вот и проговорился...»), и герой мой вдруг понял, почувствовал, что только с нею он мог бы быть счастлив («Вот уж ошибаетесь, Федор Михайлович, — и она измучает вас, как и Полина...»), но вдруг столь же ясно ощутил всю невозможность этого счастья: что он мог бы дать, старый, больной, без гроша в кармане, этой юной, чудесной девушке? А она — если бы даже и ответила ему — разве не было бы это с ее стороны неоправданной жертвой, которая потом привела бы неизбежно к раскаянию, к горькой обиде за свою судьбу? Да и вообще, может ли молодая, самостоятельная девушка, перед которой открывается вся жизнь со всеми ее соблазнами, увлечениями и возможностями, полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Возможно ли такое в жизни? Поверят ли мне читатели или засмеют, назовут фантазером, идеалистом?

— Отчего же невозможно? — сказала она в нерешительности, мучительно соображая, кого же он все-таки имеет в виду? — Если, конечно, у вашей Ани, как вы говорите, хорошее, отзывчивое сердце, а не маленькое, пустое светское сердечко кокетки, то разве ее остановят бедность, болезнь, разница в летах? — Она говорила горячо, словно все это касалось ее самой. — И в чем тут жертва? Не понимаю я вас, Федор Михайлович, — по-моему, ваша Анна... просто не любит вас... вашего героя, раз у вас такие сомнения...

— Значит, вы всерьез верите, что такое могло бы быть, что она смогла бы полюбить искренне и на всю жизнь?

Анна Григорьевна в испуге не знала, что отвечать: уверь она сейчас — да, может, и вдруг, как знать, этот ответ решит его судьбу, и она навсегда потеряет его дружбу, его доверительность, а та только измучает его, она была совершенно уверена — только измучает... Сказать же «нет»?..

— Поставьте себя на минуту, всего на одну минуту, на ее место, — голос его дрожал. — Представьте, постарайтесь, Анна Григорьевна, голубчик, представьте, будто этот художник — я, и что это я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, бога ради, что бы вы мне ответили?

Она смотрела на него непонимающим взглядом: он был так взволнован, в глазах его была такая тоска ожидания, его бледное лицо, такое дорогое ей лицо, высказывало столько смущения и сердечной муки, что она вдруг все поняла, и ее охватило ощущение такой радости, такого

невозможного счастья, потому что она ведь его с первого, да-да, с первого взгляда... нет, всю ее жизнь...

— Я... Я бы ответила вам, что вас люблю и буду любить всегда...

О помолвке решили пока никому не говорить, кроме матери Анны Григорьевны, конечно, однако, вскоре секрет их раскрылся и стал предметом оживленных пересудов родственников и других доброжелателей. Одним из первых заподозрил недоброе Паша: Федор Михайлович не стал уклоняться от прямого ответа, когда, пораженный неблагоразумием отчима и возмущенный тем, что он не спросил у него даже совета и согласия на столь очевидно смехотворный шаг, пасынок увещевал его опомниться, не смешить добрых людей, ведь он уже старик и ему не по силам начинать новую семейную жизнь. Примчалась и Эмилия Федоровна.

— Зачем вам жениться? — напустилась на Федора Михайловича. — У вас и в первом-то браке детей не было, а ведь вы тогда помоложе все-таки были; да и об обязательствах перед семьей брата забывать бы не следовало...

— Я вам как врач и почитатель ваш, желая добра, настоятельно советую отказаться от столь опрометчивого решения, — уговаривал его Эдуард Андреевич Юнге, профессор глазных болезней, лечивший его глаз, пострадавший при эпилептическом припадке. — Поверьте хоть науке; опыт показывает, что при столь великой разнице в летах ваш союз не может привести ни к какой семейной гармонии, не говоря уже о сколь-нибудь продолжительной, да и состояние вашего здоровья вряд ли позволит вам хотя бы ненадолго дать счастье жены и матери столь молодой женщине...

Друзей тоже немало смущала молодость невесты: ей 20, ему 45, но, зная упрямый и не управляемый в таких случаях никакими разумными доводами характер Федора Михайловича, они только безнадежно пожимали плечами.

— Она слишком молода для вас, вам скоро станет неинтересно с ней, — искренне убеждали его наиболее близкие ему люди.

— Он слишком стар для тебя, а одними только литературными восторгами семью не построишь... — пытались образумить ее родственники, друзья и поклонники.

Она же, по собственному ее признанию, просто была поражена, почти подавлена громадностью счастья и долго еще не могла в него поверить. Он, правда, громадности счастья не ощущал, а будто душа обрела пристанище, и стало ему как-то покойно, но так, словно это не он сам схватил судьбу за руку, а она наконец ухватила его за шиворот, повернула лицом к Анне Григорьевне, указала на нее перстом своим и шепнула: «Она, не сомневайся...» Хотя и себя выжидательной стороной отнюдь не считал, напротив:

— Знаешь, Аня, а ведь рассказанный тогда тебе роман — лучший из всего, что написано мною: он сразу же возымел успех и, главное, произвел желаемое впечатление, — не то шутил он, не то сам удивлялся. — Пойми, ведь я совсем не был уверен в успехе: а вдруг бы ты ответила, что любишь другого? Я потерял бы в тебе единственного человека, который так много сумел уже сказать моему сердцу.

Он водил ее по Сенной и ее окрестностям, местам, где бродил его Раскольников, показал дом процентщицы, провел по лестнице, по которой поднимался к ней студент, и даже камень, под который Раскольников спрятал награбленное. Три-четыре раза в неделю диктовал последнюю часть «Преступления и наказания». Вперемежку с шутками и смехом — отдых был необходим, потому что во время работы они оба порой доходили до такого нервного напряжения, что Анне Григорьевне казалось иной раз — еще несколько минут, и мозг, сердце не выдержат. И то: она чувствовала себя как бы соучастницей борьбы за будущее всего мира. Родион Раскольников возвещал ей новую истину: если Бога нет, то все позволено, потому что тогда я определяю, что есть добро и что зло. А я считаю, убеждал он Анну Григорьевну, что пожертвовать одной «тварью», процентщицей-старушонкой, во имя блага человечества — значит поступить по совести. Но потом появилась «вечная Сонечка», она отстаивала христианскую идею самопожертвования, отстаивала собственной жизнью: ради спасения больных родителей, ради маленькой сестренки отдала она в жертву тому же ненавистному ей, как и Раскольникову, миру свою честь, молодость, девичество, оставив в неприкосновенной чистоте только душу свою, потому что нельзя отнять ничью жизнь по совести; по совести можно только отдать свою жизнь.

Жертвенность Сонечки была по сердцу Анне Григорьевне, но и неприемлемая ею убийственная логика Раскольникова казалась неодолимой. В борении этих крайних идей, которыми одержимы двое, может быть, самых

близких во всей вселенной, самых родных по духу людей, казалось Анне Григорьевне, принимают участие все жившие когда-либо на земле, живущие, и те, кому только предстоит жить и через десять, и сто, и тысячу лет... Потому что тут шла борьба двух духовных начал природы человеческой, обнаженных, доведенных до крайности катастрофической эпохой.

В конце концов побеждает в романе христианская правда Сони, правда, оказывающаяся у Федора Михайловича, к удивлению Анны Григорьевны, по существу, народной правдой: Соня-то звала Раскольникова покаяться не в церковь, а на людную площадь, и не перед иконой, но перед матерью-землей, перед народом русским. Но как-то так уж выходило у Федора Михайловича, что именно это-то преклонение перед народной правдой вместе с тем как раз оказывалось и преклонением перед правдой христианской. Эта-то народная правда, правда совести, и сокрушит изнутри кривду Раскольникова, которая притворилась правдой, и он поверил в нее. Крушение в Раскольникове лжепророка вместе с тем — чувствовала Анна Григорьевна — оборачивалось и победой в нем великой силы человеческой правды, а путь в каторгу — дорогой к его духовному воскресению.

И еще одна истина глубоко, на всю жизнь вкоренилась тогда в ее сердце: даже в великом страдании, страдании добровольного самопожертвования собой ради другого, есть свое счастье, своя великая радость; но нельзя построить счастье за счет страдания или гибели даже одного человека, пусть и последнего человека. Нельзя — ни для всего человечества, ни даже для себя лично. Если, конечно, ты Человек, а не наполеон...

Никогда еще Анна Григорьевна не ощущала себя столь причастной глубочайших тайн человеческой души, как в эти дни их совместной работы над «Преступлением и наказанием». Да и Достоевскому давно не работалось так легко.

Однажды он приехал к ней в осеннем пальто, хотя морозы стояли уже вполне зимние. Анна Григорьевна всполошилась — не украли ли у него шубу? Не украли — в заклад пришлось отнести: Эмилии Федоровне срочно потребовались 50 рублей. Постоянно просил деньги и Паша, младшему брату Николаю тоже нельзя не помогать.

Между тем приближались сроки свадьбы, которую хотели устроить до Великого поста, а значит, предстояли и немалые затраты. Достоевский решился поехать в Москву

к Каткову, выбить у него две тысячи за «Преступление и наказание». Михаил Никифорович знал свое дело неплохо — Толстому платил по 300 рублей с листа, Достоевскому, и то после серьезных колебаний, решился уплатить по 150, и вовсе не потому, что ценил талант одного выше другого: просто Толстой в деньгах не нуждался, мог бы и в другой журнал отдать «Войну и мир», нищему же Достоевскому идти было некуда.

«Современник» окончательно записал его во враги свои. Весной случайно встретился с Некрасовым у Ковалевского Егора Петровича — ученого, путешественника, дипломата, организатора и первого председателя Литературного фонда, — разговорились. Достоевский спросил напрямую: за что же все-таки обругали его «Преступление и наказание» в «Современнике»? Неужто тоже всерьез могли посчитать, будто в Роскольникове он опорочил революционную молодежь? Некрасов не стал лукавить, объяснил, что оценка «Современника» продиктована иными причинами: зачем сам он года два назад окарикатурил Чернышевского в своем «Крокодиле»?

Действительно, в 64-м году Достоевский опубликовал в «Эпохе» фантастический фельетон «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже», где в едкоироническом духе некий господин, будучи проглоченным крокодилом, проповедует из его чрева прогрессистские идеи, пользуясь тем, что пикантное зрелище, естественно, собирает толпы народа. Он высмеял как либеральное пустозвонство, так и псевдореволюционность воззрений, прикрывающихся научной фразой. Метил ли он при этом и в Чернышевского? Во всяком случае, как в личность — никоим образом. И не в идеи Чернышевского или «Современника» в целом. Скорее уж в их вульгаризацию деятелями и типа Антоновича и особенно Зайцева. Он даже воспользовался характеристикой, которую дал Салтыков-Щедрин публицистам «Русского слова»: эти «нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты». Чиновник выдает из крокодильева чрева немало откровений, в которых легко угадываются «научные» изыски в духе новейшей западной вульгарной социологии.

Чиновник в «Крокодиле» толкует о насильственном внедрении в общественное сознание естественных наук, об их «выгоде» и «пользе», но при чем тут Чернышевский? Достоевский прямо пародировал Зайцева, утверждавшего: «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен... Поэтому

благоразумие требует, не смущаясь, действовать энергически против него, потому что народ не может по неразвитию поступать сообразно со своими выгодами». Взгляды Зайцева вообще словно нарочно напрашивались на пародию; чего, например, стоили одни только его рассуждения об обусловленности социально-политического неравенства рас якобы естественноисторическими причинами, поскольку «разные расы, — убеждал он, — произошли от разных пород обезьян». «Опыт доказал, — писал Зайцев, — что американцы (он имел в виду коренное население Америки) и океанийцы не могут требовать даже жизни».

Достоевский уже в подготовительной тетради набрасывал: «Зайцев. Вы не имеете права требовать от него (то есть немца, хозяина крокодила) даже жизни. К тому же вы, наверно, почернели, а следовательно, стали похожи на негра и, следовательно, должны уступить высшей расе...»

Однако пародировал он в своем чиновнике далеко не одного только публициста «Русского слова», но и Каткова, и Краевского... И если Михаил Никифорович, видимо, посчитал ниже своего достоинства обидеться на фельетониста Достоевского (теперь вот даже и не отказал публиковать его в своем журнале), то Александр Андреевич не преминул прихлопнуть дерзкого насмешника увесистой сплетней; он-то и обвинил в своей газете «Голос» Достоевского в том, будто под чиновником нужно понимать Чернышевского, а в Крокодиле видеть Сибирь, только что «проглотившую его». — А, каково? Краевский в роли защитника чести и памяти Чернышевского! Об этом хоть бы подумали в «Современнике», да ведь этот господин промышленник, литературный Чичиков, одним ловким жестом сумел стравить между собой двух наиболее серьезных своих противников — «Современник» и «Эпоху». Ну не Наполеон ли он после этого? Нет, бери выше — Талейран!

Что ведь придумал, дабы сплетня обрела хоть какое-то подобие правды! В супруге чиновника, хорошенькой, пользующейся вниманием мужчин и отказавшейся разделить с мужем его участь в утробе крокодила женщине, Достоевский — утверждал господин Краевский — якобы намекал на Ольгу Сократовну Чернышевскую. И вот эта-то деталь, может быть, и произвела наиболее тяжкое впечатление на друзей и соратников Чернышевского, поверивших сплетне, запущенной Краевским. В обществе давно уже распространялись слухи, будто Ольга Сократовна ведет себя недостойно, да и при Николае Гавриловиче вела-де себя не лучше.

Достоевский тяжело переживал сплетню, пущенную Краевским, еще тяжелее было сознавать, что в эту сплетню поверили: как же плохо нужно думать о нем, чтобы так довериться Краевскому, посчитать, будто он, Достоевский, сам недавний каторжник, мог обрадоваться несчастью другого, да еще и написать по этому случаю гадостный пашквиль... Он собирался непременно разоблачить сплетника публично, но всю эту грязь вылили на него в тот самый момент, когда грянула другая беда — запрещение «Эпохи», и ему просто негде было высказаться» *.

И вот ведь как легко и просто окунуть человека в грязь мордой-то...

Что же до Ольги Сократовны, то до него хоть и доходили разные слухи о ней, но его менее всего могло бы порадовать подобное отношение к супружеству, если бы даже он и действительно был убежден в небеспочвенности грязных сплетен. Не хотел бы и себе подобной участи, особенно сейчас, надумав «на старости лет» жениться, да еще на молодой девушке...

Гадко на душе: благодаря ли искусной дипломатии врагов, легковерной ли подозрительности близких, собственному ли складу характера, вечно толкающего его на крайности, — как бы то ни было, но факт остается фактом: он действительно перессорился чуть не со всей русской литературой. И вот теперь до того дожил, что к нему снисходит один только всемогущий Катков.

В 1866 году борьба «московского идеолога» с правящей придворной партией настолько обострилась, что дни его политической карьеры, казалось, были уже сочтены. Ситуация складывалась действительно беспрецедентная для России: частное лицо, журналист, царист по убеждениям, идеолог промышленно-капиталистической, демократической монархии, открыто и резко вмешивался в важнейшие дела внутренней и внешней политики, обвиняя высших правительственных чиновников в государственном предательстве, антипатриотизме, национальном нигилизме. Против Каткова был выдвинут ряд серьезных обвинений. Министр внутренних дел Валуев и министр про-

* При первой же возможности в «Дневнике писателя за 1873 год» Достоевский действительно горячо и обстоятельно разоблачил попытку выставить его пасквилянтом Чернышевского.

свещения Головнин организовали обсуждение деятельности Каткова, в результате чего было вынесено решение о недопустимости такого положения, когда частная газета «разбирает действия правительства, иногда прямо осуждая высших должностных лиц, и тем самым создает положение ненормальное, несогласное с коренными основами государственного строя». В официальной печати Каткову были предъявлены обвинения в том, что его патриотизм сеет в общественном сознании самый разнузданный демократизм, материализм и атеизм.

Конечно, «кто изменяет русскому делу и способствует антирусскому, — отвечал в своей газете «Московские ведомости» Катков, — тот находится на правом пути. Что бы таковой ни говорил, ни делал, все будет одобрительно. Кто, напротив, будет в России мыслить и действовать в русском смысле, тот проклят и что бы таковой ни говорил, все будет омерзительно...» Но нынешняя ситуация в России, продолжал он, отнюдь не исключительная, а потому и стоит заглянуть в наше историческое прошлое, дабы извлечь из него уроки для настоящего и будущего. «Назад тому почти три века Россия так же переживала смутное время, — напоминал он об эпохе Минина и Пожарского. — Но тогда действовала простая сила, и дела делались грубо, а теперь они происходят в неосязаемой стихии мнения, где вместо силы действует обман. В ту давнюю пору пришлые враги владели русскою столицей, открыто жгли, грабили и били. Но предки наши не в пришлых врагах видели главное зло. В сказаниях того времени встречается сильное слово «русские воры». Предательство и не думало прятаться... И в настоящую пору, конечно, не обходится без домашних воров, и теперь еще более, в них-то вся и беда...» При этом Катков недвусмысленно давал понять, что под «русскими ворами», «внутренними врагами» России подразумевает он отнюдь не нигилистов от «студентов», на которых правительство пытается свалить все грехи, но нигилистов-«воров» как раз именно от правительства, высшей бюрократической машины государства.

Терпеть подобные обвинения высшие сановники, естественно, не собирались и обратились за содействием прямо к Александру II. Царь одобрил решение о запрещении «Московских ведомостей». Валуев отдал соответствующие распоряжения, однако Катков позволил себе не посчитаться с рескриптом министра и, в свою очередь, обвинил его в пособничестве врагам отечества. Это уже был не

скандал, это было нечто невообразимое. «Московские ведомости» продолжали выходить. Личный враг Михаила Никифоровича — глава придворной аристократической партии великий князь Константин Романов теперь уже не сомневался в близком часе отмщения ненавистному московскому журналисту, виновнику крушения его карьеры и напряженных отношений с царствующим родственником. Исход борьбы был предрешен. Но... Выстрел Каракозова спутал все карты и ставки в этой политической игре. 20 июня Александр II, будучи в Москве, лично пожелал видеть Каткова, признал его «своим», разрешил продолжать издание «Московских ведомостей», хотя и отечески пожурил за излишние вольности, пожелав в будущем сохранять чувство меры. Более того, царь одарил Каткова правом обращаться лично к нему во всех не терпящих отлагательства случаях, минуя особые бюрократические инстанции...

Этот прием тут же стал достоянием гласности, и, естественно, расценивался как победа правой, охранительной партии Каткова над высшей правительственной администрацией. Валуев был чрезвычайно оскорблен и в своем дневнике оценил исход баталии как победу, одержанную «восставшими против закона московскими публицистами над применившим и поддержавшим закон министром». Теперь уже никто не сомневался в ближайшем увольнении Валуева и Головнина с высоких постов.

Достоевский с напряженным любопытством следил за этой борьбой; многое и удивляло его. Сама по себе возможность добиться права на самостоятельный общественный голос, независимый от расположения или нерасположения к нему сословной администрации, радовала его, помогала укрепиться в вере в собственные усилия. На его глазах иерархически ничтожная величина — журналист — обретала могущество ведущей политической и идеологической силы. Как волевая личность Катков безусловно и чрезвычайно притягивал Достоевского, но перерождение последовательного англомана в идеолога официального патриотизма и настораживало: убеждение это или просто выгодная тактика? И наконец, Достоевскому претила официозность позиции Каткова, делавшего ставку на перемены в высшей администрации, а не на народ. «Господин Катков, — записывает он в дневник, — не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными силами. Тут господин Катков сломит ногу». Но идея национальности как формы де-

мократии, о которой вдруг заговорил Михаил Никифорович, давно будоражила и его сознание.

«Мы не считаем национальность последним словом и последнею целью человечества, — набрасывает он свои убеждения. — Но общечеловечность не иначе достигнется, как упором в свою национальность каждого народа. Идея почвы, национальностей есть точка опоры, Антей.

Идея национальностей есть новая форма демократии».

Достоевский надеялся еще продолжить свой спор с Катковым. Но пока он ехал к нему не за тем.

Анна Григорьевна пришла на вокзал проводить Федора Михайловича. Неожиданно появился и Павел.

— Папа́, — по всегдашней своей манере он чуть не кричал, так что провожающие невольно обернулись в их сторону, — не вздумайте только забираться на верхнюю постель, а то как раз кондрашка хватит — свалитесь, костей ваших не соберешь!

Федор Михайлович сконфузился, неловко попрощался со всеми и ушел в вагон.

— Зачем вы расстроили бедного человека? — чуть не плакала от обиды за Федора Михайловича Анна Григорьевна.

— Очень мне нужно, расстроился он или даже рассердился, — я о здоровье его забочусь, и он мне за это должен быть благодарен.

Здоровье «папа́» его действительно волновало, и чрезвычайно, поскольку работать нигде он по-прежнему желания не выказывал: «Его, может быть, устроил бы разве что пост министра», — говаривал Аполлон Николаевич Майков. Но таковой ему что-то не предлагали, а он был не прочь жениться, а для этого, как известно, нужны какие-никакие средства, и потому, когда его спрашивали, как чувствует себя Федор Михайлович, ежели тот чувствовал себя более-менее сносно, с довольно радостной надеждой в голосе ответствовал: «Да ничего, скрипит пока старикашка...»

Катков на этот раз расщедрился и выдал Достоевскому просимые две тысячи. Федор Михайлович побывал у родных. Объяснился по поводу решения жениться с Еленой Павловной, которой делал предложение прошедшим летом. Полину и Анюту также посчитал своим долгом известить о том же, отписал им письма. Но на следующий

день по возвращении из Москвы у него уже осталось только 500 рублей, остальное пришлось раздать родственникам на неотложные нужды. Поняв, что назавтра у него по тем же причинам не окажется ни копейки, Федор Михайлович отдал остаток на сбережение Анне Григорьевне.

15 февраля 1867 года в Троицком Измайловском соборе они обвенчались. В свидетели пригласили Майкова, Страхова (хоть он и «сбежал» от Достоевского после прекращения «Эпохи», Федор Михайлович все еще считал его близким своим приятелем, если не другом); старый сотрудник «Времени» и «Эпохи» литератор Аверкиев — уроженец далекого южного Екатеринодара, Милюков, другие — народу собралось немало.

И начались визиты к родственникам и родственников к ним. Гости, шум, суета, шампанское. В последний день масленицы они ужинали у ее сестры. Веселились, немало и выпили. Федор Михайлович пребывал в приподнятом настроении, что-то рассказывал, как обычно, интересное, как вдруг оборвал на полуслове, сделался бледен, лицо его исказила гримаса, и вдруг так вскрикнул, будто не он, а вся боль человеческая крикнула через него о своих страданиях, а потом начал медленно сползать с дивана. Анна Григорьевна в ужасе пыталась удержать его, но у нее недостало сил, и она в полубеспамятстве опустилась с ним рядом и, пока продолжались судороги, держала в руках самую дорогую теперь для нее в целом мире голову мужа. И помочь было некому — все бросились к упавшей от ужаса в обморок сестре Анны Григорьевны.

Она знала о его болезни, он все рассказал ей. Но знать и видеть такое... слишком разные вещи. Она и прежде ведала — Федор Михайлович, теперь ее Федя, не слишком крепок здоровьем. Но только в эти страшные минуты всем своим вмиг надорвавшимся от жалости к нему сердцем осознала, как просто, в любое неожиданное мгновение Россия может лишиться своего так страстно болеющего ее болями сына. И нет во всей ее многомиллионной безбрежности никого, кто мог бы оградить его от этой роковой неожиданности. Никого во всем белом свете, кроме нее одной, в которую он поверил и которой доверил и все то, что сможет свершить и подарить миру. Да что ей до всего мира и даже до России сейчас! Она, его Аня, Анна Григорьевна, уже не Сниткина, а Достоевская, она может лишиться его, единственного своего, который стал теперь для нее и домом, и Россией, и всей Вселенной, и ей-то помочь некому.

В общем-то будни, считай, начались сразу же после свадьбы. Он, правда, обещал показать ей Европу, но денег не оказалось, их нужно еще заработать, а это когда еще будет. Пока же их терзали родственники и кредиторы, его попрекали, что он, лишившись на старости лет рассудка, забыл о своих обязанностях перед близкими ради чужой заурядной девчонки. Достоевский ссорился, ругался, но тащил взятый на себя крест — содержать Пашу и семью Михаила, помогать Николаю, выплачивать долги по «Эпохе»... Анна Григорьевна крепилась и даже успокаивала его: все-де образуется, а ей, мол, и так хорошо, лишь бы с ним... Но он уже не раз случайно заставал ее плачущей тайно от него, делался все мрачней. Он клял себя за то, что он, столь знающий жизнь человек, мог так непростительно забыться, поверить, будто еще способен принести счастье любимой женщине, и вот принес — слезы, разочарование, серую, без просветов, будничность. Слишком уж несправедлива казалась судьба. Бог ли оставил его, иной ли кто, власть имеющий, постоянно усмехается: тысячи бездельников, пустых, никчемных людишек, словно приглашены на вечный бал, так, ни за что, по прихоти судьбы, живут в свое брюхо и живут недурно, а он, вечный труженик, не последний в России человек, не имеет возможности оградить жену и себя от постоянной угрозы долговой ямы. Или и вправду нет Его, а только хочется, чтоб Он был как высшая, не нами выдуманная справедливость, вечная любовь, красота? Может, Бог — это только потребность нашей души в идеале? Потребность, тем более обманчивая, смеющаяся над тобой, чем более в тебе жажда и вера... Или: бог, бог, да не будь и сам плох?

Припадки участились. И тогда он решился еще раз съездить к Каткову — больше ведь и не к кому, — выпросить у него еще хоть какую-то сумму под аванс. Съездил. Выпросил. Почти все деньги тут же ушли родственникам и кредиторам.

Анна Григорьевна пребывала в отчаянии. Она всем существом своим ощущала и сознавала, как с каждым днем теряет веру в счастье, любовь и в их будущее, в семью, в себя, в него, наконец. Порой ей до безумия хотелось все бросить, уйти, уехать — все равно куда и все равно, что о ней подумают, скажут, что будет с ней и даже... с ним.

Потом решила — нет, не быть так, как есть; и она так не может, и ему так не желает. Коль уж она решилась стать его женой, другом, нянькой даже, она обязана спасти — и его, и себя, и их любовь. Как ни умолял ее

Федор Михайлович, она впервые ослушалась его, отдала в залог чуть не все принадлежащее ей приданое: мебель, рояль, меха, золотые украшения, выигрышные билеты. Да и что за жертва, когда речь идет об их счастье. Им нужно побыть одним, совсем одним, где их не достанут ни родственники, ни кредиторы, а с остальным она справится сама: это единственное спасение.

14 апреля, в снежную, несмотря на весну, метель они выехали в Европу. Надолго, месяца на три.

2. Бездны

Дрезден встретил их первыми цветами, теплом вступающей в силу весны, следами недавнего поражения Саксонии, оккупированной прусскими войсками: Бисмарк уверенно проводил в жизнь политику объединения германских земель «железом и кровью».

Наняли вполне сносную квартиру из трех комнат на Иоганнштрассе и пошли покупать шляпку Анне Григорьевне. Собственно, из-за этой, еще не купленной шляпки они еще в Берлине, кажется впервые, и поссорились. Федор Михайлович тогда во время прогулки по городу, под только что распустившимися кронами знаменитых берлинских лип, щедро дарящих им ощущение весенней радости, вдруг заметил Анне Григорьевне, будто ее зимняя шляпка совсем не идет к обстановке, а дождь, в который они попали, и вовсе делает ее вид нелепым. Анна Григорьевна вспыхнула, успев крикнуть, что ежели ему, мол, стыдно с ней рядом, то лучше и вовсе расстаться, убежала от мужа, к неописуемому изумлению важных немецких обывателей, обрадованных неожиданному приключению. Когда она пришла домой, хозяйка сообщила, что Федор Михайлович недавно заходил и снова ушел, не сказав куда. И пока бежала, и особенно теперь, оказавшись одна в квартире, не зная, где муж и что думает о ней, чего только не передумала и не напридумала сама: и разлюбит он ее теперь, и правильно сделает, раз она такая дурная и капризная. Но если они разойдутся, она ни за что не вернется в Россию, потому что ей будет стыдно смотреть людям в глаза. Что она скажет его друзьям? Ведь они поверили в нее, а у нее оказалось такое злое сердце? Нет, уж лучше она останется здесь, в какой-нибудь не известной никому деревушке, и станет всю жизнь оплакивать свою ничем не

восполнимую потерю. Потом ей вдруг причудилось, что Федор Михайлович так оскорбился ее выходкой — в таком состоянии он на все способен, — возьмет да и бросится в Шпрее...

Когда он наконец пришел, Анна Григорьевна так обрадовалась, что бросилась к нему, смеясь и плача сразу, и тут же выложила ему все свои видения. Федор Михайлович вместе с ней начал смеяться, заявив, что нужно иметь слишком уж мало самолюбия, чтобы решиться утонуть в столь ничтожной речонке. Мир был восстановлен, и оба неизвестно от чего почувствовали вдруг себя невероятно счастливыми. Зато в Дрездене шляпку купили замечательную — из белой итальянской соломки с розами — и отправились в Дрезденскую картинную галерею, о которой муж уже столько рассказывал ей. Долго стоял он, не отводя глаз от лица Спасителя, перед картиной «Христос с монетой», или «Динарий Кесаря» Тициана, «Мария с младенцем» Мурильо, «Святая ночь» Корреджо, «Христос» Каррачи, «Охота» Рюисдаля... Особенно потрясал его воображение Клод Лоррен: в «Пейзаже с Асисом и Галатеей» виделось ему явленное воочию воспоминание о легендарном прошлом человечества, воспоминание, вселяющее веру в будущее: так было, так может быть и так будет — мирно ласкающееся море в закатных лучах, прекрасные свободные люди на берегу, всенаполненность благодатью покоя, чудо слиянности души и природы; называл для себя эту картину — «Золотой век».

Но ничего не потрясало его до самых оснований так, как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Образ Богоматери с младенцем на руках, словно парящей навстречу идущим к ней людям, ошеломил и Анну Григорьевну. Федор Михайлович стоял как бы зачарованный, будто перед его внутренним взором разверзлись вдруг бездны, непостижимые оку телесному духовные высоты, смотрел и не мог оторвать взгляда от полного света и скорби глубоко затаенного страдания Мадонны — матери, прозревшей грядущий сыну ее крестный путь. Вечная Матерь Человеческая с Младенцем у груди, противостоящая хаосу и сомнениям, вседозволенности, шаткости всех понятий, относительности добра и зла.

Да, только любя и страдая, может возвыситься художник до таких откровений в своих созданиях, только самопожертвованием дарит он людям радость возвышения от соприкосновения с явленным идеалом.

И сам он вновь ощущал всем существом своим признаки приближающейся писательской лихорадки.

А в остальном дрезденская жизнь его и Анны Григорьевны текла покойно и размеренно, без особых денежных забот и докучливости родственников; даже припадки, казалось, отступили от него, чтобы ничто не нарушало счастья, которое они вдруг так явственно наконец ощутили. Часа в три пополудни обычно шли в ресторан «Итальянская деревушка», представлявший собой крытую галерею, будто висевшую над самой Эльбой, заказывали свежеуловленную рыбу и белый рейнвейн, стоивший совсем дешево — 10 грошей за полубутылку. Федор Михайлович, владевший сносно немецким и прекрасно французским, прочитывал все имевшиеся здесь газеты, Анна Григорьевна предпочитала любоваться действительно чудными видами открывавшихся отсюда далей. Отдохнув часов до шести дома, шли пешком в великолепный дрезденский парк с его огромными, в английском духе лужайками. Вечерами здесь обычно играла музыка, иногда давали и серьезные концерты из любимых ими Моцарта и Бетховена. К десяти, как правило, были уже дома, пили чай, и Федор Михайлович усаживался за чтение новых и тех, что не смог прочитать в России, купленных уже здесь, в Германии, произведений Герцена, талант которого высоко ценил, и «Записок Дениса Давыдова». Анна Григорьевна принималась за свой дневник, испещренный недоступными его разумению стенографическими загогулинами. Часов в двенадцать, когда жена уже засыпала, Федор Михайлович, испросив у хозяйки самовар на ночь, садился писать давно обещанные и запроданные авансом воспоминания о Белинском. Прошлое наплывало, виделось то живо, словно вчера, то перемешивалось с новым, оспаривалось им, мысль никак не укладывалась, противоречила себе самой, рвалась... Благодарность, любовь к прежнему, живому Виссариону Григорьевичу не всегда находили в нем соответствующее продолжение в оценке Белинского для современной жизни. Вспомнилось, как Белинский ругал при нем Христа, а он не находил сил, чтоб оборвать, защитить. Оттого и злился теперь, и неприязнь к этому едва ли не единственному в его глазах «смертному греху» Белинского заставляла сомневаться, забывать на время о том светлом, непреходящем, о чем даже в каторге вспоминая, укреплялся духом. Во всяком случае,

работа не шла. Под утро засыпал неспокойным сном не удовлетворенного собой человека, просыпался сумрачный, иной раз даже пытался поворчать, а если что, то и побраниться, и только веселая беззаботность и детски заразительный смех по любому поводу Анны Григорьевны, понимавшей состояние мужа, успокаивали, понемногу настраивали на иной, дневной ритм жизни, и он уже и сам, глядишь, смеялся, весело распевая любимые свои песни и арии.

Бывало, конечно, и она сердилась на него, и тогда уж он будто радовался причине посердиться в ответ, но чаще ему становилось вдруг смешно самому от ее сердитости — так не вязалась она с ее характером. Называл ее злючкой, уверял, что ее для ее же пользы надобно бы кое-когда и посечь, да разве же посечешь — очень уж мила, и они довольные шли в ресторан обедать, где Федор Михайлович с самым серьезным видом начинал выговаривать хозяйке, будто им сегодня в бараньем соусе подали кошку, на что хозяйка, выпучив от изумления глаза, извинялась, и они шли на улицу, весело распевая тут же сочиненную ими песню о том, как «бедный Федя кошку съел».

Но однажды она по-настоящему обиделась на него, когда он получил письмо от Сусловой, начал читать, и она увидела, как дрогнули его губы: неужели он все еще любит *ту*, а на ней женился просто так, потому что она пошла за него? И ей вдруг представилось, будто эта особа уже приехала сюда и они даже тайно встречаются, и ей стало ужасно больно, и она почувствовала, поняла не умом одним, но всей страстью проснувшейся в ней женщины, что не может, не хочет, не должна потерять его.

После нелегкого примирения и начался их медовый месяц, и они впервые пребывали наконец в полной уверенности, что главные искушения, грозившие их любви и преданности друг другу, теперь-то уже позади. И хотя их все еще нередко принимали не за мужа с женой, но скорее за отца с дочерью, что, бывало, и сердило и забавляло Федора Михайловича, сам-то он ощущал себя помолодевшим вдруг на всю разницу их лет.

Впереди их ждали еще Швейцария и Италия, а их уже потянуло домой, в Россию, в родную суету. Но возвращаться пока опасались: там их ждали безденежье, кредиторы, угроза долговой тюрьмы. Он уже давно подумывал об этом, а в последние дни так просто бес замучил — и он наконец решился объявить жене, что съездит

в Гомбург еще раз, только разочек попытает судьбу на рулетке. В крайнем случае много не проиграет — теперь-то уж он не позволит себе никаких безумств, так что риска никакого. А в случае выигрыша — должен же он когда-то и выиграть, и тогда — подумать только! — свобода от долгов, кредиторов, можно будет наконец передохнуть от постоянной работы наспех... Анна Григорьевна не стала спорить, утром 18 мая, напоминая себе о благоразумии, он отправился в гомбургский игорный дом. К обеду успел проиграть чуть не все деньги, но потом отыграл и даже сверх того имел 100 гульденов, а к вечеру снова спустил большую часть суммы. Тут бы остановиться — не с его нервами играть спокойно, да где уж там: на следующий день сначала везло, но к обеду остался без копейки...

Анна Григорьевна не укорила ни словом, понимая состояние мужа, но денег от этого не прибавилось. Федор Михайлович, вернувшись в Дрезден, ходил мрачный, подавленный, оживлялся, только заговаривая о рулетке, — не давал покоя проигрыш, и не денежный даже, а тот — роковой, обидный. Пытался забыть, отделаться от наваждения, читал «Отверженных» Гюго, «Лавку древностей» Диккенса, ходили по вечерам с Анной Григорьевной слушать Бетховена и Вагнера, но кто-то услужливый, благожелательный нашептывал: сдался, мол, отступился, а может, все прежние мучения и поражения только для того и назначались, чтоб в приспевший миг собраться разом да и унести весь банк, а? Может, все-таки махнуть, ну хоть бы и в Баден? Только теперь уж вдвоем, а будет она рядом, и он не станет метаться, нервничать, и уж тогда невозможно не выиграть...

Анна Григорьевна сделала вид, что муж убедил ее, — знала его характер: все равно ведь не удержишь. И как только в конце июня Катков прислал аванс под несуществующий пока роман, они отправились в Баден. Через неделю все сожрала ненасытная рулетка. Пошли в заклад вещи, без которых с трудом, но можно было просуществовать, потом и те, без которых не мыслили себе жизни, и, наконец, Анна Григорьевна заложила брошь и серьги с бриллиантами — свадебный подарок мужа. Был момент, когда он вдруг выиграл сразу более четырех тысяч талеров, но в следующие два часа у него уже не осталось ничего.

Однажды, гуляя по парку, неожиданно встретили Гончарова, отдыхавшего в Бадене. Достоевский, видя, как сконфузился Иван Александрович, тут же понял — тоже

поигрывает. Узнав об их нужде — дай бог ему здоровья, милому человеку, — одолжил им 60 франков, намекнув при этом, что Федору Михайловичу стоило бы зайти к проживающему здесь Ивану Сергеевичу, поскольку тот полагает, будто Федор Михайлович не идет к нему только оттого, что не хочет вспомнить о старом висбаденском 67-го года долге — пятидесяти талерах...

Достоевский действительно не хотел видеть Тургенева — слишком оскорбил его последний роман Ивана Сергеевича «Дым». («Основная мысль этой книги — если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве», — заключил он по прочтении.) Пойдет теперь — непременно разругается с ним, а Тургенев решит еще, будто из-за денег.

Анне Григорьевне порою до отчаяния было больно за мужа: работает как вол, при его-то здоровье, и все равно весь в долгах, и чем дальше, тем безнадежнее, и вот еще эта постыдная, если разобраться честно, страстишка рулетная... Сначала, казалось, простительная — все-таки разрядка для постоянно напряженных нервов (в выигрыш она никогда не верила, тем более с его не ведающим черты *безудержем),* но теперь-то она ясно видела: это болезнь, мучительная, изнуряющая его, может, и пострашнее падучей, — ад, затянувший, заманивший искушением риска и призрачной победы, и, кажется, нет силы, способной спасти его, а сам уж не в силах остановиться. Сегодня проиграл и гончаровские франки... Каково-то ему сейчас? К Тургеневу вон все-таки пошел, вернется и вовсе расстроенный, не смолчит ведь — такой уж уродился...

Иногда Достоевские бродили в окрестностях Бадена, порой доходя до Старого замка, а то и до Эренбрейнштейна — верстах в восьми от города; пили здесь молоко или кофе, возвращались при закате солнца, совсем как в Диккенсовой «Лавке древностей»: сумасшедший старик и прелестная девочка около какого-то старинного готического собора, облитого теплом закатных лучей, и девочка смотрит с тихим, задумчивым созерцанием детской души, будто удивленной какой-то загадкой; и солнце для нее как мысль божия, а собор — как мысль человеческая... Ничто не любила она так, как эти уединенные прогулки с мужем, внезапные озарения его творческого духа; она даже молилась, чтоб деньги подольше не приходили, чтоб не

было больше сумеречного возбуждения рулетки, а только тишина и покой этих лесных троп, мирная беседа родных, все более срастающихся душ.

Катков выручил их и на этот раз, уплатив вперед за будущий роман. Какой? Даже начатого ничего нет. «Зато прочувствовалось и много кое-чего выдумалось, но черного на белом еще немного, — писал Аполлону Майкову... — Россия тоже отсюда выпуклее кажется... По письмам, которые переслал мне Паша (он только раз и писал мне), оказалось, что кредиторы подали ко взысканию, стало быть, возвращаться в Россию до уплаты нельзя... Жена почувствовала себя беременной. Денег нет... А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной штуку...»

Хотели ехать в Париж, но, рассчитав средства, решили отложить поездку до лучших времен, а пока отправились в Женеву. По дороге Федор Михайлович уговорил жену на день задержаться в Базеле, где в картинной галерее хранилось известное ему по описаниям и давно мучившее его сознание полотно Ганса Гольбейна-младшего «Труп Христа».

Это была страшная картина. Спаситель — и на кресте, и снятый с креста — по обычаю изображался всегда в покое и величии телесной красоты, как бы не тронутой смертными мучениями, не подверженной разрушительным законам разложения. Гольбейновский Христос перенес неимоверные страдания: израненный, иссеченный ударами стражников, в синяках и кровоподтеках — следах побиения каменьями, в ссадинах от падений под тяжестью креста. Глаза его полуоткрыты, но — и это, может быть, самое ужасное — в них мертвая остекленелость; губы судорожно застыли, словно в оборвавшемся на полуфразе стоне: «Господи! Отец мой, зачем ты оставил меня...»

Достоевский и сам будто окаменел перед жутким откровением образа; и вдруг его охватило ощущение, будто он снова в той каторжной бане...

Анна Григорьевна не выдержала, ушла в другие залы. Когда вернулась минут через 20, Федор Михайлович стоял, застывший на том же месте, в глазах его она увидела смятение и страх.

— От этой картины вера может погибнуть, — только и сказал он.

Потом уже, все еще взволнованный и подавленный, говорил:

— Когда смотришь на этот труп измученного человека, рождается страшный, особый вопрос: если такой точно труп — а он непременно должен был быть точно такой — видели все ученики его, его будущие апостолы, стоявшие у креста, веровавшие в него и обожавшие его, то как, каким образом могли поверить они, глядя на него, что тело этого мученика может воскреснуть?

Если так ужасна смерть и так сильны, неопровержимо-наглядно сильны законы природы, то где же их одолеть и какая непостижимая сила внушает веру в возможность их преодоления?

При взгляде на эту картину природа мерещится в виде какого-то исполинского, неумолимого и немого зверя или, вернее даже, гораздо вернее, хоть и странно думать так, в виде какой-то громадной слепой машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для проявления этого существа...

В чем же тогда он, высший смысл законов природы, по которым она с холодным безразличием отправляет даже единственное, неповторимейшее из своих созданий в бездну небытия своей темной утробы? Или действительно высший смысл именно в этой бессмысленности: и страсти духовные, муки совести, полет мысли, порывы творческого вдохновения, неколебимость веры не более чем чудовищная ухмылка над бедным человечеством, пустая игра воображения, чтобы хоть на краткий миг забыться, отвлечься от жуткой неминуемости этой последней правды, от этого вселенского, паучьи ненасытного бога — чрева? И пока не пришел твой черед идти на заклание, пока не выпал твой номер в этой бешеной круговерти слепого колеса всемирной рулетки — живи, человече, для своего маленького личного пуза, все тебе дозволено, ибо все только на мгновение, ибо вечно одно только это, бездонное, невообразимое чрево...

Анна Григорьевна ждала с минуты на минуту сильнейшего припадка у мужа, так он был возбужден, но, к счастью, этого не случилось, и они без приключений добрались до Женевы.

Подобрали довольно просторную квартиру на углу улицы Вильгельма Телля с видом на Рону и островок Жан-Жака Руссо. Хозяйки, две старые девицы, приняли их приветливо, взяв деньги за месяц вперед, так что в распоряжении странников на все остальные нужды осталось только 18 франков.

Ночами по установившемуся распорядку работал, днем заходил в кафе на улице Мон-Блан выпить чашку кофе и почитать поступавшие туда «Московские» и «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», французские и немецкие газеты, без которых, казалось, положительно не мог прожить и дня. «...Кстати, получаете ли вы хоть какие-нибудь газеты, — интересовался он в письме к любимой своей племяннице Сонечке Ивановой, — читайте, ради бога, нынче нельзя иначе; не для моды, а для того, что видимая связь всех дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее».

Газеты предрекали неизбежность столкновения Пруссии и Франции; Женева готовилась к конгрессу мира, на участие в котором уже дали согласие Гюго, Гарибальди, Герцен, Бакунин, Огарев, Луи Блан, Пьер Леру, Жюль Валлес и многие другие широко известные в политическом мире лица. Сама Женева все более становилась международным центром политической эмиграции. Достоевского волновало многое: и военные приготовления держав, и «страшно развившийся, как он писал в одном из писем к Аполлону Майкову, проклятый пролетарский западный вопрос», и деятельность Интернационала, или «интернационалки», как принято было называть его в русском газетном обиходе, и Манифест к крестьянству, принятый на Базельском конгрессе, — тут уж не утопии, тут конкретные программы.

В Женеве нынче осенью собралось немало русских эмигрантов, но ни с кем из них он не имел особого желания видеться. Даже с Герценом почему-то не хотелось. Узнав, однако, что здесь проживает сейчас и Николай Платонович Огарев, пошел к нему; они едва были знакомы, но Достоевский любил его поэтический талант и особенно запавшие в душу строчки:

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и мечтал,

Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...

Огарев тоже стал заходить к Достоевским, но, к сожалению, их встречи неожиданно прервались: он страдал тою же, что и Федор Михайлович, эпилепсией и однажды, возвращаясь на свою загородную виллу, неудачно упал во время припадка в придорожную канаву и сломал ногу. Пролежал один до утра, схватил тяжелую простуду, и друзья отправили его лечиться в Италию.

Были Достоевские и на заседаниях конгресса. Не из одного любопытства — впервые Федор Михайлович видел воочию многих из кумиров своей юности. Что же сегодня скажут они нового, к чему призовут мир? Он ждал их речей, волнуясь и тревожась: они представляли для него последнее слово современного социализма, лицо и направление революционной мысли. Нет, сегодня он уже не пошел бы на каторгу ради претворения в жизнь убеждений западных, да и своих, российских, социалистов. Но вовсе не оттого, что сломился и присмирел, — нет. Ему и сегодня дороги увлечения его юности, он никогда не сожалел о них, но он больше в них не верил. Не верил, потому что был глубоко убежден: ни к чему, кроме хаоса, пролитой крови, новых несчастий миллионов людей, эти идеи не приведут. И все-таки лучше не отмахиваться от них заранее, нужно послушать самому, и, как знать, может быть, новые лозунги социального переустройства мира окажутся теперь не столь уж несовместными с его собственными упованиями на преображение лика мира сего?

Но, когда ораторы один за другим объявили главным врагом человечества христианство, даже слабые надежды на понимание резко сменились в нем раздражительным неприятием всего того, что говорилось и делалось на конгрессе. Он слушал эти призывы к уничтожению крупных государств — в первую очередь, конечно же, России, затем Франции и Пруссии — и установлению на их месте Соединенных штатов Европы — федерации провинций, областей, земель; слушал эти лозунги об отмене принципа национальностей, введении принудительного обобществления: никакой собственности, все принадлежит всем и каждый принадлежит каждому. Для установления всеобщего мирового порядка, пророчествовали ораторы, необходима неизбежная, страшная мировая война, необходимо разрушение самого принципа государственности, разрушение путем кровавых бунтов, на которые необходимо поднимать весь преступный, нищий, каторжный, деклассированный, денационализированный мир. Другого пути нет и не может быть — все позволено во имя разрушения старого мира *.

Подавленный уходил Достоевский с заседаний конгресса. Так вот что замышляется — этакая пугачевщина, вселенская кровавая смута, «бунт бессмысленный и беспощадный». Ему уже чудились разгул всеразрушающей смерти, торжество грядущей погибели, и все — во имя отрицания духа, высших нравственных потребностей человечества?.. Нет, если уж это и есть социализм, то им не по пути. Нет, ничто не способно поколебать в нем веру в будущую социальную гармонию, во всеобщее равенство, в воплощенную в жизнь извечную мечту человечества о золотом веке, торжестве правды, добра, красоты, когда не будет ни бедных, ни богатых, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, ни кучки образованных, ни миллионов безграмотных — придет, придет такое время! Но он уж лучше теперь станет называть его не социализмом, а братством, идею которого должна выдвинуть в ответ Западу Россия: придет, придет эта идея в мир из России, убеждал он себя, и победит мир не огнем и мечом, но духом.

— Но где те основы, на которых бы люди самых разных вер, народностей, направлений могли бы сойтись, понять друг друга и братски соединиться?

Или это только мечта? А если не только мечта? Не безобразие разрушения, но красота соединения — вот что необходимо страдающей, химически разлагающейся душе человеческой. Красота спасет мир...

Красота спасет мир. Но откуда взяться красоте, ежели в самом тебе еще столько темных, безобразных мыслей, сомнений, порывов? В чем отыскать эту спаситель-

* Как известно, вожди революционного пролетариата К. Маркс и Ф. Энгельс отказались от участия в этом, по существу, левацко-анархическом по содержанию, не имевшем ничего общего с теорией марксизма конгрессе и не однажды решительно заявляли о своем принципиальном неприятии его лозунгов и основных положений. «Я удивлен..., — писал, например, К. Маркс О. Верморелю, — тем, что Вы приветствуете Лигу мира. Ведь это же (я имею в виду Конгресс мира) — трусость в действии. Пусть они протестуют в Берлине и Париже, а если они слишком трусливы для этого, то пусть не обманывают публику двусмысленными, бесплодными и высокопарными демонстрациями»; «Ты знаешь, — писал он же Ф. Энгельсу, — что я высказался в Генеральном Совете против присоединения к болтунам...»

пую красоту, на что указать людям, если уж хочешь ее проповедовать?

Красота покидает мир, торжествуй, желудок, ибо — царствие твое...

Анна Григорьевна чувствовала, что с ним творится нечто, грозящее катастрофой, и не знала, чем помочь, чем успокоить его. А тут еще задули в Женеве изнурительные осенние ветра, погода менялась по нескольку раз за день, работать Федор Михайлович не мог и откровенно хандрил. Минуты крайнего нервного возбуждения внезапно сменялись затяжными приступами подавленности — нужно было что-то делать решительное, но порой даже ее участие приводило к ссорам, так что, бывало, они успевали и в один день не раз договориться до необходимости и желательности для обоих развода. Да и старушки девицы принялись донимать допросами: что у них происходит? Слышали не однажды странный грохот в их комнатах (Достоевскому действительно случалось и падать на пол во время припадков), Анна Григорьевна уверяла, что все в порядке, и тем вгоняла хозяек в еще больший страх.

Федор Михайлович — чувство юмора иной раз не покидало его даже и в такие мрачные периоды — говорил:

— Вот съедем с квартиры, то-то наши старушки почешут языки: жили, мол, у них русские — молодая интересная особа, всегда такая веселая, и старый идиот, такой злой, такой злой, что, знаете, даже с постели падал на пол и делал это назло — такой злой и вредный был...

Договорились заранее: если будет дочь, назовут Сонечкой: он — в честь любимой племянницы, она — любимой своей «вечной» Сонечки Мармеладовой; а если мальчик — Михаилом, в память брата. Временами его заботы о жене доходили до чрезмерности, но и они умиляли Анну Григорьевну: он даже спрятал от нее «Войну и мир» Толстого, чтоб она не прочитала впечатляющую сцену смерти при родах маленькой княгини Болконской. Он вообще ревниво следил за ее чтением и ворчал, если видел в ее руках какую-нибудь пустую книжонку. Такая опека обижала Анну Григорьевну:

— Зачем же сам их читаешь? Зачем сам грязнишь свое воображение?

— Я человек закаленный, — убеждал он ее, — иные книги мне нужны как материал для работы. Писатель должен знать все и сам многое испытать. Но, уверяю тебя, я никогда не смакую циничных сцен, и они вызывают у меня отвращение.

Она знала, что это не фраза. Не пускал он ее и в оперетку, которую считал воплощением современной буржуазной пошлости. Но она и сама предпочитала серьезные пьесы.

Однажды она проснулась и увидела: он стоит около ее постели на коленях и тихо, чтобы не потревожить, целует ее. И она поняла сердцем: и его болезненная мнительность, и его речи о разводе, и вспыльчивая раздражительность — из одного источника — все еще мучающей его, тщательно скрываемой от нее неуверенности и в себе, и в прочности ее к нему любви. Он просто боится потерять ее.

Однажды он сказал:

— Знаешь, вот для таких, как ты, и приходил Христос...

Вечером она брала свою тетрадь и записывала в нее стенографическими, недоступными ему каракулями: «...Как я бы была счастлива, если бы мне удалось хоть сколько-нибудь украсить его жизнь. У него так было мало радостного в жизни, что хоть под конец-то ему было бы хорошо. А я уверена, что если он будет меня любить, то я нисколько не изменюсь к нему, да даже если он меня и разлюбит, то вряд ли я переменюсь...»

Достоевский понемногу набрасывал план нового романа, в котором надеялся наглядно показать причины, формы и результаты духовного растления человека. Роман решил назвать «Идиот», потому что главный герой его и виделся ему внешне красавцем, но нравственным Квазимодо, духовным выродком, идеологом современного сознания: «Бога нет, и, стало быть, все позволено, а потому: я — бог». Да, у него, пожалуй, даже и будет жажда и красоты, и веры, но какой красоты и веры во что? «И бесы веруют и трепещут», — записывает он коренные идеи. «Главная и основная мысль романа, для которой все: та, что он до такой степени горд, что не может не считать себя богом, и до того вместе с тем себя не уважает (до того ясно себя анализирует, что не может бесконечно и до неправды — усиленно не презирать себя). На будущее — расчет: буду банкиром, — проясни-

вает идеал «Идиота» Достоевский, — буду Царем Иудейским, и буду всех держать под ногами и в цепях. Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте — вот что только и можно по-моему, по моей натуре». Но если уж умереть, то, конечно, с твердой гарантией навечного, слепого и безусловного поклонения человечества ему, новому идолу.

Записей, набросков накопилось уже немало, но дальше работа не шла: идеи словно не желали облечься в живые образы, а главный герой, прорисовывающийся в его воображении, иной раз ухмылялся вглядывающемуся в него создателю, вполне отчетливо напоминая ему Раскольникова. Но писать новый вариант «Преступления и наказания» Достоевский не собирался. Он ощутил себя в творческом тупике.

И однажды набросился, будто в них-то и видел главного своего врага и мучителя, на черновики «Идиота» и чуть не с наслаждением уничтожил, так что бедная Анна Григорьевна только и успела, что всплеснуть руками да расплакаться.

Между тем близился срок родин. Решили перебраться на новое место, поближе к центру Женевы, чтобы и врачи, когда потребуются, были поближе. Нашли удобную квартиру на улице Мон-Блан с видом хоть и на англиканскую, но все же церковь. Здесь в 10.30 вечера по местному времени, а значит — в 12 по московскому, они чокнулись чашками крепкого чаю — так одни, казалось им, на всем белом свете и встретили новый, 68-й год.

Сожжение первой редакции «Идиота» не принесло успокоения. Достоевский пытался разгадать причину неудачи своего замысла. Конечно, в наш век, думалось ему, негодяй, отвергающий благородство, всегда сильнее, ибо его отрицание имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле. А истинно благородный — он ведь всегда идеалист — имеет ныне, в наш рациональный, практический век, вид шута, дурака, блаженного. Вот он-то и есть в известном смысле идиот. Да большинству, нашему-то российскому пошлому большинству образованного сословия, презирающему идеализм и помешавшемуся на «здравом смысле», даже выгодно и разумно почитать благородного человека идиотом, ибо на дурака-то русского и вся их надежда: от него отталкивание и отсчет: он — дурак, они-то, стало быть, умные; он — идиот, стало быть, они-то — нормальные. Явись хоть сам Христос им сейчас в телесном виде — так и он сам за дурака и идиота тотчас прослывет, и даже самые что ни на есть ревностные соблюдатели церковных обрядов потребуют, как верные христиане, отправить его к какому-нибудь участковому пилату.

Как это сказано-то? «И он пришел в мир, и мир не узнал Его...» А что, если это — идея? И Идиот — благородный, истинно прекрасный человек, только откуда взяться-то ему в наш просвещенный век? Чудом сохранившийся, возьмет да и явится людям, приедет в Петербург, хоть из той же Швейцарии, — здесь, рядом где-нибудь, с детства раннего увезенный, прожил в горах этих прекрасных, среди красоты, книг разных начитался, «Дон-Кихотом» бредил и вдруг, во всей своей наивности, да в Петербург, а?

Его давно уже тревожила мысль — попытаться сотворить образ прекрасного человека.

И вот он уже признается в письме Аполлону Майкову:

«Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная, и я к ней не приготовлен, хотя... я люблю ее. Идея эта — *изобразить вполне прекрасного человека.* Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно... Роман называется «Идиот»...»

И, конечно же, не мог не поделиться радостью нового горения и с любимой племянницей Сонечкой: «Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительного прекрасного — всегда пасовали. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос... Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пикквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон-Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан тоже сильная попытка, но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастию и несправедливости к нему общества. У меня ничего нет подобного, ничего реши-

тельно и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача...»

Ему мечтался герой исключительный, чистый до наивности, современный Дон-Кихот, пушкинский Рыцарь Бедный, но такой, чтобы в нем выразилась и вся красота русской души, русской возрождающей мысли, побеждающей неверие в себя, ибо не то что в Европе, и в самой России даже и люди высокого ума, любители поговорить об этой самой русской душе, тут же с восторгом кивают на Запад, не хотят понять правды. «Немцы, дескать, порох выдумали и философию, а мы, мол, чем можем похвалиться перед человечеством?» — сомневается даже и Николай Николаевич Страхов. Да, они и просвещение изобрели, и цивилизацию двинули, выработали формы общежития на века, а мы? Мы в это время великую нацию вырабатываем, Азию остановили ценой бесконечных страданий, все сумели перенести, но не потеряли русской мысли о вселенском братстве, которая мир обновит...

Но это все идеи, идеи, для романа же необходима действительность, даже подробности текущей действительности, а тут и действительность — швейцарская... И снова такая тоска по России накатывала, что ничто уже не радовало. Разве только ожидающееся со дня на день явление первенца. Когда у жены начались первые схватки, Федор Михайлович так переволновался, что с ним приключился припадок, правда, не глубокий, так что под утро 22 марта Анна Григорьевна вынуждена была разбудить впавшего в забытье мужа, и тот, сразу пришедши в себя, быстро оделся и убежал в темноту. Служанка, однако, ни за что не соглашалась разбудить барыню, госпожу акушерку ранее чем часов через семь-восемь, так как та только что вернулась из гостей. Взволнованный, раздраженный Федор Михайлович всерьез пригрозил выбить в доме все окна, ежели мадам откажется выполнить свои обязанности, к тому же оплаченные заранее.

Мадам не решилась не посчитаться с угрозой и последовала за несносным клиентом, высказывая дорогой свое крайнее неудовольствие и повторяя время от времени: «Ох уж эти русские!» Увидев, однако, какое обилие сладостей, закусок и дорогих вин приготовил для нее этот русский, она, кажется, вполне и сразу утешилась. Когда же его вытолкали из комнаты Анны Григорьевны и он услышал, как за ним закрыли дверь на ключ, Федор Михайлович вдруг почувствовал такое волнение, что невольно опустился на колени и начал истово молиться, пока

его не привел в сознание пронзительный, незнакомый, но уже родной крик, и он начал ломиться в закрытую дверь.

— Ох уж эти русские! — только и повторяла акушерка, умильно поглядывая на счастливого отца, целующего сморщенное красное личико дочки, Сонечки, и то и дело обращающегося к ослабевшей, но пытающейся улыбаться жене: «Аня, ну погляди же, какая она у нас хорошенькая!»

В начале мая девочку окрестили. Крестными были Анна Николаевна Сниткина, мать Анны Григорьевны, приехавшая в Женеву помочь молодым родителям, и старый друг — Аполлон Николаевич Майков. Просыпался молодой отец — первый вопрос: что Сонечка? Как спала? Словно ей что-нибудь грозило поминутно. Но он так ждал ее, так верил, что ему когда-нибудь все-таки улыбнется счастье держать в руках собственное дитя, и так было уже изверился, что теперь все казалось: вдруг судьба накажет его за это неположенное ему счастье. Нет, уж если ему суждено страдать всю жизнь, то пусть ему, но не этому бесконечно милому, беззащитно-невинному отросточку его жизни.

Герою нового своего романа решил он дать имя — князь Мышкин: были такие князья старинного захудалого рода — сам встречал в одной геральдической книге. А вот почему Лев Николаевич? — Трудно сказать, хотя случайных, ни с чем не связанных имен он не терпел. Может быть, виновник Толстой Лев Николаевич? — думал о нем в последнее время чуть не постоянно. Разволновал он еще своим «Детством. Отрочеством. Юностью», а теперь вот совсем захватил и потряс «Войной и миром», и так захотелось хоть что-нибудь узнать о нем, живом, о человеке, чем мучается, на что надеется, во что верит, сам каков?

Это уже потом он придумал начало: «...В одном из вагонов третьего класса, на рассвете, очутились друг против друга два пассажира — оба люди молодые. Один почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Сосед очень белокур, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные...» Но началось все с иного: однажды вдруг, казалось, ни с того ни с сего явилась ему картина: два человека, светлый и темный, лежат, обнявшись как братья, и светлый

что-то шепчет, будто утешает другого, а рядом — в черном бархате гроб, и в нем редкой красоты женщина, словно сама красота мира сего во плоти, погубленная, зарезанная, может быть, даже тем, черным бородатым, обезумевшим от страсти к ней, и над ними из сумеречной, мертвенной тишины низкой широкой комнаты глядит с полотна чей-то полузакатившийся глаз, глядит на них остекленелым, невидящим взглядом, и, кажется, чьи-то губы никак не могут превозмочь немоты, чтобы докричать, дохрипеть какое-то последнее жуткое откровение...

Он еще не знал тогда, кого обнимает как брата его положительно-прекрасный герой и кто та женщина в гробу, но уже понял: одним главным героем теперь не обойтись, ибо где свет, там тень света — тьма, между светлым духом Мышкина и темной слепой страстью Рогожина (он назовет чернобородого Рогожиным: были такие купцы, из сектантов-скопцов) мучительно мечется и не знает, кому вправе отдать себя, кому суждена, словно оба имеют на нее равные права и к обоим равно рвется, разрывается ее существо, будто раздваиваясь между светом и тьмой, духом и похотью, жизнью и смертью. И борются они за обладание этой красотой земною, один с состраданием, другой — с беспощадностью, и вот — нет ее, мертва, и мир мертвеет без красоты, покинувшей его.

Но зачем обнялись они как братья у трупа погубленной красоты? Он и сам пока не знал еще ответа на этот искушающий его сознание вопрос.

И тогда — в который уже раз! — потянуло его к рулетке. И снова проигрался, был день — даже кольцо обручальное отдал в заклад, но в конце концов хоть его-то удалось отыграть. Анна Григорьевна заложила вещи, выслала необходимые для его возвращения 100 франков. Встретила мужа без единого упрека, да и сам он был в каком-то еще непонятном ей состоянии, словно произошло с ним нечто до оснований потрясшее его душу. Во всяком случае, хоть он и раз сто уже убеждал ее, будто с рулеткой покончено навсегда, и каждый раз мучился и досадовал на себя и на нее за то, что все равно ему придется преступать очередную клятву, когда он в этот раз спокойно сказал ей, что проклятый мираж больше не властен над ним, она сразу поняла: он внутренне будто обновился и преодолеет в себе игрока.

Теперь все его время распределялось между работой над «Идиотом» и Сонечкой, которую они каждый день — благо май стоял теплый, хоть и страшно ветреный, — вывозили часа на два-три в парк, где она спала в своей коляске, а они, счастливые, загадывали о ее будущем, спорили и смеялись, закрывая рты руками, чтобы не потревожить ее сон. Однажды Сонечка ночью закашляла, видно, все-таки простыла на ветру, у нее даже поднялась температура, так что пришлось вызвать детского врача, и, конечно, лучшего в Женеве, потому что иному отец просто не доверил бы свое сокровище. Врач утешил родителей, уверив, что причин для беспокойства нет никаких, а в следующий приход уже нашел, что состояние девочки значительно лучше. Однако Федор Михайлович отчего-то тревожился и почти не отходил от ее кроватки. Днем 12 мая ее ручки вдруг начали холодеть, и она внезапно скончалась на руках едва не умершего вслед за ней от отчаяния отца. Врач, находившийся подле, ничем не сумел ей помочь...

«Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвою нашу милую дочку, — писала Анна Григорьевна. — Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал, как женщина, стоя перед остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя... На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел...»

Ее похоронили на кладбище Plain Palais, в отделении для погребения младенцев; обсадили могилку кипарисами, поставили белый мраморный крест.

«...Ох, Аполлон Николаевич, — писал он Майкову, — пусть, пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней в письмах моих многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я, но Вам, Вам я не боюсь писать. Это маленькое трехмесячное создание, такое бледное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят утешение, что у меня еще бу-

дут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива? Но, впрочем, оставим это, жена плачет...»

А через несколько дней вновь, не находя себе места, пишет ему же: «Есть минуты, которых выносить нельзя. Она уже меня знала, она, когда я, в день смерти ее, уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду; мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет и что я ее никогда не увижу.

Другое несчастье мое — состояние Анны Григорьевны... судьба уж как заладит преследовать, так уж со всех концов...»

Анна Григорьевна действительно сделалась совсем плоха от отчаяния, и Федору Михайловичу с большим трудом, но все-таки удалось уговорить ее переехать из Женевы, где все напоминало им теперь о невозвратимости потери, в небольшое местечко Веве, почти деревеньку, на другой стороне Женевского озера.

3. Красота спасет мир

Жить стало невыносимо, но жить было нужно, и не только жить, но и заканчивать начатый роман, хотя сама мысль об этом представлялась ему теперь кощунственной: что значат все его слова перед лицом смерти одного только маленького, бесконечно дорогого ему существа?

Сказано: «Бог утаил от премудрых и разумных то, что открыл младенцам». Будет размышлять об этом и его князь Мышкин — земной «Христос» («князь» — «Христос» — еще и еще раз напоминает себе Достоевский в записках к роману). Нет, в самом романе он нигде не назовет его так, но даст своему герою не раз проговориться об осознании им своей миссии. «Теперь я к людям иду», — будет думать князь, почти что буквально повторяя многие из изречений вероучителя. Но в еще большей мере отдаст ему Достоевский и свои собственные заветнейшие убеждения и, конечно, о детях в первую очередь: теперь он постоянно думал о них и был убежден: через детей душа лечится — ведь дети (об этом знал уже и его Раскольников) — образ Христов: «Сих есть царствие божие. Он велел их чтить и любить, они — будущее человечество...» Но могут ли дети оставаться детьми в мире зла, отчаяния, несправедливости? Пожалуй, он сделает своего Мышкина взрослым ребенком, сохранившим детскую невинность восприятия мира.

Но роман требовал не одних только общих, пусть и страстно пережитых идей, — нужны были живые факты действительности, повседневности, а он ощущал себя в отрыве от родной почвы. «Точно рыба без воды» — так и писал Майкову. Одна подпора — газеты да еще отлежавшаяся в памяти жизнь России и его собственная жизнь, конечно. Нет, как и всегда, он оставался чужд мысли писать героя с себя самого, но Мышкин, каким он ему предугадался, все-таки очень уж близок ему по духу, и потому многое из собственного пережитого, перечувствованного, перевиденного, представлялось ему, окажется не чуждым князю Мышкину.

Приехав в Россию, герой попадает в дом генерала Епанчина, душевно сближается с его супругой Елизаветой Прокофьевной и тремя их дочерьми, особенно с Аглаей, которая в ходе работы над романом все более вбирала в себя черты Анюты, Анны Корвин-Круковской, так же как Елизавета Прокофьевна — черты матери Анюты — генеральши Елизаветы Федоровны. Постепенно в рассказах Мышкина, в его жестах, в его манере говорить, держаться, наконец, в самом содержании его бесед с женой и дочерьми генерала Епанчина определенно зазвучали впечатления самого Достоевского от пребывания в семье Корвин-Круковских. Сам князь Мышкин, правда, не может рассказать, как некогда Достоевский, о переживании смертного приговора, но зато Лев Николаевич знаком с «одним человеком», который стоял на эшафоте и потому может пережить то же состояние по закону сострадания. Даже и своей болезнью, эпилепсией, решил наделить он героя — и вовсе не ради внешнего сходства с собой и не затем, чтобы оттенить болезненную особость князя, выделяющую его из среды окружающих его «нормальных» людей. Нет, в самой своей болезни Достоевскому виделась не патология, но нечто даже символичное: состояние его личности как будто сосредоточило в себе, как в нервном узле, состояние всего мира.

Да, весь мир теперь будто в припадке, в конвульсиях страшной болезни, но и сама эта болезнь обостряет сознание, сосредоточивает его на сопротивлении состоянию

упадка, отсутствие красоты удесятеряет потребность в ней человечества, господство безобразия в конце концов рождает жажду переустройства мира на новых началах, дающих ему новый же, более достойный человека образ.

Так и в его личной болезни: «...среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения... Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины...»

«Да, за этот момент можно отдать всю жизнь», — думает и князь Мышкин, потому что по опыту знает: такие мгновения ценой последующих мучений все-таки вместе с тем дают «неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни».

Катастрофические эпохи — Достоевский постоянно носил в себе это ощущение, — эпохи Клеопатр и Неронов, времена вседозволенности и крушения нравственных оснований общества, эти же эпохи становились и временами пророков и подвижников, мучеников новой просветляющей идеи, — вот из таких-то идеологов апокалипсического XIX века и его герой духа, князь Мышкин, явившийся в самый фантастический город, Петербург, объявить людям открывшуюся ему истину: «Красотою мир спасется».

И пошла гулять о нем молва — разве и самому Достоевскому не случилось слышать о себе того же рода мнений — чудак, юродивый, дурачок, пентюх, идиот... Ну как же не идиот? «Красота спасет мир!»

И вот князь впервые видит Настасью Филипповну.

«Настасья Филипповна, — заносит Достоевский в записную книжку идею образа, которому предстоит развернуться в романе, — красота и беспорядок...» Это еще и исстрадавшаяся в безлюбовно-бессочувственном мире красота, тронутая растлением, готовая «лизнуть крови».

Закончив диктовку очередной главы, Федор Михайлович тут же садился за разработку планов следующих частей. Анна Григорьевна переписывала набело завершенные, и они спешили на почту — отправляли роман в «Русский вестник», где он уже начал публиковаться. С нетерпением ждал Достоевский первых откликов. Вечерами гуляли у

Женевского озера, у Федора Михайловича, как никогда, разбаливались зубы, и он всерьез убеждал жену: ну что ты смеешься, я сам читал об этом в очень даже ученой книжке — Женевское озеро обладает свойством вызывать зубную боль. Анна Григорьевна догадывалась: мужу надоела Швейцария, нужно сменить обстановку.

В сентябре они переехали в Милан, а в ноябре — во Флоренцию.

Работали без отдыха: роман по условиям журнала необходимо было завершить к концу 68-го года.

И как же не метаться красоте, если дух и плоть разъяты будто для какого-то страшного всемирного, невиданного по размаху ритуала?

Он уже ясно видел исход: не спасти Мышкину, рыцарю бедному, Дон-Кихоту XIX века, Настасьи Филипповны, и ему, как и мечтателю из давней, почти юношеской «Хозяйки», не будет дано это. Ни духу почти бестелесного Мышкина, ни темной рогожинской страсти не может отдать себя всю, не раздвоившись, не погибнув, красота этого мира, воплотившаяся для обоих столь пороковому противоположно в этой женщине. И будет глядеть на них своим безучастным остекленелым оком другой разлагающийся труп — с копии Ганса Гольбейна-младшего... Но не скоро еще будет это, и все-таки будет, будет, — мечталось ему, с этой страстной мечтой и завершал роман, — хоть и много еще искушений и страданий предстоит перетащить человеку, но откроются его вежды, и он узрит наконец истинный лик мира сего, ибо стекленеет человек под остекленелым взглядом мертвеца, лжеидеала.

Но как-то еще встретят роман? Поймут ли идею, примут ли? Не сочтут ли роман слишком уж фантастичным — вон и Аполлон Николаевич еще в марте писал: «Ужасно много силы, гениальные молнии, но во всем действии более возможности и правдоподобия, нежели истины. Все как бы живут в фантастическом мире. Читается запоем, и в то же время — не верится. Но сколько силы!..» Откликнулся и Страхов, с восторгом даже писавший о прекрасной мысли романа — мудрости, открытой младенческой душе князя Мышкина, недоступной для «мудрых и разумных», грозился написать и статью об «Идиоте», но, кажется, с выполнением обещания не торопился, а потом как будто и вовсе забыл о нем. Хотя не прямо, окольно — как это он умел делать — о романе все-таки отозвался и публично, в статье о «Войне и мире»:

эпопея Толстого противопоставлялась здесь произведениям с запутанными сюжетами, с описанием грязных и ужасных сцен, страшных душевных мук.

Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» свел всю критику к фельетону. Назвав роман «неудачнейшим» из всего написанного Достоевским, он заключил: герои «Идиота» «суть чистейшие плоды субъективной фантазии романиста... разумеется, приходится только сожалеть о несчастном настроении этой фантазии».

Однако большинство газет свидетельствовало об огромном успехе нового романа у читателей, и это главное, что по-настоящему радовало Достоевского. Совершенно не склонный к преувеличению сделанного, он и сам переживал глубоко, что «не выразил и 10-й доли того, что... хотел выразить», — как писал Софье Ивановой. Но и решительно восставал против попыток, пусть даже и вполне дружеских, своротить его с того пути, по которому — он убежден был в этом — идти ему предназначено свыше самой его судьбой:

«Ах, друг мой! — отвечает он на упреки Майкова. — Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! Между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает... Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось...»

И Страхову: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим... то для меня иногда составляет самую сущность действительности. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они — *факты*. Кто же будет их замечать, их разъяснять?.. Неужели фантастичный мой Идиот не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры... Я не за роман, а я за идею мою стою. Напишите, напишите мне Ваше мнение, и как можно откровеннее. Чем больше Вы обругаете, тем больше я оценю Вашу искренность...»

«Я за идею мою стою...» Да разве же высказать ее всю в одном романе, — пока писал «Идиота», в голове сложился новый замысел: поэма-притча «Атеизм» в форме романа — может быть, здесь и удастся высказать мысль вполне, но для этого нужно быть в России, непременно видеть и слышать русскую жизнь; больше участвовать в ней непосредственно. Нет, это будет не обличение нравов. Тут вся духовная история человечества должна вместиться в поэму, вся суть средневековой цивилизации в главных ее узловых моментах, и Россия как исход: явить нового, незнаемого еще миром, Русского Христа — вот призвание, вот предназначение поэмы. О, как нужны сейчас великие национальные книги, могущие послужить к возрождению русского человека! «В литературном деле моем, — признавался он в письме к племяннице Сонечке, — есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда — и не в достижении славы и денег, а в достижении выполнения синтеза моей художественной и поэтической идеи, то есть в желании высказаться в чем-нибудь вполне, прежде чем я умру. Здесь же я этого не могу и поэтому должен писать другое. Все это делает мне все дальше и дальше жизнь за границей неспокойною... мне Россия нужна; без России последние силенки и талантишко потеряю. Я это чувствую». Вот кабы «Идиот» разошелся, чтоб расплатиться с самыми кабальными долгами, — ни дня, ни часу не остался бы здесь. Хотя жилось им во Флоренции и неплохо. Удивительный город — кажется, никогда он не спит: часов до четырех утра, всю ночь, поет и пляшет, а уже к пяти начинается его рыночный гомон. Болезненно нервного Федора Михайловича заботил теперь, правда, не собственный покой и даже не почти полная непригодность таких условий для работы — Анна Григорьевна плохо спала под крики, а она снова беременна, вот уж и восьмой месяц, как понесла. Как-то оно еще все сложится на этот раз...

Жили покойно, хозяева почти не беспокоили их, но однажды — какой вдруг поднялся переполох! В их спальню неожиданно с криками ворвались обе служанки во главе с самой хозяйкой и начали отодвигать стулья, заглядывать под стол, под кровать — оказалось, в комнату (они только что видели это своими собственными глазами) вбежала Piccola bestia — ядовитый паук, тарантул. Искали в постели, в бельевом шкафу — безрезультатно.

Одна только мысль о том, что где-то здесь, рядом с тобой, может быть, и совсем рядом, невидимая тебе, но видящая тебя, ночует эта маленькая омерзительная тварь, вызывала чувство гадливости, и в самом деле — ваша жизнь, жизнь любимого человека, судьба еще не родившегося, только готовящегося к жизни существа, зависят сейчас от инстинктов или даже не поддающихся логике человеческого сознания капризов мелкой, но ядовитой гадины.

Между тем приближался срок родин Анны Григорьевны, и нужно было подумать о переезде на новое место, где можно было бы свободно объясниться по-немецки или французски, так как итальянским ни Федор Михайлович, ни Анна Григорьевна не владели. Достоевскому пришлась по душе мысль о Праге.

После десятисуточного путешествия добрались наконец до города, будто возникшего из детской сказки о принцессах и чудесных замках, — Прага. Увы, меблированные комнаты сдавались здесь только одиноким, люди же семейные должны были снимать квартиры, которые еще нужно было обставлять мебелью, пришлось бы обзаводиться целым хозяйством, бельем, посудой — мало ли что потребуется, тем более имея в виду скорое появление малыша, а откуда взять средства на все это? Так что, как ни печально, но пришлось оставить мечты о Праге, о возможности сближения с деятелями движения славянского возрождения и отправляться в прежние обжитые уже ими места — в Дрезден.

Здесь 14 сентября 1869 года и родилась их вторая дочь — назвали ее Любовью. «...Все обошлось благополучно, — писал Федор Михайлович Майкову, — и ребенок большой, здоровый и красавица». Красавице, правда, было всего три дня, но отец переживает событие восторженно, даже убежденного холостяка Страхова корит: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом три четвертых счастья жизненного, а в остальном разве — одна четверть». Хлопот, конечно, прибавилось, но многие из них как раз и доставляли главную радость: выкупать, убаюкать на руках свое маленькое создание, родное дитя; Анна Григорьевна видела, что наконец снова подарила мужу настоящее счастье.

Тревожные вести несли из России русские и особенно немецкие газеты: смутно передавались слухи о будто бы зреющей в подспуде общества революции, о покрытой сетью тайных обществ стране, готовящейся к взрыву, о брожении умов, шатании нравственных устоев. В середине октября приехавший на каникулы в Дрезден брат Анны Григорьевны, студент Московской сельскохозяйственной академии, подтвердил многие из слухов, во всяком случае, касающихся студенческой среды. Тем решительней вставала необходимость вернуться в Россию — видеть все своими глазами, на слухах-то далеко не уедешь. А тут еще дочитал наконец «Войну и мир» — возбудился до крайности: сам ведь подумывал о поэме в форме романа, а тут вон она, уже создана, и гениально. Чувствовал в Толстом единственного, пожалуй, в современной литературе достойного соперника-соревнователя. И все же толстовская эпопея воссоздает жизнь отошедшую — ныне совсем иная жизнь, кто дерзнет на поэму о настоящем и в формах, соответствующих законам и духу новой действительности? Нет, тут не героическое прошлое, тут современный хаос; не отлежавшиеся, гармонизированные формы минувшего воссоздавать и противопоставлять их хаосу настоящего потребно, но в самом этом хаосе и разложении прозревать зародыши нового созидания — вот что сейчас главное для художника. Хватит ли только сил на то и таланта?.. Может, «Атеизм» и решит такую задачу? Чем больше думал о новом, не дающем покоя замысле, тем более убеждался — нереален, да и не совсем его: идея «Атеизма», как он мыслился, требовала скорее исторической эпопеи, а он всегда ощущал историю не столько длящейся, сколько собранной в тугой узел современности: здесь и все прошлое, здесь и будущее, как хлеб в зерне, как дуб в желуде — в каждом мгновении сосредоточена вечность, нужно только угадать, узреть ее.

Теперь замысел «Атеизма» виделся ему несколько иначе: всю историю человечества представить как историю человека, историю его духовных борений, исканий, падений, бездн, неверия, отрицаний и возрождения души человеческой. Всю жизнь будет мучиться главным вопросом, главной тайной бытия — вопросом, который измучивал и самого Достоевского: есть Бог или нет? Отсюда ответы и на все другие вопросы — и о смысле жизни, и о назначении человека на земле, и о всех ценностях, и о природе совести... Он проведет героя от рождения, от ангельской невинности, первозданной младенческой гармонии внутреннего мира до первых искушений сердца, сознания и тела, через страсти, все формы соблазнов жизни, через разврат, наконец, через чудовищные уклонения сознания,

книжные мечты и высокомерие, доходящее до презрения и гадливости к другим людям, через идею — страсть владычества, безмерного и беспрекословного над людьми, над всем человечеством и миром. Героем его овладеет бесовская страсть — стать величайшим и первейшим из всех людей, любыми средствами — непомерной гордыней, накоплением богатства: он встретит Ростовщика, Вечного Ростовщика, который сделается его идеалом, его богом.

Да, властью денег можно добиться многого, но он пойдет дальше, путем инквизиторского самоутверждения — он захочет заменить собой самого бога, станет фанатиком-атеистом во имя утверждения новой религии самообожения. О, это будет великий грешник...

Поэма теперь мыслилась в форме «Жития», наиболее соответствующей новому замыслу. Но житие — жизнь вечная, жизнь великая, жизнь праведная, ставшая идеалом, освященная признанием современников и потомков — святая жизнь. «Житие великого грешника» * — так определилась теперь внутренняя идея замысла, так решил и назвать будущую эпопею. Житие требовало преображения грешника, его духовной победы над грехом, над собой, как бы второго рождения.

Человек он будет страстный, оттого и мятущийся, без твердой духовной опоры: без веры человек не может, во что же верить ему? В деньги? Ему нравственная, твердая точка опоры нужна, а коли «бога нет», то его нужно выдумать — отсюда, пожалуй, и в хлыстовство пойдет — тоже ведь форма нигилизма, иезуитизма, даже похуже: каждый вправе объявить себя Христом или Саваофом, а одну из своих радетельниц — хлыстовской богородицей, — вот вам и «я сам бог», и не себе только, а все обязаны богом тебя почитать. Вот тут-то и пригодится ему философия современного позитивизма господина Конта, эта своеобразная атеистическая религия для масс; для себя — религия самообожения, для человечества — позитивизм: масса обязана жить по этой философской программе, главное — чтобы не имела знаний больше, нежели сколько нужно ей для собственного блага, дабы не рассуждала слишком много. Человек с самой колыбели должен систематически превратиться в автомат, который станет не только поступать, но даже и чувствовать и думать исключительно так, как того потребуют новые боги устроенного по системе Конта общества, — тогда-то человечество и сделается наконец счастливым и навсегда... Кажется, так характеризовал Писарев эту новейшую идею социального переустройства, заметив при этом, что до подобного уровня не поднимался еще ни один теоретик деспотизма в целом мире... Достоевскому запомнились статьи молодого критика, полемизировавшего с автором нового проекта осчастливить человечество.

Да, нелегко будет герою преодолеть в себе все эти соблазны. Тут встреча нужна, встреча с истинной святостью, вернее, со святым человеком, ну хоть с тем же Тихоном Задонским, что с того, что в прошлом веке жил, к нему и Чаадаева и Белинского, Грановского, Пушкина даже можно будет собрать, — пусть поговорят меж собой, поспорят — будет о чем... Главное — необходимо величавую, *положительную* фигуру — антитезу Ростовщика, хлыстовского Саваофа, такую, чтобы право и власть имел сказать: «Победи себя и тогда победишь мир». Трудно это, ибо велики соблазны заблудшей душе, потерявшей в мире точку опоры, но победи и ощутишь в себе вселенскую радость жизни...

Да тут, пожалуй, одним романом не обойтись, тут на всю жизнь замысел. Если еще хватит жизни — то...

Оторвавшись от записей и справившись — как Любочка? — Федор Михайлович по сложившейся привычке бежал в кафе почитать газеты. Одна из московских корреспонденций особенно заинтересовала его:

«В Разумовском, в Петропавловской академии, найден убитым студент Иванов. Подробности злодейства страшны. Ноги опутаны башлыком, в который наложены кирпичи... Он был стипендиатом Академии; наибольшую часть денег отдавал своей матери и сестре». Постепенно начали поступать более зловещие подробности таинственного убийства: студент Сергей Нечаев по плану Бакунина, с которым он встречался в Женеве, организовал в Москве террористическую группу — «Комитет народной расправы» (эмблемой был выбран топор). Цель комитета — подготовка всенародного возмущения, политический переворот, превращение Российской империи в союз небольших вольных общин. Достоевский помнил выступление Бакунина с этой программой на заседании Лиги мира в 68-м году. Один из членов комитета, студент Иванов, не

* Замысел этот не был реализован, однако идея «Жития» частично претворилась, значительно преобразованная, в последующих романах Достоевского «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

принимавший полностью бакунинско-нечаевской программы, решился на открытый спор с Нечаевым, за что и был тайно приговорен «к устранению»: его заманили в парк, зверски убили, а тело бросили в прорубь замерзшего пруда.

Немецкие газеты в эти дни также немало писали о «нигилистической революции» в России и ее женевском вожде — Михаиле Бакунине.

И это — социалисты? революционеры? * — топор, кровь, смута... Обновить мир топором? Хороша же идея: рассчитывают поднять массы, а до народа-то, именно до народа, до его нужд и надежд, никакого ведь дела им и вовсе нет. Эти господа ни перед чем не остановятся: тут — нигилизм, фантастическая идея всеобщего отрицания, всеразрушения, а революция не смута, не отрицание, но обновление, возрождение, тут не топор, а воскрешающая мир идея нужна, чтоб за нее — не под страхом расправы, а свободным сердцем пошло человечество. Нет, нигилизм несет человечеству не обновление, но еще большее помрачение — тут бесовство, а не социализм.

Достоевский сознавал — нечаевское дело дает ему уже живой, рожденный самой действительностью, конкретный сюжет, в котором могут претвориться общие идеи его «Жития». Заносит в записную книжку первые наброски будущего романа, черты характеров главных героев, общий абрис их идей:

«...Просмотрели Россию. Особенность свою познать не можем и к Западу самостоятельно отнестись не умеем. Тут дело финальных результатов Петровской реформы... Является Студент (так он пока обозначает Нечаева, потом найдет для него имя: Петр Верховенский) — для прокламаций и троек. Перестроить мир... Шапошников (так назвал Иванова) горячо отвечает, что считает себя ничем не связанным. Студент подговаривает тройку убить Шапошникова. Убивают...» Вскоре Иванов-Шапошников обретает более точное имя — Шатов, Иван... Нет, он не из нигилистов — он уже новый человек, ощущающий свою связь с Россией народной, но он еще шаток в своих убеждениях. Достоевский решил сделать его выходцем из крепостных. Обрисовывается и фигура «отца» молодого нигилиста Петра Верховенского: современный нигилизм «детей» вырос из непонимания и отрицания чего бы то ни было положительного в России, а главное — из неверия «отцов» и ее народные силы, считал Достоевский, поэтому и потребовалась фигура старшего Верховенского — «для встречи двух поколений все одних и тех же нигилистов», — записывает он. Постепенно вырисовывается и общая задача романа: раскрыть важнейшие стороны современного нигилизма, чуждого и враждебного истинно социальному и социалистическому переустройству мира, как его понимал сам Достоевский. Да и не один он: даже и социалист Герцен не случайно же определил подобных деятелей женевской эмиграции «Собакевичами и Ноздревыми нигилизма» — Достоевский запомнил это место из «Былого и дум». А в недавней статье Герцен как бы даже и подталкивал Достоевского, не имея при этом, конечно, в виду именно его, но все-таки: «Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения устремлений молодого поколения, но представляют чересчурную крайность... Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временный *тип*, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя». Вскрыть, показать самый корень всех форм, всех проявлений этой болезни — бесовства, как окрестил ее Достоевский, — фанатической всеразрушительной идеи, прикрывающейся масками революционности, социализма, общечеловеческого блага, — эта задача стоит романа. Тут не готовность самопожертвования во имя оздоровления общества, напротив: способность и готовность пожертвовать хоть всем миром ради осуществления своих теорий. Тут будто бесы вошли в стадо свиней, как в одной из притч евангелиста Луки. Так наконец решил и назвать будущий роман — «Бесы».

Однако работа почему-то не спорилась, хотя, казалось бы, и материала достаточно, и творческий порыв не уга-

* Известно, сколь принципиально и решительно осудили бакунинско-нечаевскую программу К. Маркс и Ф. Энгельс. «Эти всеразрушительные анархисты, — писали они в труде «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих», — которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность». В ответ на упреки в том, что будто бы полемика К. Маркса и Ф. Энгельса с бакунистами может бросить тень на общее революционное движение в то время, как расхождения эти, мол, частные, К. Маркс и Ф. Энгельс со всей определенностью заявили: «Организация тайного общества с единственной целью подчинить европейское рабочее движение скрытой диктатуре нескольких авантюристов, подлости, совершенные с этой целью, особенно Нечаевым в России, — вот о чем идет речь в книге и утверждать, что все ее содержание сводится к частным фактам, — мягко выражаясь, безответственно» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, ч. 2, с. 623; т. 18, с. 521).

сал — что-то не заладилось: Петр Верховенский, нечаевский тип, все-таки выходил фигурой скорее комической, памфлетной, мелким бесом; да и весь роман, казалось ему, слишком уж превращается в непосредственный, чуть не фельетонный отклик на злобу дня. Ему же мечталась трагедия, всемирное действо, мистерия, разыгравшаяся в России. Не хватало действительно центрального героя. Явно не хватало — главного беса, фигуры глубоко трагической, этакого демона — не романтического, но живого современника. И стал ему мало-помалу вырисовываться такой герой — тип действительно «великого грешника» с великим умом, жаждой подвига, но потерявшего точку отсчета добра и зла, а потому и готового на все: на любую, даже и самую чудовищную крайность.

«Итак, весь пафос романа в князе, — Достоевский решил назвать его Ставрогиным, — он герой. Все остальное движется вокруг него, как калейдоскоп...»

Теперь роман обрел уже более реальные очертания, так что вполне можно было подумать и о том, чтобы предложить его в журнал. В какой? Проблемы выбора не было: Достоевский и после «Идиота» все еще оставался в денежной зависимости от Каткова. Ему и отписал:

«Если Вы решите печатать мое сочинение, то мне кажется необходимо, чтоб я известил Вас предварительно, хотя бы в двух словах, об чем, собственно, будет идти дело.

Одним из числа крупнейших происшествий будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, не бесполезно выставить такого человека, но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня комическим. И потому происшествие — только обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа.

Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский...

Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз, по неделям останавливал работу. Я еще едва завязал интригу. Вообще боюсь, что многое мне не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеологом такого лица беру Тихона Задонского. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Теперь о другом предмете. Мне совершенно нечем существовать, а у меня жена и ребенок... Я знаю, что я Вам должен очень много. Но на этом романе я сквитаюсь с редакцией. Теперь же прошу у Вас 500 рублей...»

Новый, 1871 год встретили с Анной Григорьевной у русского консула в Дрездене. Поговорили и о европейских событиях, тревожных, неизвестно еще чем грозящих будущему: с лета минувшего года Европа охвачена франко-прусской войной. Столица Франции осаждена войсками Бисмарка. В Париже восстание. Монархия свергнута. Власть в руках республиканцев. Над Парижем — красное знамя... Выборы в Совет Коммуны. Париж в огне...

Газеты обвиняют коммунаров в страшном вандализме, жестокостях, в развязывании гражданской войны перед лицом общего национального врага, с холодным любопытством наблюдающего за расколом в стане противника. Правительственные войска штурмуют оплот революционной Коммуны. Парижские улицы завалены трупами парижан, хотя прусские войска даром не тратят даже снарядов — выжидают. После недельных боев героическая Коммуна пала. Париж — в крови. Прусские газеты требуют разрушения столицы Франции, отторжения Эльзаса и Лотарингии. Франция раздавлена. Достоевский видел торжественное возвращение победителей — исполнителей воли железного Бисмарка...

Конечно, о Коммуне он мог знать только из газет, большей частью описывающих события превратно, сознательно передергивающих факты. Но следил он за этими событиями с замиранием сердца: а вдруг, вдруг победит народ? Да, он и теперь был врагом переворотов путем крови и насилия, но, как знать, может быть, весь этот ужас кровавого пожарища Парижа в конце концов будет искуплен торжеством Победы? Нет, позор и унижение

Франции — вот итог: народ обескровлен, и все тяготы вновь взвалены на него, а власть по-прежнему у банкиров, у буржуа...

А тут еще Николай Николаевич Страхов подлил масла в огонь: «Что вы скажете о французских событиях? — спрашивает. — Вот вам и «охранитель» — тоже ведь, поди, сердце замирало: а вдруг?! — У нас, по обычаю, явилось много ярых приверженцев Коммуны. Как думаете? Не начинается ли новая эра? Не заря ли будущего дня?..»

Нет, отвечает Достоевский: в основе идеи Парижского восстания все та же старая фантазия о фаланстере, которым можно-де переродить мир, и не было здесь сказано истинно нового положительного слова. А потому «Пожар Парижа есть чудовищность», хотя многим кажется «красотою».

Нет, не мечом, но духом возродится мир, и Россия найдет в себе силы сказать миру это великое слово — Возрождение.

5 июля вечером они сели наконец в поезд Дрезден — Берлин. Из Берлина вел уже прямой путь в Россию. Когда же пересекли границу, одно только сознание, что они едут уже по родной земле, что там, за окном, на станциях — русские люди, одно это делало их счастливыми, и они шутили, смеялись, словно торопились на званый обед, и все спрашивали друг друга: неужели правда, неужели мы действительно наконец дома?

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРОРОКА...

Восстань, восстань, пророк России!..

Пушкин

Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

Огарев

Глава I

ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПРЕДВЕДЕНИЯ

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Пушкин. *Бесы*

Народ безмолвствует...

Пушкин. *Борис Годунов*

Лучшие люди должны объединиться.

Достоевский

1. Вьются бесы...

Он понял, что больше уснуть ему не удастся, да он и не хотел бы теперь уснуть — теперь и сон уже вряд ли поможет. Аню тоже не решился будить — пусть подремлет еще: устала смертельно за эти дни. Лежал молча, не двигаясь. Наплывали мысли...

Когда это было? Всего лишь какой-нибудь месяц назад.

Он шел к Плещееву, другу своей юности, периода «Белых ночей», отдать долг. Не застав его дома, оставил записку:

«Дорогой друг, Алексей Николаевич. Вот еще 150 рублей, и все-таки за мной остается хвостик. Но отдам в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь. Все еще только начинается...

24 декабря 1880 г.».

Да, с земными долгами, пожалуй, вот-вот и он разделался бы: еще один роман, и достало бы расплатиться, если б выдержало тело... Все шло к лучшему: даже припадки вот уже больше трех месяцев, как оставили его, но вот зачалось оно, это ноябрьское утро его последнего дня 1881 года, потому что он определенно знал: на этот раз отсрочки не будет. И вновь не лихорадочно, как тогда, на плацу, — неторопливо подступило прошлое.

Он ясно помнил, как десять лет назад они вернулись в Петербург после долгих скитаний по Европе, в страшную июльскую жару, непереносимую для его организма: замучили почти ежедневные припадки, а нужно было думать не о себе — Анна Григорьевна снова была на сносях, и нет пристанища. Остановились в гостинице, а через несколько дней удалось снять и две меблированные комнатки в доме по Екатерингофскому проспекту, недалеко от Юсуповского сада. Здесь и родился у них сын — Федор, названный в честь своего отца, — на чем давно настаивала Анна Григорьевна. Забот прибавилось, чего никак нельзя было сказать о средствах существования. Но подросли племянники, дети Михаила, — у одного обнаружился замечательный талант музыканта, другой служит в банке, так что Эмилия Федоровна обещала беспокоить Федора Михайловича только в экстренных случаях. Паша, правда, вознамерился устроиться с женой при отчиме, чему Анна Григорьевна решительно воспротивилась, тем более видя, как огорчило ее мужа известие о том, что пасынок спустил букинистам всю библиотеку, оставленную ему Федором Михайловичем по его же просьбе на хранение и «ради самообразования». На вопрос: как же посмел поступить таким образом? — Павел Александрович только и ответил — сами-де виноваты, зачем деньги не всегда вовремя высылали...

А главное, прослышав о возвращении Достоевских, их буквально осадили кредиторы; посыпались повестки в суд. Приходили просить деньги даже за опубликованные еще во «Времени» и якобы не оплаченные до сих пор произведения. Достоевский помнил, что деньги как будто уже выплачивались, но не мог же он не поверить — кто же решится-то на такое дело: конфузился, извинялся за проклятую забывчивость, шел к друзьям, просил взаймы и сам относил просителям. А через несколько дней Анна Григорьевна отыскивала в его старых архивах расписку, свидетельствующую о том, что «пострадавший», как и следовало, уже получал деньги сполна и в свой срок... Федор Михайлович растерянно разглядывал такие расписки, ходил, нервно теребя волосы на висках, по комнате, пока наконец решал, что проситель, должно быть, сам запамятовал об уже полученных когда-то деньгах, потому как человек-то он вообще в высшей степени порядочный. Или — вот уж от этого не ожидал, как же дошел-то до такого — сокрушался он: до чего доводит человека крайность! — сочувствовал даже.

— Он слишком верил в людскую честность и благородство, — скажет много позже Анна Григорьевна.

И как же больно переживал каждый раз, встречаясь с холодным расчетом, искусно пользующим эту его веру. Замыкался, всю ночь слышались его тревожные шаги, потом долго отходил после кошмаров утреннего недолгого сна — был хмур, молчалив и, только выпив две чашки горячего кофею да выкурив папироску, приходил в себя, вновь делался благодушен, улыбчив, шел поиграть с детьми.

И тогда хрупкая, сама не отличавшаяся особым здоровьем, но решительная Анна Григорьевна поняла: все дела с кредиторами нужно брать в свои руки — иначе с долгами они никогда не разделаются; да и у мужа останется больше сил для работы. А сил этих требовалось немало — чего стоил один только процесс по делу Нечаева, который Достоевский успел еще застать. Правда, самому Нечаеву каким-то образом удалось избежать ареста, а вскоре выяснилось, что он, бросив товарищей на произвол судьбы, а вернее, следствия и суда, бежал в Швейцарию, откуда и наблюдал за процессом *. Зато от других участников дела узнавались прелюбопытнейшие подробности, столь необходимые сейчас для продолжения романа.

В ходе процесса вскрывались деспотические методы деятельности Нечаева, его незаурядные способности организатора. Достоевский понял: тут не фельетонный герой, тут личность мрачная, иезуитски изворотливая, деятельная, но вместе с тем действительно главный герой не он; он только исполнитель иной, более могущественной, воли. И его Верховенский будет совсем не смешон, но тоже по-своему трагичен: великолепный организатор — он все-таки лишь тень, отзвук, обезьяна главного «беса» — идеолога Ставрогина. Выяснилось, что Нечаев вернулся от Бакунина с выданным ему мандатом самозваного «Русского отдела всемирного революционного союза», которым он и пользовался для организации террористических пятерок. Привез он и «Катехизис революционера» — программу деятельности: каждый член пятерки, требовал катехизис, обязан задавить в себе все человеческие чувства и привязанности единою холодною страстью дела, даже чувство чести, ибо «наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». Организация предусматривала строгую иерархию ее членов, построенную на неравенстве, разделении их на избранных, посвященных и исполнителей-профанов, — что-то вроде масонских лож, связанных между собой единым центром. Нет, «Нечаев не социалист *, — записывает Достоевский, — в идеале его бунт и разрушение».

* В 1872 году швейцарские власти выдали Нечаева царскому правительству, и он был приговорен к каторжным работам на 20 лет. Во время пребывания в Петропавловской крепости он сумел привлечь на свою сторону охрану и уже подготовил новый побег, который, однако, ему все же не удалось совершить. Умер в 1882 году.

В сущности, мне наплевать, признается в романе и Петр Верховенский, меня решительно не интересует: свободны или не свободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть, дескать, об этом хлопочут «ретрограды Чернышевские! — у нас другое — вы знаете, — скажет он, — что чем хуже, тем лучше... Народ — средство, мне до него никакого дела нет. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе, и все тут...».

Все люди разделялись в катехизисе на шесть разрядов: «доктринеры», «конспираторы», «праздноглаголящие революционеры» — составляли один из них; этих предлагалось толкать на практические дела, в которых бесследно погибнет большинство из них, но зато и выработается из немногих оставшихся настоящее ядро, которое и должно будет соединиться «с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Либералы и прочие болтуны и честолюбцы предназначались к тому, чтобы, скомпрометировав их донельзя, «их руками мутить государство». Государственных чиновников, «высокопоставленных скотов», людей известных, пользующихся в обществе влиянием и авторитетом, предписывалось опутать сетью интриг до такой степени, чтобы «сделать своими рабами». В следующую группу отнесены те, кому временно даруется жизнь; от этих необходимо добиться того, «чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта». И наконец, последнюю категорию составляли лица, подлежащие немедленному уничтожению **...

* А. Герцен, Г. Лопатин, Н. Михайловский, В. Засулич и многие другие представители революционного движения в России осудили нечаевщину.

** К. Маркс и Ф. Энгельс осудили «инквизиторские приемы», «апологию политического убийства» Бакунина — Нечаева, определив их программу как «прекрасный образчик казарменного коммунизма» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 412, 414).

В записях Достоевского появляются образы пугачевщины, Смутного времени, «самозванцев», «лжепророков». Но он видел: стихия всеразрушительного «русского бунта» удивительным образом сочеталась у нечаевцев с казуистикой последних достижений научно-логического мышления, с философией позитивизма, с методом приложения математики к сфере социальной, нравственной — и это особенно поразило Достоевского, который еще в своем Раскольникове предугадал это, казалось бы, недавно еще невозможное, противоестественное сочетание.

Один из обвиняемых объяснял, например, что Иванов «мог погубить всю организацию, и вред, который мог нанести этим, можно вычислить математически. Если нас 80 человек и если взять только год заключения каждого из нас, то выйдет 80 лет заключения за одного человека, а если заключение увеличить до 5 лет, то выходит 400 лет и т. д. ...».

Поразило и другое: некоторые из членов кружка открыто высказывали свои подозрения — не провокатор ли Нечаев, не связан ли с III отделением? Во всяком случае, он «успел скомпрометировать немало студентов, втолкнув вполне умышленно в казематы сотни людей».

— Я далек от этой мысли, — заявил адвокат Спасович, — но должен сказать, что если бы сыщик с известною целью задался планом как можно скорее изловить людей, готовых к революции, то он действительно не мог искуснее взяться за это дело, нежели Нечаев...

Подозрения Верховенского в «шпионстве» появляются и в романе Достоевского. Подозревает даже Ставрогин *:

«— А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?

— Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает.

— Понимаю, да ведь мы у себя.

— Нет, покамест не из высшей полиции...»

Работа над «Бесами» хоть и подвигалась, но не так скоро, как желалось: задуманный памфлет на злобу дня давно уже перерождался в откровение об «апокалипсическом» моменте всемирной истории, о России, колеблющейся над бездной: злоба дня, нечаевское дело, ожившие в памяти собственные искания юности, идеи, выдвинутые на женевской конференции Лиги мира, искали для себя художественной формы соединения в новом романе с духом и смыслом времен средневековых смут, библейских упований «избранного народа»: «И истребишь все народы, которые господь, бог твой, даст тебе; да не пощадит их глаз твой. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше»; «и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению...» Ему вспоминались древние видения о грядущем Звере бездны, Премудром Змии, которому должно будет поклониться все живое, поклониться и преклониться перед ним, для того и предусмотрена та узда в челюстях народов... И узда эта, решал он, — разрушенное сознание, скептицизм и неверие в возможность духовного возрождения человека и человечества, всеразрушительный нигилизм, отрицание, не обусловленное положительным, созидательным идеалом, существование без высшей идеи, без общего положительного дела... А вместе с тем «в обществе нашем, — чувствовал и верил Достоевский, — особенно среди нынешней молодежи, может быть, как никогда велика жажда правды и более того — готовность пойти на все, на любые жертвы и на самопожертвование ради правды — вот национальная черта поколения. Но весь вопрос в том и состоит, что считать за правду...».

Еще осенью 71-го познакомили Достоевского с князем Владимиром Петровичем Мещерским. Князь показался ему человеком малосимпатичным уже и по одному тому, что по-русски говорил куда хуже, нежели по-французски, да и вообще — больно уж сладок, репутация у него дурная, а кичливости хоть отбавляй: через Мещерского, человека, близкого к правительственным кругам и даже к цесаревичу. Достоевский рассчитывал поближе познакомиться с настроением и состоянием духа и мыслей «верхов», что было для него чрезвычайно важно, особенно сейчас, в момент работы над «Бесами». Было, конечно, и другое — чего уж от себя-то греха таить, — еще будучи в Европе, узнал, узнал наверное, что до сих пор находится под полицейским надзором. Открытие это немало раздосадовало, огорошило, не на шутку встревожило, заставило о многом задуматься: встречался он здесь и с Герценом, и с Огаревым, и с другими эмигран-

* Нужно сказать, что и Бакунин даже засомневался: не шпион ли Нечаев? «Нечаев... либо русский агент-провокатор, либо, во всяком случае, действовал как таковой», — писал и Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 332).

тами, о чем, должно быть, давно уже доложено куда следует. Одно упоминание Герценом имени Чернышевского во вскрытом полицией письме оказалось достаточным поводом начать против Николая Гавриловича следствие, а затем и упечь его в Сибирь. Ну хорошо, пусть ему-то не Сибирь, но если только запретят печататься, а это вполне может случиться по доносу о неблагонадежности, — тут-то и конец ему.

Знакомство с людьми, близкими двору, надеялся он, может быть, избавит его и от роковых неожиданностей, а коль его, то (и это главное) и его дело. И вот тут-то и корень, тут-то и фантастическая действительность: почему бы не попытаться использовать новые связи для пропаганды своих идей, а? Но лучше об этом пока не высказываться. Во всяком случае, Катков Михаил Никифорович сумел же кое-чего добиться: министры его трепещут, сам государь вынужден прислушиваться. А ведь он, Достоевский, не Катков, хоть и сотрудничает с ним, вынужден сотрудничать, но у него своя идея, свое слово... Стал заходить на «среды» Мещерского, где бывали, кроме старых приятелей Майкова и Страхова, старик Федор Иванович Тютчев — любимейший, конечно, после Пушкина, его поэт, член Государственного совета Константин Петрович Победоносцев — личность явно незаурядная: Достоевский знал его статьи в «Русском вестнике» по истории крепостного права, по вопросам реформ в судопроизводстве; в либеральных кругах о нем говорили не иначе как о махровом реакционере, этаком русском Жозефе де Местре или даже Торквемаде. Главная идея, которую он проводил всеми доступными ему средствами, — укрепление монархической власти под сенью возрожденной церкви, восстановленной в допетровском виде. Сам он от рождения воспитывался в атмосфере церковности — дед его был священником в Звенигородском уезде. Сам Константин Петрович начал с училища правоведения и в 59-м уже получил кафедру гражданского права в Московском университете, как вдруг в 61-м ему предложили преподавать законоведение цесаревичу и великим князьям. Человек широко образованный, отличающийся хорошим художественным вкусом, а вместе с тем фанатически преданный монархии и церкви, он быстро обратил на себя внимание императорской четы и вскоре стал, по существу, воспитателем наследника престола, именно ему доверили сопровождать того в поездке по России, предпринятой в 63-м.

С любопытством вслушивался Достоевский в его мягкую, будто даже добродушно-ворчливую речь книжника, пересыпаемую народной фразой. В узком доверительном кругу этот «Жозеф де Местр» позволял себе высказывать даже и недовольство многими правительственными мерами — чего стоит одна только реформа питейного дела, произведенная «премудрым нашим Витте» (при этом его тонкие, бескровные, почти старческие — хотя он и на 6 лет моложе Достоевского — губы едва уловимо кривились). Не подобает царской казне богатеть за счет порока, болезней и несчастной слабости трудящихся христиан. Но есть и такие глубины, до которых государственная власть и вовсе не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе всех и каждого. Особенно возмущала его политика либерализации, как он считал, общественной жизни, ибо светские свободы ведут не иначе как к брожению умов, расшатыванию устоев, к грядущим катастрофам, но ничем не облегчают участи большинства христиан. Истинная свобода личности, последнее торжество духа не в социальных реформах, а в Евангелии, — мягко поучал он, но при этом в его голосе начинал слышаться и отзвук металла, а глаза еще более испытующе просверливали слушателя сквозь стекла ореховых очков. «Хочется верить не в новые законы, а в новых людей, — обращался он как бы лично к Достоевскому, а вместе с тем как бы и не лично к нему. — Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утверждающаяся в умах даже и лучших у нас людей идея, будто всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной».

Достоевский вслушивался в эти речи — многое в них было как будто созвучно его собственным настроениям, но ему и претило доктринерское, предписательное христианство Победоносцева.

Достоевский всматривался в желтый пергамент гладко выбритого, почти безжизненного лица собеседника — воспитателя наследника престола, человека, который во многом может предопределить характер правления на ближайшее будущее, — смотрел на его жиденькие, прилизанные волосики, открывающие гладкий старческий в прожилках череп с топорщащимися ушами: внешне Константин Петрович не производил впечатления человека симпатичного, но в этом сухом, аскетически иссохшем теле чувствовался железный дух, в его небольшом черепе

шла неутомимая работа мысли. На что будут направлены этот дух, эта мысль, вся фанатическая воля этого, словно явившегося из средневековых времен человека — от этого, казалось Достоевскому, теперь многое зависело и решалось в судьбах России. Беседы с ним требовали предельной собранности, изнуряли, но в них оттачивалась, обретала формы, прояснялась и мысль самого Достоевского — этот человек одновременно и отталкивал, порой ужасал его, но и притягивал его к себе неотвратимо и как художника, и как мыслителя, и как деятеля. Пожалуй, живи Константин Петрович в средневековой Испании — из него вполне мог бы получиться какой-нибудь инквизитор, сжигающий еретиков во имя Христа. А вот сам Христос-то — отчего никто не хочет задуматься над этим, — сам Христос сжег бы еретиков? Вот то-то и оно... Да явись сейчас сюда хотя бы и Он сам — не станут ли и Его учить, что́ есть истинное христианство?.. Но в открытые споры Федор Михайлович вступал редко, все больше безмолвствовал. Чувствовал: здесь нужен иной спор, и он еще будет.

Работа над «Бесами» затягивалась, роман все более обретал черты всемирной трагедии человеческой мысли и духа. Но многое еще предстояло угадать в законах этой трагедии.

Недавно он узнал, что поразивший его анонимный отклик прошлого года на «Идиота» принадлежит перу Салтыкова-Щедрина. Подивился немало: хоть и не преминул ругнуть его едкий, проницательный служитель «пламенной сатиры» в некрасовских «Отечественных записках» за нападки на «нигилистов» — к этому-то не привыкать, но зато и кто другой еще сказал бы ныне о нем, Достоевском, такое: «По глубине замысла, по широте задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества...» Автор «Идиота» ставит перед человеком и обществом такие нравственные задачи и цели, перед которыми «бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п.», задача, которую решает Достоевский, такова, что в сравнении с ней «даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями...» Вот тебе и антагонист...

Достоевский чувствовал, что и в новом романе от памфлетной злобы дня, от вопросов, которые волнуют современное ему общество, он все более переходит за черту, в область — как выразился, и прекрасно выразился, Михаил Евграфович — «предведений и предчувствий». Да, в «Бесах» ему хотелось высказаться до конца, и не памфлетно, но так, как умели же высказываться в древних Откровениях... Так, чтобы не навязывать ответ, но чтобы он как бы сам родился в сознании читателей. Как это говорится и в народе: «Сказанное слово — серебряное, несказанное — золотое». Не оттого ли у Пушкина «народ безмолвствует»? Только бы достало таланту воплотить такое не сказанное еще народом, но уже предчувствуемое, предвидимое им, писателем, народное слово. «Бесам», казалось теперь, не только конца не предвидится, но, может быть, сейчас только они и зачинаются. А тут еще столько новых хлопот, правда, приятных, — решили снять дачу и где-нибудь подальше от Петербурга, чтоб хотя на лето укрыться от кредиторов да от городской суеты. Михаил Иванович Владиславлев — муж одной из племянниц Достоевского (философ-«прогрессист» и страшный либерал!) — присоветовал Старую Руссу, что в Новгородской губернии. Действительно, далековато, но место чудное: Федор Михайлович съездил, поглядел, размечтался и уж договорился снять домик на лето у местного священника Ивана Ивановича Румянцева. Решили отправиться туда всем семейством в мае нынешнего, 72-го года.

А на днях Достоевский получил письмо от уже становящегося знаменитым собирателя русской живописи Павла Михайловича Третьякова — просит попозировать художнику Перову. Времени, конечно, в обрез, да и видеть свое изображение на выставках или тем более увековеченным для памяти потомков? — этим его не соблазнишь. Но и отказать такому человеку, как Павел Михайлович, как-то совестно: удивительный человек, великий подвижник, патриот. На людях такой вот закваски, кажется, и стояла всегда русская земля. И то: вроде бы чего еще — купец, хоть и не миллионщик, но не беден — ну и живи себе в свое пузо, наращивай тыщи, пользуйся радостями жизни, пока жив и деньги есть. На культуру потянуло? Искусства захотелось? — ну так и потребляй чего душа желает. Нет, тут не меценатство на уме — ре-

шил собрать национальную картинную галерею не для личного услаждения — для Отечества. И художники поверили в него: отдавать ему лучшие свои полотна за честь почитают. Да что там — многие просто погибли бы в безденежье и безвестности, не будь Павла Михайловича. Теперь вот задумал создать целую портретную галерею лучших людей России, самых талантливых художников уговаривает, подталкивает, убеждает. Значит, и его, Достоевского, ценит, коли просит согласиться на портрет *. Да и сам Перов любезен душе Федора Михайловича — «Похороны крестьянина», явно вдохновленные некрасовской поэмой «Мороз, Красный нос», «Приезд гувернантки», удивительные его «Птицеловы», а какие крестьянские характеры! Один только «Странник» его как много говорит сердцу. Ну а портретист — бесподобный: Островский у него — на века, таким и будет жить в памяти людской.

Василий Григорьевич Перов оказался еще и превосходным собеседником: человек умный, мыслящий, он умел разговорить Достоевского. Федор Михайлович убедил Перова взяться и за портрет Аполлона Николаевича Майкова. Павел Михайлович с радостью поддержал его, так что Перов писал одновременно оба портрета: все равно позировать более двух часов в день Федор Михайлович не выдерживал. Сумел он убедить и Василия Григорьевича и Павла Михайловича непременно добиться согласия Тютчева позировать для портрета. К сожалению, эти хлопоты оказались тщетными: Федор Иванович тяжело заболел и никого к себе уже не допускал.

К середине мая работа над портретом в основном завершилась, и Достоевские отправились наконец в Старую Руссу.

* Конечно, Ф. М. Достоевский догадывался, да и немало тому получал свидетельства уже и при жизни, что пользуется у многих своих великих современников любовью и почтением. И все-таки нетрудно представить, сколько бы душевных сил прибавилось у него, знай он хоть чуть более о том, как воспринимаются плоды его труда. «В жизни нашей, то есть моей и жены, — писал, например, тот же П. М. Третьяков И. Н. Крамскому в ответ на его восторженный отзыв о писателе, — Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел в 1872 году. Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно Вы его назвали, это был пророк, это был всему доброму учитель, это была наша общественная совесть...»

Из Петербурга Николаевской дорогой добирались до Чудова, там пересадка на узкоколейку до Новгорода. Затем на пароходике, со странным названием «Алис», по Волхову — мимо Новгородского кремля с его чудной златоглавой Софией, вдоль по всему Ильменю — в речку Ловать, из нее — в извилистую Полисть, а уж на ней-то и сама Старая Русса, в центре которой Полисть сливается с еще двумя речонками — Перерытицей и Порусью, или, как ее еще зовут здесь, Малашкой. Через городок пролегает большой скотопрогонный тракт, главный рынок здесь тоже скотный, так что, как пошучивают старожилы, во время ярмарок Старая Русса превращается в настоящий *«скотопригоньевск»*.

Липовой аллеей двинулись на Пятницкую, к домику, который должен был сделаться их пристанищем на все лето. Здесь уже ждал их хозяин — Иван Иванович Румянцев — человек, как вскоре выяснилось, острого ума; отличаясь явной незаурядностью натуры, он во всю жизнь свою так и не достиг никакого продвижения в своей духовной карьере. Домик, конечно, не ахти что, ну да не до жиру, быть бы живу, как говорится: у Тургенева виллы в Европе, у Толстого вотчина наследственная в Ясной Поляне, господа издатели им по 500 рублей за лист оплачивают, а ему, Достоевскому, вечному скитальцу, бездомному пролетарию (не то, что виллы — квартиры даже *своей и то во всю жизнь не заимел*), — и по 150 приходится соглашаться. Эх, разбогатеть бы наконец, что ли, да и купить бы маленький домик, хотя бы и здесь, в Старой Руссе, — все подешевле, пусть бы и плохонький был, да все-таки свой: никто не томил бы душу, не приходилось бы вечно переезжать с квартиры на квартиру...

Только обжились, самое бы время за «Бесов» приняться, но разве у него может быть так, чтоб, если уж хорошо, значит, и хорошо. Нет, коли уж в чем-нибудь хорошо — жди беды; будто и нельзя совсем, не позволено кем-то, чтоб ему хорошо было... Неугомонная — ей уже два с половиной годика — Лиля (так звали они свою Любочку) сильно ушибла ручку еще в Петербурге. Ничего недоброго врачи не заподозрили, но ручка стала вдруг пухнуть. Обратились к Шенку, старорусскому полковому врачу, и тот определил: был перелом, косточки срослись неправильно, если не сделать операцию — ручка высохнет. Пришлось срочно возвращаться в Петербург.

Анну Григорьевну и Федора Михайловича хирург выдворил, не позволил присутствовать при операции; остал-

ся лишь Аполлон Николаевич, крестный ее. Что пережили, пока ждали, и не расскажешь: шутка ли — за стеной ломают косточки родному ребеночку, чтобы заново правильно срастались. Но операция прошла благополучно.

Собрались было назад, в Старую Руссу, а тут известие: тяжело заболела мать Анны Григорьевны; еще через несколько дней пришла весть о смерти Аниной сестры, Марии Григорьевны. Только что вернулись наконец в Руссу — слегла внезапно с тяжелым нарывом в горле и сама Анна Григорьевна. Шенк, вновь приглашенный для консультации, с прямотой военного человека не скрыл: если в течение суток нарыв не прорвется, за жизнь Анны Григорьевны он не ручается. Федор Михайлович чуть не рыдал — такое отчаяние нашло: неужто потеряет Аню? Если уж в чем повезло ему в жизни, непозволительно повезло, так это с женой. Да и жена ли она ему только, эта женщина? И мать она ему, и нянька — больному да нервному, да не с медовым характером — и успокоит, и утешит, и не попрекнет никогда укором, и сотрудница его — стенографирует и начисто переписывает; и читатель его первый — по ней проверяет, удались ли сцены? Но и не в этом дело: чем дольше жил с ней, тем больше любил ее, да и не то что любил — влюблялся в нее, в мать своих двоих детей... И ревновал, бывало, особенно в разлуках, пусть и недолгих; почудится вдруг: мол, по старому мужу молодая жена не заскучает. А вернется, увидит ее, услышит ее смех, и уж никто не пошатнет его веру: вот единственное его надежное, неизменное прибежище в этом ненадежном, изменчивом мире.

Слава богу, Анна Григорьевна поправилась, прошла стороной беда.

И вновь, когда все укладывались спать, в кабинете Федора Михайловича «заклубились бесы разны». Работал над романом, пока не начинали голосить старорусские петухи и не наступал рассвет, и тогда уже сквозь нелегко приходящий сон вспоминались стихи давнего сотрудника «Времени» Николая Васильевича Берга:

> На святой Руси петухи поют —
> Скоро будет день на святой Руси...

Он свято верил в грядущий день, верил в иное, не бесовское, подлинно духовное обновление России. Потому

что и змея обновляется, меняя шкуру, но остается змеей. Такого же змеиного рода обновление всей земли готовят и его «бесы».

«— Шигалев гениальный человек, — рекомендует Петр Верховенский Ставрогину теоретика бесовского мироустроения будущего... — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов; не надо высших способностей! Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезается язык, Копернику выкалываются глаза. Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты».

Но бесовские планы могут обратиться в реальность только в том случае, если весь народ уверует в правоту «бесов», когда сам влезет в ярмо, ведущее его к заблуждению. Для осуществления им шигалевщины, толкует Петр Верховенский Ставрогину, нужен первый шаг, потому что кто ж сам добровольно захочет влезть в ярмо. И вот этот-то первый шаг не выдумать даже и Шигалеву. «Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг», и, конечно же, этот человек — сам Петр Верховенский. И вот для этого-то первого шага ему нужен Ставрогин. Зачем? «Мы пустим легенды, — объясняет ему Верховенский. — Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ... начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

— Кого?

— Ивана-царевича.

— Кого-о?

— Ивана-царевича; вас, вас!

— Самозванца?.. Э! Так вот наконец ваш план.

— Мы скажем, что он «скрывается», — тихо, каким-

то любовным шепотом проговорил Верховенский... — Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить!.. Ну что в социализме: старые силы... А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все поднимется!»

Главное—пустить легенду о том, что новый «бог» новую правду несет и «скрывается»—чуть не в исступлении развивает свою теорию первого шага Верховенский. «А тут мы два-три соломоновских приговора пустим... И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное».

Премудрый Змий, Паук в человеческий рост в образе Ивана-царевича, зло в обличье красоты — вот верховенщина, вот суть его «мудрости соломоновской».

Бесы нигилистического всеразрушительства во имя строительства мифического «каменного строения» будущего вовлекают в свое вихревое кружение и культуру: Достоевский специально ввел в роман «знаменитого писателя» Кармазинова, проповедующего бесперспективность России. Находясь до сих пор под дурным впечатлением от тургеневского «Дыма», Федор Михайлович решил даже наделить Кармазинова некоторыми чертами характера Ивана Сергеевича. Постепенно начинала обнажаться в романе и бесовская сущность высшей государственной бюрократии: для губернского города, в котором объявились «бесы», кто же, как не губернатор высший «царь и бог»? Правда, его бесовство особого рода — оно в его полной бессмысленности, в полнейшей неспособности мыслить именно государственно.

Главный герой романа — невидимый и молчаливо взирающий пока на бесовское действо и нигилистов и администрации — народ. Да, народ в его «Бесах», как и у Пушкина в «Борисе Годунове», безмолвствует. Но не оттого, что он безразличен к происходящему, и не потому, что ему нечего сказать. Достоевский не собирался подменять своим, «серебряным» словом «золотое» слово народа. А это слово, если и не созрело еще вполне, то уже зреет, и мы, все мы должны знать, каково это слово.

Степан Трофимович Верховенский — отец Петра Верховенского — считает, правда, будто всегда знал русский народ, «как свои два пальца». Степан Трофимович замыслен как тип идеального западника. Он честен, мягок по натуре, начитан, образован, он — русский по своим корням и симпатиям, но, в сущности, слишком далек от

подлинных нужд России. Чуть не всю жизнь прожил на содержании богатой генеральши Ставрогиной, и, будучи невиннейшим из всех 50-летних младенцев, он ужаснулся всей этой развернувшейся на его глазах и при его участии бесовской мистерии, почувствовал вдруг необходимость обновления. И Достоевский решил дать ему такую возможность, пусть и романную, художественную — выйти наконец на большую дорогу, которая, даст бог, обернется для него, а может, — думалось ему — и для тех читателей, которые еще находятся под обаянием западнических теорий, — дорогой к народу, к народной правде, которую должен же русский образованный класс узнать наконец, осмыслить и противопоставить бесовству во имя истинного обновления глубоко больного общества.

Петра Верховенского после расправы, учиненной им над Шатовым (наезжая в Москву, Достоевский не раз заходил в тот парк, на пруд, где был убит Иванов, чтобы воспроизвести сцену во всей ее возможной достоверности), он своей писательской волею «отправил» в Швейцарию. А вот со Ставрогиным было много сложнее: чувствовалась настоятельная необходимость противопоставить Премудрому Змию не только невидимый и как бы неслышимый в романе народ, но и реального героя. Тогда-то и увиделась сцена: Ставрогин придет на исповедь к старцу Тихону (прообразом ему Достоевский выбрал давно чтимого им иерарха XVIII века Тихона Задонского), придет, конечно, не для искренней исповеди, после которой он мог бы искупить вину свою подвижничеством. Нет, вина его неискупима, он сам это прекрасно знает, — пойдет он, чтобы искусить «святого подвижника» (сюжет, конечно, неновый в мировой литературе, но Достоевский рассчитывал и здесь сказать свое слово). Пусть Тихон поверит, будто Премудрий Змий, Паук в человеческий рост, тоже может духовно переродиться. Ну а уж если и сам «святой» поверит, стало быть, узда в челюстях народов — не предсказание уже, но свершившаяся реальность. В искусительной этой исповеди Ставрогин должен будет поведать об одной только из своих «зверских штук»: холодно, испытующе глядя на Тихона, расскажет он, как однажды — не в распаленности преступной страсти, — но так же холодно, как и теперь, на «исповеди», ради прихоти извращенного рассудка, растлил он девочку, невинного младенца. Вот тут-то и самый корень: растлить ребенка, совершить насилие над невинным созданием — так понимал писатель, — нет большего преступления в мире.

И коль уж такое дозволяет себе разум, тогда остальное все и подавно позволено...

Но не поверит старец в искренность такой «исповеди», и уйдет князь от него, шипя в холодной злобе: «Проклятый психолог!» А ведь тот только и скажет ему одну, загадочную, но, видно, понятную Ставрогину фразу: «Некрасивость убьет». И покинет Россию Ставрогин, чтобы уехать в Швейцарию, где и повесится от бессильной злобы; видит Великий Змий далеко вперед — не будет ему места на Земле, ибо уже разгадана тайна его, и дело только во времени.

Достоевский верил в читателя, верил, что идея «Бесов», «Некрасивость убьет», сопоставится в сознании людей с «Красота спасет мир» князя Мышкина из «Идиота»...

Катков, однако, наотрез отказался печатать «Исповедь Ставрогина», сочтя ее нравственно непристойной для глаза и слуха читателей «Русского вестника». Достоевский убеждал, пытался переделать сцену, чтобы хоть как-то удовлетворить вкусам своего единственного издателя. Умолял, отчаивался: мог нарушиться весь замысел. Главу в конце концов вынужден был изъять и переработать роман, чтобы хоть как-то восполнить ни в чем не восполнимую потерю.

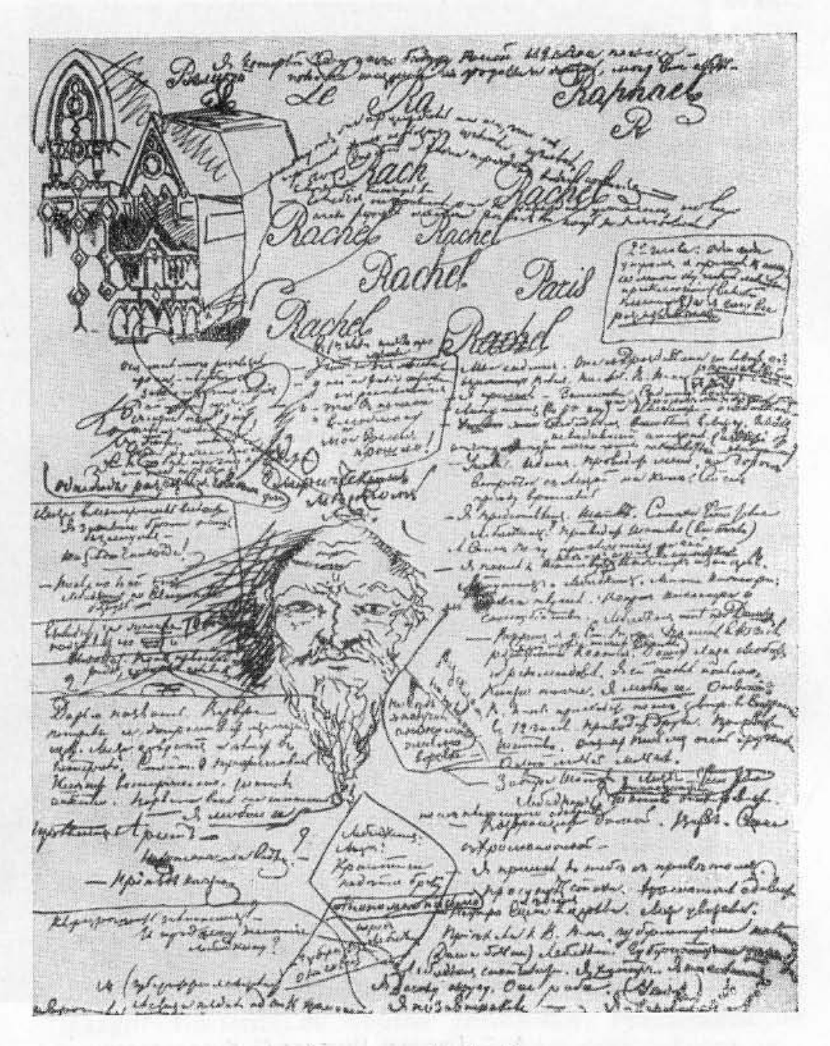
И пришла не радость — какое дело завершил! — нашла великая грусть: и всегда-то он в зависимости — от здоровья, кредиторов, издателей... Дал бы только Бог дожить до радости — увидеть деток подросшими, окрепшими...

2. Гражданин

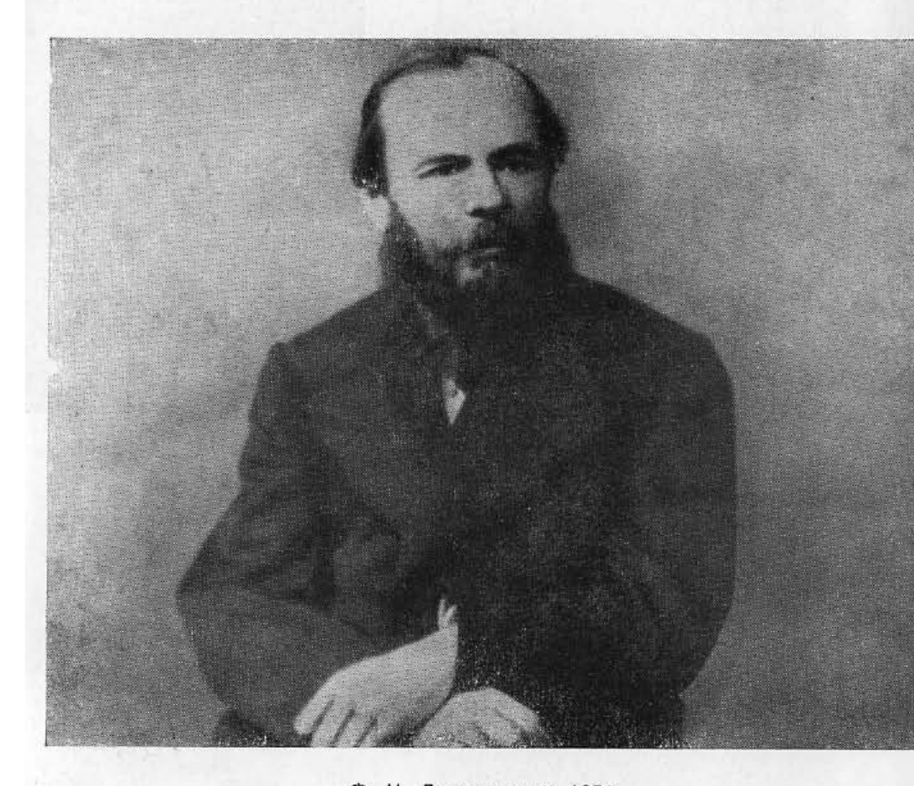
И снова наплывали предсмертные видения прожитой жизни.

Нет, смерти в свои 59 лет он не боялся и теперь, когда она ходила, кажется, неподалеку, верил — коль уж в этот раз не минует его, встретит ее достойно, как и подобает. Не за себя страшно — земные долги он отдал сполна. А что взял от жизни? Успел ли съесть свой «кусок пирога» с праздничного стола? Утомился ли на балу жизни? Насытил ли утробу тщеславия, пресытился ли искушениями, понял ли наконец «последний секрет» земного бытия: все-де на время и только смерть навсегда, а потому «живи текущим днем, не веря в остальное». Что ответить, что вспомнить? Никогда не позволял он себе уверовать в бессмысленность жизни, какой бы ни была она, всегда верил — есть нечто серьезнее тщеславия,

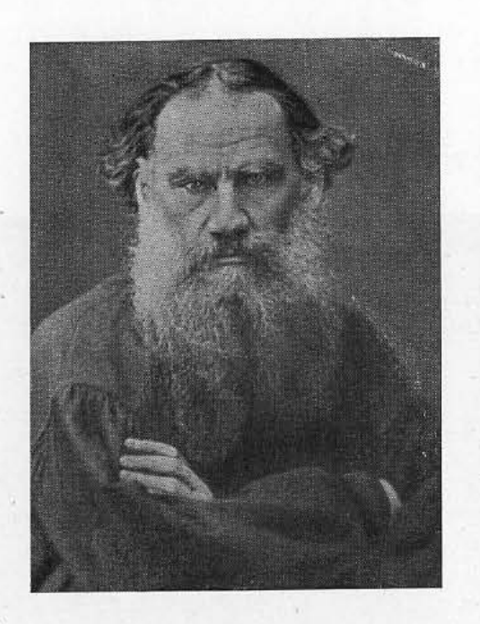
А. С. Пушкин. Портрет О. Кипренского.



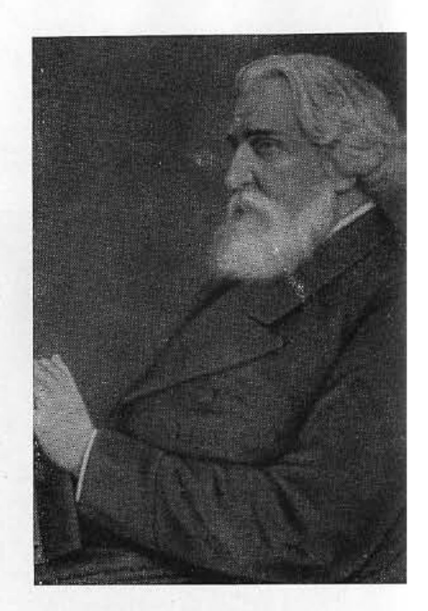
Страница из записной тетради Ф. М. Достоевского с заметками к роману «Бесы».



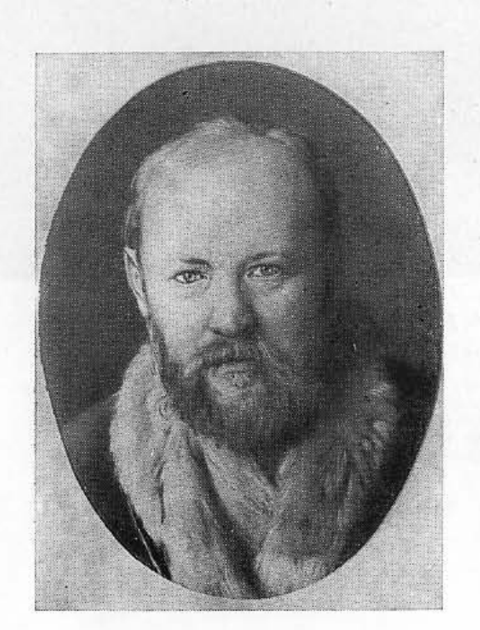
Ф. М. Достоевский. 1876.



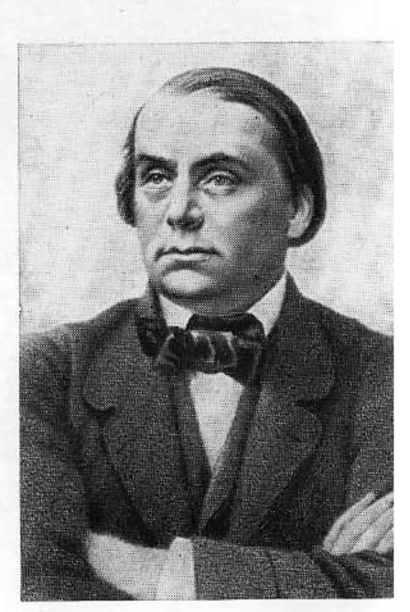
Л. Н. Толстой.



И. С. Тургенев.

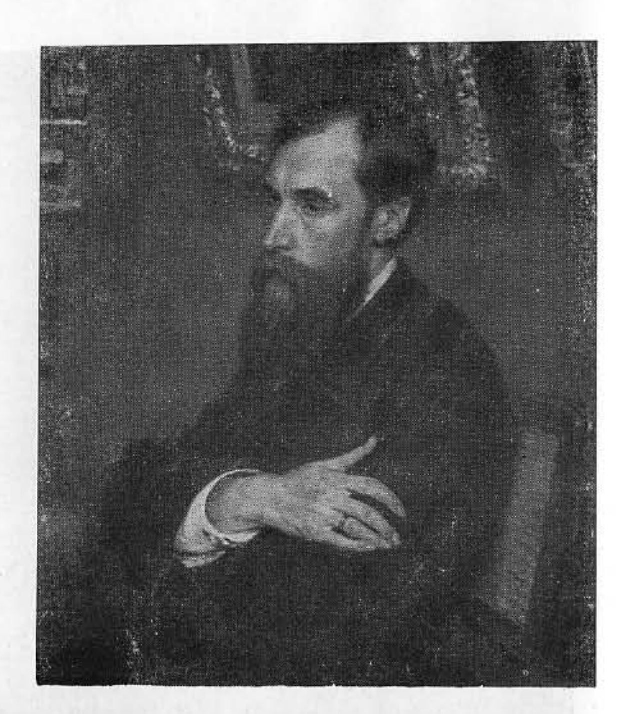


А. Н. Островский.

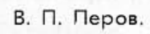


И. А. Гончаров.

Некрасов периода «Последних песен». Картина Н. Крамского.



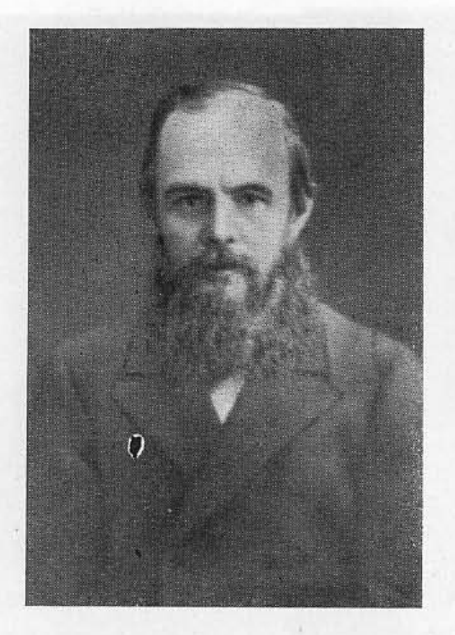
П. М. Третьяков.



В. П. Перов.

В. Перов. Странник.

Ф. М. Достоевский. Портрет В. Перова. 1872.



Ф. М. Достоевский. 1879.

А. Г. Достоевская. 1868.

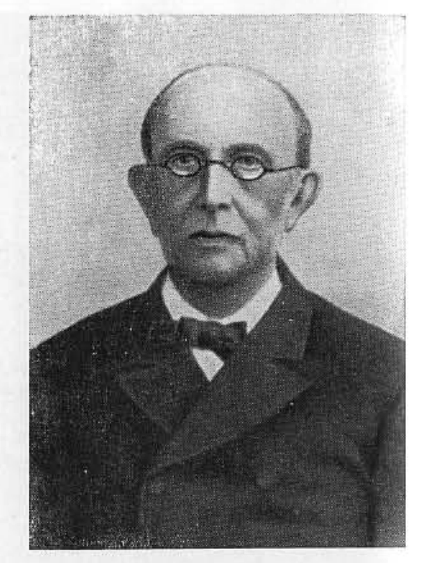
П. А. Исаев.

Алеша Достоевский.

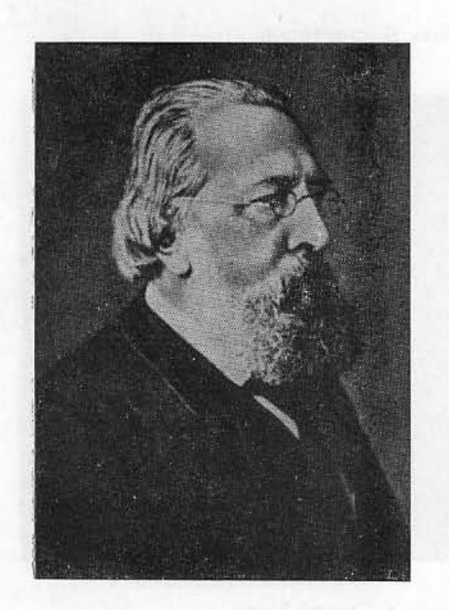
Федор и Любовь Достоевские.

Дом Достоевского в Старой Руссе.

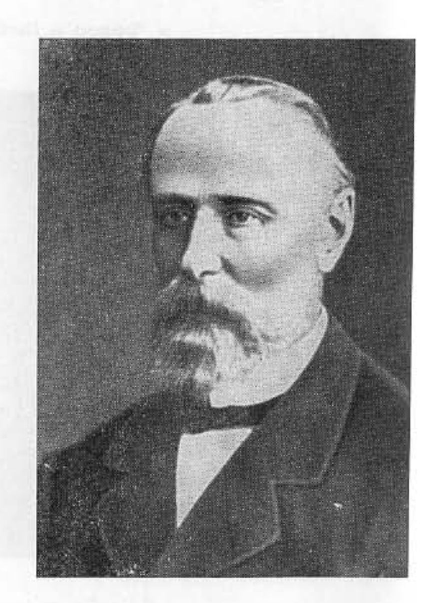
Ф. И. Тютчев.



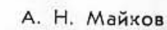
К. П. Победоносцев.



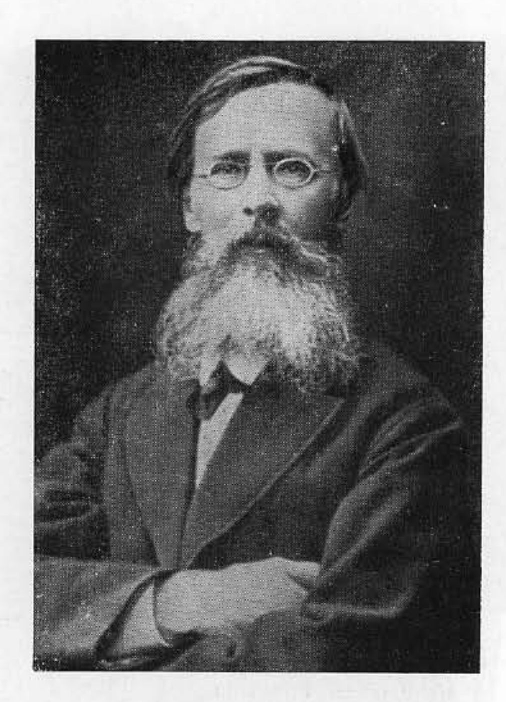
И. С. Аксаков.



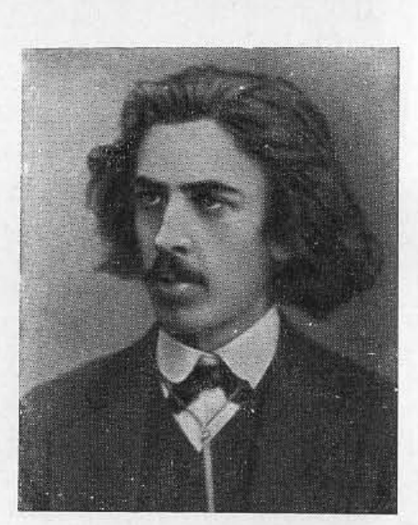
М. Н. Катков.



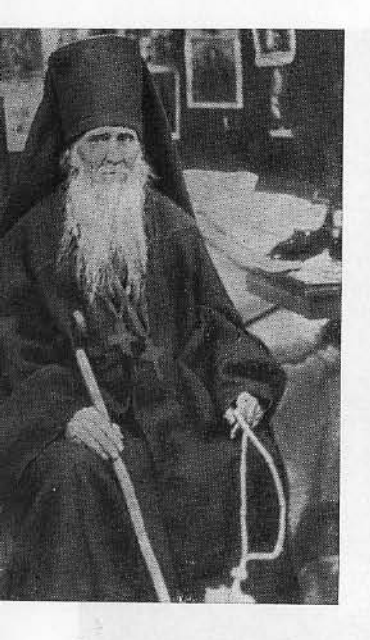
А. Н. Майков



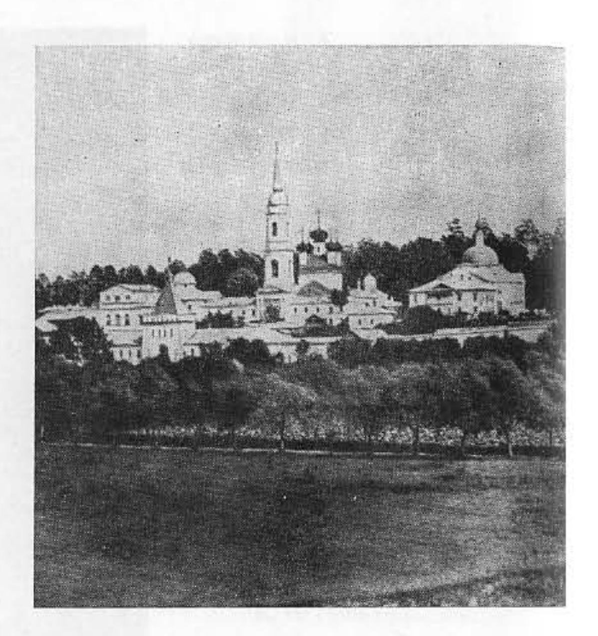
А. Ф. Кони.



Вл. С. Соловьев.



Старец Оптиной пустыни Амвросий — прототип Зосимы.

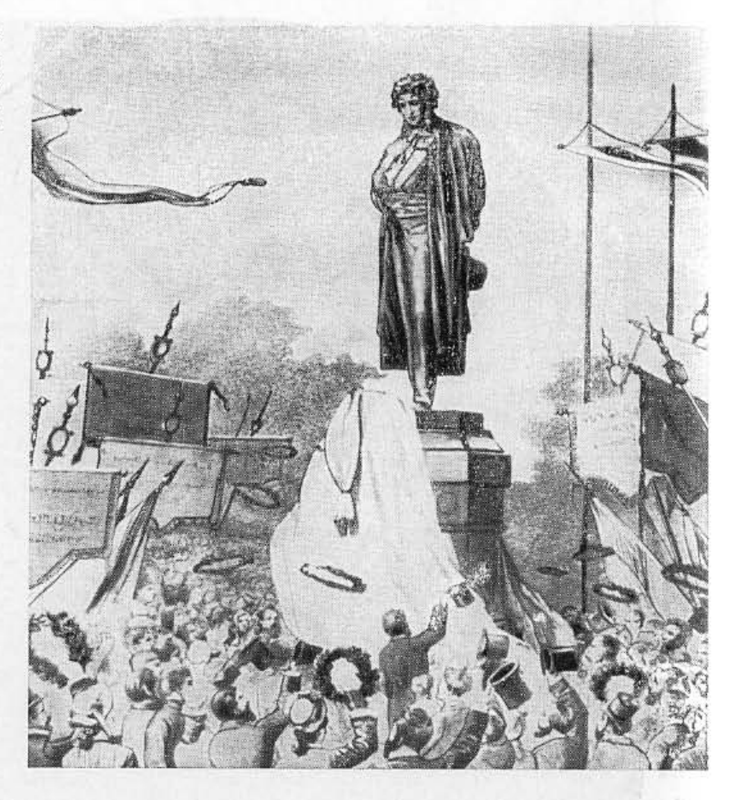


Оптина пустынь.

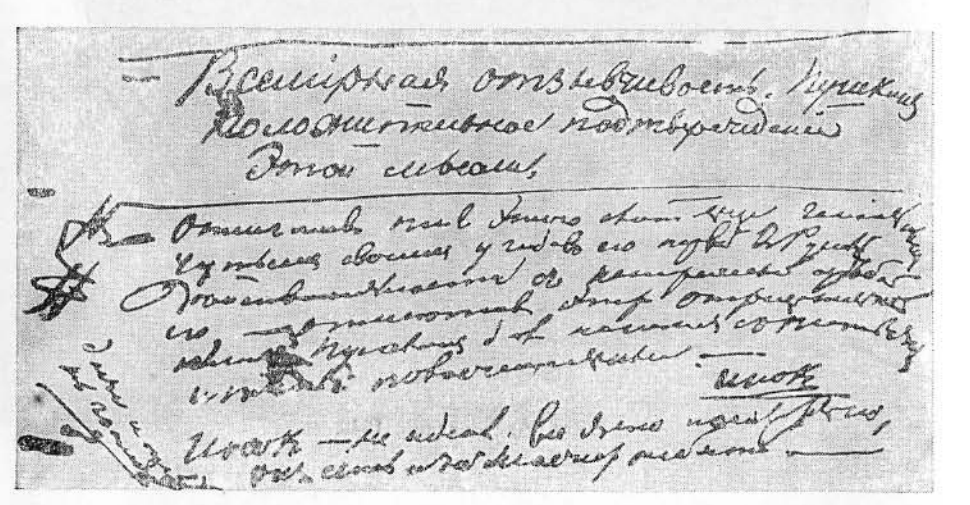
Дом в Оптиной, где останавливался Достоевский.

Ф. М. Достоевский. 1880.

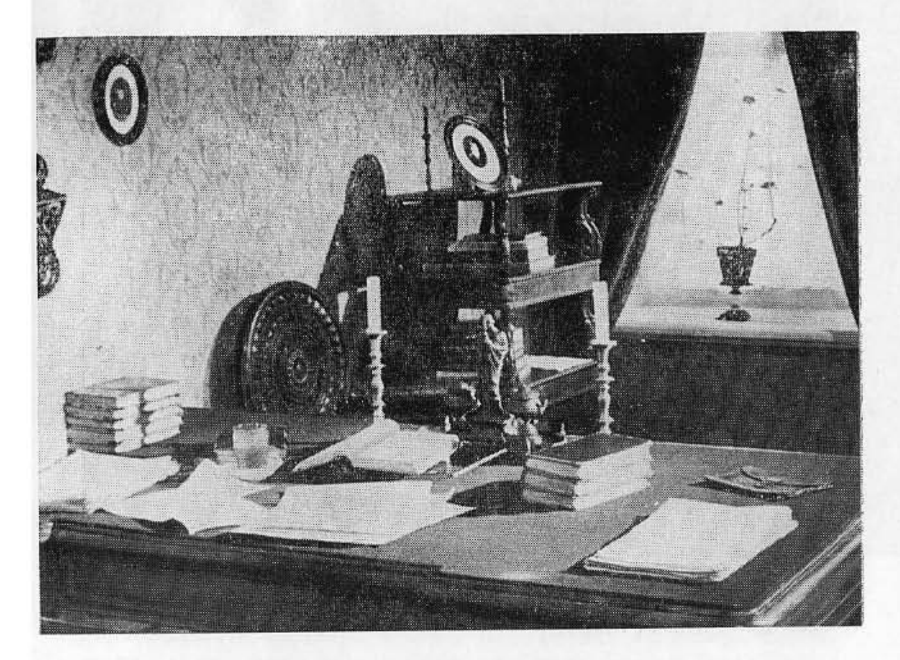
Открытие памятника Пушкину в Москве. С наброска М. Н. Чехова. 1880.



Набросок речи Достоевского на пушкинских торжествах.



Всемiрная отзывчивость. Пушкин.
Положительное подтвержденiе
этой мысли.



Рабочий стол Ф. М. Достоевского.

В этом доме была последняя петербургская квартира Достоевских.

У могилы Ф. М. Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Страница черновой рукописи романа «Братья Карамазовы».

выше утробы, значительнее самой смерти. И если бы там уже, где-нибудь (если оно все-таки есть это *там*, это последнее прибежище человеческой надежды), если бы даже и там спросили его, разгадал ли, зачем ему, именно ему даны были талант и ум, и душа, и как распорядился дарами в отпущенные сроки земные, — он мог бы ответить: было, все было — и бездны сомнений и неверия, и страсти, и блуждания между последним отчаянием и последней надеждой. Но были же и взлеты души, прозрения мысли, откровения сердца и — вот плоды его жизни, все в них, по ним и судите.

Еще в 72-м прочитал он труд Николая Николаевича Страхова, который к тому времени успел уже разлюбить его, Достоевского, и, кажется, завязал новый идейный «роман» — с Толстым, а вскоре и вовсе «затолстел», ну да бог с ним — труд же его «Мир как целое» оставил долгую по себе память. Немало знакомых ему, зародившихся, видимо, в их общих беседах и спорах мыслей встретил здесь Достоевский.

Но одна — о том, что величие целого мироздания отражается на земле, в человеке; о том, что в духовной деятельности человека вполне вместилась сущность всего мира, — эта идея всегда была особенно близка ему. Гюйгенс, писал Страхов, исповедовал убеждение, что если на других планетах есть разумные существа, то у них непременно обнаружатся те же, что и у нас, науки: математика, астрономия, ибо законы разума везде едины. Но если так, то и красота везде — красота, истина всегда — истина и добро нигде и никогда не станет злом. И значит: красота, сотворенная здесь, озаряет и все мироздание; слово истины, сказанное на земле, сказано перед всем Миром.

А потому если б даже и кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать «Дон-Кихота»: «Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?» Да, он назвал тогда «Дон-Кихота», которого всегда высоко ценил, ибо «эта книга действительно великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет...» — так, помнится, написал он в одном из выпусков своего «Дневника писателя». Хотя, впрочем, мог бы назвать и Пушкина, и «Анну Каренину» Толстого... Мечталось и самому написать еще книгу такого же достоинства.

В самом начале 73-го на одной из «сред» Мещерский неожиданно предложил: почему бы Федору Михайловичу не взять на себя обязанности редактора «Гражданина» — еженедельника, издателем которого и был сам Владимир Петрович. Мысли заметались в смущении: слишком уж дурная репутация у одиозного «Гражданина». Ну да хлеб за брюхом не гоняется, а в реакционерах ему теперь, особенно после «Бесов», не привыкать ходить. Будь что будет — не раз рисковал, а уж как к черте подходил — все норовил переступить. Решил рискнуть и на этот раз; согласился с условием: часть «Гражданина» будет отдана под «Дневник писателя». Достоевскому давно мечталось повести с читателями прямой, непосредственный разговор в форме «Дневника писателя», потому что такой разговор должен быть постоянным, а не от случая к случаю. Условие было принято.

Правда, как оказалось, III отделение не решилось «принять на себя ответственность за будущую деятельность этого лица», то есть Достоевского, однако Мещерскому удалось уладить дело, и Федор Михайлович приступил к обязанностям. Прежде всего подготовил несколько статей для первых номеров, сразу начав с пропаганды заветной своей идеи: в основе всего лежат начала нравственные. Главное, что хотелось ему провести через все статьи «Дневника», — убеждение: «Нам всего ожидать от народа: он только даст нам лучших людей. Но для этого нужны условия, при которых мог бы дать народ лучших людей».

С появлением на страницах «Гражданина» Достоевского тираж издания сразу же удвоился — это не могло не порадовать Федора Михайловича: значит, его знают и ценят, к нему прислушиваются. Но первые же отзывы в печати принесли огорчения: «Многие мысли и положения «Дневника» до того странны, что могли появиться только в болезненно настроенном воображении»; «И что за ребяческий бред...»; «Г-н Достоевский фигурирует в качестве то добродушно, то нервно брюзжащего и всякую околесицу плетущего старика...» — наперебой, словно стараясь перещеголять одна другую, писали газеты.

— А нам еще велят верить, что голос так называемой прессы есть выражение общественного мнения. Увы! Это великая ложь — пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени, — утешал его Константин Петрович Победоносцев, намекая, что не дурно, а, напротив, весьма полезно для общества было бы закрыть

кое-какие из так называемых прогрессивных органов, да и цензуре стоило бы построже следить за печатью.

Но утешения не утешали: он-то был убежден как раз в обратном: «Полная свобода прессы необходима, иначе до сих пор дается право дрянным умишкам не высказываться и оставлять слово с намеком: «дескать пострадаем». Таким образом, за ними репутация не только «страдальцев», «гонимых произволом деспотизма», но и умных людей. Предполагается добрым читателем, что вот в том-то, что они не высказали, и заключаются перлы. И пренеприятнейшим сюрпризом для них была бы полная свобода прессы. Вдруг бы они увидели, что ведь нельзя врать, что над ними все рассмеются, — и этот испуг был бы над ними *посильнее цензуры*...»

«Дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам», — высказался наконец сам Николай Михайловский, ведущий критик «Отечественных записок». Мысль сама по себе совершенно верная, соглашался Достоевский, — если б только «Бесы» были поняты правильно. Но пресса пишет о них не иначе как в духе того же «болезненно настроенного воображения» и «старческого бреда». Словно ни Нечаева, ни нечаевщины как бы и вовсе не было, ни «Катехизиса», ни убийства Иванова, — одним словом: на волка поклеп, а кобы у, мол, зайцы съели... И если б дело было только в самом романе. А то ведь чуть не в глаза признаются: нападки на «Бесов», в которых находят клевету на все русское прогрессивное общество и из которых фельетонисты и пародисты сделали для себя чуть не козла отпущения — в большой мере все-таки повод. А главная причина травли автора «Бесов» не в самих «Бесах», а в том, что он «продал» свое имя и свой талант реакционному «Гражданину». Между тем после прихода в него Достоевского журнал быстро попал в реестр неблагонадежных — пошли по инстанциям бумаги о «предосудительном направлении», посыпались цензурные предупреждения о закрытии «Гражданина», да и многие публикации в нем, теперешнем, действительно трудно было без предвзятости отнести к официозу. Вокруг имени Достоевского взвихрились чуть ли уже не постоянные эпитеты: «отступник», «изменник», «маньяк». Рассказывали, что многие специально ходят в Академию художеств, где выставлен его портрет, написанный Перовым, чтобы убедить себя и других в том, что на нем изображен сумасшедший. Правда, некоторые и возражали: мол, скорее уж мыслителем и

пророком глядится на портрете писатель. Ну да сумасшедший, пророк ли — для большинства не все ли равно? Не утешали даже и редкие добрые вести и встречи, которые прежде вызвали бы восторг, — избрали его в члены Славянского благотворительного общества, побывал на выставке художников: понравились репинские «Бурлаки», «Остров Валаам» Куинджи, «Любители соловьиного пения» Маковского, но особенно перовские «Охотники на привале». «Что за прелесть! — Попробуй, растолкуй, хоть бы и немцу — так ведь не поймет, что это русский враль на картине и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства...» — поделился своими впечатлениями в «Дневнике». Но — мало у наших художников попыток найти и выразить идеал, — все больше к реальной, «как есть» действительности притяжение, а «идеал ведь тоже действительность. У нас как будто многие не знают того». Не понравилась ему и «Тайная вечеря» Ге: ну, разве же это Христос? — «Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой... но, спрашивается: где же и при чем тут последовавшие 18 веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное? Тут нет исторической правды, тут все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему, и это уж вовсе не реализм...»

Познакомился с Еленой Андреевной Штакеншнейдер, хозяйкой одного из знаменитых литературных салонов Петербурга, дочерью преуспевающего архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Случай свел и с известнейшим адвокатом и литератором Анатолием Федоровичем Кони: за публикацию не дозволенного цензурой материала о приеме императором киргизской делегации Достоевский был приговорен судом к двум суткам ареста на гауптвахте — на суде и познакомились и даже подружились.

И все-таки даже и эти добрые встречи не снимали нервного напряжения, создаваемого прессой, которая явно «давала знать», учила его уму-разуму, воспитывала его, как строптивого бурсака. Воспитывал по-своему и Победоносцев. Как-то пригласил на чай к себе домой, на Литейный. Человек суровый, непреклонно и педантично требовательный в делах государственных, служебных, в личной своей, домашней жизни, судя по всему, был он уступчив и даже нерешителен. О своих частных семейных делах —

видно, не блестящих — никогда не заговаривал. В огромном его кабинете, сплошь заставленном книжными шкафами, за огромным же столом, заваленным книгами и рукописями, они и пробеседовали до полуночи, пока хозяин не вспомнил, что гостю ведь еще домой добираться по ночному-то Петербургу. Несмотря на июльское время, в доме было достаточно прохладно. Константин Петрович собственноручно укутал его теплым пледом и сам же пошел провожать — хороша же должна была быть картина, если б кто мог подглядеть: по темным лестницам, обняв одной рукой Достоевского, придерживая плед на нем, и со свечой в другой руке шествует член Государственного совета, воспитатель наследника престола, «русский Торквемада», тускло поблескивает стеклами очков, договаривает последние на сегодня слова увещеваний полунищему писателю, литературному пролетарию. «То-то увидал бы кто из либералов-прогрессистов!» — подумалось.

Как-то там без него жена да детки в Старой Руссе? В это лето из-за своего редакторства удавалось к ним наведываться лишь на день-другой. Сутками сидел, спины не разгибая, правил чужие рукописи, чтоб хоть имя-то свое редакторское не стыдно было самому на обложке журнала читать, — спина гудит, ноги от постоянного сидения отяжелевают. И вот еще говорят — ворчлив-де, брюзглив, как худая муха в осень, сделался. Давно, кажется, привыкнуть можно бы — каков есть, таким и принимайте, не мальчик же, не переделать, даже и очень захоти, так нет же, все поучают, все учат, все лучше его самого знают, каким ему должно быть, как чувствовать, как понимать, как и о чем писать... Даже и Мещерский туда же: журнал-то его, — хозяин! Ну да Мещерского уже он не раз отбривал.

По журнальным делам часто бывал и в типографии Траншеля, где его явно не любили и воспринимали как «свихнувшегося». Сам владелец типографии встречал его приветливо, любезно раскланивался, а затем, как ему рассказывали потом, шипел вслед брезгливо: «Новый редактор «Гражданина», Достоевский знаменитый: этакая гниль...» Корректор, двадцатитрехлетняя Варвара Тимофеева, мечтавшая о будущем литературном поприще, а пока записывавшая по вечерам самые яркие впечатления дня, заносит в дневник: «Это был очень бледный —

землистой, болезненной, бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом». Она часто стала видеть Достоевского, рассказывает о тех днях девушка, но их свидания в первое время ограничивались только взаимными приветствиями или краткими замечаниями его по поводу той или иной корректурной правки. Она ссылалась на грамматику, а он раздражительно восклицал:

— У каждого автора свой собственный слог и своя собственная грамматика. Я ставлю запятую, где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо, там я не хочу, чтобы мне ее ставили!

— Значит, вашу орфографию можно только угадывать? — возражала Варвара Васильевна.

— Да! Угадывать. Непременно. Корректор и должен уметь угадывать! — сердито сдвигая брови, решал он.

Бедная Варвара Васильевна, не привыкшая к подобным странностям, вообще никак не могла понять раздражительности этого человека из-за какой-то запятой: весь облик Достоевского, как она записала, не мирился «с моим представлением об этом писателе-человеке, писателе-страдальце, писателе-сердцеведе».

Но однажды она подошла к нему, как обычно, чтобы попрощаться (он еще сидел за работой) и вдруг остановилась перед ним, как немая, запишет она, придя домой, «и так поразило меня в эти минуты его лицо! Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я его представляла себе, читая его романы! Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием губ... в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо великого человека, историческое лицо. Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, действительно гений, которому не надо слов, чтоб видеть и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем...»

А вскоре Варвара Васильевна почувствовала в нем лучшего своего друга и наставника.

— Ну, скажите мне, что вы здесь делаете? Знаете вы, зачем вы живете?

— Я хочу писать... — робко призналась она, и, к ее удивлению, он не рассмеялся.

— Вы только этим живете? — серьезно переспросил он. — Ну, если так, что ж, и пишите. И запомните мой завет: никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок! Никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизнь!

Иногда он оставался в типографии допоздна, а то и на всю ночь — домой, в пустую квартиру идти не хотелось, — работал прямо здесь, писал статьи для «Дневника» на осьмушках почтовой бумаги, а не писалось — делал наброски отдельных мыслей, впечатлений. Терзал его неотступный вопрос — о возможности исцеления России от язвы всенародного пьянства: без решения этого вопроса бессмысленно говорить о всех других надеждах, о вере даже и в ближайшее лучшее будущее. Кабак все более подменяет собой храм. Чем же оборачивается кабак? Народным развратом, воровством, ростовщичеством, разрушением семейственности и стыдом народным...

Нынче и женщины пьют! А уж пьяная баба себе не хозяйка, давно известно; хуже — дети пьют... Газеты хихикают: бронзовую руку у Ивана Сусанина пьяненькие отпилили и в кабак снесли, а в кабаке приняли! Какое может родиться поколение от таких отцов и матерей? Сквернословие чуть не в народную доблесть возвели, дескать, так уж привык народ свои чувства выражать: естественно, пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного... Все погибнет, все силы, все соки народные проклятый паук через кабак высосет, если сам народ не опомнится, а интеллигенция не поможет ему. Не раз вспоминалась ему притча, рассказанная Щедриным:

— Вы, немцы, черту душу продали, — дразнит русский.

— А вы, русские, тому же черту свою душу и вовсе даром отдали, — усмехается немец.

— Ну а коли даром, так и назад взять можем, — заключает русский.

Вот и пора бы, пока не поздно...

«Мне воображается, — писал Достоевский в «Дневнике», — что даже беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать, захоти только, сознай — что стоит за кабаком, чем грозит эта всенародная язва. В том-то и дело, что тут важна личность, характер — фантастическое предложение? Но хоть с чего-нибудь надо же начинать». А что до фантастично-

сти, так в России у нас истина почти всегда имеет характер вполне фантастический... По сто лет лежит порой истина перед тобой, прямо на столе лежит, а ты гоняешься за ней, придуманной, по всему белому свету, именно потому, что истинную-то истину и почитаешь фантастической и утопической...

Наблюдая за работающим Достоевским, Варвара Васильевна невольно думала о том, как, должно быть, глубоко страдает этот человек оттого, что слишком многие его не понимают, перетолковывают на свой лад, передергивают его идеи. Работая, он часто мрачнел, но вдруг, бывало, оторвет глаза от своих листков или корректуры и ни с того ни с сего скажет:

— А как это хорошо у Лермонтова:

Уста молчат, засох мой взор.
Но подавили грудь и ум
Непроходимых мук собор
С толпой неусыпимых дум...

Это перевод из Байрона, но у Лермонтова глубже вышло:

Непроходимых мук собор!

Этого нет у Байрона. Целая трагедия в одной строчке. Молчком про себя. Одно это слово «собор» чего стоит! Чисто русское...

Увлекался и вполголоса читал «Пророка» Пушкина, потом — Лермонтова... И сам делался похож на какого-то древнего провидца — глаза загорались, глуховатый голос напряженно набирал высоту.

Однажды им пришлось проработать над номером целую ночь. Варвара Васильевна записала: «...этот чердак — так называлась редакционная комнатка в мезонине типографии, — общий умственный труд, полное уединение с глазу на глаз с таким писателем, как Достоевский, — во всем этом была для меня какая-то особенная духовная красота, какое-то ни с чем не сравнимое упоение... Он курил, — он всегда очень много курил, — и мне видится до сих пор его бледная и худая рука с узловатыми пальцами, с вдавленной чертой вокруг кисти, — быть может, следами каторжных кандалов, видится, как рука эта тушит докуренную толстую папиросу... Мне видится, как лампа начинает постепенно меркнуть, и бледный утренний свет заливает всю комнату, и как Федор Михайлович, положив ногу на ногу, охватив колено руками... говорит своим напряженно глухим грудным голосом:

— Вот мы с вами сидим тут, на этом чердаке, работаем до белого дня, а сколько людей теперь веселятся беспечно вокруг нас! И в голову им даже никогда не придет, что вот вы — молодая, а не променяете вашей жизни на их...

Меня волновал его голос и волновали слова... я думала не о себе, а о нем — о красоте душевной этого человека... Знаменитый писатель, больной — и по доброй воле делил теперь со мной эту тяжелую жизнь, чтоб облегчить хоть на миг для меня ее гнетущую тяжесть. Он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. И это было такое могучее, радостное чувство подъема и веры в себя и в людей и благословения этой трудной, тяжелой, но истинно человеческой жизни!..»

3. Дышать трудно...

...Анна Григорьевна не просыпалась, и он все еще не решался будить ее — видно, всю ночь не спала, придремнула лишь на рассвете. Да, огорчил он ее. Огорчил и напугал. 81-й начался для них счастливо, Федор Михайлович наконец надолго почувствовал себя бодро, и даже когда два дня назад, ночью 26 января, у него вдруг пошла горлом кровь, он особо не встревожился, крови вышло немного, и он, не почувствовав заметного ухудшения состояния, как и сейчас, не стал будить жену и рассказал ей о случившемся лишь на следующий день. Анна Григорьевна тем не менее встревожилась не на шутку и, не тратя времени на уговоры, послала за Яковом Богдановичем Бретцелем, их постоянным врачом. Федор Михайлович шутил, играл с детьми, но, когда собрались обедать, он вдруг осел тяжело на диван, по его подбородку побежала тонкая струйка крови, дышать стало трудно...

Теперь он припоминал, дышать стало трудно еще с начала 74-го: появилась сильная хрипота при дыхании, но тогда он слишком не встревожился, и без того было о чем заботиться, и он знал почти наверняка свою погубительницу — проклятую эпилепсию, дело только во времени, — так что на остальные хвори всерьез и не смотрел. Начал, правда, тогда же лечиться от одышки сжатым воздухом в лечебнице доктора Симонова, но куда

серьезнее беспокоило его другое: все труднее дышалось ему, как бы это сказать, — общественно, что ли? Для одних он слишком «правый», для других слишком «левый», одни ругают почем зря — зачем он не прогрессист, не либерал, не нигилист; другие пытаются сделать из него воинствующего или хотя бы лояльного сторонника административно-правительственной политики... Нет, господа, он не нигилист, не прогрессист, но он и не реакционер, и не официальный деятель; он — Достоевский, и этим все сказано. Пристают: каково же тогда ваше направление? Да не читают они его совсем, что ли? — Мое направление-то, за которое не дают чинов, господа, ни официальных, ни либеральных, — раздражался он нередко в последнее время. — А ваше направление, так сказать, сплетническое, господа газетчики, либеральные и официозные...

Дался им «Гражданин»! Он, Достоевский, и в нем и без него, сам по себе — гражданин, неужели так трудно хоть это-то понять... Журнал — серьезное материальное подспорье семье: деньги за романы тут же уплывают к кредиторам. К тому же «Гражданин» дает единственную возможность постоянного общения с читателями — через «Дневник». Правда, в последнее время давление князя Мещерского как хозяина-издателя стало принимать все более беспрекословную форму. Достоевский решительно воспротивился такого рода отношениям. Когда же Мещерский потребовал оставить в журнале забракованную Достоевским свою статью о необходимости полицейского надзора за учащейся молодежью, Федор Михайлович резко заявил: «Ваша мысль глубоко противна мне». А вскоре и вовсе подал заявление об освобождении его от обязанностей редактора «Гражданина» и с апреля снова стал свободен. В мае они всей семьей уехали в Старую Руссу. Иван Иванович Румянцев, не ждавший уже гостей, успел, правда, сдать домик другим жильцам; сняли новый, на самом берегу Перерытицы, у отставного подполковника Гриббе, Александра Карловича. Домик пришелся по душе: сад с беседкой в глубине, русская банька... Наконец-то у него снова появилось время бывать с детьми — купил им маленький детский органчик, под который, к немалому удивлению хозяев и соседей, устраивал кадрили с Любочкой, а то и с самой Анной Григорьевной вальсировал. Но особенно хорош был в мазурке и даже гордился, что отплясывает ее, как завзятый поляк. В такие минуты Федор Михайлович напоминал жене озорного ребенка, а

дети, кажется, и вовсе принимали отца за ровесника-сотоварища. После обеда — непременно вместе с детьми и Прохоровной, нянюшкой маленького Феди, большой любительницей пропустить перед едой рюмочку, так что Федор Михайлович всегда звал ее: «Нянюшка — водочки!», что и служило всеобщим сигналом к обеду, — он выпивал обыкновенно еще одну-две чашки кофе и принимался рассказывать детям сказки и басни Крылова. Спать ложились по-провинциальному рано, с заходом солнца, отец благословлял деток на сон грядущий своим любимым еще с младенческих лет материнским благословением: «Все упование на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани под покровом Твоим», после чего уходил в свой кабинет. Работал, как всегда, до пяти-шести утра...

Не шел из головы неожиданный апрельский, еще до отъезда в Старую Руссу, визит. Встал он в тот день, как обычно, около часу и не успел еще одеться — жена входит, взволнованная, подает визитную карточку. Читает — глазам не верит: «Николай Алексеевич Некрасов». Вот уж второй десяток лет пошел, как воюют они друг с другом в журналах, хотя и не напрямую, конечно. Да и лично с Николаем Алексеевичем, почитай, лет шесть-семь не видались вовсе, даже и случайно, к чему бы этот приход? Разговор поначалу не вязался, потом вспомнили молодость, Белинского, ту незабываемую ночь, когда с Григоровичем читали «Бедных людей»... Некрасов грустно, ненавязчиво оглядывал более чем скромное жилье Федора Михайловича, сам-то он уже расквитался с бедностью давней юности. Миллиона не нажил, конечно, но средств теперь у него достаточно для вполне безбедного житья: и дача для работы, и дача охотничья с псарней, и квартира в Петербурге — не хуже, чем у других, да что в этом — болезни вот одолевают, сказывается-то голодная молодость. И с Авдотьей Яковлевной не ужились, ну да об этом что ж говорить: драма, до конца дней не избудется...

И вдруг, то ли стесняясь чего, то ли как бы даже извиняясь за что-то, предложил Федору Михайловичу отдать будущий роман в свои «Отечественные записки». По 250 с листа. Катков-то небось больше 150 и не платил?

Федор Михайлович роман вгорячах пообещал, хотя еще и замысла-то, даже общего, в голове не сложилось;

но с условием — во-первых, он должен предварительно все-таки предупредить Каткова, который столько раз выручал его из крайнего безденежья, а во-вторых, желательно бы аванс, тыщи две-три, иначе на что же существовать, пока он над романом будет сидеть.

— Ну, так и по рукам...

— Последнее, Николай Алексеевич, последнее... Я еще должен с женой посоветоваться, — как она к этому отнесется, — Федор Михайлович, видя, как вытянулось лицо у Николая Алексеевича, даже сконфузился.

Анна Григорьевна в последнее время выдумала взять в свои руки все его издательские дела — Федор Михайлович удивился было, воспротивился, но, видя, с каким интересом она говорит об этих делах, почувствовав, что ее неуемному характеру хочется проявить себя на пользу их общему делу и семье — для нее эти понятия неотрывны, — он в конце концов согласился, решив для себя, правда, что все равно у нее ничего не получится, так и сама успокоится. Но Анна Григорьевна взялась за дело с энтузиазмом: подсчитала, сколько средств необходимо на бумагу, сколько на типографию, учла все варианты предприятия — оказалось, что, кроме кредиторов, их просто грабят десятки посредников между писателем и издателем. Все посреднические обязанности она взяла на себя, и уже на издании «Бесов» отдельной книгою они, отсчитав намеченную заранее сумму в счет долгов, и сами впервые остались при деньгах. Полностью уверовав в деловой талант жены, Федор Михайлович теперь и вовсе ничего не предпринимал без ее совета и участия.

Он отворил дверь кабинета, чтобы позвать Анну Григорьевну, но не успел открыть рта, как она, смущенно глядя на Николая Алексеевича и закрасневшись, выпалила:

— Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно!

— А ты как знаешь-то о предложении?

— Да я слышала... за дверью стояла...

— Как же тебе не совестно? — огорчился Федор Михайлович.

— Ничего не стыдно! Ведь ты же мне все равно бы все рассказал, да и дело наше, общее...

Федору Михайловичу осталось только расхохотаться и, глядя на добродушно ухмыляющегося Некрасова, развести руками.

Собственно, замыслов-то у него, как всегда, предостаточно, но не было пока захватывающей его целиком идеи нового произведения. Время от времени вспоминалась и будоражила давняя, из каторжных впечатлений, история офицера Ильинского, попавшего в острог по обвинению в убийстве и через несколько лет освобожденного, поскольку обнаружился убийца подлинный. А совсем недавно услышал подобную же историю, случившуюся лет 20 назад в Тобольске: «Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Улики на старшего... Осуждают на каторгу... Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга», — записывает он в тетрадь, намечая уже на всякий случай художественные, психологические штрихи, вдруг да пригодятся: «С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, объявляет жене, что он убил...

Конец: тот возвращается. Этот на пересыльном. Его отсылают... Младший просит старшего быть отцом его детей. «На правый путь ступил!»

А совсем недавно удивил его, и немало, еще один отзыв о «Бесах»: Михайловский упрекнул его, что не понял он-де социалистов, оттого и отшатнулся от них, а напрасно — социализм-де в России был бы непременно консервативен. Да что ж это, критик как будто даже решил его этим утешить, предположив, очевидно, что он, Достоевский, — непременно консерватор, во всем и во что бы то ни стало. «Смею уверить господина Михайловского, что лик мира сего мне самому даже очень не нравится», — пишет Федор Михайлович. Что ж, консерватизм — идея общественной сохранности существующего и даже прямо охранительная идея могут стать и подлинно жизненными. Но только в таком обществе, охранять которое от вечного бесовского искуса разрушительства во имя разрушительства будет воистину высокой духовной миссией. Быть же консерватором, охранителем в обществе, охваченном зудом разврата, поклонения деньгам, где утверждаются любые, самые грубые, идеи, уничтожающие веру, где уже и крестьяне отстаивают в пожар не церкви, а кабаки, — быть консерватором в таком обществе — значит радоваться всему этому, значит желать России скорейшей погибели.

Это господам акционерам-предпринимателям зреет

время выделываться в охранителей беспорядка, ибо в мутной воде проще рыбу ловить, то есть прибыли, и миллионные. Но прав, в чем-то все-таки прав и Михайловский, упрекая его за «Бесов»: «Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, благоразумные и рвут ее с алчностью хищной птицы. Россия перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты этого мира... В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла...» Прав, прав Михайловский: взять хоть владельца Азовской, Ростово-Воронежской, Орлово-Грязской, Фастовской и Бендеро-Галицкой железных дорог Самуила Соломоновича Полякова — начинал десятником на укладке шоссе, поднажился на щебенке, стал владельцем почтовой станции в имении министра почт и телеграфов, сумел втереться к нему в доверие, тот и передал в его руки строительство железных дорог. Спекуляциями и аферами нажил миллионы — теперь монополист, большой человек в государстве. Даже меценатствует — на высосанные из народа денежки в Петербурге и Москве синагоги настроил. И сколько таких миллионщиков — православных ли, иудеев ли — не все ли равно — по России-матушке развелось! Что им до России, тем более народной, до ее бед? У них свои цели, они ведь сами по себе — «государство в государстве», эти господа капиталисты. Но власти отчего-то считают их опорой государства — интересы, мол, совпадают. На железных дорогах того же Полякова раз за разом крушения, и все с новобранцами-рекрутами. Но господа акционеры набивают себе карман даже на несчастьях, даже крушения приносят им прибыли, ну а раз это выгодно им, стало быть, и государству.

Нет, господин Михайловский, не нужно Достоевского в консерваторы записывать: ныне настоящие консерваторы — прогрессисты да либералы, а уж в прогрессисты и либералы его не заманишь. Либералы — так те, пожалуй, сегодня не то что консерваторами, но и прямо реакционерами должны сделаться, такова уж действительность: связали себя либерализмом и, «когда надо высказать свободное мнение, трепещут прежде всего: либерально ли будет? И выкидывают порой такие либерализмы, что и самому страшному деспотизму и насилию не придумать», — записывает он мысли для

«Дневника», если таковой удастся когда-нибудь возобновить.

Но вот мысль Михайловского о том, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его, чрезвычайно поразила Федора Михайловича: по-видимому, Михайловский знает, о чем пишет, ведь он так много занимается этими темами. Что ж, Достоевский и сам порою склонялся к тому, что социализм в идеале — то же христианство, только социализм надеется устроить будущее общество не на духовном единстве, а исключительно на разуме. Но голый разум, считал он, — вещь чрезвычайно соблазнительная и страшная, без главенства над ним высшей духовной идеи, без высшего нравственного начала. Здесь-то и главный пункт его несогласия с теми социалистическими системами, которые он знает по Фурье, Оуэну, Кабе, а новые, кажется, ничего нового пока не сказали, во всяком случае, ему ничего нового пока не встречалось. Так что пусть уж лучше считают его хоть бы и консерватором, но он предпочитает верить в будущее, устроенное на началах исконной народной правды.

Хотелось бы написать роман «Беспорядок»: о мире хаоса — нравственного, общественного, в котором начинает господствовать идея наживы, идея Ротшильда, как идея высшая, чуть ли не единственная, достойная разумного человека. Но сюжет пока не складывался, стержня не хватало, чтобы выдержал на себе груз новых и старых, увиденных по-новому идей. Ходил по кабинету своей петербургской квартиры — успели за это время сменить еще две, — когда уж кончатся эти переезды? Вот и с очередным хозяином, господином Сливчанским, как ужиться? Встает чуть свет и целый день скрипит по всем лестницам, шпионит, что ли, за всеми? Придирается по каждой мелочи, ни с того ни с сего не пропускает к нему посыльного из редакции, так как ему «не нравится его русское платье», ключ дворнику оставить и то не позволяет, нет, придется и эту менять, — где уж тут сюжет найти, тут бы себя не потерять. Народ бывает у него все более молодой: вот познакомился с братьями Соловьевыми, сыновьями известного историка Сергея Михайловича Соловьева, сначала с молодым романистом Всеволодом Сергеевичем, потом и с молодым философом Владимиром — он напомнил ему своей внешностью дру-

га молодости — Шидловского, и по какому-то совпадению, как и тот, очень интересуется историей церкви. Умный молодой человек, образованный. Достоевский уже побывал на одной из его лекций, и кое-что показалось ему интересным. Но мало, что и без того приходится конфузиться своей бедности — ветхих темных лестниц, старой, дешевой мебели, так еще многие нередко приходят, и приходят-то, не предупредив заранее, — только уйдешь в роман, только мысль забрезжит, образ увидится, вдруг — гости, а потом жалуются: хозяин нелюбезен, молчит...

Бывало, вспоминал Всеволод Соловьев, «встречая гостя, Достоевский молча и мрачно протягивал ему руку и сейчас же принимал такой вид, как будто совсем даже и не замечает его присутствия. Но гость, если он хорошо знал писателя, не обращал на это внимания, спокойно усаживался, закуривал папиросу и брал в руки первую попавшуюся книгу.

Молчание продолжалось довольно долго, и только время от времени... писатель искоса поглядывал на посетителя, раздувал ноздри и тихонько крякал... обращал к пришедшему свое милое, изо всех сил старавшееся казаться злым лицо:

— Разве так делают порядочные люди? Пришел, взял книгу, сидит и молчит!..

— А разве так порядочные люди принимают своих посетителей? Едва протянул руку, отвернулся и молчит.

Достоевский улыбался и в знак примирения протягивал свои папиросы... Когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо... Он подходил к своему маленькому шкафчику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол... Он был большой лакомка».

Оставшись снова один, долго пытался вызвать в памяти оборванную посетителем на полуслове, еще не успевшую завязаться мысль...

Да, лик мира сего требует обновления, возрождения. Главное — сохранить бы народную нравственность, культуру, идеалы народные; разгадать бы тайну народного безмолвия. Помочь бы народу стать личностью — вот задача, а для этого нужна идея общего дела, которая объединила бы всех в единое целое, в нацию, ибо народ, ставший нацией, — духовно взрослый народ; нация — не что иное, как народная личность. А у нас каждый сам

по себе, все за себя — один Бог за всех. Всякий немец, например, побитый русским, несомненно, сочтет в своем лице оскорбленной всю свою нацию. Русский же, побитый немцем, о нации не подумает, а, пожалуй, еще и утешится тем, что получил плюху все-таки от цивилизованного человека. Не цивилизацией расцветает народ, но идеей — тогда и цивилизация в пользу пойдет. И ведь страшно подумать: идешь иной раз по улице — и видишь, быть может, Шекспира, а он — в извозчиках; это, может быть, Рафаэль, а он в кузнецах... Неужели же только малая верхушка людей должна проявлять себя, а остальные должны гибнуть?.. «Я никогда не мог понять смысла, — записывает он в тетрадь, — что лишь $^1/_{10}$ людей должны получать высшее развитие, а что остальные $^9/_{10}$ служат лишь матерьялом и средством... Эта идея ужасная и совершенно антихристианская. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верою, что все наши девяносто миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованны и развиты, очеловечены и счастливы... С условием 10-й лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации...»

Нужны люди, лучшие люди из образованного сословия, которые прониклись бы идеей служения народу. В этом служении и определятся истинно лучшие люди. Не могут не определиться лучшие люди в смысле *сознателей* правды народной. Молодежь с энтузиазмом пошла в народ, но не за тем, чтоб узнать мужика, а чтоб научить его. Чему? Вот и народ их не узнал — послушает, послушает да сам же и потащит учителя своего к уряднику и без того, мол, житье несладкое, да еще эти чего-то непонятное замышляют...

Везде что-то замышляется и свершается — во Франции пытаются реставрировать Бурбонов, на Балканах началась освободительная борьба славян против турок.

Покоя не будет — будущность чревата...

Глава II

ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ

Великие души не могут не иметь
и великие предчувствия.

Достоевский

Всякий, кто захотел истины,
уже страшно силен.

Достоевский

1. Жажда обновления

Вот уже с час лежит он с открытыми глазами, почти не шевелясь, словно боясь вспугнуть то странное состояние, которое пришло вдруг сейчас; будто открывалась ему в эти мгновения тайна, превосходящая ум человеческий, и показалось — то, что происходит сейчас с ним, происходит со всем миром: близко время его, «при дверех». Словно забежала в мир какая-то Piccola bestia, и все, словно укушенные проклятым насекомым, перестают понимать друг друга. Начало зла — в отсутствии предания, высшей идеи, без которой нет ни человека, ни семьи, ни общества, ни нации, ни понимания между ними, хотя идей хоть отбавляй, и все сваливаются на человечество как камни, и что ни идея, то — разрушительная.

Он, кажется, снова пророчествует... Впрочем, что ж, — быть русским писателем и не пророчествовать?

Его всегда мучительно волновал этот вопрос: существует ли пророчество, то есть существует ли в человеке способность пророческая как естественная способность, заключающаяся в самой его природе? Современная наука, столь много трактующая о человеке и даже уже решившая много вопросов окончательно, как сама она полагает, кажется, никогда еще не занималась вопросом о способности пророчества в человеке. Потому что заниматься таким вопросом, даже только ставить его, в наш век недостаточно либерально и может скомпрометировать серьезного человека...

Как слово западает в человека и какими путями приходит к нему? То слово, чтоб даже если кончится когда-нибудь Земля и обратится, по науке, в ледяной камень и будет летать в безжизненном пространстве среди бесконечного множества таких же ледяных камней, — чтоб и тогда оставалось это слово, по которому растопились бы льды и снова началась бы жизнь — с ее страстями и сомнениями, отчаяниями и надеждами, с ее великой верой в неистребимое, вечное, могучее, все возрождающее Слово.

«Все в будущем столетии... Россия — новое Слово...» — записывает Достоевский в свою тетрадь. Он помнит, как нелегко давался тогда этот новый его роман, как чуть не до отчаяния овладевала тогда им чувствовавшаяся во всем идея разложения — все врозь, и никаких не остается связей в русском семействе. Даже дети врозь...

«— Столпотворение вавилонское, — говорит Он. — Ну, вот мы, русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагается.

— Ну нет, народ...

— Народ тоже...

Разложение — главная видимая мысль романа», — записал тогда Федор Михайлович одну из важнейших идей будущего произведения, не имевшего еще ни названия, ни сюжета, ни имени главного героя — просто Он.

Сначала хотел написать «роман о детях, единственно о детях и о герое — ребенке», но, как ни отвергал, как ни пытался обойтись на этот раз в новом романе без искушенного мыслью героя, современного Гамлета, мыслителя-идеолога, которого и обозначил пока просто Он, — никак не мог отделаться от него. А тут еще проклятая эмфизема легких, да такая, что и сжатый кислород не помогает. Врачи категорически настаивают на водах — придется ехать за границу, и как это некстати!

Девятого июня 75-го года он уже был в Берлине, а через несколько дней прибыл и в Эмс с его знаменитой водолечебницей. Лечился, работал над планом романа, но он почти совсем не двигался, так что порой находило даже смущение — что, если он уже и вообще выдохся, исписался? «У меня тоска чрезвычайная. Не понимаю, как проживу здесь месяц», — жаловался в письмах. В начале августа заехал в Женеву, постоял у могилки Сонечки... А 10-го уже вернулся в Старую Руссу.

Герой — Он — получил наконец фамилию: Верси-

лов. Старинного дворянского рода, полжизни проведший в Европе, этот герой виделся ему теперь уже более определенно: он будет носителем высшей русской культурной мысли и всепримиримости; не открыв Россию в самой России, он попытается найти себя и свою Россию в Европе и через Европу, как это случилось реально с Герценом, — считал Достоевский, — или нравственно с Чаадаевым. Нет, он, конечно, не собирался воспроизводить в своем Версилове ни самого Герцена, ни Чаадаева, но и они, их судьбы, их духовные искания должны бы отразиться в идее Версилова — европейского скитальца с русскою душой. У нас принято противопоставлять Россию и Европу, в Версилове обе эти идеи, обе духовные родины — западников и славянофилов — должны соединиться, как в Герцене, писавшем, например, в «Колоколе» по случаю смерти одного из ведущих славянофилов — Константина Аксакова: «У них и у нас — то есть у славянофилов и у западников — запало с ранних лет одно сильное, безотчетное... страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество: чувство безграничной, охватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума... Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка... Мы знали, что ее счастье впереди, что под ее сердцем... — наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».

Вот это-то чувство, эту способность «всемирного боления за всех» Достоевский решил отдать своему Версилову, вернувшемуся в Россию, чтобы найти ту крестьянку, которая носила под сердцем его сына; найти и сына своего, чтобы передать ему опыт своей судьбы, потому что в сыне его — будущее России, а значит, и Европы и всего мира... В русской идее Версилова Россия вместит в себя и Европу, всю ее культуру, накопленную веками и всеми народами Запада, и не растворится в ней, а соединится в новом, высшем синтезе, в котором совокупятся все души народов в понимании и сочувствии.

Достоевский еще и еще перечитывает Герцена, Чаадаева, вновь убеждается: Версилов не будет выдумкой, он действительно реальный, «высший культурный тип» русского мыслителя-всеевропейца. Герцен на Западе должен был страдать, а, по его собственным словам, «страдать вдвойне, страдать от своего горя и от горя Европы, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому она несется на всех парах, погибнуть от отчаяния, разъедавшего душу, парализующего волю к действию. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели, — писал Герцен. — ...В самый темный час холодной и неприветливой ночи, стоя средь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло...

За эту веру в нее, за это исцеление ею — благодарю я мою родину».

Да, Версилова Достоевский теперь видел уже достаточно определенно. Но роман все-таки не шел. Не шел, и все тут. Пока не отыскал новый ход.

«Герой не Он, а МАЛЬЧИК», именно потому, что будущее все-таки не за Версиловым, не за «отцами», но — за «детьми». Как осознают себя сами «дети», как воспринимают опыт отцов? Тут нужна форма исповеди, но способен ли ребенок не просто осознать, но и воспроизвести в слове все те идеи, которые уже сложились в связи с образом Версилова, от которого он ни в коей мере не собирался отказываться? Решил — герою будет лет 20 — возраст переходный: человек уже способен все понимать, жизнь уже успела дотронуться до его души своим липким прикосновением, но он еще и не настолько искушен жизнью, чтобы потерять искренность, непосредственность ребенка.

«Я взял душу безгрешную, — объяснял он сам чуть позже, — но уже загаженную страшной возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и случайность свою...» Случайный плод случайного сожития аристократа Версилова с крестьянкой, его сын ощущает жизнь и все в мире через свою раннюю оскорбленность — тоже как случайность и всеобщую разъединенность. Он уже познал истину — все позволено, потому что нет высшей идеи, в которую верили бы все свято, но и без идеи нельзя, и ему нужно самому найти, выработать ее хотя бы для себя самого. Как она нисходит в юную душу? — Пусть сам и поведает — решил писать роман от лица подростка. Не озаглавить ли: «Вступление на поприще»? или — «Беспорядок»? или как у Тургенева — «Отцы и дети»? или... В конце концов назвал: «Подросток». Потом добавил: «Подросток. Исповедь великого грешника, писанная для себя», — потому что он прой-

дет через многие искушения, через разврат мысли и чувства, но, будучи по природе идеалистом, не потеряет веры в правду. Но что считать за правду? «Нравственных идей ни одной не осталось, и, главное, с таким видом, будто их никогда и вовсе не было. Помутились источники жизни», — набрасывает он. И как найти ответ подростку, как и во имя чего жить в мире хаоса, беспорядка, вседозволенности и всеобщего разложения?

Общество охвачено настоящей эпидемией убийств и самоубийств: детоубийства, отце- и даже материубийства сделались явлениями не единичными и, что страшно, никого уже не потрясают: привыкли. Среди самоубийц — крестьяне, женщины, дети. За последние пять лет население Петербурга увеличилось на 15 процентов, а рост самоубийств — на 300...

Близкий знакомый Достоевского, адвокат Кони только что опубликовал в «Русском календаре» Суворина на 1875 год эти жуткие цифры. «Комедии, драмы, оперы, оперетки, балы и вечера — словом, все обстоит благополучно, — читал он в «Календаре», — «событий» бездна! И вдруг, среди беззаботного веселья и разгула словно погребальный, зловещий аккорд раздается, чуть ли не ежедневно: пустил себе пулю в лоб, утопился, зарезался, приняла яду... Убивают себя из-за ничего, лишают себя жизни — взрослые и юные, мужчины и женщины, люди, надломленные жизнью, усталые, и люди, еще не начавшие жить, юноши, почти дети...» Появились даже идейные самоубийцы. И Достоевский решил ввести в роман обрусевшего немца Крафта, который, постоянно размышляя о судьбе России, пришел вдруг к выводу, что история русского народа подходит к концу, что народу предназначено теперь лишь послужить материалом для более «благородного» племени, а потому, решит он, и вовсе не стоит жить в качестве русского — и кончит самоубийством.

Но даже и в подобных, болезненно-извращенных вывихах разума виделась Достоевскому все та же потребность молодого поколения в руководящей идее, доводящей порой до чудовищных крайностей. Даже и в честном, самоотверженном нигилизме видел он теперь проявление именно такой крайности. Тем более необходимо четко и решительно отделить в романе «истинный нигилизм, всегда связанный с социализмом», — записывает он, — от «нигилятины» — «нахального отрицания с чужого голоса».

Подросток пройдет и через подобные искушения, ибо близок с Крафтом, и со всем его кружком молодых людей, ищущих осмысленной жизни и дела среди всеобщей, как им представляется, бессмысленности. Газеты в это время пестрели отчетами о процессе группы Долгушина, многие из долгушинцев проходили еще и по делу Нечаева. И в какие же глухие дебри бездуховности уводит порой поиск истины: жена Долгушина объясняла, например, в ходе следствия задачи и цели кружка: «Собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был вопрос о «нормальном человеке». При этом разбирались потребности человека с его физиологической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество суть главнейшие причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям». В спор с участниками кружка Дергачева, в котором читатели сразу же распознают Долгушина, в спор о подмене высшей нравственной руководящей идеи вопросом об удовлетворении своих физиологических потребностей, вступит в романе и Подросток.

Что ж, удивляться «вывихам» детей не приходится: «Теперешнее поколение — плоды нигилятины отцов. Страшные плоды. Но и их очередь придет. Подымается поколение детей, которое возненавидит своих отцов». Но не только в культурном, образованном слое общества замутились источники нравственного отношения к жизни, видно по всему — не избежать ему искушения. Кабак, по замечанию Герцена, вполне замещает теперь место и функции фельдъегеря, стоявшего над русским народом. Вот уж что действительно чревато будущим...

Одна из газетных заметок потрясла Достоевского: «На Волге, между городами Самарой и Саратовом, сорвавшийся плот с четырьмя крестьянами несся, затертый льдинами, в продолжение трех суток. Во всех селах, где проходил этот плот, никто из жителей не пришел несчастным на помощь, несмотря на отчаянные их крики. Воля ваша, — Достоевскому оставалось только согласно трясти головой, читая как бы свое собственное заключение: — Воля ваша, а факт этот нов в анналах русской народной жизни», — где черт не сеял, там и не пожнет...

В творческом воображении Достоевского порою даже и сугубо научные, естественные наблюдения поднимались до символа: в работе Страхова «Мир как целое» вычитал он, что паразиты по своей природе — очень слепой на-

род, видят только то, что у самого носа, и притом совершенно глухи и не имеют понятия ни о каких размерах, но зато в них выработалось сверхчувствительное обоняние, безошибочно влекущее их туда, где можно насытиться кровью животных или человека, — им-то все равно — и к тому же еще и чуткое осязание, позволяющее по малейшим признакам опасности незаметно притаиться, ускользнуть, словно раствориться. Но отвлекись на мгновение — и они снова присосались и вот уже рдеют твоей кровью. И что же, как не те же гражданские, нравственные глухота и слепота определяют нынче паразитическое отношение наших отечественных мироедов и к народу, и к самой земле русской? «Ныне безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь... Кто это делает? Купечество, скупающее землю и старинное дворянство... Явись новый молодой хозяин с надеждами, посади дерево, и над ним расхохочутся: «Разве, дескать, ты до него доживешь?» С другой стороны — желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет... Идея о детях, идея об отечестве, идея о целом, о будущем идеале — все эти идеи существуют, разбиты, подкопаны, осмеяны, оправданы беззаконностью. Человек, истощающий почву с тем, чтоб «с меня только стало», потерял духовность и высшую идею свою...

Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России...»

И старый знакомый по Бадену — паучок успел оплести своей липкой паутиной с узелками частных игорных домов — от великосветских салонов до откровенных притонов — чуть не весь Петербург. Как уйти его Подростку от этого соблазна, если он, никому не известный, случайный человек, оскорбленный от рождения, здесь, за игорным столом, чувствует себя на равных с генералами, сенаторами, министрами, посланниками, аристократами? «Я уже тогда развратился, — признается сам Подросток, — мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от собственного рысака, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого...»

Миллион — разве и сам Достоевский легко излечился от его ядовитых укусов? Разве порою не попадают в его липкие лапки даже и лучшие из его современников? Достоевский давно слышал, что Некрасов — страстный и удачливый игрок. Напиши — скажут, фантастика, и тем не менее — факт: Кони недавно возбудил дело против

содержателя одного из крупнейших в Петербурге игорных домов, и вдруг приходит к нему Некрасов и не без тревоги справляется, правда ли, будто собираются привлечь и лиц, выигрывавших крупные суммы, а эти деньги конфисковать? На недоуменный вопрос о причинах тревоги Николай Алексеевич объяснил, что если слухи подтвердятся, то это может гибельно сказаться на судьбе «Отечественных записок»...

Достоевский уже подумывал, не наделить ли своего Подростка чертами, нет, не характера, а судьбы молодого Некрасова — да и столь ли уж резко разнилась она и от судьбы самого Достоевского в юности? — оба без семьи, без связей, рано уязвленные амбицией «маленького человека» с гениальной природой, которую удастся ли еще проявить? На всю жизнь запомнил он стихи Некрасова:

На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей,
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом, по виду смешон.
Да сорок лет минуло времени, —
В кармане моем миллион.

Да, Миллион рано должен был сделаться демоном Некрасова — размышлял теперь Достоевский. Таким будет и его Подросток: в мире взаимопоедания, безверия увидит он единственное надежное средство самоутверждения — в миллионе. Это, размышляет Подросток, «единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество...».

— Да, «моя идея, — формулирует наконец он свое кредо, — это — стать Ротшильдом... Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне со своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, — разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон — и я затемнен, а чуть я Ротшильд — где Пирон, да может быть, где и

Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество...»

Не так давно Достоевский прочитал в одном из журналов очерк «Заграничные дорожные эскизы», в котором, между прочим, рассказывался и такой случай: по пути в Вену в вагон поезда сел какой-то весьма важный господин неизвестной национальности, но вполне определенного состояния, и вдруг сидевший в вагоне щеголь австриец, только что кичившийся перед всеми своим известнейшим и древним баронским родом, вскочил и начал подобострастно раскланиваться перед денежным мешком во плоти, изъявляя полнейшую готовность обратиться в подушку для него или даже уничтожиться вовсе, лишь бы господину банкиру было удобно. Барон снял с банкира туфли, а тот как само собой разумеющееся не счел его поступок даже за услугу... Эпизод этот запомнился и тоже вошел в роман. Не забыл Достоевский и рассказ Герцена в «Былом и думах» о том, как «царь иудейский» продемонстрировал свое могущество перед «купцом Романовым» — самодержцем российским.

Помнил Достоевский — еще со времен кружка Петрашевского — споры о том, как относиться к призыву видного сенсимониста Анфантена, — «Социалистам необходимо идти к Ротшильду на выучку».

— Ротшильд и другие властители капиталов, — заявил тогда Петрашевский, — с помощью кредита и биржевой игры производят разбой, и нет ни одного волнения народного, от которого, при видимой сперва потере, не нажился бы Ротшильд.

Буржуазная по своей социально-исторической сути, «ротшильдовская» идея власти денег над миром по своей «нравственной» природе не что иное, как идея власти ничтожества, посредственности, и вот эта-то идея и присосалась к сердцу Подростка, уязвленного именно своим социальным ничтожеством, своей «безродностью», случайностью. «Мне нравилось ужасно, — признается он даже с каким-то сладострастием, — представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: «Вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, а вот я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились».

Отправив первую часть «Подростка» в «Отечественные записки», Достоевский с тревогой ждал: как-то примут? Через несколько дней пришел к нему Некрасов, чтобы, как заявил он чуть не с порога, «выразить свой восторг» от прочитанного.

— Всю ночь читал — до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволяю себе увлекаться подобным образом. И какая, батюшка, у вас свежесть!

Отдельные главы показались ему даже «верхом совершенства», в других, правда, нашел избыток чисто внешних происшествий, но в целом остался «доволен ужасно».

— Ради бога, не спешите теперь, не портите, — уж слишком хорошо началось.

Предложил пропустить март, чтобы подготовить следующую часть к апрелю—маю, что действительно давало Федору Михайловичу возможность хоть небольшой передышки, к тому же врачи настаивали на повторной поездке в Эмс, куда он и прибыл 28 мая 1875 года. За границей работа, как и в прошлый раз, не заладилась — тоска нашла по жене и детям, хворость навалилась, сомнения измучили: привык уже писать «совместно» с Анной Григорьевной, и теперь без нее вдохновение не приходило, а если и забрезживало, тут же подавлялось тоской. Каждый день ждал припадка, а они, проклятые, с каждым разом ужесточались. А тут еще — даже гнусно становится, как вспомнишь (и как не вспоминать, как не думать об этом?) — накануне поездки случайно раскрылось, что и в Старой Руссе он находится под тайным надзором, даже и его переписка с женой не изъята из сферы полицейского интереса.

На обратном пути в Россию встретился случайно с Писемским и Анненковым. Узнав, что они должны повидаться с Тургеневым, передал через них 50 талеров — старый долг Ивану Сергеевичу, — даже на душе легче стало, будто камень еще один отвалился.

А 10 августа 75-го года, к великой их радости, Анна Григорьевна родила крепыша мальчишку, которого окрестили в честь любимого Федором Михайловичем, по житийной литературе, Алексея — человека Божия — Алешей.

Между тем вокруг Достоевского, а в связи с ним и вокруг «Отечественных записок», пошла взбаламученная рябь — смешки, подхихикивания, намеки: Достоевский-де «изменник» — переметнулся к радикалам (доходили

слухи, будто и Майков и Страхов поддерживают это мнение, что крайне раздосадовало Федора Михайловича), а «Отечественные записки», мол, сделались до того ретроградны, что докатились до автора «Бесов» и недавнего редактора «Гражданина».

Постоянный сотрудник Каткова Авсеенко успел уже опубликовать статью о «Подростке» с недвусмысленным подзаголовком: «Чем отличается роман г. Достоевского, написанный для журнала «Отечественные записки», от других его романов, написанных для «Русского вестника». Нечто о плевках, пощечинах и т. п. предметах». Намекалось, что в новом романе много «грязи», которую Катков не допустил бы в своем журнале, как это и было в связи с «Исповедью Ставрогина».

Достоевского и без того никогда не щадили, особенно «братья по перу»: то на его просьбу высказать прямо мнение о романе стыдливо уходят от ответа, не желая, дескать, огорчать друга правдой, то и вовсе заявляют, что нет времени прочитать его. Затем поползли какие-то мутные, неопределенные слухи, как-то увязывающие в один узелок имя Достоевского со «ставрогинским грехом». И будто бы он сам признался как-то не то Каткову, не то Тургеневу, что это-де случай из его собственной жизни. Достоевский даже внимания не обратил поначалу на этого рода хихиканья: просто история с публикацией ставрогинской главы дошла до обывателей. Куда более беспокоили его другие ухмылки: намекали, что «Подросток» вышел прямо из «Бесов», указывая при этом на сцены с кружком Дергачева, в которых, естественно, узнавались известные по процессу долгушинцев эпизоды, диалоги, герои. Достоевский не стал бы отрицать, что «Подросток» почти прямое продолжение «Бесов», только вот «Бесов»-то господа критики и не захотели понять, сразу же потрудились записать автора в реакционеры, а теперь вот науськивают на него редакцию «Отечественных записок», пугают Некрасова призраком реакционности. Что, если поддастся?

Но Некрасов не поддался, публикация «Подростка» продолжалась. Правда, Михайловскому пришлось публично объясняться и даже оправдываться — почему журнал посчитал возможным сотрудничество с таким человеком, как автор «Бесов»: «Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов; во-вторых, потому, что сцена у Дергачева... имеет чисто эпизодический характер...» Вместе с тем на всякий случай добавлял, что «Отечественные записки», как и любой другой журнал, разумеется, не могут брать на себя полную ответственность за все в них печатаемое. Принужден был вступиться за честь журнала и другой его критик, Александр Михайлович Скабичевский. Отругав писателя за его обличительство нигилизма, за искажение действительности, за приверженность к изображению патологических явлений жизни и оградив себя таким образом от возможных и даже непременных обвинений в поддержке Достоевского, Скабичевский тем не менее заявил, что наряду со «скверным Достоевским, как бы его «двойником», существует другой... гениальный писатель, которого следует поставить не только в одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. Его значение общечеловеческое, но в то же время он вполне народен — народен не в том вульгарном значении этого слова, чтобы хорошо изображать мужиков, но в высшем смысле усвоения существенных черт духа и характера русского народа».

— Вот так! — «Все смешалось в доме Облонских» (он уже успел прочитать первые главы только что появившейся «Анны Карениной» Толстого) — недавние неприятели возводят его теперь в степень народного писателя, каковым сам он почитал единственного Пушкина; приятели же талдычат об измене... А вместе с тем что изменилось? Единственное: «Бесы» вышли в реакционном «Русском слове», «Подросток» — в радикальных «Отечественных записках»...

«Не Федора Достоевского вам упрекать в перемене убеждений, — набрасывает он в записной тетради ответ своим хулителям. Анна Григорьевна настолько освоилась с издательской практикой, что они всерьез вознамерились издавать «Дневник писателя» сами, отдельными ежемесячными выпусками, а потому он и рассчитывал вскоре ответить и публично. — Но вы скажете, — продолжает он, — теперешний Достоевский и тогдашний — не то, но... соединясь по возможности с нашим народом (еще в каторге, я почувствовал разъединение с ним, разбойник многому меня научил), я нисколько не изменил идеалов моих. Вам меня не понять... Я принадлежу частию не столько к убеждениям славянофильским, сколько к православным, то есть к убеждениям крестьянским... Я не разделяю их вполне — их предрассудков и невежества не люблю, но люблю сердце их и все то, что они любят...»

В тревогах вокруг романа и в работе над ним быстро пролетел 75-й. Зиму провели в Петербурге, переехали на новую квартиру — здесь, кажется, поспокойнее; с весны вернулись в Старую Руссу. По вечерам, уложив детей, подолгу беседовали с женой. Анне Григорьевне при ее хлопотах с тремя детьми теперь редко удавалось бывать с мужем в гостях или на литературных вечерах, и потому она как никогда, кажется, ценила сейчас эти их ночные беседы, когда ее Федя, облачившись в широкое летнее пальто, служившее ему вместо халата, и попивая крепкий чай, рассказывал ей о своих делах, а она ему о шалостях детей. Засиживались, бывало, и до пяти утра, пока Федор Михайлович чуть не насильно выпроваживал ее спать — завтрашний день ведь не легче сегодняшнего, а сам усаживался за работу. «Подросток» двигался к завершению, но теперь еще и возобновленный «Дневник писателя» требовал времени не меньше, чем роман. Но Достоевскому не привыкать к изнурительной работе, а «Дневник» для него — такая общественная трибуна, что вряд ли и сам сумел бы ответить, какой из этих видов общения с читателями ему дороже: художественный роман или «Дневник»? Публицистические размышления о действительности нередко появлялись и на страницах романа, а то и в самом «Дневнике» его рассуждения о жизни тут же почти незаметно переходили в художественный рассказ: «Кроткая», «Мальчик с ручкой», «Мальчик у Христа на елке». Не будь «Дневника», неизвестно еще, родились бы эти рассказы. Поделился с читателями своими воспоминаниями о каторге и тут же рассказал о «Мужике Марее», о том, как спасло его душу в те страшные годы это светлое впечатление из раннего детства.

В последнее время все чаще сознавал, как бережно хранит его неуемная Анна Григорьевна от многих недугов, с которыми вряд ли бы справился сам: ни беды, ни болезни, ни его раздражительность — порою по пустякам, так что через минуту самому стыдно и непонятно, как мог раздражиться, — ничто, казалось, не способно преодолеть ее веселость, нежную привязанность к мужу, способность вмиг заставить его забыть о болезнях, наветах врагов и друзей, сомнениях в своем писательском даре. Расхохочется неизвестно от чего, ну и сам начинает смеяться, словно мальчишка, куда и годы и невзгоды

вдруг, хоть на мгновение, подеваются. Да, с Анной Григорьевной не заскучаешь...

В летние сумерки он любил пройтись вдоль Перерытицы, поразмышлять уединенно о предстоящих событиях романа, перечувствовать наедине чувства героев, передумать их думы... Ходил всегда по одному облюбованному пути, забросив руки за спину, глядя невидяще в землю, не замечая случайных прохожих. Только нищие, зная его безотказность, давно уже освоили эту его тропку, ухитряясь нередко, забежав не однажды по-за кустами вперед, получать милостыню по нескольку раз. О его рассеянности уже начинали судачить в городке. Анна Григорьевна, смеясь, рассказывала мужу о его чудачествах, он принимал их за ее выдумки, не верил, отмахивался. Однажды на тропинке встретилась ему сгорбленная, в старом платочке женщина с маленькой девочкой;

— Милый барин, пожалейте! Больной муж и двое детей... — запричитала она.

Федор Михайлович, очнувшись на миг от своих раздумий, взглянул жалостливо на бедную женщину, на ребенка, порылся в кармане — отдал последний завалявшийся грошик и, бормоча что-то извиняющееся, побрел дальше. Через минуту — снова женщина с ребенком, — он уж собирался попросить прощения: не осталось, мол, ни копеечки; взглянул — как будто та же, что и давеча, женщина и девочка, кажется, та же, как вдруг женщина расхохоталась Аниным заливчатым смехом, и тогда только он — как это сразу не увидел? — узнал Анну Григорьевну с Любочкой... Сначала он пришел, внезапно и для себя самого, в страшное бешенство, но, видя, что жена не унимается, хохочет, и сам столь же неожиданно вдруг расхохотался. Дорогой все-таки пожурил — ну, как это можно разыгрывать с мужем такие шутки — унизительно ведь ему выступать в комической роли, да еще при дочке. Что подумает ребенок о своем отце? «Да ничего дурного не подумает», — успокаивала жена. Дети действительно любили отца до обожания. Да и Анна Григорьевна в обиду мужа не давала, стоило ей учуять хотя бы только намек на возможность обиды.

— Ну и удивил же меня вчера Федор Михайлович, — поделился с ней как-то Николай Петрович Вагнер, профессор зоологии и автор известных «Сказок Кота Мурлыки», проживавший летом 76-го года в Старой Руссе. — Прогуливался, гляжу — Федор Михайлович, озабоченный

какой-то, увидел старуху, кричит ей: «Тетка, не встречала ли бурой коровы?»

Вопрос заинтриговал Николая Петровича, страстного энтузиаста входившего в моду спиритизма, которым увлеклось немало известных ученых, писателей: Бутлеров, Боборыкин, Лесков: при Петербургском университете создана даже специальная комиссия, возглавляемая Менделеевым, для научного изучения таинственных явлений. Увлекся было и Федор Михайлович, присутствовал на нескольких сеансах, но потом вдруг заявил, что во всех этих «столоверчениях» видится ему какая-то глубокая чья-то насмешка над людьми, изнывающими по утраченной истине.

Фанатик своей идеи, Николай Петрович и вопрос Федора Михайловича истолковал по-своему: мол, хочет, видимо, узнать, какая погода завтра будет — есть такое поверье в народе: встретишь вечером бурую корову — жди завтра ведреной погоды. Не удержался, спросил.

— Корову нашу ищу, не вернулась с поля, вот и ищу, — рассердился Достоевский. Корову нанимали на лето у крестьян за 10—15 рублей, и Достоевскому нередко приходилось пригонять ее домой.

— Так что же вас так удивило, Николай Петрович? — насторожилась Анна Григорьевна.

— Дак как же — великий художник, ум которого всегда занят идеями высшего порядка, и вдруг какая-то корова! — согласитесь...

— А знаете ли вы, уважаемый Николай Петрович, что Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин. Ведь если бы корова потерялась, дети и особенно Алешка маленький остались бы без молока — Федор Михайлович не мог позволить себе такого...

Николай Петрович удивленно поднял брови — видно, явление Достоевского, бредущего по канавам и окликающего корову, все-таки показалось ему куда более таинственным, нежели спиритические опыты.

Однажды Федор Михайлович, отобедав с женой и детками, переодевшись в домашнее, попивая чай в своем кабинете, разбирал свежую почту. День удался чудный, и настроение установилось под стать, письма читать что-то не хотелось, но одно, женское, заинтересовало, потом и насторожило:

«Милостивый государь, Федор Михайлович! Будучи совершенно незнакомой Вам особой, но как я принимаю

участие в Ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к Вам с сими строками. Мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на Ваше благородство, некая близкая Вам особа так недостойно Вас обманывает... — Федор Михайлович мелко задрожавшими вдруг руками перевернул лист, ища имя писавшей, не нашел: анонимка, — дожил! — успел подумать, и тут же вновь набросился на мерзкие, ненавистные строчки: — ...Он очаровал ее своей льстивой наружностью... она трепещет в когтях его... (И что за стиль!) Коли хотите вы знать, кто он... посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. (Какой еще брюнет? — ну, дожил!..). Давно Вам этот брюнет дорогу перешиб, только Вам-то не в догадку... А коли Вы мне не верите, так у Вашей супруги на шее медальон повешен (Ну да, ну да, действительно медальон — в Венеции еще подарил...), то Вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит. Вам навеки неизвестная, но доброжелательная особа».

Он почувствовал вдруг такой холод, такую липкую тяжесть внутри, словно его живьем опускают в глубокую сырую яму и уже забрасывают земляной грязью...

Открылась дверь, вошла Анна Григорьевна, встревоженно спросила: «Что ты такой хмурый, Федя?» Но он уловил в ее голосе лукавство и даже, показалось ему, едва сдерживаемый смешок, угрюмо заходил тяжелыми шагами по комнате и вдруг остановился прямо против нее, глядя невидящими глазами:

— Покажи мне медальон, — потребовал сдавленным голосом.

— Зачем, разве ты не видел его?..

— По-ка-жи ме-даль-он!

Анна Григорьевна не на шутку перепугалась, пыталась что-то сказать, он не слушал, схватился за медальон, так что тонкая венецианской работы цепочка оборвалась, отошел к столу и никак не мог открыть, так дрожали руки. Анна Григорьевна, уже не пытаясь ничего объяснять, хотела только помочь ему справиться с защелкой, но он так резко двинул головой — отойди, мол, — что она застыла на месте. Наконец крышка открылась, Федор Михайлович оторопело вертел свой давний подарок в руке, тупо рассматривал его содержимое, потом перевел недоуменный взгляд на жену: с одной стороны медальона помещался портрет Любочки, с другой — его собственный...

— Федя, глупый ты мой, да как же ты мог поверить анонимному письму?

— Откуда ты знаешь о нем? — спросил удивленно, но все еще, видимо, никак не приходя в себя.

— Как откуда? Да я тебе сама его послала в шутку, как же ты мог забыть — мы вчера только читали с тобой в «Отечественных записках» роман с анонимным письмом и смеялись над ним, я его и переписала слово в слово, только имя и изменила... Думала прочтешь, вспомнишь, и мы еще раз посмеемся, — кто ж мог знать, что ты у меня такой Отелло...

Федор Михайлович почувствовал такой стыд, такое отчаяние от этой слепой вспышки — скажи кто-нибудь, что может дойти до такого, посмеялся б, пожалуй, но вот — дошел же, поверил... Забыл даже о вчера только прочитанном. Оскорбил Аню подозрением... Лицо его выражало такую виновную потерянность, что Анне Григорьевне до слез сделалось жалко мужа, и она принялась успокаивать его, к чему всегда имела не только призвание, но и талант. Вскоре она уже смеялась, и он, видя, что жена не оскорбилась, тоже начал подсмеиваться над собой. Потом вдруг тихо, виновато сказал:

— Знаешь, Аня, ты все-таки больше не шути так, подумай, какое могло бы несчастье случиться... Не подозревал себя таким... Вот ты говоришь — Отелло, «возревновал»... И все толкуют — мол, «трагедия ревности»! Да не в ревности же, не в ней одной дело — ревность тоже разная бывает. Разве же он просто любимую женщину убил? Он в ней поруганный идеал уничтожил. Нет ничего горше и отчаянней узнать, что идеал твой, в который ты свято веришь, оказывается вдруг пошлостью. Ему ведь ничего не нужно было: все его подвиги, вся его жизнь — только ради нее, и вдруг — обман. Вот что страшно — обман... В кого, во что же тогда верить?

Тогда уж остаются только враги: пусть враг как угодно хитер, коварен, злобен — на то он и враг; но он не изменит — изменяют любимые, он не предаст — предают друзья. А у него в жизни не было ни одного живого существа ближе и дороже Ани: любимой, друга, единомышленницы, сочувственницы его — той единственной, в чью безусловную честность, порядочность, неизменность он хотел верить до смертного своего часа. Тут взорвешься! Как еще недоброжелателям, знающим его характер едва ли не лучше его самого, до сих пор не пришло в голову

всерьез позабавиться анонимками или чем-либо подобным?

Удивительное существо человек — тепловую смерть вселенной придумал, открыл какие-то параллельные линии, которые пересекаются, видите ли, где-то в неведомой бесконечности, о таком мироустройстве, в котором каждый бы его член непременно и каждую минуту ощущал бы счастье, печется и чего только еще не выдумал, чего только не открыл, не узнал и сколько еще предстоит ему открытий, а вот о себе самом порой не знает ничего. Что будет со всем человечеством через тысячу лет, представляет яснее, нежели то, что будет с ним самим завтра, через час, через мгновение...

Укушенный «ротшильдовской» идеей накопительства, «русский мальчик», Подросток (Достоевский назвал его Аркадием Долгоруким; его приемный отец — крестьянин — Макар Долгорукий, носитель идеи «древней святой Руси») — Аркадий однажды почувствует, что «ротшильдовская идея» не сможет надолго увлечь его, стать руководящей, владычествующей уже и потому, что это она ведет к обособлению, служит лишь кучке «избранных», паразитирующих на остальном человечестве. Новое же, молодое поколение, как понимал его Достоевский, при всех ошибках и заблуждениях все-таки жаждет отыскать руководящую мысль иного рода — собирательную, единящую. Наконец, «ротшильдовское» увлечение Подростка, по сути своей, противно самой природе русского человека, так как русский человек по складу своего исторического характера, утверждал писатель, только тогда и живет для себя, только тогда и ощущает себя истинно русским, когда живет для других. Таким истинно русским был для Достоевского, например, и «накопитель» Павел Михайлович Третьяков. Но даже и такого рода накопительство не могло удовлетворить Подростка, потому что в его лице Достоевский надеялся явить идею не отдельной, пусть и выдающейся, личности, но идею всего поколения. Лучшими умами, видел Достоевский, все более овладевает практическая задача — «накормить» нищее, голодное человечество. Такая задача осознается как высшая и в кружке Дергачева, куда попадает Подросток. Казалось бы, теперь его «ротшильдовское» устремление может найти себе применение в подлинно благородном деле, созвучном социальным и даже социалисти-

ческим устремлениям молодого поколения. Но — попробуйте представить себе не выдуманного, а реального «Ротшильда», превращающего камни в хлебы, дабы насытить жаждущее человечество... Но и не в том только дело — сама по себе практическая задача накормить человечество — «великая идея, — говорит Версилов Аркадию, — но второстепенная и только в данный момент великая. Ведь я знаю, что, если я обращу камни в хлебы и накормлю человечество, человек тотчас спросит: «Ну, вот, я наелся; теперь что же делать?» Общество основывается на началах нравственных: на мясе, на экономической идее, на претворении камней в хлебы ничего не основывается, и деятель надувает пока одних дураков». Здесь Достоевский заставляет Версилова проговаривать свои собственные заветные убеждения: задача практическая должна естественно вырастать из высшей нравственной задачи общества.

«Всякая единящая мысль — счастье в жизни нации», — писал он в это же время и в «Дневнике писателя». Достоевский, естественно, не мог все-таки полностью отдать Версилову и содержание этой своей мысли, уже и потому только, что Версилов был задуман им как атеист, а потому, по замыслу писателя, и мог предложить Подростку лишь утопию о будущем гармоничном человеческом общежитии, «золотом веке», устроенном на принципе гуманистической любви, на обожании каждого каждым.

Однажды, рассказывает он Аркадию, приснился ему совершенно неожиданный сон — он увидел себя как бы внутри ожившей картины Клода Лоррена «Асис и Галатея», которую Версилов (как и сам Достоевский) называет «золотым веком»: и вот перед ним уголок греческого архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, вдали заходящее зовущее солнце — «словами не передашь, — рассказывает Версилов. — Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями... великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероят-

ная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть...

И вот, друг мой, и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества... обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества...» — воспоминание, осмысленное Версиловым и как пророчество: так было, так снова должно быть. Человечество, пройдя через века хаоса, разложения, заблуждений, в конце концов снова вернется к гармоническим началам, но это будет уже и последний, закатный его час. Вера Версилова в будущий рай на земле, в золотой век, по существу, глубоко пессимистична и по-своему же глубоко трагична. Трагична и потому, что, как сознает сам Версилов, никто, кроме него, во всем мире не понимал тогда эту мысль: «Я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю». Версилов действительно выступает здесь как «носитель высшей русской культурной мысли»; по его собственному определению, тип, создавшийся именно в России, еще невиданный, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех: «Это — тип русский... я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча... но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу...

Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия». Эти «осколки святых чудес», поясняет он сыну, «нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Одна Россия живет не для себя, а для мысли...».

Утопия русского европейца Версилова и должна, по его убеждению, спасти мир нравственной мыслью о возможности и необходимости жить не для себя, но для всех — о золотом веке будущего, этом «царстве божием» на земле, устроенном без бога...

Но не случайно говорит Версилов о своем одиночестве; его утопия неосуществима: и в Европе, и даже в самой России теперь — каждый сам по себе, а в одиночку общей задачи не разрешить. И тогда Версилов выдвигает практическую задачу как первый шаг к осуществ-

лению мечты о золотом веке, задачу, которая давно уже увлекает и самого Достоевского: «Лучшие люди должны объединиться».

Мысль эта пришлась по душе и юному мечтателю Аркадию, однако и обеспокоила его.

«А народ?.. Какое же ему назначение? — спрашивает он своего «европейского» отца — учителя? — Вас только тысяча, а вы говорите — человечество...» В том-то и главный вопрос для молодого поколения: кого считать «лучшими людьми» — дворянство, финансово-ротшильдовскую олигархию или народ?

Как и в «Бесах», значимость любых задач и целей в «Подростке» поверяется их соотнесенностью с центральным вопросом: что несут они народу, как согласуются с народной правдой? И вот Аркадий Долгорукий тоже почувствовал важность вопроса: «А народ? Какое же ему назначение?» — потому что вне четкого ответа на этот вопрос любая идея о «тысяче избранных» — как давно уже утверждает Достоевский в своем «Дневнике» — антинародна. «Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство», — замечает Версилову один из героев романа. Версилов, однако, уточняет: «Если я горжусь, что я дворянин, то именно как пионер великой мысли», а не как представитель определенной социальной верхушки общества. Верую, — продолжает он, отвечая и на вопрос Аркадия о народе, — что недалеко время, когда таким же дворянином, как я, и сознателем своей высшей идеи станет весь народ русский».

И вопрос Аркадия о народе, и ответ Версилова родились в их сознании под впечатлением встречи с живым, конкретным человеком — крестьянином Макаром Долгоруким. Замыслив этот образ, Достоевский должен был всерьез перестраивать и общий план всего романа. И хотя вряд ли надеялся он открыть в Макаре новый тип героя, хотя и ясно представлял его прямую родственность с некрасовским «Власом», толстовским Платоном Коротаевым, с собственным «Мужиком Мареем», но и без Макара — почувствовал он — центральную мысль «Подростка» ему не высветить вполне. Макар Долгорукий должен стать «высшей противоположностью» Версилову. Если Версилов — европейский скиталец, душевно бездомный и в Европе и в России, то Макар — русский странник, отправившийся в хождение по Руси, чтобы познать весь мир; ему вся Россия и даже вся вселенная — дом. Если Версилов — атеист, высший культурный тип русского человека, то Макар — глубоко верующий, хотя его вера — внецерковная, православно-мужицкая; он — «народный святой», а для Достоевского еще и высший нравственный тип русского человека из народа. Версилов — русское порождение общемирового «безобразия», хаоса, всеобщей разъединенности, его утопия будущей мировой гармонии и должна противостоять этому безобразию; Макар — воплощение как раз «благообразия», как отражение в его личности именно мировой гармонии, и не в будущем, а уже в настоящем: он как бы носит в себе тот «золотой век», о котором мечтает Версилов. Но мечта Версилова предполагает внешнее, социальное переустройство мира, которое в конце концов должно привести и к внутреннему перерождению человечества; Макар — как бы живое воплощение идеи духовного возрождения каждого путем нравственного самоусовершенствования, «подвига души» во имя спасения — не личного, но именно всего мира.

И вот Аркадий Долгорукий оказывается вдруг как бы в *роли юного витязя* на *духовно-нравственном* перепутье; сначала его сознанием овладевает Версилов, но встреча с Макаром вновь переворачивает его душу, и он мечется, ибо правда как будто и там и здесь, и, наконец, сознает: только там или только здесь — не вся правда. Но где, в чем она вся?

Достоевский в конце концов решил не давать однозначного ответа: пусть его герой, Подросток, останется на этом распутье, в том состоянии, в котором, как считал писатель, и находится сейчас молодое поколение. Пусть оно, прочитав его роман, узнает себя, осознает это свое состояние витязя на перепутье, пусть само выработает свое решение, но пусть осознается оно именно как необходимость богатырства, готовности на великий подвиг. В этом главное — остальное подскажет сама жизнь...

«Дети странный народ, они снятся и мерещатся» — так начал он рассказ «Мальчик с ручкой» в «Дневнике писателя», рассказ о семилетнем ребенке, которого в лютый мороз родители выгоняют на улицу попрошайничать, стоять «с ручкой», пока не наберется копеечек на бутылку водки, — сам не однажды наблюдал подобные сцены.

Вместе с Кони он посещает колонию малолетних преступников, воспитательный дом, просиживает днями на судебных заседаниях, касающихся детей. Некто Кронен-

берг, банкир, привлечен за иезуитское истязание своей семилетней дочки и... оправдан; молодая крестьянка Корнилова, будучи беременна и явно находясь в состоянии аффекта, столкнула с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу. Бог спас — девочка отделалась испугом, но женщина приговорена к двум годам и восьми месяцам каторги и к последующему поселению в Сибири. Достоевский, возмущенный решениями отечественных соломонов правосудия, начинает с ними яростную борьбу через свой «Дневник». Господин Спасович, адвокат Кроненберга, сумел «истязание» ребенка превратить в «воспитание», на которое-де отец имеет полное право, а что до форм этого «воспитания», то тут, мол, все дело в темпераменте воспитателя, за что же судить отца, уважаемого человека, можно сказать, благодетеля общества, поскольку — банкир! А вот к женщине, совершившей неумышленное преступление, у наших соломонов никакого снисхождения. А ведь вместе с ней они обрекают и двух детей: судьбу падчерицы нетрудно предугадать — отец, потерявший кряду двух жен, явно запьет, возненавидит свою дочь. Но судьба другого, еще не родившегося ребенка и, стало быть, уж и вовсе невинного, еще более жестока: одно только то, что он родится в каторге и уж, конечно, во всю жизнь станет за это ненавидеть мать свою, мучиться своим «происхождением» — все это в учет не берется... Страстные, психологически обоснованные выступления писателя производят впечатление. Корнилова оправдана. Муж с женой и ее падчерицей приходят благодарить своего спасителя. Но... что значит одна спасенная им душа в сравнении с тысячами и миллионами уже и не ждущих справедливости, уже и не верящих в саму возможность жить и поступать по правде, не говоря уже о том, чтобы по правде поступали с ними?

Да и как самому-то ему веровать в юное поколение? Вырастают, как правило, среди пьянства и разврата, формируются в среде, где почти вовсе отсутствуют какие бы то ни было светлые, святые первые впечатления. «В обществе нашем, — пишет он, — вообще мало поэзии, мало пищи духовной».

Но пока хоть рождаются дети-то... А если цивилизация и у нас сделает те же успехи, что и во Франции хотя бы? — размышляет Достоевский в своем «Дневнике». Чтобы верить в будущее, нужно по меньшей мере и первым делом понять: «Иметь детей и родить их — есть самое главное и самое серьезное дело в мире, было и не

переставало быть...» Но «современная женщина в Европе перестает родить. Про наших пока я умолчу», — пишет Достоевский. В Париже есть такая огромная промышленность... которая вместе с шелком, французским вином и фруктами помогла выплатить пять миллиардов контрибуции, но во что обойдется эта «промышленность» нации через одно-два поколения? «Париж... забывает производить детей. А за Парижем и вся Франция. Ежегодно министр торжественно докладывает о том, что ребятишки, видите ли, не рождаются, зато старики, дескать, во Франции долговечны. А по-моему, хоть бы они передохли старые... которыми Франция начиняет свои палаты...

Женщины во Франции, из достаточной буржуазии, все сплошь родят по двое детей: как-то так ухитряются со своими мужьями, чтоб родить только двух, секрет распространяется с удивительной быстротою...». Ну а среди миллионов пролетариев дети пока рождаются без строго установленного счета, однако все более преобладающим и среди бедного населения становится не семья, но «брачное сожитие», порождающее не детей, «но прямо — «Гаврошей», из которых половина не может назвать своего отца, а еще половина и матери: несчастных, как бы от рождения назначенных судьбой в тюрьмы для малолетних преступников... Поколение вырождается физически, бессилеет. Ну а физика тащит за собой и нравственность. Это плоды царства буржуазии...

Если хотите всю мою мысль, — заключает он, — то, по-моему, дети, настоящие дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. А европейские пролетарии теперь все — сплошь мостовая...»

Будущее нации — вот главный предмет разговора писателя с современниками через «Дневник», который начинал пользоваться в обществе все большим вниманием. Достоевский получает сотни писем — с ним советуются по самым разным вопросам, его благодарят, ему угрожают, с ним всерьез считаются как с общественной и нравственной силой. Победоносцев настоятельно советует посылать выпуски «Дневника писателя» его воспитаннику: наследник престола обязан знать, что думают лучшие умы России.

Достоевский пишет о самоубийствах, откликается на смерть одного из кумиров своей юности — Жорж Занд,

рассказывает о случаях произвола властей, ошалевающих в «административном восторге» от собственного могущества: «Один начальник станции вытащил, собственною властью и рукой, из вагона даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался, будто она его жена, — и это без суда, без всякого даже подозрения, вправе ли он так поступить.

Подобных случаев — сотни, они ежедневны, ежечасны, они, эти примеры, прорываются в народ беспрерывным соблазном, и народ выводит невообразимые заключения... Вторгся в мир некий пришелец, сокрушающий все понятия не то, что добра и зла, но вообще дозволенного и недозволенного совестью, но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом, как соблазн и развратительная идея...»

Потому-то литературе в наше время надо особенно высоко держать знамя чести: «Что было бы, если б Лев Толстой или Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились: «если уж эти, то...» Литература наша — знамя чести, но и сам писатель, даже и как частный человек, обязан быть живой нравственной силой современности. Хотя...

Явись вот сам Христос в мир, называющий себя христианским, узнает ли, примет ли Его этот мир? — в который раз задает он себе искушающий вопрос.

Достоевский заносит в свою тетрадь первые мысли, образы, пока еще разрозненные, но уже как будто и ощущающие возможность своего будущего единства:

«У Римлян — тот ли Христос?» Христос, которому понадобились иезуиты... инквизиция, индульгенции...

«Чудо, тайна. Масоны».

«Наше общество шатается. Это легко лишь сказать, но в дисгармонию его никто не хочет вникнуть. На чем же установятся? На науке? А где же устанавливалось что-нибудь на науке? Где примирение? Было в вере, но вера утрачена, в чем же, где этот муравейник? Не у масонов ли? Право, мне мерещилось всегда, что у них какая-то тайна, адово разумение... тайна муравья...»

«Великий инквизитор со Христом».

«...Этот ребенок должен быть замучен для блага нации... В идеале общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасения. Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та... Эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни...»

2. Я видел истину...

Да, тогда, в конце 76-го — начале 77-го, закончив «Подростка» и устав смертельно, он так и не нашел времени хотя бы для короткой передышки: казалось, чуть не вся жизнь его уходила теперь исключительно в работу мысли, в публицистическую деятельность: факты, факты, факты — злоба дня, но за ними... «Проследите, — пишет он в «Дневнике», — иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни — и если только вы в силах и имеете глаз, то в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах!.. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) не в силах, наконец, их обобщить, он прибегает к другого рода упрощению и просто-напросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий... Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое».

Но вот в этом-то фантастическом сам он и надеялся отыскать ответы о загадочном будущем, «и если, — делился он с читателями «Дневника», открывая им, по существу, свое понимание задач современного художника, — в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса?.. У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся. Но есть, необходима и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметил и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания? Или еще рано?..» Да, писал он это тогда, конечно, и в пику Льву Толстому, писателю, талант которого ценил высоко, как, пожалуй, ни одного из

современников, истинных духовных учителей общества. Но ведь и «Детство», и «Отрочество», и «Война и мир» — все-таки поэмы о жизни давно прошедшей, ныне же действительность совсем другая... Однако, прочитав уже первые главы «Анны Карениной», Достоевский увидел в романе нечто родственное себе и более того — факт, говорящий о возможностях, скрытых пока в подспуде русского национального самосознания — ибо, «если гений русский мог родить этот факт, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может давать свое, может начать свое собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки...». Правда, развязка романа разочаровала Достоевского, кроме прочего, еще и тем, что увиделось ему неверие Толстого в русскую женщину, а ведь Толстой вышел из Пушкина, как же смог не увидеть, не понять его идеал, его пророчество и указание, заключенные в Татьяне? Не может человек основать свое счастье на несчастье другого; и для русской женщины счастье не в одних только наслаждениях любви, но и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если позади стоит нечистый, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Нет, чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, но не хочу быть счастливою, загубив другого».

Пушкин — гений, опередивший эпоху и надолго определивший русское самосознание, Пушкин выдвинул Татьяну как идеал, потому что... Потому что «русская женщина лучше всех» — это уже записал он сам недавно в свою тетрадку, на будущее. В русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение, «и, может быть, русская-то женщина и спасет нас всех, все общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой дела и это до жертвы, до подвига. Она пристыдит бездеятельность других сил и увлечет их за собою, а сбившихся с дороги воротит на истинный путь...»

Да, главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины — он поверил в это особенно после недавней освободительной войны на Балканах, когда русский воин пришел на помощь братьям-славянам, поднявшимся против многовекового турецкого ига. И не случайно именно в этой войне так высоко, так светло, так свято проявила себя наша русская женщина. Тысячи юных девушек уехали на Балканы совершенно добровольно — сестрами милосердия, чтобы помочь несчастным, израненным патриотам,

бойцам за национальное освобождение. Великая, единящая идея — вот что подняло русскую женщину на подвиг милосердия. Теперь слово за Россией — какое место отведет она у себя «сестрице» русского солдата? Ей ли, этой женщине, продолжать отказывать в полном равенстве с мужчиной по образованию, по занятиям, тогда как на нее мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества. «Впрочем, говоря так, — писал он в «Дневнике», — я говорю про русскую женщину, а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфетами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, но все же ведь это не то, что совершили там те женщины, а потому эти всего только русские старые барыни, а те — новые русские женщины...»

Не возмутил тогда эту его веру даже и поступок Веры Засулич, в январе 78-го стрелявшей в петербургского градоначальника, «полицейского ярыгу», генерал-адъютанта Трепова. Однако не сами по себе мотивы террористического самосуда оправдывали в его глазах эту небольшого роста, сероглазую, с гладко зачесанными волосами двадцатилетнюю девушку. Хотя и мотивы немаловажны: ей было 17, когда по подозрению в связях с Нечаевым она без суда попала на два года в тюрьму предварительного следствия. Недавно, узнав из газет о том, что по приказанию «краснорожего фельдфебеля» Трепова один из политических заключенных, некто Боголюбов, которого она никогда не видела и ничего не знала о нем, был подвергнут за «непочтение» тюремного начальства публичному сечению розгами, она приобрела револьвер, и, добившись свидания с генералом, ранила его выстрелом.

Удивительная все-таки страна — Россия. В прогрессивно-просвещенной Англии, например, подобный мотив невозможен хотя бы уже и потому, что там наказание розгами является и до сих пор привычным мероприятием, предусмотренным законом. У нас же, в ретроградной России, розги — произвол, нарушение законности. Возмущение нравственного чувства двигало Верой Засулич: нельзя, чтобы произвол, надругательство над человеком оставались безответными. Чувство необходимости правды, вера в нее и готовность пойти за нее на все — вот что было симпатичным Достоевскому в этой девушке. Она вела себя на суде с достоинством, не путалась, не выгораживала себя и не разыгрывала роль мученицы, бесстрашно пошедшей на подвиг. Она стреляла не из мести и не затем,

чтобы убить. Своим выстрелом она надеялась привлечь внимание общественности к безобразному факту. Нет, Достоевский не оправдывал самосуд, тем более террористический, но радовался, когда услышал решение суда присяжных под председательством Кони об оправдании — случай неслыханный! — Веры Засулич.

«Тяжело поднять руку пролить кровь», — сказала она на суде. «Это колебание, — записал он после, вспоминая признание девушки, — было нравственнее, чем само пролитие крови».

И все-таки сам этот порыв, готовность и способность молодежи, пусть и проявляющиеся порой столь извращенно, встать на защиту чести другого говорили ему о многом.

Уже в 75-м году Герцеговина и Босния восстали против турецкого ига. В 76-м поднялись Болгария и Сербия. Рассчитывать исключительно на повстанческие силы в борьбе с регулярной армией было бы безрассудно — оставалась единственная надежда на русских братьев. Славянское общество — Достоевский был его членом — немало сделало тогда для возбуждения общественного внимания к освободительной борьбе на Балканах. Началось добровольческое движение. Власти под давлением европейской дипломатии не решались сначала открыто выступить на стороне восставших, однако разрешили предоставлять отпуск тем военнослужащим, которые выразили желание отправиться за Дунай. По всей России возникали общества помощи славянам, борющимся за свою национальную независимость. В одном из них, Одесском, активную деятельность развернул народник Желябов. Степняк-Кравчинский и многие другие народники отправились помогать славянским патриотам. Известные врачи — и среди них хирурги Склифосовский и Боткин, писатели и художники Глеб Успенский, Гаршин, Поленов, Константин Маковский, Верещагин — поехали в Болгарию.

Либеральная пресса открыла, однако, кампанию дискредитации как добровольческого движения внутри России, так и самой освободительной борьбы славян. Достоевскому через «Дневник» пришлось всерьез повоевать и со скептиками, и с прямыми ненавистниками самой идеи освобождения славянства. Какие только аргументы не пустили в ход либералы: и убивать, дескать, не гуманно, и всякая война — зло, и зверства, чинимые над порабощенными

славянами, слишком-де преувеличены, и вообще, какое, мол, нам дело до их нужд, да и, кто знает, может быть, под туркой им даже и лучше, чем на свободе...

«Лакейства мысли у нас много», — размышлял он тогда в своем «Дневнике». Но высшая причина нашей умственной кабалы — в нашей русской деликатности перед Европой: что, дескать, скажут там! Но даже и в Европе, при всей поднявшейся там волне русофобии (Россия, дескать, главная угроза Европе и всему миру, всегда так было, стоило только начаться у нас какому-нибудь благородному общественному движению!), — даже и в Европе раздаются честные голоса. И Достоевский цитирует английского политического деятеля Гладстона: «Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории, освобождением многих миллионов порабощенных народов от жестокого и унизительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история, — услугу, которая никогда не изгладится из благодарной памяти народов».

— Как вы думаете, мог ли бы произнести такие слова наш русский европеец? — саркастически вопрошает Достоевский. — Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык свой от деликатности. Помилуйте, да как мы смеем... в калашный ряд. Да мы еще рылом не вышли, чтоб «освобождать человечество». «Россия освобождает народы» — какая нелиберальная мысль!..

Но, за исключением немногих, не боявшихся сказать правду о России и за ее пределами, в целом возмущение Европы по поводу дерзнувшей помогать бунтарям России казалось беспредельным. Подзуживала прежде всего опытнейшая интриганка Англия: ведь в случае освобождения балканских славян с помощью русских Россия получит выход к Средиземному морю. Английский премьер-министр Израиль — Биконсфильд заявил даже, — почему бы не попугать европейского обывателя? — будто Россия отправляет на Балканы не добровольцев, а социально опасные элементы: уголовников и социалистов, дабы наводнить ими Европу, а самой от них избавиться... «Паук, Piccola bestia, — писал Достоевский в «Дневнике», — ведь это он первый провозгласил, что Сербия, объявив войну Турции, сделала поступок бесчестный», а вместе с тем, именно он, — этот новый в Англии судья чести», допустил избиение болгар.

Россию запугивали: если, мол, посмеет выступить против Турции на стороне славян — помогать ей никто не

станет, а за Турцией — об этом, мол, не стоит забывать, — стоит Англия, и не одна только Англия.

— Не предстоит ли в самом ближайшем будущем, что мы вдруг очутимся наедине со всей Европой? — спрашивал и Достоевский. — «Ключ ко всем современным интригам лежит не там и не здесь, и не в одной только Англии», но — во «всемирном заговоре» против России, предрекающем ей «страшную будущность».

Так что же, испугаться, отступиться? Нет, призывал Достоевский, война войне — рознь: освободительная война, если нет другого пути к освобождению, не зло.

Потому-то и удивил его тогда и возмутил один из главных героев «Анны Карениной» — Левин; вернее, его отношение к освободительной борьбе славянства. «...Непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть», — заявляет толстовский герой, исповедующий к тому же принцип непротивления злу насилием: «убивать нельзя!»

Нельзя! кто же спорит, но... тогда «уж пусть турок лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити» — так, что ли? — спрашивал Достоевский в «Дневнике». Неслыханные истязания, зверские мучительства, чинят над братьями нашими — у них объявились даже специалисты истребления грудных младенцев на глазах родителей. И все-таки «непосредственного чувства нет и не может быть»? — возмущался Достоевский. — «Слыхал ли Левин про наших дам, которые пленным туркам бросают цветы, выносят дорогого табаку и конфет? — вот, дескать, как мы гуманны и как мы европейски развиты... Для мщения ли, для убийства ли одного только поднялся русский народ? И когда бывало это, чтоб помощь убиваемым, истребляемым целыми областями, насилуемым женщинам и детям и за которых уже в целом свете совершенно некому заступиться, — считалась бы делом... безнравственным?.. Ведь у Левина у самого есть ребенок... как же не искровенить ему сердце свое, слушая и читая об избиениях массами, об детях с проломанными черепами, ползающих около изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви... Левин читает все это и стоит в задумчивости:

— Кити весела и с аппетитом сегодня кушала... какое мне дело, что там в другом полушарии происходит... — Его ли хочет выставить нам автор, как пример правдивого и честного человека?

Такие люди, как автор «Анны Карениной» — суть учители общества, наши учители... Чему же они нас учат?»

В последнее время, особенно после «Подростка» с его разоблачением «ротшильдовской» идеи овладения миром властью денег, вокруг Достоевского стали расползаться темные слухи как о «ненавистнике евреев». Потом и письма начали приходить с теми же упреками, будто он нападает на них «не как на эксплуататоров», а как на племя...

«Я не меньше вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, — я немало от них страдал, — но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация, — писал ему один из корреспондентов. — ...Нет, к сожалению, вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому что вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательный вред громадной массе нищенствующего народа, — сильные же «жиды»... не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых...»

Достоевский не любил оправдываться, однако в который уже раз его вынуждали защищаться от нескончаемого потока наветов. Ответить решил публично, всем сразу — через «Дневник», чтобы уж никаких кривотолков и слухов:

«...Когда и чем заявил я ненависть к еврею, как к народу? — спрашивал он. — Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно».

Слово, обидевшее корреспондента, отвечает Достоевский, он всегда употреблял не для обозначения народа, но известной идеи, характеристики века, а именно — идеи буржуазности, ставшей главной идеей нынешнего столетия во всем европейском мире.

Да, и среди евреев, как и среди всех других народов, — большинство бедных и эксплуатируемых, но зато их верхушка, «всемирный Ротшильд», «воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть». Этот облик действительно ненавистен ему, и тут уж его с пути не свернешь никакими

наветами, никакими доводами, что, дескать, в любом народе есть люди и дурные и хорошие: не о дурных и хороших людях речь идет, объясняет он, может быть, и сам Ротшильд, как частный человек, был самым распрекрасным семьянином и кем угодно еще, — он тем не менее остается банкиром-кровопийцей.

С равной ненавистью всегда обличал он кулаков, мироедов, биржевых магнатов любой национальности и любого вероисповедания, равно иудейского и православного. Тогда уж его по этой логике и в ненавистники русского народа, а заодно и православия зачислить нужно.

Достоевский определенно высказался за полное уравнение в правах всех без исключения народов России, но стоило бы при этом не забывать, напоминал он, и о том, что́ понимать под равными правами: в то время как чуть не вся европейская общественность с возмущением твердила о «черте оседлости» — русский народ терпел от крепостного состояния, что, уж конечно, было потяжелее «выбора местожительства».

— Да здравствует братство всех народов и наций, — провозглашает Достоевский свою заветнейшую идею. — В русском народе нет предубеждений ни к какому иному народу. Но для братства, для полного братства, нужно стремление и способность к нему с обеих сторон. Весь вопрос только в этом, — заключает он.

В начале мая 77-го они всей семьей отправились в «Малый прикол» — имение брата Анны Григорьевны в Курской губернии. Поезд часами простаивал на крупных станциях, пропуская воинские составы — Россия объявила войну Турции, на Балканах шли серьезные баталии. Федор Михайлович накупал в огромном количестве папиросы, пряники, булки — нес в вагоны, подолгу разговаривал с солдатами.

Летом навестил наконец подмосковное Даровое, куда тянуло его давно, но где же взять время? Вот когда видишь его воочию, это время-то: сверстники по детским играм — все старики и старухи. Сходил пешком версты за две и в свою «Федину рощу». Нахлынуло былое, невозвратное, растрогался до слез — что ж делать! Попили чаю с мужиками, потолковали о житье-бытье, да и снова в путь-дорогу, много ли и осталось-то еще идти по ней...

В Петербурге теперь часто бывал у Некрасова на Литейном. Николай Алексеевич тяжело болеет, почти не встает. Вспоминали свое молодое, свежее — из того, что остается навсегда в сердце... А прожили тридцать лет,

считай чуть не всю жизнь, врозь: как же это? Эх, матушка-рожь, почто кормишь дураков?.. Бледный, почти иссохший, читал ему Николай Алексеевич свои «Последние песни», свежие главки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», над которой продолжал работать.

Федор Михайлович чувствовал себя, правда, как давно уже не помнил, бодро, хотя и припадки порой измучивали, и, несмотря на лечение, дышать не легче, но, все казалось ему, не одолеть проклятым хворям его воли, словно и впрямь нет ему износу — на роду не написано: особо баловать себя отдыхом и до сих пор не приходилось. Удивительная штука жизнь: один, трудясь до пота, так до смерти и не выбьется из нищеты, — Некрасову хоть, слава богу, повезло — удалось вырваться, во вторую часть жизни мог он позволить себе когда-никогда пожить и в свое удовольствие, но зато и сколько же выслушал сплетен, сколько наветов пережил, завистливой злобы людской, даже и от друзей своих заслужил...

А какие гнусности о нем самом, о Достоевском, распускают? Будто он на «светских раутах-с» чуть не каждому под фалды пиджаков заглядывает — хвост ищет, мол, черт в обществе появился, вот он и надеется его за хвост поймать и тем перед всем белым светом разоблачить. И охота же неглупым с виду людям подобными «променадами» тешиться, и время-то находится, прости господи...

Рассказывали, будто у поэта-сатирика Курочкина в его доме на Фурштадской с особым подъездом собирались молодые сотрудники «Искры» и «Отечественных записок»; встречали гостей две нарядные молоденькие горничные, а уж в богато убранном, модно задрапированном, со старинными книжными шкафами и дорогими картинами кабинете, за великолепным письменным столом встречал гостей черноволосый, с блестящими навыкате глазами человек лет сорока, в восточном халате — сам хозяин. Перемывать косточки собратьев по перу — здесь любимейшее занятие: Тургенев-де пролаза и придворный лизоблюд, Лесков — живет, мол, на жалованье III отделения, Решетников — жалкий пьяница, Некрасов — захвален, хотя, честно говоря, ну какой он талант! Ну а уж о Достоевском и говорить даже непристойно в порядочном обществе...

И вот: сибарит Курочкин — демократ, а он, нищий труженик, Достоевский, для них, видите ли, — реакционер...

Но отшумел уже и Курочкин, звавший себя «русским Беранже» (а вот о «французских Курочкиных» что-то не

слыхать...), умер еще ведь совсем молодым — и много ли унес с собой? Или и вправду есть какая-то связь, какой-то закон, по которому талант в роскоши гибнет. Толстой вон, слышно, чуть не до мужика опростился, землю пашет — барские игры, конечно, но не власть ли того же закона и его одолела? Чрезвычайно любопытен ему этот человек, может быть, единственный, с кем очень уж не терпится поругаться всерьез. Да, поругаться, поспорить, потому что уж очень много у них общего. И, казалось бы, чего проще — встретиться двум современникам, двум русским литераторам, а вот поди ж ты. Не получается.

Казалось, порой его сознание вот-вот вырвется за черту познаваемого. Бывали мгновения такой напряженности мысли, когда еще одно последнее усилие — и самая сокровенная тайна бытия откроется ему вдруг в ощущаемом, но вечно ускользающем от разума, высшем синтезе единства: от неуловимого движения души человеческой до вечного кругооборота вселенной, от законов совести до законов истории человеческого общества. Что есть истина? Должно быть, это нечто простое-простое, то, что и невозможно сформулировать, облечь в логическую плоть, но то, что нужно увидеть самому и — поверить? Жизнь сплошь и рядом загоняет человека в ловушку отчаяния, но вот отчаяние его уже становится безысходным, доходит до холодности, когда отчаявшемуся уже все равно: жить или умереть, и не только ему лично, но вместе с ним и всему миру. И выйдет он на холодную, промозглую улицу и вдруг — девочка, ребенок, в насквозь промокшем платьице, разорванных башмачках, вся в ознобе протягивает к нему ручонки и кричит отчаянно, зовет на помощь... Но ему-то все равно, он давно уже мертв, ему даже досадно, что кто-то еще живет и надеется, пусть и в отчаянии, когда его-то уже нет, а значит, нет для него ничего — ни промозглой улицы, ни этой девочки, ни ее отчаяния... И если бы такой человек в такую-то отчаянную минуту совершил бы даже какую-нибудь самую бесчеловечную подлость, то откуда же, из каких источников заговорить его совести? Да и зачем, если через несколько минут все равно все угаснет — и он сам, и мир, и совесть?

И тогда его охватит вдруг одно странное, фантастическое соображение: а что, если б он жил, например, когда-нибудь прежде на Луне или Марсе и совершил бы там подлость, то, очутившись потом на Земле, где никто никогда во веки веков не узнал и не заподозрил бы даже о случившемся где-то там, то ему, лично ему, было бы стыдно за тот поступок здесь, на Земле? И если да, если то, что произошло где-то в неведомом там, равнозначно для человеческой совести тому, что могло бы произойти здесь, то... То ведь тогда и обратно — от бесчестного поступка, совершенного на Земле, — пусть никто не видел и никто никогда не узнает о нем — не скрыться нигде, во всей бесконечной вселенной. И потому любой ваш поступок и даже мысль, побуждение имеют значение вселенского поступка, отражаются и в мирах иных, размышлял Достоевский.

И вот такой-то человек, задумавшись вдруг о страшной, потому что недоступной его человеческому разумению, тайне совести, застреливается, — во сне, конечно, — так размечтался, что и не заметил, как уснул.

И вот, перенесенный в мгновение ока через века и пространства, окажется он вдруг в неведомом мире — как бы двойнике нашей вселенной, среди какого-то чудесного Архипелага. Ласковое изумрудное море тихо плещется о берег, и он наконец видит людей. Они прекрасны и счастливы, как могут быть счастливы только дети в самые первые годы своей жизни на нашей Земле.

И вот он понимает наконец: перед ним иная Земля, но как бы и наша, но еще не оскверненная грехопадением. И он живет теперь в этом раю и долго не понимает, как это он, испытавший там, на Земле, что такое ложь, разврат, искушения, он, знающий плоды разумного, научного, исторического прогресса, опередившего этих невинных жителей рая на многие тысячи лет, как он ухитрился до сих пор не открыть этим невинным счастливцам свои познания?

А они действительно живут какою-то влюбленностью друг в друга, недоступной его уму, но проникающей в его сердце, наполняющей его ощущением никогда не испытываемой прежде полноты бытия.

Но он-то знает, каким адом обернется в будущем этот их теперешний «рай», и это знание изъязвило его ум, и он в конце концов развратил их всех, как скверная трихина, как атом чумы...

И они научились лгать, и полюбили ложь, и познали красоту лжи. Они ужаснулись и стали разъединяться. Они стали злы и чем злее становились, тем больше говорили о гуманизме, они сделались преступны, но только и твердили о справедливости, а чтобы обеспечить ее — придумали гильотину.

Они не жалели о случившемся: пусть мы лживы и

злы, но зато теперь мы обладаем знанием! Они, развращенные им, благодарили его, молились на него как на бога, ибо он открыл им знание. Он умолял их убить его, забыть о нем, они оправдывали его, и тогда такая ни с чем не сравнимая скорбь нашла на него, что он... проснулся. Увидел рядом на столе револьвер — и все вспомнил: свое «все равно», давешнюю девочку...

Нет, теперь — жизни и жизни! И проповеди. Да, теперь он пойдет проповедовать истину, ибо он видел ее и ее живой образ наполнил его душу: люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле...

«Да, я видел истину, и я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей: главное — люби других как себя и тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только старая истина... да ведь не ужились же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду...» — так и закончил Достоевский один из своих фантастических рассказов в «Дневнике писателя» — о тайне живой взаимосвязи души человеческой и души вселенной, данной нам в ощущении, называемом совестью. Совестью, страдающей страданиями всех, болеющей болями других. Если даже это боль за единственное страдающее дитя, в ней — вся суть вселенской истины. Деятельное сострадание — вот истина! И потому последняя мысль рассказа будет не общим, пусть и самым верным, рассуждением, но поступком:

«— А ту маленькую девочку я отыскал...»

«Сон смешного человека» — назвал он рассказ, потому что ведь это же ужасно смешно — почесть себя проповедником истины, которая... которая равноценна простой помощи несчастному ребенку, не правда ли?

Но Достоевский знал: лучшим умам человечества эта истина не представлялась смешной. Напротив. Сколько раз в трудные минуты жизни вспоминались ему всегда потрясавшие его душу слова французского мудреца Блеза Паскаля:

«Все тела, небесная твердь, звезды, земля и ее царства не стоят самого ничтожного из умов; ибо он знает все это и самого себя, а тела не знают ничего. Но все тела, вместе взятые, и все умы, взятые вместе, и все, что они сотворили, не стоят единого порыва милосердия — это явление несравненно более высокого порядка...»

Утром 28 декабря, услышав весть о том, что накануне вечером скончался Николай Алексеевич Некрасов, Достоевский почувствовал, как часто задрожала вдруг упершаяся в сухую, трудно дышавшую грудь его голова. Днем, успокоившись, пошел проститься с ним — поражало изможденное страданием лицо отошедшего. «Несть человек иже не согрешит», — читал над ним псалтырщик.

Дома, сам не заметил, как достал все три тома стихов скончавшегося да так и просидел над ними до шести утра — все тридцать лет промелькнувших вдруг со дня их первой встречи будто прожил снова и... «буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт во все эти 30 лет, занимал места в моей жизни, — рассказал он в «Дневнике» о пережитом в ту ночь. — Лично мы сходились мало и редко... Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди...».

На Новодевичьем кладбище собралось несколько тысяч человек — главным образом молодежь, произносились последние речи. Достоевский протиснулся к раскрытой могиле, забросанной цветами и венками, и слабым голосом произнес вслед за прочими несколько слов:

«— Это было раненное в самом начале жизни сердце, — начал он, — и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь...

Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом»... В этом смысле он... должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым...»

— «Выше, выше их», — выкрикнули из толпы *.

«— Не *выше и не ниже, а вслед*, — повторил Достоевский. — Сердцем своим, великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт...»

Газеты и журналы, откликнувшиеся на смерть поэта, немало писали в те дни — чрезвычайно своевременно, конечно! — о темных сторонах его личности — «стремлении к наживе», «двойничестве», «практичности...».

«Поэт сам не побоялся рассказать нам в своих покаянных стихах о таких делах, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их сами, — вступился за честь поэта Достоевский в своем «Дневнике». — И что бы ни

* Это был, по его собственному признанию, молодой Г. В. Плеханов.

говорили теперь о нем, какие бы грехи ни приписывали ему — есть свидетель в пользу Некрасова. Этот свидетель — народ: для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу!.. Стремление его к народу столь высоко, что ставит его, как поэта, на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...»

3. ...Кесарю — кесарево

Еще прошлой осенью, в 78-м, решил засесть надолго за новый роман, даже объявил уже о временном прекращении выпусков «Дневника писателя», в связи с чем получал и до сих пор огорчительные письма — читатели привыкли к этой форме постоянной беседы с Достоевским, но время его теперь сжималось, а замыслы, которые непременно нужно осуществить, потребуют еще по меньшей мере лет 10 жизни. Замыслы, как всегда, теснились в голове, спорили и пока еще не могли отыскать для себя примиряющую точку сопряжения. Давно мечталось написать поэму о Христе, фантастическую, вроде «Сна смешного человека», поэму-притчу, образ и символ современного состояния мира, вобравшего в себя всю суть предшествующих тысячелетий человеческого бытия и чреватого будущим, уже зарождающимся в недрах настоящего. Может быть, взять за основу рассказ об искушениях Спасителя в пустыне? Или давно встревоживший его и теперь неотступно являющийся ему образ встречи Христа с Великим инквизитором? Но, как и прежде, вмешивались современные сюжеты, те, что ежедневно подсказывала текущая действительность. Все не давала покоя история с невинно осужденным на каторгу Ильинским. Однако просился на бумагу и роман о молодом, юном даже человеке, с чистым, как у Мышкина, сердцем (он пока и именовал его для себя «идиотом»), но душа которого уже прикоснулась к мерзостям жизни.

Он понимал: такого героя, конечно, нельзя ввести в роман сразу, с готовой, выстраданной уже идеей, как Раскольникова или даже Мышкина, — тут нужно будет показать сам путь вызревания идеи, рождения нового человека, способного воплотить собой идею искупления. Нужно в конце концов и наглядно показать, что же требует искупления. То есть как ни крути, а потребуется еще и как бы предваряющий роман, роман о хождении юной чистой души по мытарствам, роман искушений, за которым и последует уже роман искупления...

В самом начале 79-го нежданно явился к нему Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, младших сыновей императора Александра II, пришел от его имени просить Федора Михайловича найти время для встречи с детьми государя, чтобы своими беседами благотворно воздействовать на их юные сердца.

О многом заставило задуматься Достоевского это предложение... В последнее время он, конечно, не мог не замечать, насколько возрос и укрепился его авторитет в обществе, особенно благодаря «Дневнику». В конце 77-го его избрали в члены-корреспонденты Академии наук (Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Майков, Алексей Константинович Толстой ранее удостоились этого почетного звания). Да и государю не одного из друзей-литераторов уже представляли, даже и Яков Петрович Полонский удостоился чести. Но не хотел бы Достоевский оказаться в его положении. Пришлось бедняге представляться, напялив на себя генеральский мундир.

— Позвольте узнать вашу фамилию, — обратился к Полонскому, представляемому в числе большой группы других, император.

Полонский только пожимал плечами, пока наконец вымолвил:

— Извините, ваше величество, запамятовал: вертится, — он указал на свой лоб, — а вот не припомню, хоть убейте... — потом, обратившись к церемониймейстеру: — Доложите, пожалуйста, его величеству, как меня зовут.

— Известный поэт Яков Петрович Полонский, ваше величество!

— Очень приятно, — милостиво улыбнулся царь, должно быть, все-таки догадавшись, что с ним разыграна шутка в отместку за то, что он не узнал поэта в лицо, — как же: с детства читал вас. Не окажете ли честь позавтракать с нами?

Но Яков Петрович уже вошел в роль:

— Покорно благодарю, ваше величество, я только что позавтракал.

— Ну, как вам угодно...

— Экая ты телятина, — возмутился Аполлон Майков, узнав об этом диалоге.

— Что делать, — ответил ему Полонский с простодушной хитринкой, — я вообще глуп.

Яков Петрович, правда, считал глупость немалым достоинством... для поэта.

Но Достоевский притворяться глупым и захотел бы, так не сумел. Это, однако, не избавляло его от участи столько раз попадать в преглупейшее положение, что надолго погружало его в состояние болезненной мнительности.

Но одно дело видеть ухмыляющегося чиновника, когда Федор Михайлович как-то забыл, как зовут жену, — документы на выезд за границу оформляли:

— Аня, как тебя зовут? — заорал он тогда неожиданно для самого себя, рассердившись не на шутку на себя же, — но оказаться по прихоти памяти, нередко подводившей его после тяжелых приступов эпилепсии, шутом в глазах придворной аристократической челяди — уволь-те. Но и отказаться от приглашения не мог. И вовсе не потому, что побоялся вызвать неудовольствие его императорского высочества. Нет, тут другое...

Когда-то, в первых, полудетских еще робко-затаенных мечтах своих, он уже видел себя равным всем «царям земным»: сам «бывал» и Шиллером, и Наполеоном, и Магометом, и кем только не был он тогда. Потом мечтал о поприще русского писателя — может быть, самом высоком и самом страдательном из всех поприщ, но... угодил в военно-инженерное училище; только успев совершить первый шаг в литературе, возмечтал сделаться чуть не освободителем Отечества и... отправился в каторгу. От «постигнуть Бога» — на меньшее не согласился бы — и до «только бы выжить»; от надежд на простое человеческое счастье и до истины, постигаемой в страдании; от проклятой рулетки до ощущения своей способности перевернуть, переродить мир словом; от невозможности понять, что творится с собственной душой его, что ждет его завтра, через час, до предчувствий разгадки сокровеннейших тайн будущего, человеческого бытия, бытия целой вселенной. Отчаяние неверия и жгучая жажда веры... Все это было. Теперь ему хотелось одного — быть услышанным. Потому что чувствовал — теперь ему есть что сказать. Пусть, как и в давней юности своей, он все так же беззащитен от превратностей судьбы, но и ничто уже, никакие угрозы или посулы не

способны изменить его. И если бы даже случилось так, что его голос оказался бы гласом вопиющего в пустыне, если бы он точно знал, что никто никогда уже не услышит его, и он — последний из вопиющих, а мир давно уже слеп и глух, и горд своей слепотой, — он все равно не изменился бы и не прекратил верить и надеяться до самого смертного своего мгновения. Потому что смертно его тело, но слово — ему хотелось верить в это, — слово его переживет те времена и пространства всемирных потрясений, которые не то что предвиделись, но явно ощущались им. И пусть только там и тогда услышится его слово, все-таки коли услышится, то и отзовется...

Порою он явственно замечал за собой эту мучительную даже для него самого странность: стоя на многогрешной, истерзанной неправедностью, оскорбленной земле своей, больной и измотанный вечной работой и нуждой, постоянно ощущая бренность своего, работающего на износ тела, он вместе с тем будто бы обладал даром глядеть на это свое настоящее, на свою эпоху, как бы еще и из тех неведомых и ему самому дальних далей будущего. В такие мгновения и последний нищий и царь были равны перед ним.

Да, он пойдет во дворец, но пойдет так же, как пошел бы и к нищему, умирающему от зловонных язв, потому что он теперь Достоевский, он уже не принадлежит себе, потому что никакие богатства мира, никакие наследственные права не дают той власти, которая дана ему как дар и которую он выстрадал всею своей жизнью. И потому все нуждающиеся в нем равны перед ним.

Анна Григорьевна гордилась приглашением — еще бы, если уж знакомство мужа с такими дамами, как Философова или Штакеншнейдер, казались ей чуть не великосветскими. Сами-то они, по ее представлениям, все еще были нищими, а если бы не ее постоянная борьба с кредиторами, если бы не взвалила на себя все его издательские дела, то и были бы в самом прямом смысле. Она вполне понимала мужа, отдающего порой последнюю копейку первому бедняге, обращающемуся к нему с просьбой: чувство сострадания — в самой природе его личности, но все-таки... Все-таки не до такой же степени, не до такого же безрассудства...

— Ну никому отказа, — жаловалась она Елене Андреевне Штакеншнейдер, несчастной, 45-летней девушке на костылях («горбунья с умным лицом» — звал

ее Гончаров), но не обозленной горем своим, сохранившей доброту и приветливость, деятельно сочувствующей и революционным демократам, и студенческой молодежи, и восставшей Польше, теперь вот «исповедующей — по ее собственным словам — Достоевского», и не как писателя даже, но как учителя жизни. «Первому встречному сует, что тот у него ни попросит. Вы не поверите, — расстраивалась она, рассказывая о своих бедах и ища платок — промокнуть набегающие слезы, — на железной дороге, кажется, как выйдет в вокзал, так и держит до конца путешествия открытое портмоне — все отыскивает, кому бы еще помочь... А случись что-нибудь — по миру ведь пойдем с детьми...»

«Не посетуй Анна Григорьевна на свои беды, — записывала в дневник Елена Андреевна, — никто бы не догадался о его милосердии, а еще распространяются, будто он злой, недобрый...»

Слышно, будто даже и Страхов, Николай Николаевич, на нечто в этом же смысле намекает.

Одна из участниц вечеров у Елены Андреевны Штакеншнейдер записывает в дневнике свои впечатления:

— Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно-возбужденное, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: «Какие они единомышленники? Те любили то, что есть, он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было, он распинается за то, что придет ли, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждет, так жаждет этого, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть...»

— Ты заметила, как странно вел себя Николай Николаевич? И сам не подошел, в антракте едва поздоровался и сразу исчез... Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь? — спрашивал Федор Михайлович жену, когда они в один из дней Великого поста возвращались с лекции Владимира Соловьева.

— Да, он как будто действительно специально избегал нас... Впрочем, когда я ему на прощание сказала: «Не забудьте воскресенья», — он ответил: «Ваш гость!»

До Федора Михайловича доходили слухи о нелестных отзывах о нем Николая Николаевича, но он в них не хотел верить. Хотя и сам иной раз говаривал жене:

— Наш критик очень уж похож на ту сваху у Пушкина, об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

«А «пироги» жизни, — даже записал в книжку однажды, в горькую минуту, — наш критик очень любит. Сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом». К старости такие литераторы, как правило, начинают мечтать о славе и потому становятся необычно обидчивыми. И тогда уже — никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам начинает делать гадости; «несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира...» *.

Написать-то он написал, скорее от обиды, в минуту сомнений, может быть, отчаяния, но в то же время продолжал ценить Николая Николаевича за его ум и начитанность, любил беседы с ним. По-прежнему тревожился — не забыла ли Анна Григорьевна запастись к его приходу хорошим вином, успеет ли приготовить его любимую рыбу?

В следующее же воскресенье Николай Николаевич явился как ни в чем не бывало, а на вопрос, не стряслось ли с ним чего в тот вечер, на лекции, смутился и по своему обычаю не то посмеялся, не то откашлялся:

— Кхе-кхе, случай-то был особенный: я, видите ли, не один был, а с графом Толстым Львом Николаевичем...

— Как! С вами был Толстой!.. — не сумел даже

* Эта горькая запись, относящаяся не столько лично к Н. Н. Страхову, сколько к типу литератора, продающего идеал за «пироги жизни», в конце концов дорого обошлась самому Достоевскому: разбирая после смерти писателя его бумаги, Страхов наткнулся и на эту его «минутную» характеристику. И тут же вслед пишет письмо к Л. Н. Толстому (прямой расчет: после смерти адресата его письмо наверняка станет предметом общественной гласности). Страхов здесь не только отрекается от того доброго, что он только что напечатал о Достоевском, но и говорит о своем друге совершенно противоположное, почти буквально перенося на Достоевского ту характеристику, которую прочитал о себе в этой записи, но расширив и «разработав» подробности...

скрыть своего горького изумления Достоевский. — Я, конечно, не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет, но зачем же вы хотя бы не шепнули мне, кто с вами. Я бы хоть посмотрел на него!

— Да разве по портретам не знаете?

— Что портреты... Иногда одного живого взгляда достаточно, чтоб почувствовать человека, запечатлеть его в сердце навсегда. Никогда не прощу вам этого, Николай Николаевич... *.

И опять в этой, как и во многих иных обидах, утешала его жена, друг сердечный, в котором он уверен, как в самом себе, а ведь это немало в нашем мире, где все на мгновение — и дружба, и любовь, и единомыслие, и преданность, а завтра все это вполне может превратиться в свою противоположность. Но вот есть оно, это безусловно неизменное существо, и — можно жить, и верить, и надеяться; и детки подрастают, здоровенькие, особенно Алешка радует, сын меньшенький, трехлеточек — крепыш и сорванец, отцовский любимец.

Но как-то утром, 16 мая, заметили было, странно подергивается его личико, чего прежде никогда не замечали. Испугались, конечно, и за врачом побежали, но, видя, что малыш весел, как всегда, лопочет что-то на своем детском наречии, немного успокоились, да и врач, осмотрев мальчика, заверил: родимчик, это бывает — зубки режутся, скоро пройдет. Федор Михайлович, однако, после визита врача отчего-то заволновался еще более и послал Анну Григорьевну за профессором Успенским, крупным специалистом по нервным болезням. Мальчик, видимо, впал в бессознательное состояние, содрогалось теперь уже все его маленькое тельце. Успенский сумел освободиться от приема больных только через два часа. Осмотрел ребенка, взглянул на Анну Григорьевну, сказал: «Успокойтесь, теперь уже скоро все пройдет». Федор Михайлович пошел его провожать, вернулся бледный, опустился перед кроваткой сына на колени.

* Анна Григорьевна уже после смерти Достоевского познакомилась и подружилась с Л. Н. Толстым. Однажды она рассказала ему об этом случае и о том, как Федор Михайлович страдал от того, что незнаком с ним и не может с ним поговорить.

«— Неужели? И ваш муж был на той лекции? — воскликнул Толстой. — Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить» — так передает ответ Толстого в своих воспоминаниях А. Г, Достоевская.

Малыш действительно вскоре успокоился. Навсегда... Отец, до последнего мгновения не желавший, не смевший верить в правду, которую вымолил у доктора, провожая его, не мог больше сдержать навалившегося, подступившего изнутри — разрыдался отчаянно, безутешно: сын умер от внезапного приступа эпилепсии, унаследованной от него, — так сказал ему Успенский. Почему же сын, отчего же не сам он?

Вскоре он внешне успокоился, стал как никогда тих, сдержан, затаен, смотрел, словно не видя ничего вокруг.

Мысль о том, что он, пусть и невольная, даже и безвинная в житейском обыденном понимании, но все-таки причина смерти собственного ребенка, потрясла, истерзала сердце и сознание. Он мучился молча, только черты лица обозначились еще строже, грудь, и без того сухую, иссушило, как землю в затяжном суховее, глаза смотрели теперь как бы только в глубь самого себя, будто пытаясь проникнуть в страшную, мучительную тайну, скрывавшуюся в нем самом, — не свою личную только тайну, но ту, без ответа на которую человек, как бы ни был могуч и бесконечен его разум, все-таки смотрит и не видит, слушает и не слышит, познает и не ведает...

Если то, что называется жизнью, — только случайная цепь, только плод игры слепых случайностей, то, конечно, бессмысленно спрашивать: зачем? Каков высший смысл мучений и смерти невинного ребенка? И если нет этого смысла — то и все ведь тогда бессмысленно, все: и сострадание, и сочувствие, и милосердие — все, ибо если все случайно, то никто ни перед кем и ни за что не виновен и совесть — только глупая, ненужная выдумка. Но они есть, эти страдания совести, они реальны, эти кровавые раны души, слишком реальны... И страшно был бы устроен мир, если бы в них не было ровно никакого смысла или, во всяком случае, гораздо менее, чем в болях желудка или печени. Но если все имеет свой смысл, пусть даже и недоступный пока разуму, все — даже и смерть и мучения невинного младенца, то именно в высшем-то смысле этого никак нельзя ни понять, ни принять... За что такая кара?.. Слишком жутко затерянной в мертвом, бессмысленном космическом холоде, страдающей человеческой душе. Одиноко, бесприютно и безответно.

И не с кем поговорить: ни книжник Страхов, ни даже мудрец Федоров не подскажут, не утешат. Достоевский совсем недавно познакомился с учением этого, как его

называют, русского Сократа XIX века. По Федорову, все люди земли должны объединиться для общего великого дела — воскрешения предков: нет более высокой цели и более нравственной задачи, нежели вернуть жизнь тем, кто дал ее нам. Достоевского философия Федорова потрясла прежде всего именно созвучностью его собственной мысли о необходимости общего дела, а кроме того, и громадностью, всечеловеческой охватностью, дерзостью его нравственной, хоть и вполне утопической мысли. Но и он не годился в собеседники сейчас, когда душа страдала, а мысль напрягалась до последнего предела, не умея отыскать ответа. Достоевский чувствовал себя слишком одиноким, настолько, что и не желал ни видеть кого бы то ни было, ни с кем бы то ни было говорить...

Но к нему все же приходили друзья, знакомые, просто ищущие встречи с ним, и он говорил с ними, взбадривал, утешал, только себе утешения найти не мог. Даже в работе. А работать было нужно: у него жена и двое детей, нуждающихся не менее его самого и в утешении, и в средствах к существованию. Анна Григорьевна казалась совершенно потерянной, куда и девались ее неиссякаемые веселость, энергия, но, понимая глубину страданий мужа, которые грозили завершиться катастрофой, не думая уже о себе, она уговорила молодого философа Владимира Соловьева упросить Федора Михайловича отправиться в Оптину пустынь, к знаменитому старцу, отцу Амвросию. Все равно Федору Михайловичу необходимо ехать в Москву, мириться с Катковым — после смерти Некрасова «Отечественные записки» продолжать сотрудничество с «невыносимым Достоевским» не намеревались, оставался единственный путь — в «Русский вестник». А уж от Москвы до Оптиной, говорят, рукой подать...

В середине июня и собрались. «Приехали в Москву в 12-м часу, — пишет Достоевский Анне Григорьевне. — ...Всю ночь напролет не спал, мучаясь удушливым, разрывным кашлем. Встал в 10 часов... В 1-м часу поехал к Каткову и застал его в редакции. (Он живет на даче и только наезжает.) Катков принял меня задушевно, хотя и довольно осторожно. Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю: заговорить о моем деле, он откажет, а гроза не пройдет,

придется сидеть отказанному и оплеванному, пока не пройдет ливень. Однако принужден был заговорить. Выразил все прямо и просто... Но только что я сказал о 300 рублях за лист и о сумме вперед, то его как будто что передернуло... Обещал мне дать ответ завтра... Если откажет Катков, то придется жить до октября бог знает чем...»

Но Катков и на этот раз не отказал. В пятницу, 23 июня, Достоевский с Владимиром Соловьевым отправились в Оптину. Сначала по Курской дороге поездом до станции Сергиево, за Тулой, верстах в 300 от Москвы, потом два дня тряслись на перекладных до Козельска. Ночевали в деревнях. Наконец на живописном взлобке правого берега речки Жиздры, среди гигантских вековых сосен, открылся их взору и сам монастырь. О многих злах татарских, литовских, наполеоновских лихолетий, должно быть, хранил он еще память. От самого основания своего прозябал в провинциальной безвестности этот, один из самых бедных на Руси, монастырей, пока в начале XIX века не сделался вдруг центром возрождения русского старчества. Старец — как разумел Федор Михайлович, — тот же монах, живущий общим со всею братией уставом, но вместе с тем еще и своею собственной, особой — более внутренней, нежели внешней, — жизнью; соучаствует в общей жизни монастыря, но и как бы независим от нее. Как правило, старцами признавались и действительно люди уже немало пожившие, но дело всетаки не в летах, а в умудренности. И авторитет старца не в высоте его духовного чина, а в его духовной премудрости, личном благочестии, подвижничестве. Старец — это учитель жизни, врачеватель нравственных недугов, наставник заблудших душ, потерявших покой, страждущих утешения, нуждающихся в искреннем, бескорыстном слове, идущем из чистой, ничего не желающей для себя лично души. Со старчеством возродились традиции подвижников Древней Руси, дух нестяжательства. Слава об оптинских старцах пошла по дальним дорогам, по городам и весям, и вот уже в лаптях и с котомками за плечами сермяжная Русь бесчисленными ручейками паломников потекла за правдой к недавно безвестному очагу. Но не одной только «темной», необразованной Руси увиделись в старцах желанные образцы духовного богатырства, средоточия чистоты сердечной и умственной. Потянулось сюда немало людей известных — и братья Киреевские, и Гоголь бывал здесь, и Толстой, слышно, собирается, теперь и ему, Федо-

ру Михайловичу Достоевскому (недавно совсем ведь думал: он нужен многим, но ему пойти не к кому), почувствовалась потребность в человеке, духовно более умудренном, нежели сам он, надорвавшийся вдруг и отчаявшийся. И вот он, как и сотни, тысячи других, известных и безвестных, пошел сюда — в Оптину: жаждалось побеседовать со старцем, 66-летним отцом Амвросием, о сердечной мудрости которого много был наслышан. Амвросий — в миру Александр Михайлович Гренков — до пострига ничем особым не прославился, кроме разве феноменальной памяти, образованности: говорил и читал свободно на пяти языках, был начитан в древней и современной философии, отличался поэтическими наклонностями. Человек интеллигентный, знаток духовной и книжной премудрости, Амвросий равно притягивал к себе и необразованный народ, и книжников, и людей, живущих напряженной духовной жизнью. Оптина вообще славилась своей более чем в 30 тысяч томов библиотекой, на которую, по существу, и шли все монастырские доходы и в которой собраны были далеко не одни только богословские труды, но и древние философские, естественнонаучные, медицинские и прочие сочинения.

В толпе паломников Достоевский, переправившись на пароме — как раз против монастыря — через Жиздру, и увидел впервые Амвросия, окруженного, как ему представилось, самой страждущей, скорбящей Русью.

Небольшого росточка, лицо сухонькое — только глаза и светятся на бледном лице, — ходит легко, опираясь на простую обструганную палку. Здесь-то, в толпе, и поговорил с ним впервые Достоевский всего с минуту. Но в следующие два дня беседовали уже подолгу, уединенно, в келье старца...

На обратном пути Федор Михайлович сделался молчалив, задумчив, но все же выглядел отмякшим, несколько посветлевшим. Конечно, ехал он в Оптину, не только скорбя по умершему сыну, томясь безысходной виной за своего Алешу, — ему и как писателю хотелось своими глазами увидеть (Тихон в «Бесах» все-таки более создание его творческого воображения) одного из героев своего будущего романа (он уже решил назвать его старцем Зосимой), своими ушами услышать его, потому что ему был необходим в романе живой образ праведника, народного «святого». Такой вот старец и должен стать духовным наставником главного героя, которому — теперь он уже твердо это знал — даст имя сына своего, Алеши, «Алексея — человека Божия». Другим наставником будет ему сама жизнь со всеми своими искушениями. Кажется, завязь нового романа обретала теперь реальные сюжетные очертания.

— А что, Владимир Сергеевич, верите ли вы в реальность мистического? — обратился он вдруг к Соловьеву.

— Да как вам сказать, Федор Михайлович, я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верую...

Соловьев не раз делился с Достоевским своими мистическими переживаниями; порой является ему, как сам он говорил, всякая чертовщина, духи, видения... Но не об этом думал сейчас Федор Михайлович, не о том спрашивал... Странный человек Владимир Сергеевич: симпатичный, образованный — сейчас вот еще и еврейский язык с энтузиазмом изучает, дабы познать талмудические и кабалистические премудрости, хотя и без того немало начитан. Ум у него пытливый, но, кажется, уж слишком рационалистический при всем его мистицизме; идеи так и брызжут, но — и какая же наивная путаница в понятиях! Впрочем, всегда ли и наивная? Послушаешь — как будто готов разделить его мысли, такими близкими представятся. Прислушаешься — действительно то же, но вместе с тем и как бы навыворот. Взять хотя бы идею превращения государства в церковь: для Достоевского это идея братского единения всех граждан — не из одних экономических, сословных и прочих материальных соображений, но единения прежде всего духовного, нравственно осознанного, на основе общей руководящей идеи, общего дела. Вся жизнь в таком обществе мечталась Достоевскому устроенной не на страхе перед законом или даже на уважении к нему — без чего невозможно никакое государство, но — по слову древнего Илариона — на «благодати». «Я хочу не такого общества, в котором я не мог бы совершить преступления, — говорил Достоевский не раз, поясняя существо своей идеи, своей мечты и веры, — но такого, в котором я, даже и имея право совершить любое преступление, сам не хотел бы его сделать».

Для Соловьева же идея теократического государства имеет характер скорее политической замены светской власти властью церковной. Путь католический, папский, ватиканский.

Или взять идею всемирного примирения. Казалось бы, Владимир Сергеевич о том же печется, а еще и о миссии России заодно: новое слово России — толкует Соловьев —

есть прежде всего слово религиозного примирения между православием и католицизмом, примирения с теми началами, на которых зиждется западный мир. Что ж, и с иезуитами, и инквизицией примирение? И с системой оплаты грехов за деньги — с индульгенциями? Примирение с буржуазными началами, наконец?

Цель человечества — по Владимиру Соловьеву — всемирное теократическое общество, основанное на единстве католицизма, православия и... иудаизма. Какое же примирение, какое же братство, коли иудаизм претендует на избранность, на исключительное место среди других идей, религий, народов, на то, чтобы стоять над ними? Если иудеи имеют притязание на особое положение и значение во всемирной теократии, загадочно вещает Соловьев, то нет надобности заранее отвергать эти притязания... — Ну а какова же все-таки роль России в этом будущем мироустроении? — Высшая цель России, Федор Михайлович, вовсе не в том, как вы полагаете, чтобы сменить Европу на исторической арене, сказав миру новое, озаряющее мысль и душу слово, а в том, чтобы послужить возрождению самой Европы, влить в нее свежие славянские силы и тем подвигнуть к новой, более полной, нежели теперь, жизни, — в том-то и жертвенная миссия России, ибо сама по себе она способна лишь на прозябание. И то: что дала она миру? Русская наука ничем не озарила человечество, никаких действительных задатков самобытной русской философии тоже невозможно узреть. Русская литература? — согласен, но ведь и она все более идет по нисходящей. Отсутствие духовной самостоятельности — вот наша отличительная черта, и пора нам признаться в этом, а мы все еще пытаемся жить утопиями о нашей самостоятельности, рожденными брюшным патриотизмом славянофилов...

Что ж, Достоевскому и самому ненавистна любого рода гордыня национального самосознания, поза избранности и исключительности, но самооплевание, да еще в не лучшую минуту истории родного народа? Нет, тут что-то глубоко неприемлемое ему, нечто чужое и чуждое, почерпнутое из книг мудрых, аки змии. Ученый молодой человек, ученый, но — книжник, книжник... Да и религиозность его какая-то не сердечная, пусть бы и наивная, но головная, рациональная. Однако спорить с ним прелюбопытно. Пожалуй, Владимир Сергеевич как тип современного мыслителя вполне заслуживает внимания и в начинаемом романе...

Но главное — Алеша: в нем воплотится истинная судьба будущей России. И, может, и вправду послано было и ему самому, отцу, пережить смерть любимого сына, Алешеньки, как великое испытание, ибо сказано: всякому подвигу души предшествует страшное искушение и великая скорбь. Аще падшее зерно не умрет, то останется одно, но ежели умрет, то даст много плода.

Вспомнилось напутное, недавнее, из Оптиной вынесенное:

— По имени да будет и житие твое...

Достало бы сил и разумения совершить задуманное!

Глава III

МГНОВЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ВСЕЙ ЖИЗНИ

И неужели сие мечта, чтобы под конец человек
находил свои радости лишь в подвигах
просвещения и милосердия, а не в радостях
жестоких, как ныне, — в объядении, блуде,
чванстве, хвастовстве и завистливом
превышении одного другим?
Твердо верую,
что нет и что время близко...
И сколько же было идей на земле,
в истории человеческой, которые даже
за десять лет немыслимы были и которые
вдруг появлялись, когда приходил для них
таинственный срок их, и проносились по всей
земле? Так и у нас будет, и воссияет миру
народ наш...
От народа спасение Руси... Берегите же народ
и оберегайте сердце его...

Достоевский, *Братья Карамазовы*

1. Перед судом совести

В «Братьях Карамазовых» — так он назвал свое последнее произведение, действие которого отнес за 13 лет от нынешнего 78-го года, чтобы его Алеша успел возмужать ко второму, главному роману, пройдя через великие соблазны и искушения духа, мыслей, идей, через коварство женских чар, монастырь, через премудрую, аки змий, убийственную логику брата Ивана; через отчаяние суда земного, неправедного и через суд собственной совести. Но через еще большие искушения надеялся он провести своего героя во втором романе, прежде чем стал бы его Алеша деятелем современным, вступившим в пору полного духовного овзросления, в «возраст Христа» — сейчас ему как раз исполниюсь бы 33. Может быть, даже его Алексей прошел бы и через испытание «скорым подвигом», возможно, даже принял бы участие в покушении на царя и был бы осужден на каторгу, в нравственных страданиях которой и открылся бы ему его истинный путь. Говорят — только то и крепко, подо что кровь потечет, — да, но не нужно забывать: крепко-то для тех, чью кровь пролили, а не для тех, кто пролил, — в этом-то

и главный закон крови на земле, — записал Достоевский совсем недавно в свою тетрадь.

Он и сам еще не знал вполне, чем завершился бы подвиг Алексея Карамазова, — все-таки окончательные решения приходили всегда в ходе самой работы, разрушая порой строго продуманные планы, но ясно было одно: он должен готовить своего героя к духовному подвигу самопожертвования.

Кто это из критиков его упрекал за то, что господин Достоевский, мол, переступает пределы искусства, заставляя читателей не просто переживать, но как бы и соучаствовать в поступках его героев, страдать их нравственными страданиями как бы своими собственными? Верно подмечено, только разве же это «преступание пределов», а не истинное назначение подлинного искусства? И до сих пор твердят: Достоевский любит-де выискивать патологические стороны жизни... Любит? Болезнь укоренилась в самом основании общества, а они не хотят замечать фактов: и видят, но не замечают, проходят мимо. Нет граждан, потому и не могут замечать. У нас нет жизни, нет дела, в котором бы участвовал весь народ — вот корень, вот причина патологического разложения общества, при котором благодатно множатся в нем любые болезнетворные трихины: народ устранен от дела...

«Нынче пытаются уже найти общее знамя соединения всего старого порядка вещей, за все девятнадцать веков существования его уклада, — соединения против чего-то нового, грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота самых оснований европейской жизни, против страшных катаклизмов и колоссальных революций, которые грозят если и не обновить, то потрясти все царства буржуа во всем мире и сковырнуть их прочь...» — записывал он мысли к будущему роману.

И как знать — может быть, именно России-то и суждено сказать свое, главное, слово в этом грядущем обновлении? Может быть, ей-то и предназначена роль искупительной жертвы во имя возрождения всего человечества? Россия должна быть готова к этому великому самопожертвованию, к всемирной голгофе, вселенскому распятию и... И может быть, и к своему же небывалому возрождению в новом, невиданном еще проявлении?

Чем сильнее разовьемся мы в своем национальном русском духе, тем сильнее отзовемся и в европейской душе,

которой станет наконец внятно наше русское особое, окончательное слово — любовного братского единения всех народов, слово, которое они, разбившись насильственно на секты, еще толком и не слыхали... «Вы скажете — это сон, бред: хорошо — оставьте мне этот бред и сон», — пишет он в своей тетради, — и уж «извините за правду, но ведь эту правду я считаю правдой, а вы можете со мной и не согласиться... Но в этом убедятся будущие поколения, которые станут беспристрастнее ко мне. Правда будет за мною, я верю в это...»

И пусть жертвенный подвиг его Алексея, в котором должна отразиться судьба всей России, не успеет воплотиться в слове, он все-таки провидится уже и в «Братьях Карамазовых», а продолжение... Продолжение допишет сама жизнь, ибо, видно, так уж суждено, что его творчество действительно вышло за сферу искусства и становится теперь полем духовных борений человечества, и пока будут эти борения, пока останется жизнь — не завершиться, не досказаться и его слову... И потому он уйдет покойно, с верой в грядущие всходы, ибо таков закон жизни — и для него, и для его Алеши, и для России.

Древнюю мудрость об умирающем, но дающем плоды многие, зерне, мудрость, которая, конечно же, не могла родиться среди каких-нибудь бродяг или скитальцев, идолопоклонников, обожествивших золотого тельца, невнятную и современному буржуа с его идеей паразитирования, но — мудрость труженика, живущего жизнью земли — своего клочка земли и всей земли, потому что понимающему тайны малой своей нивы внятна вся нива жизни Земли и вселенной, — эту вечную мудрость он не случайно предпослал эпиграфом к обеим задуманным книгам. Первая из них — «Братья Карамазовы», тогда, после Оптиной, как-то сразу завязалась, так что к концу 79-го он уже сумел отослать в «Русский вестник» до десяти печатных листов, почти треть романа...

В истории одной семейки из небольшого провинциального Скотопригоньевска (впечатления Старой Руссы, конечно, сыграли свою роль в выборе места действия) задумалось ему представить весь дух и смысл современного момента страны, мира. Федор Павлович Карамазов — глава семьи, отец, — развратник и сладострастник — явление, порожденное паразитизмом существования за счет крепостных, — чисто русское, а вместе с тем и всемирное явление. Это как бы воскрешенный в современности тип из нероновских времен, эпохи упадка и разложения некогда могучей империи. История ведь нередко повторяется в существенном, повторяя и главные типы своих представителей.

Иван, сын его, — книжник и умник, ученый-философ, казалось бы, все постигший и превзошедший умом своим, холодный атеист, занимающийся, кстати, историей церкви, толкующий о превращении церкви в государство, не верящий ни во что, в том числе и в собственные идеи, кроме одной: нет добродетели, если нет бессмертия; нет бессмертия, если нет бога, а бога — нет, и, стало быть, все позволено...

«И черта нет?» — распытывает его циник папаша, не верующий ни во что, кроме денег да того, что на его век хватит еще и вкусно поесть, и сладко попить, и посладострастничать.

«И черта нет», — ответствует Иван, выступающий в роли примирителя между отцом и старшим братом. Дмитрий — полная противоположность Ивану: юность и молодость его прошли беспорядочно; в гимназии не доучился, попал в военную школу, был на Кавказе, выслужился в офицеры, деньги, какие были, прокутил, словом, — человек стихийный, неуправляемый, земляной... Занял у невесты три тысячи да и пропил их с Грушенькой — «ушибла» она его взглядом одним. И вот бесит его подлец папаша: три тысячи, которые по наследству ему, Дмитрию, должны были перейти и которыми рассчитывал, вернув их, замолить грех перед невестой своей бывшей (потому как пропил, прокутил ее деньги-то), папаша назначил для девицы прелестной Грушеньки. Так и начертал на обертке старый развратник: «цыпленочку, мол, моему, если захочет прийти...» Вот папаша и побаивается сыночка, чтоб не пристукнул его. Иван «мирит» их, размышляя про себя: ежели одна гадина другую поедает, то какой, мол, от того грех? Одна только польза...

Внимательно прислушивается к логике идей Ивана лакей Смердяков — тоже ведь один из «братцев», правда, незаконный, прижитый папашей от несчастной юродивой Лизаветы Смердящей, и тоже по-своему философ. «Я всю Россию ненавижу, — откровенничает он. — В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с... Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павло-

вич, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с...»

Умственное лакейство смердяковщины, этого незаконнорожденного отечественного нашего дитяти, родственно, как считал писатель, лакейству мысли угрюмых тупиц либерализма. Смердяковщина — это смрад, исходящий от больного срамной болезнью общества. Ладно, Дмитрий — его-то Смердяков глупее себя почитает, но даже и умник Иван презрительно отзывается о Смердякове как о вонючем лакее, — а ведь, может быть, ему-то, Смердякову, и придется еще сыграть не последнюю роль в судьбах всей семейки, а стало быть, и всей ненавистной ему, так называемой матушки-России.

Словом, завязался узелок романа. Торопиться Достоевский не хотел, переписывал отдельные сцены по пяти раз: никогда еще ни на одно из своих произведений, кажется, не смотрел так серьезно, как на это, будто оно последнее и нужно успеть все сказать, и сказать как следует. Хотя и рассчитывал тогда еще, да не то что рассчитывал, твердо надеялся — лет на десять вперед. Да, десяти, пожалуй, хватило бы, чтобы стать ему тем Достоевским, каким мечталось ему стать, каким — чувствовал он — было ему стать предназначено...

Многое должно было отразиться в истории этой семейки: от последних фактов злобы дня до библейской истории Авеля, невинно убиенного братом своим Каином; от газетной хроники до гамлетовского «быть или не быть»; от страстей шиллеровских братьев-разбойников до гётевской встречи Фауста с Мефистофелем; от современного терроризма до вечной истории воскресения души страданием; от искушения дьяволом Христа в пустыне до сегодняшних искушений народа кабаком и золотой мошной; от турецких зверств на Балканах до истории Иуды-предателя. Все должно было совместиться здесь: опыт собственной жизни и опыт человечества, образы спутников жизни и вечные литературные образы. В одном только Иване фантастически, а вместе с тем для Достоевского естественно мало-помалу сливались и совмещались и Каин, и Гамлет, и Фауст, и молодой Владимир Соловьев; в Дмитрии — история каторжного Ильинского и шиллеровского Карла Моора, черты натуры Аполлона Григорьева и... библейского Авеля. Но все это должно было еще переплавиться в горниле творческого воображения автора, чтобы сотворить то чудо, о котором мудрый сердцем старец Зосима скажет в самом романе так: «...В том-то и великое, что тут тайна, — что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Перед правдой земною совершается действие вечной правды».

Как никогда прежде, Достоевский на этот раз был доволен своей работой. Вот уже и глава «Исповедь горячего сердца» завершена и отредактирована, и она — одна из ключевых, в ней надеялся показать, какие бездны живут, какие трагедии свершаются в душе даже и «ничтожного», никчемного человечишки, о котором большинство близко знающих его людей только и смогут сказать: «Хам в офицерском чине».

«Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед! — открывается вдруг брату Алеше гуляка и забулдыга Дмитрий, а ведь казалось, и всего-то несколько страниц назад — ни о чем-то другом, кроме Грушенькиного «изгиба» да папашиных, утаенных от него денежек, он и помыслить и почувствовать не способен был. — Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает... Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть... Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей...»

И понял тогда Алеша, почему поклонился этому «разбойнику» старец Зосима в келье своей, — не перед Дмитрием преклонился он, но перед теми страданиями, которые суждены ему, которые прозрел в его судьбе мудрый старец.

Теперь Достоевский готовился, может быть, к самой заветной главе «Братьев Карамазовых», к главному нервному узлу всех философских, нравственных, идейных, социальных и психологических артерий живого романного организма — к осуществлению давней мечты своей: Легенде о великом инквизиторе...

Жить в квартире, где все напоминало о смерти Алеши, невыносимо, и, возвратясь осенью 78-го из Старой Руссы, переселились в дом на углу Ямской и Кузнечного переулка. Здесь Федор Михайлович уже снимал когда-то квар-

тиру, еще в пору «Бедных людей»: все возвращается на круги своя — екнуло сердце. Правда, теперь он уже мог позволить себе не «одиночку», но квартиру из шести комнат, с передней и кухней. Работа над «Братьями Карамазовыми» обязывала беречь время, распределять его чуть не по минутам. И все же замкнуться все равно не удавалось. Бывали с Анной Григорьевной и у Полонского, посещал он и юных великих князей, у них же познакомился и с симпатичным молодым Константином Романовым, большим поклонником его таланта, пробующим себя в стихах (некоторые из них уже встречались Достоевскому в журналах за подписью К. Р.). Стала заходить на эти вечера и Мария Федоровна — жена наследника престола, напоминавшая Федору Михайловичу институтку, которую он нередко доводил своими беседами до слез; она тоже совсем недавно потеряла маленького сына. Что и говорить, рассказчик он, конечно, удивительный и... увлекающийся: однажды только заметил, что во все время беседы держит будущую императрицу за пуговицу платья, так что уже едва не открутил ее вовсе. Но, главное, и Мария Федоровна настолько увлекалась, что, казалось, даже и не позволяла себе обратить внимание на подобные несветские привычки собеседника... Заходил по-прежнему и на «вторники» в особняк с помпейской залой и зимним садом Штакеншнейдеров, куда заходили и Писемский, и Помяловский, и многие другие литераторы, художники, ученые и где его по-прежнему обожали.

Елена Андреевна Штакеншнейдер, хоть и сокрушалась о том, что любимый ее Федор Михайлович — «мещанин», и о том, что даже «знакомство с большим светом все-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены», но признавала вместе с тем: «И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель... Его значение учителя так еще ново, что он и сам его не вполне сознает...»

«Удивительный то был человек, — вспоминала она и позднее. — Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему... Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену... Иначе он был бы высокомернее и спокойнее... Высокомерие внушительно. Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей».

Да, в аристократических кругах — он знал об этом и, бывало, раздражался, а потом стал даже чуть не вызывающе гордиться этим — его считали мещанином: не дворянином, не семинаристом, не купцом или кем-либо иным, а мещанином, то есть человеком из городской массы, но, однако же, и почитали за счастье принимать его у себя.

Частую гостью Штакеншнейдеров, Анну Павловну Философову — эту светскую красавицу с профилем камеи, — хоть и дерзил ей нередко, почитал и любил он не за один только ее профиль, конечно. Жена главного военного прокурора, она чуть не открыто высказывалась в таком роде: «Я ненавижу наше теперешнее правительство— это шайка разбойников, которая губит Россию». У нее скрывалась после суда Вера Засулич, с ее именем связывали побег Кропоткина, она была одной из учредительниц «Высших женских курсов», председательницей «Общества дешевых квартир и других пособий нуждающимся», возглавляла «Комитет помощи голодающим Самарской губернии». О ней говорили как о человеке, обладающем талантом гражданственности.

Анна Павловна хоть и сердилась на Федора Михайловича за его дерзости и поругивала за «Бесов» и за его «фанатичную» религиозность, но вместе с тем и почитала «своим нравственным духовником». Федор же Михайлович убеждал ее в том, что она-то и есть истинная христианка, только стыдится себе в этом сознаться, потому как побаивается, что быть христианкой — нелиберально.

Рассказывали про нее: однажды опаздывала с мужем на придворный прием и бал; Анна Павловна, хоть и одетая уже в черное бархатное платье с букетом анютиных глазок, — «как у Анны Карениной» — все еще никак не могла решить, какой диадемой украсить свою прическу, — как вдруг в их квартире появился какой-то явно не аристократический тип и, задыхаясь, доложил, что в одной из дешевых ночлежек для бедных обварили нечаянно ребенка, — мать голосит, а доктора позвать — нет денег... Анна Павловна, не раздумывая ни секунды, как была в бальном платье, оставив собственный экипаж мужу, крикнула извозчика и помчалась сначала за доктором, потом в ночлежку.

— В этом жесте вся Анна Павловна, — говорил Достоевский восхищенно. — Помочь ребенку важнее, чем новое платье, чем опоздать к выходу царя, появиться во дворце не под руку с мужем, нарушив заведенный веками этикет... Главное — всегда сначала настоящее!

При дворе ее не любили, относились к ней подозрительно. Наконец, выходки Анны Павловны — «слишком много себе позволяет» — надоели, и она была выслана из России.

— Только ради тебя я отправил ее за границу, а не в Вятку, — объявил ее мужу Александр II.

Да, удивительная штука жизнь: насколько в юности своей Достоевский чуждался женщин и они, словно чувствуя это, чуждались его, настолько теперь вдруг женщины-то и сделались его главными благодарными поклонницами и почитательницами, понимающими, прощающими ему, не в пример мужчинам, особенно друзьям, собратьям по перу, даже дерзости и «детские» капризы. Словно чутким своим женским чутьем угадывали они в нем бескорыстного друга, всегда готового и способного утешить, поддержать их лучшие духовные силы и потребности, пробудить в них веру в себя, в свое высокое человеческое достоинство. Он никогда не позволял себе дешевых заигрываний, не говоря уже даже о малейших светских намеках на роль соблазнителя, но всегда бывал строг, обращался как с равными, и это нисколько не обижало, напротив, заставляло их тянуться к нему с полным доверием, и он сам видел в них искренних своих друзей. Вот только искусству целовать ручки у дам он так и не обучился...

Но, кажется, более всего любил он бывать в последнее время у вдовы недавно умершего поэта и драматурга, автора «Князя Серебряного» и «Царя Федора Иоанновича», со-творца знаменитого Козьмы Пруткова, Алексея Константиновича Толстого — Софьи Андреевны, которую чрезвычайно ценил за острый ум и доброе сердце. Всегда в черном, уже седая, она все еще впечатляла оригинальностью суждений по литературным и житейским вопросам, любезностью хозяйки литературного салона, привлекавшего и Гончарова, и Тургенева, и других литераторов. Софье Андреевне удалось однажды уговорить и Достоевского прочитать у нее еще не опубликованные главы «Братьев Карамазовых». Они вскоре по-настоящему подружились, так что даже ревнивая Анна Григорьевна не дулась, когда ее заласканный столь знаменитыми женщинами муж, бывало, заходил к Софье Андреевне один, в неприемное время, запросто, «на свою чашку чаю».

Услышав однажды о том потрясении, которое Федор Михайлович испытал в Дрездене перед Рафаэлевой Мадонной, Софья Андреевна чуть не до слез растрогала Достоевского, выписав для него из-за границы прекрасную фотографию с картины. Дорогой сердцу подарок повесил в своем кабинете над диваном, и Анна Григорьевна не раз, входя к нему, «заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал», как она входила, и она потихоньку удалялась, «чтоб не нарушить его молитвенного настроения».

Лето 79-го, как обычно, проводили в Старой Руссе. И однажды — увидел и не поверил: неужели Анна Васильевна, Анюта?... Господи, как недавно и как давно все это было... Анна Васильевна Корвин-Круковская, теперь в замужестве — Жаклар, отдыхала в это лето тоже в Старой Руссе. Немало переговорили по вечерам с нею и с ее мужем, французом Виктором Жакларом — деятелем I Интернационала, участником Парижской коммуны. Он был приговорен к смертной казни, но им удалось бежать в Россию. Сонечка, влюбленная некогда в Федора Михайловича первой девичьей своей трогательной любовью, ныне уже Софья Васильевна Ковалевская (вышла замуж за ученого-палеонтолога Владимира Онуфриевича Ковалевского), — первая в России женщина-математик.

Да, сколькими удивительными женщинами одарила судьба Достоевского!.. Надежда Суслова, младшая сестра Аполлинарии, еще в 67-м защитила диссертацию в Цюрихском университете, теперь доктор медицины. Вот только сама Аполлинария промотала, считай, впустую богатые силы своей неуемной натуры между стареющими эмигрантами, так и не найдя себя вполне ни в их революционности, ни в их страстных взглядах и рукопожатиях с намеком на надежду.

Как все-таки быстро летит время...

Но ни постоянная напряженная работа над романом, ни редкие встречи с близкими людьми все-таки не в силах были развеять того грустного, порою доходящего и до отчаяния, состояния души, в котором он давно уже пребывал. Какое-то роковое, что ли, непонимание самой сущности его проповеди, особенно среди значительной части молодежи, прежде всего либеральной и революционно на-

строенной, тяготило мысль и сердце. Недавно еще казалось, что чуть не всенародный порыв к освобождению поднявшихся против многовекового порабощения братьев-славян поможет молодежи определить и свое отношение к судьбам самой России, сплотит все лучшие, мыслящие, чистые сердцем силы, но... Молодые радикалы явно избрали путь политического террора, охоты на царя и правительственных чиновников. В связи с национально-освободительной борьбой на Балканах все чаще можно было услышать мнения о «сомнительных героях и никому не нужных подвигах вроде Шипки...». Достоевскому же хотелось верить, что именно там, в бескорыстной борьбе за освобождение братьев, выковываются сейчас характеры, герои, могущие в недалеком будущем стать основой возрождения и самого русского общества к иной жизни. Вот почему он с таким восторгом отозвался и на приглашение старого своего сотоварища по Инженерному училищу, героя боев на Шипке, Федора Федоровича Радецкого быть на обеде, устраиваемом в его честь. Если не Радецкие — основа будущей России, то кто же тогда? Господа террористы, что ли? Неужто рассчитывают, «убрав» удачным выстрелом или взрывом бомбы какого-нибудь из ненавистных министров, повернуть колесо русской истории? Уберут одного — сядет другой, более ловкий, и только. Бездарного Рейтерна сместили с поста министра финансов (Михаил Христофорович хоть какую-то известность получил: как-никак, а «спаситель Волги»!). На его место тут же не менее бездарный, но более проворный Александр Аггеевич Абаза вспрыгнул, отпрыск известного рода откупщиков неизвестного происхождения, не то персидского, не то еще какого — что ему до России? Насосался один паучок, присосался другой. Нынешний министр финансов Самуил Алексеевич Грейг решил «охватить кабаком» все возвращающиеся с Балкан силы и тем поправить денежное состояние государства, под коим подобные деятели разумеют не народ, естественно, а только одну административную верхушку, не забывая при этом о самих себе прежде всего, конечно. Первый государственный шаг министра состоял в ассигновании им двухсот с лишком тысяч на отделку собственной квартиры с фонтанами и зимним садом. Это сколько ж сивухи надобно влить в себя бедному русскому мужику, тем же доблестным «братушкам», израненным в турецкой мясорубке, чтобы оплатить одно только это «государственное» мероприятие? Не очищают ли господа террористы, бессознательно конечно,

своими акциями дорогу на высшие государственные посты подобным дельцам, более обходительным, нежели прежние, иезуитски утонченным, даже и европейски либеральным?

Нет, либо Радецкие, либо Грейги — вот единственный пока выбор, возможный при нынешнем состоянии общества, думалось Достоевскому.

Бездейственность, антинародность политики высшей власти — он ясно сознавал это — превращались в пособничество врагам России, о чем явно свидетельствовала ему и неспособность правительства достойно защитить интересы страны и славянских народов в дипломатических баталиях в ходе и особенно по окончании русско-турецкой войны.

В июне 78-го года оппозиция правительству со стороны патриотически настроенных кругов вырвалась наружу из подспуда — глава нынешней партии славянофилов Иван Аксаков произнес в Московском славянском комитете гневную речь против правительства, согласившегося на условия Берлинского конгресса по подписанию мира с Турцией, ущемлявшего интересы славянских народов. Славянский комитет был немедленно закрыт, сам Аксаков выслан в деревню впредь до решения его дальнейшей судьбы, на его какие бы то ни было публичные выступления, письменные или устные, наложен запрет.

Успехи русских войск на Балканах серьезно встревожили Пруссию и Австро-Венгрию, под властью которых также пребывало немало славянских территорий и народов и которые лелеяли вполне реальные планы новых приобретений за счет славян. Но более всего насторожилась Англия — выход России к Средиземному морю сознавался как угроза безраздельному морскому владычеству Британии. Премьер-министр Дизраэли начал кампанию подготовки шовинистических настроений внутри Англии и антирусских — во всей Европе, так что вскоре освободительная война обратилась в общественном мнении европейцев чуть ли не в варварскую попытку России отнять у несчастной Турции ее законные территории, населенные славянскими рабами. Дизраэли готовил Европу к безоговорочному признанию права Англии на протекторат над Константинополем, в противном случае его захватит Россия, и что тогда будет! — страшно подумать, что тогда будет! Английский флот двинулся к Константинополю, несмотря на официальное заявление русского правитель-

ства о том, что захват Константинополя не входит в планы России.

Именно в это время Достоевский и заявил в «Дневнике писателя»: «Константинополь должен быть наш», то есть, объяснял он, Константинополь должен стать свободным, но под защитой России, иначе Англия навсегда закроет ей выход в Средиземноморье и будет единолично диктовать свою волю и России, и балканским славянам.

Господи, какой же шум подняла либеральная пресса: Достоевский — шовинист! Достоевский толкает Россию на войну с Англией! Достоевский — кровожаден!

Русский посол в Англии, недавний управляющий III отделением граф Шувалов, прославившийся в свое время как крупный либерал, пытавшийся подменить проблему отмены крепостного права вопросом об упразднении черты оседлости, ныне ярый сторонник политики Дизраэли, чуть не открыто проводил проанглийскую линию дипломатии. Видя, что царь колеблется, Шувалов накануне Берлинского конгресса заявил, что отправится в Петербург воевать с русской партией, мешающей императору пойти навстречу требованиям Дизраэли. Он убеждал царя пойти на значительные уступки интересам Англии, Австро-Венгрии и Пруссии, восставших против создания на Балканах большого славянского государства и требовавших разделения Болгарии, отдания западной ее части под власть Австро-Венгрии и образования на остальной территории мелких автономных княжеств. Царское правительство никак не могло решиться ни на позицию жестких требований, ни на уступки. Переговоры затягивались, Англия и Австро-Венгрия спешно перевооружались, в то время как русская армия вымирала от тифа под стенами Константинополя, без единого выстрела, не получая приказа ни на штурм, ни на отход.

13 июля 78-го года в Берлине наконец был подписан мирный договор, по которому благодаря отсутствию какой-либо воли со стороны царской администрации хоть на что-нибудь решиться Россия лишилась большинства плодов победы, доставшейся ценой гибели десятков тысяч ее воинов. Англия же приобрела Кипр, Австрия — Боснию и Герцеговину, не сделав ни единого выстрела, не потеряв ни одного солдата...

Неумение и нежелание царского правительства достойно защитить не только интересы освободившихся из-под турецкого ига балканских народов, но даже и свои собственные вызвали волну недоверия к России вообще и

среди самих славян, что подрывало самые основы того нравственного, духовного единения братских народов, о котором мечтали патриотически настроенные круги внутри России, к которым принадлежал и Достоевский.

Он пребывал в состоянии умственного брожения: не питая уже никаких иллюзий в отношении Александра II и его администрации, он все еще строил в своем воображении утопию о монархе нового типа — мудром патриархе, пастыре народа, ибо, считал он, без пастуха овцы не стадо, а где много пастухов, там овцы дохнут. Пренебрежение принципами единоначалия ведет к разброду, создает условия для проникновения в высший государственный аппарат проходимцев, чьи интересы чужды и прямо враждебны народу и государству.

«Я, как и Пушкин, слуга царю, — записывает он неясные еще, требующие от него самого обдумывания и уточнения мысли, — потому что дети его, народ его... Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети». И горько заключает: «Что-то очень уж долго не верит...»

Ему мечталось общество во главе с народным царем, отцом народа, какая-то невиданная народная монархия, потому что, записывает он, демократические начала уходят в глубочайшие традиции русского общественного сознания, и они куда более древни, чем европейские. Как, впрочем, и традиции республиканские. Но республиканское правление, считал он, только тогда будет истинно народным, когда определятся действительно лучшие люди и прежде всего из среды самого народа, иначе в пастыри общества быстро проникнут те, у кого больше денег, как это и случилось во Франции. Потому и боялся революции — не ради себя, ради народа и России боялся, поскольку убедился на европейском опыте — плодами революции тотчас воспользуется всесильный мировой буржуа.

Мысль металась, не находя покоя, не имея на чем остановиться. Нужны были не утопии, но нечто реальное, решительное. Нужна революция нравственная, духовная, революция сознания — тогда устроится и общежитие человеческое на новых уже основаниях, думалось ему теперь. Нужна победа над ненасытным пауком буржуазности внутри себя — тогда будет одолен и мировой паук, а возрожденный к общественной жизни народ, да-да, сам народ отыщет для себя лучшие формы его земного устроения, соответствующие его нравственным идеалам. Нужно неч-

то кардинальное, и немедленно, ибо время при дверях: Piccola bestia уже забежала в дверь, и если разврат буржуазности соблазнит народ, тогда всему конец, тогда-то и преклонится земля пред апокалипсическим зверем.

В полумеры он давно уже не верил, упования на конституцию (о ней сейчас немало разговоров), которая позволила бы либералам представлять интересы всего народа, вызывали у него злой сарказм. «Конституция. Да вы будете представлять интересы нашего общества, — заносит он в записную тетрадь мысли, которые рассчитывал еще развернуть и обосновать в будущих выпусках «Дневника», — но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать-то — печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет». Деспотизм буржуазного либерализма, чувствовал он, будет пострашнее любого иного деспотизма, ибо конституционные свободы, за которые ратуют либералы, открывают путь власти международного золотого мешка, а уж для него либерально только то, что служит ему, укрепляет и прославляет и возводит в идеал. Все же остальное враждебно ему, а потому нелиберально, опасно и подлежит либо купле, либо... уничтожению.

Потому-то и вывело его из себя последнее выступление Тургенева на недавнем, 13 марта, обеде петербургских профессоров, на котором чествовали приехавшего на побывку из Европы Ивана Сергеевича известные либералы — Костомаров, Кавелин, Спасович... Пригласили и Достоевского с Майковым, да, видно, зря, не стоило этого делать. Молодежи собралось множество. Тургенев, имевший слабость почитать себя духовным учителем общества и привыкший к поклонению со стороны молодежи, в последнее время чувствовал охлаждение к себе и, может быть, потому в этот раз особенно явно заигрывал с ней либеральными речами. Провозгласив тост за молодость, за ее будущее, за счастливое и здоровое развитие ее судеб, он закончил уверенностью в том, что молодое поколение доведет дело отцов до победы — достойным увенчанием здания... Либерально настроенная часть молодежи и старых профессоров правильно поняла туманную фразу Ивана Сергеевича: он намекал на конституцию. Восторг захлестнул было торжественную залу, но все испортил этот сумасшедший, этот бесноватый Достоевский — попросил слова и вместо того, чтобы выразить признательность Ивану Сергеевичу за его смелую, благородную речь, вдруг, обернувшись к нему, язвительно потребовал:

— Скажите же прямо, каков ваш идеал? — говорите! — и, не дожидаясь даже ответа от опешившего Тургенева, махнул, как бы безнадежно, рукой, отвернулся и уселся на место. Шум, конечно, поднялся неимоверный, шикали, даже свистели, большинство бросилось утешать Ивана Сергеевича, но подходили и к Федору Михайловичу, задавали вопросы, он отвечал.

Настроение было скверным: ну чего добился? Либералов от либерализмов не излечишь, а на себя наверняка натравишь всю их ораву. Теперь только и жди, какую новую сплетню пустят о нем гулять по Руси-матушке.

Но не менее разозлил он, оказывается, и Аполлона Николаевича.

«...Поймите меня, — объяснял ему Майков в письме, прежде обругав его на чем свет стоит устно и без всяких объяснений. — Вас спрашивает кто-то из молодого поколения: зачем вы печатаетесь в «Русском Вестнике»? Вы отвечаете: во-первых, потому, что денег больше и вперед дают; во-вторых, цензура мягче, в-третьих — в Петербурге (то есть в «Отечественных записках») от вас и не взяли бы. Я все ждал четвертого пункта... Вы должны были сказать: по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию... Вы уклонились... Что ж это такое?... Отречение?.. Ради чего? Ради страха иудейского?»

— Эх, Аполлон Николаевич! Аполлон Николаевич... Достоевский — не либерал, не террорист и не катковец, но именно — Достоевский! Поймите же это наконец... Что ж, страха иудейского ради отстаивает он право быть самим собой, а не тем или иным? Нет, давно уже нет в нем никакого страха, кроме единого — погрешить перед истиной, перед совестью, перед Россией: узреть наконец истину и не суметь или не успеть найти для нее слово, окончательное слово...

Да, нелегко ему быть Достоевским: не прощают ему смелости быть и оставаться самим собой... Он прогуливался в тот мартовский день по обычаю перед обедом, думая о своем, как вдруг услышал сзади настороживште его шаги и, не успев даже оглянуться, почувствовал страшный удар в затылок. Очнулся через мгновение; при падении разбил в кровь лицо о мостовую. Вокруг уже успела собраться толпа, появился и городовой. Через три недели Достоевского вызвали в суд. Обидчик его оказался кре-

стьянином Федором Андреевым, объяснившим на суде, что был он «зело выпимши и только слегка дотронулся до барина, а тот и с ног свалился...». Федор Михайлович, еще слишком слабо чувствовавший себя от потери крови и сильной головной боли, упросил судью не наказывать мужика, мужик-то невиновен (но кто-то же да подсказал ему — до кого «дотронуться»), поскольку прощает его. Случай, однако, сделался уже достоянием газет, и судья обязан был хоть как-то наказать ответчика, а потому и приговорил его «за произведение шума и беспорядка» к штрафу в 16 рублей, которые Федор Михайлович тут же и вручил обидчику.

Однако и работать все это время приходилось по-прежнему, на износ: каждый час, каждая минута, растраченные на встречу, на болезнь ли, отзывались тут же еще более напряженным трудом, отнимавшим последние силы. Но роман принимается читателями горячо. И молодежь читает — и он получает немало писем, о том свидетельствующих. Да и пишутся «Братья Карамазовы» страстно: народ ждет от поэтов своих идеи и страсти. И Достоевский формулирует для себя свое писательское кредо, набрасывает в записной тетради:

«В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит...»

Уже и Федора Павловича Карамазова кто-то упокоил навечно — пестиком по голове... И Митенька загулял со своей Грушенькой, не зная, что его-то — а кого же еще? — подозревают в отцеубийстве. И отыскали, арестовали его уже, и началось предварительное следствие, хотя Митенька Христом-Богом клянется: не убивал! Подлец он, пьяница — согласен, но в крови отца своего невиновен. Только так ему и поверили — все улики против него...

В декабре 79-го Общество вспомоществования студентам уговорило Федора Михайловича прочитать на вечере кульминационную главу романа — «Легенду о великом инквизиторе».

— Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют?.. — читал он своим глухим голосом. — Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а

выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца...

Вот и эти русские мальчики — 24-летний философ Иван и 20-летний искатель праведности Алеша встретились в трактире, чтобы «мысль разрешить». Иван рассказывает о мучительстве над детьми — тут уж Достоевский отдал ему все свои наблюдения и впечатления, а фактов накопилось немало: и турецкие зверства, и случаи из газет, и судебные разбирательства — Иван-то, как и сам Достоевский, тоже мог все это прочитать и знать, — так вот спрашивает Иван-искуситель Алешу, брата своего: как же, каким образом устроится эта самая мировая гармония, если путь к ней устелен страданиями невинных, если ни сами они, ни мучающиеся их страданиями окружающие так и не увидят этой будущей гармонии, и слезы их, страдания их так и останутся неотмщенными? Какая же это гармония? Или люди в том прекрасном будущем так обрадуются своему гармоническому бытию, что забудут совсем о миллионах страдавших ради них, неотмщенных? Смогут ли они чувствовать себя счастливцами, ежели предки их были только материалом, навозом для произрастания этой будущей гармонии? Нет, заявляет Иван, мне надо возмездия и не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я сам его увидал. А потому, говорит он, от высшей гармонии совершенно отказываюсь, ибо не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка...

Страшные в своей страстной неопровержимости доводы Ивана потрясают Алешу, и он, потрясенный, не может понять пока, к чему же клонит Иван, зачем задает ему сейчас неразрешимые для него вопросы.

И тогда, чувствуя, что брат его, юный праведник, искатель какой-то высшей истины и высшей гармонии, уже подготовлен им к главному, Иван посвящает его в свой ответ на невольно сжимающий сердце вопрос: что же делать? Где же тогда истина? Чтó есть человек и к чему он должен стремиться, если прав Иван, и нельзя допустить идею, чтобы люди, для которых ты унавоживаешь собою, страданиями своими путь к счастью, сами согласились бы

принять это счастье, устроенное на таком основании, а приняв, почитали бы себя счастливыми... Иван рассказывает ему сочиненную им «Легенду о великом инквизиторе», которая должна открыть сначала Алеше — он только первый слушатель его, пробный камень, — а потом и всем, всему миру, новую истину, новый символ веры. Ныне люди веруют в гармоническое общество будущего, как верующие христиане — во второе пришествие Христа. Но вот и представь себе, говорит он Алеше, что Христос явился, и не теперь даже, когда вера в него поколебалась, а, скажем, в фанатичном XVI веке, где-нибудь в Севилье, где за малейшее сомнение в Христовой истине еретика тотчас сжигали на костре, и пуще всех прославился своим неистовым служением чистоте веры некий старец, получивший имя — великий инквизитор. И вдруг является Он... И толпа узнает Его и ликует, ибо исполнилось слово Его: «Се гряду скоро», бросает перед ним цветы и вопиет ему: «Осанна!» И великий инквизитор узнает и не сомневается ни на мгновение: это действительно Он. Старец хмурит седые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова уж сила инквизитора и до того уже приучен, покорен ему народ, что толпа раздвигается и стражи средь гробового молчания уводят Его в темницу.

Ночью, по крутым ступеням, со светильником в руке, бледный, сухой, словно из пергамента, старец спускается к узнику своему.

«Зачем Ты пришел? — спрашивает Его. — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать?.. Да Ты и прав не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать?..»

Достоевский читал тихим своим, глуховатым голосом, но, казалось, и сама тишина в зале, наполненном студенческой молодежью, затаилась, вслушиваясь в страшные, невнятные еще разуму, но уже звучащие, уже пришедшие в мир слова. Отнюдь не беззаветный поклонник Федора Михайловича — С. А. Венгеров вспоминает: «На мою долю выпало великое счастье слышать его чтение на одном из вечеров, устроенных в 1879 году... Достоевский не имеет никого себе равного как чтеца. «Чтецом» Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который... читает свое произведение. На том же вечере... читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Григорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято-торжественно, все читали очень хорошо. Но именно только читали. А Достоевский в полном смысле слова именно пророчествовал... И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека...»

«— Зачем Ты пришел мешать нам, — читал Достоевский... — Не Ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот Ты теперь увидел этих «свободных», — прибавил вдруг старик со вдумчивой усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило... Но мы докончили наконец это дело во имя Твое. 15 веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко... и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим...

Страшный и умный дух самоуничтожения и небытия, — продолжал старик... — говорил с Тобой в пустыне... И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах и что Ты отверг?.. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле... Разреши же сам, кто был прав, Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя?

Ты пришел в мир, чтобы спасти человечество обетом свободы, а видишь ли сии камни в этой нагой пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку свою и прекратятся хлебы Твои. Но Ты отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобой и победит Тебя и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему!..» Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени... которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание...»

Этот образ — «камни и хлебы» — Достоевский давно уже облюбовал как свидетельство извечной борьбы противоречий, составляющих основу трагедии исторического движения человечества. Его просили в письмах — и студенты тоже — пояснить смысл этого образа, и Достоевский объяснял: «Камни в хлебы — значит теперешний социальный вопрос, среда... Это всегда было: дай пищу всем, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, чтобы хлеб и порядок у них был всегда, — тогда уж можно и спрашивать, теперь же — с голодухи грешат. Грешно с них и спрашивать, ибо главные пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование».

И христианство и социализм, считал Достоевский, вышли из одного истока (не случайно же чуть не все социалисты так или иначе, даже и отрицая религию, все-таки соотносят свои теории с учением Христа) * — из страстной веры в возможность и необходимость гармонического человеческого общежития, устроенного на началах братского единения, «золотого века», «рая» на земле. Но христианство полагает достигнуть такого братства через внутреннее духовное совершенствование каждого, вне зависимости от социально-исторических условий жизни, без скидок на тяготы борьбы за существование, вопреки давлению окружающей среды. Противопоставить, отделить внутреннее, свой духовно-нравственный мир от внешнего, погрязшего в грехах и неправедности мира, — вот путь к перерождению мира: через его неприятие и отталкивание от него. Социалисты же — в этом, считал он, и суть их расхождения и вечного исторического спора между ними — рассчитывают исправить мир за счет социальной переделки самого этого внешнего, переделки, которая должна привести и к возрождению внутреннего человека. Христианство стоит на духе, социализм на разуме, но вот в разум-то, в чистый разум, отвергающий религиозные основы, Достоевский и не желал верить, поскольку, как писал он, религия есть форма нравственности, форма совести, а разум без нравственной, освобожденной от контроля совести — ужас. Но сама эта трагическая борьба двух начал, полагал Достоевский, и является силой, движущей человечество к «золотому веку». Если же человечество, писал он, достигнет одновременно и духовного и социального идеала — движение прекратится, ибо не к чему будет стремиться.

Обратить камни в хлебы, считал писатель, — и значит накормить голодных, но за счет забвения духовных человеческих начал, о которых, убеждал он себя и других, забывают социалисты. Итак, Иван своей легендой отрицает Христа, отвергнувшего искушение превратить камни в хлебы, как социалист? Сначала так думает и слушающий его Алеша. Но другая мысль, иная идея — внехристианского и внесоциалистического мироустроения вырисовывалась в сознании Достоевского как идея страшная, угрожающая человечеству превращением его в добровольного раба. Не о построении здания социализма пророчествует великий инквизитор устами Ивана, на воздвижение совершенно иного храма намекает он.

Социалисты, провозгласившие истину «Накорми, тогда и спрашивай добродетели», вещает великий инквизитор, тоже не смогут справиться с человеческой совестью, как не удалось это и Христу, — не им достроить здание. Сторонникам великого инквизитора надолго придется скрыться, они будут гонимы, но настанет время, и человечество само придет к ним, «ибо тайна бытия человеческого не только в том, чтобы жить, а в том, для чего жить», — придет и возопиет: научи! И тогда уж мы и достроим их башню, ибо достроит лишь тот, кто накормит, а накормим лишь мы, и солжем, что во имя Твое... И так будет до скончания мира», но мы, говорит великий инквизитор, сохраним свою тайну: «мы не с тобой, а с ним», искушавшим тебя в пустыне, «вот наша тайна!»

Ты, продолжает великий инквизитор, «жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко: они мечтают о многом, но нужно им, по существу, одно — сбиться в едино стадо, чтобы не пожирать друг друга, устроиться в «общий и согласный муравейник», ибо человек по природе своей — раб. И мы дадим ему этот муравейник, в котором он будет счастлив. И не будет никаких от нас тайн, ибо лишь мы будем владеть тайной, мы — сто тысяч избранных страдальцев, взявших на себя проклятие по-

* Речь идет о теориях утопического социализма. С идеями научного социализма Достоевский, по существу, не был знаком, те же отдельные труды, которые он знал, и те, о которых слышал по пересказам друзей, он рассматривал сквозь призму все того же социализма утопического. Что касается таких «болезней» (по определению К. Маркса) развития социалистической теории и практики, как анархизм, терроризм и т. д., то их Достоевский, как о том наглядно свидетельствует и его роман «Бесы», вообще отделял от социализма.

знания добра и зла, и будет счастливое «тысячемиллионное стадо», — мы заставим его работать, но мы разрешим и грех, ибо люди слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить...

С грустью смотрит Христос на великого инквизитора. Смотрит и безмолвствует.

— Кто знает, — заключает Иван, — может быть, этот старик существует и теперь, в виде целого сонма многих таковых, существует как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны? Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны...

— Ты, может быть, сам масон! — вырвалось вдруг у Алеши. Иван засмеялся...

— Я думаю, он масон, — признается Алеше и Дмитрий. — Я его спрашивал — молчит.

Всякая идея власти немногих, избранных, надо всем человечеством, почитаемым за стадо, за материал для строительства некоего невидимого храма, которым должно увенчаться навеки мироустроение осчастливленных рабством народов, — всякая такого рода идея была ненавистна Достоевскому, тем более тайной власти. О масонстве много писали, и в журналах, и отдельные исследования появлялись, предупреждали мир о грозной опасности, но, кажется, общество предпочитает видеть в организации этих братьев-каменщиков, возводителей в сердцах человеческих некоего мироустроительного здания, именуемого ими «храмом Соломона», не более чем забавные, не заслуживающие серьезного внимания, невинные игры в таинственность, загадочную символику, дьявольщину, перемешанную с проповедью духовного самопознания. Но Достоевскому за всем этим прозревалось и нечто не столь уж отвлеченное, но, напротив, имеющее отношение к самым насущным проблемам человечества; тут виделась ему иезуитская постоянная тайная работа, использующая и разрушающая по использовании все идеи, движущие взаимными борениями своими мир к выстраданной истине. Тут работа по возведению власти своего таинственного храма на поверженных в этих борениях между собой и христианских и социалистических надеждах и упованиях, осмеянных, похороненных, оболганных вечных ценностях, на обломках веры человека в себя, в свою высокую духовную природу, на распятой вере в открытое, а не тайное, для всех, а не для избранных, общечеловеческое братство...

И Алеше сделалось страшно: неужто же неумолимая логика человеческого сознания действительно права и нет совести, а потому и все позволено. И как только человечество согласится принять эту логику — тотчас и наступит царство великого инквизитора и не будет уже ни спорящих, ни борющихся, ни страдающих, ни мечтающих, а будут только избранные, хранящие тайну, и послушное им человеческое стадо.

«Заговор против народа» — вот в чем тайна будущего «каменного строения», возводимого инквизитором, — заносит в свою записную тетрадь Достоевский.

Но заметят ли читатели, что его Христос безмолвствует, как и народ у Пушкина в его «Борисе Годунове» да и в его собственных «Бесах»? Глас народа — глас божий: Христос, верил Достоевский, весь ушел в самую сердцевину духа народного, может быть, оттого-то русский народ, как и Христос, всегда страдал? — спрашивает он себя же в своей записной тетради. Но что таит в себе эта загадка безмолвствующего народа? В чем скажется его слово? В одно верил свято — там, в народе, то духовное золото, что не продается и не покупается и которое одолеет в конце концов все соблазны, разврат и разложение, которые несут ему золото всемирного паука.

Уже первые отзывы о еще не завершенных «Братьях Карамазовых» радовали Достоевского. Были, конечно, как всегда, и наскоки, и брюзжание, и откровенная брань, но зато, даже и ругатели признавали за автором великий и своеобразный талант, даже Скабичевский, вообще мало о ком говорящий положительно, назвал его «художником-страдальцем, пишущим кровью своего сердца». Отмечалось, что глава «Великий инквизитор» производит «на читателя потрясающее впечатление», а роман в целом определяют как «произведение колоссальное, о размерах и значении которого теперь едва-едва можно догадываться». Передавали, будто многие считают, что в русской литературе едва ли когда-либо появлялось что-либо еще столь же глубокое, а о Достоевском отзываются как о суровом мыслителе...

Прислал письмо и Константин Петрович Победоносцев: «Ваш «Великий инквизитор» произвел на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал — откуда будет отпор, возражения и разъяснение, но еще не дождался». Достоевский тотчас заверил

в ответе, что возражение последует в следующих главах. Он и действительно начал уже работать над ними, но, однако же, они должны были только дополнить, только прояснить ответ, который заложен и дан в самой же главе об инквизиторе, — неужто он не внятен, этот ответ? Все-таки «Братья Карамазовы» не философский трактат, а художественное произведение, законы и формы проявления положительной мысли автора здесь иные, нежели в трактате. Он и не собирался навязывать читателям свою идею, он верил, что зловещие пророчества инквизитора разбудят человеческую совесть, и свободным сердцем, а не под диктовку автора человек отвергнет человеконенавистничество «избранных», отыщет для себя сам ответ на вопрос: что делать? И в следующих главах решил он лишь помочь тому, чтобы тот ответ, к которому он будет вести своего Алешу, невольно, но непременно родился и как бы сам собой, будто даже и вовсе без участия писателя, в сознании самих читателей.

Алеша не может принять программу Ивана и его Великого инквизитора: он хочет верить в иную правду на земле, в ту правду, что все будут любить друг друга и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, ни избранных, ни обманутых их стадным счастьем.

Но не перед кем ему излить сомнения души, нет у него никого в целом мире, кроме единственного, в которого верует как в святого, — Зосимы. Старец же чувствовал себя в последнее время совсем худо, и было ясно — дни его сочтены. И пошел Алеша к нему в надежде, что оставит его Зосима при себе: там, в монастыре, тишина, там святыня, а здесь — смущение неопытному уму, юной душе, мрак, в котором потеряешься и заблудишься, не зная, что делать, на чем остановиться... Но выслушал его старец и сказал: «Иди в мир: не здесь, но там твое место». Что сие значит? Не на суетное же легкомыслие, не на мирское веселие направляет — значит, предвидит нечто в судьбе его?..

Не стало старца, тихо почил он. И стали поговаривать, что вот-де тело его нетленно будет, ибо и при жизни своей он чуть не святым почитался. Но прошло несколько дней, и почувствовался запах тлена, смрад разлагающегося грешного тела простого смертного человека: «Старец-то наш — провонял!» — чуть не с ликованием передавали весть многие, не любившие Зосиму, даже и из монашеской братии.

И великое смущение нашло на Алешу: нет в старцато он верил, как и прежде, но... Где же справедливость: если уж и он не праведен, то кто же тогда? Или прав Иван со своим великим инквизитором? Но потом уже, пройдя душой через искушение, вспомнил загадочные слова инквизитора:

— Ты отверг чудо, ибо жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника. Но ты судил о людях слишком высоко, потому что они, конечно, невольники, ибо человек верит не столько в высшую истину, сколько в чудеса...

И тогда вспомнилось Алеше многое из напутствий Зосимы. Что он завещал? Казалось бы, самое простое: любить друг друга и познать главное — что не кто-нибудь, но ты, лично ты прежде всего перед всеми людьми и за всех и за все виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, ибо все — как переливающиеся сосуды, и потому чем чище твоя душа, тем более ты ощутишь свою вину за все зло, творимое в мире. И когда люди познают эту истину, что каждый виновен не за себя лишь, но за всех, — тогда станут как братья и достигнется единство: «Ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается... Были бы братья — будет и братство». И еще завещал он любить народ: не раболепен он, не мстителен, не завистлив, и вот смысл иноческого подвига Алеши в миру — оберегать сердце его, ибо от народа спасение Руси. И «деток любите особенно — сказал, ибо они живут для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца...».

Словом, все самое свое сокровенное, наболевшее высказал Достоевский устами Зосимы.

У Алеши давно уже самая задушевная дружба с детьми как с равными, и они видят в нем чуть ли не свой живой идеал во плоти. Дети сегодня, завтра они — молодое поколение, будущее России, и многое будет зависеть в судьбе ее от того, за кем они пойдут, в кого поверят — в великого ли инквизитора или в противостоящий ему трудный духовный подвиг Алеши?

«Пусть пока вокруг тебя люди злобные и бесчувственные, — найди в себе силы светить светом добра и истины во тьме жизни, и светом своим озари путь и другим. Никогда не теряй надежды, если даже все оставят тебя — учил его мудрый старец — и изгонят тебя силой, и ты останешься совсем один, пади на землю, омочи ее слеза-

ми, и даст плод от слез твоих земля. Может быть, тебе не дано будет узреть уже плоды эти — не умрет свет твой, хотя бы ты уже умер. Праведник отходит, а свет его останется. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Не бойся ни знатных, ни сильных...»

Но все это пока только напутствие Алеше, все это только прообраз, предчувствие его трудного грядущего пути, по которому пойдет он уже в другом, во втором романе, который он так, может быть, и назовет: «Алексей» или, пожалуй... «Дети».

Иван Иванович Попов, революционер-народоволец, в то время совсем еще молодой человек, студент учительского института, вспоминал позднее: «Мы, молодежь, признавая талант и даже гениальность писателя, относились к нему скорее отрицательно, чем положительно. Причины такого отношения заключались в его романе «Бесы», который мы считали карикатурой на революционных деятелей». Но обаяние проповедей писателя о народе и его правде притягивало к нему народнически настроенную молодежь, и вскоре Достоевский вновь «завоевал симпатии большинства из нас, — пишет Попов, — и мы горячо его приветствовали, когда он появлялся на литературных вечерах...

Он жил в Кузнецком переулке около Владимирской церкви. В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русой бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну, что же мне теперь делать?

— Сиди, я еще принесу, — ответил малютка.

Достоевский согласился, а малютка высыпал ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлял. Полы пальто скатились с лавки. и «куличи» рассыпались. Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст. Злобы не питают, горя не знают. Слезы сменяются смехом...»

«— Особливо люблю я, когда елки продают, — говорил Достоевский писательнице Е. Н. Опочининой, встретившись с ней на улице и прогуливаясь. — Детям это какая же радость! Ведь Рождество-то по преимуществу детский праздник... Детей надо в эти дни всячески радовать...

Федор Михайлович скажет несколько слов, — продолжает Опочинина, — и задыхается. В Гостином дворе, у выставки игрушек магазина Двойникова увидали мы мальчугана. Он всецело был погружен в восторженное созерцание выставленных чудес. Мальчик, видимо из бедной семьи, в жалком пальтишке, худенький, даже скорее бледный.

— Посмотрите-ка! — кивнул на него Федор Михайлович. — Что он теперь думает? Какие за́мки строит? А спросите — ничего не скажет. Вот оттого-то все, что о детях пишут, — вздор и вранье. А иные еще подсюсюкивают под детей. Это уже просто подлость: в детской душе большая глубина, свой мир, особливый от других, взрослых, и такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобраться... Его правду один бог только слышит...»

Но неспокойны, тревожны были и эти рождественские дни. Весь 79-й — сплошная цепь террористических акций. В Харькове некий Гольденберг застрелил князя Кропоткина. В Петербурге Мирский стрелял в шефа жандармов Дрентельна. На царя уже три покушения. Каждый раз по случаю «чудесного» спасения государя столица украшивается флагами, как и в честь военных побед. Народ уже не ведает, по какому поводу ликовать. Рассказывают, будто дворники, выслушав очередное распоряжение пристава вывешивать флаги — пришла весть об умирении текинцев, — крестясь, наивно спрашивали: «Неужто опять промахнулись?»

80-й тоже начался с известий о новых покушениях.

Теперь уже сильнейший взрыв устроили прямо в Зимнем дворце. Нескольких десятков молоденьких солдатиков, недавно только сбросивших свои немудреные крестьянские одежды и едва успевших переодеться в форменные шинелишки, разнесло в клочья, — государь же находился в другом крыле дворца. Правительство вводит суровые меры. Учреждена Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с графом Лорис-Меликовым. Через несколько дней, 20 февраля, некто Млодецкий стрелял уже в Лориса...

Утром этого дня известный журналист, издатель недавно еще считавшейся одной из либеральнейших, а ныне попавшей в число реакционнейших, газеты «Новое время», человек далеко не бездарный, Алексей Сергеевич Суворин зашел по своим делам к Федору Михайловичу. «Он занимал бедную квартирку, — записал Суворин в своем дневнике впечатление о встрече. — Я застал его набивающим папиросы. Разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности... Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим... Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это... преступление. У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступать не только в самых трудных обстоятельствах, но в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить...»

— Общество отучено от всякой самодеятельности, всякая гражданская деятельность запрещена, высших убеждений, цели нет. А либерализм именно тем и отличается, что преследует всякое зарождение на Руси самостоятельности. А чуть кто попробует сказать свое безбоязненное слово — как тотчас иной либерал, купивший на свой либерализм собственный дом, первый же и завопит о тебе: «Мутная волна!» — это о нем, о Достоевском, после «Братьев-то Карамазовых» как о «мутной волне» отзываются. А то и каким-никаким анекдотцем не гнушаются, лишь бы запачкать. Теперь вот к кайме прибегли... Анненков давно грозился «уличить» его и действительно не постыдился только что в «Вестнике Европы» рассказать, будто Достоевский всегда отличался невероятным самомнением: мол, даже «Бедных людей», свое первое произведение, потребовал опубликовать в некрасовском альманахе не иначе как обрамленным в особую кайму, дабы отличиться от всех... Поверили. Побежали кайму отыскивать, не отыскали, конечно, но слушок прошел: словом, грозилась синица море зажечь, моря-то не зажгла, но славу себе учинила. Пришлось, правда, дать в суворинской газете короткое опровержение — что ж делать? — за мухой не с обухом же гнаться? И сколько их, таких вот мелких, казалось бы, но постоянных укусов. А потом справляются озабоченно: что это, дескать, у вас, Федор Михайлович, и глаза запали, и нервный вы какой-то? У корысти ведь всегда рожа бескорыстна — небось обрадуются, когда свалится. А ведь свалится, как не свалиться? И комар лошадь свалит, коли волк пособит. А уж волк пособит... Да и «Братья Карамазовы» немало сил уносят, надо кончить хорошо, а он ощущал в тяжелые минуты внутреннего отчета, что не выразил и двадцатой доли того, что хотел бы выразить.

Роман двигался к концу. Шел уже суд над Дмитрием Карамазовым. Обвинитель, приведя неопровержимые факты, математически, как дважды два — четыре, и психологически неопровержимо доказал, что отца убил Дмитрий и что убить больше было и некому. Защитник на основе тех же фактов и той же психологии не менее убедительно показал, что Дмитрий совершенно невиновен, что преступления не было и вообще никто никого... не убивал. Алеша в вину Митеньки не верит. Ивану хотелось бы поверить, что все-таки Дмитрий, но беспокойство овладело Иваном — с чего бы? И он идет к Смердякову за разгадкой. Смердяков темнит, Иван настаивает, и Смердяков, измученный пыткой своего недавнего учителя и кумира, признается наконец, что отца убил... Иван.

Нет, он не убийца и суду не подлежит, ибо неподсуден, но убил он — руками Смердякова: ведь совести нет и все позволено! Зачем же погибать стариковским тысячам-то? Все равно ведь либо беспутной Грушеньке, либо и того хуже — Дмитрию Федоровичу достались бы, а Смердяков на эти деньги мог бы в Москве или даже за границей свое собственное дело открыть-с, новую жизнь начать-с... Но даже и смердяковская душа вздрогнула и засомневалась. Смутилась-таки реальными плодами, казалось бы, отвлеченной философии и душа Ивана, заметался он между двумя правдами: той, по которой совести нет и все позволено, тем более для избранных, и другой, не признаваемой им за реальность и потому отвергаемой им правдой совести.

— Бога нет, — убеждал он всех и себя. — И черта тоже нет. Но вот взял же да и явился ему в ночном его кошмаре черт, и поверил в него Иван: даже чернильницу в него запустил, хоть и продолжал твердить ему свое «нет». И пошел Иван на суд, чтобы донести на себя. Кто привел его сюда? Бог или черт? Искреннее раскаяние обеспокоенной совести или иезуитская ухмылка окончательно уверовавшего в ночного своего гостя? И то: кто ж ему поверит; сразу видно — человек не в себе, явно в горячке; решил, мол, взять грех брата своего на себя. Идейный убийца обретает ореол праведника, готового на самопожертвование. Невиновный пойдет на каторгу. Невиновный? Пока судьи земные творили над забулдыгой Митенькой неправый свой суд земной, в душе его творился иной суд... «Братья Карамазовы» подвигались к завершению, и Достоевский теперь и вовсе не мог позволить себе отвлечься ни на какую встречу. Нет такого дела, чтобы стало для него сейчас важнее «Карамазовых».

Но в конце апреля он получил приглашение из Москвы — приехать на торжества по случаю открытия памятника Пушкину.

Ехать или не ехать? — такой выбор перед ним не стоял: не ведать русскому, что значит для России, для ее будущего Пушкин, значит, не иметь права называться русским, а у нас многие еще ухитряются каким-то образом и до сих пор не понимать этого.

Нет, он скажет всем свое слово о Пушкине. Обязан сказать. Не имеет права не сказать.

2. Наше пророчество и указание

22 мая он уже сидел в вагоне поезда, и было ему грустно. К сожалению, в Москву ехал сам, без Анны Григорьевны, хотя и боялся один: чувствовал себя слишком нехорошо, и, как знать, не случилось бы чего, да и Анне Григорьевне очень хотелось побывать на торжествах, но... Почитай, через год ему 60 лет; из них 25 — литературной работы (да еще 10 лет ушло на Сибирь!), и вот подсчитали свои возможности на сегодняшний день и... И оказалось — поехать вдвоем они пока не в состоянии. Остановился во второсортной гостинице — Лоскутной, близ Иверских ворот — как раз ему по средствам, да ненадолго же, всего на несколько дней. Но торжества, намеченные Обществом любителей российской словесности на 26 мая, пришлось перенести на 6 июня ввиду траура по внезапно скончавшейся императрице Марии Александровне. Навестил родственников, друзей, побывал в Оружейной палате.

Казалось, вся Москва собралась в это утро, 6 июня, к Тверскому бульвару. Молодежь восторженно узнавала известных по портретам Тургенева, Полонского, Майкова, Плещеева, Григоровича, Достоевского, стоявших у подножия еще запеленатого, как только что родившийся младенец, памятника поэту. Торжественные речи и — покров спадает, воздух оглашают крики ликования; кто неожиданно для себя самого смеется, кто и плачет. Потом торжества перенеслись в зал Благородного собрания *. За огромным столом, на обитой зеленым сукном эстраде с алебастровой копией памятника Пушкину, уже восседали устроители празднеств, представители общественности, писатели, ученые, почетные гости. В первом ряду — Пушкины: старший сын поэта Александр Александрович — седой, в очках, генерал; Григорий Александрович, служивший по судебному ведомству; красавица — вся в мать — графиня Меренберг и другая дочь — вдова генерала Гартунга. Рядом — князь Владимир Андреевич Долгоруков, московский генерал-губернатор, и другие представители дворянства. Павел Михайлович Третьяков, историк Ключевский, Чайковский, братья Рубинштейны; седовласые красавцы — Аполлон Майков, Плещеев, Григорович, Полонский, Тургенев, Иван Аксаков; тучный Писемский; Островский, Фет, Мельников-Печерский... Узна-

* Сейчас — Колонный зал Дома союзов.

вали и Каткова, Леонтьева, Страхова и более молодого Суворина; надутый Краевский за все время, говорят, не произнес ни слова — его тут же прозвали «Каменным гостем пушкинских торжеств». Кто-то пустил остроту: мол, более всех блистает здесь все-таки Лев Толстой... своим отсутствием.

Рассказывали, будто Тургенев специально ездил за Львом Николаевичем в Ясную Поляну, но ее затворник заявил, что литература служит приятным времяпрепровождением для сытых, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин, или нет. Да, кажется, великий сердцевед никогда еще не заблуждался столь жестоко... Не смог быть по болезни Гончаров; Салтыков-Щедрин, поговаривали, укатил за границу, хотя на самом деле он не приехал в Москву из-за сильного недомогания. Празднества доставляли устроителям немало хлопот, и деликатного, как выражались, свойства: то раздавалось шиканье либеральной публики в адрес Каткова, что грозило испортить светлый праздник, то уследи, чтоб не встретились и не разругались при публике не выносящие один другого Тургенев и Достоевский — позаботиться об этом поручили лично Григоровичу. Но встреча все-таки состоялась: Григорович постарался увести Ивана Сергеевича куда-нибудь подальше, и вдруг оба натолкнулись на Федора Михайловича, который, правда, тут же отвернулся, приняв вид, будто его что-то чрезвычайно заинтересовало за окном.

— Пойдем, пойдем, — чуть не силой потащил Григорович Ивана Сергеевича в другую залу, — я покажу тебе там одну замечательную статую...

— Ну, если такую же, как эту, — Достоевский увидел боковым зрением, как Тургенев тыкает в него пальцем, — то, пожалуйста, уволь... — Федор Михайлович смолчал.

Произносились торжественные речи, читались стихи Пушкина *и о* Пушкине. Публика нетерпеливо ждала выступления Тургенева, многие признавались вслух, что собрались сюда отнюдь не ради Пушкина, а чтобы приветствовать Ивана Сергеевича.

Тургенев действительно вызвал бурю оваций. Он говорил о Пушкине как первом нашем поэте-художнике, сказал о том, что возвращение интереса молодежи к Пушкину после многих лет равнодушия к нему — факт отрадный, потому что Пушкин был выразителем народной сути, но, заключил он, мы не решаемся все-таки присвоить ему название национально-всемирного поэта, как, например, Гомеру, Шекспиру или Гёте, хоть и не дерзнем его отнять у него...

На следующий день, 8 июня, председательствующий наконец объявил: «Слово принадлежит почетному члену общества Федору Михайловичу Достоевскому». Он медленно шел к кафедре, сухонький, ссутулившийся, осунувшийся заметно даже со вчерашнего дня, перебирая на ходу свои листки, словно пытался и никак не умел найти нужное, и, пока он шел, огромный зал, заполненный до отказа, приветствовал его рукоплесканиями — большинство видело его впервые и успело разглядеть, как неловко висит на нем фрак и что рубашка его успела измяться со вчерашнего дня, а галстук завязан неумело и вот-вот развяжется. Взойдя на кафедру, он сумрачно оглядел зал и вдруг, выбросив ладонь вперед, вместо традиционного: «Милостивые государыни, милостивые государи!» — глухим своим, надтреснутым голосом начал:

— Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. — Последние слова он произнес почти шепотом, уже в мертвой тишине, и как-то таинственно, словно сам удивился сказанному. Казалось, зал тихо вздрогнул и тут же подпал под власть его все более возвышающегося, крепнущего голоса. — Пушкин — есть пророчество и указание, — продолжал он. — Уже в «Алеко» Пушкин гениально указал нам того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем, который и до сих пор продолжает свое бездомное скитальчество. Конечно, — говорил он, — нынешние скитальцы наши уже не ходят искать правду к цыганам, но с новой тоской и желанием веры идут на иную ниву, веруя, что достигнут в своем фантастическом желании счастья не только для себя, но, и всемирного. Ибо русскому скитальцу, — сказал он, как многим показалось, с едва уловимым ядом в голосе, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится... И вот скитальца потянуло к простому, даже дикому народу, и что же оказалось — он не только ко всемирной гармонии не готов, но и к простому взаимопониманию, с этими детьми природы, ибо он слишком горд, чтобы жить их жизнью, и слишком желает всемирного счастья, чтобы не попытаться обучить их своим законам жизни. И они изгоняют его без отмщения и злобы: «Оставь нас, гордый человек...»

Поэма, конечно, фантастическая, но «гордый-то человек» — реален и впервые схвачен Пушкиным. Более того — здесь уже подсказывается и решение «проклятого вопроса», русское решение по народной правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Смирись перед правдой народной, перед его трудом — и победишь свою гордость образованного (со всемирной тоской в душе) избранного члена общества. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром...

Еще более ясно выражена у Пушкина та же мысль в Онегине, — говорил Достоевский. — В сердце своей родины он, конечно, не у себя, он не дома. Правда, и он любит родную землю, но он ей не доверяет. Конечно, слыхал он и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве... Но здесь Пушкин дал нам и свой идеал — Татьяну: она твердо стоит на своей почве, она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей литературе... — Достоевский остановился на мгновение, поискал глазами среди сидящих за столом и добавил тут же: — Кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева... — Зал тысячеглазо устремил, как по команде, взгляд на Ивана Сергеевича, а он от неожиданности как-то по-женски всплеснул руками, его седая красивая голова вдруг затряслась, и он, никого не стесняясь, разрыдался. Достоевский чувствовал, что и сам слишком взволнован, и, пока зал аплодировал, успел сделать несколько глотков из стакана, потом продолжал: — Но Онегин был слишком гордый человек, чтобы понять простую Татьяну. Да и потом даже, в Петербурге, он увлекся ею как блестящей светской дамой, но она прошла в его жизни мимо него, не узнанная и не оцененная им. Не сумел он понять, как и многие, впрочем, Татьяну и тогда, когда она твердо говорит ему:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Слишком многим увиделась в этом поступке Татьяны ее неспособность на смелый шаг, многие думают, что это жест «обреченной», а это ее апофеоз, ее и всего романа...

Нет, — говорил Достоевский, — русская женщина смела, и она не раз доказала это. Она смело пойдет за тем, во что поверит. Но — и этого не мог понять Онегин — она не может построить свое счастье на несчастье другого... Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее чистым сердцем, столько пострадавшим? Но если бы даже Татьяна была свободна, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера... — У него никакой почвы. Не такова она — у ней есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается душа, — соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. Не идти же ей за ним, чтоб потешить его? Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут отдать святыню свою на позор.

В Татьяне Пушкин воплотил русский народный идеал и сам явился великим народным писателем, как никто и никогда: он прозорливо угадал тип русского скитальца, скитальца до наших дней, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбою его и огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, но — рядом поставил тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины. Он дал нам немало и других типов русской красоты, они есть, и, стало быть, и дух народа, создавший поэта, есть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коли вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни, —

сказал сам поэт... И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин... В Пушкине есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду... Все это оставлено Пушкиным в виде указания для грядущих работников на той же ниве. Не было бы Пушкина, не определилась бы может быть с такою непоколебимою силой наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная теперь уже надежда на наши народные силы. — Голос его уже звенел в потрясенной тишине зала, время от времени взрывающейся овациями, а он продолжал: — Да, Пушкин — истинно наш народный поэт, но и не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и в этом смысле он

явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески... Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас уже и предчувствует великое грядущее всемирное назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк... О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое... Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей...

Жил бы Пушкин далее, — голос его снова опустился едва не до шепота, — так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров... Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем, — почти экстатически закончил он.

Несколько мгновений зал пребывал еще в каком-то онемении, которое прорвалось вдруг столь бурно, что вряд ли когда прежде Благородное собрание видело что-либо подобное.

— Пророк! Пророк! — раздавались крики. Славянофил Иван Аксаков и западник Тургенев бросились целовать Достоевского. В зале творилось невообразимое — люди плакали, обнимались, кто-то упал в обморок, словно, пусть на мгновение, но все злое, недоброе, разделяющее людей отпало вдруг как скорлупа, и они обрадовались себе, новым, забытым, но мучившимся всегда в этой проклятой скорлупе и теперь ликующим от возможности быть самими собой. Рассказывали потом, что в эти минуты мирились, обнимаясь и целуя друг друга, даже старые враги: два известных Москве старика, о которых знали — лет уже двадцать слышать не могли один о другом без содрогания, — вдруг, не сговариваясь, бросились в объятия, сникли и заплакали, как малые дети, седые, беззащитные...

Следующим должен был выступать Иван Сергеевич Аксаков, его любили в Москве и встретили овацией.

— Я не могу говорить, — сказал он, — после речи Федора Михайловича Достоевского, этой гениальной речи, которая, конечно же, — историческое событие.

Объявили перерыв. К Достоевскому подходили, поздравляли, спрашивали о планах на будущее.

— Вот напишу еще «Детей» после «Карамазовых» и умру, — отвечал спокойно, не рисуясь, как о деле давно решенном.

Вечером, в гостинице только почувствовал, как он устал. Но не спалось, дневное потрясение от того впечатления, которое произвела его речь на присутствующих, все еще живо переживалось, и он снова оделся, взял с собой тяжелый — дотащит ли? — венок, которым увенчали его сегодня, нанял извозчика и по ночной Москве — прямо к Страстной площади, к Тверскому, туда, где теперь вечно будет стоять Пушкин, задумчиво склоняя голову, глядя на потомков своих:

Здравствуй, племя младое...

Он положил свой венок к подножию памятника, снял шляпу, низко поклонился поэту, улица была безлюдна, одиноко светили фонари, накрапывал легкий июньский дождь. Так он стоял, один и вместе с Пушкиным и, казалось, со всей вселенной, глядящей на него через разрывы неплотных и невидимых облачков таинственно мерцающими из ее бесконечности мирами. Как знать, может, это и было то самое его мгновение, которое, конечно же, стоило всей жизни и, во всяком случае, ради которого стоило пройти через все ее нелегкие искушения, мытарства, обманы, насмешки?

Слово о Пушкине Достоевский опубликовал в отдельном выпуске «Дневника писателя», но и какой же приступ нападок, иронии, почти откровенной брани вдруг обрушился на него буквально через несколько дней после пушкинских торжеств, как будто только что рукоплескавшие ему, обнимавшие его и целовавшиеся друг с другом опомнились от наваждения и еще более озлились и на себя, и на него за то, что — как же это они так опростоволосились — подпали под гипнотическое воздействие этого безумца. Газеты печатали отчеты о торжествах, безбожно перевирая суть его выступления и еще более безбожно толкуя его. Федор Михайлович ужасно расстроился — тут же последовали подряд два тяжелейших приступа эпилепсии: «За мое слово в Москве, видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь, — писал он, чуть отойдя, Оресту Миллеру, первому своему биогра-

фу, — точно я совершил воровство, мошенничество или подлог...» Чего только не приписали ему и как только не обругали за это самое приписанное. Кто-то из критиков, писал Достоевский, оскорбился даже, что как же это так — у русского народа и вдруг есть какая-то там правда!.. Особенно усердствовала либеральная пресса: вот-де чему нас учат — смирись, гордый человек! — видно, отнесли на свой счет призыв Достоевского, только где ж им поработать на родной-то ниве, — где она, эта нива? — да еще смирившись в своей всемирно-европейской гордыне перед народной (какой это народной — мужицкой, что ли?) правдой?

Прислал письмо и Победоносцев с откликом Константина Леонтьева о Пушкинской речи Достоевского, в котором Леонтьев отрицал главную идею Федора Михайловича, называя его почти вредным своими заблуждениями еретиком и противопоставлял ему правильную мысль речи самого Победоносцева, произнесенной в училище Ярославской епархии: любите прежде всего церковь — сказал Победоносцев, а Достоевский толковал о каком-то народном христианстве и всеобщем братстве народов... Сам Победоносцев, который недавно был назначен на пост обер-прокурора Святейшего Синода и которого теперь, после «Братьев Карамазовых», стали величать, за глаза, конечно, не иначе как «великим инквизитором», Федора Михайловича не укорял, но присылкой леонтьевского отклика все-таки на свое отношение к его речи намекнул. Но более всего поразило его заключение Леонтьева: «Не стоит желать добра миру, ибо сказано, что он погибнет». «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое, — отвечал Достоевский. — Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коли все обречены, так чего же стараться, для чего любить, добро делать? Живи в свое пузо...»

В который уже раз приходилось ему выдерживать удары и справа и слева. Всегда меж двух огней, между молотом и наковальней, он давно уже привык к своему положению, но легче от этого не было. И либералы и охранители не способны и не хотят понять одного: «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственной цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой... А вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам

именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут... и в которые и там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции». Да и как «принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле?».

Помутился общественный идеал. Приискать в любом историческом деятеле непременно подлеца, отыскать в его биографии, а еще лучше выдумать и приписать ему какую-нибудь «каемочку» у нас теперь чуть не гражданской доблестью почитается. Приближается полутысячелетие со дня великого события — Куликовской битвы, на таких исторических преданиях созидаются духовные основания общества, — так наши либералы уже и анекдотец сочинили: а не спал ли-де Дмитрий Донской во все время, пока битва шла? Кто-то пустил «версию», а кое-кто на анекдотце и ученое имя успел приобрести. Вот почему, когда получил он письмо от Ореста Миллера с приглашением посетить 8 сентября 1880 года торжественное заседание Славянского благотворительного общества в честь славного юбилея, Достоевский живо откликнулся на приглашение.

— Какая прекрасная мысль — особое торжественное заседание, — отвечает он. — Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю. Нужно высоко восстановить прекрасный образ Дмитрия Донского и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории только за последние 25 лет...

Достоевский надеялся подготовить речь в развитие недавней Пушкинской, но хватило б сил завершить «Карамазовых»...

Страшно мучила Митеньку роковая человечья несправедливость. «Хотел убить, хотел, — честно признавал он, — но не виновен!» И — как в пустыне: не внемлют, издеваются над ним. Исстрадалась душа. И вдруг приснился ему странный сон, будто едет он по степи, и вдали селения: избы черные, а половина погорела совсем, и стоят вдоль дороги бабы, и среди них одна, с темным, изможденным ликом, и плачет ребенок у нее на руках и просит грудь, но и груди ее, должно быть, такие же иссохшие, и нет в них молока. А дитя плачет и протягивает с надеждой голенькие свои на морозе-то ручонки.

— Чего они плачут? — спрашивает Митенька во сне, лихо пролетая мимо. «Дитё, — отвечает ему ямщик, — дитё плачет». И поразило Митю само это слово, сказанное по-своему, по-мужицки: «Дитё» — и почудилось в нем нечто большее, чем обычное «дитя», что-то утаивающееся от него, не дающееся пониманию, но и необходимое для него. «Да отчего оно плачет? — домогается Митя. — Почему ручки голенькие?» — «Иззябло дитё, — бедные, погорелые, хлебушка нетути...» — «Нет, нет, — не понимает или спрашивает о другом Митя. — Почему это погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не поют радостных песен, почему почернели от черной беды, почему не кормят дитё?..»

И страшно стало душе от страшных своих вопросов. «Отчего страдает дитё?» — Митя не знает, конечно, что задает сейчас тот же вопрос, который задавал и брат его Иван Алеше, да и задает его не потому вовсе, чтоб решить проклятый вопрос в уме своем, а потому, что разорвало душу ночное — не случайно же явившееся, как и черт Ивану, — видение. И что-то свершилось невидимое, но и неотвратимое, удивляющее его самого, с Митенькой:

— Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно!.. Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту?.. Это пророчество мне было в ту минуту! За дитё и пойду. Потому что все за всех виноваты. Все — «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти, — объясняется он Алеше.

Дмитрий не знает, но Алеша-то помнит: Иван предъявлял претензии Богу, — а сам он-де ни при чем; Дмитрий — себе. Алеша все еще пребывает под двойным потрясением: от «Легенды о великом инквизиторе» Ивана и от поучений и смерти Зосимы, о которых Дмитрий тоже ведь не мог знать, но разве не чудо свершается в душе забулдыжного Митеньки здесь, на глазах Алеши? Разве не Дмитрий недавно еще убеждал всех и себя: хотел убить, но не виновен, а теперь вдруг: не убивал, но принимаю казнь, ибо виноват, за всех виноват, за всех и принимаю? И пусть никто не увидел, кроме Алеши, этого преображения человека, пусть даже Дмитрий сознательно пойдет на казнь, судимый судом высшей совести, только для одного Алеши, ради духовного урока ему, только ему

единственному, — он-то, Алеша, видел это преображение и этот урок отзовется в его душе: «Аще падшее зерно умрет...»

На всю жизнь запомнит он то мгновение, когда душа его вдруг наполнилась непонятным ему восторгом — над ним широко раскинулся небесный купол, с зенита до горизонта двоился над ним Млечный Путь. Чуден был мир вокруг, и чуден стал в нем — «тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною», и он не умом, но всем духом, всем существом своим словно понял что-то, будто что-то открылось ему на мгновение, и так неожиданно и властно было это мгновенное откровение, что не выдержало тело, и он рухнул на землю как подкошенный, и не вынесла душа — и он, не зная отчего, разрыдался. О чем? Может быть, и о звездах, что сияли ему неведомыми мирами, — он не знал, но не стыдился слез своих. «Ибо даст плод от слез твоих земля», — вспомнил он напутное старца Зосимы. И с каждым мгновением он чувствовал, «как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков». Так песенные, былинные богатыри русские повергались на родную мать сыру землю когда-то, чтобы встать, вобрав в себя все ее силы и соки, готовыми на вечно бессмертный ратный подвиг с несметной черной силой за вечную жизнь святой своей Руси. Пал и Алеша на землю «слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом» и осознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. Но не ратный витязь восстал в нем — путь духовного богатырства пророчил ему Достоевский, рыхля уже в «Братьях Карамазовых» почву для будущих всходов последней — так он чувствовал — своей книги.

А пока — душа Алеши, готовясь к дальнему долгому подвигу, готовит и соратников, будущее молодое поколение, нынешних детей, которые уже и сейчас обожают его, как ученики учителя своего. Но вот умирает любимый его ученик, мальчик Илюшечка Снегирев. Когда Федор Михайлович диктовал Анне Григорьевне сцену смерти Илюшечки, она вдруг не выдержала, разрыдалась, так живо пережилась вновь смерть их сыночка, Алешеньки, — Федор Михайлович увидел, подбежал к ней, сам потрясенный, — нелегко давались такие сцены сердцу, схватил ее руки в свои, закричал, может, затем, чтобы самому не заплакать:

— Ты плачешь! Значит, хорошо... Думал изменить — теперь так оставлю. Значит, это будет жить...

Смерть ребенка, что может быть страшнее и безысходнее? — но она нужна была роману не ради щемящей ноты, нужна опять же как зерно, падшее в землю, которое прорастет еще многим плодом в душе читателей, как проросла и «Братьями Карамазовыми» щемящая память об Алеше, сыне его. Последнем.

Давно не помнила читающая Россия произведения, которое сразу же вызвало бы к себе столь бурный интерес. Но известные критики не торопились его оценивать, писали все больше люди мало знакомые Достоевскому и все больше анонимно. Приходили отклики и восторженные, но многое вызывало и недоумение писателя: «Достоевский дописался до чертиков»; «просто нервическая чепуха», словно речь шла о третьестепенной беллетристической поделке. Резко отрицательно отзывались о романе — сговорились, что ли? — крайние либералы и крайние охранители: первые ругали его за «ретроградную веру», вторые — за то, что его христианские убеждения не согласуются с догматикой. «Христос нам этого не обещал», — заявил Константин Леонтьев *, критикуя Достоевского за его «еретическую» проповедь всечеловеческого братского единения. И те и другие согласно заключали: талант Достоевского в упадке... Словом, вниманием его не обходили, всяк норовил уязвить почувствительней, и даже иные из критических лобызаний заставляли вспоминать горькую народную присказку: «Целовал, мол, ворон курочку до последнего перышка...» Не обошлось, как всегда, и без курьезов: злой, саркастический Буренин, укусов которого трепетали, но и ждали как неминуемого, обрушился не на роман Достоевского, а на его хулителей. Поиздевавшись вволю над оценками «Братьев Карамазовых» в духе «психиатрических истерик» и возвернув их самим критикам, Буренин заявил, что господин Достоевский даже в «форме поучений умирающего старца» сумел затронуть, «в сущности, такие струны злобы дня, которые должны чутко отозваться в сердце каждого, кто живет этою тревожною злобой, для кого она невольно сделалась предметом неустанных дум». Однако, несколько пораскинув умом, тот же Буренин вслед за первой статьей публикует вторую. И здесь уже все те оценки «Братьев Карамазовых», которые он самолично возвернул критикам, были снова у них изъяты и вновь переадресованы Достоевскому...

* «...и вам, дай бог, от его нездорового и подавляющего влияния поскорее освободиться», — уговаривал К. Н. Леонтьев близкого ему по духу и мысли писателя и публициста В. В. Розанова, который действительно обожал Ф. М. Достоевского, разыскал стареющую Аполлинарию Суслову и, будучи более чем на двадцать лет моложе ее, женился на ней еще при жизни Федора Михайловича (в 1880 году). Но наиболее резкие отзывы о «Братьях Карамазовых» появились в печати уже после смерти Ф. М. Достоевского: статья «Жестокий талант», принадлежащая перу Н. Михайловского, «Мистико-аскетический роман» — М. Антоновича и др.

Были, были, конечно, отзывы великих его современников и совершенно иного свойства *. И немало. Достоевский, считал Крамской, оказывает на всякого русского человека огромное морализующее влияние. Он же писал: «Когда я читал «Карамазовых», то были моменты, когда казалось: «Ну, если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то умирай человеческое сердце!» Но — и говорил и писал... не Достоевскому: из деликатности стеснялся поведать свое «непрофессиональное» мнение читателя-любителя писателю, с которым был малознаком. О, эта русская интеллигентная деликатность! — и сколько же подобных «любительских» чувств, мыслей, откликов так и не коснулось души Достоевского. И его ли одного? А как он нуждался в них, и как знать, если бы они дошли до него, может быть... Впрочем, что же гадать...

Не радовали теперь и приглашения цесаревича Александра Александровича, пожелавшего личного знакомства. Неуютно чувствовалось Достоевскому в Аничковом дворце — традиционной резиденции наследников престола, несмотря на всю, совершенно не официальную, а. напротив, доверительно-непринужденную обстановку этих встреч, на любезную обходительность их императорских высочеств: залетел сокол в царские хоромы — почету-то много, а полету-то нет... Может быть, еще и потому вел себя не то чтобы намеренно дерзко, но все-таки совершенно непозволительно — во всяком случае, в придворной памяти не

* «Братья Карамазовы» сделались настольной книгой Л. Н. Толстого, и, даже уходя из Ясной Поляны «в мир», оставив все и навсегда, он берет с собой в свой последний путь Библию и «Братьев Карамазовых»...

сохранилось хоть сколько-нибудь сходных примеров: раскланивается с их императорскими высочествами просто как со всякими знакомыми, говорит, когда хочет, а не когда положено, а когда положено говорить — молчит с самым таинственным видом, никогда не дождется окончания беседы, но вдруг, спохватившись и прервав ее чуть не на полуслове, заторопится, распрощается, слегка поклонившись, будто на улице приятелям, и... о ужас! — повернувшись к их императорским высочествам спиной, как к простым смертным, неторопливо покидает комнату... И что уж совсем невероятно — их императорских высочеств такое бесцеремонное обращение какого-то там литератора как будто даже и вовсе не коробит, а ведь такого не простили бы не то что какому-нибудь их высокоблагородию, но даже и их сиятельству, да те, пожалуй, и догадаться не посмели бы вести себя с наследником-цесаревичем как с простым смертным. А на этого не серчают, а даже еще и милости просят осчастливить посещением, а этот (сказывают — политический каторжник, цепи на руках и ногах носил) — видите ли еще: коли сможет, то непременно будет, а ежели не сможет, то и не извольте гневаться. И ничего-с...

Но — что греха таить — жизнь дарит и настоящие радости, немного их, но они есть, а без них и вовсе зачахнешь. Вот совсем недавно Николай Николаевич показал ему письмо Толстого. «На днях, — писал Лев Николаевич Страхову, — нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».

— Вот и Толстому нездоровится...

Отзыв Льва Николаевича так взволновал, что Федор Михайлович, не терпевший, особенно в последнее время, никаких ни к кому просьб даже и о малом одолжении, все-таки умолил Николая Николаевича подарить ему это письмо. Но... непочтение к Пушкину огорчило, задело — не выдержал и пожурил Толстого, хоть и знал: Николай Николаевич непременно передаст Льву Николаевичу его неудовольствие. Пусть, но Пушкин — это Пушкин, идеал, и негоже русскому писателю, тем более такому, как Лев Толстой, ставить кого бы то ни было выше Пушкина — ни себя, ни его, Достоевского... Негоже.

Со времени «Записок из мертвого дома» лет пятнадцать протекло. А вот когда ж «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Идиота» — о «Бесах» и подумать страшно! — догадаются прочитать без предвзятости? Эдак, пожалуй, и не доживешь до времен просветления... А может, и не ждать, попытаться еще раз, последний, объясниться? Попробуйте, однако, сказать сегодня всю правду, не таясь, не обходя проклятых вопросов, — «съедят или сочтут за изменника, — пишет он одному из знакомых. — Но кому изменника? Им то есть, то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом: ибо от него только можно ждать что-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом.

...Меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся «до чертиков». Они наивно воображают, что все так и воскликнут: «Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!..»

И он записывает в тетрадь первые наброски задуманного ответа своим хулителям:

«Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в «Инквизиторе»... которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!.. Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы и научно, но не столь высокомерно по части философии... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...

В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?»

А не сам ли он о всеобщем примирении мечтает? Где, когда, на какой точке найти примирение с ними? И что это за примирение? Кобыла вот тоже, сказывают, с волком мирилась, да только домой не возвратилась...

3. Напоследок

...И вдруг он ясно сознал и уже без сомнений, надежд и гаданий — свиток его судьбы сворачивается, и осталось ему разобрать в таинственных письменах разве что последние строчки. Он не знал, откуда и почему вдруг пришла эта ясность, и даже не удивился ей, словно так и должно было случиться, чтобы он твердо знал свой час, но ему показалось странным, что весть эта пришла так спокойно, что даже не испугала его, хотя и взволновала. И все-таки он и сейчас не стал будить Анну Григорьевну, зная почти наверняка — она тоже вот-вот почувствует это и очнется сама. Не может не почувствовать — он слишком хорошо знал ее.

Сегодня... И значит, второму роману об Алеше Карамазове уже не быть?..

Анна Григорьевна открыла наконец глаза. Было около семи утра, 28 января 81-го года. Федор Михайлович не спит — смотрит на нее спокойным своим взглядом, который так любила у мужа, в редкие минуты его внутреннего гармонического, почти торжественного состояния. Но в эти-то мгновения — она знала — и глядит на мир истинный Достоевский, глядит уже как будто сквозь настоящее — в какое-то ведомое лишь ему одному грядущее, глядит и видит, и радуется его душа. Впервые после этих страшных последних двух суток и она несколько успокоилась, поверила — муж еще будет жить, а освидетельствовавший вчера вечером больного знаменитый профессор Дмитрий Иванович Кошлаков нашел состояние Федора Михайловича значительно улучшившимся и уверил, что теперь через неделю-другую он совершенно поправится. Сейчас же необходимо как можно больше спать — дать организму, во всю жизнь, кажется, не ведавшему покоя, отдохнуть. Решилась наконец придремнуть в креслах рядом с диваном мужа и сама Анна Григорьевна. Встретившись теперь с покойным взглядом Федора Михайловича, она и вовсе успокоилась сразу, спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой?

— Знаешь, Аня, — сказал он тихо, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и вот теперь осознал ясно — я сегодня... умру.

Анна Григорьевна всполошилась, начала успокаивать мужа, но, видя, что он и без того совершенно покоен, решила — может быть, просто мнительность больного человека? — ведь теперь-то кризис миновал и все к лучшему: она не могла, не смела допустить мысли, чтоб он умер. Да, она знала, что он, писатель Достоевский, конечно, не может никогда умереть, потому что она ведь простая смертная женщина, каких тысячи и миллионы в России, но она плакала над его романами, и страдала страданиями его героев, и чувствовала, что может и должна быть лучше, — и так будет всегда: миллионы таких же, как она, всегда будут читать его и плакать и страдать, очищаться и возвышаться душой. Но его, по-человечески бренного, живого, мужа ее, когда-нибудь все-таки не станет. И от одной мысли о возможности такой несправедливости она отчаянно страдала. Она отдала ему всю себя совсем еще юной и всегда, каждым своим поступком, каждой мыслью, движением души своей принадлежала и, сколько даст ей Бог жизни, будет принадлежать только ему — и уже по одному этому она искренне считала себя счастливейшей из всех женщин, потому что ей выпали счастье и ответственность быть женой, подругой такого человека, стать нужной ему, нужной и своей верой в него, и своей верностью ему, потому что в этой вере и верности виделось ему пусть малое, но живое зерно живой жизни всей вселенной. Таков уж этот человек — даже в блинах, на которые приглашает детей Алеша Карамазов, нашел он нечто «старинное, вечное», то, что говорит душе о связи поколений от древних предков до неведомых потомков, нечто связующее людей, напоминающее им, что нужно идти по жизни «рука в руку». Блинами и закончил роман... И посвятил его ей, жене своей, Анне Григорьевне....

Конечно, не всегда же он был велик, чаще бывал простым, обычным человеком, со своими недостатками, больной, нервный, даже капризный временами, нуждающийся в утешении, как ребенок, не приспособленный к жизни. Да он и был для нее ее большим, самым дорогим в мире ребенком, которому хотела быть и была твердой опорой, к которой он всегда мог бы смело прислониться исстрадавшимся сердцем и знать — не пошатнется.

И сам он боялся умереть раньше времени — и когда здоровьишко нет-нет да и слишком уж прямо намекало, что тело его невечно, что близок срок износа его, он говорил печалуясь: «Я, разумеется, скоро умру, но что же станется с тремя золотыми головками после меня?..» Ему так хотелось успеть заработать средства, достаточные для покупки клочка земли, чтоб детки его росли на земле,

потому что каждый ребенок должен вырастать на земле... Умершая еще в 71-м богатая его тетка Куманина завещала Федору Михайловичу часть своего рязанского имения, но с условием выплаты его стоимости другим родственникам. Денег для выплаты до сих пор не было, но надежды на них появились. И вдруг два дня назад, 26 января, явились родственники, начали убеждать Федора Михайловича отказаться от наследства в их пользу. И отказался бы — разве мало от чего отказывался не однажды, считая, что им нужнее, а ему ничего ведь и не нужно.... Но детки, детки и Анна Григорьевна — не может же он не думать, что станется с ними, если с ним что случится. Разговор раздражил, расстроил Федора Михайловича, и у него вдруг снова обильно пошла горлом кровь. Приехавший доктор Бретцель ничего особо опасного не нашел, но в то время, как он выстукивал грудь больного, кровотечение повторилось, и Федор Михайлович потерял сознание. Придя в себя, он уговорил женv немедленно пригласить священника из соседней Владимирской церкви, чтобы исповедаться и причаститься перед смертью. И хотя фон Бретцель учено пожимал плечами — нет, мол, никаких причин для такой мнительности, Достоевский настоял, и через полчаса к нему пришел священник. Когда он ушел, Федор Михайлович остался наедине с женой, говорил ей ласковые слова, благодарил за счастье, которое подарила ему. Профессорский консилиум, собравшийся вечером, ухудшение состояния больного не нашел. Ночь, однако, прошла для Анны Григорьевны тревожно, хотя Федор Михайлович спал мирно, она не спала. А на следующий день, 27-го, Федор Михайлович даже повеселел, приободрился, и, когда явился из издательства метранпаж с корректурой готовящегося выпуска «Дневника писателя», Достоевский вполне ощутил себя в силах вычитать те страницы, которыми особенно дорожил, потому что решил высказаться, не таясь, до конца... Потому что — сколько же пророков появилось, живых мертвецов, проповедующих неспособность России ни к чему благородному: «Велика-де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному. Вот так, танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны отечества», а еще тысячи «изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают...».

Выгляньте ж из Петербурга — прорубите окно не в Европу уже, а наконец в Россию, — «и вам предстанет море-океан земли Русской, море необъятное и глубочайшее». А вы самым спокойным образом отрицаете его, принимаете его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга... и уже столь многое народом понято и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы... Но, чтоб избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию...»

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно оздоровить, — это, без сомнения, все тот же русский народ... Потому что даже и он уже духовно болен: не смертельно, но болен; «хотя главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока... Как она называется? *Жажда правды, но — неутоленная.* Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит...». А тут еще — в помощь этому поиску, что ли, затем ли, чтоб дать этой неутоленности свое направление? — «бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином». Но народ обеспокоен, «именно обеспокоен нравственно...».

— Я знаю, — читал он свое, недавно написанное, теперь готовящееся стать достоянием общества, — надо мной посмеются, и все-таки последнее мое слово в главном споре, споре между христианством и социализмом, будет такое: им необходимо соединиться во имя идеи *русского социализма*. «Вся глубокая ошибка социалистов, — писал он, — в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю... Я говорю про неустанную жажду в народе русском всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения...» И если нет еще этого единения, если не создалась еще *такая* церковь вполне, то сама идея всебратского единения все-таки живет, пусть даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего. Не в механических формах

западных теорий «свободы и равенства» заключается социализм народа русского, но в свободном соединении всех для общего великого дела, во имя великой идеи. В духовной свободе и равенстве — идея «русского социализма», или, как он его называл еще, — «Христианского социализма»...

Но это идея будущего. А сейчас? Что делать сейчас?

«Позовите серые зипуны, — призывал он, — и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду... Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую... И жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта?..»

Вот таково его слово. И теперь это будет уже окончательное его слово, с которым он уйдет, — он был почти уверен в этом. Он подписал корректуру, решил подремать — слишком уж устал и разволновался, читая дорогое, заветное, последнее...

И почему бы все это мечта? Ведь было же, было — его слово заставило обняться, объединиться даже недавних врагов, вызвало у них слезы раскаяния — пусть на мгновение, но все-таки все это было. А раз было — значит, и может быть вновь, и уже не на мгновение, а на века? И не было ли это мгновение только отблеском, только вспышкой озарения, прорывом из грядущего в настоящее.

— Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие, — попросил он. Анна Григорьевна давно уже привыкла к этому — когда на мужа накатывало сомнение, он открывал наугад то свое, заветное, «каторжное», Евангелие и читал первые строки, стараясь отыскать в них вечный ответ на мучающие его вопросы. Открылось Евангелие от Матфея: «Иоанн же удерживал его... Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Ты слышишь: не удерживай — значит, я умру, — сказал он, закрывая книгу. Попрощался с детьми, жену попросил остаться рядом, шептал ей ласковые слова.

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...

Она расплакалась, чувство ничем не восполнимой, безысходной душевной сиротливости вдруг овладело ею, но она постаралась справиться с нахлынувшим, все еще заставляла верить себя в обещание профессоров и, видя, что муж устал, посоветовала ему поспать, не тревожить себя грустными мыслями, хотя и видела: переход в иной мир, к которому он готовился столь определенно, не страшит его. И он утих — то ли действительно уснул, то ли пребывал в состоянии полуяви, но что-то, видно, тревожило его: измученное как будто какою-то неразрешенной им мыслью, лицо его, казалось, словно прожжено изнутри огнем. Он, кажется, спал, но внутренняя работа мысли и души не затихала и во сне. Просыпался, смотрел угасающим взглядом на свое последнее прибежище в этом безжалостно ускользающем мире — на стол, за которым родились «Братья Карамазовы», «Дневник писателя»... Встретился с глазами Рафаэлевой Мадонны над ним.

Вот и пройден путь... И он вдруг явственно ощутил, что уже почти и не здесь, и не почувствовал ни страха, ни отчаяния — только тихую боль за остающихся. И младенец, Вечное дитё, глядел на него с картины, и он узнавал в его взгляде далекую, поразившую на всю жизнь его детское сердце — недетскую печаль той, вспомнившейся вдруг девочки, в парке божедомской больницы. И себя увидел снова, со стороны — бегущим от померещившегося волка, и материнскую улыбку мужика Марея, и чистые глаза своего первенца, Сонечки, и последнего — Алешеньки...

Вечное дитё, страдающее безвинно за все зло, что накопило человечество в мире.

Он слышал за дверью голоса — различил: Майков пришел — не забыл все-таки старый друг, несмотря на все недомолвки последних лет, и Паша, кажется, и еще чьи-то... Но уже не было сил открыть глаза поговорить... И снова приходили видения страшных грядущих потрясений, невиданных моровых язв духа и совести, паучьи усмешки будущих инквизиторов, страдания поколений, времена вседозволенности и безверия, преступлений без наказаний, но и сквозь все эти нечеловеческие, невыносимые сознанию увидевшего мытарства души не переставал видеться свет во мгле, и мгла не могла одолеть его, словно из дальних далей грядущего, возрожденного мира открывались взору простор и ширь, поля и леса, и дети — не среди каменных мешков, но среди садов и засеянных полей, и над ними — чистое, беспредельно высокое небо...

— Я не знаю, как все это будет, — сказал он однажды, — но это сбудется. Сад будет!..

Анна Григорьевна не отходила от него, держа его руку в своей — пульс бился все медленней, и слезы из глаз ее текли все обильнее, но она уже не замечала их. В восемь часов тридцать восемь минут он был уже за чертой неведомого.

Его похоронили на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Рядом с могилами Карамзина и Жуковского оказалось свободное место. На памятнике над ним высечено:

«...Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Похороны вылились едва ли не во всенародное шествие. Особенно много было молодежи. Какая-то старушка спросила, крестясь:

— Никак генерала хоронят?

— Не генерала, а писателя, учителя...

— То-то, я вижу, столько молодежи-то. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

1821, 30 октября (11 ноября нового стиля) — Рождение Ф. М. Достоевского.

1831 — Покупка М. А. Достоевским, отцом писателя, сельца Дарового и деревеньки Чермашни в Тульской губернии.

1831, август — Эпизод с мужиком Мареем.

1833 — Обучение в полупансионе Н. И. Драшусова (Сушара).

1834, осень — Поступление в частный пансион Л. И. Чермака.

1837, 29 января — Смерть Пушкина, глубоко потрясшая Ф. М. Достоевского.

1837, 27 февраля — Смерть матери Ф. М. Достоевского — М. Ф. Достоевской.

1837, май — Переезд братьев М. М. и Ф. М. Достоевских в Петербург для поступления в Инженерное училище.

1838, 16 января — Ф. М. Достоевский поступает в Инженерное училище.

1839, июнь — Смерть отца писателя — М. А. Достоевского.

1843, 12 августа — Ф. М. Достоевский оканчивает полный курс наук в верхнем офицерском классе и зачисляется на службу в инженерный корпус при С.-Петербургской инженерной команде.

1844 февраль — Ф. М. Достоевский отказывается от своих наследственных прав на владение землей и крестьянами.

1844, 19 октября — Увольнение от военной службы.

1845, май — Чтение рукописи «Бедных людей» Д. В. Григоровичу.

1845, май — Знакомство с В. Г. Белинским.

1845, 15 ноября — Первое посещение Достоевским Панаевых. Увлечение А. Я. Панаевой.

1846, 15 января — Выход «Петербургского сборника» с «Бедными людьми» Достоевского.

1846, 28 января — Окончание работы над «Двойником».

1846, весна — Первая встреча с Петрашевским.

1847, зима — весна — Размолвка с Белинским; Достоевский начинает посещать кружок Петрашевского.

1848, 26 мая — Смерть В. Г. Белинского.

1849, 23 апреля — Арест Достоевского по делу Петрашевского.

1849, 22 декабря — Драма на Семеновском плацу.

1850, январь — Свидание с П. Е. Анненковой и Н. Д. Фонвизиной в Тобольском пересылочном пункте.

1850, 23 января — Прибытие в Омский острог.

1850, 24 апреля — Пьяный разгул в казарме, встреча с А. Мирецким, воспоминание о Марее.

1854, февраль — Выход из каторги.

1854, 2 марта — Зачисление рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, расположенный в Семипалатинске.

1854, весна — Знакомство с семьей Исаевых.

1854, 21 ноября — Знакомство с А. Е. Врангелем.

1855, май — Перевод А. И. Исаева в Кузнецк. Разлука с М. Д. Исаевой.

1855, лето — Встреча с Чоканом Валихановым.

1855, 20 ноября — Производство Достоевского в унтер-офицеры.

1857, 6 февраля — Венчание Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке.

1859, февраль — Извещение о разрешении выхода в отставку и запрещении жительства в С.-Петербургской и Московской губерниях.
1859, август — Приезд в Тверь.
1859, декабрь — Переезд Достоевского в Петербург.
1860, 8 июля — Разрешение М. М. Достоевскому издавать журнал «Время».
1860, 1 сентября — В газете «Русский мир» начали печататься «Записки из мертвого дома».
1861, январь — Выход первой книжки «Времени» с первыми главами «Униженных и оскорбленных».
1862, май — Петербургские пожары; появление прокламации «Молодая Россия», беседа Ф. М. Достоевского с Н. Г. Чернышевским.
1862, 7 июня — Впервые выезжает за границу; встреча с А. Н. Герценом в Лондоне.
1863, 2 февраля — в журнале «Время» публикуются «Зимние заметки о летних впечатлениях».
1863, 24 мая — Запрещение журнала «Время».
1863, август — Приезд Достоевского в Париж; встреча с Аполлинарией Сусловой.
1864, 24 января — Дозволение М. М. Достоевскому издавать журнал «Эпоха».
1864, 15 апреля — Смерть Марии Дмитриевны Достоевской.
1864, 10 июля — Смерть М. М. Достоевского.
1864, 25 сентября — Смерть А. А. Григорьева.
1866, 4 октября — Первая встреча с А. Г. Сниткиной.
1865, 8 ноября — Достоевский делает предложение А. Г. Сниткиной.
1866, декабрь — Окончание работы над «Преступлением и наказанием».
1867, 15 февраля — Венчание Достоевского с А. Г. Сниткиной.
1867, 14 апреля — Отъезд Ф. М. и А. Г. Достоевских за границу.
1868, 22 марта — Рождение дочери Софьи.
1868, 12 мая — Смерть Софьи.
1868, декабрь — Окончание работы над романом «Идиот».
1869, 14 сентября — Рождение дочери Любови.
1869, декабрь — Запись плана «Житие великого грешника».
1871, 8 июля — Возвращение Достоевских из-за границы в Петербург.
1871, 16 июля — Рождение сына Федора.
1872, апрель — май — Достоевский позирует художнику В. Г. Перову для портрета.
1872, 15 декабря — Достоевский принимает на себя обязанности редактора «Гражданина».
1873, декабрь — Окончание работы над романом «Бесы».
1874, январь — Решение оставить «Гражданин».
1875, 10 августа — Рождение сына Алексея.
1875, декабрь — Окончание работы над романом «Подросток».
1877, 30 декабря — Речь у могилы Н. А. Некрасова.
1878, 16 мая — Смерть сына Алексея.
1878, июнь — Поездка в Оптину пустынь.
1880, 6 июня — Открытие памятника Пушкину в Москве.
1880, 8 июня — Речь Достоевского о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности.

1880, 8 ноября — Окончание работы над «Братьями Карамазовыми».
1881, 28 января, 8 часов 38 минут вечера — Кончина Ф. М. Достоевского.
1881, 1 февраля — Похороны Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Произведения Достоевского

Полное собрание сочинений в 13-ти т. Спб., 1895.

Полное собрание сочинений в 23-х т. Пб., «Просвещение», 1911—1918.

Полное собрание художественных произведений в 13-ти т. М.—Л., ГИЗ, 1926—1930.

Собрание сочинений в 10-ти т. М., Гослитиздат, 1956—1958.

Полное собрание сочинений в 30-ти т. Л., «Наука», 1971—1981.

Достоевский Ф. М. Письма, т. I—IV. М. — Л., 1928—1959.

Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. «Наука», Л., 1976.

Неизданный Достоевский. — «Литературное наследство», т. 83, М., «Наука», 1971.

II. Литература о Достоевском

Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., ГИХЛ, 1957.

Белинский В. Г. Петербургский сборник, изданный Н. А. Некрасовым. — Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955.

Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. — Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955.

Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. — Полн. собр. соч., т. X. М., 1956.

Григорьев А. А. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967.

Добролюбов Н. А. Забитые люди. — Собр. соч. в 3-х т. М., 1952, т. III.

Писарев Д. И. Борьба за жизнь. — Соч. в 4-х т. М., ГИХЛ, т. IV, 1956.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Художественная литература», 1972.

Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., «Наука», 1971.

Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем, 1917—1965. М., «Книга», 1968.

Биография, письма и заметки из записной книги Ф. М. Достоевского. Спб., 1883.

Бурсов Б. И. Личность Достоевского. М., «Советский писатель», 1974.

Гроссман Л. П. Достоевский. М., «Молодая гвардия» (ЖЗЛ), 1962.
Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в письмах и документах. М. — Л., 1935.
Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., «Наука», 1977.
Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского 1506—1933. М., 1933.
Гус М. С. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М., «Художественная литература», 1962.
Достоевская А. Г. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1971.
Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М. — Л., «Советский писатель», 1963.
Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930.
Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери. М. — Л., 1922.
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I—II. М., «Художественная литература», 1964.
Ф. М. Достоевский в документах и иллюстрациях. М., «Просвещение», 1972.
Ф. М. Достоевский в русской критике. М., ГИХЛ, 1956.
Захаров В. Н. Факты против легенды. — В кн.: Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978.
Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский, творческий путь. М., 1960.
Кирпотин В. Я. Достоевский и Белинский. М., «Художественная литература», 1976.
Ковалевская С. В. Воспоминания детства и автобиографические очерки. М. — Л., 1961.
Кожинов В. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». — В кн.: Три шедевра русской классики. М., «Художественная литература», 1971.
Нечаева В. С. Ранний Достоевский 1821—1849. М., «Наука», 1979.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861—1863. М., «Наука», 1972.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» 1864—1865. М., «Наука», 1975.
Панаева А. Я. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1972.
Саруханян Е. П. Достоевский в Петербурге. Лениздат, 1972.
Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. Дневник, повесть, письма. М., 1923.
Фридлендер М. Г. Достоевский и мировая литература. М., «Художественная литература», 1979.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Селезнев Ю. И.

С29 Достоевский. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 543 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 16 (621)).

В пер. 2 р. 40 к. 150 000 экз.

Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей», приурочена к 160-летию со дня рождения гениального русского писателя. Прослеживая трудный, полный суровых испытаний жизненный путь Достоевского, автор книги знакомит молодого читателя с многообразием нравственных, социальных, политических проблем, обуревавших создателя «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».

ББК 83.3Р1
8Р1

С $\frac{70302-158}{078(02)-81}$ **Без объявл. 4702010200**

ИБ № 2909

Юрий Иванович Селезнев

ДОСТОЕВСКИЙ

Редактор **Ю. Лощиц**

Художник **Р. Тагирова**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технические редакторы **Т. Кулагина, В. Пилкова**

Корректоры **Т. Пескова, Г. Василёва**

Сдано в набор 29.07.81. Подписано к печати 04.12.81. А00939. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 28,56+ +2,62 вкл. Уч.-изд. л. 33,8. Тираж 150 000 экз. (75 001— 150 000 экз.). Цена 2 р. 40 к. Заказ 1135.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.